

ANNALES CONTEMPORAINES

**СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПИСКИ**

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

LVI

1934

ПАРИЖЪ

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

при ближайшемъ участіи:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

LVI

1934
ПАРИЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНІЕ

1. В. Сьринъ. — ОТЧАЯНІЕ.	5
2. Ив. Шмелевъ. — НЯНЯ ИЗЪ МОСКВЫ	71
3. М. Аддановъ. — ПЕЩЕРА.	138
4. Г. Газдановъ. — НАЧАЛО	185
5. Леонидъ Ганскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	201
6. В. Злобинъ. — НОЧЬЮ (Стих).	201
7. Лазарь Кельберинъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	202
8. Викторъ Мамченко. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	202
9. Юрій Мандельштамъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	203
10. Юрій Софіевъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	204
11. Ю. Терапіано. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	204
12. Лидія Червinskая. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	206
13. Георгій Раевскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	206
14. Влад. Смоленскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	207
15. Раиса Блохъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ	208
16. Николай Бѣлоцѣвътовъ. — МОЛИТВА (Стих).	208
17. Михайлъ Горланъ. — НОЧАМИ (Стих).	209
18. Вл. Пітровскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	209
19. Софія Прегель. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	210
20. Алла Головина. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	210
21. Татьяна Ратгаузъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	211
22. Эмиля Чегринцева. — СТИХИ О ГУЛЛИВЕРЪ.	212
23. Е. Базилевская. — ВЕЧЕРЬ (Стих).	213
24. Юрій Иваскъ. — БАРАТЫНСКІИ (Стих)	213
25. Борисъ Нариссонъ. — СТИХОТВОРЕНІЕ	214
26. А. Толстая. — ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНІИ	215
27. В. Маклаковъ. — ИЗЪ ПРОШЛАГО	238
28. Федоръ Степунъ. — ПАМЯТИ АНДРЕЯ БѢЛАГО	257
29. Георгій Адамовичъ. — ЛЮДИ И КНИГИ	281
30. П. Биццли. — ГОГОЛЬ И ЧЕХОВЪ	298
31. М. Вишнякъ. — ВЕРСАЛЬ И МОСКВА	300
32. Ст. Ивановичъ. ЕДИНІИ ФРОНТЪ И КРИЗИСЪ ДЕМО- КРАТИ.	327
33. Ярославъ Папоушекъ. — ЭДУАРДЪ БЕНЕШЪ	341
34. А. Керенскій. — ВО ВЛАСТИ ИЛЛЮЗИИ.	350
35. В. Рудневъ. — ДВАЦАТЬ ЛѢТЪ ТОМУ НАЗАДЪ	375

36. А. Керенский. — К. К. БРЕШКОВСКАЯ (Некролог).	393
37. Кн. Петръ Долгоруковъ. — ТРИ ВСТРѢЧИ (Памяти Е. К. Брешко-Брешковской).	398

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

38. Т. Чернавина. — ОБЪ УСЛОВІЯХЪ ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ ВЪ СССР.	403
39. Вл. Войтинский. — ОПЫТЪ РУЗВЕЛЬТА.	414

40. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Б. Вышеславцевъ. — К. Мочульскій: Духовный путь Гоголя.	427
Тихонъ Полнеръ. — В. Вересаевъ: Гоголь въ жизни.	430
Н. Кульманъ. — Евг. Ляцкий: Слово о полку Игоревѣ.	432
М. Алдановъ. — Rachmaninoff's recollections told to Oskar von Riesemann.	435
П. Бицилли. — Fedor Stepun: Das Antilitz Russlands und das Gesicht der Revolution.	436
В. Вейдле. — Oskar Wulf: Die neurussische Kunst.	439
Бар. Е. Э. Нольде. — Marc Vichniak: Le statut international des apatrides.	439
Андрей Мандельштамъ. — Baron E. Nolde: L'Irak.	440
Т. Чернавина. — M. Muggeridge: Winter in Moscow.	442

Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ Редакцію « Современныхъ Записокъ ».	446
Объявленія.	447

Отчаяніе

ГЛАВА VII.

На слѣдующій день спозаранку — не было еще девяти — я отправился на одну изъ центральныхъ станцій подземной дороги и тамъ у выхода занялъ стратегическую позицію. Черезъ ровные промежутки времени изъ каменныхъ нѣдръ вырывалась наружу очередная партія людей съ портфелями — вверхъ по лѣстницѣ, шаркая, топая, иногда со звякомъ стучался носокъ о металлъ объявленія, которымъ какая-то фирма находитъ умѣстнымъ облицовывать подъемъ ступеней. На предпоследней, спиной къ стѣнѣ, держа передъ собою шляпу (кто былъ первый геніальный нищій, примѣнившій шляпу къ своей профессіи?), нарочито сутулился пожилой оборванецъ. Повыше стояли, увѣшанные плакатами, газетчики въ шутовскихъ фуражкахъ. Былъ темный жалкій день; несмотря на герры, у меня мерзли ноги. Наконецъ, ровно безъ пяти девять, какъ я и рассчитывалъ, появилась изъ глубины фигура Орловіуса. Я тотчасъ повернулся и медленно пошелъ прочь. Орловіусъ перегналъ меня, оглянулся, оскалилъ свои прекрасные, но фальшивые зубы. Встрѣча вышла какъ бы случайной, что мнѣ и нужно было.

«Да, по пути, — отвѣтилъ я на его вопросъ. — Хочу зайти въ банкъ».

«Собачья погода, — сказалъ Орловіусъ, шлепая рядомъ со мной. — Какъ поживаетъ ваша супруга?»

«Спасибо, благополучно».

«А у васъ все идетъ хорошо?» — учтиво продолжалъ онъ.

«Не очень. Нервное настроеніе, бессонница, всякіе пустаки, которые прежде забавляли бы меня, а теперь раздражаютъ».

«Кушайте лимоны», — вставилъ Орловіусъ.

«Прежде забавляли бы, а теперь раздражаютъ. Вотъ наприимѣръ — —» я усмѣхнулся и вынулъ бумажникъ «— — получилъ я дурацкое шантажное письмо, и оно какъ-то повліяло на меня. Кстати, прочтите, — курьезно».

Орловіусъ остановился и близко придвинулъ листокъ къ очкамъ. Пока онъ читалъ, я разсматривалъ витрину, гдѣ торжественно и глупо бѣлѣли двѣ ванны и разные другіе туалетные снаряды, — а рядомъ былъ магазинъ гробовъ, и тамъ тоже все было торжественно и глупо.

«Однако, — сказала Орловіусъ. — Знаете ли вы, кто это написалъ?»

Я положилъ письмо обратно въ бумажникъ и отвѣтилъ, посмѣиваясь:

«Да, конечно знаю. Проходимецъ. Служилъ когда-то у знакомыхъ. Ненормальный, даже просто безумный субъектъ. Вбилъ себѣ въ голову, что я лишилъ его какого-то наслѣдства, — знаете, какъ это бываетъ, — навязчивая идея, и ничѣмъ ея не вышибешь».

Орловіусъ подробно объяснилъ мнѣ, какую опасность безумцы представляютъ для общества, и спросилъ, не собираюсь ли я обратиться въ полицію.

Я пожалъ плечами. «Ерунда, въ общемъ не стоитъ объ этомъ говорить. Что вы думаете о рѣчи канцлера, — читали?»

Мы продолжали идти рядомъ, мирно бесѣдуя о внѣшней и внутренней политикѣ. У дверей его конторы я по правилу русской вѣжливости сталъ снимать перчатку.

«Вы нервозны, это плохо, — сказалъ Орловіусъ. — Прошу васъ, кланяйтесь вашей супругѣ».

«Поклонюсь, поклонюсь. Только знаете, — я вамъ завидую, что вы неженаты».

«Какъ такъ?» — спросилъ Орловіусъ.

«А такъ. Тяжело касаться этого, но бракъ мой несчастливъ. Моя супруга сердце имѣетъ зыбковатое, да и есть у нея привязанность на сторонѣ, — да, легкое и холодное существо, такъ что не думаю, чтобъ она долго плакала, если бы со мною... если бы я... Однако, простите, все это очень личные печали».

«Кое-что я давно наблюдалъ», — сказала Орловіусъ, качая головой, глубокомысленно и сокрушенно.

Я пожалъ его шерстяную руку, мы разстались. Вышло великолѣпно. Такихъ людей, какъ Орловіусъ, весьма легко провести, ибо порядочность плюсъ сентиментальность какъ разъ равняется глупости. Готовый всякому сочувствовать, онъ не только сталъ тотчасъ на сторону благороднаго любящаго мужа, когда я оклеветалъ мою примѣрную жену, но еще рѣшилъ про себя, что самъ кое-что замѣтилъ, «наблюдалъ» — какъ онъ выразился. Миѣ было бы презанятно узнать, что этотъ подслѣловатый осель могъ замѣтить въ нашихъ безоблачныхъ отношеніяхъ. Да, вышло великолѣпно. Я былъ доволенъ. Я былъ бы еще болѣе доволенъ, кабы не заминка съ визой: Ардалионъ съ помощью Лиды заполнилъ анкетные листы, чо оказалось, что онъ визу получить не раньше, чѣмъ черезъ двѣ недѣли. Оставалось около мѣсяца до девятаго марта, — въ крайнемъ случаѣ, я всегда могъ написать Феликсу о перемѣнѣ даты.

Наконецъ — въ послѣднихъ числахъ февраля — Ардалиону визу поставили, и онъ купилъ себѣ билетъ. Кромѣ денегъ на билетъ, я далъ ему еще двѣсти марокъ. Онъ рѣшилъ ѣхать перваго марта, — но вдругъ выяснилось, что успѣлъ онъ деньги кому-то одолжить и принужденъ ждать ихъ возвращенія. Жъ нему будто-бы явился пріятель, схватился за виски и простоналъ: «если я къ вечеру не добуду двухсотъ марокъ, все погублю». Довольно та-

инственный случай; Ардаліонъ говорилъ, что тутъ «дѣло чести», — я же питаю сильнѣйшее недовѣріе къ туманнымъ дѣламъ, гдѣ замѣшана честь, причѣмъ замѣтите, не своя, голодранцева, а всегда честь какого то третьяго или даже четвертаго лица, имя котораго хранится въ секретѣ. Ардаліонъ будто бы деньги ему далъ, и тотъ поклялся, что вернетъ ихъ черезъ три дня, — обычный срокъ у этихъ потомковъ феодаловъ. По истеченіи сего срока Ардаліонъ пошелъ должника разыскивать и, разумѣется, нигдѣ не нашелъ. Въ лежаномъ бѣшенствѣ я спросилъ, какъ его зовутъ. Ардаліонъ помялся и сказалъ: «Помните, тотъ, который къ вамъ разъ заходилъ». Я, какъ говорится, свѣта не взвидѣлъ.

Успокоившись, я, пожалуй, и возмѣстилъ бы ему убытокъ, если бы дѣло не усложнялось тѣмъ; что у меня самого денегъ было въ обрѣзъ, — а мнѣ слѣдовало непременно имѣть при себѣ нѣкоторую сумму. Я сказалъ ему, что пусть ѣдетъ такъ какъ есть, съ билетомъ и нѣсколькими марками въ карманѣ, — потомъ дошлю. Онъ отвѣтилъ, что такъ и сдѣлаетъ, но еще обождетъ денька два, авось деньги вернутся. Дѣйствительно, третьяго марта онъ сообщилъ мнѣ по телефону, что долгъ ему возвращенъ, и что завтра вечеромъ онъ ѣдетъ. Четвертаго оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился Ардаліоновъ билетъ, не можетъ теперь вспомнить, куда его положила. Ардаліонъ мрачно сидѣлъ въ прихожей и повторялъ: «Ну что жъ, значить — не судьба». Издали доносился стукъ ящиковъ, неистовое шерошеніе бумаги, — это Лида искала билетъ. Черезъ часъ Ардаліонъ махнулъ рукой и ушелъ. Лида сидѣла на постели, плача навзрыдъ. Пятаго утромъ она нашла билетъ среди грязнаго бѣлья, приготовленнаго для прачки, а шестого мы повѣхали Ардаліона провожать.

Поездъ отходилъ въ 10.10. Стрѣлка часовъ дѣлала стойку, нацѣливаясь на минуту, вдругъ прыгала на нее, и вотъ уже нацѣливалась на слѣдующую. Ардаліона все

не было. Мы ждали у вагона съ надписью «Миланъ». «Въ чемъ дѣло? — причитывала Лида. — Почему его нѣтъ, я беспокоюсь». Вся эта идиотская канитель съ Ардалионовымъ отъѣздомъ меня такъ бѣсила, что теперь я боялся разжать зубы, — иначе со мной бы тутъ же на вокзалѣ сдѣлался какой-нибудь припадокъ. Къ намъ подошли двое мизерныхъ господъ, — одинъ въ синемъ макинтошѣ, другой въ русскомъ пальто съ облѣзлымъ барашковымъ воротникомъ, — и, минуя меня, любезно поздоровались съ Лидой.

«Почему его нѣтъ? Какъ вы думаете?» — спросила Лида, глядя на нихъ испуганными глазами и держа на отлетѣ букетикъ фіалокъ, который она нашла нужнымъ для этой скотины купить. Макинтошъ развелъ руками, а барашковый проговорилъ басомъ:

«Несцимусь. Мы не знаемъ».

Я почувствовалъ, что не могу дольше сдерживаться и круто повернувшись пошелъ къ выходу. Лида меня догнала: «Куда ты, погоди, — я увѣрена, что — —»

Въ эту минуту появился вдали Ардалионъ. Угрюмый человѣкъ съ напряженнымъ лицомъ поддерживалъ его подъ локоть и несъ его чемоданъ. Ардалионъ былъ такъ пьянъ, что едва держался на ногахъ; виномъ несло и отъ угрюмца.

«Онъ въ такомъ видѣ не можетъ ѣхать!» — крикнула Лида.

Красный, съ бисеромъ пота на лбу, растерянный, валкій, безъ пальто (смутный расчетъ на тепло юга), Ардалионъ полѣзъ со всѣми лобызаться. Я едва успѣлъ отстраниться.

«Художникъ Кернъ, — отрекомендовался угрюмецъ, сунувъ мнѣ влажную руку. — Имѣлъ счастье съ вами встрѣчаться въ притонахъ Каира».

«Германъ, его такъ нельзя отпустить», — повторяла Лида, теребя меня за рукавъ.

Между тѣмъ двери уже захлопывались. Ардалионъ, ка-

чаясь и призывно крича, пошелъ было за повозкой продавца бисквитовъ, но друзья поймали его, и вдругъ онъ въ охапку сгребъ Лиду и сталъ смачно ее цѣловать.

«Эхъ ты, коза, — приговаривалъ онъ. — Прощай, коза, спасибо, коза...»

«Господа, — сказалъ я совершенно спокойно, — помогите мнѣ его поднять въ вагонъ».

Поездъ поплылъ. Сіяя и вопя, Ардаліонъ прямо-таки вываливался изъ окна. Лида бѣжала рядомъ и кричала ему что-то. Когда проѣхалъ послѣдній вагонъ, она, согнувшись, посмотрѣла подъ колеса и перекрестилась. Врукъ она все еще держала букетъ.

Какое облегченіе... Я вздохнулъ всей грудью и шумно выпустилъ воздухъ. Весь день Лида молча волновалась, но потомъ пришла телеграмма, два слова «Привѣтъ сдороги», и она успокоилась. Теперь предстояло послѣднее и самое скучное: поговорить съ ней, натаскать ее.

Почему-то не помню, какъ я къ этому разговору приступилъ: память моя включается, когда уже разговоръ въ полномъ ходу. Лида сидитъ противъ меня на диванѣ и на меня смотритъ въ нѣмомъ изумленіи. Я сижу на кончикѣ стула, изрѣдка, какъ врачъ, трогаю ее за кисть — и ровнымъ голосомъ говорю, говорю, говорю. Я рассказывалъ ей то, чего не рассказывалъ никогда. Я рассказывалъ ей о младшемъ моемъ братѣ. Онъ учился въ Германіи, когда началась война, былъ призванъ, сражался противъ Россіи. Помню его тихимъ, унылымъ мальчикомъ. Меня родители били, а его баловали, но онъ былъ съ ними неласковъ, зато ко мнѣ относился съ невѣроятнымъ, болѣе чѣмъ братскимъ, обожаніемъ, всюду слѣдовалъ за мной, заглядывалъ въ глаза, любилъ все, что меня касалось, любилъ нюхать и мять мой платокъ, надѣвать еще теплую мою сорочку, чистить зубы моей щеткой. Нѣтъ, — не извращенность, а сильное выраженіе неизъяснимаго нашего единства: мы были такъ похожи другъ на друга, что

даже близкіе родственники путали насъ, и съ годами это сходство становилось все безупречнѣе. Когда, помнится, я его провожалъ въ Германію, — это было незадолго до выстрѣла Принципа, — бѣдняжка такъ рыдалъ, такъ рыдалъ, — будто предчувствовалъ долгую и грозную разлуку. На вокзалѣ смотрѣли на насъ, — смотрѣли на этихъ двоихъ одинаковыхъ юношей, державшихся за руки и глядѣвшихъ другъ другу въ глаза съ какимъ-то скорбнымъ восторгомъ... Потомъ — война. Томясь въ далекомъ русскомъ плѣну, я ничего о братѣ не слышалъ, но почему-то былъ увѣренъ, что онъ убитъ. Душные годы, траурные годы. Я пріучилъ себя не думать о немъ, и даже потомъ, когда женился, ничего Лидѣ о немъ не рассказаль, — ужъ слишкомъ все это было тягостно. А затѣмъ, вскорѣ по пріѣздѣ съ женой въ Германію, я узналъ отъ нѣмецкаго родственника, появившагося мимоходомъ на мигъ, только ради одной реплики, что Феликсъ мой живъ, но нравственно погибъ. Не знаю, что именно, какое крушеніе души... Должно-быть, его нѣжная психика не выдержала бранныхъ испытаній, — а мысль, что меня уже нѣтъ (странно, — онъ былъ тоже увѣренъ въ смерти брата), что онъ больше никогда не увидитъ обожаемаго двойника, или, вѣрнѣе, усовершенствованное изданіе собственной личности, эта мысль изуродовала его жизнь, ему показалось, что онъ лишился опоры и цѣли, — и что отнынѣ можно жить кое-какъ. И онъ опустился. Этотъ чловѣкъ, съ душой какъ скрипка, занимался воровствомъ, подлогами, нюхалъ кокаинъ и наконецъ совершилъ убійство: отравилъ женщину, содержавшую его. О послѣднемъ дѣлѣ я узналъ изъ его-же устъ; къ отвѣтственности его такъ и не привлекли, настолько ловко онъ скрылъ преступленіе. А встрѣтился я съ нимъ такъ случайно, такъ неожиданно и мучительно... подавленность, которую даже Лида во мнѣ замѣчала, была какъ разъ слѣдствіемъ той встрѣчи, а произошла она въ Прагѣ, въ одномъ кафе. — Снѣ, помню, всталъ, увидя меня, раскрылъ объятія и по-

валился навзничъ въ глубокомъ обморокъ, длившемся восемнадцать минутъ.

Да, страшная встрѣча. Въмѣсто нѣжнаго, маленькаго увальня, я нашель говорливаго безумца съ рѣзкими тѣлодвиженіями... Счастье, которое онъ испыталъ, встрѣтивъ меня, дорогого Германа, внезапно, въ чудномъ сѣромъ костюмѣ, возставшаго изъ мертвыхъ, не только не поправило его душевныхъ дѣлъ, но совсѣмъ, совсѣмъ напротивъ, убѣдило его въ недопустимости и невозможности жить съ убійствомъ на совѣсти. Между нами произошла ужасная бесѣда, онъ цѣловаль мои руки, онъ прошался со мной... Я сразу же поняль, что поколебать въ немъ рѣшеніе покончить съ собой уже не подь силу никому, даже мнѣ, имѣвшему на него такое идеальное вліяніе. Для меня это были нелегкія минуты. Ставя себя на его мѣсто, я отлично представляль себѣ, въ какой изощренный застѣнокъ превратилась его память, и понималъ, увь, что выходъ одинъ — смерть. Не дай Богъ никому переживать такія минуты, видѣть, какъ братъ гибнетъ, и не имѣть моральнаго права гибель его предотвратить. Но вотъ въ чемъ сложность: его душа, нечуждая мистическихъ устремленій, непременно жаждала искупленія. жертвы, — просто пустить себѣ иулю въ лобъ казалось ему недостаточнымъ. «Я хочу смерть мою кому-нибудь подарить, — внезапно сказалъ онъ, и глаза его налились брилліантовымъ свѣтомъ безумія. — Подарить мою смерть. Мы съ тобой еще больше схожи, чѣмъ прежде. Въ этомъ сходствѣ я чувствую божественное намѣреніе. Наложить на рояль руки еще не значитъ сотворить музыку, а я хочу музыки. Скажи, тебѣ можетъ-быть выгодно было-бы исчезнуть со свѣта?» Я сначала не поняль его вопроса, мнѣ сдавалось, что Феликсъ бредить, — но изъ его дальнѣйшихъ словъ выяснилось, что у него есть опредѣленный планъ. Такъ! Съ одной стороны бездна страждущаго духа, съ другой — дѣловые проекты. При грозомъ свѣтѣ его трагической судьбы и поздняго ге-

ройства та часть его плана, которая касалась меня, моей выгоды, моего благополучія, казалась глуповато-материальной, какъ — скажемъ — громоотводъ на зданіи банка, вдругъ освѣщенный ночью молніей.

Дойдя примѣрно до этого мѣста моего разсказа, я остановился, откинулся на спинку стула, сложивъ руки и пристально глядя на Лиду. Она какъ-то стекла съ дивана на коверъ, подползла на колѣняхъ, прижалась головой къ моему бедру и заглушеннымъ голосомъ принялась меня утѣшать: «Какой ты бѣдный, — бормотала она, — какъ мнѣ больно за тебя, за брата... Боже мой, какіе есть несчастные люди на свѣтѣ. Онъ не долженъ погибнуть, всякаго человѣка можно спасти».

«Его спасти нельзя, — сказалъ я съ такъ называемой горькой усмѣшкой. — Онъ рѣшилъ умереть въ день своего рожденія, девятого марта, то-есть послѣзавтра, воспрепятствовать этому не можетъ самъ президентъ. Самоубійство есть самодурство. Все, что можно сдѣлать, это исполнить капризъ мученика, облегчить его участь сознаниемъ, что, умирая, онъ творитъ доброе дѣло, приноситъ пользу, — грубую, матеріальную пользу, — но все же пользу».

Лида обхватила мою ногу и уставилась на меня своими шоколадными глазами.

«Его планъ таковъ, — продолжалъ я ровнымъ тономъ, — жизнь моя, скажемъ, застрахована въ столько-то тысячъ. Гдѣ-нибудь въ лѣсу находятъ мой трупъ. Моя вдова, то-есть ты...»

«Не говори такихъ ужасовъ, — крикнула Лида, вскочивъ съ ковра. — Я только-что гдѣ-то читала такую исторію... Пожалуйста, замолчи...»

«...моя вдова, то-есть ты, получаетъ эти деньги. Погодя уѣзжаетъ въ укромное мѣсто. Погодя я инкогнито соединяюсь съ нею, даже можетъ быть снова на ней женюсь — подъ другимъ именемъ. Мое, вѣдь, имя умереть съ моимъ братомъ. Мы съ нимъ схожи, не перебивай меня, какъ

двѣ капли крови, и особенно будетъ онъ на меня похожъ въ мертвомъ видѣ».

«Перестань, перестань! Я не вѣрю, что его нельзя спасти... Ахъ, Германъ, какъ это все нехорошо... Гдѣ онъ сейчасъ, тутъ, въ Берлинѣ?»

«Нѣтъ, въ провинціи... Ты, какъ дура, повторяешь: спасти, спасти... Ты забываешь, что онъ убійца и мистикъ. Я же со своей стороны не имѣю права отказать ему въ томъ, что можетъ облегчить и украсить его смерть. Ты должна понять, что тутъ мы вступаемъ въ нѣкую высшую область. Вѣдь я же не говорю тебѣ: послушай, дѣла мои идутъ плохо, я стою передъ банкротствомъ, мнѣ все опротивѣло, я хочу уѣхать въ тихое мѣсто и тамъ предаваться созерцанію и куроводству, — давай воспользуемся рѣдкимъ случаемъ, — всего этого я не говорю, хотя я дѣйствительно на краю раззоренія и дѣйствительно давно мечтаю о жизни на лонѣ природы, — а говорю другое, — я говорю: Какъ это ни тяжело, какъ это ни страшно, но нельзя отказать родному брату въ его предсмертной просьбѣ, нельзя помѣшать ему сдѣлать добро, — хотя бы такое добро...»

Лида перемигнула, — я ее совсѣмъ заплевалъ, — но вопреки прыщущимъ словамъ прижалась ко мнѣ, хватая меня, а я продолжалъ:

«...Такой отказъ — грѣхъ, этотъ грѣхъ не хочу, не хочу брать на свою совѣсть. Ты думаешь, я не возражалъ ему, не старался его образумить, ты думаешь, мнѣ легко было согласиться на его предложеніе, ты думаешь, я спалъ всѣ эти ночи, — милая моя, вотъ уже полгода, какъ я страдаю, страдаю такъ, какъ моему злѣйшему врагу не дай Богъ страдать. Очень мнѣ нужны эти тысячи! Но какъ мнѣ отказать, скажи, какъ могу я въ конецъ замучить, лишить послѣдней радости... Э, да что говорить!»

Я отстранилъ ее, почти отбросилъ и сталъ шагать по комнатѣ. Я глоталъ слезы, я всхлипывалъ. Метались малиновыя тѣни мелодрамъ.

«Ты въ миллионъ разъ умнѣ меня, — тихо сказала Лида, ломая руки (да, читатель, дикси, ломая руки), — но все это такъ страшно, такъ ново, мнѣ казалось, что это только въ книгахъ... Вѣдь это значитъ... Все вѣдь абсолютно переивится, вся жизнь... Вѣдь... Ну, напримѣръ, какъ будетъ съ Ардаліономъ?»

«А ну его къ чортовой матери! Тутъ рѣчь идетъ о величайшей человѣческой трагедіи, а ты мнѣ суешь...»

«Нѣтъ, я просто такъ спросила. Ты меня огорчила, у меня все идетъ кругомъ. Я думаю, что — ну, не сейчасъ, а потомъ, вѣдь можно будетъ съ нимъ видѣться, ему объяснить, — Германъ, какъ ты думаешь?»

«Не заботься о пустякахъ, — сказалъ я, дернувшись, — тамъ будетъ видно. Да что это въ самомъ дѣлѣ (голосъ мой вдругъ перешелъ въ тонкій крикъ), что ты вообще за колода такая...»

Она расплакалась и сдѣлалась вдругъ податливой, нѣжной, припала ко мнѣ вздрагивая: «Прости меня, — лепетала она, — ахъ, прости... Я правда дура. Ахъ, прости меня. Весь этотъ ужасъ, который случился... Еще сегодня утромъ все было такъ ясно, такъ хорошо, такъ всегдашненько... Ты изстрадался, милый, я безумно жалѣю тебя. Я сдѣлаю все, что ты хочешь».

«Сейчасъ я хочу кофе, ужасно хочу».

«Пойдемъ на кухню, — сказала она, утирая слезы. — Я все сдѣлаю. Только побудь со мной, мнѣ страшно».

На кухнѣ, все еще потягивая носомъ, но уже успокоившись, она насыпала коричневыхъ крупныхъ зеренъ въ горло кофейной мельницы и, сжавъ ее между колѣнъ, завертѣла рукояткой. Сперва шло туго, съ хрустомъ и трескомъ, потомъ вдругъ полегчало.

«Вообрази, Лида, — сказалъ я, сидя на столѣ и болтая ногами, — вообрази, что все, что я тебѣ рассказываю — выдуманная исторія. Я самъ, знаешь, внушилъ себѣ, что это сплошь выдуманная или гдѣ-то мной прочитанная исторія, — единственный способъ не сойти отъ

ужаса съ ума. Итакъ: предприимчивый самоубійца и его застрахованный двойникъ... видишь ли, когда держатель полиса кончаетъ собой, то страховое общество платитъ не обязано. Поэтому — —»

«Я сварила очень крѣпкое, — сказала Лида, — тебѣ понравится. Да, я слушаю тебя».

«...поэтому герой этого сенсационнаго романа требуетъ слѣдующей мѣры: дѣло должно быть обставлено такъ, чтобы получилось впечатлѣніе убійства. Я не хочу входить въ техническія подробности, но въ двухъ словахъ: оружіе прикрѣплено къ дереву, отъ гашетки идетъ веревка, самоубійца, отвернувшись, дергаетъ, бахъ въ спину, — приблизительно такъ».

«Ахъ, подожди, — воскликнула Лида, — я что-то вспомнила: онъ какъ-то придѣлалъ револьверъ къ мосту... Нѣтъ, не такъ: онъ привязалъ къ веревкѣ камень... Позволь, какъ же это было? Да: къ одному концу — большой камень, а къ другому револьверъ, и значить выстрѣлилъ въ себя... А камень упалъ въ воду, а веревка — за нимъ черезъ перила, и револьверъ туда же, и все въ воду... Только я не помню, зачѣмъ это все нужно было...»

«Однимъ словомъ, концы въ воду, — сказала я, — я на мосту — мертвецъ. Хорошая вещь кофе. У меня безумно болѣла голова, теперь гораздо лучше. Ну такъ вотъ, ты, значить, понимаешь, какъ это происходитъ...»

Я пилъ мелкими глотками огненное кофе и думалъ: Вѣдь воображенія у нея ни на грошъ. Черезъ два дня мѣняется жизнь, неслыханное событіе, землетрясеніе... а она со мной попиваетъ кофе и вспоминаетъ похождения Шерлока...

Я, однако, ошибся: Лида вздрогнула и сказала, медленно опуская чашку:

«Германъ, вѣдь если это все такъ скоро, нужно начать укладываться. И знаешь, масса бѣлья въ стиркѣ... И въ чисткѣ твой смокингъ».

«Во-первыхъ, милая моя, я вовсе не желаю быть сож-

женнымъ въ смокингѣ; во-вторыхъ, выкинь изъ головы, забудь совершенно и моментально, что нужно тебѣ что-то дѣлать, къ чему-то готовиться и такъ далѣе. Тебѣ ничего не нужно дѣлать по той причинѣ, что ты ничего не знаешь, ровно ничего, — заруби это на носу. Никакихъ туманныхъ намековъ твоимъ знакомымъ, никакой суеты и покупокъ, — запомни это твердо, матушка, иначе будетъ для всѣхъ плохо. Повторяю: ты еще ничего не знаешь. Послѣзавтра твой мужъ поѣдетъ кататься на автомобилѣ и не вернется. Вотъ тогда-то, и только тогда, начнется твоя работа. Она простая, но очень отвѣтственная. Пожалуйста, слушай меня внимательно:

Десятаго утромъ ты позвонишь Орловіусу и скажешь ему, что я куда-то уѣхалъ, не ночевалъ, до сихъ поръ не вернулся. Спросишь, какъ дальше быть. Исполнишь все, что онъ посоветуетъ. Пускай, вообще, онъ беретъ дѣло въ свои руки, обращается въ полицію и т. д. Главное, постарайся убѣдить себя, что я, точно, погибъ. Да въ концѣ концовъ это такъ и будетъ, — братъ мой часть моей души».

«Я все сдѣлаю, — сказала она. -- Все сдѣлаю ради него и ради тебя. Но мнѣ уже такъ страшно, и все у меня путается».

«Пускай не путается. Главное — естественность горя. Пускай оно будетъ не ахти какое, но естественное. Для облегченія твоей задачи я намекнулъ Орловіусу, что ты давно разлюбила меня. Итакъ, пусть это будетъ тихое, сдержанное горе. Вдыхай и молчи. Когда же ты увидишь мой трупъ, т. е. трупъ человѣка, неотличимаго отъ меня, то ты конечно будешь потрясена».

«Ой, Германъ, я не могу. Я умру со страху».

«Гораздо было бы хуже, если бы ты въ мертвенкой стала пудрить себѣ носъ. Во всякомъ случаѣ, сдержись, не кричи, а то придется, послѣ криковъ, повисить общее производство твоего горя, и получится плохой театр. Теперь дальше. Предавъ мое тѣло огню, въ соответствіи

съ завѣщаніемъ, выполнивъ всѣ формальности, получивъ отъ Орловіуса то, что тебѣ причитается и распорядившись деньгами сообразно съ его указаніями, ты уѣдешь за границу, въ Парижъ. Гдѣ ты въ Парижѣ остановишься?»

«Я не знаю, Германъ».

«Вспомни, гдѣ мы съ тобой стояли, когда были въ Парижѣ. Ну?»

«Да, конечно знаю. Отель».

«Но какой отель?»

«Я ничего не могу вспомнить, Германъ, когда ты смотришь такъ на меня. Я тебѣ говорю, что знаю. Отель что-то такое».

«Подскажу тебѣ: имѣеть отношеніе къ травѣ. Какъ трава по-французски?»

«Сейчасъ. Эрбъ. О, вспомнила: Малербъ».

«На всякій случай, если забудешь опять: наклейка отеля есть на черномъ сундукѣ. Всегда можешь посмотреть».

«Ну знаешь, Германъ, я все-таки не такая растяпа. А сундукъ я съ собой возьму. Черный».

«Вотъ ты тамъ и остановишься. Дальше слѣдуетъ нѣчто крайне важное. Но сначала все повтори».

«Я буду печальна. Я буду стараться не очень плакать. Орловіусъ. Я закажу себѣ два черныхъ платья».

«Погоди. Что ты сдѣлаешь, когда увидишь трупъ?»

«Я упаду на колѣни. Я не буду кричать».

«Ну вотъ видишь, какъ все это хорошо выходитъ. Ну, дальше?»

«Дальше, я его похороню».

«Во-первыхъ, не его, а меня. Пожалуйста, не спутай. Во-вторыхъ, не похороны, а сожженіе. Орловіусъ скажетъ пастору о моихъ достоинствахъ, нравственныхъ, гражданскихъ, супружескихъ. Пасторъ въ крематорской часовнѣ произнесетъ прочувствованную рѣчь. Мой гробъ подъ звуки органа тихо опустится въ преисподнюю. Вотъ и все. Затѣмъ?»

«Затѣмъ — Парижъ. Нѣтъ, постой, сперва всякія денежныя формальности. Мнѣ, знаешь, Орловиусъ надоѣсть хуже горькой рѣдьки. Въ Парижѣ остановлюсь въ отелѣ — ну вотъ, я знала, что забуду, — подумала, что забуду, и забыла. Ты меня какъ-то тѣснишь... Отель... отель.. Малербъ! На всякій случай — черный сундукъ».

«Такъ. Теперь важное: какъ только ты пріѣдешь въ Парижъ, ты меня извѣстишь. Какъ мнѣ теперь сдѣлать, чтобы ты запомнила адресъ?»

«Лучше запиши, Германъ. У меня голова сейчасъ не работаетъ. Я ужасно боюсь все перепутать».

«Нѣтъ, милая моя, никакихъ записываній. Ужъ хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адресъ тебѣ придется запомнить, волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его записывать. Дошло?»

«Да, Германъ. Но я же не могу запомнить...»

«Глупости. Адресъ очень простъ. Пострестантъ. Иксъ».
— (я назвала городъ).

«Это тамъ, гдѣ прежде жила тетя Лиза? Ну да, это легко вспомнить. Я тебѣ говорила про нее. Она теперь живетъ подъ Ниццей. Поѣзжай лучше въ Ниццу».

«Вотъ именно. Значитъ, ты запомнила эти два слова. Теперь — имя. Ради простоты я тебѣ предлагаю написать такъ: Мсье Малербъ».

«Она вѣроятно все такая же толстая и бойкая. Знаешь, Ардалионъ писалъ ей, прося денегъ, но конечно...»

«Все это очень интересно, но мы говоримъ о дѣлѣ. На какое имя ты мнѣ напишешь?»

«Ты еще не сказалъ, Германъ».

«Нѣтъ, сказалъ, — я предложилъ тебѣ: Мсье Малербъ».

«Но какъ же, вѣдь это гостиница, Германъ?»

«Вотъ потому-то. Тебѣ будетъ легче запомнить по ассоціаціи».

«Ахъ, я забуду ассоціацію, Германъ. Это безнадежно».

Пожалуйста, не надо ассоціацій. И вообще — ужасно поздно, я устала».

«Хорошо. Придумай сама имя. Имя, которое ты навѣрное запомнишь. Ну, хочешь — Ардаліонъ?»

«Хорошо, Германъ».

«Вотъ великолѣпно. Мсье Ардаліонъ. Пострестантъ Иксъ. А напишешь ты мнѣ такъ: Дорогой другъ, ты навѣрное слышалъ о моемъ горѣ и дальше въ томъ же родѣ. Всего нѣсколько словъ. Письмо ты опустишь сама. Письмо ты опустишь сама. Есть?»

«Хорошо, Германъ».

«Теперь, пожалуйста, повтори».

«Я, знаешь, прямо умираю отъ напряженія. Боже мой, половина второго. Можетъ быть, завтра?»

«Завтра все равно придется повторить. Ну-съ, пожалуйста, я васъ слушаю».

«Отель Малербъ. Я приѣхала. Я опустила письмо. Сама. Ардаліонъ, пострестантъ, Иксъ. А что, дальше, когда я напишу?»

«Это тебя не касается. Тамъ будетъ видно. Ну, что-же, — и могу быть увѣренъ, что ты все это исполнишь?»

«Да, Германъ. Только не заставляй меня опять повторять. Я смертельно устала».

Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно потрясла откинутой головой и повторила, ероша волосы: «Ахъ, какъ я устала, ахъ...» — и «ахъ» перешло въ зѣвоту. Мы отправились спать. Она раздѣлась, кидая куда попало платье, чулки, разныя свои дамскія штучки, рухнула въ постель и тотчасъ стала посвистывать носомъ. Я легъ тоже и потушилъ свѣтъ, но спать не могъ. Помню, она вдругъ проснулась и тронула меня за плечо.

«Что тебѣ?» — спросилъ я съ притворной сонливостью.

«Германъ, — залепетала она, — Германъ, послушай, а ты не думаешь, что это .. жульничество?»

«Спи, — отвѣтилъ я. — Не твоего ума дѣло. Глубокая трагедія, — а ты — о глупостяхъ. Спи, пожалуйста».

Она сладко вздохнула, повернулась на другой бокъ и засвистала олять.

Любопытная вещь: невзирая на то, что я себя ничуть не обольщалъ насчетъ способностей моей жены, тупой, забывчивой и нерасторопной, все же я былъ почему-то совершенно спокоенъ, совершенно увѣренъ въ томъ, что ея преданность безсознательно поведетъ ее по вѣрному пути, не дастъ ей оступиться и — главное — заставить ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлялъ себѣ, какъ, глядя на ея нанвно искусственное горе, Орловиусъ будетъ опять глубокомысленно сокрушенно качать головой, — и, Богъ его знаетъ, быть можетъ подумаетъ: не любовникъ ли укукошилъ бѣднаго мужа, — но тутъ онъ вспомнить шантажное письмо отъ неизвѣстнаго безумца.

Весь слѣдующій день мы просидѣли дома, и снова, кропотливо и нестойчиво, я заряжалъ жену, набивалъ ее моей волей, какъ вотъ гуся насильно пичкають кукурдой, чтобы набухла печень. Къ вечеру она едва могла ходить. Я остался доволенъ ея состояніемъ. Мнѣ самому теперь было пора готвиться. Помню, какъ въ тотъ вечеръ я мучительно прикидывалъ, сколько денегъ взять съ собой, сколько оставить Лидѣ, мало было гамзы, очень мало. У меня явилась мысль прихватить съ собой на всякій случай цѣнную вещьцу, и я сказалъ Лидѣ:

«Дай-ка мнѣ твою московскую брошку».

«Ахъ да, брошку», — сказала она, вяло вышла изъ комнаты, но тотчасъ вернулась, легла на диванъ и зарыдала, какъ не рыдала еще никогда.

«Что съ тобой, несчастная?»

Она долго не отвѣчала, а потомъ, глухо всхлипывая и не глядя на меня, объяснила, что брошка заложена, что деньги пошли Ардаліону, ибо пріятель ему денегъ не вернулъ.

«Ну, ладно, ладно, не реви, -- сказать я. -- Ловка

устроился, но слава Богу уѣхалъ, убрался, — это главное».

Она мигомъ успокоилась и даже просіяла, увидя, что я не сержусь, и пошла, шатаясь, въ спальню, долго рылась, принесла какое-то колечко, сережки, старомодный портсигаръ, принадлежавшій ей бабушкѣ. Ничего изъ этого я не взялъ.

«Вотъ что, — сказала я, блуждая по комнатѣ и кушая заусеницы, — вотъ что, Лида. Когда тебя будутъ спрашивать, были ли у меня враги, когда будутъ допытываться, кто же это могъ убить меня, говори: не знаю. И вотъ еще что: я беру съ собой чемоданъ, но это конечно между нами. Не должно такъ казаться, что я собрался въ какое-то путешествіе, — это выйдетъ подозрительно. Впрочемъ — —> — тутъ, помнится, я задумался. Странно, — почему это, когда все было такъ чудесно продумано и предусмотрено, вылъзала торчкомъ мелкая деталь, какъ при укладкѣ вдругъ замѣчаешь, что забылъ уложить маленький, но громоздкій пустякъ, — есть такіе недобросовѣстные предметы. Въ мое оправданіе слѣдуетъ сказать, что вопросъ чемодана былъ, пожалуй, единственный пунктъ, который я рѣшилъ измѣнить: все остальное шло именно такъ, какъ я замыслилъ давнымъ-давно, можетъ быть много мѣсяцевъ тому назадъ, можетъ быть въ ту самую секунду, когда я увидѣлъ на травѣ спящаго бродягу, точь-въ-точь похожаго на мой трупъ. Нѣтъ, — подумалъ я, — чемодана все-таки не слѣдуетъ брать, все равно кто-нибудь да увидитъ, какъ несу его внизъ.

«Чемодана я не беру», — сказала я вслухъ и опять зашагала по комнатѣ.

Какъ мнѣ забыть утро девятого марта? Само по себѣ оно было блѣдное, холодное, ночью выпало немного снѣга, и швейцары подметали тротуары, вдоль которыхъ тянулся невысокій снѣговой хребетъ, а асфальтъ былъ уже чистый и черный, только слегка лоснился. Лида мирно спала. Все было тихо. Я приступилъ къ одѣванію. Одѣлся

я такъ: двѣ рубашки, одна на другую, — приче́мъ верхняя, уже ноше́ная, была для него. Кальсонъ — тоже двѣ пары, и опять же верхняя предназначалась ему. Заси́мъ я сдѣлалъ небольшой паке́тъ, въ который вошли маникюрный приборъ и все что нужно для бритья. Это́тъ паке́тикъ я сразу же, боясь его забыть, сунулъ въ карма́нъ пальто, висѣвшаго въ прихожей. Далѣе я надѣлъ двѣ пары носковъ (верхняя — съ дыркой), черные башмаки, мышинья гетры, — и въ такомъ видѣ, т. е. уже изящно обу́тый, но еще безъ панталонъ, нѣкоторое время стоялъ посреди комнаты, вспоминая, все-ли такъ дѣлаю, какъ было рѣшено. Вспомни́въ, что нужна лишняя пара подвязокъ, я разыскалъ старую и присоединилъ ее къ паке́тику, для чего пришлось опять выходить въ переднюю. Наконецъ выбралъ любимый сиреневый галстукъ и плотный темно-сѣрый костюмъ, который обычно носилъ послѣднее время. Разложилъ по карма́намъ слѣдующія вещи: бума́жникъ (около полутора тысячъ марокъ), паспорты, кое-какія незначительныя бума́жки съ адресами, счетами... Спихватился: паспортъ было вѣдь рѣшено не брать — очень тонкій маневръ: незначительныя бума́жки какъ-то художественнѣе устанавливали личность. Еще взялъ я: ключи, портсигаръ, зажигалку. Теперь я былъ одѣтъ, я хлопалъ себя по карма́намъ, я отдувался, мнѣ было жарко въ двойной оболочкѣ бѣлья. Оставалось сдѣлать самое главное, — это была цѣлая церемонія: медленное выдвиганіе ящика, гдѣ онъ покоился, тщательный осмотръ. далеко впрочемъ не первый. Онъ былъ отлично смазанъ, онъ былъ туго набитъ... Мнѣ его подарилъ въ двадцатомъ году въ Ревелѣ незнакомый офицеръ, — вѣрнѣе, просто оставилъ его у меня, а самъ исчезъ. Я не знаю, что стало́сь потомъ съ этимъ любезнымъ поручикомъ.

Между тѣмъ Лида проснулась, запахла въ земляничныи халатъ, мы сѣли въ столовой, Эльза принесла кофе. Когда Эльза ушла:

«Ну-съ, — сказа́лъ я, — день настать, сейчасъ поѣду».

Маленькое отступление литературного свойства. Ритмъ этотъ — нерусскій, но онъ хорошо передаетъ мое эническое спокойствіе и торжественный драматизмъ положенія:

«Германъ, пожалуйста, останься, никуда не ѣзди», — тихо проговорила Лида и, кажется, даже сложила ладони

«Ты, надѣюсь, все запомнила», — продолжалъ я невозмутимо.

«Германъ, — повторила она, — не ѣзди никуда. Пускай онъ дѣлаетъ все, что хочетъ, — это его судьба, ты не вмѣшивайся...»

«Я радъ, что ты все запомнила, — сказалъ я съ улыбкой, — ты у меня молодецъ. Вотъ, съѣмъ еще булочку и двинусь».

Она расплакалась. Потомъ высморкалась, громко трубя, хотѣла что-то сказать, но опять принялась плакать. Зрѣлище было довольно любопытное: я — хладнокровно мажущій масломъ рогульку, Лида — сидящая протгивъ меня и вся прыгающая отъ плача. Я сказалъ съ полнымъ ртомъ: «По крайней мѣрѣ, ты сможешь во неслышаніе — (— пожевалъ, проглотилъ, —) вспомнить, что у тебя было дурное предчувствіе, хотя уѣзжалъ я довольно часто и не говорилъ куда. А враги, сударыня, у него были? Не знаю, господинъ слѣдователь».

«Но что же дальше будетъ?» — тихонько простонала Лида, медленно разводя руками.

«Ну, довольно, моя милая, — сказалъ я другимъ тономъ. — Поплакала, и будетъ. И не вздумай сегодня реветъ при Эльзѣ».

Она утрамбовала плагкомъ глаза, грустно хрюкнула и опять развела руками, но уже молча и безъ слезъ.

«Все запомнила?» — въ послѣдній разъ спросилъ я, пристально смотря на нее.

«Да, Германъ. Все. Но я такъ, такъ боюсь...»

Я всталъ, она встала тоже. Я сказалъ:

«До свиданія, будь здорова, мнѣ пора къ пациенту».

«Германъ, послушай, ты же не собираешься присутствовать?»

Я даже не понялъ.

«То-есть какъ: присутствовать?»

«Ахъ, ты знаешь, что я хочу сказать. Когда... Ну, однимъ словомъ, когда... съ этой веревочкой...»

«Вотъ дура, — сказалъ я. — А какъ же иначе? Кто потомъ все приберетъ? Да и нечего тебѣ такъ много думать, пойдн въ кинематографъ сегодня. До-свиданія, дура».

Мы никогда не цѣловались, — я не терплю слякоти лобзаній. Говорятъ, японцы тоже — даже въ минуты страсти — никогда не цѣлуютъ своихъ женщинъ, — просто имъ чуждо и непонятно, и можетъ быть даже немного) противно это прикосновеніе голыми губами къ эпителию ближняго. Но теперь меня вдругъ потянуло жену поцѣловать, она же была къ этому неготова. какъ то такъ вышло, что я всего лишь скользнулъ по ея волосамъ и уже не повторилъ попытки, а шелкнувъ почему-то каблучками, только тряхнулъ ея вялую руку и вышелъ въ переднюю. Тамъ я быстро одѣлся, схватилъ перчатки, провѣрилъ, взять ли свертокъ, и уже идя къ двери услышалъ, какъ изъ столовой она меня зоветъ плаксивымъ и тихимъ голосомъ, но я не обратилъ на это вниманія, мнѣ хотѣлось поскорѣе выбраться изъ дому.

Я направился во дворъ, гдѣ находился большой, полный автомобилей гаражъ. Меня привѣтствовали улыбками. Я сѣлъ, пустилъ моторъ въ ходъ. Асфальтовая поверхность двора была немного выше поверхности улицы, такъ что при въѣздѣ въ узкій наклонный туннель, соединявшій дворъ съ улицей, автомобиль мой, сдержанный тормозами, легко и беззвучно нырнулъ.

VIII.

Сказать по правдѣ — испытываю нѣкоторую усталость. Я пишу чуть ли не отъ зари до зари, по главѣ въ сутки, а то и больше. Великая, могучая вещь — искусство. Вѣдь мнѣ, въ моемъ положеніи, слѣдовало бы дѣйствовать, волноваться, петлять... Прямой опасности нѣтъ, конечно, — и я полагаю, что такой опасности никогда и не будетъ, — но все-таки странно — сиднемъ сидѣть и писать, писать, писать, или же подолгу думать, думать, думать, — что въ общемъ то же самое. И чѣмъ дальше я пишу, тѣмъ яснѣе становится, что я этого такъ не оставляю, договарюсь до главнаго, — и уже непременно, непременно опубликую мой трудъ, несмотря на рискъ, — а впрочемъ и риска-то особеннаго нѣтъ: какъ только рукопись отошлю, — смоюсь; мѣръ достаточно великъ, чтобы могъ спрятаться въ немъ скромный, бородастый мужчина.

Рѣшеніе трудъ мой вручить тому густо психологическому беллетристу, о которомъ я какъ будто уже упоминалъ, даже, кажется, обращалъ къ нему мой рассказъ, (— давно бросилъ написанное перечитывать, — некогда да и тошно...) было принято мною несразу, — сначала я думалъ, не проще ли всего послать оный трудъ прямо какому-нибудь издателю, нѣмецкому, французскому, американскому, — но вѣдь написано-то по-русски, и не все переводимо, — а я, признаться, дорожу своей литературной колоратурой и увѣренъ, что пропади иной выгибъ, иной оттѣнокъ — все пойдетъ на смарку. Еще я думалъ послать его въ СССР, — но у меня нѣтъ необходимыхъ адресовъ, — да и не знаю, какъ это дѣлается, пропускать ли манускриптъ черезъ границу, — вѣдь я по привычкѣ пользуюсь старой орфографіей, — переписывать же нѣтъ силъ... Что переписывать! Не знаю, допишу ли вообще, выдержу ли напряженіе, не умру ли отъ кровоизліянія въ мозгу...

Рѣшивъ наконецъ дать рукопись мою человѣку, который долженъ ею предѣститься и приложить всѣ старанія, чтобы она увидѣла свѣтъ, я вполне отдаю себѣ отчетъ въ томъ, что мой избранникъ (ты, мой первый читатель), — беллетристъ бѣженскій, книги котораго въ СССР появляться никакъ не могутъ. Но для этой книги сдѣлають, быть можетъ, исключеніе, — въ концѣ концовъ, не ты ее писалъ. О, какъ я деляю надежду, что несмотря на твою эмигрантскую подпись (прозрачная подложность которой ни для кого не останется загадкой), книга моя найдется сбытъ въ СССР! Далеко не являясь врагомъ совѣтскаго строя, я должно-быть невольно выразилъ въ ней инныя мысли, которыя вполне соответствуютъ діалектическимъ требованіямъ текущаго момента. Мнѣ даже представляется иногда, что основная моя тема, сходство двухъ людей, есть нѣкое иносказаніе. Это разительное физическое подобіе вѣроятно казалось мнѣ (подсознательно!) залогомъ того идеальнаго подобія, которое соединить людей въ будущемъ безклассовомъ обществѣ, — и стремясь частный случай использовать, — я, еще социалью не прозрѣвшій, смутно выполнялъ все же нѣкоторую социальную функцію. И опять же: неполная удача моя въ смыслѣ реализаціи этого сходства объяснима чисто социалью-экономическими причинами, а именно тѣмъ, что мы съ Феликсомъ принадлежали къ разнымъ, рѣзко отграниченнымъ классамъ, сліянiе которыхъ не подѣ силу одиночкѣ, да еще нынѣ, въ періодъ безкомпромисснаго обостренія борьбы. Правда, мать моя была изъ простыхъ, а дѣдъ съ отцовской стороны въ молодости пасъ гусей. — такъ что мнѣ самому-то очень даже понятно, откуда въ человѣкѣ моего склада и обихода имѣется это глубокое, хотя еще неполнѣ выявленное устремленіе къ подлинному сознанію. Мнѣ грезится новый міръ, гдѣ всѣ люди будутъ другъ на друга похожи, какъ Германъ и Феликсъ, — міръ Геликсовъ и Фермановъ, — міръ, гдѣ рабочаго, павшаго у станка, замѣнить тотчасъ, съ невозмѣтн-

мой социальной улыбкой, его совершенный двойникъ. Посему думаю, что совѣтской молодежи будетъ небезполезно прочесть эту книгу и прослѣдить въ ней, подъ руководствомъ опытнаго марксиста, рудиментарное движеніе заложенной въ ней социальной мысли. Другіе же народы пушай переводятъ ее на свои языки, — американцы утоляютъ, читая ее, свою жажду кровавыхъ сенсаций, французамъ привидятся миражи Содомы въ пристрастии моемъ къ бродягѣ, нѣмцы наслаждаются причудами подушлявнянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа! Я всецѣло это привѣтствую.

Но писать ее нелегко. Особенно сейчасъ, когда приближаюсь къ самому, такъ сказать, рѣшительному дѣйствию, вся трудность моей задачи является мнѣ — и вотъ, какъ видите, я отвливаю, болтаю о вещахъ, мѣсто коимъ въ предисловіи къ повѣсти, а не въ началѣ ея самой важной главы. Но я уже объяснялъ, что, несмотря на расщепленность и лукавство подступовъ, не я, не разумъ мой пишетъ, а только память моя, только память. Вѣдь и тогда, то-есть въ часъ, на которомъ остановилась стрѣлка моего рассказа, я какъ бы тоже остановился, медлилъ, какъ медлю сейчасъ, — и тогда тоже я занятъ былъ путанными разсужденіями, не относящимися къ дѣлу, срокъ котораго все близился. Вѣдь я отправился въ путь утромъ, а свиданіе мое съ Феликсомъ было назначено на пять часовъ пополудни; дома мнѣ не сидѣлось, но куда сбыть мутно-бѣлое время, отдѣлявшее меня отъ встрѣчи? Удобно, даже сонно, сидя и управляя какъ бы однимъ пальцемъ, я медленно катилъ по Берлину, по тихимъ, холоднымъ, шепчущимъ улицамъ, — и все дальше, дальше, покуда не замѣтилъ, что я уже изъ Берлина выѣхалъ. День былъ выдержанъ въ двухъ тонахъ, — черномъ (вѣтви деревьевъ, асфальтъ) и бѣлесомъ (небо, пятна снѣга). Все продолжалось мое сонное перемѣщеніе. Нѣкоторое время передо мной моталась большая, неприятная тряпка, которую ломовой, везущій что-либо длинное, нацѣпляетъ на

торчащій сзади конечь, — потомъ это исчезло, завернуло куда-то. Я не прибавилъ хода. На другомъ перекресткѣ выскочилъ миѣ наперерѣзъ таксомоторъ, со стономъ затормозилъ и такъ какъ было довольно склизко закружился винтомъ. Я невозмутимо проѣхалъ, будто плыль по теченію. Дальше, женщина въ глубокомъ траурѣ наискось переходила мостовую передо мной, не видя меня; я не гукнулъ, не измѣнилъ тихаго ровнаго движенія, проплыль бѣ двухъ вершкахъ отъ ея крепа, она даже не замѣтила меня, — беззвучнаго призрака. Меня обгоняло любое колесо; долго шель вровень со мной медленный трамвай, и я уголкою глаза видѣлъ пассажировъ, глупо сидѣвшихъ другъ противъ друга. Раза два я проѣзжалъ потоки мошеными мѣстами, и уже появились куры: расправилъ куцья крылья и вытянувъ шею, перебѣгали дорогу (а можетъ быть это было не тогда, а лѣтомъ). Потомъ ѣхалъ по длинному, длинному шоссе, мимо жннвевъ испещренныхъ снѣгомъ, и въ совершенно безлюдной мѣстности автомобиль мой какъ бы задремалъ, точно изъ снятаго сдѣлался сизымъ, постепенно замеръ и остановился, и я склонился на руль въ неизяснимомъ раздумьѣ. О чемъ я думалъ? Ни о чемъ или о глупостяхъ, я путался, я почти засыпалъ, я въ полуобморокѣ разсуждалъ самъ съ собой о какой-то ерундѣ, вспоминалъ какой-то споръ, бывшій у меня когда-то съ кѣмъ-то на какой-то станціи, о томъ, можно ли видѣть солнце во снѣ, — и потомъ миѣ начинало казаться, что кругомъ много людей, и всѣ говорятъ сразу и замолкають, и давъ другъ другу смутныя порученія, беззвучно расходятся. Погодя я двинулся дальше и въ полдень, влачась черезъ какую-то деревню, рѣшилъ тамъ сдѣлать привалъ, — ибо даже такимъ дремотнымъ темломъ я оттуда добирался до Кенигсдорфа черезъ часъ не болѣе, а у меня было еще много времени въ запасѣ. Я долго сидѣлъ въ темномъ и скучномъ трактирѣ, совершенно одинъ, въ задней какой-то комнатѣ у большого стола, и на стѣнѣ висѣла старая фотографія:

группа мужчинъ въ сюртукахъ, съ закрученными усами, при чемъ кое-кто изъ переднихъ непринужденно опустился на одно колѣно, а двое даже прилегли по бокамъ, и это напоминало русскія студенческія фотографіи. Я выпилъ много воды съ лимономъ и все въ томъ же до неприличія сонномъ настроеніи поѣхалъ дальше. Помню, что черезъ нѣкоторое время, у какого-то моста, я снова остановился: старая женщина въ синихъ шерстяныхъ штанахъ, съ мѣшкомъ за плечами, хлопотала надъ своимъ поврежденнымъ велосипедомъ. Я, не выходя изъ автомобиля, далъ ей нѣскольکو совѣтовъ, совершенно впрочемъ непрошенныхъ и ненужныхъ, а потомъ замолчалъ и, опершись щекой о ладонь, а локтемъ о руль, долго и бессмысленно смотрѣлъ на нее, — она все возилась, возилась, но наконецъ я перемигнулъ, и оказалось, что никого уже нѣтъ, — она давно уѣхала. Я двинулся дальше, стараясь помножить въ умѣ два неуклюжихъ числа, неизвѣстно что означавшихъ и откуда выплывшихъ, но разъ они явились, нужно было ихъ сравнить, — и вотъ они сцепились и рассыпались. Вдругъ мнѣ показалось, что я ѣду съ бѣшеней скоростью, что машина прямо пожираетъ дорогу, какъ фокусникъ, поглощающій длинную ленту, но я посмотрѣлъ на стрѣлку, она трепетала на тридцати, — и тихо проходили мимо сосны, сосны, сосны. Еще помню: я встрѣтилъ двухъ школьничковъ, маленькихъ блѣдныхъ мальчишковъ съ книжками, схваченными ремешкомъ, и поговорилъ съ ними; у нихъ были непріятныя птичьи фізіономіи, вродѣ какъ у воронятъ, и они какъ будто побаивались меня, и когда я отѣхалъ, долгое время глядѣли мнѣ вслѣдъ, разинувъ черные рты, — одинъ повыше, другой пониже. И внезапно я очутился въ Кенигсдорфѣ, взглянулъ на часы и увидѣлъ, что уже пять. Проезжая мимо краснаго зданія станціи, я подумалъ, что можетъ быть Феликсъ запоздалъ почему-либо и еще не спускался вонъ по тѣмъ ступенямъ мимо того автомата съ шоколадомъ, — и что нѣтъ никакой возможности уста-

новить по внѣшнему виду приземистаго краснаго зданія, проходилъ ли онъ уже тутъ. Какъ бы тамъ ни было, поѣздъ, съ которымъ вѣрно было ему пріѣхать въ Кенигсдорфъ, прибывалъ въ безъ пяти три, — значитъ, если Феликсъ на него не опоздалъ...

Читатель, ему было сказано, выйти въ Кенигсдорфъ и пойти на сѣверъ по шоссе до десятаго километра, до желтаго столба, — и вотъ теперь я во весь опоръ гналь по тому шоссе, — незабываемая минута! Оно было пустынно. Автобусъ ходитъ тамъ зимой только дважды въ день, — утромъ и въ полдень, — на протяженіи этихъ десяти километровъ мнѣ навстрѣчу попалась только таратайка, запряженная гнѣдой лошадыю. Наконецъ, вдали, желтымъ мизинцемъ выпрямился знакомый столбъ и увеличился, доросъ до естественныхъ своихъ размѣровъ, и на немъ была мурмолка снѣга. Я затормозилъ и оглядѣлся. Никого. Желтый столбъ былъ очень желтъ. Справа за полемъ театральная декорацией плоско сѣрѣлъ дѣсь. Никого. Я вылѣзъ изъ автомобиля и со стукомъ сильнѣе всякаго выстрѣла захлопнулъ за собою дверцу. И вдругъ я замѣтилъ, что изъ-за спутанныхъ прутьевъ куста, росшаго въ канавѣ, глядитъ на меня усатенькій, восковой, довольно неселый — —

Поставивъ одну ногу на подножку автомобиля и какъ разгнѣванный теноръ хлеща себя по рукѣ снятой перчаткой, я неподвижнымъ взглядомъ уставился на Феликса. Неувѣренно ухмыляясь, онъ вышелъ изъ канавы.

«Ахъ ты, негодяй, — сказала я сквозь зубы съ необыкновенной, оперной силой. — Негодяй и мошенникъ, — повторилъ я уже полнымъ голосомъ, все яростнѣй хлеща себя перчаткой (въ оркестрѣ все громыхало промежъ взрывовъ моего голоса), — какъ ты смѣлъ, негодяй, разболтать? Какъ ты смѣлъ, какъ ты смѣлъ у другихъ просить совѣтовъ, хвастать, что добился своего, что въ такой-то день на такомъ-то мѣстѣ... вѣдь тебя за это убить мало» — (грохотъ, брицаніе и опять мой голосъ:)

— «Многого ты этимъ достигъ, идиотъ! Профершипиллся, маху далъ, не видать тебѣ ни гроша, болтунъ!» — (ким-вальная пощечина въ оркестръ).

Такъ я его ругалъ, съ холодной жадностью слѣдя за выраженіемъ его лица. Онъ былъ ошарашень, онъ былъ искренне обиженъ. Прижавъ руку къ груди, онъ качалъ головой. Отрывокъ изъ оперы кончился, и громковѣщатель заговорилъ обыкновеннымъ голосомъ.

«Ну ужъ ладно, браню тебя просто такъ, для проформы, на всякій случай.... А видь у тебя, дорогой мой, забавный, — прямо гримъ!»

По моему приказу онъ отпустилъ усы; они кажется были даже нафабрены; кромѣ того, уже по личному своему почину, онъ устроилъ себѣ по двѣ курчавыхъ котлетки. Эта претенціозная растительность меня чрезвычайно развеселила.

«Ты конечно прѣѣхалъ тѣмъ путемъ, какъ я тебѣ велѣлъ?» — спросилъ я улыбаясь.

Онъ отвѣтилъ:

«Да, какъ вы велѣли. А насчетъ того, чтобы болтать.. — сами знаете, я несходчивъ и одинокъ».

«Знаю и сокрушаюсь вмѣстѣ съ тобой, — сказалъ я. — А встрѣчные по дорогѣ были?»

«Если кто и проѣзжалъ, я прятался въ канаву, какъ вы велѣли».

«Ладно. Наружность твоя и такъ хорошо спрятана. Ну-съ, — нечего тутъ прохлаждаться. Садись въ автомобиль. Оставь, оставь, — потому мѣшокъ снимешь. Садись, скорѣе, намъ нужно отъѣхать отсюда».

«Куда?» — полюбопытствовалъ онъ.

«Вонъ въ тотъ лѣсъ».

«Туда?» — спросилъ онъ и указалъ палкой.

«Да, именно туда. Сядешь ли ты когда-нибудь, чортъ тебя дерни!»

Онъ съ удовольствіемъ разглядывалъ автомобиль. Неспѣша влѣзъ и сѣлъ рядомъ со мной.

Я повернулъ руль, медленно двинулись.. ух! еще разъ: ух! (сѣхали на поле) — подъ колесами зашуршаль мелкій снѣгъ и дряхлыя травы. Автомобиль подпрыгивалъ на кочкахъ, мы съ Феликсомъ — тоже. Онъ говорилъ:

«Я безъ труда съ нимъ справлюсь (гопъ). Я ужъ прокачусь (гопъ). Вы не бойтесь, я (гопъ-гопъ) его не попорчу».

«Да, автомобиль будетъ твой. На короткое время (гопъ) твой. Но ты, братъ, не зѣвай, посматривай кругомъ, никого нѣтъ на шоссе?»

Онъ обернулся и затѣмъ отрицательно мотнулъ головой. Мы вѣхали или вѣриѣ вползли въ лѣсъ. Кузовъ скрипѣлъ и ухалъ, хвойныя вѣтви мели по крыльямъ.

Углубившись немного въ боръ, остановились и вытѣзли. Уже безъ вождельнїя неимущаго, а со спокойнымъ удовлетворенїемъ собственника, Феликсъ продолжалъ любоваться лаково-синей машиной. Его глаза подернулись поволокой задумчивости. Вполнѣ возможно, — замѣтите, я не утверждаю, а говорю: вполнѣ возможно, — вполнѣ возможно, что мысль его потекла приблизительно такъ: а что если улизнуть на этой штучкѣ? Вѣдь деньги я сейчасъ получу впередъ. Притворюсь, что все исполню, а на самомъ дѣлѣ укачу далеко. Вѣдь въ полицію онъ обратиться не можетъ, будетъ, значить, молчать. А я на собственной машинѣ... — —

Я прервалъ теченїе этихъ прїятныхъ думъ. «Ну что жъ, Феликсъ, великая минута наступила. Ты сейчасъ переодѣнешься и останешься съ автомобилемъ одинъ въ лѣсу. Черезъ полчаса стемнѣтъ, врядъ ли кто потревожитъ тебя. Проночуешь здѣсь, — у тебя будетъ мое пальто, — пощупай, какое оно плотное, — то-то же! -- да и въ автомобилѣ тепло... выплнись, а какъ только начнетъ свѣтать — — «впрочемъ, это потомъ; сперва давай я тебя приведу въ должный видъ, а то въ самомъ дѣлѣ стемнѣтъ. Тебѣ нужно прежде всего побриться».

«Побриться? — съ глухимъ удивленіемъ переспросилъ Феликсъ. — Какъ же такъ? Бритвы у меня съ собой нѣтъ, и я не знаю, чѣмъ можно бриться въ лѣсу, развѣ что камнемъ».

«Нѣтъ, зачѣмъ камнемъ; такого разгильдяя какъ ты слѣдуетъ брить топоромъ. Но я человекъ предусмотрительный, все съ собой принесъ, и все самъ сдѣлаю».

«Смѣшно, право, — ухмыльнулся онъ. — Какъ же такъ будетъ. Вы меня еще бритвой того и гляди зарѣжете».

«Не бойся, дуракъ, — она безопасная. Ну, пожалуйста. Садись куда-нибудь, — вотъ сюда, на подножку, что-ли».

Онъ сѣлъ, скинувъ мѣшокъ. Я вытащилъ пакетъ и разложилъ на подножкѣ бритвенный приборъ, мыло, кисточку. Надо было торопиться: день осунулся, воздухъ становился все тусклѣе. И какая тишина... Тишина эта казалась врожденной тутъ, неотдѣлимой отъ этихъ неподвижныхъ вѣтвей, прямыхъ стволовъ, отъ слѣпыхъ пятенъ снѣга тамъ и сямъ на землѣ.

Я снялъ пальто, чтобы свободнѣе было оперировать. Феликсъ съ любопытствомъ разглядывалъ блестящіе зубчики бритвы, серебристый стерженекъ. Затѣмъ онъ осмотрѣлъ кисточку, приложилъ ее даже къ щекѣ, испытывая ея мягкость, — она дѣйствительно была очень пушиста, стояла семнадцать пятьдесятъ. Очень заинтересовала его и тубочка съ дорогой мыльной пастой.

«Итакъ, приступимъ, — сказалъ я. — Стрижка-брижка. Садись, пожалуйста, бокомъ, а то мнѣ негдѣ примоститься».

Набравъ въ ладонь снѣгу, я выдавилъ туда выющійся червякъ мыла, размѣсилъ кисточкой и ледяной пѣной смазалъ ему бачки и усы. Онъ морщился, ухмылялся, — опушка мыла захватила ноздрю, — онъ крутилъ носомъ, — было щекотно.

«Откинься, — сказалъ я, — еще».

Неудобно упираясь колѣномъ въ подножку, я сталъ

сбривать ему бачки. — волоски трещали, отвратительно мѣшались съ пѣной; я слегка его порѣзалъ, пѣна окрасилась кровью. Когда я принялся за усы, онъ зажмурился, но храбро молчалъ, — а было должно быть не очень пріятно, — я спѣшилъ. волосъ былъ жесткій, бритва дергала.

«Платокъ у тебя есть?» — спросилъ я.

Онъ вынулъ изъ кармана какую-то тряпку. Я тщательно стеръ съ его лица кровь, снѣгъ и мыло. Щеки у него блестѣли какъ новыя. Онъ былъ выбритъ на славу, только возлѣ уха краснѣла царапина съ почернѣвшимъ уже рубинчикомъ на краю. Онъ провелъ ладонью по бритымъ мѣстамъ.

«Постой, — сказала я. — Это не все. Нужно подравнять брови, — онъ у тебя гуще моихъ».

Я взялъ ножницы и очень осторожно отхватилъ нѣсколько волосковъ.

«Вотъ теперь отлично. А причешу я тебя, когда смѣнишь рубашку».

«Вашу дадите?» — спросилъ онъ и безцеремонно пощупалъ мою шелковую грудь.

«Э, да у тебя ногти не первой чистоты!» — воскликнулъ я весело.

Я не разъ дѣлалъ маникюръ Лидѣ и теперь безъ особаго труда привелъ эти десять грубыхъ ногтей въ порядокъ, — причемъ все сравнивалъ его руки съ моими. — снѣ были крупнѣе и темнѣе, — но ничего, со временемъ поблѣднѣютъ. Кольца обручальнаго не ношу, такъ что пришлось нацѣпить на его руку всего только часики. Онъ шевелилъ пальцами, поворачивалъ такъ и сякъ кисти. очень довольный.

«Теперь живо. Переодѣнемся. Сними все съ себя, дружокъ, до послѣдней нитки».

Феликсъ крякнулъ: холодно будетъ.

«Ничего. Это одна минута! Ну-съ, поторапливайся»

Ослабься, онъ скинулъ свой куцый пиджакъ, снялъ

черезъ голову мохнатую темную фуфайку. Рубашка подъ ней была болотно-зеленая, съ галстукомъ изъ той же матеріи. Затѣмъ онъ разулся, сдернулъ заштопаннѣ мужской рукой носки и жизнерадостно екнулъ, прикоснувшись босою ступней къ зимней землѣ. Простой человѣкъ любитъ ходить босикомъ: лѣтомъ, на травкѣ, онъ первымъ дѣломъ разувается, но даже и зимой пріятно, — напоминаетъ, можетъ быть, дѣтство или что-нибудь такое.

Я стоялъ поодаль, развязывая галстукъ, и внимательно смотрѣлъ на Феликса.

«Ну, дальше, дальше!» — крикнулъ я, замѣтивъ, что онъ замѣшкался.

Онъ не безъ стыдливой ужимки спустилъ штаны съ бѣлихъ, безволосыхъ ляжекъ. Освободился и отъ рубашки. Въ зимнемъ лѣсу стоялъ передо мной голый человѣкъ.

Необычайно быстро, съ легкой стремительностью нѣкоего Фреголи, я раздѣлся, кинулъ ему верхнюю оболочку моего бѣлья, — пока онъ ее надѣвалъ, ловко вынулъ изъ снятаго съ себя костюма деньги и еще кое-что и спряталъ это въ карманы непривычно-узкихъ штановъ, которые на себя съ виртуозной живостью натянулъ. Его фуфайка оказалась довольно теплой, а пиджакъ былъ мнѣ почти по мѣркѣ: я похудѣлъ за послѣднее время.

Феликсъ между тѣмъ нарядился въ мое розовое бѣлье, но былъ еще босъ. Я далъ ему носки, подвязки, но тутъ замѣтилъ, что и ноги его требуютъ отдѣлки. Онъ поставилъ ступню на подножку автомобиля, и мы занялись тончайшимъ педикюромъ. Боюсь, что онъ успѣлъ простудиться — въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Потому что онъ вымылъ ноги снѣгомъ, какъ это сдѣлалъ кто-то у Мопасана, и съ понятнымъ наслажденіемъ надѣлъ носки.

«Торопись, торопись, — приговаривалъ я. — Сейчасъ стемнѣетъ, да и мнѣ пора уходить. Смотри, я уже готовъ, — ну и бабшачица у тебя. А гдѣ фуражка? А, вижу, спасибо».

Онъ туго затянулъ ремень штановъ. Съ трудомъ влѣзь въ мои черные шевровые полуботинки. Я помогъ ему справиться съ гетрами и повязать сиреневый галстукъ. Наконецъ, при помощи его грязнаго гребешка, я зачесалъ назадъ со лба и съ висковъ его жирные волосы.

Теперь онъ былъ готовъ. Онъ стоялъ передо мной, мой двойникъ, въ моемъ солидномъ темно-сѣромъ костюмѣ, разглядывалъ себя съ глупой улыбкой; обслѣдовалъ карманы; квитанціи и портсигаръ положилъ обратно, но бумажникъ раскрылъ. Онъ былъ пустъ.

«Вы мнѣ обещали впередъ», — занскивающимъ тономъ сказалъ Феликсъ.

«Да, конечно, — отвѣтилъ я, вынувъ руку изъ кармана штановъ и разжавъ кулакъ съ ассигнаціями. — Вотъ они. Сейчасъ отсчитаю и дамъ тебѣ. Башмаки не жмутъ?»

«Жмутъ, — сказала онъ. — Здорово жмутъ. Но ужь какъ-нибудь вытерплю. На ночь я ихъ пожалуй сниму. А куда же мнѣ завтра двинуться съ машиной?»

«Сейчасъ, сейчасъ... все объясню. Тутъ надо прибрать», — вишь, разбросалъ свою рвань. Что у тебя въ мѣшкѣ?»

«Я какъ улитка. У меня домъ на спинѣ, — сказалъ Феликсъ. — Съ собой мѣшокъ возьмете? Въ немъ есть колбаса, — хотите?»

«Тамъ будетъ видно. Засунь-ка туда всѣ эти вещи. Эту тряпку тоже. И ножницы. Такъ. Теперь надѣвай пальто», и давай въ послѣдній разъ провѣримъ, можешь ли ты сойти за меня».

«Вы не забудете деньги?» — поинтересовался онъ.

«Да нѣтъ же. Вотъ оболтусъ. Сейчасъ рассчитаемся. Деньги у меня здѣсь, въ моемъ бывшемъ карманѣ. Поторопись, пожалуйста».

Онъ облачился въ мое чудное бежевое пальто, осторожно надѣлъ элегантную шляпу. Послѣдній штрихъ — желтыя перчатки.

«Такъ-съ. Пройдись-ка нѣсколько шаговъ. Посмотримъ, какъ на тебѣ все это сидитъ».

Онъ пошелъ мнѣ навстрѣчу, то суня руки въ карманы, то вынимая ихъ опять.

Близко подойдя ко мнѣ, расправилъ плечи, ломаясь, прикидываясь фатомъ.

«Все-ли, все-ли? — говорилъ я вслухъ. — Погоди, дай мнѣ хорошенько... Да, какъ будто все... Теперь повернись. Я хочу видѣть, какъ сзади...»

Онъ повернулся, и я выстрѣлилъ ему въ спину.

Я помню разные вещи: я помню, какъ въ воздухѣ повисъ дымокъ, даль прозрачную складку и разсѣялся; помню, какъ Феликсъ упалъ, — онъ упалъ несразу, сперва докончилъ движеніе, еще относившееся къ жизни, — а именно почти полный поворотъ, — хотѣлъ вѣроятно въ шутку повертѣться передо мной, какъ передъ зеркаломъ, — и вотъ, по инерціи доканчивая эту жалкую шутку, онъ, уже насквозь пробитый, ко мнѣ обратился лицомъ, медленно растопырилъ руку, будто спрашивая: что это? — и не получивъ отвѣта, медленно повалился навзничь. Да, все это я помню, — помню: — шурша на снѣгу, онъ началъ кобениться, какъ если бѣ ему было тѣсно въ новыхъ одеждахъ; вскорѣ онъ замеръ, и тогда стало чувствительно вращеніе земли, и только шляпа тихо отдѣлилась отъ его темени и упала назадъ, разинувшись, словно за него прощаясь, — или вродѣ того, какъ пишутъ: присутствовавшіе обнажили головы. Да, все это я помню, но только не помню одного: звука выстрѣла. Зато остался у меня въ ухахъ неотвязный звонъ. Онъ обволакивалъ меня, онъ дрожалъ на губахъ. Сквозь этотъ звонъ я подошелъ къ трупу и жадно взглянулъ.

Таинственное мгновеніе. Какъ писатель, тысячу разъ перечитывающій свой трудъ, провѣряющій, испытывающій каждое слово, уже не знаетъ, хорошо ли, ибо слишкомъ все примелькалось, такъ и я, такъ и я. — Но есть тайная увѣренность творца, она непогрѣшима. Теперь, когда въ полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что право я не зналъ, кто убитъ — я или онъ.

И пока я смотрѣлъ, въ ровно звенѣвшемъ лѣсу потемнѣло, — и, глядя на расплывавшееся, все тише звенѣвшее лицо передо мной, мнѣ казалось, что я гляжусь въ недвижную воду.

Боясь испачкаться, я не прикоснулся къ тѣлу; не провѣрилъ, дѣйствительно ли оно совсѣмъ, совсѣмъ мертвое; я чутьемъ зналъ, что это такъ, что пуля моя скользнула какъ разъ по короткой воздушной колеѣ, проложенной волей и взглядомъ. Торопиться, торопиться, — кричалъ Иванъ Ивановичъ, надѣвая штаны въ рукава. Не будемъ ему подражать. Я быстро, но зорко осмотрѣлся. Феликсъ все, кромѣ пистолета, убралъ въ мѣшокъ самъ, но у меня хватило самообладанія посмотреть, не выронилъ ли онъ чего-нибудь, — и даже обмахнуть подножку, гдѣ стригъ ему ногти. Затѣмъ я выполнилъ кое-что давно замышленное, а именно: выкатилъ автомобиль къ самой опушкѣ, съ расчетомъ, что его утромъ увидятъ съ дороги и по нему найдутъ мое тѣло.

Стремительно надвигалась ночь. Звонъ въ ушахъ почти смолкъ. Я углубился въ лѣсъ, прошелъ опять недалеко отъ трупa, но уже не остановился, только подхватилъ рюкзакъ, и шагая скоро, увѣренно, не чувствуя пудовыхъ башмаковъ на ногахъ, обогнулъ озеро и все лѣсомъ. лѣсомъ, въ призрачномъ сумракѣ, въ призрачныхъ снѣгахъ... но какъ хорошо я зналъ направленіе, какъ правильно, какъ живо я представлялъ себѣ все это еще тогда, лѣтомъ, когда изучалъ тропы, ведущія въ Айхенбергъ!

Я пришелъ на станцію во время. Черезъ десять минутъ услужливымъ привидѣніемъ явился нужный мнѣ поѣздъ. Половину ночи я ѣхалъ въ громыхающемъ, валкомъ вагонѣ, на твердой скамейкѣ, и рядомъ со мной двое пожилыхъ мужчинъ играли въ карты, — и карты были необыкновенныя, — большія, красно-зеленыя, съ желдыми. За-полночь была пересадка; еще два часа ѣзды -- уже на западъ, — а утромъ я пересѣлъ въ скорый. Только тогда, въ уборной, я осмотрѣлъ содержимое мѣшка Въ

немъ, кромѣ сунутаго давеча, было немного бѣлья, кусокъ колбасы, три большихъ изумрудныхъ яблока, подошва, пять марокъ въ дамскомъ кошелькѣ, паспортъ и мои къ Феликсу письма. Яблоки и колбасу я тутъ же въ уборной съѣлъ, письма положилъ въ карманъ, паспортъ осмотрѣлъ съ живѣйшимъ интересомъ. Странное дѣло. — Феликсъ на снимкѣ былъ не такъ ужъ похожъ на меня, — конечно, это безъ труда могло сойти за мою фотографію, — но все-таки мнѣ было странно, — и тутъ я подумалъ: вотъ настоящая причина тому, что онъ мало чувствовалъ наше сходство; онъ видѣлъ себя такимъ, какимъ былъ на снимкѣ или въ зеркалѣ, то-есть какъ бы справа налѣво, не такъ, какъ въ дѣйствительности. Людская глупость, ненаблюдательность, небрежность, — все это выразалось въ томъ, между прочимъ, что даже опредѣленія въ краткомъ перечнѣ его чертъ несовсѣмъ соответствовали эпитетамъ въ собственномъ моемъ паспортѣ, оставленномъ дома. Это пустякъ, но пустякъ характерный. А въ рубрикѣ профессіи онъ, этотъ олухъ, игравшій на скрипкѣ вѣроятно такъ, какъ въ Россіи играли на гитарахъ лѣтнимъ вечеркомъ лакеи, былъ названъ «музыкантомъ», — что сразу превращало въ музыканта и меня. Вечеромъ, въ пограничномъ городкѣ, я купилъ себѣ чемоданъ, пальто и такъ далѣе, а мѣшокъ съ его вещами и моимъ браунингомъ, — нѣтъ, не скажу, что я съ ними сдѣлалъ, какъ спряталъ: молчите рейнскія воды. И уже одиннадцатаго марта очень небритый господинъ въ черномъ пальтишкѣ былъ заграницей.

ГЛАВА IX.

Я съ дѣтства люблю фіалки и музыку. Я родился въ Цвикау. Мой отецъ былъ сапожникъ, мать — прачка. Когда сердилась, то шилѣла на меня по-чешски. У меня было смутное и невеселое дѣтство. Едва возмужавъ, я за-

бродяжничаль. Играль на скрипкѣ. Я лѣвша. Лицо овальное. Женщинѣ я всегда чуждался: нѣтъ такой, которая бы не измѣнила. На войнѣ было довольно погано, но война прошла, какъ все проходить. У всякой мыши есть свой домъ... Я люблю бѣлокъ и воробьевъ. Пиво въ Чехіи дешевле. О, если бѣ можно было подковать себѣ ноги въ кузницѣ, — какая экономія! Министры всѣ подкуплены, а поэзія это ерунда. Однажды на ярмаркѣ я видѣлъ двухъ близнецовъ, — предлагали призъ тому, кто ихъ различить, рыжій Фрицъ далъ одному въ ухо, оно покраснѣло, — вотъ примѣта! Какъ мы смѣялись... Побои, воровство, убійство, — все это дурно или хорошо, смотря по обстоятельствамъ. Я присваивалъ деньги, если онѣ попадались подруку: что взялъ — твое, ни своихъ, ни чужихъ денегъ не бываетъ, на грошѣ не написано: принадлежитъ Мюллеру. Я люблю деньги. Я всегда хотѣлъ найти вѣрнаго друга, мы бы съ нимъ музицировали, онѣ бы въ изслѣдство мнѣ оставилъ домъ и цвѣтникъ. Деньги, милыя деньги. Милыя маленькія деньги. Милыя большія деньги. Я ходилъ по дорогамъ, тамъ и сямъ работалъ. Однажды мнѣ попался франтъ, утверждавшій, что похожъ на меня. Глупости, онѣ не былъ похожъ. Но я съ нимъ не спорилъ, ибо онѣ былъ богатъ, и всякій, кто съ богачемъ знается, можетъ и самъ разбогатѣть. Онѣ хотѣлъ, чтобы я вмѣсто него прокатился, а тѣмъ временемъ онѣ бы обдѣлалъ свои шахермахерскія дѣла. Этого шутника я убилъ и ограбилъ. Онѣ лежитъ въ лѣсу. Лежитъ въ лѣсу, кругомъ снѣгъ, каркаютъ вороны, прыгаютъ бѣлки. Я люблю бѣлокъ. Бѣдный господинъ въ хорошемъ пальто лежитъ мертвый, недалеко отъ своего автомобиля. Я умѣю править автомобилемъ. Я люблю фіалки и музыку. Я родился въ Цвикау. Мой отецъ былъ лысый сапожникъ въ очкахъ. мать -- красно-рукая прачка. Когда она сердилась — —

И опять все сначала, съ новыми нелѣпыми подробностями. Такъ укрупившееся отраженіе предъявляло свои права. Не я искалъ убѣжища въ чужой странѣ, не я обра-

сталъ бородой, а Феликсъ, убившій меня. О, если бъ я хорошо его зналъ, зналъ близко и давно, мнѣ было бы даже забавно новоселье въ душѣ, унаслѣдованной мною. Я зналъ бы всѣ ея углы, всѣ коридоры ея прошлаго, пользовался бы всѣми ея удобствами. Но душу Феликса я изучилъ весьма поверхностно, — зналъ только схему его личности, двѣ-три случайныхъ черты.

Съ этими неприятными ощущеніями я кое-какъ справился. Трудновато было забыть, напримѣръ, податливость этого большого мягкаго истукана, когда я готовилъ его для казни. Эти холодныя послушныя лапы. Дико вспомнить, какъ онъ слушался меня! Ноготь на большомъ пальцѣ ноги былъ такъ крѣпокъ, что ножницы несразу могли его взять, онъ завернулся на лезвіе, какъ жезъ консервной банки на ключъ. Неужто воля человѣка такъ могуча, что можетъ обратить другого въ куклу? Неужто и дѣйствительно брилъ его? Удивительно! Главное, что мучило меня въ этомъ воспоминаніи, была покорность Феликса, нелѣпый, безмозглый автоматизмъ его покорности. Но повторяю, я съ этимъ справился. Хуже было то, что я никакъ не могъ привыкнуть къ зеркаламъ. И бороду я сталъ отращивать не столько, чтобы скрыться отъ другихъ, сколько — отъ себя. Ужасная вещь — повышенное воображеніе. Вполнѣ понятно, что человѣкъ, какъ я, надѣленный такой обостренной чувствительностью, мучимъ пустяками, — отраженіемъ въ темномъ стеклѣ, собственной тѣни, павшей убитой къ его ногамъ ундъ зо вайтеръ. Стопъ, господа, — поднимаю огромную бѣлую ладонь, какъ полицейскій, стопъ! Никакихъ, господа, социальныхъ вздоховъ. Стопъ, жалость. Я не принимаю вашего соболѣзнованія, — а среди васъ навѣрное найдутся такіе, что пожалѣютъ меня, — непонятаго поэта. «Дымъ, туманъ, струя дрожитъ въ туманѣ». Это не стихокъ, это изъ романа Достоевскаго «Кровь и Слюни». Пардонъ, «Шульдъ ундъ Зюне». О какомъ-либо раскаяніи не можетъ быть никакой рѣчи, — художникъ не чув-

ствуешь раскаянія даже если его произведеніе не понимаютъ, не признають. Что же касается страхочыхъ тысячъ — —

Знаю, знаю, — оплошно съ беллетристической точки зрѣнія, что въ теченіе всей моей повѣсти (насколько я помню) почти не удѣлено вниманія главному какъ-будто двигателю моему; а именно корысти. Какъ же это я даже толкомъ и не упомянулъ о томъ, на что мертвый двойникъ былъ мнѣ нуженъ? Но тутъ меня беретъ сомнѣніе, ужъ такъ ли дѣйствительно владѣла мною корысть, ужъ такъ ли мнѣ было важно получить эту довольно двусмысленную сумму (цѣна человѣка въ денежныхъ знакахъ, сильное вознагражденіе за исчезновеніе со свѣта), — или напротивъ память моя, нишушая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой -- придать особое значеніе разговору въ кабинетѣ у Орловуса (не помню, описалъ ли я этотъ кабинетъ).

И еще я хочу вотъ что сказать о посмертныхъ моихъ настроеніяхъ: хотя въ душѣ-то я не сомнѣвался, что мое произведеніе мнѣ удалось въ совершенствѣ, т. е. что въ черно-бѣломъ лѣсу лежитъ мертвецъ, въ совершенствѣ на меня похожій, — я, гениальный новичекъ, еще не вкусившій славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный къ себѣ, мучительно жаждалъ, чтобы скорѣе это мое произведеніе, законченное и подписанное девятого марта въ глухомъ лѣсу, было оцѣнено людьми, чтобы обманъ — а всякое произведеніе искусства обманъ — удался; авторскія же, платимыя страховымъ обществомъ, были въ моемъ сознаніи дѣломъ второстепеннымъ. О да, я былъ художникъ безкорыстный.

Что пройдетъ, то будетъ мило. Въ одинъ прекрасный день наконецъ пріѣхала ко мнѣ за границу Лида. Я зашелъ къ ней въ гостиницу, «тише», сказалъ я внушительно, когда она бросилась ко мнѣ въ объятія, «помни, что меня зовутъ Феликсомъ, что я просто твой знакомый». Трауръ ей очень шелъ, какъ впрочемъ и мнѣ шелъ черный арти-

стическій бантъ и каштановая бородка. Она стала рассказывать, — да, все произошло такъ, какъ я предполагалъ, ни одной заминки. Оказывается, она искренне плакала въ крематоріи, когда пасторъ съ профессиональными рыданиями въ голосъ говорилъ обо мнѣ: «И этотъ человекъ, этотъ благородный человекъ, который — —» Я повѣдалъ ей мои дальнѣйшіе планы и очень скоро сталъ за ней ухаживать.

Теперь я женился на ней, на вдовушкѣ, живемъ съ ней въ тихомъ живописномъ мѣстѣ, обзавелись домикомъ, часами сидимъ въ миртовомъ садикѣ, откуда видъ на сафирный заливъ далеко внизу, и очень часто вспоминаемъ моего бѣднаго брата. Я рассказываю все новые эпизоды изъ его жизни, «Что-жъ — судьба!» — говоритъ Лида со вздохомъ, — «по крайней мѣрѣ онъ въ небесахъ утѣшенъ тѣмъ, что мы счастливы».

Да, Лида счастлива со мной, никого ей не нужно. «Какъ я рада», — порою говоритъ она, — «что мы навсегда избавились отъ Ардаліона. Я очень жалѣла его, много съ нимъ возилась, но какъ человекъ онъ былъ невыносимъ. Гдѣ-то онъ сейчасъ? Вѣроятно совсѣмъ спился, бѣдняга. Это тоже судьба!»

По утрамъ я читаю и пишу, — кое-что можетъ быть скоро издамъ подъ новымъ своимъ именемъ; русскій литераторъ, живущій по близости, очень хвалитъ мой слогъ, яркость воображенія.

Изрѣдка Лида получаетъ вѣсточку отъ Орловіуса, поздравленіе къ Новому Году, напримѣръ; онъ неизмѣнно проситъ ее кланяться супругу, котораго не имѣетъ чести знать, а сама думаетъ вѣроятно: «Быстро, быстро угнѣчилась вдовушка... Бѣдный Германъ Карловичъ!»

Чувствуете тонъ этого эпиллога? Онъ составленъ по классическому рецепту. О каждомъ изъ героев повѣсти кое-что сообщается на послѣдокъ, — при чемъ ихъ жизнь-бытье остается въ правильномъ, хотя и суммарномъ соотвѣтствіи съ прежде выведенными характерами ихъ, —

и допускается нѣкоторый юморъ, намеки на консервативность жизни.

Лида все такъ же забывчива и неаккуратна...

А ужъ къ самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда къ предмету незначительному, мелькнувшему въ романѣ только вскользь:

на стѣнѣ у нихъ виситъ все тотъ же пастельный портретъ, и Германъ, глядя на него, все такъ же смѣется и бранится.

Финисъ.

Мечты, мечты... И довольно притомъ прѣсныя. Очень мнѣ это все нужно...

Вернемся къ нашему разсказу. Попробуемъ держать себя въ рукахъ. Опустимъ нѣкоторыя детали путешествія. Помню, прибывъ двѣнадцатаго въ городъ Иксъ (продолжаю называть его Иксомъ изъ понятной застѣнчивости), я прежде всего пошелъ на поиски нѣмецкихъ газетъ; кое-какія нашель, но въ нихъ еще не было ничего. Я снялъ комнату въ гостиницѣ второго разряда, — огромную, съ каменнымъ поломъ и картонными на видъ стѣнами, на которыхъ словно была нарисована рыжеватая дверь въ сосѣдній номеръ и гуашевое зеркало. Было ужасно холодно, но открытый очагъ бутафорскаго камина былъ неприиспособленъ для топки, и когда сгорѣли щепки, принесенныя горничной, стало еще холоднѣе. Я провелъ тамъ ночь, полную самыхъ неправдоподобныхъ, изнурительныхъ видѣній, — и когда утромъ, весь колючій и липкій, вышелъ въ переулочъ, вдохнулъ приторные запахи, увидѣлъ южную базарную суету, то почувствовалъ, что въ самомъ городѣ оставаться не въ силахъ. Дрожа отъ озноба, оглушенный тѣснымъ уличнымъ гвалтомъ, я направился въ бюро для туристовъ, тамъ болтливый мужчина далъ мнѣ нѣсколько адресовъ: я искалъ мѣсто уютное, уединенное, и когда подвечеръ лѣнивый автобусъ доста-

вилъ меня по выбранному адресу, я подумалъ, что такое мѣсто нашель.

Особнякомъ среди пробковыхъ дубовъ стояла приличная свиду гостиница, наполовину еще закрытая (сезонъ начинался только лѣтомъ). Испанскій вѣтеръ трепалъ въ саду цыплячій пухъ мимозъ. Въ павильонѣ вродѣ часовни билъ ключъ цѣлебной воды, и висѣли паутины въ углахъ темно-гранатовыхъ оконъ. Жителей было немного. Былъ докторъ, душа гостиницы и король табльдота,— онъ сидѣлъ во главѣ стола и разглагольствовалъ; былъ горбоносый старикъ въ люстриновомъ пиджакѣ, издававшій безсмысленное хрюканіе, когда съ легкимъ топотомъ быстрая горничная обносила пашъ форелью, выловленной имъ изъ сосѣдней рѣчки; была вульгарная молодая чета, прѣхавшая въ это мертвое мѣсто съ Мадагаскара; была старушка въ кисейномъ воротничкѣ, школьная инспектриса; былъ ювелиръ съ большою семьей; была манерная дамочка, которая сперва оказалась виконтессой, потомъ контессой, а теперь, ко времени, когда я это пишу, превратилась стараніями доктора, дѣлающаго все, чтобы повысить репутацію гостиницы, въ маркизу; былъ еще унылый комивояжеръ изъ Парижа, представитель патентованной ветчины; былъ, наконецъ, хамоватый жирный аббатъ, все толковавшій о красотѣ какого-то монастыря по-близости и при этомъ, для пушией выразительности, срывавшій съ губъ, сложенныхъ мясистымъ сердечкомъ, воздушный поцѣлуй. Вотъ кажется и весь паноптикумъ Жюкообразный жершъ стоялъ у дверей, заложивъ руки за спину, и слѣдилъ исподлбья за церемоналомъ обѣда. На дворѣ бушевалъ сильный вѣтеръ.

Новыя впечатлѣнія подѣйствовали на меня благотворно. Кормили неплохо. У меня былъ свѣтлый номеръ, и я съ интересомъ смотрѣлъ въ окно на то, какъ вѣтеръ грубо приподнимаетъ и отворачиваетъ исподнюю листву маслинъ. Вдали лиловато-бѣлымъ конусомъ выдѣлялась на безпощадной синевѣ гора, похожая на Фузіямъ. Выхо-

диль я мало, — меня пугаль этотъ безпрестанный, все сокрушающій, слѣпящій, наполняющій гуломъ голову, мартовскій вѣтеръ, убійственный горный сквознякъ. На второй день я все же поѣхаль въ городъ за газетами. ъ опять ничего не было, и такъ какъ это невыносимо раздражало меня, то я рѣшилъ нѣсколько дней выждать.

За табльдотомъ я кажется прослылъ нелюдимомъ, хотя старательно отвѣчалъ на всѣ вопросы, обращенные ко мнѣ. Тщетно докторъ приставаль ко мнѣ, чтобы я по вечерамъ приходилъ въ салонъ — душную комнатку съ разстроеннымъ піанино, плюшевой мебелью и проспектами на кругломъ столѣ. У доктора была козлиная бородка, слезящіеся голубые глаза и брюшко. Онъ ѣлъ дѣловито и неаппетитно. Онъ желтый зракъ яичницы ловко поддѣваль кускомъ хлѣба и цѣликомъ съ сочнымъ присвистомъ отправлялъ въ ротъ. Косточки отъ жаркого онъ жирными отъ соуса пальцами собираль съ чужихъ тарелокъ, кое-какъ заворачиваль и клаль въ карманъ просторнаго пиджака, и при этомъ разыгрываль оригинала: это, молъ, для бѣдныхъ собакъ, животныя бываютъ лучше людей, — утверженіе, вызывавшее за столомъ страстные споры, особенно горячилъ аббатъ. Узнавъ, что я нѣмецъ и музыкантъ, докторъ страшно мною заинтересовался и, судя по взглядамъ отовсюду обращеннымъ на меня, я заключилъ, что не столько обросшее мое лицо привлекаеть вниманіе, сколько національность моя и профессія, при чемъ и въ томъ и въ другомъ докторъ усматриваль нѣчто несомнѣнно благопріятное для престижа отеля. Онъ ловилъ меня на лѣстницѣ, въ длинныхъ бѣлыхъ коридорахъ, и заводилъ безконечный разговоръ, обсуждалъ соціальныя недостатки представителя ветчины или религіозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мнѣ въ тягость, но по крайней мѣрѣ развлекало меня. Какъ только наступала ночь, и по комнатѣ начинали раскачиваться тѣни листвы, освѣщенной на дворѣ одинокимъ фонаремъ, — у меня наполня-

лась бесплоднымъ и ужаснымъ смятеніемъ моя просторная, моя нежилая душа. О нѣтъ, мертвецовъ я не боюсь, какъ не боюсь сломанныхъ, разбитыхъ вещей, чего ихъ бояться! Боялся я, въ этомъ невѣрномъ мірѣ отражений, не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, все разрѣшающей минуты, до которой слѣдовало дожить непременно, минуты творческаго торжества, гордости, избавленія, блаженства.

На шестой день моего пребыванія вѣтеръ усилился до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурнаго моря, стекла гудѣли, трещали стѣны, тяжкая листва съ шумомъ пятилась и разбѣжавшись осаждала домъ. Я вышелъ было въ садъ, но сразу согнулся вдвое, чудомъ удержалъ шляпу и вернулся къ себѣ. Задумавшись у окна среди волнующагося гула, я не разслышалъ гонга и, когда сошелъ внизъ къ завтраку и занялъ свое мѣсто, уже подавалось жаркое — мохнатые потроха подъ томатовымъ соусомъ — любимое блюдо доктора. Сначала я не вслушивался въ общій разговоръ, умѣло имъ руководимый, но внезапно замѣтилъ, что всѣ смотрятъ на меня.

«А вы что по этому поводу думаете?» — обратился ко мнѣ докторъ.

«По какому поводу?» — спросилъ я.

«Мы говорили, — сказала докторъ, — объ этомъ убійствѣ у васъ въ Германіи. Какимъ нужно быть монстромъ, — продолжалъ онъ, предчувствуя интересный споръ, — чтобы застраховать свою жизнь, убить другого — —».

Не знаю, что со мной случилось, но вдругъ я поднялъ руку и сказалъ: «Послушайте, остановитесь...» и той же рукой, но сжавъ кулакъ, ударилъ по столу, такъ что подпрыгнуло кольцо отъ салфетки, и закричалъ, не узнавая своего голоса: «Остановитесь, остановитесь! Какъ вы смѣете, какое вы имѣете право? Оскорбленіе! Я не допущу! Какъ вы смѣете — о моей странѣ, о моемъ народѣ. . . Замолчать! Замолчать! — кричалъ я все громче. — Вы...

Смѣть говорить мнѣ, мнѣ, въ лицо, что въ Германіи... За-молчать!..»

Впрочемъ всѣ молчали уже давно — съ тѣхъ поръ, какъ отъ удара моего кулака покатилося кольцо. Оно покатилося до конца стола, и тамъ его осторожно прихлопнулъ младшій сынъ ювелира. Тишина была исключительно хорошаго качества. Даже вѣтеръ пересталъ, кажется, гудѣть. Докторъ, держа въ рукахъ вилку и ножъ, замеръ, на лбу у него замерла муха. У меня заскочило что-то въ горлѣ, я бросилъ на столъ салфетку и вышелъ, чувствуя, какъ всѣ лица автоматически поворачиваются по мѣрѣ моего прохожденія.

Въ холлѣ я на ходу сгребъ со стола открытую газету, поднялся по лѣстницѣ и, очутившись у себя въ номерѣ, сѣлъ на кровать. Я весь дрожалъ, подступали рыданія, меня сотрясала ярость, рука была загажена томатовымъ соусомъ. Принимаясь за газету, я еще успѣлъ подумать навѣрное — совпаденіе, ничего не случилось, не стануть французы этимъ интересоваться, — но тутъ мелькнуло у меня въ глазахъ мое имя, прежнее мое имя...

Не помню въ точности, что я вычиталъ какъ разъ изъ той газеты — газетъ я съ тѣхъ поръ прочелъ немало, и онѣ у меня нѣсколько спутались, — гдѣ-то сейчасъ валяются здѣсь, но мнѣ некогда разбирать. Помню, однако, что сразу понялъ двѣ вещи: знаютъ, кто убилъ, и не знаютъ, кто жертва. Сообщение исходило не отъ собственнаго корреспондента, а было просто короткой перепечаткой изъ берлинскихъ газетъ, и очень это подавалось небрежно и пагло, между политическимъ столкновеніемъ и попугайной болѣзью. Тонъ былъ неслыханный. — онъ настолько былъ неприемлемъ и непозволителенъ по отношенію ко мнѣ, что я даже подумалъ, не идетъ ли рѣчь объ однофамильцѣ, — такимъ тономъ пишутъ о какомъ-нибудь полуидіотѣ, вырѣзавшемъ цѣлую семью. Теперь я Впрочемъ догадываюсь, что это была уловка международной полиціи, попытка меня напугать, сбить съ толку, но

въ ту минуту я былъ внѣ себя, и какимъ-то пятнистымъ взглядомъ попадалъ то въ одно мѣсто столбца, то въ другое, — когда вдругъ раздался сильный стукъ. Бросилъ газету подъ кровать и сказалъ: «Войдите!»

Вошелъ докторъ. Онъ что-то дожевывалъ.

«Послушайте, — сказалъ онъ, едва переступивъ порогъ, — тутъ какая-то ошибка, вы меня невѣрно поняли. Я бы очень хотѣлъ — —»

«Вонъ, — заоралъ я, — моментально вонъ».

Онъ измѣнился въ лицѣ и вышелъ, не затворивъ двери. Я вскочилъ и съ невѣроятнымъ грохотомъ ее захлопнулъ. Вытащилъ изъ-подъ кровати газету, — но уже не могъ шайти въ ней то, что читалъ только-что. Я ее просмотрѣлъ всю: ничего! Неужели мнѣ приснилось? Я сызнова началъ ее просматривать, — это было какъ въ кошмарѣ, — теряется, и нельзя найти, и нѣтъ тѣхъ природныхъ законовъ, которые вносятъ нѣкоторую логику въ поиски, — а все безобразно и бессмысленно произвольно. Нѣтъ, ничего въ газетѣ не было. Ни слова. Должно-быть я былъ страшно возбужденъ и безтолковъ, ибо только черезъ нѣсколько секундъ замѣтилъ, что газета старая, нѣмецкая, а не парижская, которую только-что держалъ. Заглянувъ опять подъ кровать, я вытащилъ пужную и перечелъ плоское и даже пашквильное извѣстіе. Мнѣ вдругъ стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало, меня: ни звука о сходствѣ, — сходство не только не оцѣнивалось (ну, сказали бы, по крайней мѣрѣ: да, — превосходное сходство, но все-таки по тѣмъ-то и тѣмъ-то примѣтамъ это не онъ), но вообще не упоминалось вовсе, — выходило такъ, что это человекъ совершенно другого вида, чѣмъ я, а между тѣмъ, не могъ же онъ вѣдь за одну ночь разложиться, — напротивъ, его физиономія должна была стать еще мраморнѣе, сходство еще рѣзче, — но если бы даже срокъ былъ большій, и смерть позабавилась бы имъ, все равно стадіи его распада совпадали бы съ моими, —

опрометью выражаюсь, чортъ, мнѣ сейчасъ не до изящества. Въ этомъ игнорированіи самаго цѣннаго и важнаго для меня было нѣчто умышленное и чрезвычайно подлое, — получалось такъ, что съ первой минуты всѣ будто бы отлично знали, что это не я, что никому въ голову не могло придти, что это мой трупъ, и въ самой нешалантливости изложенія было какъ бы подчеркиваніе моей оплошности, — оплошности, которую я конечно ни въ какомъ случаѣ не могъ допустить, — а между тѣмъ, прикрывъ ротъ и отвернувъ рыло, молча, но содрагаясь и лопаясь отъ наслажденія, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо — —

Тутъ опять постучались, я задохнувшись вскочилъ, вошли докторъ и жеранъ. «Вотъ, — съ глубокой обидой сказалъ докторъ, обращаясь къ жерану и указывая на меня, — вотъ — этотъ господинъ не только на меня зря обидѣлся, но теперь оскорбляетъ меня, не желаетъ слушать и весьма грубъ. Пожалуйста, поговорите съ нимъ, я не привыкъ къ такимъ манерамъ».

«Надо объясниться, — сказалъ жеранъ, глядя на меня исподлобья. — Я увѣренъ, что вы сами — —»

«Уходите! — кричалъ я, топая. — То, что вы дѣлаете со мной... Это не поддается... Вы не смѣете унижать и мстить... Я требую, вы понимаете, я требую — —»

Докторъ и жеранъ, вскидывая ладони и какъ заводные переступая на прямыхъ ногахъ, затараторили, тѣсня меня, — я не выдержалъ, мое бѣшенство прошло, но зато я почувствовалъ напоръ слезъ и вдругъ, — желающимъ предоставляю побѣду, — палъ на постель и разрыдался

«Это все нервы, все нервы», — сказалъ докторъ, какъ по волшебству смягчаясь.

Жеранъ улыбнулся и вышелъ, нѣжно прикрывъ за собой дверь. Докторъ налилъ мнѣ воды, предлагалъ бромъ, гладилъ меня по плечу, — а я рыдалъ и, сознавая отлично, даже холодно и съ усмѣшкой создавая, постыдность моего положенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя въ

немъ всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжалъ трястись, вытирая щеки большимъ, грязнымъ, пахнувшимъ говядиной, платкомъ доктора, который, поглаживая меня, бормоталъ:

«Какое недоразумѣніе! Я, который всегда говорю, что довольно войны... У васъ есть свои недостатки, и у насъ есть свои. Политику нужно забыть. Вы вообще просто не поняли, о чемъ шла рѣчь. Я просто спрашивалъ ваше мнѣніе объ одномъ убійствѣ».

«О какомъ убійствѣ?» — спросилъ я всхлипывая.

«Ахъ, грязное дѣло. — переодѣлъ и убилъ, — но успокойтесь, другъ мой, — не въ одной Германіи убійцы, у насъ есть свои Ландрю, слава Богу, такъ что вы не единственный. Успокойтесь, все это нервы, здѣшняя вода отлично дѣйствуетъ на нервы, вѣрнѣе на желудокъ, что сводится къ тому же».

Онъ поговорилъ еще немного и всталъ. Я отдалъ ему платокъ

«Знаете что? — сказалъ онъ уже стоя въ дверяхъ. — А вѣдь маленькая графиня къ вамъ равнодушна. Вы бы сыграли сегодня вечеромъ что-нибудь на роялѣ (онъ произвелъ пальцами трель), увѣряю васъ, вы бы имѣли се у себя въ постели».

Онъ былъ уже въ коридорѣ, но вдругъ передумалъ и вернулся.

«Въ молодые безумные годы, — сказалъ онъ, — мы, студенты, однажды кутили, особенно наздрызгался самый безбожный изъ насъ, и когда онъ совѣмъ былъ готовъ, мы нарядили его въ рясу, выбрили круглую плѣшь, и вотъ поздно ночью стучимся въ женскій монастырь, отпираетъ монахиня, и одинъ изъ насъ говоритъ: «Ахъ, сестра моя, поглядите въ какое грустное состояніе привелъ себя этотъ бѣдный аббатъ, возьмите его, пускай онъ у васъ выспится». И представьте себѣ, — онъ его взялъ. Какъ мы смѣялись!» — Докторъ слегка присѣлъ и хлопнулъ себя по ляжкамъ. Мнѣ вдругъ показалось — а не го-

ворить ли онъ объ этомъ (переодѣли... сошелъ за другого...) съ извѣстнымъ умысломъ, не подосланъ ли онъ, и меня опять обуяла злоба, но посмотрѣвъ на его глупо сіявшія морщины, я сдержался, сдѣлалъ видъ, что смѣюсь, онъ, очень довольный, помахалъ мнѣ ручкой, и наконецъ, наконецъ оставилъ меня въ покоѣ.

Несмотря на каррикатурное сходство съ Раскольниковымъ — — Нѣтъ, не то. Отставить. Что было дальше? Да: я рѣшилъ, что въ первую голову слѣдуетъ добыть какъ можно больше газетъ. Я побѣжалъ внизъ. На лѣстницѣ мнѣ попался толстый аббатъ, который посмотрѣлъ на меня съ сочувствіемъ, — я понялъ по его маслянистой улыбкѣ, что докторъ успѣлъ всѣмъ рассказать о нашемъ примиреніи. На дворѣ меня сразу оглушилъ вѣтеръ, но я не сдался, нетерпѣливо прилипъ къ воротамъ, и вотъ показался автобусъ, я замахалъ, я влѣзъ, мы покатали по шоссе, гдѣ съ ума сходила бѣлая пыль. Въ городѣ я досталъ нѣсколько номеровъ нѣмецкихъ газетъ и за одно справлялся на почтамтѣ, нѣтъ ли письма. Письма не оказалось, но зато въ газетахъ было очень много, слишкомъ много... Теперь, послѣ недѣли всепоглощающей литературной работы, я исцѣлился и чувствую только презрѣніе, но тогда холодный издѣвательскій тонъ газетъ доводитъ меня почти до обморока. Въ концѣ концовъ картина получается такая: въ воскресенье, десятаго марта, въ полдень, парикмахеръ изъ Кенигсдорфа нашелъ въ лѣсу мертвое тѣло; отчего онъ оказался въ этомъ лѣсу, гдѣ и лѣтомъ никто не бывалъ, и отчего онъ только вечеромъ сообщил о своей находкѣ, осталось неяснымъ. Далѣе слѣдуетъ тотъ замѣчательно смѣшной анекдотъ, который я уже приводилъ: автомобиль, умышленно оставленный мной возлѣ опушки, исчезъ. По слѣдамъ въ видѣ повторяющейся буквы «т» полиція установила марку шинъ. Какіе-то кенигсдорфцы, надѣленные феноменальной кляпью, вспомнили, какъ проѣхалъ синій двухмѣстный кабриолетъ «Икаръ» на тангентныхъ колесахъ съ большими

втулками, а любезные молодцы изъ гаража на моей улицѣ дали всѣ дополнительные свѣдѣнія, — число силъ и цилиндровъ, и не только полицейскій номеръ, а даже фабричные номера мотора и шасси. Всѣ думаютъ, что я вотъ сейчасъ на этой машинѣ гдѣ-то катаюсь, — это упоительно смѣшно. Для меня же очевидно, что автомобиль мой кто-то увидѣлъ съ шоссе и не долго думая присвоилъ, а трупа-то не примѣтилъ, — спѣшилъ. Напротивъ — парикмахеръ, трупъ нашедшій, утверждаетъ, что никакого автомобиля не видалъ. Онъ подозрителенъ, полиціи бы, казалось, тутъ-то его и зацапать, — вѣдь и не такимъ рубили головы, — но какъ бы не такъ, его и не думаютъ считать возможнымъ убійцей, — вину свалили на меня сразу, безоговорочно, съ холодной и грубой поспѣшностью, словно были рады меня уличить, словно мстили мнѣ, словно я былъ давно виноватъ передъ ними, и давно жаждали они меня покарать. Едва ли не загодя рѣшивъ, что найденный трупъ не я, никакого сходства со мной не замѣтивъ, вѣрнѣе исключивъ а priori возможность сходства (ибо человекъ не видитъ того, что не хочетъ видѣть), полиція съ блестящей послѣдовательностью удивилась тому, что я думалъ обмануть міръ, просто одѣвъ въ свое платье человекъ, ничуть на меня не похожаго. Глупость и явная пристрастность этого разсужденія уморительны. Основываясь на немъ, они усомнились въ моихъ умственныхъ способностяхъ. Было даже предположеніе, что я ненормальный, это подтвердили нѣкоторыя лица, знавшія меня, между прочимъ болванъ Орловиусъ (кто еще, — интересно), разсказавшій, что я самъ себя писалъ письма (вотъ это неожиданно!). Что однако совершенно озадачило полицію, это то, какимъ образомъ моя жертва (слово «жертва» особенно смаковалось газетами) очутилась въ моихъ одеждахъ, или точнѣе, какъ удалось мнѣ заставить живого человекъ надѣть не только мой костюмъ, но даже носки и слишкомъ тѣсные для него полуботинки (обуть то его я могъ и постфактумъ,

умяки!). Вбивъ себѣ въ голову, что это не мой трупъ (т. е. поступивъ, какъ литературный критикъ, который, при одномъ видѣ книги непріятнаго ему писателя, рѣшаетъ, что книга бездарна, и уже дальше исходитъ изъ этого произвольнаго положенія), вбивъ себѣ это въ голову, они съ жадностью накинулись на тѣ мелкіе, совсѣмъ неважные недостатки нашего, съ Феликсомъ сходства, которые при болѣе глубокомъ и даровитомъ отношеніи къ моему созданію прошли бы незамѣтно, какъ въ прекрасной книгѣ не замѣчается описка, опечатка. Была упомяната грубость рукъ, выискали даже какую-то многозначительную мозоль, но отмѣтили все же аккуратность ногтей на всѣхъ четырехъ конечностяхъ, при чемъ кто-то, чуть ли не парикмахеръ, нашедшій трупъ, обратилъ вниманіе сыщиковъ на то, что въ силу нѣкоторыхъ обстоятельствъ, ясныхъ профессионалу (подумаешь!), ногти полрѣзаль не самъ человѣкъ, а другой.

Я никакъ не могу выяснитъ, какъ держалась Лида, когда вызвали ее. Такъ какъ, повторяю, ни у кого не было сомнѣнія, что убитый не я, ее навѣрное заподозрили въ сообщничествѣ, — сама виновата, могла понять, что страховыя денежки тую-тую, и нечего соваться съ вдовыми слезами. Въ концѣ концовъ она вѣроятно не удержится и, вѣря въ мою невинность и желая спасти меня, разболтаетъ о трагедіи моего брата, что будетъ впрочемъ совершенно зря, такъ какъ безъ особаго труда можно установить, что никакого брата у меня никогда не было, — а что касается самоубійства, то врядъ ли фантазія полиціи осилитъ пресловутую веревочку.

Для меня, въ смыслѣ моей безопасности, важно слѣдующее: убитый не опознанъ и не можетъ быть опознанъ. Межъ тѣмъ я живу подъ его именемъ, кое-гдѣ слѣды этого имени уже оставилъ, такъ что найти меня можно было бы въ два счета, если бы выяснилось, кого я, какъ говорится, угробилъ. Но выяснитъ это нельзя, что весьма для меня выгодно, такъ какъ я слишкомъ усталъ, чтобы

принимать новыя мѣры. Да и какъ я могу отрѣшиться отъ имени, которое съ такимъ искусствомъ присвоиль? Вѣдь я же похожъ на мое имя, господи, и оно подходит мнѣ такъ же, какъ подходило ему. Нужно быть дуракомъ, чтобы этого не понимать.

А вотъ автомобиль рано или поздно найдутъ, но это имъ не поможетъ, ибо я и хотѣлъ, чтобы его нашли. Какъ это смѣшно! Они думаютъ, что я услужливо сижу за рулемъ, а на самомъ дѣлѣ они найдутъ самаго простого и очень напуганнаго вора.

Я не упоминаю здѣсь ни о чудовищныхъ эпитетахъ, которыми досужіе борзописцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящіе свои балаганы на крови, считаютъ нужнымъ меня награждать, ни о глубокомысленныхъ разсужденіяхъ психоаналитическаго характера, до которыхъ охочи фельетонисты. Вся эта мерзость и грязь сначала бѣсили меня, особенно уподобленія какимъ-то олухамъ съ вампирными наклонностями, проступки которыхъ въ свое время поднимали тиражъ газетъ. Былъ, на примѣръ, такой, который сжегъ свой автомобиль съ чужимъ трупомъ, мудро отрѣзавъ ему ступни, такъ какъ онъ оказался не по мѣркѣ владѣльца. Да впрочемъ, чортъ съ ними! Ничего общаго между нами нѣтъ. Бѣсило меня и то, что печатали мою паспортную фотографію, на которой я дѣйствительно похожъ на преступника, такая ужъ злостная ретушевка, а совершенно непохожъ на себя самого. Право, могли взять другую, на примѣръ ту, гдѣ гляжу въ книгу, дорогой, нѣжно-шоколадный снимокъ; тотъ же фотографъ спилъ меня и въ другой позѣ, гляжу исполдобья, серьезные глаза, палецъ у виска, — такъ снимаются нѣмецкіе беллетристы. Вообще, выборъ большой. Есть и любительскіе снимки: одна фоточка очень удачная, въ купальномъ костюмѣ на участкѣ Ардаліона. Кстати, кстати, чуть не забылъ: полиція, тщательно производя розыски, осматривая каждый кустъ и даже роаясь въ землѣ, ничего не нашла, кромѣ одной замѣчательной штучки, а именно:

бутылки съ самодѣльной водкой. Водка пролежала тамъ съ іюня, — я кажется описаль, какъ Лида спрятала ее.. Жалѣю, что я не запряталь гдѣ-нибудь и балалайку, чтобы доставить имъ удовольствіе вообразить славянское убійство подѣ чоканіе рюмочекъ и пѣніе «Пожалѣй же меня, дорогая...»

Но довольно, довольно... Вся эта гнусная путаница и чепуха происходитъ оттого, что по косности своей и тупости и предвзятости, люди не узнали меня въ трупѣ безупречнаго моего двойника. Принимаю съ горечью и презрѣніемъ самый фактъ непризнанія (чье мастерство имъ не было омрачено?) и продолжаю вѣрить въ безупречность. Обвинять себя мнѣ не въ чемъ. Ошибки — мнимыя — мнѣ навязали заднимъ числомъ, голословно рѣшивъ, что самая концепція моя неправильна, и уже тогда найдя пустышные недочеты, о которыхъ я самъ отлично знаю, и которые никакого значенія не имѣютъ при свѣтѣ творческой удачи. Я утверждаю, что все было задумано и выполнено съ предѣльнымъ искусствомъ, что совершенство всего дѣла было въ нѣкоторомъ смыслѣ неизбежно, слагалось какъ бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вотъ, для того, чтобы добиться признанія, оправдать и спасти мое дѣтище, пояснить міру всю глубину моего творенія, я и затѣяль писаніе сего труда.

Ибо, измявъ и отбросивъ послѣднюю газету, все высосавъ, все узнавъ, сжигаемый неотвязнымъ зудомъ, изощреннѣйшимъ желаніемъ тотчасъ же принять какія-то мнѣ одному понятны мѣры, я сѣлъ за столъ и началъ писать. Если бы не абсолютная вѣра въ свои литературныя силы, въ чудный даръ — — Сперва шло трудно, въ гору, я останавливался и затѣмъ снова писалъ. Мой трудъ, мощно изнуряя меня, даваль мнѣ отраду. Это мучительное средство, жестокое средневѣковое промываніе, но оно дѣйствуетъ.

Съ тѣхъ поръ какъ я началъ, прошла недѣля, и вотъ, трудъ мой подходитъ къ концу. Я спокоенъ. Въ гостини-

цѣ со мной всѣ любезны и предупредительны. Ъмъ я теперь не за табльдотомъ, а за маленькимъ столомъ у окна. Докторъ одобрилъ мой уходъ и всѣмъ объясняетъ чуть ли не въ моемъ присутствіи, что нервному человѣку нуженъ покой, и что музыканты вообще нервные люди. Во время обѣда онъ часто ко мнѣ обращается со своего мѣста, рекомендуя какое-нибудь кушаніе или шутливо спрашивая меня, не присоединюсь ли сегодня въ видѣ исключенія къ общей трапезѣ, и тогда всѣ смотрятъ на меня съ большимъ добродушіемъ.

Но какъ я усталъ, какъ я смертельно усталъ... Бывали дни, — третьяго дня, напримѣръ, — когда я писалъ съ двумя небольшими перерывами девятнадцать часовъ подрядъ, а потомъ, вы думаете, я заснулъ? Нѣтъ, я заснуть не могъ, и все мое тѣло тянулось и ломалось, какъ на дыбѣ. Но теперь, когда я кончаю, когда мнѣ въ общемъ нечего больше рассказать, мнѣ такъ жалко съ этой испанной бумагой разстаться, — а разстаться нужно, переписать, исправить, запечатать въ конверт и отважно отослать, — а самому двинуться дальше, въ Африку, въ Азію, все равно куда, но какъ мнѣ не хочется двигаться, какъ я жажду покоя... Вѣдь въ самомъ дѣлѣ: пускай читатель представитъ себѣ положеніе человѣка, живущаго подъ такимъ-то именемъ не потому, что другого паспорта — —

ГЛАВА X.

30 марта 1931 г.

Я на новомъ мѣстѣ: приключилась бѣда. Думалъ, что будетъ всего девять главъ, — анъ нѣтъ! Теперь вспоминаю, какъ увѣренно, какъ спокойно, несмотря ни на что, я дописывалъ девятую, — и не дописалъ: горничная пришла убирать номеръ, я отъ нечего дѣлать вышелъ въ садъ, — и меня обдало чѣмъ-то тихимъ, райскимъ. Я да-

же сначала не понял, въ чемъ дѣло, — но встряхнулся, и вдругъ меня остигло: ураганный вѣтеръ, дувшій всѣ эти дни, прекратился.

Воздухъ былъ дивный, летать шелковистый ивовый пухъ, вѣчно-зеленая листва прикидывалась обновленной, отливали смуглой краснотой, обнаженные наполовину, аглетическіе торсы пробковыхъ дубовъ. Я пошелъ вдоль шоссе, мимо покатыхъ бурыхъ виноградниковъ, гдѣ правильными рядами стояли голыя еще лозы, похожія на причеземистые корявые кресты, а потомъ сѣлъ на траву и, глядя черезъ виноградники на золотую отъ цвѣтушихъ кустовъ макушку холма, стоящаго по поясъ въ густой дубовой листвѣ, и на глубокое-глубокое, голубое-голубое небо, подумалъ съ млѣющей нѣжностью (ибо можетъ быть главная, хоть и тайная черта моей души — нѣжность), что начинается новая простая жизнь, тяжелые творческіе сны миновали... Вдали, со стороны гостиницы, показался автобусъ, и я рѣшилъ въ послѣдній разъ позабавиться чтеніемъ берлинскихъ газетъ. Въ автобусѣ я сперва притворялся спящимъ (и даже улыбался во снѣ), замѣти среди пассажировъ представителя ветчины, но вскорѣ заснулъ по-настоящему.

Добывъ въ Иксѣ газету, я раскрылъ ее только по возвращеніи домой и началъ читать, благодушно посмѣиваясь. И вдругъ расхохотался во-всю: автомобиль мой былъ найденъ.

Его исчезновеніе объяснилось такъ: трое молодцовъ, шедшихъ десятаго марта утромъ по шоссе, — безработный монтеръ, знакомый намъ уже парикмахеръ и братъ парикмахера, юноша безъ опредѣленныхъ занятій, — увидѣли на дальней опушкѣ лѣса блескъ радіатора и тотчасъ подошли. Парикмахеръ, человекъ положительный, читавшій законъ, сказалъ, что надобно дожидаться владѣльца, а если такового не окажется, отвести машину въ Кеннигсдорфъ, но его братъ и монтеръ, оба озорники, предложили другое. Парикмахеръ возразилъ, что этого не до-

пустить, и углубился въ лѣсъ, посматривая по сторонамъ. Вскорѣ онъ нашель трупъ. Онъ поспѣшилъ обратно къ опушкѣ, зовя товарищей, но съ ужасомъ увидѣлъ, что ни ихъ, ни машины нѣтъ: умчались. Нѣкоторое время онъ валандался кругомъ да около, дожидаясь ихъ. Они не вернулись. Вечеромъ онъ наконецъ рѣшился рассказать полициі о своей находкѣ, но изъ братолюбія скрылъ исторію съ машиной.

Теперь же оказывалось, что тѣ двое, сломавъ машину, спрятали ее, сами пританлись было, но погода, благоразумно объявилась. «Въ автомобилѣ», — добавляла газета, — «найденъ предметъ, устанавливающий личность убитаго».

Сперва я по ошибкѣ прочель «убійцы» и еще пуше развеселился, ибо вѣдь съ самага начала было извѣстно, что автомобиль принадлежитъ мнѣ, — но перечель и задумался. Эта фраза раздражала меня. Въ ней была какая-то глупая таинственность. Конечно, я сразу сказалъ себѣ, что это либо новая уловка, либо нашли что-нибудь такое же важное, какъ пресловутая водка. Но все-таки мнѣ стало непріятно, — и нѣкоторое время я даже перебиралъ въ памяти всѣ предметы, участвовавшіе въ дѣлѣ (вспомнилъ и тряпку и гнусную голубую гребенку), и такъ какъ я дѣйствовалъ тогда отчетливо, увѣренно, то безъ труда все прослѣдилъ, и нашель въ порядкѣ. Квудъ эратъ демонстрандумъ.

Но покою у меня не было. Надо было дописать послѣднюю главу, а вмѣсто того, чтобы писать, я опять вышелъ, бродилъ до поздняго времени и, придя во-своихъ, утомленный до послѣдней степени, тотчасъ заснулъ, не смотря на смутное мое безпокойство. Мнѣ приснилось, что послѣ долгихъ, непоказанныхъ во снѣ, но подразумеваемыхъ розысковъ, я нашель наконецъ скрывавшуюся отъ меня Лиду, которая спокойно сказала мнѣ, что все хорошо, наслѣдство она получила и выходитъ замужъ за другого, ибо меня нѣтъ, я мертвъ. Проснулся я въ

сильнѣйшемъ гнѣвѣ, съ безумно бьющимся сердцемъ. — одурачень! безсиленъ! — не можетъ вѣдь мертвецъ обратиться въ судъ, — да, безсиленъ, и она знаетъ это! Очухавшись, я разсмѣялся, — приснится же такая чепуха, — но вдругъ почувствовалъ, что и въ самомъ дѣлѣ есть что-то чрезвычайно непріятное, что смѣхомъ стряхнуть нельзя, — и не въ снѣ дѣло, а въ загадочности вчерашняго извѣстія: обнаружень предметъ... Если дѣйствительно, подумалъ я, это не хитрость и не ошибка, если дѣйствительно удалось подыскать убитому имя, и если имя это правильное — — Тутъ было слишкомъ много «если», — я вспомнилъ, какъ вчера тщательно провѣрить плавные, планетные пути всѣхъ предметовъ — могъ бы начертить пунктиромъ ихъ орбиты, — а все-таки не успокоился.

Ища способа отвлечься отъ расплывчатыхъ, невыяснимыхъ предчувствій, я собралъ страницы моей рукописи, взвѣсилъ пачку на ладони, игриво сказалъ «ого!» и рѣшилъ, прежде чѣмъ дописать послѣднія строки, все перечестъ сначала. Я подумалъ внезапно, что предстоитъ мнѣ огромное удовольствіе. Въ ночной рубашкѣ, стоя у стола, я любовно утряхивалъ въ рукахъ шуршащую толщу исписанныхъ страницъ. Затѣмъ легъ опять въ постель, закурилъ папиросу, удобно устроилъ подушку подъ лопатками, — замѣтилъ, что рукопись оставилъ на столѣ, хотя казалось мнѣ, что все время держу ее въ рукахъ; спокойно, не выругавшись, всталъ и взялъ ее съ собой въ постель, опять устроилъ подушку, посмотрѣлъ на дверь, спросилъ себя, заперта ли она на ключъ или нѣтъ, — мнѣ не хотѣлось прерывать чтеніе, чтобы впускать горничную. когда въ девять часовъ она принесетъ кофе; всталъ еще разъ — и опять спокойно, — дверь оказалась отпертой. такъ что можно было и не вставать; кашлянулъ, легъ, удобно устроился, уже хотѣлъ приступить къ чтенію, но тутъ оказалось, что у меня потухла папираса, — не въ примѣръ нѣмецкимъ, французскія требуютъ къ себѣ вни-

манія; куда дѣлись спички? Только-что были у меня. Я всталъ въ третій разъ, уже съ легкой дрожью въ рукахъ, нашель спички за чернильницей, а вернувшись въ постель, раздавилъ бедромъ другой, полный, коробокъ, спрятавшійся въ простыняхъ, — значить опять вставалъ зря. Тутъ я вспылить, поднялъ съ пола рассыпавшіяся страницы рукописи, и пріятное предвкушеніе, только-что наполнявшее меня, смѣнилось почти страданіемъ, ужаснымъ чувствомъ, что кто-то хитрый обѣщаетъ мнѣ раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закуривъ и оглушивъ ударомъ кулака строптивую подушку, я обратился къ рукописи. Меня поразило, что сверху не выставлено никакого заглавія, — мнѣ казалось, что я какое-то заглавіе въ свое время придумалъ, что-то, начинавшееся на «Записки...», — но чьи записки — не помнилъ, — и вообще «Записки» ужасно банально и скучно. Какъ же назвать? «Двойникъ»? Но это уже имѣется. «Зеркало»? «Портретъ автора въ зеркалѣ»? Жеманно, приторно... «Сходство»? «Непризнанное сходство»? «Оправданіе сходства»? Суховато, съ уклономъ въ философію... Можетъ быть: «Отвѣтъ критикамъ»? Или «Поэтъ и чернь»? Это не такъ плохо — надо подумать. Сперва перечтемъ, сказалъ я вслухъ, а потомъ придумаемъ заглавіе.

Я сталъ читать, — и вскорѣ уже не зналъ, читаю ли или вспоминаю, — даже болѣе того — преображенная память моя дышала двойной порціей кислорода. въ комнатѣ было еще свѣглѣе оттого, что вымыли стекла, прошлое мое было живѣе оттого, что было дважды озарено искусствомъ. Снова я взбирался на холмъ подь Прагой, слышалъ жаворонка, видѣлъ круглый, красный газоемъ; снова въ невѣроятномъ волненіи стоялъ надъ спящимъ бродягой, и снова онъ потягивался и зѣвалъ, и снова изъ его петлицы висѣла головкой внизъ вялая фіалка. Я читалъ дальше, и появлялась моя розовая жена, Ардаліонъ, Орловиусъ, — и всѣ они были живы, но въ какомъ то смыслѣ жизнь ихъ я держалъ въ своихъ рукахъ

Снова я видѣлъ желтый столбъ и ходилъ по лѣсу, уже обдумывая свою фабулу; снова въ осенній день мы смотрѣли съ женой, какъ падаетъ листъ навстрѣчу своему отраженію, — и вотъ я и самъ плавно упалъ въ саксонскій городокъ, полный странныхъ повтореній, и навстрѣчу мнѣ плавно поднялся двойникъ. И снова я обволакивалъ его, овладѣвалъ имъ, и онъ отъ меня ускользалъ, и я дѣлалъ видъ, что отказываюсь отъ замысла, и съ неожиданной силой фабула разгоралась опять, требуя отъ своего творца продолженія и окончанія. И снова, въ мартовскій день, я сонно ѣхалъ по шоссе, и тамъ, въ кустахъ, у столба, онъ меня уже дожидался:

«...Садись, скорѣе, намъ нужно отъѣхать отсюда».

«Куда?» — полюбопытствовалъ онъ.

«Вонъ въ тотъ лѣсъ».

«Туда?» — спросилъ онъ и указалъ...

Палкой, читатель, палкой. Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодѣльной палкой съ выжженнымъ на ней именемъ: Феликсъ такой-то изъ Цвикау. Палкой указать, дорогой и почтенный читатель; палкой, — ты знаешь, что такое «палка»? Ну вотъ — палкой, — указалъ ею, сѣлъ въ автомобиль и потомъ палку въ немъ и оставилъ, когда вылѣзъ: вѣдь автомобиль временно принадлежалъ ему, я отмѣтилъ это «спокойное удовлетвореніе собственника». Вотъ какая вещь — художественная память! Почище всякой другой. «Туда?» — спросилъ онъ и указалъ палкой. Никогда въ жизни я не былъ такъ удивленъ.

Я сидѣлъ въ постели, вынужденными глазами глядя на страницу, на мною же — нѣтъ, не мной, а диковинной моей союзницей, — написанную фразу, и уже понималъ, какъ это непоправимо. Ахъ, совсѣмъ не то, что нашли палку въ автомобилѣ и теперь знаютъ имя, и уже неизбежно это общее наше имя приведетъ къ моей поимкѣ, — ахъ, совсѣмъ не это пронзало меня, — а сознаніе, что все мое произведеніе, такъ тщательно продуманное, такъ тщательно выполненное, теперь иъ самомъ себѣ, въ сущности

своей, уничтожено, обращено въ труху, допущенною мною ошибкой. Слушайте, слушайте! Вѣдь даже если бы его трупъ сошелъ за мой, все равно обнаружили бы палку и затѣмъ поймали бы меня, думая, что берутъ его, — вотъ что самое позорное! Вѣдь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается, промахъ былъ, да еще какой, — самый пошлый, смѣшной и грубый. Слушайте, слушайте! Я стоялъ надъ прахомъ дивнаго своего произведенія, и мерзкій голосъ вопилъ въ ухо, что меня непризнавшая чернь можетъ быть и права... Да, я усомнился во всемъ, усомнился въ главномъ, — и понялъ, что весь небольшой остатокъ жизни будетъ посвященъ одной лишь бесплодной борьбѣ съ этимъ сомнѣніемъ, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупымъ, кричащимъ отъ боли карандашомъ быстро и твердо написалъ на первой страницѣ слово «Отчаяніе», — лучшаго заглавія не сыскать.

Мнѣ принесли кофе, я выпилъ его, но оставилъ гретки. Затѣмъ я наскоро одѣлся, уложился и самъ снесъ внизъ чемоданъ. Докторъ къ счастью не видѣлъ меня. Зато журанъ удивился внезапности моего отъѣзда и очень дорого взялъ за номеръ, но мнѣ было это уже все равно. Я уѣзжалъ просто потому, что такъ принято въ моемъ положеніи. Я слѣдовалъ нѣкой традиціи. При этомъ я предполагалъ, что французская полиція уже напала на мой слѣдъ.

По дорогѣ въ городъ я изъ автобуса увидѣлъ двухъ ажановъ въ быстромъ, словно мукой обсыпанномъ автомобилѣ, — мы скрестились, они оставили облако пыли, — но мчались ли они именно за тѣмъ, чтобы меня арестовать, не знаю, — да и можетъ быть это вовсе не были ажаны, — не знаю, — они мелькнули слишкомъ быстро. Въ городѣ я зашелъ на почтамтъ, такъ, на всякій случай, — и теперь жалѣю, что зашелъ, — я бы вполне обошелся безъ письма, которое мнѣ тамъ выдали. Въ тотъ же день я выбралъ наудачу пейзажъ въ щегольской бро-

щюркѣ и поздно вечеромъ прибылъ сюда, въ горную деревню. А насчетъ полученнаго письма... Нѣтъ, пожалуй, я все-таки его приведу, какъ примѣръ человѣческой ннзости.

«Вотъ что. Пишу Вамъ, господинъ хороший, по тремъ причинамъ: 1) Она просила, 2) Собираюсь непременно Вамъ сказать, что я о Васъ думаю, 3) Искренне хочу посоветовать Вамъ отдаться въ руки правосудія, чтобы разъяснить кровавую путаницу и гнусную тайну, отъ которой больше всего, конечно, страдаетъ она, терроризованная, невиноватая. Предупреждаю Васъ, что я съ большимъ сомнѣніемъ отношусь къ мрачной достоевщинаѣ, которую Вы изволили ей разсказать. Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этомъ вранье, такъ какъ Вы играли на ея чувствахъ.

Она просила написать, думая, что Вы еще ничего не знаете, совсѣмъ растерялась и говорить, что Вы разсердитесь, если Вамъ написать. Желалъ бы я посмотрѣть, какъ Вы будете сердиться; это должно быть звѣрски злннятно.

Стало быть, такъ. Но мало убить человѣка и одѣть въ подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожихъ людей нѣтъ на свѣтѣ и не можетъ быть, какъ бы Вы ихъ ни наряжали. Впрочемъ, до такихъ тонкостей не дошло, да и началось то съ того, что добрая душа честно ее предупредила: нашли трупъ съ документами Вашего мужа, но это не онъ. А страшно вотъ что: наученная подлецомъ, она, бѣдняжка, еще прежде — понимаете-ли Вы это? — еще прежде чѣмъ ей показали тѣло, утверждала вопреки всему, что это именно ея мужъ. Я просто не понимаю, какимъ образомъ Вы сумѣли всѣдить въ нее, въ женщину совсѣмъ чуждую Вамъ, такой священный ужасъ. Для этого надо быть дѣйствительно незауряднымъ чудовищемъ. Богъ знаетъ, что ей еще придется испытать. Нѣтъ, — Вы обязаны снять съ нея тѣнь общннчества. Дѣло же само по себѣ ясно всѣмъ. Эти шуточки,

господи́нь хоро́шій, со страховыми обществами давнымъ-давно извѣстны. Я бы даже сказалъ, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину.

Теперь — что я думаю о Васѣ. Первое извѣстіе мнѣ попалось въ городѣ, гдѣ я застрялъ. До Италиі не доѣхалъ и слава Богу. И вотъ, прочтя это извѣстіе, я знаете что? не удивился! Я всегда вѣдь зналъ, что Вы грубое и злое животное, и не скрылъ отъ слѣдователя всего, что самъ видѣлъ. Особенно что касается Вашего съ ней обращенія, этого Вашего высокоумнаго презрѣнія, и вѣчныхъ насмѣшекъ, и мслочной жестокости, и всѣхъ насъ угнетавшаго холода. Вы очень похожи на большого страшнаго кабана съ гнилыми клыками, напрасно не нарядили такого въ свой костюмъ. И еще въ одномъ долженъ признаться Вамъ: я, слабовольный, я, пьяный, я, ради искусства готовый продать свою честь, я Вамъ говорю: мнѣ стыдно, что я отъ Васѣ принималъ подачки, и этотъ стыдъ я готовъ обнародовать, кричать о немъ на улицахъ, только бы отдѣлаться отъ него.

Вотъ что, кабанъ! Такое положеніе длиться не можетъ. Я желаю Вашей гибели не потому, что Вы убійца, а потому, что Вы подлѣйшій подлецъ, воспользовавшійся наивностью доврчивой молодой женщины, и такъ истерзанной и оглушенной десятилѣтнимъ адомъ жизни съ Вами. Но если въ Васѣ еще не все померкло: объявитесь!

Слѣдовало бы оставить это письмо безъ комментаріевъ. Безпристрастный читатель предыдущихъ главъ видѣлъ, съ какимъ добродушіемъ и доброхотствомъ и относился къ Ардаліону, а вотъ какъ онъ мнѣ отплатилъ. Но все равно, все равно... Я хочу думать, что писалъ онъ эту мерзость въ пьяномъ видѣ, ужъ слушкомъ все это безобразно, бьетъ мимо цѣли, полно клеветническихъ утверждений, абсурдность которыхъ тотъ же внимательный читатель пойметъ безъ труда. Назвать веселую, пустую, недалекую мою Лиду запуганной или какъ тамъ еще — истерзанной, — намекать на какой-то раздоръ ме-

жду нами, доходящій чуть ли не до мордобоя, это уже извините, это уже я не знаю, какими словами охарактеризовать. Нѣтъ этихъ словъ. Корреспондентъ мой всѣ ихъ уже использовалъ, въ другомъ, правда, примѣненіи. Я, передъ тѣмъ полагавшій, что уже перевалилъ за послѣднюю черту возможныхъ страданій, обидъ, недоумѣній, пришелъ въ такое состояніе, перечитывая это письмо, меня такая одолѣла дрожь, что все кругомъ затряслось, — столъ, стаканъ на столѣ, даже мышеловка въ углу новой моей комнаты.

Но вдругъ я хлопнулъ себя по лбу и расхохотался. Какъ это было просто! Какъ просто разгадывалось таинственное неистовство этого письма. Это — неистовство собственника: Ардалионъ не можетъ мнѣ простить, что я шифромъ взялъ его имя, и что убійство произошло какъ разъ на его участкѣ земли. Онъ ошибается, всѣ давно обанкротились, неизвѣстно кому принадлежитъ эта земля, и вообще — довольно, довольно о шутѣ Ардалионъ! Послѣдній мазокъ на его портретъ наложенъ, послѣднимъ движеніемъ кисти я наискось въ углу подписалъ его. Онъ подучше будетъ той подкрашенной дохлятины, которую этотъ шутъ сотворилъ изъ моей физиономіи. Basta! Онъ хорошъ, господа.

Но все-таки, какъ онъ смѣетъ... Ахъ, къ чорту, къ чорту, все къ чорту!

31 марта, ночью.

Увы, моя повѣсть вырождается въ дневникъ. Но ничего не подѣлаешь: я уже не могу обойтись безъ писанія. Дневникъ, правда, самая низкая форма литературы. Знаюки оцѣнять это прелестное, будто бы многозначительное «ночью», — ахъ ты — «ночью», смотри какой, писалъ ночью, не спать, какой интересный и томный! Но все-таки я пишу это ночью.

Деревня, гдѣ я скучаю, лежитъ въ люлькѣ долины, среди высокихъ и тѣсныхъ горъ. Я снялъ большую, по-

хожую на сарай, комнату въ домѣ у смуглой старухи, держащей внизу бакалейную. Въ деревнѣ одна всего улица. Я бы долго могъ описывать мѣстныя красоты, — облака, напримѣръ, которыя проползаютъ черезъ домъ изъ окна въ окно, — но описывать все это чрезвычайно скучно. Меня забавляетъ, что я здѣсь единственный туристъ, да еще иностранецъ, а такъ какъ успѣли какъ то разнюхать (впрочемъ, я самъ сказалъ хозяйкѣ), что я изъ Германіи, то возбуждаю большое любопытство. Мнѣ бы скрываться, а я лѣзу на самое. такъ сказать, видное мѣсто, трудно было лучше выбрать. Но я усталъ; чѣмъ скорѣе все это кончится, тѣмъ лучше.

Сегодня, кстати, познакомился я съ мѣстнымъ жандармомъ, — совершенно опереточный персонажъ! Это довольно пухлый розовый мужчина, ноги херомъ, фатоватые черные усики. Я сидѣлъ въ концѣ улицы на скамейкѣ, и кругомъ поселяне занимались своимъ дѣломъ, т. е. притворялись, что занимаются своимъ дѣломъ, а въ сущности съ неистовымъ любопытствомъ, въ какихъ бы позахъ они ни находились, изъ-за плеча, изъ подмышки, изъ-подъ колѣна слѣдили за мной, — я это отлично видѣлъ. Жандармъ нерѣшительно подошелъ ко мнѣ, заговорилъ о дождѣ, потомъ о политикѣ. Онъ кое-чѣмъ напомнилъ мнѣ покойнаго Феликса, — солиднымъ тономъ, мудростью самоучки. Я спросилъ, когда тутъ послѣдній разъ арестовали кого-нибудь. Онъ подумалъ и отвѣтилъ, что это было шесть лѣтъ тому назадъ, — задержали испанца, который съ кѣмъ-то повздорилъ не безъ мокрыхъ послѣдствій и скрылся въ горахъ. Далѣе онъ счелъ нужнымъ сообщить мнѣ, что въ горахъ есть медвѣди, которыхъ искусственно тамъ поселили для борьбы съ волками, — что показалось мнѣ очень смѣшнымъ. Но онъ не смѣялся, онъ стоялъ, меланхолично покручивая лѣвую усь правой рукой и разсуждалъ о современномъ образованіи: «Вотъ, напримѣръ, я, — говорилъ онъ, — я знаю географію, ариметику, военное дѣло, пишу красивымъ

почеркомъ...» Я спросилъ: «А на скрипкѣ играете?» Онъ грустно покачалъ головой.

Сейчасъ, дрожа въ студеной комнатѣ, проклиная лающихъ собакъ, ожидая, что въ углу съ трескомъ хлопнетъ мышеловка, отхвативъ мыши голову, машинально попивая вербеновую настойку, которую хозяйка, считая, что у меня хворый видъ и боясь вѣроятно, что умру до суда, вздумала мнѣ принести, я сижу, и вотъ пишу на этой клѣтчатой школьной бумагѣ, другой было здѣсь не найти, — и задумываюсь, и опять посматриваю на мышеловку. Зеркала, слава Богу, въ комнатѣ нѣтъ, какъ и нѣтъ Бога, котораго славлю. Все темно, все страшно, и нѣтъ особыхъ причинъ медлить мнѣ въ этомъ темномъ, зря выдуманномъ мірѣ. Убить себя я не хочу, это было бы не экономно, — почти въ каждой странѣ есть лицо, оплачиваемое государствомъ, для исполненія смертной услуги. И затѣмъ — раковинный гулъ вѣчнаго небытія. А самое замѣчательное, что все это можетъ еще продлиться, — т. е. не убьютъ, а сошлютъ на каторгу, и еще можетъ случиться, что черезъ пять лѣтъ подойду подъ какую-нибудь амнистію и вернусь въ Берлинъ, и буду опять торговать шоколадомъ. Не знаю, почему, — но это страшно смѣшно.

Предположимъ, я убилъ обезьяну. Не трогаютъ. Предположимъ, что эта обезьяна особенно умная. Не трогаютъ. Предположимъ, что это — обезьяна новаго вида, говорящая, голая. Не трогаютъ. Осмотрительно поднимаясь по этимъ тонкимъ ступенямъ, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить ихъ, и никто тебя не тронетъ, — такъ какъ все дѣлалось постепенно, неизвѣстно, когда перейдена грань, послѣ которой софисту приходится худо.

Лають собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указалъ палкой. Палка, — какія слова можно выжать изъ палки? Паль, дакъ, калъ, лапка. Ужасно холодно. Лають, — одна начнетъ, и тогда подхватываютъ

всѣ. Идетъ дождь. Электричество хилое, желтое. Чего я, собственно говоря, натворилъ?

1-го апрѣля.

Опасность обращенія моея повѣсти въ художочный дневникъ къ счастью разсѣяна. Вотъ сейчасъ заходилъ мой опереточный жандармъ, дѣловитый, при саблѣ, и не глядя мнѣ въ глаза, учтиво попросилъ мои бумаги. Я отвѣтилъ, что все равно намѣренъ на-дняхъ прописаться, а что сейчасъ не хочу вылѣзть изъ постели. Онъ настаивалъ, — былъ вѣжливъ, извинялся, но настаивалъ. Я вылѣзъ и далъ ему паспортъ. Уходя, онъ въ дверяхъ обернулся и все тѣмъ же вѣжливымъ голосомъ попросилъ меня сидѣть дома. Скажите, пожалуйста!

Я подкрался къ окну и осторожно отвелъ занавѣску. На улицѣ стоятъ зѣваки, человекъ сто; и смотрятъ на мое окно. Въ толпѣ пробирается мой жандармъ, его о чемъ-то рьяно спрашиваетъ господинъ въ котелкѣ набекрень, любопытныя ихъ затѣснили. Лучше не видѣть.

Можетъ быть, все это — лжебытіе, дурной сонъ, и я сейчасъ проснусь гдѣ-нибудь — на травкѣ подъ Прагой. Хорошо по крайней мѣрѣ, что затравили такъ скоро.

Я опять отвелъ занавѣску. Стоятъ и смотрятъ. Ихъ сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчаніе, только слышно, какъ дышать. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую рѣчь.

В. Сиринъ.

Няня изъ Москвы

XVI.

Да какъ загостились-то я у васъ, барыня, разговорами занялась, а ужъ и тѣмно скоро. Да какъ же такъ, ночевать... васъ-то, боюсь, обезпокою? А баринъ не осердится? Ну, дай имъ Господь здоровья. Ужъ такая голова, народу что кормили, на фабрикахъ. Со-рокъ тыщъ?! Подумать страшно. И на всѣхъ хватало, каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то ужъ имъ гдѣ жъ упомнить. Пройдутъ они, сурьезный-то-сурьезный, а мы такъ и затрепетаемъ, — какъ царь прошелъ. И графъ Комаровъ вотъ тоже, какой неприступный былъ, расшитый весь, золотой, чисто икона въ ризѣ, а теперь куколки вонъ красить. Ну, что жъ, если не скучно, доскажу вамъ.

Сколько-то прошло, баринъ и узналъ, — Васенька на войну охотой своей пошелъ. Катичка и говорить — это черезъ нее онъ, отказала-то ему, — и словно пріятно ей, глазки такъ заблестѣли. А баринъ все что-то уставать сталъ, и раздражи-тельный, не дай Богъ. Зачѣмъ-то его въ Петербургъ потребовали. Барыня мнѣ шепнула — на казенное вѣдѣніе его позвали, царя смѣститъ. Министры, говорить, всѣ сгнили, а царь дѣломъ не занимается, съ монахомъ съ распутнымъ все, — все вотъ и разва-лилось, барина и позвали дѣло поправлять. И на лворѣ стали говорить, — монахъ царицу заколдовалъ, нѣмцамъ насъ продаютъ. А жили хорошо. Солдаткамъ отъ казны паекъ шель, и на дѣтей выдавали. Съ нашего двора одна

въ кондукторши поступила на трамвай, — видано ли когда! — и на заводы бабъ стали принимать — въ бонбы пороху насыпали, по три рубли на день получали. А ужъ рядиться стали!.. — прямо, всѣ бабы посбѣсились. Кругомъ лазареты, писаря, шоферы... — ну, и лошли крутить. Въ Кудринѣ у насъ, что только къ вечеру на «пупкѣ» творилось! А такой бульварчикъ круглый, «пупкомъ» прозвали. Такъ и кружатся, какъ собаки, чистая страмота. Солдатики изъ лазаретовъ бѣгали, горничныя, солдатки . ужъ нарядъ стали посылать, съ ружьями, разгонять. Придешь къ Авдотьѣ Васильевнѣ, желанной моей, чайку попить... дверь въ магазинъ открыта, все и слышать, какіе всѣ стали смѣлые: про царя говорятъ — слушать страшно. А Головковъ очень приверженный, хироносецъ былъ, и за царя стоялъ, за законъ. Спориться начнутъ, а онъ горячій... — Авдотья Васильевна такъ и трясется вся.

Баринъ пріѣхалъ изъ Петербурга — все руки потираль, — «скоро, говоритъ, все перевернется!» Ужъ ему главное мѣсто обѣщали, докторово. А я, правду сказать, не вѣрила, что хорошо-то будетъ. Ужли, думаю, и нашему блину власть дадутъ? И своихъ-то денегъ не усчитаетъ, а съ казенными и совсѣмъ пропадетъ. А къ намъ профессоръ ходилъ, въ очкахъ ничего не видѣлъ, и ему высокое мѣсто обѣщали, суды судить. Все, бывало, шутилъ со мной:

— «Ну, няня, Богу за насъ молись, всѣхъ твоихъ внуковъ обезпечимъ, все у насъ по закону будетъ: и зѣвать, и чихать, и щи лаптемъ хлебать!»

И я ему, шуткой тоже:

— «Да много законовъ писать придется, на нужное нехватить, батюшка».

На Катичкины именины представленіе у насъ было, парадныя гости были. Изъ Петербурга князь былъ, умный такой съ лица, только все молчалъ, а всѣ къ нему съ уваженіемъ. Барыня мнѣ шепнула: «идравится тебѣ, вотъ бы царя такого?» А я еще ей сказала — да какъ же такъ, ца-

ря... на всѣхъ похожъ, и страха никакого, ногу на ногу кладеть, и Катичка ему глазами все смѣется? Имъ, можетъ, и хотѣлось царя такого, знакомаго, а на царя-то онъ непохожъ. Такъ вотъ и остались безо всего. А Катичка чужую царицу представляла: вся спина голая, и перья на головѣ. И бѣсъ тотъ былъ, морда обсосанъ, представлять училъ. Гляжу — все-то онъ за ней да за ней. А коридоръ у насъ темный. Слышу — Катичка бѣжить. А я... за шубы я схоронилась, гляжу — за плечики ухватилъ и въ голую спинку цѣловать, взадъ! А она только ежится. Я тутъ и не утерпѣла: «вы что жъ, говорю, охальничаете, въ хорошемъ домѣ?!» Катичка — ахъ! — кошкой отъ меня, а бѣсъ на меня, скокомъ:

— «А, говоритъ, Агафья Матре-новна, — насмѣхъ такъ, — хорошо мы представляемъ, ндравится вамъ?»

Фукнулъ черезъ губу — и все, съ безстыжаго чего взять. Ужъ чѣмъ бы все это кончилось, если бы не Господь! А вотъ.

Дня три прошло, прибѣжала Катичка, сама не своя: шубка растерзана, въ снѣгу вся, ботикъ потеряла, и плачетъ, и хохочетъ, ничего не понять. А къ полночи ужъ, я съ постели, помню, соскочила. На тройкахъ съ актершиками, говоритъ, катались и человѣка задавили, у Трухмальныхъ Воротъ, со страху съ саней прыгнула, ботикъ потеряла, и все. А баринъ опять чтой-то прихворнулъ. Звонокъ въ телефонъ: изъ участка, барина требуютъ, въ протоколы пишутъ. За голову схватился, покатилъ. А мы за Катичку принялись. Она и призналась. Значить, бѣсъ ее за заставу повезъ кататься, въ Парки, и задавили человѣка, а она со страху убѣжала. Ну, хорошо. Воротился баринъ — лица нѣтъ. Шваркъ ей ботикъ и сумочку, и давай пу-ши-ить, никогда не ругался такъ. Что же оказывается! Троечникъ показалъ въ участкѣ. Значить, велѣлъ бѣсъ гнать, что есть духу, а самъ — Катичку щекотать! Она съ испугу-то завизжала, троечникъ и оглянулся, чего это баринъ барышню забижаетъ... солдатъ и подвернись

туть подъ лошадей, — въ голову ему оглоблей, волосья и сорвало съ подголовы. Лошади понесли, да гордовой подъ коренника кинулся и повисъ, а то бы ускакали. Ну, въ свистки, дворники набѣжали, а Катичка испугалась, выскочила, и ботикъ потеряла, и сумочку. Гордовой сказалъ — съ гулящихъ барышневъ не взыскиваемъ, съ кавалера взыщемъ. А въ сумочкѣ письмо было съ нашимъ адрескомъ, въ участкѣ и разыскали насъ. Вотъ баринъ горячился..!

— За гулящую ужъ принимаютъ! Я и безъ того боленъ, — за бокъ себя схватилъ, — я, кричить, этому... — слово сказалъ про бѣса, не слыхано отъ него! — онъ извѣстный на всю Москву..!» — опять то слово, по женской части, — «я ему всю морду исполосую!..»

Катичка на колѣнки... —

— Папочка, ради Бога, не страми... онъ знаменитый!..»

А баринъ разошелся, глаза не смотрятъ. Вотъ, кто онъ... знаменитый!.. — опять то слово. Со стыда я сгорѣла. И барыня на него — не желаю словъ! Барыню пихнулъ, убѣжалъ въ кабинетъ. Какой ужъ сонъ, къ ранней заблаговѣстили. Гляжу — барина шубы нѣтъ. Приѣзжаетъ въ десять часовъ — краше въ гробъ кладутъ. Выбѣжали къ нему, а онъ и показываетъ перчатку, хорошая, замшевая, какъ рукавица, — рука у него огромная была:

— «Нюхай, Катерина!..» — первый разъ Катичку такъ, — «по его похабной рожѣ щелкнулъ!»

— «Съ ума ты сошелъ!..» — такъ и взвизгнули, — «такую знаменитость!..!»

Онъ въ нихъ и швырнулъ перчатку:

— «Лижите, дуры! теперь эта перчатка знаменитая!..»

Цѣльную недѣлю вздорились. А я такъ и подумала: Господь это Катичку уберегъ, черезъ солдатика. Посмирнѣй она стала, и гадъ тотъ отъ нее отступился, баринъ-то пострадалъ. Одну бѣду отвело — другая. И тутъ всѣ бѣды и пошли, до самаго конца.

XVII.

Подъ Николинъ день было. Наши въ театры поѣхали, а я съ Авдотьей Васильевной въ Донской монастырь, ко всенощной. Въ одиннадцатомъ воротилась, и наши подъѣзжаютъ, — рано что-то. Катичка — шубку шваркъ, поѣжала въ залъ, въ темнотѣ на роялехъ барабанить. А баринъ прилегли, устали. А она барабанить, она звонить..! Сказала ей — ну, чего барабанишь, дала бы ладочкѣ отдохнуть. Какъ крышкой — хлопъ! — Мать-Пресвятая-Богородица..! Баринъ вышли — «уймись, прошу тебя...» — будто застонулъ. А она, на весь-то домъ... — «ахъ, надоѣли вы мнѣ всѣ!» — и убѣжала къ себѣ. Баринъ съ барыней стоятъ въ столовой, баринъ бокъ потираетъ-морщится, и другъ-другу упрасиваютъ: «поди, успокой ее, узнай». А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, какъ она. Заскрипѣла полоть. А она — «ня-ань, поди-и...» А дверь ужъ отперта. Сѣла я къ ней, а она зацалапа меня, какъ маленькая, бывало. и затряслась. А я ужъ ее знаю — отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась... слезки, какъ градинки, крупныя, покатушки, — и глядитъ мнѣ въ глаза, спрашиваетъ губками, а я все понимаю, чего спрашиваетъ. Какъ горе у насъ какое, маленькая когда была, мы все такъ играли. Я ей и пошептала бауточку: «дожжикъ въ тучки, солнышко намъ въ ручки!» Она и улыбулась, горе свое повѣдала: Васеньку въ театрахъ увидала! Офицеръ онъ, и медаль у него золотая, и онъ съ палочкой, а подъ-ручку съ нимъ красавица такая... милосердая сестрица. И не поклонился даже. А баринъ ей и сказали: это, молъ, извѣстная графиня, изъ алистократовъ. Она разстроилась, и уѣхали изъ театровъ. Не стала я ее старымъ корить, сама сокола проморгала. А она и говоритъ. «это они мнѣ насмѣхъ, хоро-шо-о!..»

Ну, вотъ. Хочу и хочу сестрой милосердой. Обучи-

лась скоро, въ нашемъ лазаретѣ занималась. Въ первый ее лазаретъ приняли, и графиня тамъ служила. Недѣльку походила — бросила. Гордячки тамъ, графини да княгини, а я, молъ, простая-смѣртная, докторова дочка только. Баринъ и узналъ правду. Приѣзжаетъ да, шубы не снявъ, по столу кулакомъ!.. —

— «Теперь вижу, какая ты дрянъ ничтожная!» — въ голосъ закричалъ.

Барыня на него — «самъ ты мразь ничтожный!» — Баринъ на нихъ съ кулаками, искавился весь:

— «Въ гробъ вогнали! печенки отъ васъ болятъ, подохну скоро!..» — и на диванъ повалился, застонулъ.

И головой закопался. Шуба на немъ завернулась, нога изъ брюки высунулась, — какъ сейчасъ вижу. Раздѣли мы его. Первый разъ тогда горячій пузырь ему къ боку приложили, силъ нѣтъ терпѣть, боль очень. Барыня напугалась, стала его цѣловать, урковать, — нельзя такъ, запускать... Приѣхали доктора — печень, говорятъ, олушкин, вина много выпивалъ, воду велѣли пить. А правда вотъ какая оказалась.

Въ лазаретѣ графиня та служила, за старшую. Обучала, понятно, какъ-что: принесите то, подайте это, — дѣло сурьезное. А Катичка балована, забрала въ голову: графиня, молъ, хорохорится надъ ней. А тутъ пришла бумага — графинѣ на войну ѣхать. Катичка и скажи, на людяхъ: «жениховъ ловить ѣздить туда!» А графиня только и сказала: «жалъ мнѣ васъ, какъ плохо вы воспитаны». Это барину пуше ножа было. Катичка градусникомъ тогда въ нее швырнула и въ обморокъ упала. Ну, ее и уволили. Развѣ пріятно барину! Тутъ на насъ самал бѣда и навалилась.

XVIII.

Стрѣтенье, никакъ, было. Была барыня на балу, для раненыхъ старались, и много мороженого съѣла, и стало у

ней воспаление, оба бока гнилой водой налило, въ трубочки выпускали доктора. И ужъ ребрушки стали гнить, два ребрушка вынули, на волосочкѣ отъ смерти была. Ужъ ей кислороду дышать давали. Стала смерть подходить, она ужъ ее зачужала. Зачужала она смерть, стала причитать: «ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается». А ужъ царя смѣстили, самый-то хавось начался, жить бы да жить, а она помираетъ. Кислородомъ-то надышалась — такая блажная стала, страху на меня нагнала: такъ нечистый возля ее и ходить, слова непотребныя вслить. Другой помираетъ — покоряется, а она изъ себя выходитъ, проклинаетъ. Ну, что мнѣ дѣлать, одна я при ней, уговариваю-утишаю. А ужъ все кверху ногами стало, всѣ съ лентами съ красными пошли по Москвѣ ходить, пѣсни поютъ... барина дома никогда нѣтъ, все взасѣданія казенныя, правителями-то стали. И онъ тоже вотъ какой бантъ себѣ прикололъ красный, дострасти радъ. А домой прѣдетъ — на бокъ горячій пузырь все клалъ. Радость пришла, а у него болѣзнь злая. Все телеграмму изъ Петербурга ждалъ — управлять его позовутъ, — а его не зовутъ и не зовутъ. И операцию стали ему совѣтовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядѣть, по ихъ все вышло, а и дышать не можетъ. Баринъ ей тоже бантикъ на кофточку прикололъ, а она лежитъ и плачетъ. Газету ей читалъ баринъ — какая счастливая жизнь открылась, все она такъ: — «ахъ, хорошо! ахъ, замѣчательно-интересно!» — а поднять голову не можетъ. А тутъ братецъ ее къ намъ пришелъ, Аполитъ, маленько выпимши, и супругу привелъ, портниху. И тоже съ лентами. Дожили, говорить, до праздника, теперь всѣ одинаки... давайте мириться, и вотъ моя супруга. Ну, разъ такое дѣло, баринъ велѣлъ имъ чай пить остаться. Такъ при лентахъ и сѣли за самоваръ. А онъ ужъ высокую должность получилъ, всѣ паровозы у него.

— «Безъ меня, говорить, теперь никто ничего не можетъ, все могу оставить сразу. И по всѣмъ дорогамъ

могу ѣздить и вамъ могу билеты выправлять задаромъ, куда угодно».

И бумагу показалъ. Даже головой баринъ покачали. А доктора велѣли барыню въ Крымъ везти. Аполить и пообѣщаль въ царскомъ вагонѣ ее отправить, такая у него власть стала. А мнѣ къ Троицѣ билетъ сулили. А портниха скромная такая, шепнула мнѣ: «ужь не знаю, куда насъ вознесетъ, очень мы высоко поднялись, и Аполить Алексѣичъ въ министра хочетъ, очень я боюсь». Плакала даже. Это ужь какой у кого характеръ. Аксющика вонъ наша — «губернаторшей хочу быть!» — писарь ее смутить.

Ну, хорошо. А барынѣ совѣмъ плохо. Сердце у меня изболѣлось за нее: ну, какъ мнѣ ее приготовить? Пошла съ Авдотьей Васильевной посоветоваться.

Прихожу въ магазинъ, а она плачетъ — разливается. А у насъ полицію все ловили. Всѣхъ жуликовъ-то повыпускали, они на полицію ножи и точили, натравливали схальниковъ. Иду къ Авдотьѣ Васильевнѣ, три дома отъ насъ, а на моихъ глазахъ нашего городского и узнали! Онъ заслуженный былъ, весь въ крестахъ, Бузаковъ фамилія. Храбрый такой, душегубовъ не боялся, а тутъ своихъ испугался. То хоронился, а стало потише — онъ и вышелъ поглядѣть, знакомые шубу ему дали надѣть, съ барашковымъ воротникомъ—какъ всякій человѣкъ сталъ. Онъ высокій, шуба ему по колѣна, штаны гордовые и видать, синіе. Его по штанамъ-то и схватили. Схватили — и пистолеть вотъ сюда приставили, трое бунтарей. Онъ на колѣнки всталъ, заплакалъ, сталъ на небо креститься: «братцы, не губите душу, я такой же человѣкъ, русской, подначальный солдатъ!» Крикнула я на нихъ — «къ мировому васъ, живодеровъ!» — они меня за воротъ. А у насъ судебный помощникъ жилъ, жуликовъ оправлялъ по суду, а тутъ за пристава сталъ, печатками все стучалъ. Онъ и отнялъ у живодеровъ: надо, говорить, шукъ ловить, а вы караса схватили. Отпустили, ничего. А баринъ

въ окошко видаль, побоялся вступиться. А, бывало, за лошадь заступались, выбѣгали.

Прихожу, Авдотья Васильевна плачетъ, за мужа опасается. А самъ Головковъ къ Троицѣ укрылся. Трое молодцовъ, воруютъ, говорятъ, почему-зря, такъ вотъ и разоряютъ помаленьку. А приставъ новый, помощникъ-повѣренный, что ни вечеръ, за закусками присылаетъ, въ долгъ все, а не дать нельзя, — власть, какая ни есть... да все дорогое требуетъ: икры, мадеры, сыру ему свицарскаго, сардинковъ... И еще бездомный приютъ открылъ, а денегъ у него нѣтъ. Онъ сразу три приюта открылъ. И развелъ онъ у насъ во-ровъ!.. Какъ ночь — такъ и раздѣнуть въ переулкѣ. Даже и его самого раздѣли, и пи-столець отняли.

Спросила ее, какъ бы барыню поисправить, кончается. Она мнѣ просвирку дала успенскую, тѣлесныя узы отвѣзаетъ, на исходъ души, — въ супецъ замѣсто сухарикъ крошить. И растревожила она меня, не сказать: ужъ она все зараньше знала! А что вотъ останемся не при чемъ. Каждый годъ въ Оптину они ѣздили, и въ прошедшемъ году поѣхали. А старцевъ тамъ не осталось ужъ, вывелись, одинъ только пришлый старичокъ въ овражкѣ спасся. А какъ итти къ нему, сонъ она видала. Лавка, будто, ихняя въ дырѣяхъ вся, и безъ кры-ши... и полнымъ-то-полна мукой, и мука въ дырѣя текеть, и всѣ растаскиваютъ. И приходитъ въ большой сарай. А тамъ, вродѣ какъ престолъ, а на престолѣ нашъ царь сидитъ, словно въ ризѣ, а округъ головы лампадки все, и ликъ у него темный... Отъ страху и проснулась. Пошла къ старичку, а онъ отъ нее отворотился, — «въ дорогу, говоритъ, собирайся, все пусто будетъ, и снаружи, и снутри». И все. Ну, она и знала. Такъ мы и положили — въ послѣднюю дорогу, поминать. Стали мы съ ней плакать, она и говорить:

— «А, можетъ, не про послѣднюю дорогу намекнулъ? У меня старинная книга есть, про судьбу, и вонъ что мнѣ вычиталось, закладочкой я заложила».

И прочитала мнѣ: «ноги твои спасутъ тебя». Вонъ какъ: ноги, значить, спасутъ, бѣ-ги. И я поинтересовалась, мнѣ-то чего выходить. А у насъ недалёко гадалыцикъ жилъ, и къ нему публика ѣдила. Только онъ повѣсилъ. А у него по ночамъ въ азартныя карты играли. Забрали гадалыныя книги въ участокъ, приставъ одну и продалъ Головкову. Старая-разстарая, и черепа тамъ, и гробъ со свѣчами, — страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамотъ умѣла, Авдотья-то Васильевна, — она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годовъ мнѣ сколько, — она и отыскала про меня. И что же, барыня... выгадалось, какъ вылилось! А вотъ, значить... — «пройдешь многія земли и царства... и на корабляхъ плыть будешь, и...» — чего только не насаказано! И огонь грозить будетъ, и пагуба, и свирѣпство, и же-лѣ-зо... а Господь сохранить. А ей — ноги твои спасутъ тебя. И что же, барыня... и ей, вѣдь, бѣжать пришлось! Ну, чисто вотъ мы въ жмурки играемъ по бѣлу-свѣту. Встрѣтила, вѣдь, ее. Да только и поздороваться не пришлось, будто вѣтромъ насъ разнесло.

Гдѣ это мы съ Катичкой ѣхали..? Мы въ Парижъ поѣхали изъ Костантинополя, скрозь всѣ земли, Катичка мудровала все. Насъ венгерскій цыганъ провожалъ. Мы въ ресторанѣ кушали, а онъ въ Катичку и влюбись. Пошелъ насъ на поѣздъ проводить, чемоданчикъ понесъ да съ нами и увязался, покуда его бумаги ужъ не годились, на гитарѣ все намъ игралъ. Гдѣ вотъ Дунай-то-рѣка... съ краснымъ перномъ тамъ все готовятъ, паприка называется. Ёдемъ мы въ вагонѣ, станція. Глянула я въ окошечко, кваску не продаютъ ли лимонаднаго, изжога съ паприки съ этой поднялась, пить до смерти хочу... А насупротивъ другой поѣздъ стоитъ. Тронулся онъ, и наши вагоны застучали. Ма-тушки! въ окошечкѣ-то, гляжу, — Авдотья Васильевна моя! Такъ я и обмерла. «Ма-тушки-и, Авдотья Ва...!» — И она увидала, ручками такъ всплеснула... — «Ма-тушки-и... Дарь-Сте...!» — и нѣтъ ее, увезъ поѣздъ.

Высунулись мы, другъ-дружкѣ помотали... — кэ-экъ меня за воротъ кой-то сзади! А это цыганъ венгерской, а то бы мнѣ голову разбило, объ столбъ объ желѣзный, шурхнуло по платочку даже. Ну, вѣрно-то какъ, — желѣзо грозить будетъ! — выгадалось-то мнѣ. Не прицѣпись къ намъ венгерской-то, жива бы не была, все Господь. Такъ и развѣхались, скоро три года вотъ. И въ черномъ вся, и худая-худая... ужъ не померъ ли у ней кто? Совѣтовали въ газетахъ напечатать, разыскиваю, молъ... а Катичка — нонче-завтра, такъ и не пропечатала. Да что вы, барыня! какъ же я вамъ буду благодарна, и заплатитъ у меня найдется. Значитъ, Дарья Степановна, Синицына по фамиліи, я-то. А ее — Авдоть-Васильевна Головкова. На лавочку баринову, вотъ спасибо. Ужъ такая желанная, такая... сразу и разговорить.

XIX.

Дала я барынѣ просвирки въ супцѣ, потише стала. Лежить она во цвѣтахъ, барины ей все возилъ, и слезки у ней текутъ. Я и говорю:

— «Барыня, ми-лая... надо бы васъ исправить..?»

— «Что ты городишь, какъ меня исправить?» — не вразумѣла.

— «Понсповѣдались бы, приобщились, говорю... сми-луется Господь».

— «Опять ты свои глупости!» — раздражительно такъ.

При концѣ ужъ, и тутъ не пожелала. Я и пострацала, душу ее спасти:

— «Надо бы, барыня... нехорошо я васъ во снѣ видала».

Вотъ она затревожилась!..

— «Какъ меня видала? что видала? Нѣтъ, не говори...» — замахала на меня, дышать не можетъ, — «нѣтъ, скажи... все равно... какъ видала?..»

— «Да въ подвѣчномъ, говорю, нарядѣ, васъ вида-ла, и все будто, на васъ просѣтилось, всю видать. Луч-ше бы вамъ приготовиться...» — заплакала я даже, и она заплакала, какъ дитѣ, захлюпала. А Катичка на меня:

— «Дура, зачѣмъ глупостями мамочку тревожишь!»

Вотъ какое понятіе. А ужъ отъ нее землей пахнетъ, землѣ она, словно, предалась. Да что, напротивъ судьбы хотѣла: вскочила разъ — давай мнѣ одѣться!

— «Я здоровая, покору болѣзнь... хочу жить, хочу ходити...»

Стала ей помогать. Надѣла платье зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзаетъ, какъ на мертвой. Въ зеркало поглядѣлась — ахнула, давай съ себя рвать. Упала на ко-веръ, и кровь изъ нее, да хлѣстомъ! Доктора прѣехали, — въ Крымъ везите. Стали мы ее въ дорогу собирать, Апо-литу билетъ ей выправилъ дармовой, цѣльную комнату въ вагонѣ, цари ѣздютъ. Принесъ ей билетъ и говорить:

— «Плохо твое дѣло, Глафирочка. Отдай мнѣ запон-ки съ короной, графскія наши, дѣдушкины. Все тебѣ по-пало, у меня и памяти не осталось».

Стала она ему резонить — да зачѣмъ тебѣ, ты отъ благороднаго роду отказался, ты ужъ сацалистъ сталъ, зачѣмъ тебѣ запонки? А онъ ей — продамъ, мнѣ для дѣлъ-укрѣпленія. А коронныя были, тяжелыя, больше рубля. Ну, присталъ: отдай и отдай, я вамъ билетъ схло-поталъ, и праздникъ у насъ такой... Вытеревилъ онъ за-понки. А тутъ увидаль — въ гостиной грамотка графова въ рамочкѣ висѣла: гусь стойкомъ летить бѣлый, и на гусѣ корона зубчиками, а по бокамъ сабли золотыя, а въ лапкахъ грамотка у него съ печатями. Ужъ такъ они до-рожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. Апо-литу и вцѣпился: послѣдній я нашего роду, по закону мое! И она уцѣпилась съ бариномъ, такъ и не отдали. Ну, дойдетъ дѣло...

Въ Крымъ уѣзжать, вотъ на прощанье и захотѣлось ей поглядѣть, какая Москва стала. Усадили ее на автомо-

билъ, въ подушки, и меня баринъ посадилъ — помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, всѣ гуляютъ, такъ пондравилось барынь, все-то ахала: «ахъ, дожили... воздухъ какой свободный!» Пріѣхали къ Страстному, памятникъ-Пушкинъ гдѣ, — крикуны кричать, на памятникъ залѣзли. Народу — не подойти. Барыня и говоритъ барину — «скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя». Баринъ и влѣзъ на Пушкина. А ему кричать — вонъ пошелъ! Сталъ кричать, а его за ноги и стащили, рукавъ порвали. Барыня — ахъ! — въ омморокъ съ ней. Я къ людямъ — помогите, барыня моя помираетъ! — а тамъ кричать — «ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла — «домой, няня... страшно...» Баринъ изъ давки вырвался, а у него одна цѣпочка мотается, часы-то срѣзали. Больше мы и не ѣздили.

XX.

А у барина непріятности пошли, спирту у него украли много, въ лазаретахъ, а уволить не смѣй. Пошелъ ихній служитель въ казну жалованье получить на всѣхъ, а на Кузнецкомъ Мосту сумку у него и отняли, подъ самымъ гордовымъ, — новыхъ наставили, съ лентами, ноги замотаны, чистые пѣтухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоѣды. А всѣ чуть барина не за глотку: жалованье давай! Пріѣхалъ — заплакалъ даже: да что же это, говорить, творится-то? Мѣсяца не прошло — ужъ и житья не стало, все поползло.

Вотъ я плакала, какъ царя смѣстили. Съ Авдотьей Васильевой мы плакали. Каждый обидѣть можетъ, страху никакого не осталось. Одно утѣшеніе — въ церкву сходишь. Все тамъ попрежнему, чистота, красота, и молитвы всѣ старья, душевныя, царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.

Барыню въ Крымъ везти. А она къ Аксюшкѣ привык-

ла, съ собой ее взять желала. А та спуталась съ лазаретнымъ писарькомъ, совсѣмъ изгадилась, — воровка и воровка. И вина ему волокетъ, и гостинцевъ, изъ бѣлья стало пропадать... я на писарькѣ баринову рубашку признала, и носовые платки у него съ нашей мѣткой. Да охальница, слова не скажи, отъ писаря набралась, на головѣ бантъ красный, — ну, не узнать Аксюшу. Набралась она словъ, стала меня корить: «старый вѣкъ, древній чело-вѣкъ!» Отъ писаря набралась. Стала я ее гнать, барыня велѣла, а она куда-то приписалась, въ ихнюю въ ливорюцію. И приходитъ къ намъ стриженная дѣвка съ сумкой, лихущая-разлихущая, стала кричать на барыню — извольте ей жалованье прибавить! а?! Она воруетъ, а ей — прибавить! Да сумкой на насъ — «кровь пьете!» Тыщу рублей сорвала, насилу развязались.

Да что, ничего не понять. Повѣренный-помощникъ, за пристава-то который, созвалъ всѣхъ дворниковъ, — Амелянъ нашъ рассказывалъ. Пришелъ изъ участка, скушный: — «Шабашъ, сяду на лавочку, буду сѣмечки лускать. Это что жъ, теперь понарошку все! Сигналъ насъ, за ручку поздоровался, никакого уваженія. Мостовую, говоритъ, убирайте, гражда-не... а пачпортовъ не прописывайте, теперъ всѣмъ полное довѣрие». — «Теперь, говорить, вѣрнаго чело-вѣка не узнать, всѣ жулики гуляютъ». Такъ и сидѣлъ-скупалъ, подсолнушками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойкѣ, чисто въ сѣжки играютъ? А они ушатъ макароновъ вывалили и шлепаютъ другъ въ дружку: надобли ваши макароны! Кто въ деревню уѣхалъ, изъ лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это три вагона жулики загнали на станціи въ тупичокъ и продавали по дешевкѣ. У насъ тогда всѣ въ новыхъ калошахъ зашеголяли.

Ну, въ Крымъ барыню собрали, Катичка съ ней поѣхала. Баринъ съ ними сестрицу милосердную отпустилъ. Анна Ивановна ее звали. Душевная такая, и про святыни

знала, про ду-шу знала. Папаша у ней первый ученый былъ, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу — скоро, пожалуй, мѣста искать придется, разореніе подошло, и больные оба. А мнѣ Авдотья Васильевна совѣтовала все въ монастырь уйти, — теперь покоя не будетъ. За полторы тысячки келейку купить, въ Хотьковѣ, и жить на спокоѣ да молиться. Хотѣла я у барыни попросить, — за ними у меня подъ двѣ тыщи набралось, — да она на ладанъ ужъ дышала, такъ и не стала беспокоить. А она меня поцѣловала-заплакала: «няничка, побереги Костика, одна у меня надежда на тебя».

XXI.

Ужъ послѣ Пасхи это, барыню мы отправили. У барынова пріятеля дача хорошая была тамъ, въ Крыму, — онъ и дозволилъ у него жить. А барину операцію велѣли, а онъ — погожу да погожу, перемогался. И капризный сталъ, не по немъ все. Обѣдать подамъ, чуть хлебнетъ, — горькій супъ, да чѣмъ вы меня кормите безъ барыни, и ножи воняютъ, и салфетка мышами пахнетъ... — и похудѣлъ, и почернѣлъ, узнать нельзя. Взгляну на него — нежилецъ и нежилецъ, глаза ужъ неживые стали, туда ужъ смотреть. Стала ему говорить — надо докторовъ слушаться, на операцію-то намекнула, а онъ только поморщился. У зерькаловъ все языкъ глядѣлъ, а то шею пощупаетъ, а то за плечи себя потрогаетъ. Все, бывало: «а что, сильно я похудѣлъ?» И спрашивать-то чего, слѣпому видно, кости-то исхудали даже. Говорю — однѣ лопатки торчатъ. — «Да, говоритъ, плохо дѣло». И платье на немъ, чисто на вѣшалкѣ. Собрался на службу — воротился.

— «Нѣтъ, кончился я, няня... дай-ка мнѣ содовой».

Повернулся къ стѣнкѣ и содовую не сталъ пить. И ску-ушно у насъ стало, чисто вотъ упокойникъ въ домѣ.

А у насъ рыбки въ акваримѣ гуляли, любилъ ихъ кормить баринъ. А тутъ и про рыбокъ давно забылъ. Скажешь — «рыбокъ бы покормили, развлеклись... что вы съ мыслями все сидите?» — «Какія ужъ мнѣ рыбки, теперь все равно». А разъ стоитъ у окна, глядитъ. Погода теплая, всѣ гуляютъ, а ѣхали ломовые. А я окошки протирала. Вотъ онъ и говорить:

— «Счастливые, ситный-то какъ ѣдятъ!»

— «Можетъ, говорю, ситничка вамъ желается, схожу-куплю?»

— «Не до ситничка мнѣ, завтра меня рѣзать будутъ».

Я даже затряслась. А онъ мнѣ — «все можетъ случиться, я тебѣ укажу».

Повелъ меня въ кабинетъ, показалъ бумаги какія взять, сколько денегъ осталось, и письмо барынѣ что-бы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, къ Аполиту бы я сходила, а онъ напишетъ. Пошла я къ нему, а жильцы, степенные такіе люди, и говорятъ: «хотимъ васъ остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходятъ, ограбить, можетъ, кого хотятъ». И бомбу у него видали, и пистолеть. А его дома нѣтъ. Пошла я, а онъ мнѣ у нашихъ воротъ попался. Сказала ему, письмо бы сестрицѣ надо, а онъ — «не до вашихъ мнѣ пустяковъ». Стала его корить: изъ хорошаго семейства, а люди вонъ говорятъ — шайку завелъ. А онъ смѣется:

— «Не шайку, а цѣльную лохань! Что, хорошая теперь жизнь? ну, вотъ что, нянька... мы крѣпкую власть поставимъ, будешь благодарить. Ты, говоришь, настоящая-пролетушная, въ трубу пролетѣла...» — смѣхомъ все, — «я тебѣ домъ скоро подарю, только помалкивай».

Онъ всегда добрый былъ. Подумала я: можетъ, они царя хотятъ поставить опять, на барина-то онъ серчалъ. Спрашиваю его, зачѣмъ пришелъ. Говоритъ — по тебѣ соскучился, и письмо обѣщался написать. Поставила самоваръ, а онъ въ столовой остался. А баринъ въ кабине-

тѣ задремали. Прихожу — Аполита нѣтъ. А онъ въ гостиной, стоитъ — смѣется. А на полу — грамотка, съ гусемъ-то, въ клочки изорвана. Я такъ и обомлѣла. А на стѣнкѣ картоночка виситъ, кулакъ углемъ написанъ, — а онъ умѣлъ хорошо нарисовать, и лошадокъ рисовалъ, и цвѣточки, — да не простой кулакъ, а кукишку суетъ.

— «Вотъ имъ, ихнее званіе теперѣ!»

Вцѣпилась я въ него, а баринъ и входитъ, спрашиваетъ: что угодно? А тотъ на стѣнку и показалъ:

— «Были гуси, а теперъ безъ перьевъ!» — и ушелъ.

Ничего баринъ не сказалъ, только заморщился. Барыни-то знакомыя?.. Нѣтъ, съ болѣзнью ужъ все покончилось. Ну, цвѣты присылали, правда. Да пріѣхала какъ-то иногородняя, красивая такая, модная. Какъ его увидала, такъ и попятилась. Посидѣла минутки двѣ — ушла. Баринъ и говорить:

— «Вотъ, заболѣлъ — никому и ненуженъ. Одна ты, няня, меня жалѣешь. А меня и жалѣть не за что».

— «Каждога человѣка, говорю, жалѣть надо».

Головой только покачалъ.

XXII.

Къ Иверской я ходила, молилась все. Черезъ недѣлю по телефону меня позвали въ клиники. Операцию имъ сдѣлали, и повеселѣли они малелько. Велѣли и имъ въ Крымъ, тамъ ужъ доправится. Три недѣли онъ въ клиникахъ лежалъ, покуда заживало, а я собирать ихъ стала. Забрала бариновы бумаги, въ чемоданы поклала все, и свой сундукъ захватила: оставъ — раскрадутъ, порядку-то не стало. Отъ казны денегъ намъ исхлопотали. Народу понаѣхало въ Москву, отъ страху, у насъ съ руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И пріѣзжаетъ вдругъ Анна Ивановна, ее доктора изъ Крыма выписали, барина провожать. И все-то ужъ она знаетъ про меня,

барыня рассказала. Такъ мы съ ней подружились, родныи словно. И баринъ такъ ей обрадовался, такъ все ей: «свита моя почетная!» А у ней всё медали, и плечико у ней прострѣлено, съ ероплана стрѣла попала. Усадили насъ въ царскій вагонъ, бархатное все, и всёмъ бѣлыя постели, раскидныя, удобно очень. Съ цвѣтами насъ провожали, въ лентахъ, очень хорошо про насъ говорили, оратели, хвалили насъ. И провизіи нанесли, — и курочку, и икорки зернистой, и кондитерскій пирогъ, — прямо завалили. И намъ двоихъ санитаровъ дали, и проводникъ былъ строгой, — время-то неспокойное, солдаты съ войны бѣгли, июль-мѣсяць.

Поѣхали мы, — и по-шло. Что только на станціяхъ творилось, адъ чистый. Какъ станція, мы ужъ и припирались, а то не справиться. Баринъ лежитъ, имъ еще ходить нельзя было, а въ окошки стучать, по крышѣ греметь, проломить грозятся, въ двери ломятся, ругань, крикъ. Вломились въ нашъ вагонъ — «бей бокбой въ дверь!» А санитаръ у насъ умный былъ — крикнулъ: «тутъ главный кабинетъ ѣдетъ!» А, можетъ, и правда, барыня, — камитетъ, слова-то ихнія... «Камитетъ главный ѣдетъ!» Тѣ — ура кричать стали. — «Такъ бы, говорятъ, и сказали, что камитетъ ѣдетъ!» Всю дорогу и отбивалъ насъ. А то головы въ окно къ намъ, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкрѣплять, и щыплята жареные, и икорка... они бутылку выхватили, лапами въ икру, и всякими-то слова-ми..! Ну, мука была намъ ѣхать. Ужъ такъ баринъ ужасался... — «Съ ума сошли, отблагодарили насъ за слободу!» Анна Ивановна все ему: «пожалѣйте себя, докторъ... и ихъ пожалѣйте», — добрая такая. А онъ — «звѣри, животныи...» А она ему: «не звѣри, я три года на войнѣ была, они ангелы, прямо, были... это нашъ грѣхъ!» — заступалась все. Да, вѣдь, барыня... какъ судить, темный народъ... да вы, можетъ, и правильно, грубіяны, и жадные... такъ, вѣдь, высокой жизни она была, какъ все равно святая. Обидно, понятно, какіе ка-

питалы разорили... правильно говорите. А то разъ вышла на станціи, приходитъ и рассказываетъ, — человѣка при ней солдаты чуть не убили, помѣщика, она отняла — закричала: «есть на васъ крестъ?» Они взяли ее подъ руки и къ вагону привели, по медалямъ ее признали. А онъ котлетку ѣлъ, а солдатъ ему въ тарелку плюнулъ, съ того и пошло. Тарелкой по головѣ били. Жандара-то нѣтъ, а солдатъ полна станція.

Она тогда всю правду мнѣ про баринову болѣзнь довѣрила, по секрету:

— «Бѣдный, три мѣсяца только ему жить осталось, скорый у него ракъ. Ужъ у него по всему мѣсту пошло, не стали дорѣзать. А ему сказали — все вырѣзали, и показали даже, отъ другого взяли. Онъ и повеселѣлъ».

Очень жалѣла барина: хорошій онъ, въ Бога только не вѣритъ.

— «Вы, нянюшка, можетъ, уговорите его поговѣть, онъ васъ любитъ».

Мы его и приготовляли помаленьку. Попросить онъ почитать газетку, станеть ему читать, а онъ разстроится, страшное тамъ все пишутъ: «да что жъ это творится-то!» Она и скажетъ: «лучше я вамъ Евангеліе почитаю». И начнетъ про Христа читать, душѣ-то и полегче. И питья успокоительнаго давала. Въ окошечко онъ глядитъ — радуется: «воздухъ какой, въ лѣсочекъ бы!» Все говорилъ — «поправлюсь — по Волгѣ проѣдусь, теперь хорошая жизнь началась». А она вездѣ бывала, всѣ монастыри знала, всѣ-то города зна-ла... и какъ осетрину ловятъ, ну все-то знала... за край свѣта заходила, гдѣ солнца не бываетъ! Ее папаша всѣ лериги училъ, она и вѣрила хорошо. Такъ мы его и приготовляли помаленьку. Ночью, помню, лекарства онъ попросилъ, соннаго. А въ вагонѣ у насъ — какъ днемъ. А это пожаръ горѣлъ. Кондукторъ кипятку принесъ, говоритъ — мужики все имѣнья жгутъ,

а это спиртовой заводъ запалили. — «Свѣтлая, говоритъ, жизнь пошла, все лиминаціи зажигають». Баринъ ужъ попросилъ получше окошечко завѣсить.

XXIII.

Приѣхали въ Ялты. Дача — чисто дворець, цвѣты, дерева, невидано никогда, — корика-гвоздика, и лавровый листь, — прямо, бери на кухню. Го-ры, глядѣть страшно. татары тамъ живутъ. А внизу мо-ре... ну, синее-разсинее, синька вотъ разведѣна, и конца нѣтъ. Потомъ всего я увидала, да смотрѣть неохота, какъ безъ причалу стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотрѣть. Будто намъ испытаніе: теперь видите, какъ у Бога хорошо сотворѣно... и у васъ было хорошо, а все вамъ мало, вотъ и жалѣйте.

И вправду, барыня. Турки, нехристи, а все у нихъ есть. Я у турки жила, въ Костинтинополь, за дѣтьми ходила. И сказки имъ сказывала, все они разумѣли. Спать уложу, покрещу, они и спятъ спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у нихъ. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Законъ у нихъ такой: одна главная жена, а другія подъ ней, покоряются. Ужъ они меня сладостями кормили... и розановое варенье, и пастила липучая, и сѣмечки въ меду, и винны-ягоды, чего только душенька желаетъ. И всякъ день пироги съ бараниной, на салѣ жарили, и рисъ миндальный, и... — ублажали, прямо. И жалованья прибавляли, такъ цѣнили. И турочки махонькіе меня не отпускали, плакали. Въ баню меня свою водили, парилась я тамъ. Какъ подумала, — а Катичка-то какъ же, да что я, продажная какая? — и не осталась. У своихъ жила — и жалованье не платили, а турки вонъ... Это ужъ въ искушеніе мнѣ было.

Мнѣ особо комнатку отвели, въ Крыму-то, изъ окошечка море видно, кораблики, а въ саду и персики, и ва-

брикосы, и винограды, а жизнь наша черная-расчерная. Барыню я и не узнала: истаяла, исчахла, былинка и былинка. Ходить ужь слаба была, все на креслахъ лежала, на терасахъ. И все цвѣты въ вазахъ, вся въ цвѣтахъ и лежала. И Катичку я не узнала, — задумчивая такая, съ книжками все сидѣла. Это Анна Ивановна такъ оказала на нее, въ разумъ приводила. Да что я вамъ скажу, барыня... заплакала я отъ радости, молиться Катичка моя стала, и Евангеліе, гляжу, у ней на столикѣ. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку повѣдала, а та его зна-етъ, Анна-то Ивановна.

Ужъ такъ барыня обрадовалась, барина увидала, — оба заплакали, такъ ручка объ ручку и сидѣли, первые-то деньки. А больные, другъ дружкѣ и тяжелы стали. Баринъ первое время выходилъ на терасы, полежать. Тутъ онъ, а на другомъ краю барыня. Лежать и молчать. А я сижу и вяжу. А жарынь, кузнечики тамъ свои, крымскіе, по-своему кричатъ, цыкаютъ, погремушки словно въ ушахъ, — цу-цу-цу... цу-цу-цу... — и задремишь, забудешься. Цу-цу-цу... цу-цу-цу... — вздрогнешь, а они лежать въ креслахъ — живые упокойники. А то жить бы да жить, благодать такая.

А тутъ непріятность намъ: небель опечатали въ Москвѣ, портной бариновъ опечаталъ. А то Аполитъ грозить: судъ подыму, мамшины лять тыщъ дадите. Хотѣла лисій ему салопъ послать, барыня не дозволила. А ужъ онъ живой большевикъ, писали намъ, желѣзную дорогу себѣ требуетъ, — чего захотѣлъ! И еще, грѣхи стали открываться: баринъ пенсію своей какой-то давалъ, а тутъ пересталъ, она — судиться буду! Барыня стала кричать: вотъ куда деньги у насъ валились! Чуть говорить, к у барина боли сильнѣй стали, качается-охаеть, а все старое подымаютъ, не смиряются. Я молюсь — умири ихъ, Господи, пошли конецъ скорый, непостыдный, а меня въ свидѣтели тянуть, всю я ихъ жизнь видала. А она не знала, что барину помереть, вотъ и начнетъ:

— «А, смерти моей ждешь, помру — сейчас и женишься на богачкѣ? Ну, я тебѣ и въ могилѣ не дамъ спокою!»

Онъ руками отъ нее, отъ боли кривится, —

— «Дай мнѣ спокою, Гли... послѣдніе мои дни...» — а она свое:

— «Не представляй, извѣстный ты актерщикъ... женишься на Подкаловой-богачкѣ, она тебя оцѣ-нить, хоть и дура она, и ность утиный!..»

Онъ и закричить, въ голосъ:

— «Дай мнѣ яду лучше... Го-споди!..»

Господа поминать ужъ сталъ. А потомъ жалко его ей станеть, дотянется до него, на грудь припадетъ, и давай рыдать. Анна Ивановна, прямо, мученица была. Схватится за голову — «вѣдь это живой адъ!» — скажетъ, не въ себѣ. — «Бога у нихъ нѣтъ!» Про Бога имъ начнетъ, они и задремлютъ, утихомятся. А то барыня съ ней заспорить. И смерть на носу, а она все кипитъ. И невѣры, а любили про чудеса послушать, про исцѣленія. А Анна Ивановна всѣ чудеса знала. Рассказывала имъ, какъ старецъ анженера съ супругой отъ тигры остерегъ, — встрѣтите, молъ, тигру... Такъ они подивились! А какъ же, это ужъ всѣмъ извѣстно, барыня, изъ клѣтки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не зналъ. Старецъ и говоритъ: вотъ вамъ иконка, молитесь въ пути, и не тронетъ. Они ничего не поняли, кто не тронетъ-то. Ну, поѣхали, а дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говоритъ анженеру: «теленокъ въ хлѣбахъ какъ прыгаетъ высоко!» Приглядѣлись — видятъ, тигра, полосатая вся, къ нимъ прямо! И не поймутъ, какъ тутъ тигра взялась. Они иконку достали, держали такъ вотъ, на тигру, — тигра допрыгала до нихъ, поглядѣла, зѣвнула, — ка-акъ сиганетъ отъ нихъ... и пошла по ржамъ, дальше да дальше. Приѣхали они на станцію, а ужъ тамъ телеграмму подали: убѣгла тигра, троихъ сожрала.

О смерти-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотѣла. Бывало, вотъ начнетъ жаловаться-причитатьъ:

— «Хочу жить, молодая я... Нянька до какихъ лѣтъ вонъ живетъ, — завидовать мнѣ стала, а! — а я калѣка, не хочу... тьфу! проклиною!.. Почему съ нами чуда не случается? Вранье все, Анна Ивановна сама смерти бонгся...»

А баринъ скоро и на терасы не сталъ проситься, ослабѣ. Сталъ себѣ шприць впускать, пузыречекъ у него стоялъ, отъ боли. Анна Ивановна мнѣ сказала, — можно бы для лучшаго ухода въ Москвѣ оставить, а доктора подумали — лучше ужъ съ барыней поживетъ, и самъ-то онъ все просился, а спасти ужъ его нельзя. Какъ-то и говорить Аннѣ Ивановнѣ: «я все знаю, друзья меня порадовать хотѣли». И написалъ въ Москву. Получилъ письмо, а я комнату прибирала. Опустилъ руку такъ, съ письмомъ, и губы такъ скривилъ, горько. И говорить:

— «Не оставляй, няня, Катичку, скоро она одна останется».

Стала ему говорить — дасть Господь, еще и поживете, а онъ — «нѣтъ, мѣсяца не проживу... не оставляй Катичку... и прости, няня, насъ за все». Заллакала я на нихъ. А ночью — я въ комнаткѣ спала рядомъ, а Анна Ивановна ушла къ знакомымъ, и Катички нѣтъ, на балу была для раненыхъ, — баринъ застонулъ, слышу. Юбку накинула, вошла къ нимъ, спрашиваю, не потереть ли имъ бочокъ мазью.

— «Очень боли, няня... — говорить, — колеса во мнѣ съ ножами, все рѣжутъ, рвутъ. Побудь со мной, легче будетъ... страшно мнѣ одному...»

Никогда не забуду. Ночь черная-черная, къ сентябрю ужъ. Вѣтеръ съ горы пошелъ, вой такой, деревья шумятъ, жутъ, прямо. Зажгла я лампу, сѣла на кресла, къ нимъ..

— «Дай мнѣ руку, — говорить, — легче мнѣ такъ. Я сейчасъ сонъ видалъ... маму покойную видалъ, будто я въ гимназію поступилъ, и мы съ ней книжки новыя при-

шли покупать и ранецъ, такъ было хорошо... я, говоритъ, все ранецъ гладилъ, кожей какъ пахнетъ, слышаль... — такъ вотъ потянулъ носомъ, нюхаетъ, — и сейчасъ слышу... давно-о было... и такъ мнѣ радостно было, няня. А боль и разбудила, все и открылось». — Руку мнѣ пожалъ ласково, и шепчетъ, про себя будто: « — ахъ, мама моя.. ахъ, жизнь моя... все, Дарьюшка, прошло».

Я не поняла, и говорю имъ: «и слава Богу, заснете, можете».

— «Нѣтъ, не боль, а... все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетѣло».

Стала я его утѣшать: «не гнѣвите Бога, жили, баринъ, хорошо, нужды не знали, и Катичка у васъ, сколько вамъ Господь всего далъ. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Онъ поморщился, усы такъ поднялись, — бороду ужъ ему обстригли, и не брился давно, — страшный былъ, лицо съ кулачокъ стало, узнать нельзя.

— «Мнѣ милости не будетъ, — говоритъ, — это ты, Дарьюшка, счастливая, у тебя Богъ есть, а у меня ничего, я и молиться разучился... я-ма у меня тутъ, — на грудь показалъ, — дай мнѣ шприць, ножи рѣжутъ...»

Впустилъ себѣ яду соннаго. Сталъ просить — расскажи чего, я и засну. А я всѣ слова забыла. Стала «Богородицу» говорить, онъ и заснулъ. Только уснулъ — слышу — «ай-й-й-й!» — барыня кричитъ. Вскочила, побѣгла, а она, въ халатикѣ въ бѣломъ, чисто смерть, на коврѣ сидитъ, а кругъ ее все письма расшвыряны, розовыя, голубыя... и въ кулачкѣ зажаты. Увидала меня, охнула, — и ткнулась головой въ письма. Я ее подымать, а она, глаза — какъ у сумашедчей...

— «Вотъ какой, обманывалъ со шлюхами... и съ каретницей жилъ...» — это вотъ, чья дача-то, докторова, у него супруга изъ богатой семьи, каретами торговали, — «съ каретницей путался, къ любовницѣ умирать посылалъ... тьфу!»

И давай по полу биться. Я ее уговариваю — въ постелю вамъ надо... Вырвалась отъ меня, сгребла письма въ охапку, побѣжала... — «я ему, прямо, въ...» — кричитъ. Перехватила ее, она меня въ грудь, искажилась вся. Я ей — «барыня, милая... ночь на дворѣ, баринъ только уснули, измучилсъ...» Рвется отъ меня, бьется... — «Лгунъ, въ гробъ вогналъ... Катичку по-міру пустилъ...» И повалилась сразу, заслабѣла. А изъ рту кровь, хлѣстомъ! — весь халатикъ ее, и на меня, и на шеѣ у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бѣжать. Побѣжала садовника будить, бѣгу къ двери, — Катичка мнѣ навстрѣчу, съ балу, въ бѣломъ во всемъ, розаны на груди, и за ней двое молодчиковъ, офицера, въ повязочкахъ. Она мнѣ — «чего у васъ огня нѣтъ?» Увидала, страшная я какая, — а я растерзанная, и кровь на юбкѣ... — крикнула: «что случилось? мамочка, папочка...?» Я ей, съ перепугото, — «мамочка помираетъ!..» Она зашаталась, въ оиморокъ. Тѣ ее подхватили. Я имъ — «за докторомъ скорѣй!» До утра съ барыней возились, подушки давали съ воздухомъ, — черезъ день померла, крови изъ нее выхлестало много.

XXIV.

А вѣдь это мой грѣхъ, неграмотная я. Баринъ какія бумаги указали забрать, я и забрала, какъ ѣхать намъ. А письма въ бумаги и попали. И забылъ, не до того ужъ имъ было. Барыня ночью плохо спала, вотъ и дорылась. Какъ ее выносить, баринъ попросилъ на креслахъ его къ ней подвинуть. Подняли его подъ-руки, посмотрѣлъ на Глирочку свою, губами задрожалъ, — «вотъ и все», — только и продыхнулъ. Воротились мы съ кладбища, Катичка вошла въ мамочкину спальню, упала на постелю головой и отплакалась тутъ, одна. Да тихо, баринъ что-бы не слыжалъ. Онъ послѣ того три недѣли еще пожилъ,

ужасно мучился. Вотъ какъ почувствовалъ онъ конецъ, велѣлъ позвать Катичку. И говорить:

— «Одна у тебя няня остается...»

Безъ слезъ и говорить, барыня, не могу. Взялъ за ручку, черезъ силу ужъ говорилъ:

— «Она у тебя самая родная, ты ее почитай... она тебя не покинетъ, я ее просилъ. А ты прости, ничего у насъ нѣтъ, все промотали...» — и заплакалъ.

Катичка ему руки цѣловать... — «папочка, милый...» — а онъ опять:

— «Няню не забывай, она правильнѣй насъ, всѣхъ жалѣла...»

Ну, недостойна я, барыня, такого. Вотъ Катичка меня и не бросаетъ. А Анна Ивановна желала, чтобы онъ исповѣдался-причастился и Катичку бы благословилъ, по закону. Понятно, грѣхи-то свои онъ всѣ выболѣлъ, а надо покаяться. Наекала ему, а онъ ей сказалъ — надо въ Бога вѣрить, а то обманъ выходитъ. И я ему намекала, барыня. Онъ въ тихой часъ чего же мнѣ сказалъ!

— «Что дѣлать, куда Глирочка, туда и я».

Вотъ какъ хотите, такъ и думайте. Можетъ, и вправду не хотѣлось ему отъ Глирочки своей отбиваться, тоже думалъ — плохо ей на томъ свѣтѣ будетъ. Такъ и не исправился, отошелъ. А только вотъ что случилось.

За два дня было до кончины, къ вечеру. Анна Ивановна Евангеліе намъ читала, а баринъ задремалъ, — только ему шпрыць впустили. Читала она, а я все плакала, — про Христово Воскресеніе читала. Баринъ и очнулся. А солнышко ужъ къ закату, комната вся пунцовая, обон красные были, розаны все. Онъ вдругъ и говорить, сла-бо такъ:

— «Сколько свѣчей... хорошо какъ, Пасха... священники пѣли...»

Такъ мы и обмерли. Катичка склонилась къ нему, а онъ шепчетъ:

— «Они насъ крестомъ крестили... «Христось Воскресе» пѣли. А гдѣ же они, ушли?..»

И на обои смотреть, на розаны. А на нихъ солнышко, ужъ те-мное-пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катичкѣ, Катичка и сказала, слезки проглотила:

— «Да, папочка, ушли. Они насъ благословили, вотъ такъ...»

И стала его крестить. Слезы у ней, и все она его крестить.

— «И ты меня благослови, папочка... перекрести меня».

И встала на колѣнки, Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы-Угодника, и подала Катичкѣ. Катичка въ руку ему вложила и головкой къ нему припала.

— «Благослови меня, папочка».

А онъ все на розаны глядитъ. И будто чего вспомнилъ! Повель глазами, чего-то словно ищетъ, ротъ перекосилъ, горь-ко такъ, вотъ заплачетъ. Положилъ иконку ей на головку — и задремалъ. Долго Катичка не шелохнулась, разбудить боялась. Съ этого и затихъ, и боли кончились. — докторъ все ему впрыскивалъ, а онъ все спалъ. А лицомъ че-рный сталъ, и тѣло чернѣть все стало, — чернѣй ракъ. Утромъ вошла я, а онъ холодный, ночью отошелъ.

XXV.

Ужъ такъ-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цвѣты, и вѣнки, и ленты красныя — всѣ его дѣла прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можемъ. Косматый одинъ добивался все — не надо отпѣвать, отмѣнено, сжечь надо! — Анна Ивановна его прогнала. И батюшка какую проповѣдь сказалъ, очень сочувственную, — дескать, упокойникъ слободы все хотѣлъ-пѣкса, вотъ и получилъ теперь полную слободу, самую главную... и дай Богъ, говорить, и всѣмъ такую слободу. И кутьей помянули, и блинковъ и спекла, доктора кушали-хвалили. А косматаго Анна

Ивановна не пустила помянуть: «вы, говорить, упокойниковъ ждете, вамъ и поминать нечего». Обидѣлся, блинковъ не пришлось поѣсть, шантрапа.

И наши хозяева пріѣхали, докторъ съ каретницей. Ужъ пожилой, а она въ полномъ соку, такая-то бой-баба, — сумашдчихъ они лечили. Знаете ее, и здоровый-то отъ нее съ ума сойдеть, а докторъ, вродѣ какъ напуженный, что ли, чисто кисель трясуцій, такъ все: «ужъ это я не знаю, какъ Трѣночка», --- Матреной ее звали. На рояляхъ сразу начала, послѣ поминокъ-то, Анна Ивановна ужъ устыдила. Спасибо, скоро уѣхали, дозволили намъ пожить. Стали и мы въ Москву собираться, а у Катички этотъ вотъ сдѣлался, вырѣзають теперь все... вотъ-вотъ, а-пенденеть. Операцию ей сдѣлали. Только выходилась, графиня пріѣхала, неприятность-то у ней съ Катичкой была. Лечиться, будто, пріѣхала, отъ ревматизма, грязью. Ужъ она вылечилась, Анна Ивановна ее къ намъ и привела. Ну, привела къ намъ, Катичка даже затряслась. А она къ ней руки протянула, такая-то умильная... ну, онѣ и поцѣловались. Погодите, что будетъ-то .. романъ и романъ страшный, такъ всѣ и говорили. Не знали мы-то... Она постарше была, а тоже красавица. только бодондиночка, глаза синіе, а ликъ стро-той, какъ на иконахъ пишутъ. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала... Галицкая. И разочаровала она насъ! Умная, умнѣй шѣтъ. И сидеть, и взглянуть, - - и что жъ это такое, сразу видать, какого воспитанія, графскаго. Съ недѣлку повертѣлась - нѣтъ ее, укатила на войну. Потомъ ужъ мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тутъ ли онъ. А Анна-то Ивановна намъ сказала: «батюшки, да я Василька хорошо знаю!» Василькомъ на войнѣ звали Васеньку, она за нимъ и ходила. А тутъ и Анна Ивановна уѣхала. А страшное стало время, большеники бариново правленіе согнали ужъ, стали офицеровъ убивать, всѣхъ грабить.

Пришли къ намъ съ ружьями, съ пулями, — вотъ зарѣжутъ, самые-то отъявленные. Одинъ матросъ былъ,

живой каторжникъ, золотая браслетка на кулакѣ, сорвалъ съ какой-то. Диванъ проткнули, изъ озорства, бутылку вина забрали и бариновъ биноколь, да сапоги матросъ взялъ. Мы, говоритъ, еще придемъ, примѣриваемся куда. А мальчишка съ ними былъ, вовсе сопливый, а тоже съ пулями, на рояляхъ пальцемъ потыкалъ и за себя записалъ. Я имъ говорю — къ мировому подадимъ, а они меня насмѣхъ: «а завтра тебя и барышню казармы погонимъ мыть и ночевать оставимъ!» Такъ я и похолодѣлъ. А Катичка закусилла губку да какъ то-пнетъ! Мальчишка и пулю уронилъ. А матросъ ухмыльнулся и говоритъ: «а поль-то не проломить, пожка махонькая!» Они бы насъ, можетъ, и растормошили, а тутъ садовникъ нашъ за себя все принялъ: «я, говоритъ, утрудящій, все вамъ уберегу». Они ему и подписали, для сохранности: скоро опять придемъ. А онъ былъ и большевикъ, и меньшевикъ, а жена у него глухая была, все насъ ругала: «конешъ вамъ пришелъ, буржу-и!» А въ церкву ходила, дура. А Яковъ Матвѣичъ, садовникъ-то, гвардейскій раньше солдатъ былъ, рослый, красивый, съ просѣдью ужъ. И у нихъ штаны были изъ бѣлой кожи... какъ, говоритъ, въ парадъ надѣвать, мочили ихъ, и нипочемъ не надѣтъ. Намочуть, говоритъ, штаны, двое ихъ держуть, а онъ лѣзетъ на тебуретъ и, прямо, — прыгъ въ штаны сверху! — они его и поддернутъ, такъ онъ въ штаны-то и влѣпится. И жадный былъ, Богу все молился, большевики бы пришли. А у нихъ дочка, прислуживала намъ, Агаши-ка, такая-то хитрущая была, все черезъ жениха-телеграфиста знала, секреты всѣ. А онъ къ большевикамъ приписался, и ее записалъ. Женились они и отобрали себѣ двѣ комнаты наверху, съ балкономъ, засвоевольничали. И садовникъ сталъ говорить — дача по закону теперь его. — «Но я не гоню васъ, не опасайтесь, а будете мнѣ, вотъ меня утверждать, сколько-нибудь платить». Видимъ — никакого закона нѣтъ, и мирового нѣтъ. А тутъ намъ изъ Москвы бѣсъ письмо прислалъ — театры ставимъ.

обязательно прѣзжайте, денегъ сколько угодно. Стали мы собираться. И я, правду сказать, рвалась: въ Москвѣ-то Авдотья Васильевна моя, и всѣ святыни... и мировой, можеть, есть. Стала я укладочку собирать. Имущества у меня было, добришка всякаго: шуба бѣличья была, сапогъ лисій, тальма эта вотъ, три шали хорошихъ, двѣ пары полсапожекъ, матеріи три куска... Къ марту-мѣсяцу было. А тутъ татары войну и подняли.

Ночью какъ пошли рѣзать, кто подъ руку попадется. У нихъ и начальство объявилось, татарово. И стали они подъ султана подаваться. А матросы въ Севастополѣ жировали, — татары сразу насъ и покорили. Матросы прикатили съ пушкой, какъ почали налить, татары всѣ на горы побѣжали, въ камни. Опять насъ и отвоевали изъ — подъ татаровъ, всѣ православные обрадовались, — не дають насъ въ обиду. Только отвоевали, не успѣли мы оглядѣться, говорятъ, — каки-то зеленые на горахъ сидятъ, грабятъ. Ну, стали мы дожидаться, дороги-то поутихнуть, въ Москву-то ѣхать. Просыпаемся поутру, въ апрѣль-мѣсяцѣ было, все зацвѣло, радоваться бы только, а намъ Яковъ Матвѣичъ и говоритъ «поздравляю васъ и насъ, нѣмцы насъ ночью завоевали, пойдѣте скорѣй глядѣть». Гляжу — Агашка ужъ съ дачи выбралась. Я еще ея спросила — «чего жъ отъ чужого добра отказываешься?» А она глупая, — «нѣмцы шутить не стануть, мнѣ мужъ велѣлъ». Пошли мы нѣмцевъ глядѣть. Невидано никогда, какая сила, и откуда только взялись. Всѣ головы желѣзныя, и пѣши, и верхомъ, и пушки. и сропланъ шель, ни крику, ни... — только все звякъ-звякъ, все желѣзомъ гремѣло. Такъ всѣ и говорили: «теперь ужъ порядокъ будетъ». Ихній генераль такъ и велѣлъ сказать: «теперь ужъ такъ мы васъ покорили, вамъ и безпокоиться нечего, и занимайтесь своимъ дѣломъ». Яковъ Матвѣичъ даже сказалъ: «вотъ это дакъ покорители, настоящая войско, какъ царская у насъ гвардія была».

Пойдешь въ городъ — гулянье и гулянье: музыка играетъ, нѣмцы велѣли такъ, народу полно, и балы, и... Всѣ богатые съѣхались, и рестораны, и верхомъ скачутъ, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вотъ вѣтромъ сдуло. А жить ужъ намъ плохо стало. Прибѣгаетъ разъ Катичка, кричитъ — въ театры поступила, будутъ деньги. А Яковъ Матвѣичъ страшаетъ все: нѣмцы весь Крымъ повывезли, скоро голодъ у насъ начнется. Стала я припасать, матерію продала татаркѣ, мучки позапасла, масла постнаго. А были слухи — не миновать нѣмцамъ уходить, еще какіе-то подымаются, вродѣ казаки. Тутъ карасинчикъ въ Катичкѣ и посватался.

XXVI.

Фамилію-то забыла, барыня. Не Махтуровъ, а... вродѣ какъ заграничная. Приѣзжаетъ какъ-то она на автомобилѣ, и баринъ съ ней, весь въ бѣломъ, а самъ черный, сразу видать -- буржуй изъ хорошаго дома. Пять минутъ посидѣлъ — уѣхалъ. Спрашиваетъ Катичка — «все ухаживаетъ за мной, нравится тебѣ?» Будто ничего, глядѣться. Говоритъ — миліёнщикъ, карасинъ продаетъ. А намъ, конечно, мужчину въ домъ нужно, на что лучше такой могущественный. Только его Курапстомъ звать, имя какое-то такое... И зачастилъ къ намъ, освоился. То фруктовъ привезетъ, то мороженаго принесутъ изъ ресторана, — стараться сталъ. Ну, сталъ добиваться, замужъ за него шла бы. А она — погодите да погодите, папа съ мамой недавно померли. Разъ прикатилъ, всходить на терасы. Что-то онъ, вижу, не въ себѣ. Солидный, годамъ къ сорѡка, а бѣгаетъ изъ угла въ уголь. Не большевики ли, думаю, пришли? — что-то безпокойный. Вышла Катичка. Ну, не повѣрите, барыня, чего онъ у насъ выдѣлывалъ. Я ужъ за Яковъ Матвѣичемъ бѣжать хотѣла. А это онъ... запылалъ! Какъ брякнется, она отъ него.

Онъ за ней на колѣнкахъ, всѣ брюки изъерзалъ, бѣлая, взмокъ весь, зубами ляскаетъ... — «не могу безъ тебя жить!» — на-ты ей сталъ. Потомъ выхватилъ пистолеть, — «и тебя, и себя убью, не могу!» Она какъ завизжить— «бросьте пистолеть!» — онъ и запустилъ въ кусты. Ручку дала поцѣловать, — «будьте умный и ждите». Шелковый сталъ, такъ имъ и вертѣла, какъ хотѣла. Разъ ночью и говорить мнѣ:

— «Хоть ты и глупая, а папочка велѣлъ слушаться тебя... развѣ пойти за Куралета?»

Сказала — обдумай, нѣтъ ли кого по сердцу. Вотъ она разсердилась! А на другой день, примчалась на фаэтонѣ, бѣжить по саду, зонтикъ въ кусты, избѣжала на терасы, сама не своя. Сѣла въ кресла, въ себя глядится. Что такое?

— «Попить дай, жарко. А знаешь, я Никандру Михайлыча встрѣтила, познакомили насъ... Васенькина отца!»

Вонъ что. Пріѣхалъ тоже. И цѣльный у него тутъ дворець. Карасинщикъ ихъ познакомилъ. Вскорости пріѣзжаетъ съ Куралетомъ, кричитъ — «нянь, сливошное мое давай!» А это любимое у ней платье было, муслиновое. И складненькая она, а въ сливошномъ — какъ конфетка, залюбуешься. Переодѣлась, розаны приколола, выбѣжала къ нему... широкая шляпка у ней была, бѣлая вся, — онъ такъ и вострепеталъ. А она мнѣ — «прощай, нянюкъ, увозить меня Куралеть Давыдычъ!» И укатили. А я, правда, перелугалась: ну-ка, обвиняется безъ меня. Вечеромъ прикатила, говорить — у Никандры Михайлыча была. и какой у него дворець... — «можетъ, говорить, за невѣсту Куралета меня считаетъ, съ нимъ пригласилъ». Съ того дня совсѣмъ моя Катичка повеселѣла, карасинщикъ сыматься ее устроилъ на картинки, — вотъ-вотъ, снима эти. По горамъ ее возили, и въ лодочкѣ сымали, будто она на морѣ тонула, а за это ей денежки давали, мно-го. Очень старался карасинщикъ. Какъ-то изъ города прикатила, кричить:

— «Скоро наши Москву возьмутъ, письмо получилъ Никандра Михайлычъ!»

А карасинщику опять его карасинъ наши добровольцы у большевиковъ отбили, и онъ богаче прежняго сталъ. много карасину продалъ нѣмцамъ, не то французамъ. И купилъ себѣ дачу новую. И прїѣзжаетъ. «Я, говоритъ, маленькій подарокъ вамъ привезъ». И вынимаетъ синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага, дачу ей подарили! Она — ни-какъ, не могу. А онъ ей — «а вотъ я померъ, а вамъ и подають эту бумагу... а почему отъ живого не хотите?» Она — ни за что. Онъ и молитъ: «что я могу сдѣлать для васъ прїятное?» Она такъ задумалась... — «вы молодой, а не воюетесь за Россію... сдѣлайте для меня подвигъ». Онъ такъ и законфузился. А она вытянулась на креслахъ, улыбается. — «У меня, говоритъ Курापеть-то, сердце не въ порядкѣ». А она свое: — «ну, тогда маленькій подвигъ, отдайте вашу дачу на лазаретъ... наши скоро сюда придуть». Уѣхалъ, ни слова не сказалъ. Недѣли черезъ двѣ повезъ Катичку на дачу, а тамъ ужъ лазаретъ. Прїѣзжаетъ она домой, кричитъ: — «нянь, онъ добрый, онъ все для меня сдѣлалъ! Я его въ лобикъ поцѣловала!» Вечеромъ прїѣзжаетъ карасинщикъ, она смъ на рояляхъ поиграла. Сталъ прощаться: «ѣду, говоритъ, завтра въ Кеевъ, чего вамъ привезть?» Она ему и сказала: «кеевскаго варенья и самого себя». Какъ онъ воскричатъ: «я молюсь на васъ!» Поглядѣлъ жалостливо такъ, вздохнулъ и уѣхалъ. И не прїѣхалъ больше. Подъ Катеринославомъ, что ли, разбойники стрѣляютъ стали, сколько-то въ поѣздѣ убили, и карасинщика нашего. А черезъ мѣсяцъ бумага намъ, отъ нотариса, — дача та Катичкѣ осталась. Такъ она и осталась тамъ — и наша, и не наша.

XXVII.

А къ зимѣ нѣмцы сразу и ушли въ ночь, никто и не видалъ. А жить ужъ намъ трудно стало. Катичка гдѣ смъ

малась, — дѣло прикончилось, карасинщика-то не стало. А тутъ заграничные и понаѣхали, на корабляхъ, большевиковъ, будто, выгонять. Народу набилось въ Крымъ... — кто отъ большевиковъ укрылся, а кого и такъ занесло. У многихъ дачи какія были, и рояли, и бралиянты, золото-серебро, — заграничные вотъ и навалились, ску-пать. Такой-то базаръ пошелъ... а барыня-то, заграничныхъ-то какъ хвалила!..

Сосѣдка наша, мужъ у ней воевалъ, и четверо дѣтей съ ней, мужнины часы, царскіе, англичанину продала, съ голоду. За двѣ ихнихъ бѣлыхъ бумажки вырвалъ, а часы съ музыкой, тѣщи рублей дать мало. И Катичку тоже обманули. Колечко у ней было, змѣйка. Головка у змѣи изъ узумруда была, а спинка сѣраго золота... отъ французской царицы то колечко, крѣсна ее отъ дѣдушки получила, высокой посоль былъ. Этому колечку цѣны не было, старикъ одинъ говорилъ, записано въ книгу было. «Вамъ — говорилъ — французы миліёнъ дадутъ!» Какъ налетѣли скупать, и старикъ тотъ прибѣжалъ, графъ итальянскій прогорѣлый. Привелъ морского, говорить — «скорѣй продавайте, цѣну пока даютъ... я прошибся, фальшивая змѣя ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу». Тотъ и далъ намъ бѣлую бумажку, сто рублей, по-нашему сказать. А потомъ узнали — морской старику много денегъ отвалилъ. Такъ и ограбили. А вотъ, видѣли, вѣдь, мы то колечко! Въ Парижѣ здѣсь Катичка въ окнѣ признала, у старьевщика. Зашла, чего-чего не наставлено! И иконы наши, и царскія врата, краденныя, и кресты крестильные, всего-всего... — перышки-то наши какъ разлетѣлись; по всему бѣлу-свѣту. А мы въ Америку собирались, денегъ намъ надавали дилехтора. Она тогда сколько денегъ мнѣ попередила, — купи то, шелковое платье купи, стыдно съ тобой. А я все сберегла, у меня цѣльный пакетъ заграничныхъ денегъ, кошелечекъ кожаный на груди, — на черный день все ей будетъ. Ну, признала свою змѣю, спрашиваетъ старьевщика: «и гдѣ вы

ее достали?» А тотъ — «этого не могу сказать». Понятно, про краденое не скажутъ. Почему? Онъ и заломилъ: съ кого миліёнъ, а съ васъ половинку. Такъ вотъ и грабили, на корабли волокли. Весь Крымъ и вытряхнули, за грошъ безъ денежки. По дачамъ рыщутъ, кто несетъ, кто везетъ, кто коверъ волочетъ, кто шубу... и рояли, и небель всякую... — такъ всё и говорили: «саранча-то налетѣла, и дачи скоро поволокутъ, горь только не стащить». Наши знакомые говорили: «они насъ за людоѣдовъ считаютъ, они все такъ людоѣдовъ обираютъ, по всему свѣту». Каждый день пароходы отходили, полнымъ-полнехоньки.

Иду по набережной, а на мнѣ хорошая шаль была, ренбургская, несу лисью буу продать, а меня заграничный матросъ за буу остановилъ, а другой за шаль тянетъ, насила отъ нихъ отбилась. Принесла Катичкѣ буу, говорю — плохая лисичка, что ли... самые пустяки даютъ. Она и говоритъ: «сегодня къ намъ чай пить прїѣдутъ англичаны, купятъ мою буу!» А я еще ей сказала — да какъ же такъ, въ гости назвались — и торговать? Она и заулыбалась, — чего-то, чую, надумала. Вечеромъ, знакомые къ намъ, а тутъ и трое морскихъ на фаетонѣ прикатили, шеголи, въ золотыхъ тесемкахъ, кровь съ молокомъ. Стали пить чай съ вареньемъ. А у насъ большіе партреты Катичкины стояли, даже съ царской короной былъ, карасинщикъ все намъ заказывалъ, — они и любовались, даже графиней величали. Вотъ она имъ и говорить:

— «Хочу бѣднымъ дѣткамъ помочь, рояль отдать въ хорошія руки, въ Парижъ ѣду... недорого возьму».

И пошла на рояляхъ поиграть. И имъ поиграть велѣла. Ну, одинъ тоже поигралъ-пошумѣлъ. А рояль большія тыщи стояла, каретничихи.

— «За пятьдесятъ рублей отдамъ, и эту буу въ придачу, отъ насъ память».

Они вразъ и выхватили бумажники. Она ручками какъ всплеснетъ!.. Я еще подивилась, чего это бумажники всѣ суютъ. А она изгибается — смѣется, гости все вспомнили:

— «Какіе вы сочувственные... а какъ же я рояль на троихъ..?» — Схватила лисичку, кричитъ — «нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрѣзать...» — вырвала у меня ножницы, и разъ-разъ — на три хвоста буу! — «А рояль-то какъ? нешто по ножкѣ каждому? а то — кто больше дастъ? или — жеребій кинуть?..»

И за дѣтокъ благодарить, ужъ такъ хорошо представила, слезки на глазкахъ даже: «а рояль-то какъ же? не могу я вамъ рояль...» — и ножницами все такъ, стрыгетъ словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она имъ по кусочку лисички: «ну, хоть это вамъ отъ меня на память... какъ вы дѣткамъ помочь хотѣли, на грудь пришилаю». Они и не понимаютъ, смѣется или взаправду. Всѣмъ по хвостику и пришила, а они ей ручку поцѣловали. И все у ней губка прыгаетъ. Какъ бы, думаю, съ ней плохо не было, — затопаетъ и начнетъ рыдать, шибко когда разстроится. И давай рассказывать, какъ старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотѣли, вмѣстѣ съ платкомъ и съ этой вотъ лисичкой, насилу отъ нихъ отбилась. И опять — нянь! Вытащила и давай вертѣть. Со стыда я сгорѣла, чего это она меня на показъ показываетъ, чисто вотъ цыганъ лошадь продаетъ. Кричитъ имъ:

— «Самая эта старушка, двѣ копѣйки съ платкомъ за нее давали!»

Тутъ они поднялись всѣ разомъ. А она вдогонъ имъ: — «пожалуйста, не забывайте!» Больше ужъ они и не заявлялись. Да скоро и всѣ корабли уплыли. Я ужъ чуяла — плохо будетъ, садовникъ завеселѣлъ, большевики подходить. Ему телеграфистъ-зять все по секрету сказывалъ.

Къ Благовѣщенью было, груши ужъ зацвѣли. Ти-хо такъ, хорошо по вечерамъ, тѣпло, всѣ окна у насъ открыты. Сижу я на терасахъ, слушаю, какъ скворцы на грушѣ у насъ свистятъ. А Яковъ Матвѣичъ, какъ изъ-подъ земли выросъ, и шепчетъ мнѣ:

— «Дарь-Степановна, въ Крымъ вошли... завтра и у насъ будутъ!»

Такъ у меня сердце и упало, бѣль-свѣтъ закрылся.

XXVIII.

Стали мы мучку прятать. Садовникъ и то струхнулъ. А онъ жа-дный, вотъ онъ съ мукой носился! въ наши постели хотѣлъ насыпать, все уговаривалъ: «мы вами не брезговаемъ, простынькой накроемъ, и спите на нашей мукѣ спокойно, у васъ тѣло чистое, не пахнетъ». И смѣхъ, и грѣхъ. Въ винную бочку ссыпалъ и закопалъ, мука вся и провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись, взадъ не вошли бы добровольцы. Ждемъ. въ городъ итти боимся, телеграфистъ все страшалъ — заарестуютъ. И привелъ къ намъ начальника на постой — дача у насъ хорошая, все море видать. А самъ съ Агашкой опять наверхъ перебрался, на балконахъ сидѣть. Ну, пришелъ начальникъ, ничего, годовъ двадцати пяти Увидалъ Катичку и говорить:

— «Я люблю образованныхъ барышневъ, я самъ образованный, учитель былъ».

Двѣ комнаты забралъ, съ терасами, въ бинокъ все глядѣлъ на море, — корабли, боялся, не подплывутъ ли. А и видомъ-то не видать: какъ все ограбили, и горюшка имъ мало. Обыски пошли, а къ намъ и не заявляются. Телеграфистъ все хвасталъ: я васъ такъ защищаю! А Агашка все платье себѣ выпрашивала. Ну, дали ей, и шляпку старую, — только защищайте. А постоялецъ то сала намъ кусокъ, то сахарку дастъ. Все себя выставялъ: я образованный, уважаю барышневъ. А Катичка его насмѣхъ: по-аглиски скажетъ, а онъ не понимаетъ, и въ мезыку не умѣетъ, и... ничего не умѣетъ. Вбѣгаетъ разъ Катичка ко мнѣ, губка у ней дрожить: «нянь-нянь, нахаль подлость мнѣ сказала, изъ комнаты не уходитъ!» Пошла

я, а онъ сидитъ, ногти грызеть. Стала ему выговаривать, а Катичка какъ топнетъ, — «вонъ ступайте!» Онъ и говоритъ: — «я человекъ образованный, а то бы васъ надо наказать... я хочу на васъ пожениться, а не изнасиловать васъ!» И пошелъ, сердитый. Что намъ дѣлать? Раньше бы гордогого кликнулъ, или къ мировому бы подалъ, а тутъ сами они суды судятъ. И телеграфистъ намекать сталъ, — вотъ бы барышня завертѣла товарища Якубенку, почетъ бы ей былъ! И садовничиха-дура все мнѣ: «говори барышню съ нимъ пожить, онъ тогда всѣхъ насъ въ люди выведетъ, и ей дачу какую выберетъ, а эту мы за себя бы записали». Плюнула ей въ глаза, а Якубенка проходу не даетъ: то ветчины, то рису, — чего только разыщеть. Садовничиха и скажи: «съ карасинщикомъ пожила — и дачу какую заслужила, а бѣдныхъ гнушаетесь... сколько бы всѣмъ добра-то сдѣлала!» Ужъ я и отпѣла ей: слово одно сказала — на голову имъ и вышло, согрѣшила я, грѣшница: «охъ, говорю, смотри... ужъ покараетъ васъ Господь за жадность вашу!» И что бы вы думали, барыня! Поѣхалъ садовникъ за Кострому, землю записать за себя въ деревнѣ. Я еще отговаривала, а онъ жадный, — поѣду и поѣду, скоро обернусь. Такъ безъ мужчины и остались. Утромъ уѣхалъ, а къ вечеру его назадъ привезли, на горѣ ему ногу прострѣлили. Покуда подобрали, онъ на землѣ все валялся, въ грязи. Черезъ два дни померъ. Натянулся, какъ на струнѣ, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, такъ ломало, тугой и померъ, отъ грязи заразился. Зарился — земли бы побольше, отъ земли и померъ.

Только схоронили, Якубенка опять — выходите замужъ за меня. Она и скажи:

— «Я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мнѣ надо посоветоваться. Есть у меня въ Москвѣ дядя...» — и такого человека назвала, не помню ужъ, — какъ вскочить Якубенка! — важнаго ихняго назвала, надоумиль ее Господь, — «поѣду-посоветуюсь, бумагу мнѣ изготовьте».

Онъ намъ сразу выдалъ, перепугался. А она больной притворилась, не можетъ ѣхать. И приходитъ къ намъ матросъ и еще одинъ, вредный, рыло страшное. Поглядели-пошарили — пистолеть и нашли, карасинщикъ какой забросилъ. Вредный и говоритъ: «я васъ зарестую. къ вамъ офицера ходили, врагъ вы нашъ». Катичка накричала на него, матросъ даже похвалилъ: «разговорчивая барышня, такихъ намъ надо». А вредный безобразить сталъ: «можетъ, офицера по другому дѣлу къ вамъ ходили?» Она какъ топнетъ — «не смѣть меня оскорблять!» А тотъ — «а, храбрая вы птица, такихъ въ клѣтку надо сажать!» Она ему — «попробуйте!» А тутъ и входитъ Якубенка, прогнавъ тѣхъ: «я, говоритъ, васъ въ обиду не дамъ». А это онъ нарочно тѣхъ подослалъ, власть свою чтобы доказать. А она смекнула, — давайте перо-бумагу, телеграмму дяденькѣ пошлю, какъ меня тутъ обижаютъ! Онъ, было, замаялся, а она — «нѣтъ, я ужъ лучше сама поѣду, вотъ поправлюсь». И сталъ онъ у ней по ниточкѣ ходить. И про карасинщика ему все извѣстно. Говоритъ разъ: — «я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду — всегда принесу». Ну, что съ дурака-то взять! Приносить ей часики золотые, на руку. Она ему — «гдѣ достали, добы-ли?» — «На войнѣ, говоритъ, отвоевалъ». Она его даже пожалѣла: «какой, говоритъ, вы добрый». Совѣсти-то они не знаютъ. Вонъ, матросъ съ вреднымъ приходилъ, — онъ на Пасху, видала я, свѣчки у заутрени ставилъ! — такъ онъ, глупый... — я ему говорю — «берите и меня съ барышней, одну ее не отпущу. совѣсти коль у васъ нѣтъ...» — а онъ — «эхъ, мамаша мнѣ тоже про совѣсть все лякала — надоѣла! со-вѣсть... изъ этого товару сапогъ не справишь, а дала бы мнѣ лучше кожи на подметки!» Такъ и жили, какъ на огнѣ. Я съ Катичкой въ одной комнатѣ спала, припиралась. А Якубенка все по ночамъ кричалъ, дверь свою даже прострѣлилъ. А это его черти мучили. А дни пустые такіе, только и думушки, да когда же перемѣнъ будетъ! А Якубен-

ка проходу не даетъ: встанетъ передъ Катичкой и скажетъ: «для васъ весь свѣтъ переверну — не пожалѣю, любого могу убить!» И глаза страшные, му-утные, чисто у бѣшеной собаки. Только и молилась: Господи, пронеси!..

Праздникъ они затѣяли, и сталъ онъ къ Катичкѣ приставать:

— «Вы знаменитая артистка, ѣзжайте на коляскѣ, красную шапочку надѣньте, и пику въ руку возьмите, у васъ лицо выдающее!»

Она не согласилась. Якубенка и говорить: «гнушаетесь нами, хоть на праздникъ поглядѣть придите». Пошли съ ней. Нечего смотрѣть. Ребятишкѣ съ флагами прогнали, а потомъ рыбаки сѣти волокли, а за ними лодка на колесахъ, а тамъ садовники съ мотыгами, бутылку бумажную несли, ни къ чему, а послѣ коляска ѣхала, а на ней такая-то оторва-дѣвка въ красномъ колпакѣ, пикой все на нѣродъ пырjala, актерка одна, гуляющая. Она потомъ, добровольцы пришли, въ кокошникѣ ѣхала, въ сарафанѣ, Россію представляла. Глядимъ, а къ намъ и подскочилъ турка, въ красной шапочкѣ съ кисточкой. Безъ рубахи, грудь красная, мохнатая, парусиновые штаны болтаются, на ногахъ дощечки. Коверкается, чисто обезьяна страшная, оретъ: «Катерина Костинтиновна, вы ли это?!» Такъ я и обомлѣла: самый онъ! Да энтогъ, бѣсъ-то обсосанный, билъ-то его покойный баринъ. Большевикъ и большевикъ расхлестанный. Ломается, чисто пьяный: «пріѣхаль дворець выбрать, артистамъ отдыхать, теперь ужъ не пуццу васъ, въ Москву увезу!» Катичка еще его спросила, чего онъ такой гризный, раздсрганный. А онъ, чисто мастеровой, мелеть — мы всѣ рабочіе теперь, товарищи, полная свобода... Катичку потащилъ, штаны подергиваетъ, ноги задираетъ, похабничаешь, стыдъ глядѣть. И повадился къ намъ, до зари сидитъ и все любезничаешь: «сама судьба насъ связала, небесная вы красота!» А Катичка сурьезная такая — подивилась я на нее, какая стала: — «какъ вы постарѣли, лѣшививый стали, и почти грязные...» И ран-

ше-то неказистъ былъ, а теперь и совсѣмъ сталъ дохлый. А она ужъ всего повидала, ужъ не дѣвчонка, — уваженія-то къ нему и нѣтъ. Присталъ — въ гости чтобы къ нему, на дачу такую-то. А она и говоритъ: «это же дача генерала Коврова, какъ же вы въ чужую дачу влѣзли?» А тотъ гогочетъ: «это, говоритъ, была генералова, а теперь — моя стала, мы все ломаемъ!» Стыдъ потерялъ. Вихлялся-вихлялся, какъ она крикнетъ: «вы съ ума сошли!» Я и вышла къ нимъ со щеткой, полъ подметала. Она мнѣ — «онъ меня обнимать вздумалъ!» Я ему и сказала: «барина нѣтъ, а то бы онъ васъ перчаткой выгналъ!» — смѣлости набралась. И она словами закидала. А тутъ и приходитъ Якубенка: «что вы такъ расшумѣлись?» А Катичка ему — «садитесь, милый Якубенка», — онъ такъ и растаялъ. А она бѣсу: «Якубенка приличнѣй васъ, онъ голову свою подставлялъ, а вы только примазываетесь», — истинный Богъ! — «Завтра добровольцы придутъ, вы и передъ ними будете плясать». Бѣсъ губы все кривилъ, и говоритъ: «о, какая вы стали, теперь вы ужъ настоящая... же-ница!» — и на Якубенку подмигиваетъ, безстыжій. Катичка такъ и вспыхнула, огонь-порохъ! — «Слышите, Якубенка, онъ въ чужую дачу залѣзъ и меня въ гости зоветъ еще». А тотъ — «намъ наплевать, только бы намъ служили».

А Якубенка что-то сурьезный сталъ, съ утра на море въ трубу смотреть, трубу принесъ, и ужъ въ городѣ ночевать сталъ. И говоритъ Катичкѣ — «готовьтесь, черезъ два дни уходимъ, только никому не сказывайте, хочу васъ поудобнѣй въ Москву къ дяденькѣ отправить, дамъ вамъ знать». Вотъ мы обрадовались! А садовничиха все пальцы лизала, съ перепугу. Гляжу, зять прибѣжалъ, Агашка давай съверху опять перебираться. Я еще ей сказала: «чего опять спускаешься, ай жарко?» А она мнѣ: «проклятушіе кадеты одолеввають, боюсь — раздѣлка будетъ». Смотримъ — солдатъ ихній со звѣздой записку принесъ, подводу Якубенка вечеромъ пригонитъ. Катичка — сби-

райся, няня, скорѣй! Въ оврагъ, кустами мы на виноградники, прибѣжали къ знакомому татарину, кислое молоко намъ носилъ. Онъ насъ и повелъ, въ самую-то глушь глухую, за овраги, въ сараюшку, кругомъ ни души, табакъ тамъ рѣзали-сушили, два старика. Утромъ пришелъ, сказалъ — ушли лихіе люди, казаки ужъ проскакали. Пришли на дачу, садовничиха намъ — «чуть меня, говоритъ, Якубенка не застрѣлилъ, самъ прискакалъ за вами, да поздно только». Стала просить — ужъ не сердчайте на насъ, не погубите. Побѣжали мы въ городъ, а тамъ ужъ молодчики наши, и пароходикъ дымить, и всѣ на немъ грязные, офицера все, матросовъ нѣтъ. А публика имъ ура кричить, намучились за два мѣсяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось, а то и не было ничего. Въ церкви благовѣстять, на Пасхѣ словно, весело такъ... Катичка моя у мальчишки цвѣтовъ купила, кинулась къ офицеру, рука въ повязкѣ, а фуражка заломлена, и отдала букетикъ. Онъ ей ручку поцѣловалъ — заплакалъ. И мы заплакали. А съ проулка кричатъ: «до смерти убился!» А это, узнали потомъ, садовничихи зять, изъ окошка выкинулся, съ винной горячки, допился, а то со страху. И получилъ свой конецъ, какъ песь.

XXIX.

Приходимъ домой, а въ саду на ступенькѣ бѣсъ сидитъ съ чемоданчикомъ, на себя непохожъ. Сталъ проситься — дозвольте пожить, боюсь, за большелика примутъ, а то я радъ, изъ ихняго ада вырвался. Пожалѣла Кагичка, дозволила. Залѣзъ онъ наверхъ, три-дни не выходилъ. Ужъ турецкую шапку свою запряталъ, сразу личный сталъ и все на диванѣ книжку читалъ. Не слышно его совсѣмъ. Катичка съ утра въ городѣ, а тотъ все дома. Скажу ему — все-таки человекъ: «можетъ, поѣсть хотите, макаронвъ хоть сварю вамъ?» Поморгаетъ-пошеп-

четь — «сварите, будьте великодушны», наскоро погло-
таеть, какъ собака, и опять въ комнатку забьется. Опа-
сался — ну, дознаются про него. И ночью не спалъ, у око-
шечка слушалъ, примѣтила я за нимъ. И дождался. Дня
три прошло, приходятъ двое офицеровъ съ пистолетами,
и еще татаринъ съ ружьемъ, и длинный у него ножъ за
поясомъ. А это, сказывала садовничиха, Османъ-тата-
ринъ, у него брата большевики убили. Вотъ онъ и водилъ
по дачамъ, гдѣ большевики стояли. А Катички дома не
было. Ну, спрашиваютъ меня, Якубенка у васъ стоялъ?
Стоялъ, насилу Господь избавилъ. Говорю еще, насъ всѣ
уважають, и генераль Ковровъ насъ знаетъ, а татаринъ
ножъ теревить, не даетъ сказать, кричитъ: «къ тебѣ че-
ловѣкъ ходилъ, турка одѣтъ, гдѣ онъ, собака?» А тотъ
и выскочилъ, ура закричалъ! И давай всѣмъ руки трясти,
и татарину, и благодарить, слезы даже. «Спасители наши,
побѣда у насъ!..» — и пошелъ плести, откуда что наби-
раеть. И такой-то онъ, и всѣ его знаютъ... а они его и не
знають. Велѣли показать пачпортъ, а у него нѣтъ, пра-
вильнаго-то. А татаринъ ножомъ на него: «самый вред-
ный, турка ходилъ, дачи грабилъ!» Тотъ перепугался, гу-
бами задрожалъ, креститься сталъ — «я православный, не
турка, большевики меня силой заставили представлять»,
— совсѣмъ заврался. Офицера и говорятъ: идемъ, тамъ
разберемъ. Онъ въ сле-зы... сталъ имъ чего-то про теа-
ры, розовую бумагу выхватилъ, на стѣны-то наклеивають.
А они — идемъ, татаринъ его въ спину кулакомъ. А тутъ
Катичка, къ ней онъ: «спасите меня, скажите слово!» А
она губки поджала, ни слова! Татаринъ ему — «а, не зна-
ешь тебя барышня, вредный ты!» Онъ опять: «одно ваше
слово... артистъ я знаменитый...» Ну, покрыла его, по-
кривила душой, — прѣхалъ, молъ, отъ большевиковъ
уйти, артистъ знаменитый. А татаринъ и слушать не же-
лаеть, до бѣса добирается: «и старушка хорошій, и ба-
рышня, лазаретъ устроила, а этотъ самый вредный, дачи
отымалъ!»

А тотъ сѣрый сталъ, мышъ-мышью, дрожмя-дрожить. Пожалѣла его Катичка: «поручусь за него, его и генераль Ковровъ знаетъ». Татаринъ даже плюнуулъ, сказалъ: «правды нѣтъ!» Чаемъ ихъ угостили и винца по стаканчику они выпили, устамши были. И бѣсъ маленько постошелъ, шутки сталъ шутить-веселить, татаринъ даже смѣялся. Обошелъ и обошелъ, какъ змѣй. Ужъ радъ былъ, все Катичкѣ руки цѣловалъ. И въ городъ ужъ сталъ спускаться. А послѣ знакомые и сказали, проспалъ бѣсъ и опоздалъ уѣхать. А можетъ и нарочно задержался, побѣды наши пошли, онъ къ намъ и перекинулся.

Недѣли не прошло, генераль Ковровъ изъ Костинтинополя приѣхалъ, Катичка его видала. Веселая приѣзжала, говорить — въ Костинтинополѣ на картинкахъ ее видаль... вотъ-вотъ, въ снимахъ, — вонъ ужъ куда она пала! А это карасищикъ ее снималъ-устраивалъ. И побѣды у насъ пошли, все телеграммы наклеивали, по три побѣды за день наклеивали. И наро-ду наѣхало, рестораны открылись, лавочки, вещами пробавлялись, жить-то надо, а денегъ нѣтъ. Харьковъ взяли, — стали говорить, скоро Москву возьмемъ, тогда все добро воротится. Ужъ такъ жировали... кто мыломъ заторговалъ, кто подметки скупаеъ, артистъ одинъ знакомый овсомъ торговать пустился, большой капиталъ нажилъ, на бралѣнты вымѣнивалъ, способный оказался. А богачи крупныя дѣла дѣлали, на корабляхъ все возили. Наторгуютъ капиталъ — и въ границу уѣдутъ, на покой. Пришелъ, помню, офицерикъ къ намъ, вотъ богачей ругалъ! — «Они, говорить, за нашими спинами карманы набивали, а у насъ ни сапогъ; ни бѣлишка, яичко купить да фунтъ хлѣба, только и жалованья нашего хватаетъ». Мальчишка со всѣмъ, родителей растерялъ, грудь прострѣлена. Столько онъ говорилъ, кулакомъ стучалъ, плакалъ:

— «Всю бы эту...» — выругался, — «всѣхъ бы богачей заспанныхъ разстрѣлять, а деньги на армію, давно бы одолѣли большевиковъ! Мы въ Ростовѣ раздѣшии

были, а они грошъ намъ дали! ушли мы — все большевикамъ досталось. Мы, говорить, головы здѣсь положимъ, а толстошкурые въ заграничѣ кровь нашу прожирать будутъ».

Ну, извѣстно, барыня, не всѣ богачи такіе. Катичка стала ему говорить: генераль, молъ, Ковровъ большіе капиталы на войну отдалъ, а въ Костинтинополѣ всего закупилъ, и бѣлья, и по-роху, и лушекъ... и сынъ у него воюетъ. Офицерикъ такъ просвѣтлѣлъ: «да я, говорить, его знаю, Василекъ это, полковникъ Ковровъ, герой извѣстный, чуть матросы его не разстрѣляли, бомбой отъ нихъ отбился». И онъ подъ его командой былъ, во льду шли вмѣстѣ, вонъ какъ! Катичка до ночи его не отпускала, все онъ рассказывалъ, страсти всякія.

А тутъ къ намъ докторъ съ каретницей. Она полную штукатулку бражіятовъ привезла. Онъ помогать хотѣлъ, а она себѣ деньги забрала. Я слыхала, барыня, какъ они спорились. Онъ все: «хоть немножко помоги, мнѣ стыдно въ глаза смотрѣть, у насъ много...» А она ему — «а сумашедчій домъ пропалъ въ Москвѣ? ничего не дамъ!» А онъ ей: «да Трѣночка, мы русскіе, у меня душа болитъ». А она — «а у меня животъ болитъ». А ихъ наши добровольцы въ Харьковѣ спасли, они и прѣхали въ Крымъ со своей штукатулкой. И ни грошика не дала. Загодя и уѣхали въ Парижъ прямо. Докторъ плакалъ — рассказывалъ: «въ ноги кланяться надо героямъ нашимъ, мученики они!» Онъ, барыня, съ ума сошелъ, отъ мыслей. И про Васеньку рассказавъ, какъ онъ его въ Харьковѣ на копѣ видалъ, съ фла-гомъ, а рука пробита-повязана.

— «Безпремѣнно я васъ, говорить, познакомлю, скоро онъ сюда будетъ, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москвѣ».

А Катичка смѣется ему:

— «Да мы тоже старые знакомые, еще когда десять годковъ мнѣ было».

XXX.

И надо же, барыня, чему быть-то! Вотъ, завтра пріѣхать Васенькѣ, — телеграмма отъ него — задержался. Ну, генераль Ковровъ ждалъ такъ — и вотъ. Докторъ нашъ пришелъ и говорить, — ослабъ старикъ, годъ сынка не видалъ, не раненъ ли ужъ опять, задержался-то. А Катичка закусилла губку и ушла изъ комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась: какія теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дѣло горячее. Тутъ Катичка вошла, услышала... чуть она въ нее не плюнула! А скрѣпилась, сами-то изъ милости живемъ.

А Васенька вдругъ и пріѣзжаетъ. Радость-то какая папашѣ-то, и слухъ былъ, Васеньку чуть не разстрѣляли. Сейчасъ его въ ванную, а потомъ сѣли закусить, винца выпили, а потомъ и старикъ въ ванную сѣлъ... какъ сѣлъ, такъ и померъ сразу. Съ тѣмъ Васенька словно и пріѣхалъ — похоронить.

Весь городъ на похоронахъ былъ, такъ все парадно было, и гробъ изъ Севастополя привезли, ужъ трудно стало хорошій гробокъ найти. Я и кутьи сварила, а то кому подумать, женскаго полу нѣтъ, а безъ кутьи-то какъ-то ужъ непорядокъ, все-таки душеньку помянуть-порадовать. Катичка въ церкви только была, а я и на выносъ была. Пришла въ ихній дворецъ, лѣстница одна больше нашей дачи, и все цвѣты... гробу поклонилась, къ ручкѣ приложилась. Гляжу — Васенька, не узнать. Почернѣлъ, раздался, и сурьезный стоитъ, убитый. Я и говорю имъ — «здравствуйте, Василий Никандрычъ, горе-то у васъ какое». А онъ глядитъ, словно не узнаетъ. А потомъ, глазами такъ вскинулъ... — «ня-ня... вы это?!» Обнялъ, въ плечо поцѣловалъ, и слезы у него. И я заплакала. И такъ-то мнѣ его жалко стало. Я ему и сказала, просто: «съ Катичкой мы однѣ тутъ, у ней папаша съ мамашей тоже скончались, сироты мы теперь». Такъ онъ,

словно, обрадовался: «какъ, Катерина Костинтиновна одна здѣсь?» И не до насъ ему, а я не удержалась, сказала: «опять уѣдете, можетъ, насъ навѣстите». Ни слова не сказала. Я не то, что бы зазывала, а... и его-то, сироту, жалко, и все-таки съ одной мы стороны. Ну, Катичка была въ церкви, а къ нему не подошла, домой ушла. Травуръ у ней былъ, вотъ и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь-честью, и кутьицы Васенька откушалъ на могилкѣ. И всѣ очень благодарили. Старушки тамъ были... одна греческая старушка тоже похвалила мою кутью, только, говорить, надо бы орѣшками утыкать и миндалькомъ, и вишенками изъ варенья кругомъ убрать, такъ по ихъ вѣрѣ полагается. А у насъ, конечно, изюмцемъ больше убирають. И докторъ нашъ помянулъ. И говорить Васенькѣ: «завтра обѣдать пріѣзжайте». Прихожу домой, Катичка ко мнѣ:

— «Зачѣмъ тебя понесло по жарѣ таскаться? на поминки напрашивалась, блиновъ не видала?»

А я устала, молчу. А я еще въ городѣ сказала — на кладбище пойду, проводить, и ничего она — ну, что жъ, проводи. И кутью у меня видала. Молчу-переобуваюсь, а она все не отстаётъ:

— «Не позвали на поминки? Ахъ, бѣдная, устала, да въ гору еще, пѣшкомъ шла, не догадались, небось, на фаетонъ тебя посадить? А ты бы попросилась. Или не узнали тебя? А ты бы подошла, напомнила о себѣ... можетъ, и посадили бы!»

Разстроила она меня. Говорю — плохого тутъ нѣтъ — за упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомаго человѣка. А нехорошо, какъ у живого въ гостяхъ была, а на кладбище не проводила. Нѣтъ, говорю, меня самъ Василій Никандрычъ узналъ, самъ меня и на фаетонъ усадилъ, и поцѣловались съ нимъ.

— «А, можетъ, напросилась, сама влѣзла?» — поперекъ мнѣ. — «Можетъ, онъ тебя за кого другого принялъ?»

У него мысли въ разстройствѣ, а ты подь руку ему по- пала».

Плюнула я — мели. Ушла. Приносить чайку съ лимончикомъ.

— «Отпейся-вздохни, бѣдная моя, устала...» — лисичкой такой ко мнѣ, — «не пришлось на поминкахъ чайку попить.. ну, попей чайку».

Я ее вотъ какъ знаю. Ужъ такъ ей хочется, вижу, узнать все, а виду не подаетъ. Не стала томить, сказала. И какъ просвирку ему подала, за упокой раба божія Никандры, а то бы никто и не догадался вынуть, и кутьицы ему подала-помянуть, и какъ онъ про нее спросилъ, очень обрадовался.

— «Да что ты... у него отецъ померъ, а онъ обрадовался!»

— «И про адристь даже спросилъ! И нашъ баринъ пригласилъ его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навѣстить насъ, — одиѣ мы, говорю, теперь... сиротка Катичка...»

Какъ закричить на меня: «кто тебѣ позволилъ его звать?! что ты, хозяйка здѣсь, меня спросилась?!»

— «Да чего жъ тутъ такого, давно насъ знаетъ, и сирота. И чужихъ зовутъ, мысли разогнать, горе у кого какое».

— «Да, можетъ, онъ и не хотѣлъ заѣзжать, а ты его насильно зазвала..?» — такъ раскричалась на меня, — «ну, что же онъ сказалъ?..»

— «Безпремѣнно, говорить, буду, я скоро уѣзжаю», — только и сказалъ.

XXXI.

Значить, на другой день, въ травуръ свой Катичка одѣлась, очень къ лицу ей онъ: личико у ней и въ Крыму не загорѣло, блѣдненькая такая, слабенькая совсѣмъ, — сиротка и сиротка. Къ обѣду время, легла Катичка на те-

расахъ, книжку взяла, велѣла мнѣ бѣлыхъ розановъ нарѣзать. Лежить вся въ цвѣтахъ, любитъ она покрасоваться. Только прилегла, Васенька и пріѣхалъ. Взошелъ на терасы — такъ и остановился! А она, чисто какъ королева, и головка у ней, будто, заболѣла, блѣдная-разблѣдная лежитъ, слабенькимъ голоскомъ ему — «ахъ, вы это .. садитесь». Мы ихъ и оставили однихъ. И обѣдалъ у насъ, и чай пилъ, и ужинать остался. Вмѣстѣ все по саду гуляли. Сразу и подружились, словно и не было ничего. Онъ у насъ до часу ночи и просидѣлъ, и я не спала. Она его и провожать ходила, и потомъ онъ ее провожалъ, и опять все по саду гуляли. Въ четвертомъ часу онъ отъ насъ ушелъ, вотъ какъ. Заплакала я, какъ хорошо-то стало. Ушелъ онъ, а она на терасахъ все лежала. Заря ужъ, задремала я... Слышу, входитъ она ко мнѣ, ужъ бѣленькая, ночная. Обняла меня, — «нянь-нянь, милая моя нянь...» — давно такая ласковая не была, — «сколько онъ всего вытерпѣлъ, мученикъ онъ...» Утромъ рано вскочила, запѣла, — давно не пѣла. Надѣла голубенькое, воздушное, — ну, дѣвочка совсѣмъ, — побѣжала въ садъ. Все по капарисовой алейкѣ гуляла, дорогу откуда видно. Только я подала кофій, онъ и всходитъ, а къ обѣду только обѣщался. И опять цѣльный день, все съ нами. Такъ три-дни все и гуляли вмѣстѣ. Влюбилась и влюбилась она въ него. Ему ѣхать, а она не отпускаетъ. Ну, уѣхалъ. Она мнѣ и призналась — женихъ и невеста они теперь. А чего раньше было, — это, говорить, ошибка, онъ ее и не видалъ въ театрахъ, глаза у него ослабли отъ болѣзни. И про графиню сказала — она хорошая, милосердая сестра, за нимъ ходила. А онъ Катичку забыть не могъ, а навязываться не смѣлъ. И партреть все Катичкины въ медальонѣ носить, показывалъ ей даже.

Другъ дружкѣ они писали. А на войнѣ опять плохо, Катичка все телеграммы бѣгала глядѣтъ. А то пошла я ко всенощной, ужъ зима была, гляжу — стоитъ моя Катичка на колѣнкахъ въ уголку, такъ-то хорошо молится! —

порадовалась я. Такъ до весны мы и томились. Катичка и говоритъ: «душа у меня за него болитъ, чего я тутъ сижу.. тамъ страдаютъ... не могу я, не могу!» Всѣ ее уговаривали, — «съ ума сошли, они вотъ-вотъ сами сюда прѣдутъ, тифъ тамъ валить, сами погибнете, и его не разыщете». Нѣтъ, поѣду. А меня не беретъ: «Пропаду — одна пропаду, куда тебѣ, въ адъ такой!» Ужъ собралась, — письмо отъ Васеньки, грязное, три недѣли трепалось. Въ Крымъ переѣдутъ, — написалъ. А тутъ стали говорить -- добровольцы ужъ подѣзжаютъ, одинъ у насъ Крымъ остался. Сразу такъ все и повернулось, — нечистому сила-то дана! А что, барыня, думаете... и ему дается отъ Господа, восчувствовали чтобы, въ разумѣніе пришли бы. Тутъ богатые и стали уѣзжать, загодя. И каретница наша: нечего ждать, надо ѣхать. Докторъ ни слова не могъ поперекъ, она ему всю голову простучала: въ заграницу и въ заграницу! А у него ужъ въ головѣ путаться стало, — сидитъ въ уголку и плачетъ. И говоритъ мнѣ: «сняня, а вѣдь это мы, мы, мы...!» Не поняла я. А онъ опять: «мы это, мы, мы, мы...» — значитъ, у него ужъ мозги замыкались. А она лихая, толстущая, ничто ее не беретъ. Все гвоздила:

— «Скорѣй ѣхать, теперь всѣ сумашедчіи, послѣ войны, вся заграница сумашедчая, намъ не помогла... тамъ мы опять больницу откроемъ, будемъ спокойно жить... я все загодя припасла, а съ тобой, дуракомъ, давно бы погибли!»

А въ Москвѣ у нихъ больница своя была, сумашедчихъ они лечили, богатыхъ все, имъ миліоны сыпались. А денежки-то они давно въ заграницу переслали, имъ сумашедчій какой-то сдѣлалъ, вылечили они его. У него банки были, — хвастала она мнѣ, — онъ и переслалъ, какъ вылечили-то хорошо, умный какой. И уѣхали, на хорошемъ пароходѣ, съ цвѣтами провожали, на свадьбѣ чисто. И что-же, барыня... я, вѣдь, ее тутъ встрѣла! Иду я по базару, съ Марѳой Петровной, рыбку мы покупать

ходили, наважку... очень я наважку люблю. А тутъ она не наважка, а мурланъ называется, а духъ маленько на наважку похожій, и не дорогая. Иду я по базару, какая-то съ торговкой ругается-кричитъ, такъ и чешетъ, лицо разду-то, красная вся, какъ пьяная. И одѣта плохо, какая-то, словно, сборная. А это она, каретница! И она меня узнала. Померъ, говорить, мой супругъ въ сумашедчемъ домѣ, а она ресторанъ думаетъ открывать. А какъ же, говорю, сумашедчій домъ открывать хотѣли? Лопнулъ, говорить, тутъ французы перебиваютъ шибко. А мнѣ Марѳа Петровна и говорить: она у насъ въ кварталѣ извѣстная скандальщица, ее всѣ знаютъ, мужъ отъ нее съ ума сошелъ, и бралиянты она кому-то продать давала, содержанию своему, макрѣ — называютъ тутъ такъ, коту — по нашему, а онъ убѣгъ съ ними, она и не причемъ стала. Теперь, говорить, съ огромнымъ кабатчикомъ связалась, съ французомъ, а онъ ее походя бьетъ, и днемъ, и ночью, очень она винцомъ балуется. Ужъ своего добила, ни капельки мнѣ ее не жалко.

XXXII.

Ну, уѣхали они, мы въ голыхъ стѣнахъ остались, распродала почемъ-зря каретница все добро. Васенька тутъ и приѣзжаетъ, на два денька только вырвался. А его въ желѣзный поѣздъ поставили, въ Севастополѣ собирали, воевать. Думали — черезъ мѣсяцъ и свадьбу справимъ. Онъ и мѣрочку ужъ съ пальчика ее снялъ, колечко заказать. А графиня и прикатила. Къ намъ приѣзжала, а у насъ Васенька. Она ихъ въ саду застала. И невѣжа такая... съ Катичкой ни слова, а ему кричитъ, какъ начальство: «проводите меня!» Лица на Катичкѣ нѣтъ, приѣзжала на терасы, а тотъ провожать пошелъ. Катичка ему вслѣдъ: — «я васъ жду!» А Васенька ей, ужъ изъ-за забора: — «я сейчасъ». Часа три прошло — нѣтъ его. Катичка мѣста

не найдеть, а ужъ и вечеръ, и не обѣдали мы, — приходитъ. Она ему — «долго васъ задержали». Сталь говорить — разстроена графиня, не могъ оставить. Вскочила она — «настраивайте-ступайте свою графиню!» И заперлась у себя. Онъ ждалъ-ждалъ и говоритъ: «няня, успокойте ее, не могу я уйти такъ». Стала ей говорить — не откликается. Ушелъ онъ, чисто водой облитый. Приходитъ на другой день, на терасахъ ее засталъ. Какъ ужъ, — только, будто, поладили. Только разговорились, по саду гуляли... — графиня на фаетонѣ къ намъ! Не узнала я ее: разодѣта, вольная вся, а то скромно ходила, милосердное платьице только... а тутъ и надушилась, и шея голая, и юбка задъ обтянула, и шляпка съ какими-то торчками, такая лихая, разбитная... Прямо къ Катичкѣ, ласковая, веселая, такъ и разочаровала насъ! Чуть не пляшетъ, стала говорить — уѣзжаю завтра, зашла проститься. «Поѣдьте верхомъ, хочу кутить!» Меня завертѣла, — «ахъ, какая вы чудесная, няня... у меня тоже няня была...» — все пріятное говорила. И Катичка рада — уѣзжаетъ-то она.

Живо сварганила, знакомыхъ пригласила, татаринъ и лошадокъ привелъ, — это зараньше она распорядилъ. И бѣсъ прилетѣлъ съ хлыстомъ. Узнать ее нельзя стало, дочего дерзкая. Куда и скромность ее дѣвалась, такъ всѣ за ней и ходять, очень она красивая, а тутъ какъ дама такого поведенія... ну, мужчины, вѣдь, извѣстно. Я ужъ подумала — не пьяная ли она. Нѣтъ. Садиться имъ — велѣла татарину три бутылки шинпанскаго откупорить. Поздравили ее съ отъѣздомъ, и я пригубила, а она три бокальчика хлопнула, хоть бы что. А Васенька что-то невеселый, насторожѣнный, все на нее глядѣлъ. А Катичка . развертѣлась, глазки горять, личико — ни кровинки. Съ бокальчикомъ къ ней графиня, стукнула по бокальчику, выплеснула на юбку. А я думаю — ладно, только бы долой съ шею. Стали на лошадей сажаться. Катичка хорошо умѣла, юбка у ней амазонная была, бѣсъ ей колѣнку свою

подставилъ, прыгнуть. А графиня Васеньку кликнула помогать. Вспорхнула на лошадку, хлыстомъхватила, — та надыбы! По двору проскакала, все форсила. Поѣхали, поскакали. Потомъ мнѣ Катичка рассказала, какъ дѣло было.

Графиня рядомъ съ Васенькой ѣхала. Хлысть уронить и велить подымать. Заѣхали на горы, и ночь ужъ. Стали барашка жарить, сашлыки. И вина выпили. Выпили-закусили, графиня и давай шпильки пускать. Васенька съ Катичкой сидѣлъ, кусочки ей на палочкѣ подавалъ, грифинѣ и неприятно. А какъ выпила, невозможно ужъ стало слушать. Разнуздалась, съ хлыстомъ вскочила, и кричить изъ теми: — «Ковровъ, ступайте ко мнѣ!» Татаринъ остерегъ — «барышня, тутъ мѣсто строгое, упадешь!» А тамъ прорва, костей не соберешь. А Васенька не пошелъ. Стали кричать татарину — привести ее. Побѣжалъ, а она его хлыстомъ по лицу, такъ онъ съ рубцомъ и воротился, — она, говоритъ, сумашедчая. Бѣсъ къ ней побѣжалъ-вызвался, она и его ожгла, и опять: «полковникъ, извольте ко мнѣ притти!» Стали его просить — приведите ее. Ну, пошелъ за ней. Возня у нихъ поднялась въ кустахъ, онъ ее и привелъ, насильно. А у него карманъ вырванъ на курточкѣ. А у ней шелковый рукавъ треснулъ, тѣло видать. И вся растрепана, не въ себѣ. Ну, вина она запросила. И стали всѣ говорить — домой пора. А она злая сидитъ, хлысть сломала. Выпила винца и говоритъ Васенькѣ: «подлый обманщикъ!» — и бацъ! — прямо въ него изъ пистолета! Не попала. Опять — бацъ, бацъ, — Катичка и упала въ омморокъ. А та, можетъ, напугалась, — убила, молъ! — да въ кусты, а тамъ оврагъ, она и ахнула туда, въ прорву. Кинулись за ней, а татаринъ остановилъ: костей не соберешь, вотъ тамъ какая прорва. На смерть убилась, ее черезъ два дни достали только.

XXXIII.

А какъ же, судъ былъ, допрашивали. Васенька доложилъ все — съ графиней они совсѣмъ сладились, сказалъ ей — Катичка его невѣста, и она ничего. И устроила имъ похороны, со зла. А въ сумочкѣ записку для Катички нашли: «получите мои обноски!» Зло вотъ и положила. Письмо еще нашли, къ сестрѣ - кузинѣ, католличка которая, хроменькая - горбатенькая, здѣсь живеть. И написано сверху — переслать черезъ полковника Коврова. Власти прочитали, печатями запечатали, Васенькѣ отдали. Катичка добиваться: чего она написала? А онъ ей — не могу отпечатать. Она ему — «а, тайны у васъ?» Онъ себя за голову хваталь, — «какъ я смѣртное письмо могу?» Далъ ей, а она швырнула. Зло и засѣло, какъ заноза. Ему ѣхать, а она его видѣтъ не желаетъ. Уѣхаль, письма писалъ, она рвала. Приѣхаль, плечо пробито. Говорю — плечо пробито. Допустила. Какъ ледышка, губка только дрожитъ. Онъ ей то-сѣ, а она: «вы солгали». Да еще чего: «у васъ любовь была!» Худой, глаза провалились, пошелъ — сказалъ мнѣ; «вы ей взаиѣсто матери, няня... скажите ей — чистъ я передъ ней». На войну уѣхаль. Три дня я Катички добивалась, — не ѣла не пила, заперлась. Я ужъ окошко къ ней влѣзла — она безъ чувствъ. Двѣ недѣли болѣла. Доложила я ей про Васеньку, стала она кричать, какъ мамочка - покойница: не могу жить, не буду жить! Въ лазаретъ поступила, косыночку надѣла — монашка и монашка. Плакала на нее, — худая-расхудая, одни глаза. Изъ лазарета придетъ — какъ мертвая сидитъ, на море глядитъ. Скажу ей: «Катичка, что жъ меня ты забыла, словечка со мной не скажешь?» — «Я тебя не забыла, няня...» — ничего и не скажетъ. А денегъ у насъ нѣтъ. И приходитъ къ намъ татаринъ, бѣса-то все хотѣлъ... и суетъ мнѣ вотъ какую пач-

ку денегъ. Говорить — баринъ Ковровъ велѣлъ, а барышнѣ не сказывай. Говорю — безъ ее не могу. Онъ на столъ швырнулъ и пошелъ: я, говорить, слово далъ. А онъ у нихъ въ имѣнни много годовъ жилъ, приверженный.

Ну, прибрала я деньги. А на базарѣ только и толковъ — большевики Крымъ возьмутъ. Все изъ рукъ валится, а садовничиха съ Агашкой страшатъ: вотъ, скоро раздѣлка будетъ! Агашка съ паликмахеромъ спуталась, сталъ ночевать ходить, волосатый, страшный, и пистолеть у него. Опять наверхъ стала перетаскиваться, хвастала все: губернаторша скоро буду. А тутъ Катичка мнѣ и говорить: «собери, няня, узелокъ мнѣ... прошеніе я послала, на войну ѣду». Подкосила она меня. Стала проситься съ ней... — «куда тебѣ, мнѣ и одной-то не собразиться». Ушла она въ лазаретъ, два дня не заявляется. Побѣжала къ ней, а тамъ сестры мнѣ: поѣхала въ Севастополь раненыхъ принимать. И приходитъ на дачу офицерикъ, Катичка за нимъ ходила, и говорить — Катерина Костинтиновна что - то заболѣла, въ Севастополѣ ее удержали, по телефону извѣщено. А онъ скромный такой, изъ ученыхъ, какъ Васенька. Бѣ-дныи былъ, бѣльишка не было, мы ему баринову рубашку дали, и покормимъ когда. А онъ стѣснительный, объѣсть боялся. Ну, сказалъ, — у меня ноги отнялись. Онъ мнѣ голову помочилъ, а поднять-то меня не въ силахъ. Позвалъ садовничиху, а она еще на меня: «доплясалась передъ дерьмомъ своимъ, — передъ господами, молъ, наплясалась, — вотъ и безъ ногъ». Ткнула меня на стульчикъ, — я, говорить, не докторъ. А офицерикъ и говорить:

— «Нешто можно съ такимъ народомъ большевиковъ одолѣть! насъ горсточка, а такихъ большіе миліоны».

Недѣлю я лежала. А тутъ и Катичку привезли. Не тифъ былъ, а гриппъ, за воспаленіе боялись. Другъ за дружкой и походили мы.

Помню, октябрь на исходѣ былъ. Садовничиха прибѣ-

гаеть, — «большевики Крымъ прорвали!» — пляшетъ, крестится, вѣдьма-вѣдьмой.

— «Пришли родненькіе наши, весь свѣтъ покорили, Агашка отъ паликмахера узнала, ужъ ему дано знать, никого не выпускать чтобы!..»

Погибель и погибель. Сказала Катичкѣ. Сѣла на постелькѣ, блѣдная, мутно такъ поглядѣла... — «теперь, говорить, все равно». А я только вчера дровъ на зиму купила, на шелковую матерію вымѣнила, — какъ же теперь съ дровами-то? Тутъ страсти идутъ, а я съ дровами. Глянула на море, — чтой-то много какъ кораблей идетъ, никогда столько не было. Неужъ, думаю, англичаны войску везуть? А тутъ, съ сосѣдней дачи Миша бѣжитъ, папаша у нихъ офицеръ былъ, въ городѣ служилъ, калѣчный, — кричить:

— «Нянь-Степановна, изъ города верховой, велѣлъ папаша къ ночи выбираться, всѣ уѣзжаютъ!»

Такъ все и потемнѣло. А Миша кричить-пляшетъ:

— «На корабляхъ поплывемъ! а то большевики всѣхъ порѣжутъ!»

До Катички добѣжала, кричу — скорѣй собираться, ужъ корабли пригнали, сосѣди выбираютъ. А она лежить, ни слова мнѣ, — ну, чисто, мертвая. А садовничиха въ окно кричить: «большевики всѣхъ офицерей пожгли, всѣхъ съ пушками захватили, паликмахеръ телеграмму показывалъ!» Ручками Катичка закрылась, — слова не могла добиться.

XXXIV.

Къ сосѣдямъ я, а барыня бѣгаетъ по дачѣ съ дѣтской рубашечкой, къ груди прижимаетъ. Хавось у нихъ, чемоданы, корзинки, дѣвочки съ куклами бѣгаютъ, она кричитъ — «скорѣй, наши на пароходъ садятся, большевики подходятъ!» А дѣвочка варенья банку въ чемоданѣ

раздавила, текеть варенье, барыня руки порѣзала, дѣвочки ревуть... — ну, какой тутъ совѣтъ спросить. Бѣгу домой, а на костыляхъ офицерикъ нашъ, задохнулся, кричить — «Катерину Костининову спасти!» Обрадовалась ему, повела къ Катичкѣ. Сталь ее умолять. Она ему: «гдѣ полковникъ Ковровъ?» А онъ не знаетъ. Идутъ, говорятъ, войска, на корабли. Онъ ее умоляль..! — «Вы не знаете, что въ Ростовѣ было, умоляю васъ!» Она — никакъ! Онъ опять: доктора послали, велѣли вывезти, всѣмъ мѣсто будетъ, — она хоть бы словечко. Заковыляль внизъ, задохнулся, костылями машеть. А съ дороги ужъ слышно — автомобили гудятъ, подводы стучать, — у насъ съ задняго балкона сошу видно, — и пѣши, и верхомъ, и на повозкахъ, съ узлами бѣгутъ, волю тянутъ, скрипъ-гамъ, конца не видно, чисто весь Крымъ поднялся. И не обѣдали мы, кусокъ въ глотку не лѣзеть. А садовничиха, гляжу, наши дрова къ себѣ волокетъ. Я ей — «наши дрова, какъ ты такъ..?!» — а она себѣ тащитъ, скалится. И Агашка ужъ сундукъ съ паликмахеромъ наверхъ волокутъ, да Катичкину блузку подъ мышку себѣ поддѣла, — живой разбой. Заплакала я, — дожили до чего, среди бѣла дня грабятъ. Сосѣди, смотрю, на подводу поклялись, поѣхали внизъ, и солдатикъ хромоу при нихъ, и ихняя кошка съ ними. Сердце во мнѣ упало, — ой, страсти идутъ на насъ, бѣгутъ всѣ, мы чего жъ дождемся? Стала Катичку тормошить: приди въ себя, Якубенку вспомни! Глядь, — вотъ я перепугалась! — верхомъ кто-то, черезъ палисадникъ перестегнулъ, по кустамъ, по клунбамъ, на терасы чуть не вскочилъ, лошадь такъ надыбы! А это татаринъ, деньги-то мнѣ всучилъ. Зубами шелкаетъ, коня лупцуетъ, какъ демонъ страшный. Кричить, плеткой грозить — «барышню зови!» — выругалъ чернымъ словомъ. И Катичка выбѣжала на шумъ... — «Что вамъ нужно?» — кричитъ татарину.

— «Начальникъ приказалъ на пароходъ вамъ сажаться, жи-во ! — кричитъ на нее, плеткой машеть. — «За офи-

церьями ходили, записаны у красныхъ, плохо вамъ! сейчасъ уѣзжайте, я слово далъ!»

Она ему свое: «Гдѣ полковникъ Ковровъ?» А онъ не знаетъ. Воюетъ, говорить. Коня поднялъ, пуце закричалъ:

— «Силой васъ заберу, приказъ мнѣ, головой отвѣчаю... я слово далъ!»

Стала и она кричать:

— «Кто могъ приказать? Нѣтъ у меня начальниковъ!»

— «Полковникъ Ковровъ велѣлъ! я ему слово далъ!»

— «Гдѣ онъ?» — опять все свое. А тотъ свое:

— «Этого не могу знать. Прорвались большевики, комendanтъ депешу получилъ. Я слово далъ, къ ночи подводу пригоню, будьте готовы!» — и пакетъ вынулъ. — «Вамъ денегъ велѣно передать на дорогу, я слово далъ!..»

Она не беретъ. Онъ тогда на ступеньку бросилъ. Глядь — садовничиха вертится, на деньги зарится. Не успѣла поднять, какъ онъ ее по спинѣ плеткой щелкнетъ, она въ го-лосъ. Мигнулъ мнѣ — возьми. Подобрала я пакетъ. А Катичка — «гдѣ полковникъ Ковровъ?»

— «Богъ знаетъ! — крикнулъ, какъ сумашедчій, — «уцѣлѣлъ — уѣдетъ!»

Катичка закрылась ручками и пошла къ себѣ. А татаринъ опять свое: «подводу пригоню, я слово далъ!» — и черезъ заборъ сиганулъ.

Пошла къ Катичкѣ, — она лежитъ, въ потолокъ глядитъ. Спрашиваю — собираться будемъ? Ни слова. А тутъ паликмахеръ прибѣжалъ, чего-то посушукался. Садовничиха ко мнѣ. Ласковая такая, выпрашиваетъ, ѣдемъ ай не ѣдемъ. Сказала: приказъ писанъ, кто останется — тому мѣсто хорошее дадутъ, а кто поѣдетъ, корабли порохомъ взорвутъ. Пошла — подъ кофту себѣ Катичкинъ пуховой платокъ сунула. Догнала я ее, отбила. А паликмахеръ усѣлся въ саду, — похоже, караулить. Стало темнѣть — подвода заскрипѣла, и татаринъ тотъ, съ ружьемъ, на конѣ. Гляжу — паликмахеръ въ кусты шмыгнулъ, а

татаринъ за нимъ, съ гикомъ: «я тебя найду, чорта!» И говоритъ мнѣ: «этотъ сволочъ самый вредный, зачѣмъ къ вамъ въ сады ходитъ?» Сказала — Агашкинъ сожитель это. Онъ и говоритъ: «уѣзжайте, уйдутъ добровольцы — вамъ не жить». Сказала Катичкѣ, она мнѣ: спроси, гдѣ полковникъ Ковровъ. А онъ все не знаетъ. Такъ мы и не поѣхали. Ужъ татаринъ кричалъ-кричалъ, ругался, — никакъ. Щелкнулъ коня, взвилъ надыбы, — «ну, Богъ судить... я слово далъ — ваша воля!» — умчалъ.

XXXV.

Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николѣ-Угоднику: вразуми-укрой, батюшка, проводи невредимо! Ужъ такъ я плакала, барыня, никогда такъ не плакала. Темный образокъ мой, а тутъ будто какъ ясный сталъ, будто живого сквозь слезы увидала. И какъ-то свободно на сердцѣ стало. Ну, спокойна, нельзя спокойнѣй. Буди Его святая воля.

А ночь свѣ-этлая, мѣсяцъ вышелъ. И тихо такъ, — то вѣтры были, а тутъ и листика не слышать. И видно съ дачи, какъ по морю огоньки идутъ, далѣ-ко ужъ. И гомонъ съ городу слышно, и ужъ стрѣляютъ гдѣ-то. А по сошѣ подводы за подводами, всю ночь гремѣли. Съ Катичкой я легла, не раздѣвалась. Бредила она все, душу мнѣ истомила. Забылась я маленько... и сонъ я какой видала!.. Обязательно сказать надо... Свѣтатъ ужъ стало, чуть засинѣло, — Катичка за плечо меня: «нянь, убили его...» Вскочила я, не разобрала, — здѣсь кого-то убили? Ка-акъ въ стеклянную дверь съ терасовъ стукнуть!.. — руки-ноги похолодѣли. Разъ-разъ! Катичка на постели сѣла, за грудь схватилась, сердечко у ней — тукъ-тукъ... слышно даже. Опять — бацъ! Кинулась я къ терасамъ, — Мать-Пресвятая-Богородица... страшный кто-то съ ружьемъ стоитъ, мохнатый, и дверь трясетъ: «да отпирайте же, чорртъ!» — чернымъ словомъ, грозно такъ выругался,

и стекла вылетѣли. Я — ай-ай, а это Васенька! Не узнала и голосу его. А онъ въ этой, въ мохнатой... да, въ буркѣ, окликнулъ меня — «это я, няня!» Вбѣжала съ пистолетомъ, за спиной ружье, подъ буркой, торчкомъ. Лампу засвѣтила, Катичка — ай! А онъ — какъ чужой, глаза страшные, пыльный, лика не видать. Катичка стоитъ въ халатикѣ, за двери ухватилась, а онъ — кричать:

— «Почему не уѣхали? Последніе мы проходимъ, завтра красные войдутъ, я своихъ бросилъ! сейчасъ же собирайтесь!..»

Катичка глазамъ не вѣрить, не можетъ вымолвить. А онъ ей:

— «Что вы дѣлаете, зачѣмъ? Османъ мнѣ навстрѣчу выскакалъ, на дорогахъ искалъ меня! почему не уѣзжаете?!»

А она — какъ окаменѣла. Стукнулъ ружьемъ, съ плеча у него упало, за руку ее схватилъ:

— «Остаетесь? Знайте, васъ я имъ не оставляю! Живымъ не дамъ, и васъ имъ живую не отдамъ!»

Она къ нему ручки протянула.

— «Нѣтъ, не останусь...» — только и сказала. Онъ ее подхватилъ, шибко она ослабла.

— «Няня, — кричить, — самое нужное возьмите, сейчасъ подвода съ Османомъ, посадить васъ на пароходъ, бумаги у него. А я на Севастополь, къ своимъ...» — и опять, къ Катичкѣ: — «Умоляю васъ, дайте мнѣ слово, я буду спокоенъ... найду васъ, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно — «даю». И ручку протянула, и поцѣловалъ онъ ручку. И поскакалъ, конь въ саду у него стоялъ. Выбѣгла она на терасы, поглядѣла, какъ онъ помчалъ, и покрестила его. Вбѣжала, упала на колѣнки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацѣловала, схватила Евангеліе, — Анны Ивановны, папочка съ нимъ скончался, — къ груди себѣ прижала... — «скорѣй, няничка, ничего не надо, только скорѣй, скорѣй...» Какъ такъ, ничего не надо, Агашкѣ-то оставлять? Силы Гос-

подъ даль, я въ укладку свою да въ два чемодана всего) поклала... докторовы сапоги даже забрала — встрѣтимъ и отдадимъ. И всё ее патреты уложила, и яичекъ сварила, и маслица постнаго двѣ бутылки забрала, и мучки съ пудикъ отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вотъ я жалѣла какъ. Ба-рыня, ми-лая... да какъ же я не догадалась-то?! да мнѣ бы все татарину тому подарить! Мѣсяцу молится, а вѣрный-то какой. Вѣдь онъ въ рай попадетъ, въ ра-ай... и спрашивать не будутъ, какой вѣры. Голову свою за насъ клалъ. Да безъ него бы, можетъ, и въ живыхъ-то насъ не было. Ну, вотъ, возьмите... тата-ринъ, а и у него совѣсть есть. Только до мѣсяца могъ понять, а если бы онъ да Христа-то зналъ, въ святыя бы попалъ. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нѣтъ, Османъ-то, — больше собакъ такъ кличуть, — а за его здоровье, если живъ, ѣмъ — поминаю. Все забрала, и весь ее гардеробъ, и бѣлье все грязное забрала, а она все по дачѣ тормошила. Дровъ какъ мнѣ было жалко, хорошія такія, сухія-дубовыя... матерію какую вымѣнила — не поносила. Ужъ Агашка-змѣя вертѣлась-завиствовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, — ничего имъ не подарила, окромя дровъ да мучки, да сушеныхъ грушъ у меня было съ пудикъ, да камсы оставила фунта три соленой. Вотъ, говорю, дача остается, грызите ее, у васъ зубы жадные, грызите. А онѣ лаютъ на меня: «грабители, все отъ насъ забираете, для чужихъ!» — изъ рукъ рвутъ-выхватываютъ, я ужъ татаринѣмъ пригрозила. Только успѣла увязать, — татаринъ и подкатилъ съ подводой. Ни слова не сказалъ, забралъ съ парнишкой наше добро, насъ усадилъ, — покатили мы съ горы. А внизу ужъ къ ранней благовѣстятъ. И на башенкѣ на бѣлой ихній татаринъ молитвы свои кричитъ, звонко такъ, и лѣтушки поютъ... — будто и страху нѣтъ. Господне дѣло, страху оно не знаетъ. И какъ же мнѣ захотѣлось въ церкву зайти, въ послѣдній разокъ помо-

литься. Думалось, — и церкви тамъ нашей нѣтъ, куда завезуть, — не знала ничего.

А сонъ я видала, барыня... какъ ѣхали мы съ горы, я и вспомнила про сонъ-то, про раковъ этихъ страшенныхъ. А вотъ...

XXXVI.

Поѣхали мы съ горы, а тамъ кусты, глухое мѣсто, — кто-то по намъ и выстрѣли! Лошади-то шарахнулись, въ канаву и свалили. Татаринъ нашъ скокъ въ кусты — бацъ, бацъ! — пальба пошла. Сидимъ въ канавѣ, лошадь одна храпитъ, изъ шеи у ней кровь. Садовничиха бѣжить съ Агашкой, какъ вороньѣ, — кричить: «я вамъ говорила, Богъ васъ и наказалъ!» Изъ проулка выбѣгли каки-то старики, ахаютъ. А тутъ татаринъ нашъ, изъ кустовъ, кричитъ старикамъ: «большевикъ коня убилъ, насъ хотѣлъ, а теперь самъ падалъ!» А это паликмахера онъ ухлопалъ. Кричитъ еще: «законъ теперь нѣтъ, сами будемъ законъ дѣлать!» А садовничиха съ Агашкой вой подняли: «затя нашего убилъ татаринъ!» А тутъ съ палками бѣгутъ, дѣла не разобрали, кричатъ — «татаринъ русскихъ убилъ!» Татаринъ ружьемъ пригрозилъ, зубами закрипѣлъ, — такъ и шарахнулись. Что намъ дѣлать! Татаринъ кричитъ — «коней нѣтъ, бросайте добро, за мной, на пароходъ!» Садовничиха за чемоданъ схватилась, а намъ только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли... и глаза не вѣрятъ! — офицерикъ на костыляхъ къ намъ, и ружье съ нимъ, задохнулся, и еще два мальчишки, телѣжку катятъ. И кричитъ онъ: «отъ Краснаго Креста велѣно Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Богъ послалъ. Лазаретъ вчера еще уѣхалъ, а офицерикъ отписался и схлопоталъ. «Я, говоритъ, клятву далъ, всѣ раненые просили барышню Вышгородскую вывезти!» Положили все на телѣжку, покатали съ горы, пѣши мы пошли, а татаринъ насъ охранялъ, сбоку ѣхалъ. Такъ изъ-подъ смерти и ушли. А сонъ мнѣ такой привидѣлся.

Иду, будто, я по полю. А поле — глина одна, склизкая-склизкая, и будто тамъ толь, подъ глиной, дрожить земля. Гляжу — все кругомъ ямки, какъ вотъ пролуби пробиваютъ, полны водой черной, вотъ черезъ край плеснетъ, и что-то возится тамъ, вылазить. Приглядѣлась, — въ каждой пролуби огромные, черные, головастые, чисто раки каки страшные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водятъ, ищутъ. Бѣгу — себя не помню, вотъ меня за ноги ухватятъ. Куда ни гляжу — все раки эти страшные, стерегутъ. Сигаю черезъ ямки, чуть тропочку видать, и подъ ней, будто, колупаются, чисто вотъ наклевушекъ, цыпленокъ въ яичко тюкаетъ. И будто впереди церковь наша, козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосокъ ее слышу — «няничка, выведи, спаси!» А я, будто, не я, а дѣвчонка Дашка, гуси у меня за рѣку въ огороды ушли, бѣгу за ними... схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тутъ оврагъ. А наши мужики, въ новыхъ полушубкахъ, черезъ оврагъ мостъ мостятъ, хорошія такія бревна, свѣжія, — кричатъ намъ — «переходи, не бойся!» Катичка меня тутъ и разбудила, закричала. Вы, можетъ, не вѣрите, барыня, а я вѣрю: намостятъ, барыня, мужики! Миѣ-то не дожить, Дашкой-то видала себя... душенька это моя увидитъ, — а Катичка увидитъ, оврагъ перейдетъ по мосту, намостятъ мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, какъ отъ большевиковъ на пароходы убѣгали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уѣхали, вонъ какъ... по билету даже А, съ Батума ѣхали, вонъ какъ вы хорошо, Господь даль. Въ ка-ю-тѣ ѣхали... ишь какъ хорошо, съ удобствами. Да-да-да, причувствіе имѣли... ишь ты, какъ хорошо. Катичка знакомыхъ встрѣтила здѣсь, такъ они когда еще перебѣжали: мы, говорятъ, зараньше причувствовали. И хорошей у нихъ домъ тутъ, совѣмъ къ заграничѣ приписались. Есть — и безъ горя обошлись, какъ кому тоже повезеть. Да я не осужаю, барыня, и хорошіе люди есть .

вы вонь скромно живете, баринъ въ лавочкѣ трудится. А я по своему глупому уму чего думала... Приѣдутъ на чужую сторону, и сиротъ подберутъ, и старыхъ, и калѣкъ, въ одно всё и соберутся... да и со всего свѣту намъ помогутъ. А тутъ вонь работать ужъ не дозволяютъ, прогоняютъ. Повидала, всего я повидала.

XXXVII.

Пришли мы внизъ. На-ро-ду!.. вся набережная завалѣна, узлы, корзины, горой навалено, дѣтишки вверху сидятъ, напужѣны. Всѣ съ бумажками тычутся, офицера съ ногъ сбились, раненые больше, бумаги смотрять, куда-то посылаютъ. А имъ кричатъ: «выѣхали всѣ, не оставьте насъ на погибель!» Офицера уговариваютъ-кричатъ: «всѣхъ заберутъ, еще пароходъ будетъ!» А публика не вѣритъ, другъ дружку давятъ, офицерики все кричатъ, въ растяжечку такъ, успокоить бы: «спокой-ствіе! спокой-ствіе! всѣ уѣдутъ, войска не помѣшаетъ, она на Севастополь садится». Бабочка одна какъ убивалась, черноброневенькая, съ ребеночкомъ... — «охъ, мамочки мои, да идѣ жъ мой-то, мой-то идѣ же?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще съ лазаретомъ погрузили, а она въ городъ не была. Ну, взяли. Да мно-го такъ, растерялись — не сыщутся. А то стали кричать:

— «Заграничные пароходовъ не даютъ, министры приказали никого не увозить!»

Вотъ крикъ поднялся, министры-то не слышали. И правда, барыня, хотѣли насъ большевикамъ оставить. А морской генераль ихній, какъ получилъ такую бумагу, стукнулъ кулакомъ и по всѣмъ мѣстамъ приказалъ — всѣ корабли на Крымъ гнать! «Я, говоритъ, послѣдній человекъ буду, ежели послушаюсь, а я совѣсть ещё не потерялъ». И пригналъ корабли. А то бы мы всѣ погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь ужъ знаетъ: «о здравіи морского генерала, пошли ему, Госпо-

ди, здоровья, въ дѣлахъ успѣха!» А его за то министры со службы выгнали. Какъ узнали — оставятъ насъ, — такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать — «убійцы, людоеды!.. хриstopродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитанъ въ трубу закричалъ, всему городу было слышно: «спокой-ствие! всё уѣдутъ! корабли идутъ!» Значить, всё велѣлъ корабли давать. А народу все больше, на волахъ скарбъ везуть, а имъ кричать: «бросайте добро, людей не помѣстимъ!» Женщины на уалы упали, умоляютъ: «дозвольте взять, съ голоду померемъ... знаемъ мы заграничныхъ, какъ они обирали насъ...» Татаринъ нашъ съ бумагами прискакалъ, а къ нему не пройти, давка, а онъ намъ бумагой машеть. Ну, добились до него. Офицерикъ и говоритъ, на костыляхъ-то: «садитесь, вамъ пропускъ отъ Краснаго Креста, вамъ въ первую голову, больная вы сестра съ бабушкой». А она — ни за что, пусть дѣтишекъ напередъ сажаютъ. До темной ночи все мы на берегу, въ давкъ, съ ранняго утра. Подходить нашъ татаринъ:

— «Говорите правду, уѣдете на корабль?»

Все онъ ждалъ-сторожилъ. Говоримъ — уѣдемъ безпремѣнно. Сталъ прощаться, — «мнѣ, говорить, по своему дѣлу надо». Сказала Катичка только: «милый, Османъ...» — и заплакала. Онъ ее по плечу погладилъ — «уѣзжай, барышня, живи... полковнику нашему скажи — въ горы Османъ ушелъ, помнить будетъ». И мнѣ сказалъ: «и ты, бабушка хорошій, прощай». Заплакала на него. Ружье при немъ, пошелъ-зашагалъ, пропалъ. Ахъ, какой вѣрный человекъ, до мѣсяца дошелъ только, а лучше другого православнаго. Старушка на глазахъ закачалась — померла, отъ сердца. Внушекъ все кричалъ: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали... Ужъ тѣмно стало, съ парохода свѣтъ на насъ иликтрической пустили, сверху, изъ фонаря, — такъ по глазамъ и стегануло. И еще дальше корабль стоялъ, и съ него пустили, по городу стегануло, на горы, какъ усы, туда-сюда. А это,

говорили, сторожать, оглядываютъ вокругъ, нѣтъ ли большевиковъ. И вдругъ, церкву нашу и освѣтили, крестики заблестали, ну, чисто днемъ. Я и заплакала, заплакала-зарыдала... — прощай, моя матушка-Россія! прощайте, святые наши угоднички!.. И нѣтъ ее, въ темнотѣ сокрылась, — на горы свѣтъ ушелъ.

Ужъ садиться, бѣсъ откуда ни есть взялся! Да какъ же вы уѣзжаете, на погибель, родину покидаете... минув, говоритъ, большевики пустили, взорвать хотятъ. Катичка ему при всѣхъ и крикнула: «ступайте дачу покойнаго Коврова грабить съ вашими друзьями!» — такъ и отлетѣлъ, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы въ море его закинулъ, кривую душу.

Къ ночи еще корабль подошелъ, военный. А насъ на такой погрузили, большой тоже. Въ яму насъ опустили, каюты ужъ всѣ позаняли. Вотъ-вотъ, въ трюмъ. Темнота, духота, чуть лампочка свѣтитъ, а въ темнотѣ крикъ, плачь, кого ужъ тошнить стало, кто довѣтру просится, а выйти никакъ нельзя, безпорядку чтобы не было. Наверху по бумагамъ пропускаютъ, считаютъ, сколько, ходу-то назадъ и нѣтъ. Какъ поднялись мы на парходъ, глянула я на горы... — темныя стоятъ, жуть, и огонечки кой-гдѣ по дачкамъ, сиротки будто. И свѣтъ все ползаетъ, сторожить. Пождала я, вотъ, можетъ, церкву опять увижу? Нѣтъ, такъ и не показалась. А подъ фонарями, на берегу, на-ро-ду... чернымъ-черно. И не разобрать, что кричатъ,—гулъ и гулъ. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вамъ, барыня, сказать... Это еще не сажались мы, пожилой человекъ прошенья у всѣхъ просилъ. Онъ учитель былъ, не то попечитель... съ просѣдью, худой, длинная борода, на мученика похожъ, въ очкахъ только. И будто онъ за странника: котомочка за спиной, клюшка бѣлая, панталоны въ заплаткахъ, самъ босой. На ящикѣ стоялъ, все кричалъ:

— «Православные, прости-те меня! дѣти мои, прости-те меня!.. — такъ все. — Погубилъ я васъ, окаянный...

попечи-тель былъ вамъ, всему народу учитель, и всѣ мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы васъ обучили? И все мы погуби-ли!.. и все потли-или-и... — будто стонуль, — на пустую дорогу васъ пустили — и...!»

А подъ нимъ офицера стояли, измучились, ранены, молоденькіе все мальчишки, небритые-немытые, и съ ружьями. А онъ плачетъ на нихъ — «дѣти мои, простите меня, попечитель я былъ...»

Ужъ онъ свихнулся, съ горя. Его офицеръ и прогналь съ ящика, а то въ море еще свалится. А раньше онъ образованный былъ, газеты все печаталь, а тутъ другой мѣсяцъ блаженный сталъ, — сказывали знающіе. Какъ его одинъ офицеръ, высокой, худой, поперекъ лица рубецъ темный... какъ его сдернетъ съ ящика, — «поздно теперь болтать, какъ все сгорѣло... ступай, съ большевиками болтай!» Никто и не пожалѣль. Да и правда, не время ужъ, какой же разговоръ тутъ, какъ всѣмъ могила готовится. А мнѣ его жалко стало, все-таки онъ покаялся. Говорили знающіе — тоже, какъ покойникъ-баринъ нашъ, слободнаго правленія хотѣль, а вотъ и оборвался, въ странники пошелъ.

Ночью ужъ мы поплыли. На самомъ мы днѣ сидѣли, гдѣ товаръ вотъ возять, въ могилѣ будто, и не видели, какъ Россія наша пропадала. Какъ загреми-ить, застучи-ить.. — всѣ мы креститься стали: отходимъ, говорять. «Царю Небесный» запѣли, «спаси души наши». И пошло тархтѣть, поплыли. Катичка, слышу, плачетъ. А рядомъ съ нами старичокъ-поваръ ѣхаль... у него сынокъ офицеръ тоже былъ... наказаль увѣзять съ собой, а то убьютъ: у великихъ князей былъ поваромъ, старичокъ-то... — вотъ онъ и говоритъ, черезъ силу ужъ:

— «Господи... то все въ Россіи нашей жили, на солнышкѣ... а вотъ, въ черную яму опустили... довертъ-ли!..»

И въ мѣшокъ головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все.. что ужъ и вспоминать. **Ив. Шмелевъ.**

(Окончаніе слѣдуетъ)

Пещера

XXV *).

.....
.....

XXVI.

Черезъ часъ послѣ отъѣзда Клервилля явилась Тамара Матвѣвна. Видъ ея ясно показывалъ, что, забывая свое горе, она пришла развлекать дочь и пришла на долгое время. Этотъ видъ сразу раздражилъ Мусю. «Ни минуты не могу пробыть одна!..» Съ трудомъ себя сдерживая, боясь сказать лишнее, Муся поздоровалась съ матерью и подтвердила, что Вивіанъ уѣхалъ.

— Такъ ты не поѣхала на вокзалъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Онъ скоро вернется... Вы не хотите кофе, мама?

— Нѣтъ, Мусенька, я пила.

— Какъ вы спали?

— Ахъ, какъ я сплю! Не сомкнула глазъ всю ночь, — сказала со вздохомъ Тамара Матвѣвна.

«Навѣрное, неправда... Я отлично знаю, что мама убита, но зачѣмъ же она еще преувеличиваетъ свое горе?» —

*) Значительное число и нѣкоторая симметричность пропущенныхъ въ этомъ отрывкѣ главъ объясняется тѣмъ, что въ немъ дѣйствіе «Пещеры» раздвигается между прежнимъ направленіемъ и той символической «новеллой» («Девуру»), о которой Браунъ говоритъ Мусъ. Этой новеллѣ и соотвѣтствуютъ обозначенныя точками главы.

Авторъ.

подумала Муся и сухо посоветовала матери принимать верональ. Тамара Матвѣевна какъ будто немного обидѣлась.

— Верональ вѣдь, кажется, то, чѣмъ отравилась эта бѣдная барышня?

— Мама, отравиться можно чѣмъ угодно, самымъ безобиднымъ порошкомъ, если принять двадцать пилюль вмѣсто одной!

— Нѣтъ, я такъ спрашиваю, — испуганно сказала Тамара Матвѣевна. — Покойный папа былъ противъ всѣхъ этихъ свотворныхъ средствъ, онъ вѣдь совершенно не вѣрилъ въ медицину.

— Тутъ вѣрить или не вѣрить нельзя: отъ вероналя люди засыпаютъ, это фактъ, что-жъ тутъ вѣрить или не вѣрить.

Онѣ помолчали.

— Ничего новаго? — вздохнувъ, спросила Тамара Матвѣевна.

— О чемъ?

— О Витенькѣ, конечно.

— Нѣтъ, ничего.

— Это просто непостижимо. Кто могъ бы подумать, что Витя...

«Ну, пусть говорить, бѣдная», — подумала Муся, устало закрывая глаза. — «Она ни въ чемъ не виновата, и я обязана проводить съ ней два-три часа въ день... Характеръ у меня, дѣйствительно, портится съ каждымъ днемъ». — Смягчившись, она поддерживала разговоръ съ матерью, изрѣдка вставляя свои замѣчанія. — «Подумать, что этотъ разговоръ со мной — единственное, что у нея осталось въ жизни. Все-таки къ завтраку она уйдетъ: что-бы не вводить меня въ расходы... А у меня-то что же осталось? Вивіанъ, которому со мной такъ же скучно, какъ мнѣ съ мамой? Да, моя жизнь разбита. Но если-бъ я за него не вышла, то было бы еще хуже»...

...— А все-таки, помани мое слово, я совершенно увѣ-

рена, что Витенька найдется, — говорила Тамара Матвѣевна. — Посуди сама, куда онъ могъ дѣться...

— О, да... Конечно, найдется.

— Вѣдь если даже онъ уѣхалъ къ бѣлымъ, то я не сомнѣваюсь, что...

«Господи, что мнѣ дѣлать?» — съ тоской думала Муся. — «Вѣдь такъ надо будетъ разговаривать по крайней мѣрѣ два часа, даже больше, до завтрака. Сказать, что у меня разболѣлась голова? Но тогда она днемъ придетъ меня провѣдать. Сказать, что покупки? Она поѣдетъ со мной, да я и не хочу ее, несчастную, обижать... И такъ будетъ всю мою остальную жизнь». — Деликатность запретила ей и подумать: «всю ея жизнь». — «Да, жизнь разбита. Я знаю, со стороны всякій скажетъ, что виновата я, а не Вивіанъ: я не умѣла создать настоящую жизнь, настоящія отношенія съ нимъ... И эта исторія съ операцией (Муся съ отвращеніемъ содрогнулась). Этого онъ мнѣ никогда не проститъ, я отлично знаю. Онъ хочетъ жить совершенно свободно, какъ жилъ въ свои холостые годы, но съ тѣмъ, чтобы у него вдобавокъ былъ home, дѣти, любящая жена, цѣлый день занятая съ дѣтьми. И чтобы эта жена ласково ему улыбалась, когда ему вздумается прийти изъ клуба. Вѣдь называется все это «клубомъ». — Ею сразу овладѣло раздраженіе. — «Что-жъ дѣлать, я для роли такой жены не гожусь! Надо было жениться на англичанкѣ и поселиться съ ней въ Кенсингтонѣ»...

— Я тоже такъ думаю, мама, — поспѣшно сказала она, вспомнивъ, что давно не подавала реплики. Тамара Матвѣевна говорила все тѣмъ же тягучимъ однотоннымъ голосомъ. «Ахъ, она уже не о Витѣ. О чемъ же? О политикѣ. Да, мама меня з а н и м а е т ъ». — Вы правы, мама, эта война долго продолжаться не можетъ.

— Гражданская война никогда не бываетъ такъ продолжительна, какъ тѣ войны. Покойный папа всегда это думалъ...

...«Но ради того, чтобы у него был home, я не дамъ отнять у себя жизнь! Нѣтъ, нѣтъ, я для роли Кенсингтонской жены не гожусь, — ласковая улыбка не моя специальность! Ужь если home, то безъ его «клуба», и не съ тѣмъ, чтобы онъ приходилъ въ этотъ home на полчаса, поиграть съ дѣтьми и поговорить со мной о погодѣ, о лошадяхъ, о платьяхъ!» — Ея раздраженіе все росло. — «Со стороны, конечно, онъ правъ: то, что я сдѣлала, не э т и ч и о и не соотвѣтствуетъ интересамъ Англии, его собственнымъ интересамъ: родъ Клервиллей угаснуть не долженъ, хоть этотъ родъ мною, конечно, нѣсколько подмоченъ! Разумѣется, онъ теперь сожалеетъ, что женился на мнѣ. Онъ будетъ это отрицать не только въ разговорѣ со мной, *se regret la moindre des choses!* Онъ джентльменъ, и только я знаю, что это ложное джентльменство. Впрочемъ, всякое такъ называемое джентльменство есть ложное джентльменство, и всякій *bonhomme* — *faux bonhomme*, до той первой гадости, какую онъ сдѣлаетъ не скрываясь... Онъ раскаивается, что женился, но вѣдь раскаиваться могу и я. Нѣтъ, я не могу: для меня онъ былъ блестящей партіей. Что въ самомъ дѣлѣ со мной было бы, если-бъ онъ не подвернулся?..»

— Конечно, конечно... Мама, а все-таки вы не выпьете ли чашку кофе?

— Нѣтъ, что ты, Мусенька, я пила.

«Но-такъ дальше жить нельзя, это я чувствую ясно. Нельзя жить тщеславіемъ — Жюльеттѣ была тогда права. — туалетами, флиртомъ... Нельзя жить безъ любви. Все, все было ошибкой: да, и то, что было въ первую недѣлю въ Финляндіи, и та петербургская поѣздка на острова. Витя бѣжалъ, князь разстрѣлялъ, Петербурга нѣтъ, все, все ушло навсегда!..» — Она вдругъ съ ужасомъ вспомнила ту непонятную освѣщенную желтымъ свѣтомъ комнату, которая ей мерещилась послѣ смерти отца. — «Нѣтъ, такъ дальше нельзя жить! Помириться съ Вивіаномъ? Но вѣдь мы не ссорились. Нельзя мириться въ томъ, что мы

чужіе другъ другу люди, что я не люблю его, а онъ меня любить, какъ любить всякую молодую женщину, или нѣсколько меньше, потому что я надоѣла... Вѣдь я хотѣла заглядить свою вину, — да, я знаю, это вина, — онъ этого не пожелалъ. Въ тотъ вечеръ, когда я ему предложила поѣхать въ ресторанъ на Монмартръ, а затѣмъ вмѣстѣ, вдвоемъ, провести весь вечеръ, онъ отклонилъ, любезно-холодно отклонилъ, сославшись на какое-то неотложное дѣло. Точно я не знаю, что онъ измѣняетъ мнѣ, — какое глупое слово! «Измѣна» — въ другихъ случаяхъ это звучитъ такъ страшно: «государственная измѣна», — здѣсь слышится что-то змѣиное, — да, вѣдь по звуку похоже: змѣя — измѣна! Но въ этихъ случаяхъ это такъ просто, для него въ особенности. Со своими полковниками онъ, должно быть, весело объ этомъ разговариваетъ: вѣдь лишь бы до женъ не доходило, а они всѣ джентльмены, — они никогда не проговорятся, Боже избави! Я хотѣла дать ему понять, что отлично все это знаю и что je m'en fiche complètement. Но я боялась, что не справлюсь со своими нервами, не выдержу тона. Къ тому же, ему это только развязало бы руки. Тогда я была бы, правда, не чистая, невинная, наивная кенсингтонская жена, но зато une perle de femmes. Онъ рассказывалъ бы и полковникамъ, и своимъ дамамъ, что ему выпало необыкновенное счастье: его жена совершенно не ревнива, ни капельки, ей совершенно все равно, — «и я очень ее люблю, право. Вы смѣтаетесь? Даю вамъ слово!..»

— ...Все-таки, что долженъ чувствовать такой Ленинъ, когда онъ подписываетъ смертные приговоры, — говорила Тамара Матвѣевна проникновенно, но все на одной нотѣ. Музыкальное ухо Мусы не выносило ея рѣчи. — Я себѣ не могу представить такихъ людей, это такой ужасъ, что я просто...

— Да... Мама, вы меня извините, у меня голова болитъ, — сказала послѣшно Муся, чувствуя, что у нея отъ злости подходятъ къ горлу рыданья. — Нѣтъ, нѣтъ, что

вы! Я очень рада, что вы пришли. Я только объясняю свою неразговорчивость... Я, кажется, приму аспирина. Если у нас есть.

— Мусенька, дорогая, я могу сходить в аптеку.

— Зачем же вы? В гостинице есть для этого мальчики. Но может быть, пройдет и так.

— По моему, лучше без лекарств, покойный папа всегда это говорил. Ты знаешь, в Париже совсем не такой хороший климат. У нас, в Питере, был гораздо здоровее. Летом здесь у меня каждый день боляла голова.

— А теперь как?

— Теперь, слава Богу, лучше. Ты не можешь себя представить, как здесь было жарко в августе, когда вы были в Довилле. Я помню, именно в тот день, когда у меня был бѣдный Витенька, была страшная жара. Я его спрашивала не бѣгать, просила, чтобы он остался у меня к обѣду. Но он непременно хотѣл захватить к этому Брауну.

— Къ Брауну? Какъ къ Брауну?

— Ну, да... А что?

— Онъ отъ васъ поѣхалъ къ Брауну?

— Да, сначала къ нему, а потомъ они условились встрѣтиться съ этимъ молодымъ человѣкомъ...

— И онъ былъ у Брауна?

— Этого я не знаю, Мусенька, вѣдь я его больше не видѣла. Вѣроятно, былъ.

— Мама, но какая вы странная! Какъ же вы раньше не сказали?

— Чего, Мусенька?

— Что онъ отъ васъ поѣхалъ къ Брауну!

— Мусенька, я сказала: къ Брауну, а потомъ въ театрѣ. Ты просто не разслышала. Но почему это тебя...

— Да вѣдь это, можетъ быть, все объясняетъ! Вѣдь Браунъ его еще въ Петербургѣ подбивалъ ѣхать въ армию... Да, конечно! Теперь мнѣ все ясно!

— Этого я не думаю, Браунъ на это не способенъ,—начала было Тамара Матвѣвна, но Муся ее не дослушала. Она поспѣшно направилась къ телефонному аппарату. «Все таки это очень странно. Почему мама упомянула о Браунѣ именно теперь, когда я думала о томъ, что моя жизнь разбита? Почему онъ имѣетъ отношеніе ко всѣмъ важнымъ дѣламъ моей жизни? Впрочемъ, какое же тутъ отношеніе?.. Я напрасно взволновалась. Но мама ошибается, она никогда мнѣ объ этомъ не говорила», — думала тревожно Муся, передистывая телефонную книгу. — «Во... R идетъ послѣ O... Br...» Собственно она знала на память телефонъ Брауна: онъ назвалъ номеръ при одной изъ ихъ первыхъ встрѣчъ. Но Мусѣ точно стыдно было себѣ сознаться, что она этотъ номеръ помнить. «Что, если тутъ выходъ, ключъ всей моей жизни?» — подумала она, замирая отъ волненія точно такъ, какъ въ Петербургѣ, когда звала Брауна къ нимъ въ коммуны. Она едва говорила номеръ, оглянувшись на мать. Никто не отвѣчалъ. Муся подождала немного, затѣмъ попросила телефонистку гостиницы вызвать вторично. Нѣтъ, не отвѣчалъ никто. «Кажется, я сейчасъ заплачу», — подумала Муся, — «я совершенно сошла съ ума»... Тамара Матвѣвна высказала предположеніе, что Брауна нѣтъ дома. Муся положила трубку съ раздраженіемъ, точно Браунъ былъ дома, зная, кто его вызываетъ, и отказывался подойти къ аппарату.

— Я сейчасъ ему напишу, — сказала она. — Вотъ вамъ пока газеты, мама.

Муся сѣла за столъ и начала писать. Сообщивъ кратко объ исчезновеніи Вити, она спрашивала Брауна, не знаетъ ли онъ чего-либо объ этомъ дѣлѣ. «Мама только что мнѣ сообщила, что наканунѣ своего исчезновенія Витя отъ нея долженъ былъ заѣхать къ вамъ. Если вы что знаете или имѣете какія-либо предположенія, пожалуйста, Александръ Михайловичъ, дайте мнѣ знать тотчасъ», — написала Муся и остановилась: «Значить, если онъ ни-

чего не знаетъ, то отвѣта не требуется?..» Ей показалось, что она инстинктивно застраховала себя отъ грубости, на случай неполученія отвѣта. «Нѣтъ, ясно, что на такое письмо надо отвѣтить во всякомъ случаѣ». — «Не рѣшаюсь просить васъ заѣхать ко мнѣ, знаю, какъ вы заняты, но, пожалуйста, позвоните мнѣ по телефону. Мой мужъ уѣхалъ сегодня въ Лондонъ, все по этому дѣлу: наводитъ справки тамъ. Мнѣ очень, очень нужно поговорить съ вами»...

Муся перечла письмо и осталась недовольна. «Вмѣсто «мой мужъ» лучше было сказать Вивіанъ. И совершенно ненужно было упоминать, что онъ сегодня уѣхалъ: выходитъ, какъ только мужъ уѣхалъ, я обращаюсь къ нему. Это повтореніе: «очень, очень» тоже придаетъ какой-то неподходящій оттѣнокъ». Она соединила чертой заключительную точку съ послѣдней буквой и послѣ «поговорить съ вами» приписала: «по этому дѣлу». «Теперь вышло два раза «по этому дѣлу» въ трехъ строчкахъ!..» — Муся разсердилась на себя: «Что же это! Пишу такъ, точно историческій документъ. Сойдетъ, какъ есть!» Она заклеила конвертъ, вызвала мальчика и велѣла тотчасъ отнести письмо.

Вечеромъ, часовъ въ девять, Мусѣ сообщилъ по телефону швейцаръ гостиницы, что внизу ее спрашиваетъ Браунъ. Сердце у нея забилось. Она почувствовала, что этого ждала: именно потому осталась дома.

— Пожалуйста, попросите подняться, — дрогнувшимъ голосомъ сказала Муся. — И больше меня ни для кого нѣтъ дома.

XXVII.

Мусѣ самой было странно, что она такъ волнуется: никакой причины для этого не было. Бросивъ въ зеркало послѣдній, окончательный взглядъ, она вышла на по-

рогъ комнаты, хотъ этого не слѣдовало дѣлать. По корридорѣ шель Браунъ. «Кажется, у меня мрачныя предчувствія, какъ въ мелодрамѣ «Кривого Зеркала», — подумала она съ напряженной насмѣшкой надъ собою, и, спокойно-привѣтливо улыбаясь, протянула ему руку. Улыбка Татьяны Онѣгину на великосвѣтскомъ балу не вышла. Муся чувствовала, что лицо у нея выражаетъ растерянность, чуть только не испугъ.

— Какъ я рада, Александръ Михайловичъ! — сказала она. Въ голосѣ ея прозвучали тѣ самыя модуляціи, которыми когда-то въ Петербургѣ она пользовалась въ разговорѣ то съ нимъ, то съ Клервиллемъ. Но и модуляціи не совсѣмъ вышли, да и не соответствовали печальному дѣлу, бывшему причиной его визита. Муся попробовала перейти на грустно-озабоченный тонъ — и вдругъ совершенно растерялась.

...— Вамъ здѣсь въ креслѣ будетъ удобно? Это мое любимое, но, такъ и быть, я его вамъ отдаю, я сяду на диванъ... Не слишкомъ близко отъ радиатора? Какъ быстро наступили холода, неправда ли? Но вы не безпокойтесь, у насъ въ гостиницѣ топятъ недурно, не то, что въ Англии, гдѣ я прямо мерзла... Я думала, здѣсь будетъ пріятнѣе, чѣмъ внизу, въ холлѣ... Но какъ мило, что вы зашли. Я не хотѣла васъ безпокоить, пыталась къ вамъ дозвониться сегодня утромъ, но...

— Утромъ у меня телефонъ не работаетъ.

— То есть, вы были дома? Нѣтъ, я такъ и думала, что вы дома и не хотите подойти къ аппарату! Нѣтъ, какая низость! — воскликнула, смѣясь, Муся и почувствовала, что не надо было ни восклицать, ни даже просто говорить «какая низость», — онъ не улыбнулся и пристально на нее глядѣлъ. Послѣ этихъ словъ нельзя было сразу перейти къ исчезновенію Вити. Муся съ ужасомъ и наслажденіемъ чувствовала, что не владѣетъ собой, что теперъ съ разбѣгу остановиться очень трудно. Ея

казалось, что онъ, отлично это видить, что онъ молчить нарочно, — быть можетъ, издѣвается.

Она взяла трубку телефоннаго аппарата и заказала чай, очень пространно, чуть не съ модуляциями, объясняя все лакею. Браунъ сбоку, со своего кресла, все такъ же пристально смотрѣлъ на нее. «У него блестятъ глаза, обычно они холодные, я такимъ его никогда не видала!» — замирая, думала Муся. — «Et le citron, n'oubliez pas le citron», — пропѣла она. — «Oui, Madame», — недоумѣвая сказалъ лакей. Съ трудомъ сдерживая бѣгъ, какъ прошедшая мимо столба скаковая лошадь, она произнесла: «Mais surtout faites vite, je vous prie, nous attendons», — повѣсила трубку съ сияющей улыбкой, какъ бы означавшей: «вотъ вы увидите, какъ намъ будетъ здѣсь уютно». — Сейчасъ, сейчасъ подадутъ! — сообщила она Брауну, точно онъ нѣсколько разъ съ нетерпѣніемъ требовалъ чаю. — И вы знаете, у моего мужа есть коньякъ, какой-то необыкновенный, замѣчательный коньякъ, старше насъ съ вами вмѣстѣ взятыхъ! Вивіанъ досталъ нѣсколько бутылокъ у Корселле. Только гдѣ онъ? Если-бъ я знала, гдѣ онъ? — Муся приложила руки къ вискамъ, точно и въ самомъ дѣлѣ не знала, гдѣ у нихъ находится коньякъ. — Ахъ, да!.. Одну минуту...

Она легкой савинской походкой вышла въ спальную и остановилась за дверью, почти задыхаясь. «Что со мной? Я, право, съ ума сошла! Господи, неужели сегодня!.. Ну, будь что будетъ!..» Муся направилась было назадъ, у дверей вспомнила о коньякѣ, вернулась, достала бутылку и вышла въ гостиную.

— Слава Богу, нашла! Я боялась, вдругъ Вивіанъ увезъ ключъ отъ своего шкафа. Нѣтъ, коньякъ есть, къ счастью для васъ! Впрочемъ, я тоже выпью рюмку, очень холодно. Кажется, вы знаете толкъ въ винахъ не хуже, чѣмъ Вивіанъ?.. Но какъ же вы, Александръ Михайловичъ, что же вы?

— Ничего, благодарю васъ.

— Я васъ сто лѣтъ не видала. — Ее немного успокоило, что онъ все-таки говоритъ. — Я такъ вамъ рада и такъ благодарна, что вы зашли. Сначала о дѣлѣ...

Она принялась необыкновенно горячо рассказывать о Витѣ. Самый характеръ рассказа у Муси зависѣлъ отъ звука ея голоса, — какъ у писателей иногда работа зависитъ отъ пера, отъ бумаги, отъ чернилъ. Голосъ у нея былъ прекрасный, быть можетъ чуть срывающійся на верхнихъ нотахъ, но Муся и изъ этого умѣла извлекать пользу, — такъ старинные мастера расписныхъ стеколъ лучшихъ своихъ эффектовъ достигали благодаря несовершенствомъ ихъ стекла. Браунъ слушалъ и пилъ коньякъ, не облегчая ей рассказа ни вопросами, ни возгласами удивленія.

...— И вотъ вамъ ихъ полиція! У насъ бы мальчишку нашли въ 24 часа, а мы еще ругали наши порядки. Но вы себѣ и не представляете, какъ я волнуюсь! Я просто не нахожу себѣ мѣста... — Вошелъ лакей съ подносомъ. — *Posez cela ici. Merci...* — Вы вѣдь знаете, Витя мнѣ все равно, что родной, я съ ума схожу... Вы, можетъ быть, предпочитаете пить чай изъ стакана?

— Мнѣ все равно.

— Да, вотъ ихъ полиція... Но ваше мнѣніе какое, Александръ Михайловичъ?

— Ничего не могу вамъ сказать.

— У васъ и предположеній нѣтъ никакихъ? Вамъ Витя тогда ничего не говорилъ, что хочетъ куда-то уѣхать?

— Онъ просилъ меня найти для него въ Парижѣ работу.

— Работу? Да, это у него была *idée-fixe*! Я хотѣла, чтобы онъ учился, не думая о деньгахъ, но онъ все приставалъ съ работой. Я, наконецъ, достала или почти достала для него работу въ одномъ кинематографическомъ дѣлѣ.

— Помнится, онъ говорилъ мнѣ и объ этомъ, но безъ

восторга. Упомянулъ и о томъ, что хотѣлъ бы уѣхать въ армию.

— Ахъ, вотъ, значить упомянулъ? Я такъ и думала! Въ армию? Какъ же именно онъ сказалъ? Онъ не сказалъ, въ какую армию? Вообще никакихъ подробностей не сообщилъ вамъ?

— Нѣтъ. Сказалъ въ двухъ словахъ, довольно неопределенно. Мнѣ казалось, что и не очень серьезно это говорится.

— Какъ мы всѣ относительно его заблуждались! Но теперь я почти не сомнѣваюсь, что онъ уѣхалъ въ армию... Я вамъ положила одинъ кусокъ, Александръ Михайловичъ, я помню по Петербургу, что вы пьете съ однимъ кускомъ. Помните нашу коммуну?.. То, что вы мнѣ сообщили, чрезвычайно важно, — говорила быстро Муся, — чрезвычайно важно. Теперь мнѣ ясно: онъ уѣхалъ въ армию.

— Какія же у васъ были другія предположенія? Самоубійство?

— Что вы! — вскрикнула Муся испуганно. — Что вы, Александръ Михайловичъ! Почему самоубійство?

— Или несчастный случай?

— Это ужъ скорѣе. Но, къ счастью, и объ этомъ нѣтъ рѣчи, — Муся постучала по дереву, какъ сдѣлала бы ея мать. — Вѣдь если-бъ онъ, напримѣръ, попалъ подъ автомобиль, мы давно знали бы: вѣдь все-таки мы подняли на ноги всю полицію.

— Да, конечно.

— Какъ вы меня напугали! Налейте, пожалуйста, и мнѣ коньяку... Все-таки почему вы упомянули о самоубійствѣ? — Она опять постучала по дереву съ искреннимъ ужасомъ. — Изъ-за чего Витя могъ бы покончить съ собой?

— Изъ-за любви.

— Развѣ онъ былъ влюбленъ? Въ кого?

— Въ васъ, конечно.

Муся изумленно на него смотрѣла.

— Почему вы думаете? Онъ вамъ говорилъ?

Браунъ усмѣхнулся.

— Напротивъ, такъ старательно замалчивалъ еще въ Петербургѣ, что это было вѣрнѣе всякихъ исповѣдей.

— Все-таки странно, что у васъ было такое предположеніе, — сказала задумчиво Муся, не подтверждая и не опровергая.

— Это предположеніе довольно естественно. Я вдобавокъ и не слѣпой, хоть не обо всемъ вообще говорю изъ того, что вижу, — сказалъ Браунъ.

Въ голосъ его Мусѣ послышалась не то насмѣшка, не то угроза.

— Да, конечно, у мальчиковъ ихъ секреты бѣлыми нитками шиты.

— Не только у мальчиковъ.

Они помолчали.

— Не буду утверждать, что вы ошиблись, Александръ Михайловичъ, но, я думаю, въ этомъ чувствѣ Вити ничего серьезнаго не было, — сказала Муся и почувствовала, что довольно говорить о Витѣ.

Браунъ вынулъ портсигаръ.

— Вы позволите? Вашъ мужъ и не подозрѣваетъ.

— Онъ закурилъ папиросу. Муся тревожно ждала. — И не подозрѣваетъ, что я истребляю его завѣтную бутылку. Что онъ подѣлываетъ?

— Ничего особеннаго. Онъ сегодня уѣхалъ въ Лондонъ.

— Да, вы объ этомъ мнѣ сообщили.

— Уѣхалъ въ Лондонъ все по тому же дѣлу Вити. — Муся подумала, что, кажется, онъ истолковалъ ея письмо именно такъ, какъ она опасалась: вульгарно. Это ее раздражило. «И въ тонѣ его сегодня есть что-то ему несвойственное, «галантерейное», — говорилъ Никоновъ. Зачѣмъ онъ сказалъ «завѣтную бутылку»? Во всякомъ случаѣ пусть теперь поговоритъ онъ, мнѣ монологъ на-

доѣлъ»... Браунъ все смотрѣлъ на нее въ упоръ, чуть наклонивъ голову. «Нѣсколько странная манера! И глаза у него такъ блестятъ... Чтò, если онъ морфинистъ!» — вдругъ мелькнула у Муси дикая мысль. Почему-то она отъ Брауна всегда ждала самыхъ странныхъ вещей, — вродѣ какъ туристы, посѣщая средневѣковый замокъ, непременно ждутъ «комнаты пытокъ» или отверстій, изъ которыхъ «на осаждавшихъ лили кипящую смолу». — Еще рюмку коньяку, Александръ Михайловичъ? Очень холодно. Ничего мнѣ такъ не жаль, какъ нашихъ русскихъ печей. Да, я выпью тоже... Коньякъ въ самомъ дѣлѣ прекрасный... А знаете, Александръ Михайловичъ, въ сегоднѣя не совсѣмъ такой, какъ всегда.

Онъ улыбнулся.

— Правда, мы давно съ вами не встрѣчались. Надѣюсь, ничего не случилось?

Онъ молчалъ.

— Извините мою нескромность, но, право, мнѣ кажется...

— Вы не ошибаетесь, — сказала Браунъ. — Кое-что случилось, но это никому, кромѣ меня, не интересно. Я получилъ первое предостереженіе.

— Какъ вы говорите?

— Не интересно, — упрямо повторилъ Браунъ. — Кромѣ того, я кончилъ книгу, надъ которой работала много лѣтъ.

— Книгу? Развѣ вы пишете книги?

— Одну написалъ. Она называется «Ключъ».

— «Ключъ»? Это книга по химіи?

— Нѣтъ, это философская книга. Книга счетовъ.

— Поздравляю васъ. Вы такъ меня удивили, Александръ Михайловичъ... Философская книга? Я что-нибудь пойму?

— Ничего рѣшительно.

— Благодарю васъ!

— Впрочемъ, можетъ быть поймете «новеллу», кото-

рую я вставилъ въ свою книгу. Есть такое смѣшное, старенькое слово «новелла», я его очень люблю, такъ и называлъ. Новелла у меня съ дѣйствиємъ, съ фабулой, это вы прочтете.

— Но развѣ въ философскія книги вставляются новеллы съ фабулой?

— Фабула никогда не мѣшаетъ. Недаромъ почти во всѣхъ создателяхъ религіозныхъ ученій сидѣлъ Александръ Дюма. Да и Священное Писаніе не завоевало бы міра, если-бъ въ немъ не было и авантюрнаго романа.

Это замѣчаніе показалось Мусѣ и неприличнымъ, и не очень умнымъ. Она ничего не отвѣтила, — пожалѣла, что онъ это сказалъ.

— Не думайте, однако, что я вставилъ новеллу для увеличенія тиража книги. Но такъ легче было пояснить мои мысли.

— Что же, это новелла изъ современной жизни?

— Нѣтъ, изъ эпохи тридцатилѣтней войны. Символическая и, разумѣется, стилизованная, притомъ въ разныхъ стиляхъ. Пишу, какъ хочу, хоть подъ Загоскина. У всякаго барона своя фантазія.

— Да вѣдь вы баронъ не въ литературѣ.

— И ни въ чемъ другомъ. Баронъ, какъ всякій независимый человѣкъ. Стилей же нѣсколько потому, что я писалъ въ разное время: началъ эту новеллу очень давно, въ добрую минуту... Тогда даже документы собиралъ, — съ одного стараго документа и началось... Ну, а потомъ многое измѣнилось, вотъ получилъ и предостереженіе... Можетъ быть, во мнѣ и пропалъ романистъ: Гоголь такихъ людей, какъ я, называлъ «душезнателями».

— Никогда не поздно перемѣнить карьеру.

— Мнѣ поздновато... Называется моя новелла «Деверу».

— Деверу? Что это такое? Впрочемъ, я прочту... Я все-таки надѣюсь, что вы мнѣ дадите вашу книгу, когда она выйдетъ. Вдругъ и я, дура, что-нибудь пойму. Во вся-

комъ случаѣ, я увижу, какой вашъ violon d'Ingres. Я представляла себѣ его инымъ.

— Какимъ же? — спросилъ Браунъ безъ большого интереса.

— Не знаю, какъ объяснять и не знаю, объяснять ли. — «Отъ него станется, что онъ скажетъ»: «и не объясняйте, не надо», — подумала она и послѣшно продолжала. — Кажется, философы это называютъ міромъ под-сознательнаго...

— Міръ В.

— Что? Я не поняла. Міръ В?.. Ну, да все равно. Но я все больше прихожу къ мысли, что самыя острия чувства, мысли, желанія человѣка — тѣ, въ которыхъ онъ самъ себѣ не сознается.

— Отличіе обыкновенныхъ людей отъ необыкновенныхъ отчасти въ томъ, что обыкновенные могутъ ясно изложить, какой у нихъ—въ кавычкахъ—«идеалъ счастья».

— А необыкновенные не могутъ? То-есть попросту не знаютъ сами, чего хотятъ?

— По просту это именно такъ.

-- Въ такомъ случаѣ, — сказала, обидѣвшись, Муся, — я думаю... Она не докончила фразы: глаза Брауна поразили ее выраженіемъ злобы, усталости, тоски. «Кажется, онъ не совсѣмъ здоровъ».. И опять Мусѣ пришло въ голову: «Что, если онъ морфинистъ или сумасшедшій? Во всякомъ случаѣ ничего не будетъ, и такъ лучше»... Она предпочла засмѣяться.

— Окончаніе книги, повидимому, васъ не привело въ очень хорошее настроеніе. Но все-таки что такое вашъ «Ключъ»? Это философская система? — спросила Муся, тоже съ легкой насмѣшкой въ голосъ.

— Зачѣмъ такія слова? Я не задавался цѣлью ни создавать 765-ую философскую систему, ни писать 184-ую книгу о Кантѣ. Просто записалъ свои мысли о жизни, какъ собственно долженъ бы дѣлать каждый человѣкъ передъ уходомъ... Я хочу сказать: на старости лѣтъ.

— Да это кокетство. Какой вы старикъ! — сказала Муся и подумала, что, вѣрно, тысячи женщинъ говорили мужчинамъ эту самую фразу. — Ради Бога, не будемъ вести похоронныхъ разговоровъ. Скажите лучше, какіе теперь ваши планы? — Она сама не знала, о чемъ спрашиваетъ. — То-есть, теперь послѣ окончанія вашей книги. Вѣдь вы остаетесь въ Парижѣ?

— Да, остаюсь.

— Вы вообще какъ думаете: долго намъ жить въ эмиграціи?

— Совершенно не знаю. Это зависитъ отъ милліона случайностей.

— А «законы исторіи»? — спросила Муся, подчеркивая шутливой интонаціей ученья слова.

— Какіе ужъ тамъ законы исторіи, — эту штуку выдумали историки. Повѣрьте, все въ мірѣ опредѣляется случаемъ. Вѣдь и Россія погибла оттого, что, по случайности, не нашлось 5-6 рѣшительныхъ людей, готовыхъ пожертвовать собой въ атмосферѣ общаго равнодушія, — людямъ «общественное сочувствіе» нужно и для того, чтобы идти на смерть... Разумѣется, одной рѣшительности было мало: надо было имѣть еще и голову на плечахъ.

«Да вотъ вы же въ Петербургѣ пробовали, съ Витей», — хотѣла сказать Муся, но не сказала.

— Что же мы тутъ будемъ дѣлать?

— То, что дѣлаемъ уже сейчасъ. Ходить на митинги со стыдливою любовью къ Россіи, пережевывать глубины Достоевскаго: «Я... я буду вѣрять въ Бога», — пролепеталъ въ изступленіи Шатовъ... Зарабатывать хлѣбъ какъ умѣемъ... Мало ли что будемъ дѣлать.

— Вотъ чисто-русская манера: вѣчно себя и все свое ругать.

— Всѣ націи о себѣ утверждаютъ то же самое и видятъ въ этомъ свою особенность. Даже французы: «Cette

manie que nous avons de nous dénigrer nous-mêmes» .. Въ дѣйствительности, каждая нація по уши въ себя влюблена.

— Ну, хорошо, хорошо... Какъ можно жить одной ироніей, вѣдь это такъ мертво! Я политикой не интересуюсь, но, повѣрьте, я сердцемъ чувствую: у насъ, у эмигрантовъ, есть задача, и большая.

— Я этого и не отрицаю, — ужъ я-то всего менѣе живу ироніей. Если дѣло затянется, то наша задача будетъ даже велика непосильно. Можетъ быть, та Россія политически и спасется, но морально она обречена на гибель. Впервые, кажется, въ исторіи появилась такая власть, которая вполне способна всѣхъ обратить въ поддельцовъ. Отсюда и задача эмиграціи: спасти остатки русской духовной культуры. У Вергилія въ Энеидѣ есть, помнится, такая сцена: Троя гибнетъ, до прихода враговъ остаются часы или минуты, Эней колеблется: оставаться? бѣжать? Къ нему является тѣнь Гектора и приказываетъ: «Бѣги! Тебѣ вручаются Троей святыни ея и пенаты!..» «*Sacra tuosque tibi commendat Troia penates*». Это отнюдь не значить, что я предлагаю «подвижничество», о, нѣтъ! Быть такимъ же народомъ, какъ французскій или англійскій, такимъ же, какимъ былъ русскій, — и только.

— На конкурсѣ мрачныхъ людей вы, Александръ Михайловичъ, могли бы получить первый призъ. Когда вы выпустите книгу, придумайте для себя подходящій псевдонимъ: «Робертъ-дьяволь», наиримѣръ, или что-нибудь въ этомъ родѣ, а? Впрочемъ, нѣтъ, не надо псевдонима! Мнѣ нравится ваша фамилія, хоть она странная: Браунъ. И ваше имя вамъ идетъ! Я не очень люблю: «Александръ», но это имя идетъ вамъ. Ну, вотъ, какъ папа можетъ называться Пій, Левъ, Бенедиктъ, но называться Эрнестъ или Адольфъ ему было бы неудобно, правда? — говорила Муся, чувствуя, что снова начинаетъ нести чушь. — Можетъ быть, впрочемъ, послѣ «Ключа» ваше имя такъ прогремитъ, что его будутъ произносить безъ

ргѣномъ, — вотъ какъ когда говорятъ Толстой-просто, то имѣютъ въ виду Льва Николаевича. Но заранѣе васъ предупреждаю, я васъ читать не буду: я очень люблю жизнь, да, да, очень!

— Тогда непременно читайте мрачныхъ писателей. Помните, что писатель обычно достигаетъ результатовъ какъ разъ обратныхъ тѣмъ, къ которымъ онъ стремился. Вы упомянули о Толстомъ, — въ «Аннѣ Карениной» героиня въ концѣ бросается подъ поѣздъ, одинъ герой подумываетъ о самоубійствѣ, другой идетъ на свое турецкое самоубійство, а вся книга такъ и дышетъ страстной любовью къ жизни. Напротивъ, въ «Воскресеніи» или тамъ въ сказочкахъ всѣ умиляются, очищаются, просвѣтляются, но читателю хочется повѣситься отъ тоски.

— Это невѣрно, — смѣясь, сказала Муся. Коньякъ успѣлъ ударить ей въ голову. Ей было и жутко, и весело. Въ этомъ разговорѣ объ умномъ наединѣ съ нимъ, въ легкомъ круженіи головы, было то самое, что она любила больше всего на свѣтѣ. «Кажется, я пьяна», — соображала Муся, стараясь слѣдить за его словами: надо было вставлять отвѣтныя замѣчнія. «Да, это необыкновенный коньякъ, вѣдь я выпила всего двѣ рюмки. А вотъ онъ хлещетъ коньякъ, какъ воду, и это очень мило! Онъ раньше сказалъ что-то непріятное, но я не помню что, и мнѣ все равно: я люблю его»... — Это невѣрно... Налейте мнѣ еще рюмку.

— Вы догадываетесь, что я на громкую славу не рассчитываю, — продолжалъ Браунъ. — Да и не очень ея жажду. Писатели и вообще завоевываютъ міръ не тѣмъ лучшимъ, тонкимъ или мудрымъ, что въ нихъ было, а тѣмъ, что, на придачу, было въ нихъ грубаго, общедоступнаго, иногда пошлаго. Гоголь былъ большой, очень большой писатель, но всероссійскую извѣстность ему содало обличеніе взятокъ.

— Ну, хорошо, не завоевывайте міра, такъ и быть, — сказала Муся, полузакрывъ глаза, приложивъ руки къ

щекамъ. — Но... Я забыла, что я хотѣла сказать... Но вѣдь и вы эмигрантъ. На что же вы-то ориентируетесь? — опять шутливо подчеркнула она ученое слово, которое умнымъ людямъ въ разговорѣ упоминать не надо.

— Я? На Пэръ-Лашэзъ.

— Полноте! — вскрикнула Муся. — Передъ вами вся жизнь!

— Вы, кажется, смѣшиваете меня съ Витей?

— Терпѣть не могу, когда такъ говорятъ. Мы всё умремъ, это достаточно извѣстно, но ничего другого намъ не предлагаютъ. Что-жъ объ этомъ говорить?

— Да я объ этомъ и не говорю, вамъ послышалось.

— Увидите, сколько у васъ еще будетъ хорошаго въ жизни!

— Принимаю къ свѣдѣнію. Но въ общемъ съ длиннотами была шутка, съ длиннотами, — угрюмо сказалъ онъ, и опять что-то оперное, банальное показалось въ его словахъ Мусѣ. — Жизнь груба... Ахъ, какъ груба жизнь! По высшей справедливости, я собственно долженъ впасть въ гатизмъ: слишкомъ вѣрилъ когда-то въ разумъ. Значить, мнѣ полагалось бы закончить дни кретиномъ, такъ чтобы меня кормили съ ложечки...

— Господи! Александръ Михайловичъ, я терпѣть не могу такихъ разговоровъ! — сказала Муся умоляющимъ голосомъ, совершенно такъ, какъ говорила ей мать, когда Семень Исидоровичъ упоминалъ о старушкѣ съ козой. Она сразу проглотила всю рюмку коньяку. Голова у Муси закружилась. «Онъ все точно прицѣливается... Ну, кто кого пересмотритъ?..» — Браунъ внимательно въ нее взглядѣлся и придвинулъ свое кресло къ дивану. Муся слабо засмѣялась и пыталась отодвинуться, но диванъ стоялъ у стѣны. «Григорій Ивановичъ говорилъ: если васъ, Мусенька, немного напоить, то съ вами любой предпріимчивый человекъ можетъ сдѣлать что угодно...» — вспомнила она. — «Ну, это мы еще посмотримъ! А впрочемъ»...

— Вотъ что... Вы мнѣ лучше расскажите, какъ вы тогда бѣжали изъ Петербурга.

Онъ разочарованно вздохнулъ, видимо признавъ се недостаточно пьяной, и налилъ еще коньяку въ рюмки. Лицо его становилось все блѣднѣе.

— Ничего не было интереснаго.

— Ну какъ не было? Вѣдь вы съ Федосьевымъ бѣжали?

— Да, съ Федосьевымъ.

— А правда, что онъ сталъ католическимъ монахомъ, чуть только не уходитъ въ какую-то пещеру.

— Правда.

— Вы съ нимъ послѣ того встрѣчались?

— Мы разстались тогда же въ Стокгольмѣ: онъ поѣхалъ въ Берлинъ, а я въ Парижъ. Сначала изрѣдка переписывались, хотѣли даже встрѣтиться, но не вышло. Ни Магометъ къ горѣ, ни гора къ Магомету, развѣ встрѣтятся когда-нибудь Магометъ съ горой на подорогѣ.

— Какъ вы объясняете его поступокъ?

— Много было, вѣроятно, причинъ. Главная, быть можетъ, та, что дѣлать ему было рѣшительно нечего. На югѣ Россіи его не хотѣли. Не въ эмигрантскія же бирюльки играть. А онъ человѣкъ очень дѣятельный. Католическая церковь — большая сила, изъ церквей единственная или, во всякомъ случаѣ, самая большая. Вдобавокъ, и жить ему было нечѣмъ.

— Нехорошо, Александръ Михайловичъ, извините меня, плохо такъ говорить!

— Когда человѣку чего-нибудь очень хочется, онъ ищетъ союзниковъ гдѣ угодно. Генрихъ VIII, лишь бы законно развестись съ осточертѣвшей ему женой, обратился за богословской консультаціей къ докторамъ синагоги. Людовикъ XI отъ страха смерти послалъ за какимъ-то амулетомъ къ султану... Федосьеву и жизнь очень надоѣла, и смерти онъ, вѣроятно, боялся чрезвычайно. Вотъ онъ и нашелъ срединный выходъ. Къ тому же цер-

ковъ сейчасъ — единственное не обезображенное мѣсто въ мірѣ. «Вдругъ здѣсь спасеніе? Дай, ухвачусь»... Впрочемъ, не знаю, зачѣмъ онъ перемѣнилъ вѣру, не знаю. Люди мѣняютъ религію по самымъ разнымъ причинамъ, иногда даже по искреннему убѣжденію. Единственное, чему я никогда не повѣрю: будто Федосьевъ ушелъ въ монастырь изъ-за угрызѣній совѣсти, — я отъ кого-то слышалъ и такое объясненіе... А вамъ кто сказать, что Федосьевъ удалился въ пещеру?

— Госпожа Фишеръ. — Браунъ вдругъ измѣнился въ лицѣ. — Я хочу сказать, баронесса Стеріанъ, — пояснила Муся. — Вы развѣ ее знаете?

— Нѣтъ. Кто это?

— Помните, передъ самой революціей въ Петербургѣ нашумѣло дѣло Фишера: не то онъ былъ убитъ, не то покончилъ съ собой, я точно теперь ужъ и не помню, хоть мой покойный отецъ много намъ рассказывалъ: онъ долженъ былъ выступать по этому дѣлу. Но папа за столомъ всегда говорилъ о какихъ-то процессахъ, и у меня все въ памяти спуталось... Такъ вотъ вдова этого Фишера вышла потомъ замужъ за какого-то экзотическаго авантюриста, барона Стеріана, не то теперь умершаго, не то пропадающаго неизвѣстно гдѣ.

— Какое же отношеніе она имѣетъ къ Федосьеву?

— Никакого, но она вообще все о всѣхъ знаетъ. О Федосьевѣ ей, кажется, сообщили въ комитетѣ или посольствѣ.

Браунъ налилъ себѣ еще рюмку коньяку. Бутылка была опорожнена больше, чѣмъ наполовину.

— Ну, а что же означаетъ: «я получилъ первое предостереженіе», — спросила Муся.

— Это не ваше дѣло, — отвѣтилъ Браунъ.

XXVIII.

Позднѣе, послѣ самоубійства Брауна, когда почти всѣ знавшіе его люди говорили, что онъ, вѣрно, былъ чело-вѣкъ сумасшедшій, Муся, въ дурныя свои минуты, со стыдомъ и ужасомъ думала, что въ тотъ вечеръ онъ дѣйство-валъ по опредѣленному плану, какъ могъ бы дѣйствовать самый пошлый провинціальныи покоритель сердець: «На-коилъ меня, а потомъ, сыгравъ на пессимизмѣ, заго-ва р и в а л ь, какъ знахарь заговариваетъ больного, какъ факиръ заговариваетъ змѣю»... Этимъ объясняла Муся и то, что, вопреки своему обыкновенію, онъ говорилъ съ ней о предметахъ серьезныхъ, ей мало доступныхъ и не слишкомъ ее интересовавшихъ. Замысломъ покорителя сердець объясняла она и непристойно-циничныи тонъ нѣ-которыхъ его замѣчаній.

Однако, въ минуты лучшія, когда Муся вспоминала о Браунѣ иначе, ей казалось, что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ увлеченъ, чуть только не влюбленъ въ нее въ тотъ вечеръ: «Передъ смертью хотѣлъ взять у жизни и это. А гово-рилъ со мной, — какъ Мольеръ читалъ комедіи своей ку-харкѣ, никого другого не было... Хотѣлъ хоть передъ кѣмъ-нибудь все сказать...» По разному объясняла Муся и слова Брауна о первомъ предупрежденіи: можетъ быть, у него было легкое кровоизліяніе въ мозгъ, — не потому ли онъ упомянулъ и о «гатизмѣ»?

То, о чемъ говорилъ въ этотъ вечеръ Браунъ, вспоми-налось Мусѣ смутно, многое въ ея памяти и не сохрани-лось. Она помнила, что онъ долго говорилъ о политиче-скихъ дѣлахъ, — прежде ему это не могло прійти въ го-лову. Говорилъ, что міръ впервые въ исторіи, на свое не-счастье, пришелъ въ состояніе приблизительнаго равно-вѣсія силъ: число людей, стремящихся къ сохраненію установленнаго порядка, приблизительно равно числу тѣхъ, кто заинтересованъ въ его паденіи. Половина чело-

вѣчества смотритъ на то, какъ живетъ въ свое удовольствіе другая половина, — вотъ какъ мосье Прюдомъ во-дилъ свою жену *voir manger les glaces*. Поэтому демократія, основанная на подсчетѣ голосовъ, впервые стала нелѣпой формой правленія. Всѣ эти Бруты отъ станка и Прометей изъ хедера — полудиоты, но полудиоты хитренькіе, и въ историческую точку они попали вѣрно. Однако, появятся полудиоты другіе, не уступающіе по хитрости этимъ, и человечество между полудиотами разныхъ толковъ будетъ метаться картинно и отвратительно, какъ мечутся, прижимаясь другъ къ другу, прокаженные въ скверныхъ фильмахъ изъ жизни Востока. Ужъ и сейчасъ надъ большей частью культурнаго міра владѣчаютъ разбойники, которымъ мѣсто на висѣлицѣ или на каторгѣ, и, хоть этого не было въ Европѣ по меньшей мѣрѣ лѣтъ двѣсти, все же люди серьезно вѣрятъ въ прогрессъ, — самая нелѣпая изъ нелѣпыхъ вѣръ! Непрерывно ускоряется темпъ жизни, — въ пору аэроплановъ поколѣніе надѣе бы считать въ пять лѣтъ, — и каждое изъ поколѣній поноситъ, позоритъ, дѣлаетъ смѣшнымъ все, къ чему стремилось поколѣніе предыдущее. «Дѣти» составляютъ свое духовное добро изъ того, что считали отбросами «отцы», — какъ духи готовятся изъ дурно пахнущихъ веществъ и на такія же вещества со временемъ разлагаются. Кризисъ отнынѣ вѣчное состояніе человечества. Можетъ быть, и есть большая дорога исторіи, но Богъ знаетъ, куда она ведетъ, да и ведетъ ли вообще куда бы то ни было? Всѣ умственныя и моральныя цѣнности будутъ распродаваться съ молотка, за гроши, — и то покупателей не будетъ, — и правы были афиняне, что на всякій случай воздвигали въ храмѣ статую невѣдомому богу. Недолгое царство свободы кончилось: люди не уважаютъ тѣхъ, кто обращается съ ними не какъ съ лакеями, — всѣ народы сейчасъ находятся en état de liberté provisoire. Народопрравство стало именно «ненужностью» — и даже ненужностью не очень умной. Человѣ-

чество само себя подѣлить, наивно, какъ на старинныхъ картинахъ: — посадить апостоловъ по одну сторону стола, Іуду — по другую. Одинъ лагерь будутъ тщетно стараться дать своей красотой моральное оправданіе другому. Вожакъ, работающіе подъ великановъ революціи, въ душѣ себѣ цѣну знаютъ, но отъ своихъ балаганныхъ словъ пьянѣютъ и они сами. Ничего «дьявольскаго», ничего отъ «великаго инквизитора», отъ всей той бутафоріи, которую имъ подкидываютъ враги, у нихъ нѣтъ. Мелкій жуликъ прикидывается фанатикомъ, такъ какъ репутація фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и полезна ему, ибо эта проклятая «дымка таинственности» дѣйствуетъ на воображеніе балаганной публики; недаромъ въ каждомъ чемпионатѣ цирковой борьбы есть обязательно «Черная Маска»...

— Да, да! — говорила Муся со слезами въ голосѣ, съ восторгомъ и ужасомъ. Голова у нея кружилась все больше. Она уже не старалась вставлять свои замѣчанія.

Потомъ онъ заговорилъ о томъ, что есть люди, стремящіеся къ абсолютному злу, какъ другіе стремятся къ абсолютному добру, и что этихъ жизнь обманываетъ такъ же, какъ и тѣхъ. Мудрые люди, ничего не найдя, придумали утѣшеніе себѣ и другимъ: главное-то счастье было, видите-ли, въ исканіи, въ святомъ исканіи. Но это просто глупо. Единственный способъ не быть обманутымъ: не ждать ровно ничего, — а всего лучше уйти какъ только будутъ признаки, что пора, — уйти безъ всякой причины, просто потому, что гадко, скучно и надоѣло. «Примиреннымъ» ли уйдешь или «непримиреннымъ», это твое, никому не интересное, дѣло или, вѣрнѣе, это пустыя слова, такъ какъ мириться не съ кѣмъ и не въ чемъ, и не съ кѣмъ было ссориться, и некому «почтительно возвращать билетъ». Если пришлось намъ увидѣть солнечный закатъ, лѣсъ, озера, прочесть Толстого и Декарта, услышать Шопена и Бетховена — и потомъ всего этого навсегда лишиться, — то мы не можемъ даже, въ малень-

кое утѣшеніе себѣ, назвать это злымъ, безнаказаннымъ издѣвательствомъ, ибо издѣательства нѣтъ, и ничего нѣтъ, и «дьяволовъ водевилъ» это тоже лишь метафора. Люди, на свое несчастье, постоянно принимаютъ метафору за дѣйствительность, а дѣйствительность за метафору. Балансы же подводить незачѣмъ, но отчего и не сказать, что самое волнующее изъ всего была политика, самое цѣнное, самое разумное — наука, а самое лучшее, конечно,—иррациональное: музыка и любовь. Затѣмъ какъ то неожиданно онъ перешелъ къ Мусѣ, и она, съ никогда еще не испытаннымъ ею стыдомъ, со страхомъ, съ жуткой радостью, признала, что говорить онъ о ней чистую правду, что онъ видитъ ее насквозь, со всѣми чертами ея тщеславія, съ ея безтолковой вѣчной игрой, съ сокровенными особенностями ея чувствъ,—въ нихъ она сама себѣ сознательнаго отчета не отдавала. Потомъ онъ еще что-то упомянулъ о какихъ-то орбитахъ, которыя могутъ и должны сойтись, — повидимому, онъ ужъ больше и не старался быть особенно тонкимъ. «Орбиты — этъ значитъ отдаться ему, тутъ, сейчасъ», — подумала еще Муся. — «Это вздоръ орбиты!» — сказала она, — «вотъ что, хотите, я вамъ сыграю»... — но на лицѣ его ясно выразилось, что онъ совершенно этого не хочетъ. — ...«Я сыграю вамъ вторую сонату Шопена»... — Лицо Брауна дернулось. — ...«Помните, я вамъ играла ее въ Петербургѣ. Но теперь я совершенно иначе играю ее»... Она встала, шатаясь. Онъ положилъ папиросу въ пепельницу. — «Я зимой слышала, какъ ее играетъ»... Она еще успѣла прошептать и «что съ вами!», и «оставьте меня!», и «нѣтъ, вы съ ума сошли!» — онъ все это принималъ, какъ должное, — какъ то, что ей и полагалось говорить. «Да, да... Вы глупенькая», — раздѣвая ее, бормоталъ онъ.

Потомъ она плакала. Онъ сидѣлъ въ креслѣ съ безжизненнымъ лицомъ, ничего не говорилъ и, повидимому, не слушалъ ее. Думалъ, что если она сейчасъ перейдетъ на ты и скажетъ: «любишь ли ты меня?», то ее надо бы

туть же убить. Муся говорила, что никогда не была такъ счастлива, какъ сейчасъ, въ своемъ паденіи.

— Въ чемъ паденіе? — съ досадой спросилъ онъ и подумалъ, что слова «я пала» звучать у нея приблизительно такъ же неестественно, какъ какой-нибудь «Pini Poloniae» въ устахъ раненаго героя.

— Вы придете ко мнѣ завтра?

— Да, разумѣется... Или послѣзавтра... У меня завтра совершенно неотложныя дѣла, — добавилъ онъ поспѣшно. — Но я постараюсь отъ нихъ отдѣлаться.

— Какія дѣла? Какія у васъ вообще дѣла? Я все о васъ хочу знать, все! Всю вашу жизнь!

Онъ вздохнулъ и поцѣловалъ ей руку, повернувъ ее, для большей нѣжности, ладонью вверхъ.

— Я непременно все вамъ расскажу, — сказалъ онъ. — Непременно. Но не теперь.

XXIX.

.....

XXX.

Елена Федоровна вполголоса что-то рассказывала Нещеретову. Видъ у нея былъ оживленно-радостный, не очень шедшій къ дому, въ которомъ недавно произошло несчастье. Впрочемъ, хозяевъ въ гостиной не было. Нещеретовъ молча, хмурымъ взглядомъ, смотрѣлъ на баронессу. «Да, вотъ они въ Петербургѣ были въ близкихъ отношеніяхъ. Мама до сихъ поръ въ душѣ не можетъ ей простить, что она его у меня отбила», — подумала,

входя, Муся. — «Были близки, а теперь просто разговаривают, какъ добрые знакомые, и ничего. У этихъ все просто: сошлись, разошлись»...

Елена Федоровна, здороваясь, подозрительно на нее взглянула. Нещеретовъ поцѣловалъ руку. Онъ то цѣловалъ при встрѣчахъ руку Мусѣ, то не цѣловалъ. «Сегодня милостивъ... Что-то нужно у нихъ спросить»... — Муся будто все не могла понять, почему она здѣсь, у чужихъ людей, а онъ гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ. — «Ахъ, да, Жюльеттѣ»...

— Какъ сегодня? — негромко спросила она, здороваясь. Несмотря на выздоровленіе Жюльеттѣ, въ квартирѣ Георгеску еще разговаривали вполголоса и ходили на цыпочкахъ.

— Слава Богу! Дай Богъ всякому! — саркастически сказала баронесса.

Нещеретовъ на нее покосился. Къ удивленію Мусы, онъ принялъ близкое участіе въ горѣ этой румынской семьи, съ которой его связывали лишь дѣловыя отношенія, да и то не очень хорошія (Муся слышала о какихъ-то денежныхъ непріятностяхъ между ними и Леони). Аркадій Николаевичъ навѣщалъ Георгеску раза два-три въ недѣлю и часто привозилъ больной цвѣты. Къ Жюльеттѣ еще никого не пускали.

— Температура 36,7, — сказалъ онъ Мусѣ.

— Не во рту, — пояснила Елена Федоровна. — Ерунда! Зачѣмъ только изводить на него деньги? — добавила она, показывая пренебрежительнымъ кивкомъ на сосѣдную комнату, откуда доносился негромкій разговоръ Муся сообразила, что тамъ Леони совѣщается съ врачомъ.

— Сказалъ: везти барышню на югъ, — пояснилъ Нещеретовъ съ легкимъ вздохомъ.

— На югъ, — автоматически повторила Муся. Елена Федоровна опять бросила на нее подозрительный взглядъ. «Что онъ сказалъ? Да, Жюльеттѣ везутъ на югъ. Бѣдная

дѣвочка! Но мнѣ все равно. Люди, кромѣ него, больше для меня не существуютъ. Князь убить, быть можетъ, я никогда не увижу Витю, Сонечку, Григорія Ивановича, и, хоть это стыдно, но мнѣ совершенно все равно!..» — Почему же именно на югъ?

— Если-бъ велѣли на сѣверъ, вы спросили бы, моя милая, почему именно на сѣверъ, — сказала баронесса и засмѣялась, оглянувшись на Аркадія Николаевича. Онъ не улыбнулся и сталъ подробно объяснять Мусѣ, почему Жюльеттѣ везутъ на Ривьеру. Муся вспомнила, что Нещеретовъ и самъ больной человекъ. «Этимъ, вѣрно, и объясняется его участіе: масонство больныхъ людей... Онъ сказалъ: «Я получилъ первое предупрежденіе... Что же это значитъ? Нѣтъ, не надо думать объ этомъ. Она смотритъ на меня... Лишь бы не догадалась. Впрочемъ, не все ли равно. Она опасная женщина и почему-то опять меня ненавидитъ. Но повредить мнѣ у него она не можетъ никакъ. Онъ просто не замѣчаетъ такихъ людей, какъ она. Почему онъ замѣтилъ меня? Онъ меня любитъ! Въ самомъ дѣлѣ, какъ бѣденъ нашъ языкъ! Вѣдь о Витѣ я сказала бы то же самое. Онъ и сказалъ: «кажется, вы смѣшиваете меня съ Витей». Витя пропалъ, но что-жъ я буду отъ себя скрывать? Да, мнѣ это безразлично, какъ безразлично и то, что будетъ съ мамой, съ Вивіаномъ, со всѣми. Вся моя жизнь была до сихъ поръ сплошное недоразумѣніе... Онъ все-таки не могъ не чувствовать, что это «или послѣзавтра» оскорбительно... Но пусть дѣлаетъ со мной, что хочетъ!..» — Муся перевела дыханье. — «Надо говорить съ ними. О чемъ?..»

— Какъ же вашъ кинематографъ, Аркадій Николаевичъ?

— Ничего. Жаловаться грѣхъ, — кратко отвѣтилъ Нещеретовъ.

Жаловаться въ самомъ дѣлѣ никакъ не приходилось. Фильмъ, придуманный донъ-Педро и осуществленный съ необыкновенной быстротой, имѣлъ огромный успѣхъ. Въ

кинематографическихъ кругахъ объ Альфредѣ Исаевичѣ теперь говорили, какъ о человѣкѣ гениальномъ. Какіе-то люди пріѣзжали къ нему изъ разныхъ странъ, почтительно вели съ нимъ переговоры, просили его о совѣтѣ. Онъ снисходительно-любезно говорилъ съ ними, въ совѣтахъ никому не отказывалъ, а кое-съ-къмъ велъ секретные переговоры о новыхъ своихъ замыслахъ, вскользь разъясняя, что по сравненію съ ними его первый фильмъ — ничто, такъ, проба пера. Впечатленіе отъ новыхъ замысловъ было сильнѣйшее. Альфредъ Исаевичъ получилъ изъ Соединенныхъ Штатовъ нѣсколько блестящихъ предложеній, уже могъ считаться состоятельнымъ человѣкомъ и несомнѣнно находился на пути къ настоящему богатству. За обѣдомъ, выпивъ рюмку водки, донъ-Педро теперь долго говорилъ о себѣ, сообщалъ разныя свѣдѣнія изъ своей біографіи и неизмѣнно возвращался къ ней, къ своимъ планамъ, когда его собесѣдники съ раздраженіемъ переводили разговоръ на другой предметъ; онъ переживалъ карьерную молодость. Планы у него постоянно мѣнялись, но всѣ отличались грандіознымъ размахомъ. Альфредъ Исаевичъ собирался съѣздить въ Америку для переговоровъ съ миллиардерами, — миллионеры его больше не интересовали, — онъ сокрушался, что все еще не знаетъ ни Ротшильдовъ, ни Шиффа, — какъ Коперникъ на смертномъ одрѣ выражалъ скорбь, что не пришлось ему увидѣть Меркурій. Нещеретовъ все не могъ прійти въ себя отъ изумленія: такъ ему было трудно привыкнуть къ мысли, что донъ-Педро оказался гениальнымъ человѣкомъ. Однако результаты были налицо. Иногда, слушая разговоры Альфреда Исаевича съ дѣловыми людьми, Нещеретовъ и самъ ловилъ себя на мысли: «А кто-жъ его знаетъ: можетъ быть, и вправду въ этомъ газетчикѣ что-то есть?»

На его собственную долю отъ успѣха дѣла выпадали гроши или, по крайней мѣрѣ, суммы, казавшіяся ему грошами. Онъ понималъ, что въ свои новыя предпріятія

донъ-Педро его не позоветъ, развѣ на какую-нибудь третъестепенную роль. Другія же дѣла Нещеретова, начатыя имъ на вывезенныя изъ Россіи деньги, кончились плачевно: онъ все потерялъ. Были у него и долги, особенно его угнетавшіе. Нещеретовъ отлично зналъ, что въ пору войны, когда только начинало теряться реальное представленіе о деньгахъ и о богатствѣ, въ калифорнизирующемся Петербургѣ 1916 года, люди, которыхъ молва называла несмѣтными богачами, были кругомъ въ долгу, — дѣла ихъ были совершенно запутаны. Если-бъ не большевистская революція, они такъ же легко могли очутиться на скамьѣ подсудимыхъ, какъ стать богачами и въ самомъ дѣлѣ, — нѣкоторымъ большевики прямо оказали услугу, утопивъ ихъ неизбѣжный крахъ въ общенациональной катастрофѣ. Но тогда все искупалось огромными цифрами. Нещеретовъ въ концѣ 1916 года исчислялъ свои долги въ 60 милліоновъ рублей, а активъ приблизительно въ 100 милліоновъ. Правда, въ случаѣ того, что на дѣловомъ языкѣ называлось неудачной конъюнктурой, отношеніе актива и пассива могло оказаться обратнымъ; однако въ 1916 году немногіе въ Петербургѣ думали о неудачной конъюнктурѣ. Какъ бы то ни было, счетъ велся на десятки, если не на сотни, милліоновъ. Теперь Нещеретову приходилось брать займы, съ поручительствомъ, по 15-20 тысячъ франковъ; и для уплаты въ срокъ по этимъ неприличнымъ векселямъ надо было напрягать изобрѣтательность. Онъ чувствовалъ, что теперь только волосокъ отдѣляетъ его отъ зачисленія въ разрядъ мелкихъ биржевыхъ дѣльцовъ. Многіе какъ будто ужъ и не вѣрили, что въ Россіи онъ ворочалъ десятками милліоновъ. Да и всѣ вообще смотрѣли на него, какъ на человѣка, состоящаго при Альфредѣ Исаевичѣ. Такъ Шумана, который былъ женатъ на популярной пианисткѣ, ея невѣжественные поклонники иногда снисходительно спрашивали, интересуется ли онъ тоже музыкой. «Если вернутся деньги, всѣ опять бросятъ

ся ко мнѣ въ переднюю и будутъ лебезить, ни для чего, просто такъ, потому миллионеръ; да, всё, даже тѣ, которые считаются чистенькими. А если чистенькимъ швырнуть кушъ на ихъ общественныя дѣла, то они и спрашивать не будутъ, откуда деньги, какія деньги, хоть бы я большевикамъ продался, дають, ну и бери», — думалъ онъ иногда со злобной радостью. Но порою приходили ему и другія мысли: не стоило отдавать деньгамъ всю жизнь, и не было ни геніальности, ни даже простой заслуги въ созданіи богатства, — вотъ вѣдь теперь, въ болѣе трудныхъ условіяхъ, чѣмъ въ Россіи, онъ все потерялъ, а геніальнымъ человѣкомъ оказался дуракъ донъ-Педро. Въ подобныя минуты Нещеретовъ, случалось, нищимъ на улицахъ давалъ двадцать, пятьдесятъ, сто франковъ, — то, что попадалось подъ руку.

— Жаловаться грѣхъ, — повторилъ онъ, со вздохомъ.

— Во всякомъ случаѣ, вы дали возможность жить большому числу людей. Я знаю, вы и помогаете очень многимъ, — сказала Муся, вспомнивъ, что донъ-Педро говорилъ о благотворительныхъ дѣлахъ Аркадія Николаевича. У нея не было основаній говорить любезности Нещеретову. Эти слова были видимо ему пріятны. «Онъ былъ врагъ. А теперь?» — устало спросила она себя. Несмотря на то, что люди были безразличны Мусѣ, ей страшно было имѣть враговъ. «Такъ все мелко, то, изъза чего мы волновались, спорили, ссорились, и такъ ясно это чувствуешь, когда случается большое, настоящее. Счастье? Катастрофа? Это чувство дають и катастрофа, и счастье, и вино, да, вино... Вотъ послѣ шампанскаго, я помню, наступаетъ такая минута, когда хочется всѣмъ говорить пріятныя вещи. И, можетъ быть, на стояще въ жизни только и были эти рѣдкія полулыбяныя минуты... Я не знаю, счастлива ли я... нѣтъ, не знаю. Знаю только, что случилась не глупая пошлая авантюра, а что-то большое, очень большое, смявшее мою жизнь. Но почему же я здѣсь и говорю вотъ съ нимъ»... Она встрѣтила удив-

ленный взгляд Нещеретова и поспѣшно сказала. — Мнѣ донъ-Педро говорилъ, что вы и здѣсь многимъ помогаете. О вашихъ пожертвованіяхъ въ Россіи я и не упоминаю.

— Ужь будто многимъ!

Нещеретовъ сконфузился именно такъ, какъ хорошимъ людямъ полагается конфузиться, когда при нихъ говорятъ объ ихъ добрыхъ дѣлахъ. Его въ самомъ дѣлѣ теперь трогали и даже умиляли всякая похвала, всякое упоминаніе о томъ, чѣмъ онъ былъ въ Петербургѣ.

— Слишкомъ часто приходится отказывать, — пояснилъ онъ. — И всегда тяжело смотрѣть въ глаза человѣку, когда ему говоришь явную неправду: «извините, у меня нѣтъ».

— Какая же это неправда? На всѣхъ не хватитъ, а вѣдь вы теперь и въ самомъ дѣлѣ небогаты, — сказала Муся. Въ Петербургѣ такія слова прозвучали бы для Нещеретова худшимъ оскорбленіемъ.

— Небогатъ, но состою при богатомъ дѣлѣ. Я начинаю понимать своихъ прежнихъ артельщиковъ: они получали гроши, а въ кассѣ вѣчно отсчитывали десятки и сотни тысячъ... Это создаетъ особую психологію... — Онъ засмѣялся. — А вотъ я самъ не могу отдѣлаться отъ психологіи богатаго человѣка. Недавно на вокзалѣ носильщикъ меня спросилъ, какого класса взять билетъ. И мнѣ стыдно было ему сказать: «третьяго», хотъ вѣдь онъ-то совсѣмъ бѣднякъ.

Муся не усвоила его словъ, но тоже засмѣялась. «Да, можетъ быть, я ошибалась въ немъ. Мнѣ его тонъ дѣйствовалъ на нервы, онъ изъ тѣхъ, что при встрѣчѣ спрашиваютъ: «какъ живемъ?» Но и у него вѣдь этотъ тонъ, вѣрно, напускной, какъ былъ напускной у меня, — естественныхъ людей такъ мало. А, въ общемъ, всѣ со всячинкой, и даже плохенькіе люди много лучше, чѣмъ мы о нихъ думаемъ. Да гдѣ же тѣ, кого всѣ признаютъ хорошими? Вѣдь даже онъ... — Муся вдругъ почув-

ствовала большую усталость. — Что-жъ мы всѣ стоимъ? — сказала она и сѣла въ кресло. «Если-бъ я была счастлива, то, во-первыхъ, я объ этомъ съ собой не разсуждала бы, а, во-вторыхъ, мнѣ полагалось бы всѣхъ людей находить милыми, добрыми, хорошими. Я и настраиваю себя на это... Въ сущности, во мнѣ теперь говоритъ страхъ, тотъ самый «буржуазный страхъ», о которомъ мы такъ много спорили въ Петербургѣ, наследственность отъ мамы, отъ поколѣній разсудительныхъ честныхъ женщинъ, которыя своимъ мужьямъ не измѣняли. Но вѣдь у насъ было рѣшено, что все это, — вѣрность, измѣна, — пустыя слова. Это во времена Анны Карениной люди еще серьезно ужасались адюльтеру, — и это слово какое глупое и гадкое», — вздрогнувъ, подумала Муся. — «Теперь такъ смотреть на вещи только провинціальки и уроды! Тысячи женщинъ дѣлаютъ то, что сдѣлала я, и, вѣрно, не копаются при этомъ въ своей душѣ, и счастливы... А если будетъ худо, то что-жъ, за все надо платить, и не я ли мечтала взять отъ жизни все, что она можетъ дать? Надо поддерживать разговоръ, слѣдить за каждымъ словомъ, держать себя въ рукахъ. Лучше было не приходиться сюда. Но я не могла остаться одна, дома... Поѣхать къ нему? Нѣтъ, это страшно: страшно то, какъ онъ можетъ принять меня... Что жъ мнѣ отъ себя скрывать: онъ жуткій человѣкъ, глаза у него пустыя и сумасшедшіе. Но я люблю его. Мнѣ это и было нужно, а мнѣ судьба послала спортсмена-англичанина! Я знаю, теперь моя жизнь будетъ полна слезъ и горя, но только это и есть счастье: любовь, исполненная тревоги и слезъ. До сихъ поръ у меня не было ничего, кромѣ тщеславія, притворства, игры въ какую-то элегантную жизнь, — да, онъ совершенно правъ, но я не думала, что и ему это можетъ быть видно! Я и сама этого не замѣчала, даже въ свои минуты «самоанализа»: была ломающаяся капризная петербургская барышня съ мечтами то грязными, то просто глупыми и смѣшными, вѣроятно, со стороны доволь-

но противная, вдобавокъ чрезвычайно требовательная и строгая къ другимъ: это не хорошо, то не хорошо, этотъ глупъ, тотъ не изящень, этотъ скучень... У меня, впрочемъ, взгляды, настроенія мѣнялись каждые полчаса... Въ сущности, вотъ эта авантюристка ничѣмъ не хуже, чѣмъ была я, только что она злая, — да и то не всегда злая, — я сама вызывала въ ней къ себѣ злыя чувства нарочно: мнѣ это было забавно. А онъ, Нещеретовъ, быть можетъ, просто хороший и несчастный человѣкъ, прикидывающійся циникомъ, какъ я прикидывалась изысканной натурой... Муся тупымъ взглядомъ смотрѣла на Нещеретова, на Елену Федоровну, они теперь были заняты своимъ разговоромъ. «Да, всѣ въ такомъ же туманѣ, никто ничего не знаетъ, и спорить не о чемъ, и правда, ничего нѣтъ, кромѣ этихъ полупьяныхъ минутъ, — пьяныхъ отъ вина, отъ морфія, отъ любви, все равно!»

Въ передней стукнула дверь. Леони показала въ гостиную и сухо поздоровалась съ Мусей. У нея, со времени несчастья съ дочерью, видъ былъ особенно гордый и холодный.

— Все благополучно? Температура нормальная?

— Да. Благодарю васъ.

— Значить, я сегодня могу зайти къ ней? Вы сказали, что сегодня можно будетъ.

— Да, — нехотя подтвердила Леони. — Но прошу васъ оставаться у нея недолго, она еще очень слаба... Я скажу ей...

Госпожа Георгеску вышла въ столовую.

«Сейчасъ идти къ Жюльеттѣ, говорить съ ней!» — съ ужасомъ подумала Муся. — «Спрашивать ее о здоровьи, о температурѣ, рассказывать о Витѣ, хотъ мнѣ нѣтъ дѣла ни до нея, ни даже до Вити! Леони на меня сердится, эта ненавидитъ меня такъ, что и скрыть не можетъ, мнѣ все равно, лишь бы только они оставили насъ въ покоѣ. Но куда же дѣться? Вернуться въ гостиницу, потомъ вечеромъ, ночь. У меня нервы напряжены такъ, какъ у пре-

ступника послѣ убійства, я не засну, буду думать все объ одномъ, о чемъ лучше не думать вовсе... Но развѣ я виновата, что родилась съ низкимъ разсудочнымъ темпераментомъ? Ну, дойдемъ до Вивіана, будетъ скандалъ, разводъ, мама сгоритъ отъ стыда за меня, какое это можетъ имѣть значеніе! Черезъ все надо пройти! Лишь бы... Лишь бы что?..» Ей внезапно послышалось имя Брауна. Она измѣнилась въ лицѣ.

— ...Да ужъ вы мнѣ повѣрьте: никакой онъ не психъ, а просто глупый человѣкъ, ученый дуракъ, — говорила баронесса. — Кто-то мнѣ говорилъ, что онъ масонъ. Но хоть и масонъ, а дуракъ.

— Это невѣрно. Не дуракъ, но заговариваться сталъ малый: самъ съ собой все больше разговариваетъ, господинъ профессоръ. У него, я слышала, тяжелая наслѣдственность.

— Ну, и Богъ съ нимъ. Мой покойный мужъ былъ съ нимъ хорошо знакомъ, — сказала Елена Федоровна и тяжело вздохнула. Несмотря на свой второй бракъ, она иногда впадала въ тонъ неутѣшной вдовы. — Кого же вы еще видѣли изъ петербуржцевъ? Они впрочемъ теперь всѣ хлынули на Ривьеру, видно по старой памяти. Странно, что люди не отдають себѣ отчета въ положеніи...

«Какая еще тяжелая наслѣдственность? Что такое?» — тревожно спросила себя Муся. — «Или она нарочно заговорила о немъ при мнѣ? Значитъ, ей извѣстно?..» Муся сообразила, что это невозможно. — «Но развѣ она его знаетъ? Кажется, я съ ней о немъ говорила прежде... Но вѣдь онъ самъ мнѣ сказалъ, что не знаетъ ея. Мнѣ показалось даже, будто его что-то тогда задѣло... Что же это? Почему тяжелая наслѣдственность? Все онъ вреть, конечно! Нѣтъ, я въ немъ не ошибалась: злой пошлякъ! Надо спросить, но незамѣтно»...

— ...Вѣдь какъ былъ богатъ, а теперь прямо голодаеть, — говорилъ о комъ-то Нещеретовъ. Муся не сразу поняла, что говорятъ не о Браунѣ.

— Не очень тоже вѣрьте. Ихъ послушать: всѣ были богаты, а отъ голода здѣсь еще никто не умеръ.

— Скоро начнутъ.

— Тогда и будемъ говорить, — побѣдоносно отвѣтила Елена Федоровна и просіяла. Въ комнату вошелъ Мишель, въ пальто, со шляпой и перчатками въ рукахъ. Онъ поздоровался съ Мусей еще холоднѣе, чѣмъ его мать.

— Куда вы, Мишель? — восторженно спросила Елена Федоровна.

— Надо кое-что купить, — отвѣтилъ онъ. Его послала мать въ аптеку за новымъ лекарствомъ для Жюльетты. Нещеретовъ заговорилъ съ нимъ о политическихъ новостяхъ. Елена Федоровна смотрѣла на молодого человѣка съ обожаніемъ.

«Вотъ эта не мѣняется. Нашла свой идеаль мужчины. А онъ принимаетъ ея любовь, какъ должное, но безъ восторга, *il se laisse aimer*», — подумала, приходя въ себя, Муся. — «Но у нихъ равенство: они стоятъ другъ друга. А у меня! Я отлично знаю, кто я передъ нимъ! Но все-таки, какъ онъ могъ сказать: «или послѣзавтра»?..

— ...Такъ вы думаете, что избраніе Клемансо президентомъ обезпечено?

— Совершенно обезпечено.

— Какой ударъ для социалистовъ!

— Надѣюсь, онъ свернетъ имъ шею! — сказалъ Мишель и въ голосъ его прорвалось бѣшенство. Муся удивленно на него взглянула. «Ахъ, да, Серизье!.. Вотъ за что, быть можетъ, со временемъ заплатятъ румынскіе социалисты»... Мишель сухо поклонился и вышелъ.

— Ну, можно опять говорить по-русски, — сказала Елена Федоровна. — Такъ вы говорите, президентомъ республики будетъ Клемансо? А вы знаете, Аркадій Николаевичъ, что вашъ Федосьевъ сталъ католическимъ монахомъ и удалился въ какую-то пещеру?

— Я тоже что-то такое слышалъ. Мнѣ давно говори-

ли, что онъ впалъ въ мистицизмъ. Но не мистическій былъ мужчина.

На порогѣ появилась Леони.

— Жюльеттѣ просить васъ къ себѣ. Только, пожалуйста, не утомите ее.

— Отъ меня низжайшій поклонъ.

— Она чрезвычайно васъ благодаритъ за чудные цвѣты.

— Мадамъ сегодня, видите ли, въ лунатическомъ состояніи. У насъ столько поэзіи! — сказала Елена Федорова вполголоса, когда Муся вышла.

XXXI.

Скрыть все дѣло отъ людей оказалось невозможно: сейчасъ же узнала консьержка, узнали аптекарь, домашній докторъ, — было достаточно ясно, что знать будутъ всѣ, кому только это можетъ быть интересно. Жюльеттѣ думала, что знаетъ и Серизье, и въ первые дни съ ужасомъ ждала: что, если прѣдетъ съ визитомъ, — такъ послѣ поединка побѣдитель иногда оставляетъ визитную карточку въ домѣ раненаго. Серизье не прѣзжалъ, — это, очевидно, означало, что ея поступокъ не произвелъ на него никакого впечатлѣнія: напротивъ, онъ, навѣрное, очень польщенъ и грустно рассказываетъ объ этомъ пріятелямъ, которые въ кофейнѣ посмѣиваются и надъ бѣдной дѣвочкой, и надъ ее sacré Cerisier qui n'en fait jamais d'autres.

Передъ матерью и братомъ было особенно стыдно. Для другихъ въ ея поступкѣ все-таки были и героизмъ и романтика (это полусознательное ощущеніе только и поддерживало Жюльеттѣ). Но мать, а тѣмъ болѣе братъ, она знала, ни въ какихъ ея поступкахъ романтику оцѣнить не могли. Когда они входили въ комнату, Жюльеттѣ обычно притворялась спящей или просто отворачивалась

къ стѣнѣ (днемъ никогда не плакала, отводя душу ночью). Она ни разу ни единымъ словомъ не обмолвилась съ ними о томъ, что произошло. Мишель былъ съ сестрой такъ внимателенъ и деликатенъ, какъ никогда до того не былъ. Онъ мало выходилъ и большую часть дня проводилъ за работой у себя въ комнатѣ. Однако его участіе, она чувствовала, сводилось къ оскорбленной семейной гордости. Жюльеттъ была увѣрена, что братъ ее презираетъ, — больше всего за то, что она посрамила семью. «И онъ правъ, разумѣется»... Всѣ другіе люди были опредѣленные враги, особенно тѣ, которые пріѣзжали съ визитомъ и участливо спрашивали объ ея здоровьи. Единственное спасеніе отъ нихъ было: прикидываться тяжело больной и никого не принимать.

Когда мать въ первый разъ ей сказала, что Муся хотѣла бы повидать ее, Жюльеттъ отвѣтила рѣшительнымъ отказомъ. Она не думала, что Муся имѣетъ отношеніе къ ея несчастью. Но мысль о ней была непріятна Жюльеттъ, какъ разорившемуся человѣку непріятно думать о богатыхъ.

— Я слишкомъ устала, мама, я не могу разговаривать съ чужими людьми.

— Какъ хочешь, милая, — поспѣшно сказала госпожа Георгеску. — Она тотчасъ насторожилась: ужъ не связана ли Муся съ дѣломъ? — Но если кого принять, то, по моему, все-таки ее: она пріѣзжала чуть ли не каждый день и справлялась по телефону постоянно.

— Хорошо, я приму ее, но не теперь, а позднѣе.

— Разумѣется, моя милая, когда ты захочешь...

Потомъ Жюльеттъ подумала, что Муся объяснитъ ревностью ея уклоненіе отъ встрѣчи. «Да я и въ самомъ дѣлѣ ревновала, до того разговора на берегу моря...» Дня черезъ два послѣ того Жюльеттъ попросила мать сказать госпожѣ Клервилль, что будетъ рада ее видѣть.

Она встрѣтила Мусю приготовленной заранее ласко-

вой, болѣзненной улыбкой и поздоровалась особенно слабымъ голосомъ, — этой слабостью Жюльеттъ инстинктивно защищалась отъ интимной бесѣды: хотѣла на свою слабость скоро и сослаться, чтобы положить конецъ разговору.

Въ комнатѣ стоялъ легкій пріятный запахъ одеколона и лавровишневыхъ капель. Муся и совсѣмъ пришла въ себя. Исхудавшее матово-блѣдное лицо, болѣзненный видъ, блестящіе измученные глаза Жюльеттъ поразили Мусю. Она быстрыми шагами подошла къ постели больной и горячо ее поцѣловала. Обѣ подготовили слова, съ которыхъ надо начать разговоръ, и обѣ этихъ словъ не сказали.

— ...Можно сѣсть къ вамъ на постель? Я такъ рада васъ видѣть!..

— Я тоже...

Объимъ стало легче. «Нѣтъ, она не врагъ», — подумала Жюльеттъ, — «и, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ есть искренніе друзья...»

...— Но вы знаете, это вамъ идетъ. Вы прямо помолодѣли, а вѣдь вамъ это начинало быть нужнымъ, — правда? Нѣтъ, я васъ давно такой хорошенькой не видѣла! Это фарфоровое лицо! — смѣясь, говорила Муся, твердо зная, что такія слова и на смертномъ одрѣ радуютъ и утѣшаютъ женщинъ. — Но какъ вы себя чувствуете?

Она говорила такъ, точно болѣзнь Жюльеттъ была совершенно естественной, и именно этотъ тонъ облегчилъ ихъ встрѣчу. Жюльеттъ отвѣчала слабымъ голосомъ, больше потому, что такъ сказала первыя слова. Но разговоръ уже ее не пугалъ: конечно, передъ ней быть не врагъ. «Да, она тутъ ни при чемъ... И мнѣ не тяжело видѣть ее... Чтобы дать себѣ передышку, она спросила о Витѣ.

— Я была такъ поражена, когда мнѣ это сообщили. Но онъ хорошо сдѣлалъ.

— Господи! Почему хорошо? Что вы говорите, моя милая?

— Это былъ его долгъ.

— Ахъ, это былъ его долгъ! Я и забыла. Но если его убьютъ?

— Будь онъ 3-4 годами старше, его взяли бы на ту войну, какъ миллионы другихъ молодыхъ людей.

— Нѣтъ, эта желѣзная логика! Я узнаю свою Жюльетт! — сказала Муся и вспомнила, что то же самое говорилъ когда-то Браунъ. Теперь мысль о Браунѣ была менѣе страшной... — Вивіанъ тоже мнѣ было пояснилъ, что это былъ долгъ Вити. Я такъ на него прикрикнула, что онъ больше не настаивалъ. А вамъ я бы уши надрала, если-бъ вы не были больны. Я просто ночей не сплю изъ-за этого поступка, а вы говорите, что онъ хорошо сдѣлалъ!

— Меня однако удивила странная форма... Почему надо было бѣжать тайкомъ отъ всѣхъ? У васъ есть догадки?

— Никакихъ. Кромѣ той, что я никогда его не пустила бы.

— Этого, быть можетъ, достаточно. Онъ вѣдь былъ въ васъ влюбленъ.

— И вы! Развѣ это было такъ замѣтно?

— Очень замѣтно... А почему: «и вы»?

— Нѣтъ, я такъ.

Муся покраснѣла. Жюльеттъ внимательно смотрѣла на нее. Муся вдругъ почувствовала, что теперь можно перейти къ Серизье: Жюльеттъ не оскорбится.

— Изъ-за чего вы отравились, глупая Жюльеттъ? — спросила Муся, кладя ей руку на плечо и смягчая мягкимъ тономъ и слово «глупая», и самый вопросъ. Инстинктъ ей подсказывалъ, что лучше принять такой тонъ, будто рѣчь идетъ о милой дѣтской шуткѣ. Жюльеттъ не оскорбилась. За пять минутъ до того ей въ голову не могло прийти, что она можетъ хоть одно слово сказать

о случившемся съ ней кому бы то ни было, а особенно Мусѣ. Теперь она принялась рассказывать и рассказала все, почти безъ утайки, почти безъ смягченій и прикрасть.

Муся слушала, разинувъ ротъ. Смѣлость, рѣшительность этой дѣвочки, ея откровенный, чуть только не безстыдный и одновременно трогательный, рассказ поразили Мусю — даже теперь, послѣ случившагося съ ней самой. Въ поступкѣ Жюльетты было то, что Муся теоретически больше всего цѣнила въ людяхъ и чего въ жизни она сама была почти лишена. «Вѣдь это для насъ, женщинъ, замѣняетъ войну, дуэли, авантюры, все, что такъ скрашиваетъ жизнь мужчинъ, настоящихъ, и такъ украшаетъ ихъ... Но эта дѣвочка — и Серизье, пожилой, плѣшивый, съ брюшкомъ! Право, въ этомъ есть нѣчто патологическое. Миѣ онъ никогда не нравился», — совершенно искренно сказала себѣ Муся. — «Браунъ тоже гораздо старше меня, но... Нѣтъ, что же тутъ сравнивать...» Душу Муси переполняла радость (это надо было тщательно скрывать): ей было очень жаль Жюльетты, но чувство жалости вытѣснялось въ Мусѣ тѣмъ, что собственный ея поступокъ и ея положеніе такъ выигрывали отъ сравненія. «Вѣдь если говорить о грѣхѣ (хоть это и глупо), то ея грѣхъ настолько постыднѣй! У меня онъ взялъ инициативу, и только мужчина можетъ это сдѣлать. Пойти къ нему прямо, откровенно предлагаться и никогда, никогда не посмѣла бы. Бѣдная, милая Жюльетта, насколько ей хуже, чѣмъ миѣ!..» И Муся сразу стала прежней, — такой же, какой была два дня тому назадъ. Она слушала, старательно поддерживая на лицѣ улыбку, которая приблизительно означала, что все это не имѣетъ ровно никакого значенія. Когда Жюльетта кончила, Муся снова ее обняла.

— Только и всего?

— Да, только и всего.

— И изъ-за этого вы отравились?

— Вы находите, что этого недостаточно? Это пустяки, да?

— Я не говорю, что это пустяки. Но травиться не стоило, — говорила, улыбаясь, Муся. Она рѣшительно не знала, какъ обосновать свое замѣчаніе. «Сказать ей, что Серизье ей не стоитъ? Но это оскорбительно. Сказать: «Передъ вами вся жизнь, вы полюбите другого», или что-нибудь еще, что говорить въ такихъ случаяхъ, — нѣтъ, глупо»... — Моя милая Жюльеттѣ, жизнь такая радость, такое счастье, что безуміе отъ нея отказываться ради чего бы то ни было, — сказала она и тотчасъ подумала: «Ce n'est pas une trouvaille, но сойдеть»... Жюльеттѣ смотрѣла на нее разочарованно.

— Ужъ будто такая радость? — подозрительно спросила она. Ей съ самаго начала показалось, что и въ Мусѣ что-то перемѣнилось. «Вѣрно, это ея беременность».. Муся угадала ея предположеніе и опять покраснѣла. «Въ самомъ дѣлѣ, я тогда въ Довиллѣ ей сказала, а о томъ она ничего не знаетъ»... Внезапно ей передалась непостижимая зараза откровенности.

— Со мной тоже случилось большое событіе, — сказала Муся нерѣшительно. Жюльеттѣ безпокойно на нее глядѣла. — Я полюбила, Жюльеттѣ.

Слова эти, неестественныя, книжныя, непріятно звучащія, «я полюбила, Жюльеттѣ», тотчасъ ударили ее по нервамъ. Но отступать теперь было поздно. Жюльеттѣ приподнялась на постели.

— Вы? Кого? — спросила она, забывъ даже о слабомъ голосѣ. «Нѣтъ, разумѣется, не его... Тогда она иначе меня слушала бы»...

Муся, только что удивлявшаяся беззащитности Жюльеттѣ, все рассказала о себѣ, — тоже просто и спокойно, только не назвала имени Брауна: говорила «одинъ человѣкъ», «этотъ человѣкъ»... Ей рассказывать было много легче: она побѣдила. Эту разницу Жюльеттѣ тотчасъ почувствовала: «Кто? Кто это? Нѣтъ, конечно, не Серизье:

было бы верхомъ цинизма, если-бъ она рассказывала мнѣ о немъ. Вѣрно, кто-нибудь изъ ея свѣтскихъ знакомыхъ... Но что же ей сказать?» — спрашивала себя Жюльеттъ совершенно такъ же, какъ передъ тѣмъ спрашивала себя Муся. — «Все-таки не поздравлять же ее съ тѣмъ, что она измѣнила мужу!.. Какая сумасшедшая!..»

— Я рада за васъ, — сказала она, безъ увѣренности въ голосъ. Онѣ посмотрѣли другъ на друга и засмѣялись: сами недоумѣвали, зачѣмъ понадобилась такая откровенность, но не жалѣли о ней. Теперь Муся могла, не задѣвая Жюльеттъ, сказать все, что полагалось: что передъ ней вся жизнь, что она полюбитъ другого. Говорила она это поневолѣ такъ, какъ миллионеръ, приходя въ гости къ бѣднымъ, живущимъ въ двухъ комнатахъ, друзьямъ, можетъ имъ сказать: «Но у васъ, право, очень, очень уютно»... Все же слова Муси были пріятны Жюльеттъ.

— ...И, повторяю, вы такъ похорошѣли!

— Кто бы подумалъ!.. Но вы? Каковы ваши ближайшіе планы? — осторожно спросила Жюльеттъ.

— Никакихъ! Я безъ всякихъ плановъ счастлива, какъ никогда въ жизни, и ни о чемъ другомъ не думаю! — отвѣтила Муся. Тонъ ея былъ такой, точно она въ самомъ дѣлѣ захлебывалась отъ счастья. Муся и Жюльеттъ разговаривали искренно и все же одна преувеличивала свой восторгъ, а другая свое отчаянье. — Ни о чемъ не думаю, и не спрашивайте меня, ради Бога, моя положительная Жюльеттъ, — по прежней привычкѣ сказала Муся, не подумавъ, что послѣ попытки самоубійства не совсѣмъ подобаетъ называть Жюльеттъ положительной.

— Меня мама везетъ на Ривьеру. Что, если-бы вы пріѣхали къ намъ? Съ нимъ, разумѣется, съ таинственнымъ незнакомцемъ, — пояснила Жюльеттъ, улыбаясь и подчеркивая интонаціей неполное довѣріе Муси: имени незнакомца Муся ей все-таки не назвала.

— Съ нимъ къ вамъ на Ривьеру? Это идея, — сказала тѣмъ же тономъ Муся, точно это совершенно отъ

нея завистью. «Боюсь, что онъ тотчасъ со мной на Ривьеру не поскачетъ. «Да, завтра... Или послѣзавтра»... Нѣтъ, конечно, у него сегодня неотложныя дѣла. А какъ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо — не съ Жюльеттъ, и съ Леони, конечно, но съ нимъ поѣхать куда-нибудь далеко вдвоемъ!..»

Муся вспомнила, какъ когда-то, въ Петербургѣ, въ пору своей влюбленности въ Клервилля, она дома вечеромъ нашла въ ящикѣ стола листокъ пароходнаго общества, съ изображеніемъ молодого человѣка и дамы — въ креслахъ на палубѣ парохода, передъ бутылкой шампанскаго въ ведеркѣ, съ садами и замками на фонѣ... «Тогда я мечтала путешествовать съ Вивіаномъ. Я позвонила къ нему по телефону въ гостиницу, позвала его на банкетъ папы. Онъ сказалъ: «Я плохо говорю по русски и мнѣ такъ хочется сидѣть рядомъ съ вами». Я отвѣтила: «если только будетъ какая-нибудь возможность»... А теперъ папа въ могилѣ, а Вивіанъ»...

— Это идея, — повторила она, чувствуя холодъ въ душѣ. — Когда вы ѣдете?

— Какъ только я поправлюсь.

— Да вы совершенно здоровы.

— Докторамъ это видѣе, — обиженно сказала Жюльеттъ. Я кстати рѣшила на Ривьерѣ заняться подготовкой докторской работы.

— Господи! Жюльеттъ, вы будете докторомъ?

— По крайней мѣрѣ, надѣюсь. Но еще не знаю, на чемъ остановиться: на частномъ международномъ или на финансовомъ правѣ?

— Was ist das für eine Mehlspeise? Такъ говорятъ въ Вѣнѣ. Ради Бога, не произносите такихъ страшныхъ словъ, все равно я ни одного права не знаю. — Муся чувствовала, что для Жюльеттъ ея ученость теперь утѣшеніе и что она думаетъ о жизни, посвященной суровому труду. — Вдругъ я пріѣду на Ривьеру мѣшать вамъ готовить вашу диссертацию.

— Вы думаете, что вашъ мужъ...

— Онъ сейчасъ въ Лондонѣ, — сказала Муся, точно Жюльеттъ ее спрашивала объ этомъ. — Быть можетъ, онъ получить назначеніе въ Индію.

— И тогда?

— И тогда... Я ничего не знаю, Жюльеттъ, ничего! Можетъ быть, я съѣзжу съ нимъ туда и вернусь. «Въ самомъ дѣлѣ, это могъ бы быть выходъ, если только онъ согласится на время отпустить меня», — подумала Муся. Недавняя мысль о томъ, что съ ней случилась катастрофа, была теперь непонятна ей самой. «Все-таки, я комокъ нервовъ: да, безпрестанно перехожу отъ одного настроенія къ другому. Да, неврастеничка самая настоящая», — съ нѣкоторой гордостью сказала она себѣ: въ ихъ петербургскомъ кружкѣ принадлежность къ неврастеникамъ молчаливо признавалось чѣмъ-то вродѣ патента на благородство. «Но какъ я хорошо сдѣлала, что поговорила съ ней!»

— Значить, вы не разойдетесь съ мужемъ?

— Можетъ быть, мы и разойдемся. Я не знаю! Не спрашивайте меня, милая, я ничего не знаю! Ничего, кромѣ того, что я безумно счастлива! — сказала она и, чтобы загладить не деликатность этихъ словъ, обняла Жюльеттъ и поцѣловала.

Объ онѣ почувствовали, что любятъ другъ друга и что имъ было бы очень тяжело разстаться. Муся внезапно прослезилась.

— Какая я глупая!.. Ну, до свиданья, мой другъ, я и такъ васъ утомила. Ваша мама меня съѣстъ.

— Нѣтъ, посидите еще.

— Нельзя, нельзя.

— Миѣ было очень пріятно съ вами, Муся. Когда вы придете опять? Завтра?

— Завтра? Завтра я не знаю, буду ли свободна. — Она смущенно кивнула головой. — Да.. Но я все-таки приду и

завтра. Если не вечеромъ, то днемъ. Если не днемъ, то утромъ.

— Непремѣнно. Приходите каждый день.

Жюльеттѣ взяла со стола платокъ и поднесла его къ глазамъ. Онѣ обнялись олять.

XXXII.

.....
.....

*(Последній отрывокъ трилогіи «Ключъ»-«Влѣсто»-«Пещера»
слѣдуетъ)*

М. Алдановъ.

Н а ч а л о

Володя уѣзжалъ изъ Константинополя одинъ, никѣмъ не провожаемый, безъ слезъ, безъ объятій, даже безъ рукопожатія. Дуль вѣтеръ съ дождемъ, было довольно холодно и онъ съ удовольствіемъ спустился въ каюту. Онъ пріѣхалъ на пароходъ почти въ послѣднюю минуту и потому, едва онъ успѣлъ лечь и закрыть глаза, какъ пароходъ двинулся. — Надо все же посмотреть въ послѣдній разъ на Константинополь. — Онъ поднялся на палубу. Было почти темно, скользко и мокро; сквозь дождь уходили невѣрныя очертанія зданій, вѣтеръ бросалъ брызги воды въ лицо; шумъ порта съ криками турокъ и гудками катеровъ, влажно раздававшимися сквозь густѣющую темноту, сталъ стихать и удаляться. Володя постоялъ нѣкоторое время и опять спустился въ каюту. — Ну, поѣхали, — вслухъ сказалъ онъ себѣ. Онъ легъ и закрылъ глаза, но не засыпалъ, лишь началъ дремать; изъ далекой каюты послышалась музыка, Володя силился разобрать мотивъ и не могъ, и какъ всегда въ такихъ случаяхъ, ему казалось, что это нѣчто знакомое. Потомъ музыка умолкла и онъ задумался, глядя на толстое стекло иллюминатора, пересѣченное неправильными линіями дождя.

Затѣмъ начался обычный для путешествія ходъ его мыслей, — всегда одинъ и тотъ же. Всякій разъ, когда ему приходилось уѣзжать, когда онъ оказывался либо на поѣздѣ, либо на пароходѣ и начиналъ ощущать свое полное и глубокое одиночество, — но это было не грустное, а скорѣе спокойное и немного презрительное чувство, —

онъ думалъ, что вотъ теперь, именно теперь, когда онъ отдѣленъ, въ сущности, отъ всего міра и не долженъ въ эти минуты ни лгать, ни притворяться передъ собой или передъ другими, ни создавать иллюзіи чувствъ, которыя были необходимо требуемы особенной условностью человѣческихъ отношеній — и которыхъ онъ на самомъ дѣлѣ не ощущалъ или ощущалъ ихъ другими, нежели тѣ, за которыя онъ ихъ выдавалъ, невольно обманывая и себя и другихъ, — что въ это время онъ яснѣе представлялъ себѣ всѣ причины и побужденія, руководившія его жизнью, такъ же, какъ подлинный смыслъ тѣхъ или иныхъ отношеній съ людьми. Пока онъ находился въ центрѣ событій, составляющихъ его существованіе, пока онъ самъ игралъ въ нихъ какую-то роль, онъ былъ лишенъ возможности правильно понимать ихъ. И только тогда, когда онъ остался, — такъ, какъ теперь, совсѣмъ одинъ, ему начинало казаться, что все ясно и понятно, какъ простой логическій ходъ разсужденій. И особенно хотѣлось остановитъ и записать, покуда это не исчезло, множество незначительныхъ вещей, воспоминаній, запаховъ, впечатлѣній, вызванныхъ изъ глубокаго небытія этимъ мѣрнымъ движеніемъ парохода и глуховатымъ звукомъ волнъ, бѣжащихъ вдоль его крутого борта. Бывали минуты въ его жизни, когда онъ, въ остальное время равнодушный по всему, вдругъ испытывалъ острое сочувствіе къ людямъ и вещамъ, иногда почти вовсе ему неизвѣстнымъ, иногда чрезвычайно далекимъ отъ него — сквозь годы, чужой языкъ и чуждую національность; и судьба какого-нибудь голландца, француза или англичанина, жившаго много лѣтъ тому назадъ, становилась ему необычайно близка, какъ жизнь когда-то давнымъ давно потеряннаго имъ брата. Онъ думалъ иногда о судьбѣ нѣсколькихъ женщинъ и съ самаго давняго времени, чуть ли не съ того, когда онъ впервые прочелъ объ этомъ, нѣкоторые женскіе образы неизмѣнно сопровождали его; они мѣняли свою вѣдимость, представая передъ нимъ во всемъ своемъ не-

мыслимомъ богатствѣ превращеній; и въ нихъ оставалось нѣчто то же самое, что было раньше и всегда, можетъ быть, воспоминаніе о первомъ толчкѣ, о началѣ того движенія, которое влачило все время за собой его отстающую, не поспѣвающую за этимъ великолѣпіемъ, слишкомъ бѣдную и слишкомъ скучную, какъ казалось Володѣ, жизнь. Ему казалось, что онъ принадлежитъ къ людямъ, которымъ судьба дала что-то лишнее и тяжелое, что ихъ давить все время и стѣснять ихъ движенія и еще заставляетъ считать, что настоящее и то, въ чемъ они живутъ, это все только случайность и недоразумѣніе; и всю жизнь они безсознательно чего-то ждуть и что бы ни случилось, это окажется не тѣмъ, — и имъ суждено умереть съ этимъ ожиданіемъ. Они могутъ быть скептиками, не вѣрить ничему, не хранить никакихъ иллюзій и все же есть нѣчто, мечтательное и далекое, что несмотря на всю свою хрупкость, весь свой явной, безумный миражъ, сильнее ихъ и ихъ отрицанія. Володя вспоминалъ одну женщину, нѣмку, нервную и истерическую; она была учительницей нѣмецкаго языка въ гимназій и ставила ему дурныя отмѣтки, къ которымъ онъ относился совершенно спокойно. — *Warum wollen sie nicht arbeiten?* — злобно спрашивала она его. Онъ пожималъ плечами и усаживался на свое мѣсто; было особенно лѣтнее, южное лѣто, сонный воздухъ былъ неподвиженъ; было такъ тихо въ гимназическомъ саду, гдѣ Володя и его товарищи ложились на выгорѣвшей травѣ, подстеливъ одѣяло, гдѣ они ѣли дыни и арбузы и говорили о необходимомъ существованіи какого-то одного, абсолютнаго и неизмѣннаго начала, которымъ объяснено разъ и навсегда все, что живетъ и все, что можетъ появиться. Имъ всѣмъ было тогда меньше, чѣмъ по двадцать лѣтъ; и они были склонны искать въ этомъ гигантскомъ клубкѣ, чудовищно сплетенномъ изъ запаховъ, разочарованій, надеждъ и неисчислимаго количества разнообразнѣйшей мерзости — какимъ Володя потомъ представлялъ себѣ всякую че-

ловѣческую жизнь — искать въ этомъ все того же, торжественнаго, какъ гимнъ и необычайно гармоническаго начала. И вотъ, однажды днемъ, встрѣтивъ Володю въ длиннѣйшемъ корридорѣ, учительница нѣмецкаго языка вдругъ сказала ему:

— Вы можете придти ко мнѣ сегодня послѣ обѣда? — Въ которомъ часу? — Она назначила ему время и онъ явился, недоумѣвая, зачѣмъ она его вызвала. У нея была довольно большая комната, съ креслами, диваномъ, гра-вюрами; и одну изъ стѣнъ занималъ большой кусокъ чернаго, прекраснаго бархата, на которомъ тонкими линиями тускло-сверкающихъ тоновъ былъ нарисованъ, какъ показалось сначала Володѣ, величественный замокъ надъ рѣкой; и только взглянувъ какъ слѣдуетъ, онъ увидѣлъ, что это былъ не рисунокъ, а вышивка, сдѣланная съ необычайнымъ, почти японскимъ искусствомъ. — Это вы вышивали? — Я, — сказала она, вздрагивая, — она вообще все время вздрагивала. Она пододвинула къ нему блюдо пирожныхъ. — Спасибо, я не ѣмъ пирожныхъ, — сказалъ онъ. Она вспыхнула, сказала, — ахъ, извините, я не знала, — и раньше, чѣмъ онъ успѣлъ что-либо сказать, выбѣжала изъ комнаты и вернулась съ коробкой папир-осъ, которую положила передъ нимъ. Онъ поблагодарилъ. — Вы знаете, зачѣмъ я васъ пригласила? — Откровенно говоря, нѣтъ. — Я хочу съ вами поговорить. — Если мои реплики могутъ васъ въ какой-нибудь степени интересовать... — Она была очень образованной женщиной, прекрасно говорила по-русски, по-французски, по-турецки, по-англійски, не считая нѣмецкаго и латинскаго, — она была рижанкой. — То, что я вамъ скажу, вамъ покажется, можетъ быть, нелѣпымъ и страннымъ. Вы видите эту вышивку, о которой вы меня спрашивали? Я рисовала ее изъ головы, просто такъ; сначала нарисовала, потомъ вышила. И вотъ, вы знаете, я однажды совершала прогулку по Рейну, и когда мы подъѣзжали къ одному замку, у меня сильно забилось сердце и я сказала моимъ

спутникамъ, что знаю точно расположеіе комнатъ и всѣ входы и боковыя двери. Я никогда до того не бывала въ этой части Германіи. И чтобы провѣрить это, мы сошли съ лодки и попросили разрѣшенія осмотрѣть замокъ; я шла съ завязанными глазами и говорила, что гдѣ находится и все было точно, за исключеніемъ одной двери, которую замуrowали около пятидесяти лѣтъ тому назадъ. Это все казалось невѣроятнымъ моимъ спутникамъ; и тогда я показала имъ эту вышивку, которую я сдѣлала, не зная даже о существованіи такого замка. Потомъ она рассказала Володѣ множество другихъ вещей такого же порядка; и его особенно поразило то, что она сказала, что помнить, какъ была маркитанкой въ войскахъ крестоносцевъ, въ походѣ Фридриха Барбароссы, и что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Константинополь, она встрѣтила одного англичанина, котораго помнила именно по крестовому походу, — но что онъ ее не узналъ. Она потомъ уѣхала изъ того города, гдѣ учился Володя, была въ Ригѣ, въ Москвѣ, путешествовала по Европѣ; и Володя былъ увѣренъ, что всюду ее мучили и преслѣдовали эти неправильныя, чужія воспоминанія о разныхъ эпохахъ, въ которыхъ она видѣла себя, точно въ далекомъ и темномъ зеркалѣ, себя, и это свое такое отдаленное лицо, эту блѣдную кожу, бѣлокурые волосы и синіе, страшные глаза; и то, что объ этомъ по настоящему знала только она одна, — всѣмъ другимъ это могло только казаться нелѣпымъ, — это фантастическое волненіе, этотъ постоянный миражъ заполняли всю ея жизнь и дѣлали все окружающее бессмысленнымъ, несвоевременнымъ и скучнымъ. Послѣ этого единственнаго разговора съ ней Володя невольно измѣнилъ свое къ ней равнодушно-насмѣшливое отношеніе. Онъ не понялъ, однако, — ни тогда, ни позже — почему для рассказа о крестовыхъ походахъ и замкѣ надъ Рейномъ она выбрала его, самаго лѣниваго изъ своихъ учениковъ, — любившаго больше всего спать и безцѣльно гулять, и ничего не дѣлать. Никогда потомъ эта женщина

ничѣмъ не проявила къ нему своего вниманія, не разговаривала съ нимъ, не вызывала его и по-прежнему ставила дурныя отмѣтки, — и только разъ вскользь сказала: — вы могли бы дѣлать гораздо больше, чѣмъ вы дѣлаете, — но это было такъ туманно и такъ механически сказано, что явно не имѣло никакого значенія. Но Володя былъ убѣжденъ, что и потомъ, въ дальнѣйшемъ, ей все видѣлась вечеромъ въ лустынномъ воздухѣ каждой страны или каждаго города, гдѣ она находилась, — будь то Константинополь, Берлинъ, Рига или Москва, — смутно бѣлѣющая вдали башня какого-то давно затеряшагося во времени зданія, можетъ быть одной изъ крѣпостей, къ которой былъ направленъ тяжелый карьеръ взмыленныхъ, свирѣпыхъ лошадей крестоносцевъ. — Я была маркитанткой въ обозѣ Фридриха Барбароссы, — она такъ просто говорила эту фразу, въ тысяча девятьсотъ двадцать второмъ году, когда прошли почти безчисленные дни, почти непредставляемые годы послѣ того, какъ все покрылось забвеніемъ, — чтобы теперь опять призрачно воскреснуть и прогремѣть въ ея невѣроятной фантазій. Въ жизни, которую она вела и которая состояла изъ преподаванія нѣмецкаго языка, — она была забывчива, растеряна и несчастна, какъ всѣ фантазеры и мечтатели; она нервничала оттого, что ея объясненія не сразу понимались, что по-нѣмецки можно было говорить съ такимъ ужаснымъ славянскимъ акцентомъ. Иногда съ ней случались истерики въ классѣ; и тогда она особеннымъ движеніемъ мизинца поднимала свою правую, какъ-то заскакивавшую бровь, и ея глазъ открывался во всю ширину, — синій, громадный и совершенно пустой въ тѣ минуты.

И теперь, вспоминая это нелѣпое и призрачное существованіе, Володя подумалъ, что оно въ тысячу разъ лучше другихъ, такихъ счастливыхъ жизней, которыя ему приходилось наблюдать. Онъ самъ такъ часто терялъ все, что ему, казалось, принадлежало, такъ много разъ замѣчалъ, что вотъ живешь среди извѣстныхъ людей, связан-

ный прочными отношеніями, неподвижный, какъ разъ навсегда задуманный и осуществленный чьей то волей чело-вѣкъ, котораго ни съ кѣмъ нельзя смѣшать, — живешь и черезъ долгое время вдругъ начинаешь понимать, что все это родное и какъ будто неотдѣлимое отъ тебя съ каждымъ днемъ становится все дальше и дальше, дѣлается все болѣе чуждо — до тѣхъ поръ, пока въ одну неожиданную минуту, — вотъ точно проснувшись однажды утромъ, — не поймешь съ безнадежной окончательностью, что и ты чуждъ всему, въ чемъ живешь, что ты уже не узнаешь ни этихъ людей, ни этихъ отношеній, ни даже домовъ и улицъ родного города, — и тогда начинается иное странствіе и снова длится много времени, пока не наступитъ слѣдующая минута этого тускнѣющаго, точно слѣпнущаго взгляда, послѣ котораго опять одиноко, гулко и тяжело. Володя такъ часто терялъ все это — и не могъ къ этому привыкнуть, — что существованіе одной, сквозь всю жизнь проходящей мысли казалось ему недостижимымъ счастьемъ; и онъ никогда его не зналъ. А счастливыхъ людей было много, больше даже, чѣмъ несчастныхъ. Была, на примѣръ, эта дама, французская журналистка, жившая въ Константинополѣ; она разговаривала съ Володей на самыя возвышенныя темы, относясь ко всему съ неподдѣльной печалью, все казалось ей сумрачнымъ и грустнымъ. Володя пытался узнать, что ее, сравнительно молодую женщину — ей было двадцать девять лѣтъ — погрузило въ такой неожиданный пессимизмъ; тѣмъ болѣе, думалъ Володя, что она обладала рѣдкимъ аппетитомъ, въ чемъ онъ убѣдился, бывая иногда ея слутникомъ въ ресторанахъ. Она была очень проникательна и умна, особенно въ томъ, что касалось отношеній между женщиной и мужчиной, — въ остальномъ она чувствовала себя нѣсколько менѣе увѣренно, какъ чело-вѣкъ попавшій въ незнакомую квартиру. Она сообщила ему, наконецъ, что разошлась со своимъ мужемъ, котораго безумно любить, — она такъ и сказала: *que j'aime fol-*

lement; и всякій разъ, когда она о немъ говорила, ее обычный, нѣсколько суховатый и быстрый языкъ вдругъ дѣлался медленнымъ и пріобрѣталъ новыя выраженія какого-то особеннаго и печальнаго въ своей шаблонности великолѣпія. Когда онъ однажды не удержался и замѣтилъ ей это, она подняла на него глаза, которые ничего передъ собой не видѣли, и сказала: я боюсь, что вы меня не понимаете, можетъ быть, вы слишкомъ молоды. Потомъ онъ съ ней не встрѣчался нѣсколько недѣль; а затѣмъ встрѣтилъ ее какъ-то вечеромъ, совершенно случайно. Она была непохожа на себя, необычайно весела и оживлена; и онъ сказалъ ей: я очень радъ за васъ, у васъ такой видъ, точно вы получили наслѣдство, — въ тысячу разъ лучше, — отвѣтила она. — *J'ai retrouvé mon mari*. Она была искренна и счастлива. — Я васъ познакомлю, я скажу, что вы были моимъ лучшимъ другомъ. — Зачѣмъ такъ преувеличивать? Я не могъ бы претендовать... — *Si, si*, — перебила она и ей повидимому стало казаться, что Володя дѣйствительно былъ ея лучшимъ другомъ и всегда сочувствовалъ ея несчастью, — хотя онъ явно былъ къ нему равнодушенъ; и онъ помнилъ даже, что вопросъ, о которомъ она какъ-то заговорила съ неожиданнымъ простодушіемъ, — именно вопросъ о ея физическихъ страданіяхъ отъ разлуки съ мужемъ, — показался ему нелѣпымъ и неприличнымъ въ устахъ женщины, несмотря на то, что это и было, судя по всему, главнымъ въ тогдашній періодъ ея жизни. Потомъ она представила Володю своему мужу и это было неловко и немного грустно. Это былъ маленькій, лысѣющій человѣкъ, чрезвычайно самоувѣренный, обидчивый и болѣзненно нетерпимый; и вдобавокъ онъ говорилъ съ такимъ ужаснымъ овернскимъ акцентомъ, что Володя вначалѣ подумалъ, что это просто шутивая манера, нѣсколько затянувшаяся; но потомъ оказалось, что онъ дѣйствительно говорилъ такъ и иначе говорить не могъ. Володѣ стало такъ непріятно, что даже кофе ему показался особенно невкуснымъ и онъ

быстро ушелъ, отговорившись необходимостью идти на свиданіе, котораго не было. И вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно, эта женщина была теперь счастлива; и онъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ себя, неужели можно быть такимъ нетребовательнымъ, неужели нужно такъ мало для того, чтобы чувствовать себя счастливымъ? — Возможно, что я ошибаюсь, — говорилъ онъ себѣ. И онъ думалъ, что навѣрное она создала себѣ какой-то прекрасный мифъ, къ которому не подходитъ никто и только у этого человека есть нѣчто поразительно напоминающее ей ея воображаемаго героя, — какъ въ пейзажѣ скучной и скупой страны вдругъ встрѣчается только одна подробность, свойственная воображаемой природѣ, которую человекъ любитъ такъ давно и постоянно и это сразу дѣлаетъ близкимъ и роднымъ такой на первый взглядъ чуждый и печальный видъ. Но сколько онъ ни искалъ въ этомъ человекѣ чего-нибудь, достойнаго вниманія, онъ ничего не нашелъ; и повидимому, чтобы понять ея несложное и нетребовательное счастье, нужно было обладать ея глазами или ея тѣломъ. Володя думалъ о другихъ людяхъ, которые были по настоящему счастливы, получивъ небольшое повышение по службѣ; о рабочихъ, совершенно довольныхъ своей судьбой, хотя они проводили десять часовъ ежедневно въ дымныхъ и гремящихъ мастерскихъ металлургическихъ заводовъ; эти люди были лишены фантазій, не искали ничего другого, ихъ представленіе никогда не доходило до возможности увидѣть какой-то иной міръ, они были счастливы особеннымъ и неподвижнымъ счастьемъ, — съ дурными запахами, подвалами, въ которыхъ они жили, плохой пищей, которой они питались. — И еще, — думалъ Володя, и можетъ быть самое важное, что характерно и для этой французской журналистки и для этихъ несчастныхъ людей, этой *snig à canon* — это что они никогда не останавливаются. Они начинаютъ жить и тотчасъ же тысячи заботъ, задачъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія, личныхъ дѣлъ, диктуе-

имыхъ тѣми или другими чувствами — любовью, вѣрнѣе, тѣмъ, что эти люди называютъ такимъ словомъ, мество, голодомъ, — занимаютъ весь ихъ досугъ, заставляютъ ихъ совершать множество поступковъ, ошибокъ и преступлений, вся чудовищная нелѣпость и глупость которыхъ можетъ быть только объяснена совершеннымъ отсутствіемъ обдумыванія или пониманія, — и потомъ идутъ нищета или счастье, или катастрофа, или убійство. И всякій разъ, когда какой-нибудь изъ этихъ людей въ силу вынужденнаго досуга, — на каторгѣ, въ послѣдніе годы своей жизни, на своей постели незадолго до смерти или гдѣ-нибудь еще впервые остановится и все передъ нимъ станетъ идти тише, прозрачнѣе и медленнѣй, — онъ вдругъ начинаетъ понимать всю непоправимую бессмысленность своей жизни. Но они не останавливаются и даже въ послѣдніе ихъ часы они все еще по инерціи продолжаютъ мечтать или жалѣть — мелочно и скучно — и умираютъ, такъ и не понявъ, хотя бы на секунду, какъ все это началось бесконечно давно, какъ проходила жизнь и какъ теперь — вотъ все кончается и уже больше никогда ничего не будетъ, — какъ у этого константинопольскаго старика, который поразилъ Володю тѣмъ, что оставялъ на мокромъ асфальтѣ троттуара, — это было послѣ дождя, — слѣды босыхъ ногъ, пять пальцевъ и пятка, хотя былъ въ ботинкахъ. Володя даже обогналъ его и поглядѣлъ внимательно на его ноги; старикъ былъ обутъ въ лакированныя туфли, правда, давно потерявшія свой блескъ, но все же сохранившія форму обуви; затѣмъ Володя отсталъ и снова посмотрѣлъ на слѣды, — опять отпечатокъ босой ноги на троттуарѣ. И онъ понялъ, что отъ этихъ лакированныхъ туфель остался только верхъ, а подошвы не было совершенно. Позже Володя познакомился со старикомъ и узналъ все, что тотъ могъ о себѣ рассказать. Онъ учился на «мѣдныя деньги», былъ сыномъ бѣдныхъ родителей, давая уроки, голодалъ, жилъ въ отвратительныхъ меблированныхъ комнатахъ, и мечталъ о бо-

гатствѣ и комфортѣ. Ему повезло — или не повезло, онъ началъ заниматься коммерціей и со сказочной быстротой разбогатѣлъ. И потомъ, когда все, о чемъ онъ мечталъ, исполнилось, онъ уже не могъ остановиться: все его время было занято финансовыми дѣлами, биржевыми спекуляціями, покупками, продажами, дѣловыми путешествіями; мелькомъ и случайно было нѣсколько женщинъ, которыхъ онъ даже плохо помнилъ, — кажется, ее звали Зина... — если не ошибаюсь, ее звали Катя... — Это было *chemin faisant*, — не то въ гостиницѣ «Метрополь» въ Харьковѣ, не то въ московской «Асторіи», потому была гречанка Марика на пароходѣ, — природа, облака, знаете, море, проливъ, — онъ не чувствовалъ этого, какъ слѣдуетъ, — ни облаковъ, ни моря, ни звучности прекраснаго слова «проливъ», все это было на ходу, этотъ человѣкъ точно быстро ѣхалъ мимо своей собственной жизни, — «Асторія», «Метрополь», Марика, — и все не могъ остановиться. Его состояніе все увеличивалось, деньги росли, какъ во снѣ, уже было много миллионѡвъ, банкъ, помѣстья, мельницы, подряды и вдругъ все сразу ухнуло и поплыло; и какъ ни быстро было его обогащеніе, разореніе шло еще скорѣе. Стрѣляли пулеметы въ Петербургѣ, на югѣ были возстанія, война, пожары, революція; и все стало тихо и все остановилось только въ одно апрѣльское, блистательное утро на берегу Босфора. И не осталось ничего: ни денегъ, ни заботъ, ни богатства, ни перспективъ, ни необходимости быть тогда то въ Москвѣ, а тогда то въ Кіевѣ. — И тогда я началъ понимать, — сказалъ онъ. Но въ противоположность громадному большинству людей, находившихся въ его положеніи, онъ не жалѣлъ о потерянномъ богатствѣ; ему было только обидно, что такъ незамѣтно и глупо прошла жизнь. Онъ вспоминалъ студенческія времена и уже здѣсь, въ Константинополѣ, онъ началъ читать книги, — а книгъ онъ не читалъ очень много лѣтъ. Особенно его волновали стихи и теперь этотъ старый человѣкъ, знавшій всю жизнь «по-

купать», «продать», «не пропустить», «баланс», «итогъ», спрашивалъ Володю, помнить ли онъ эти строки:

Слабѣть жизни гуль упорный,
Уходитъ вспять приливъ заботъ,
И нѣкій вѣтръ сквозь бархатъ черный
О жизни будущей поеть.

Онъ спрашивалъ Володю, что тотъ собирается дѣлать; и, узнавъ, что Володя уѣзжаетъ въ Парижъ, просилъ ему прислать оттуда «Madame Bovary». Володя обѣщалъ; но еще до его отъѣзда старикъ умеръ отъ припадка астмы, — тамъ, гдѣ онъ жилъ, въ глубокомъ и низкомъ Касимъ-пашѣ. И Володя представилъ себѣ его смерть, позднимъ и душнымъ константинопольскимъ вечеромъ, въ маленькомъ деревянномъ домѣ, — и ночной Босфоръ со свѣтлой водой и астматическія, задыхающіяся всхлипыванія его собесѣдника.

Онъ пріѣхалъ тогда въ Константинополь изъ Греціи, — онъ ѣхалъ въ бурную февральскую ночь на каботажномъ катерѣ черезъ Мраморное море; катеръ подбрасывали медленныя волны, корма его высоко поднималась и тогда освобожденный отъ воды винтъ вращался въ воздухъ съ глухимъ и тревожнымъ шумомъ. Точно на сказочномъ кораблѣ, на немъ не было видно ни души, ничей голосъ не отдавалъ команды, только тьма и вода, какъ во снѣ и холодное ночное море; онъ пріѣхалъ въ Константинополь утромъ, было ясно и прохладно и синіе Принцессы острова все точно плыли изъ свѣтлой глубины Босфора и не могли доплыть до береговъ. Его поразилъ запахъ жаренаго мяса, доносившійся изъ какого-то портового ресторана, крутыя и высокія улицы Галаты и еще особенная константинопольская шарманка съ необычайнымъ количествомъ булькающихъ переливовъ мелодіи, точно кто-то въ тактъ музыкѣ лилъ воду изъ большой бутылки. Позднимъ вечеромъ того же дня, послѣ душевной, горячей

ванны, одѣтый въ новый и непривычный штатскій костюмъ, — позднимъ вечеромъ этого дня онъ пошелъ въ ресторанъ «Printania» и сидѣлъ за столомъ въ залѣ съ танцующимъ надъ негритянскимъ оркестромъ синимъ дымомъ отъ папирозъ и сигаръ, слушалъ звуки моднаго тогда фокстрота и былъ совершенно и беззвучно пьянъ, хотя не пилъ ничего; и находился въ такомъ состояніи, когда странно мѣняются предметы, — изъ большого барабана растетъ высокая пальма, вмѣсто рояля — течетъ рѣка и только глаза женщинъ остаются неизмѣнными, какъ всегда. Было два часа ночи, когда онъ возвращался домой, темная тишина стояла на улицахъ и вдругъ до него донесся хрипловатый женскій голосъ, говорившій по-французски съ тѣми неторопливыми русскими интонаціями, съ какими говорили только въ нашей медлительной Россіи и съ какими никогда не говорятъ французы. Володя находилъ вообще непонятную прелесть въ голосѣ у женщинъ, — можетъ быть потому, что онѣ напоминали ему «королеву брилліантовъ», Дину, блистательную Дину, появленію которой всюду предшествовали толки о знаменитыхъ ея брилліантахъ, о разбившихся на нее миллионерахъ и о многочисленныхъ самоубійствахъ, — такъ, точно одна эта женщина послѣ своего прохожденія въ какомъ-либо городѣ оставляла за собой только дымищаеся развалины и груны умершихъ отъ любви людей, приводились имена, неизвѣстныя, но неизмѣнно звучная, скандальныя исторіи, рассказывающіяся шопотомъ и сообщеніе о томъ, что на дняхъ въ собственномъ спальномъ вагонѣ лучшаго въ Россіи курьерскаго поѣзда Дина приѣзжаетъ сюда; уже снятъ весь этажъ самаго дорогого отеля, уже прибылъ ея багажъ изъ заграничныхъ чемодановъ; и оставалось предположить, что уже чистится стальной револьверный стволъ для очереднаго самоубійства. — Однажды ночью, въ номерѣ гостиницы, съ классической запиской: «въ смерти моей никого не винить», — и грузно летитъ въ воздушную пропасть, разверзающуюся подъ

божественными ногами Дины, слѣдующій, невозвратно растраченный милліонъ.

И вотъ онъ ее увидѣлъ однажды подь вечеръ; она проходила по прозрачно-хрустящей аллеѣ кислородскаго парка, въ бѣломъ платьѣ, въ бѣлыхъ туфляхъ; воздушный тюль, какъ легкія крылья, медленно летѣлъ надъ ея плечами; Володя стоялъ на краю аллеи, засунувъ руки въ карманы безжалостно разглаженныхъ бѣлыхъ брюкъ, она прошла мимо него и въ теченіе очень короткаго времени смотрѣла, не замѣчая его, въ его глаза — и тогда онъ замѣтилъ красныя жилки на ея бѣлкахъ. Она давно прошла и давно, все слабѣя, доносился до него ея низкій голосъ съ легкой хрипотой, — она разговаривала со своимъ спутникомъ, высокимъ кавалергардскимъ офицеромъ — а онъ все стоялъ въ томъ же положеніи и не двигался, точно боялся, что первое же движеніе заставитъ исчезнуть навсегда эту женщину, эти глаза, этотъ голосъ. Кажется, она была очень красива.

И вотъ, константинопольской далекой ночью онъ услышалъ такой-же низкій, хриловатый голосъ другой женщины, которая ему напомнила Дину. Она шла не очень далеко отъ него и разговаривала съ человѣкомъ въ мягкой шляпѣ и желтыхъ туфляхъ. — Все это теперь неважно, — говорила она, — я уѣзжаю въ Америку и оттуда уже иначе не прѣйду, какъ первымъ классомъ и какъ богатая американка. Къ чорту все это, — сказала она и такъ тревожно раздалось въ воздухъ это медленное, почти лѣнивое «au diable». — Я васъ понимаю и могу только пожалѣть объ этомъ, — отвѣтилъ мужской голосъ. — Au diable, — повторила она. И еще, послѣ долгаго молчанія, ея голосъ сказалъ: итакъ, если вы не очень далеко живете... — и они свернули за уголъ, гдѣ начиналась точно сорвавшаяся внизъ и чудомъ удержавшаяся въ паденіи узкая улица необычайной, головокружительной крутизны, изъ глубины которой мѣдно и тускло блестяли въ воздухѣ далекіе, желтые огни фонарей. И Володѣ захотѣлось

тогда пойти за ней и сказать ей много ненужных словъ, — все о томъ, что она посылала къ чорту, что онъ такъ любилъ, и измѣна чѣму вызывала у него долгое и томительное ощущеніе, состоявшее изъ грусти и чувственности. Онъ зналъ наизусть всю исторію этой женщины, — тогда всѣ біографіи женщинъ были почти одинаковы: онѣ начинались съ гимназій или института, проходили сквозь гражданскую войну, иногда онѣ ея не пересѣкали и терялись навсегда въ дыму давно забытыхъ сраженій, — но чаще онѣ кончались въ Константинополѣ, Афинахъ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Парижѣ, Нью-Йоркѣ или Лондонѣ, въ неизмѣнной обстановкѣ русскихъ кабарѣ, сомнительныхъ цыганскихъ романсовъ, американскихъ фокстротовъ, коктейлей, англичанъ, французовъ, левантинцевъ, турокъ, — и потомъ гостиница или квартира съ чужой постелью и этимъ невыносимымъ холодомъ простынь, который особенно силенъ, когда ночуешь не дома и, можетъ быть, отъ котораго голосъ дѣлается нѣсколько хриплымъ, какъ отъ простуды или болѣзни или внезапнаго и необычайнаго сильнаго воспоминанія.

Когда потомъ онъ возвращался къ впечатлѣніямъ этой константинопольской ночи, ему каждый разъ нужно было дѣлать усиліе, чтобы возстановить обстановку, въ которой это происходило, и особенно погоду. Съ давняго времени у него образовалась привычка исправлять воспоминанія и пытаться воссоздавать не то, что происходило, а то, что должно было произойти, — для того, чтобы всякое событіе какъ-то соответствовало всей остальной системѣ представленій. И вотъ, ему все казалось, что въ ту ночь въ Константинополѣ была сухая воздушная буря. Въ самомъ же дѣлѣ, было очень тихо и душно. Онъ отчетливо вспомнилъ тяжелое чувство, съ которымъ вернулся домой и которое даже мѣшало ему заснуть въ теченіе нѣкотораго времени. Теперь же ему казалось, что константинопольская незнакомка съ хриплымъ голосомъ была, въ сущности, права, — и поступа-

ла правильно: какъ иначе она могла бы устроить свою жизнь? Теперь ему вообще все казалось инымъ. — Да, — сказалъ онъ себѣ, уже засыпая, — итакъ, это, кажется, просто: не лгать, не обманывать, не фантазировать и знать разъ навсегда, что всякая гармонія есть ложь и обманъ. И еще: не вѣрять никому, не провѣрять.

Всю ночь шелъ дождь, утро тоже было дождливое и пасмурное и только подъ вечеръ появилось солнце и стало теплѣе; установившаяся хорошая погода уже не мѣнялась до Марселя. Володя садился возлѣ самой кормы у борта и слѣдилъ, какъ взбивается и шипитъ пѣна за винтомъ, оставляя чуть извилистый и исчезающій широкий водяной слѣдъ. Иногда, не очень далеко отъ парохода, онъ замѣчалъ маленькій силуэтъ нырка, сидящаго на водѣ и уносимаго волнами: потомъ черная птичья голова быстро опускалась; мелькалъ въ воздухѣ темный задокъ птицы и она исчезала въ глубинѣ. Или вдругъ почти у самага борта парохода, надъ которымъ, свѣсившись до половины, стоялъ Володя, плыла на небольшомъ разстояніи отъ поверхности воды полупрозрачная, громадная медуза, распластавшаяся матовымъ, стекляннымъ пятномъ съ медленно движущимися очертаніями. Затѣмъ рѣзкій, пискливый крикъ надъ головой заставилъ его поднять глаза: большая бѣлая птица пролетѣла, пересѣкая вкось движеніе парохода; и такъ же мѣрно и безошибочно, какъ билось ея сердце, безъ усталы взмахивала въ свѣтломъ воздухѣ своими длинными безшумными крыльями; потомъ вдругъ растягивала ихъ во всю длину и, переставъ ими шевелить, склонивъ набокъ все свое тѣло, стремительно опускалась до поверхности моря и, почти не за дѣвая ее, такъ же легко и сильно взмывала вверхъ и потомъ улетала все дальше и дальше, и уже издадека тускло блестяли ея бѣлыя перья подъ лучами солнца.

Г. Газдановъ.

Весь стихотворный отделъ въ этомъ номерѣ „Современныхъ Записокъ“ посвященъ творчеству молодыхъ поэтовъ, причемъ самый выборъ печатаемыхъ стихотвореній редакціей предоставленъ полностью соответствующимъ объединениямъ поэтовъ.

I. «Объединеніе поэтовъ и писателей» (Парижъ)

Все кончалось медленно и скупю,
Тихій день и скучныя мечты.
У сосѣда грамофонный рупоръ
Надрывался, вылъ до хрипоты.

А въ окнѣ мечтательный лабазникъ,
Отдыхая отъ дневной жары,
Барыши подсчитывая въ праздникъ,
Уносился въ дальніе міры.

Было жарко. Было воскресенье.
Дальнихъ звѣздъ касался долгій день.
Возникали будничныя тѣни,
Разгоняя праздничную лѣнь.

И лабазникъ, тучный и печальный,
Но довольный собственной судьбой,
По стеклу стучалъ кольцомъ вѣнчальнымъ .
Не замѣтивъ крыльевъ за собой.

Леонидъ Ганскій.

НОЧЬЮ.

Не спишь и такъ близко, такъ ясно,
Такъ тихо, неожиданно, безъ словъ:
«О вспомни, пойми — все напрасно,
Ты проклять навѣки вѣковъ».

Молчанье. Глаза закрываю.
 Бѣжать? Но куда убѣгу!
 И плачу, и что то считаю
 И все сосчитать не могу.

Пустотъ неподвижныхъ громады,
 Безсмысленныхъ цифръ торжество.
 И нѣтъ ни конца, ни пощады,
 Ни зла ни добра — ничего.

В. Злобинъ.

*

Внѣ состраданья, внѣ страданья,
 Почти любовь, скорѣй тоска,
 Есть ревность: та, что безъ желанья,
 Она безумна и жалка.

У бѣдныхъ, ею одержимыхъ,
 Такъ много дѣлъ непоправимыхъ
 И тайныхъ слезъ, необъяснимыхъ.
 Все имъ ненужно, все неважно,

Ни блажь ума, ни тѣла дрожь...
 — Печальнѣй лжи любви продажной
 Любовь, похожая на ложь.

Лазарь Кельберинъ.

Георгію Иванову.

Тишина, всплескъ огней, тишина.
 Паруса привидѣнными въ воду повисли.
 — Слушай, молчи, — это слишкомъ немислимо,
 Вѣдь тамъ наша жизнь рѣшена. —
 Только память о смерти сотри.
 — Ахъ, слова это звѣздныя пропасти,

И разума намъ не спасти,
Посмотри, вотъ туда посмотри. —
Небо тамъ, гдѣ-то, вездѣ, —
Все равно, гдѣ глаза, и гдѣ взгляды потерей, —
Тамъ, гдѣ парусъ вздыбленъ реей,
Загорѣлась печаль на прекрасной звѣздѣ.
Тамъ навѣрное сердцу остыть.
Тамъ сердце не станеть биться.
Вотъ такъ умираеть птица,
Вѣра, надежда, и стыдъ.

Викторъ Мамченко.

Ночная игла качается,
Уходить изъ-подъ ногъ,
И глухо начинается
Безсвязный діалогъ.

О чемъ? Я самъ не вѣдаю.
Слова, слова, слова.
Но сбивчивой бесѣдою
Томится голова.

Рости, разноголосица
Безсонницы моей!
Мнѣ прерывать не хочется
Невольный звукъ рѣчей.

До утра цѣпью длинную
Безцѣльно доплыву,
И ночь моя невинною
Предстанеть наяву.

Мнѣ въ этотъ бредъ не вѣрится,
Душа не тѣмъ жива.
Мели, ночная мельница,
Слова, слова, слова...

Юрій Мандельштамъ.

1.

Теперь,
 Когда мы стали взрослые съ тобой,
 Когда о счастья рѣчи быть не можетъ,
 Когда на твой, на мой вопросъ нѣмой
 Одна печаль, одна печаль насъ гложеть,

Безъ низкой клеветы, обидъ и злобы
 Взгляни въ глаза, пойми простую рѣчь —
 Въ любви — мы въ этомъ виноваты оба —
 Себя нельзя жалѣть, нельзя беречь.

Нѣтъ. Насъ взметааетъ не земнымъ огнемъ
 Въ огромномъ счастьи, въ радости любовной,
 Когда безъ жалости и безусловно
 Себя сжигаемъ мы и предаемъ.

Юрій Софіевъ.

Въ Финляндіи, гдѣ ѣздятъ на саняхъ,
 Въ странѣ суровой снѣга и гранита,
 Въ странѣ озеръ... Нѣтъ, только дымъ и прахъ
 Слѣпить глаза мнѣ. Навсегда забыты
 И монастырь и звѣзды безъ числа
 Надъ лѣсомъ снѣжнымъ. Въ городѣ далекомъ
 Колокола звонятъ, колокола —
 Не надъ московскимъ варварскимъ востокомъ
 Серебряный средневѣковый звонъ
 Колеблющійся воздухъ раздвигаетъ.
 Не надо смерти, гробовыхъ именъ,
 Сегодня Библия меня пугаетъ
 Безмѣрнымъ, труднымъ вымысломъ своимъ,
 Тысячелѣтнимъ бредомъ. Нѣтъ, не надо!
 Я потерялъ мой путь въ Іерусалимъ:
 Жестокой стражъ пасетъ людское стадо,
 Вѣка летять, летить по вѣтру пыль,
 Шумить судьбы кустарникъ низкорослый..

—Давно завяль и вырось вновь ковыль
Въ скалистой Таврій, гдѣ мальчиномъ, какъ взрослый,
Съ Гораціемъ иль съ Гоголемъ въ рукахъ
Сидѣль я на курганѣ утромъ раннимъ.
Два голоса звучали мнѣ въ вѣкахъ —
И скифъ и римлянинъ. Еще въ туманѣ,
Въ чуть намѣчавшейся душѣ моей
Я смутныя предвидѣль очертанья,
Внукъ Запада, таврическихъ степей
Я раннее узналь очарованье.
Незримая Италія моя
Надъ крымскими витала берегами;
Черезъ вѣка къ ней возвращался я;
Въ степи съ украинскими казаками
Я дикость вольную переживалъ,
Я вѣрилъ въ духовъ страшныхъ и чудесныхъ,
Бродя осеннимъ вечеромъ межъ скалъ.
Незримо я касался тайнъ небесныхъ,
Загробныхъ, страшныхъ тѣней бытія,
Видѣній безъ конца и безъ начала.
Порою, вечеромъ, сестра моя
Играла на рояли. Ночь молчала.
И, какъ снѣжинки, бурей ледяной
Потоки звуковъ — цѣлый міръ нездѣшній
Вдругъ прорывался, былъ передо мной.
Я забывалъ тогда о жизни вѣшней,
Я становился чистымъ и святымъ,
Я трепеть чувствовалъ одуховленья.
Все — только тѣнь. Все это — прахъ и дымъ,
Безплодное мечтанье вдохновенья.

Ю. Терапіано.

Все осталось невозможнымъ,
 Вѣчно-памятнымъ, печально-голубымъ...
 Въ этой жизни — праведной и ложной,
 Благодарно-горестнымъ такимъ.

Въ недоступности своей несложной,
 Сердце оставалось осторожнымъ,
 Сердце оставалось молодымъ...

Только слушало — въ несмѣломъ восхищеньи
 Голосъ Вашъ, надменный и родной —
 Не любовь — а только тѣнь отъ тѣни
 Той, что называется земной...

Лидія Червинская.

II. „Перекрестокъ“ (Парижъ)

1.

Изъ распахнушагося яркаго окна —
 обрывки музыки — и снова: тишина
 и рѣдкихъ капель гулкое паденье...

Такъ горькаго письма: «Мой бѣдный, бѣдный другъ...»
 — не въ силахъ удержать внезапной дрожи рукъ —
 приостанавливаешь чтение.

2.

По краю неба проползла,
 гремя, блистая бесполезно,
 и на востокъ залегла
 грядую изсиня-желѣзной.

Еще тамъ бѣгаютъ, огни,
еще недоброе творится,
какъ въ лихорадочные дни,
когда готова разразиться

надъ міромъ буря новыхъ бѣдъ:
возстанія, пожары, войны...
Лишь здѣсь — холодный звѣздный свѣтъ,
холодный, пристальный, спокойный.

3.

Подъ легкимъ вѣтромъ задрожавшій листъ,
ночной звѣзды пустынное паденье,
ударъ волны, ея обратный плескъ,
и беззащитный голосъ человѣка...

И если даже ни одна душа
тебя не слышитъ, — Я тебя услышалъ
задолго до того, какъ ты сказалъ:
«Я одинокъ!...»

Георгій Раевскій.

Они живутъ — нѣтъ, умираютъ — тамъ
Гдѣ льды и льды и мгла плыветъ надъ льдами,
И смерть изъ мглы слетаетъ къ ихъ сердцамъ
И крутитъ, крутитъ, крутитъ надъ сердцами.

Они молчатъ. Снѣгъ замечаетъ слѣдъ...
Но въ мірѣ нѣтъ ни боли, ни печали,
Отчаянья такого въ мірѣ нѣтъ,
Котораго-бъ они не знали.

Дрожа во мглѣ и стужѣ, день и ночь
Ихъ сторожить безуміе тупое,
И нѣтъ конца, и некому помочь,
И равнодушно небо ледяное.

Но для того избралъ тебя Господь,
И научилъ тебя смотрѣть и слушать,
Чтобъ ты жалѣлъ терзаемую плоть,
Любилъ изнемогающія души.

Онъ для того тебя оставилъ жить
И наградилъ свободою и лирой,
Чтобъ могъ ты за молчащихъ говорить
О жалости — безжалостному міру.

Влад. Смоленскій.

III. „Кружокъ поэтовъ“ (Берлинъ)

Горькой человѣческой тоскою
До краевъ мнѣ душу напоя,
Зналъ ли ты, что нѣжностью такою,
Вѣрностью такой отвѣчу я.

И сама я, къ тѣни приникая,
Призракомъ себя заполоня,
Развѣ знала, что желанный рай,
Грѣшный мракъ желанный для меня.

Раиса Блохъ.

МОЛИТВА.

Славою обѣтованнаго
Купола золотоглаваго,
Мученическимъ предстательствомъ
Праведниковъ и святителей,
Подвигами и молитвами
Голубя любвеобильнаго,
Дивными, неизъяснимыми
Милостями Богоматери...

Николай Бѣлоцвѣтовъ.

НОЧАМИ.

Ночами, когда стихаетъ
 И въ пустыхъ корридорахъ улицъ
 Дома, скованы молчаньемъ,
 Стоять четки и строги,
 Какъ несгораемые шкафы,
 Когда вверху на огромной глади
 Безстрастно надъ домами
 Холодной твердой эмалью
 Одинаковыя блещутъ звѣзды,
 Ночами сквозь боль встаетъ иное:
 Говорливыхъ лѣсовъ зеленый шопоть,
 Серебристый плескъ ласковыхъ рѣчекъ
 И бѣлой гостиницы свѣтлый звонъ.

Михаиль Горлинъ.

Пройдетъ трамвай — и въ бѣгѣ колеса
 Взметнутся листья вихремъ золотистымъ,
 Прохожій въ паркѣ подзываетъ пса
 Разсѣяннымъ и приглушеннымъ свистомъ.

Все тронуту прощальной тишиной, —
 И стукъ мяча на теннисной площадкѣ,
 И взмахъ руки въ заштопанной перчаткѣ,
 И женскій голосъ гдѣ-то за спиной.

Да, осень, осень. Въ шумѣ городскомъ
 Вдругъ различаешь новыя созвучья,
 Съ невольной дрожью топчешь каблукомъ
 На тротуары сваленные сучья.

Какая жалость въ мѣрѣ разлита,
 Какъ предана душа воспоминаньямъ, —
 Какимъ испепеляющимъ лобзаньямъ
 Мѣрѣ отдаетъ покорныя уста.

Вл. Потровскій.

Узоръ обоевъ вылинялъ слегка,
И потолокъ висѣлъ крутой и голый.
Текла болѣзни сонная рѣка.

Сперва чернѣли обшлага и полы
Застегнутаго наспѣхъ сюртука,

Слоился дымъ въ опущенныхъ усахъ,
За стеклами глаза мерцали мелко,
Секундами пощелкивала стрѣлка
На выпуклыхъ серебряныхъ часахъ.

Шаги домашнихъ были такъ легки,
Скрипѣла дверь разстроенною скрипкой,
А онъ стучалъ одной рукой негибкой
О старческій суставъ другой руки.

Тогда казалось: нынѣ и навѣки
Въ окнѣ деревьевъ мерзлые штыки,
Горячій лобъ, расплавленные вѣки...
Въ тѣ времена лѣкарства изъ аптеки
Бумажные носили колпаки.

Софія Прегель.

IV. „Скигъ“ (Прага)

**

Разобранъ лѣсокъ тропинками.
По ребрышкамъ и бренча,
С заминками и съ запинками
Подходить вода ручья.
Какъ будто уже погонями
Застигнута — ты бѣжишь,
Зачерпываешь ладонями,
Хоронишься за камышъ.
И смотришь, и снова кажется,
Что тамъ, въ глубинѣ руки,

Шальное крыло развяжется
И вылетятъ свѣтляки.
Сейчасъ изъ-подъ кожи выступить
Живая голубизна,
И выпорхнетъ кровь на выступы
Изъ неживого сна.
Горя легчайшими мушками
Отъ счастья и отъ стиха,
Схоронится за подушками
Гагачей опушки мха.
Чтобъ вечеромъ не замѣтили
Настоящiе свѣтляки,
Кто чертитъ синiя петли
Огнемъ у твоей руки.

Алла Головина.



Отъ нѣжности тяжелой не уснуть
Всю ночь. Не думать и не ждать разсвѣта.
Пусть молодость еще одну весну
Встрѣчаетъ звонкимъ изступленнымъ цвѣтомъ.
Мы не услышимъ. Мы еще пьяны
Разлуки изнуряющимъ дурманомъ,
И голосъ искупающей весны
Взываетъ поздно или слишкомъ рано.
Спокоенъ сонъ неполюбившихъ насъ.
Мы промолчимъ, не назовемъ ихъ даже.
Мы скроемъ пустоту безслезныхъ глазъ
И душъ самодовлѣющую тяжесть.
И будетъ ночь пустынна, какъ всегда,
На сквознякѣ большихъ безсонныхъ комнатъ,
Когда любовь нахлынетъ, какъ вода,
И насъ утопитъ въ нѣжности огромной.

Татьяна Ратгаузъ.

СТИХИ О ГУЛЛИВЕРЬ.

Тишина какъ глухая пещера,
крѣпко спитъ лиллипутъя страна;
только душная ночь Гулливера
вновь съ пустыми руками — безъ сна.
Гулливверъ, на листахъ иллюстрацій
ты на бодрого янки похожъ,
ты раскатисто долженъ смѣяться,
чтобъ спасти эту дѣтскую ложь.
Но безсильная горечь по крысьи
гложетъ сердце все глубже и злѣй, —
головой ты въ заоблачной выси,
а ногами на этой землѣ.
И надъ сердцемъ твоимъ безъ опаски
лиллипуты ведутъ хороводъ
и твою простодушную маску
букинистъ на прилавокъ кладетъ.
Гнѣвной рифмой хмелѣй на разсвѣтѣ!
Чахнетъ муза съ тобою въ плѣну,
и завидуютъ малыя дѣти,
что нашелъ ты такую страну.
Задыхаешься, плачешь и стонешь,
окружилъ мелюзгой тебя Свифтъ,
и широкія эти ладони
подымаютъ ихъ къ солнцу какъ лифтъ.
И сквозь строй заколдованныхъ сутокъ
по игрушечнымъ верстамъ равнинъ
гонять душу твою лиллипуты,
заклейменную словомъ — «одинъ».

Эмилія Чегринцева.

V. „Цехъ поэтовъ“ (Таллинъ)

ВЕЧЕРЪ.

Ласково въ душу крадется прохлада.
 Сыростью тянетъ отъ темныхъ полей...
 Словно качели взлетаютъ и падаютъ —
 Скрипъ неумолчный коростелей.
 Влажно синѣя, дремлютъ покосы.
 Бѣлый туманъ, качаясь, плыветъ...
 — Снова мнѣ вспомнились дѣвичьи косы,
 Страстью нетронутый ротъ.

Е. Базилевская.

БАРАТЫНСКИЙ.

Сѣверный берегъ унынія,
 Дремлетъ тяжелый понтъ.
 Смерти прямая линия —
 Траурный горизонтъ.

Скорбное чайки пророчество.
 Бѣлый тусклъ полусвѣтъ.
 Богъ своего одиночества —
 Блѣдный застылъ поэтъ.

Словно спросонья — финскаго
 Медля ползетъ волна.
 Это его, Баратынскаго —
 Сумрачная страна.

«Щастіе», шепчетъ, «нѣтъ щастія...»
 И улыбался — «пусть!»
 Легкій столбнякъ сладострастія —
 Уединенія грусть.

Юрій Иваскъ.

I.

Я видалъ удивительный край, —
Оглушительно-радужный рай:

Водопады и пропасти, алый туманъ,
Переливы торжественныхъ фата-морганъ.

Какъ кометъ бирюзовыхъ хвосты,
Перекинуты были мосты,

И по нимъ, какъ по звонкому синему льду,
Я, мерцаая, скользилъ со звѣзды на звѣзду.

Отъ развернутыхъ радостныхъ дугъ
Исходилъ ослѣпительный звукъ:

Каждый цвѣтъ волновался, струился и пѣлъ,
Каждый звукъ былъ подобіемъ огненныхъ тѣлъ.

И текли, и журчали года,
Какъ въ рѣкѣ незамѣтно вода.

Эту смѣсь алколондовъ я изобрѣлъ.
Это былъ только шприца короткий уколъ.

Борисъ Нарциссовъ.

Отрывки воспоминаний *)

Революція на фронтѣ.

Въ сущности, въ первое время ничего не измѣнилось на фронтѣ. Солдаты продолжали сидѣть въ окопахъ, вло перестрѣливаясь съ нѣмцами. Въ ближайшемъ тылу топили землянки, варили пищу, рѣзали дрова, несли дежурство. Правда, вмѣсто «благородія» появилось совершенно безмысленное и не менѣе буржуазное обращеніе солдатъ къ офицерству: «господинъ подпоручикъ», «господинъ полковникъ»; кое-гдѣ само офицерство догадывалось снимать погоны, кое-гдѣ посрывали ихъ солдаты. Также скучали въ бездѣйствіи санитарные отряды, офицерство ухаживало за сестрами.

Но всѣ, и офицерство, и сестры, и врачи, и земгусары — всѣ дѣлали видъ, что не только измѣнилось правитель-ство и вмѣсто Николая II у власти группа интеллигентовъ, а что измѣнились они всѣ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней не только солдаты, но весь командный составъ легко и просто измѣнилъ государю. Монархистовъ не осталось среди офицерства. Легко и просто вдругъ стали вѣжливы съ солдатами, перешли на «вы», прибавляли къ приказу «пожалуйста».

Я выписалась изъ госпиталя, когда рана не вполне еще

*) Печатаемые здѣсь отрывки представляютъ собою отдѣльныя главы изъ выходящей по-англійски новой книги А. Л. Толстой.

Перепечатка, безъ особаго на то разрѣшенія издательства Yale University Press, которому авторомъ уступлены всѣ права, не допускается. — Ред.

зажила. Докторъ назвалъ меня безумной, но отпустилъ. Въ самую распутицу, въ мартѣ, я прѣѣхала въ отрядъ.

— Васъ ждутъ санитары, — сказалъ начальникъ летучки, — когда вы можете пойти къ нимъ?

Этого никогда не было. Но теперь все было по иному, я вступила въ исполненіе своей роли.

— Хорошо, соберите команду! — сказала я.

— Здравствуйте, санитары! — поздоровалась я, входя.

— Здравія желаемъ, — отвѣтили они, — господинъ... госпожа уполномоченный.

— Граждане! — сказала я, — за это короткое время Россія пережила великія событія. Русскій народъ отряхнулъ съ себя оковы стараго царскаго гнета...

Слова были какъ будто самыя настоящія, но было мучительно стыдно. Я продолжала и, когда не хватилъ словъ, крикнула:

— Урра! Да здравствуетъ свободная Россія!

— Урраааа! — подхватили солдаты.

Меня окружили, хотѣли качать. Я въ ужасъ схватилась за большой бокъ. Начальникъ летучки спасъ, качали его.

— Дозвольте спросить, госпожа уполномоченный, по какому случаю летучка перемѣщается?

— Приказъ начальника дивизіи.

— Почему же именно на это мѣсто въ лощину?

— Мы съ начальникомъ летучки лучшаго мѣста не нашли.

— Дозвольте сказать. Не мѣшало бы отрядному комитету осмотрѣть мѣстность, обсудить...

Коллективное начало вступало въ свои права, надо было съ нимъ считаться. Осматривали мѣстность пять чело-вѣкъ. Обсуждали, спорили. Лучшаго мѣста не нашли и, потерявъ три дня, остановились, наконецъ, на той же лощинѣ, которую мы выбрали съ начальникомъ летучки. Не успѣли расположиться, какъ иѣмцы насъ обстрѣляли.

Было еще темно. Я проснулась отъ знакомаго звука. Забухали тяжелыя орудія, одинъ за другимъ просвистѣли тяжелыя снаряды.

Встрепенулись люди, заговорили, загремѣли цѣпями лошади на коновязи, какъ всегда, завылъ отрядный большой пѣсь «Рябчикъ».

Нѣсколько снарядовъ шлепнулось въ противоположный берегъ, фонтаномъ взрывая землю.

Какъ безумные, изъ палатокъ, гдѣ лежали больные и раненые, побѣжали санитары къ блиндажу.

— Куда? Мерзавцы! Раненыхъ бросать! — забывъ о новой принятой на себя роли вѣжливости, оралъ начальникъ летучки.

Но людей точно подмигнули, не помогали ни окрики, ни увѣщанія. Съ горы, изъ сосѣднихъ воинскихъ частей въ одномъ бѣльѣ бѣжали въ нашу лошину солдаты.

— Братцы! — оралъ солдатъ во все горло, — братцы! Спасайся, кто можетъ!

Разсвѣтало. Въ желто-красномъ заревѣ надъ мутнымъ туманомъ лѣса показалось темное пятно, окруженное мелкими точками. Постепенно увеличиваясь, оно плыло ближе и ближе. Съ шумомъ пролетѣлъ надъ нами Илья Муромецъ, окруженный свитой фармановъ.

Разинувъ рта, солдаты медленно поварачивали головы, слѣдя за уплывающими аэропланами. Орудія смолкли. Стали расходиться. Было что-то бесконечно слабое и жалкое въ бѣлыхъ, въ одномъ бѣльѣ, босыхъ, согнутыхъ фигурахъ, ползущихъ въ гору.

— ...вашу мать!

Персональ повскакивалъ съ мѣсть, одна изъ сестеръ пронзительно взвизнула.

— Сволочи!! Мать вашу...!

Тяжелый кулакъ съ силой ударился объ столъ. Задребезжала посуда, стоявшая съ краю чашка женничь-врача подскочила и со звономъ упала на полъ. И снова дернулся въ разныя стороны испуганный медицинскій персональ.

Завѣдующій хозяйствомъ, полячокъ, въ другія времена давшій бы солдату по мордѣ, подскочилъ къ нему съ заискивающей улыбкой.

— Что съ вами, товарищъ? Успокойтесь!

— Сволочь! Посылаете въ такую погоду! А сами въ теплѣ, чаекъ попиваете!

Лицо сѣрое, забрызганное глиной, такое же сѣрое, какъ залѣпленная грязью шинель. Дрожать губы, дергается круглый подбородокъ, убѣгаютъ глаза.

— Не надо такъ... Поговоримъ завтра!

Я положила руку на его корявый рукавъ, на минуту поймала голубые глаза. И вдругъ онъ весь осылъ, сжался.

— Двуколка перевернулась. Замучился... Никакъ не вылъзешь, лошади потащили, ногу прихватило. Развѣ такъ можно? — разсердился онъ опять, — засвѣтло надо больныхъ отправлять!

Вышелъ, хлопнувъ дверью и оставивъ за собой лепешки грязи. Аккуратненькая сестра-хозяйка встала и собрала съ полу осколки чашки.

— Мозговой аффектъ, — сказалъ врачъ. — Онъ былъ контужень. Санитары говорили, что у него бываютъ иногда припадки. Одинъ разъ чуть товарища топоромъ не зарубилъ.

— То ли еще будетъ, — сквозь зубы процѣдилъ поллячокъ, — если бы это животное знало, что его могутъ разстрѣлять за оскорбленіе начальства, повѣрьте мнѣ, никакихъ бы аффектовъ не было! Дисциплины нѣтъ...

— Что бы тамъ ни было, избавиться надо отъ этого человѣка, — сказала женщина-врачъ, — онъ опасенъ для больныхъ, онъ опасенъ намъ...

— Ахъ, какъ я испугалась! Я думала, онъ насъ всѣхъ перебьетъ! — и хорошенькая сестра съ каштановыми волосами, спускавшимися колечками на лобъ, покосилась на старшаго врача, который за ней ухаживалъ. — Почему вы не остановили его, Николай Петровичъ?

— Человѣка, дѣйствующаго подъ влияніемъ аффекта, ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ раздражать... Давайте лучше сыграемъ въ шахматы.

Было душно въ комнатѣ, душно отъ разговоровъ. Бушевалъ вѣтеръ, дождь порывами билъ въ окно. А гдѣ то тамъ, въ темнотѣ, въ тѣсныхъ, вонючихъ солдатскихъ баракахъ назрѣвало большое, жуткое. Его глушили годами и вотъ теперь оно вырывалось безобразными неумѣлыми порывами, вырывалось съ невѣроятной, стихійной силой.

Савельевъ могъ ударить, убить. Было страшно отъ этой мысли, но злобы возмущенія не было. Убилъ бы и не былъ бы виноватъ, а только жалокъ.

Я говорила съ нимъ на другой день.

— На кой намъ чортъ эта революція! вмѣсто царя Львовы тамъ или Керенскіе. Все равно сидѣть въ окопахъ, во вшахъ, въ грязи! — говорилъ онъ, захлебываясь, слѣша, точно боялся, что не успѣетъ высказать все. — Вонъ, вашъ полячишка распоряжается, въ теплѣ чай и винцо

попиваетъ... А чѣмъ мы хуже его? Я жену больше года не видалъ...

Условности, искусственность отношеній между начальствомъ и подчиненными исчезли. Онъ плакалъ, грязнымъ кулакомъ размазывая слезы по лицу, какъ ребенокъ.

— Гдѣ жъ она правда? Фельшаръ въ перевязочномъ говоритъ: «Довольно съ нѣмцами воевали, вали, ребята, въ тылъ воевать съ буржуями, у помѣщиковъ землю, у фабрикантовъ фабрики отбирать». А взводный нашъ: «сволочь», говоритъ, «вы всё трусы, родину нѣмцу продаете. Долгъ солдата за Рассею до побѣднаго конца стоять». Гдѣ жъ она правда?

Всѣ говорили рѣчи. Вездѣ какъ грибы выросли трибуны. Куда ни прѣдешь, вездѣ собранія. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всѣхъ, призывали бросать фронтъ, не подчиняться офицерамъ.

Говорили офицеры, сестры, — всѣ. Помню, прѣехала въ отрядъ. На трибунѣ большевикъ. Не успѣлъ кончить, вскочилъ на трибуну шофферъ, полякъ, съ которымъ я только что прѣехала.

— Товарищи, — началъ шофферъ, какъ будто онъ только и дѣлалъ всю жизнь, что говорилъ рѣчи. — Товарищи, я полякъ, но я русскій патриотъ, я за войну до побѣднаго конца! Безъ аннекцій и контрибуцій!

Онъ выкрикивалъ короткія фразы, билъ себя по кожливой курткѣ въ грудь и, когда кончилъ...

— Уррааа! — крикнули солдаты и хотѣли его качать, но вдругъ на трибуну не взошелъ, а взлетѣлъ первый ораторъ:

— Долой наймитовъ капитала! — заоралъ онъ во все горло. — Долой пивокъ, сосушихъ кровь изъ трудового народа! Въ то время, какъ вы голодные, холодные, во вшахъ, сидите въ окопахъ, царскіе шпіоны, уклоняющіеся отъ военной службы, ради своихъ интересовъ... Да здравствуютъ совѣты солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ! — закончилъ ораторъ.

— Уррааа! — заревѣли солдаты, неловко хватая оратора за ноги и за руки и взмахивая его кверху.

Заклокотало у меня въ груди, вскочила и я на трибуну и произнесла патриотическую рѣчь. Это было сумасшествіе. Запомнился одинъ начальникъ дивизіи. Ста-

рикь-болгаринъ, стамбуловець. Говорили, что тѣло его покрыто рубцами, сѣкли за революціонную дѣятельность въ родной странѣ.

Онъ говорилъ безъ выкриковъ, просто, душевно. Говорилъ о необходимости держать фронтъ, о вѣрности Временному Правительству. Когда кончилъ, расплакался и солдаты были растроганы, долго кричали ему «ура».

Но при первыхъ же звукахъ крикливаго голоса новаго оратора улетучилось впечатлѣніе спокойныхъ словъ. Ыдкая злоба, месть, ненависть били по издерганнымъ нервамъ, ударили въ голову, будили подавленные вѣками могучія волны независимости, гнѣва.

— Долой царскихъ генераловъ! Сплотившись во единый мирный фронтъ, пролетаріатъ всего міра дастъ отпоръ капиталистамъ, палачамъ! Товарищи! Долой братоубійственную, имперіалистическую войну! Стройте мирную социалистическую жизнь! Миръ хижинамъ, война дворцамъ!

Слова были новыя, непонятныя. Но они жгли огнемъ, они звали къ чему-то неизвѣданному и безъ сомнѣнія лучшему, чѣмъ было до сихъ поръ.

Генераль низко склонилъ сѣдую голову и, точно сразу постарѣвъ и ослабѣвъ, сгорбился и, сопя носомъ, отошелъ въ сторону.

За Молодечно, подъ Крево, былъ сосредоточенъ кулакъ противъ нѣмцевъ. Яблоку негдѣ было упасть. Въ каждомъ перелѣскѣ — батарен, войска. Съ трудомъ нашли мѣсто для второй летучки, но опасное, неприкрытое.

Я никогда не видала такого артиллерійскаго боя. Разговаривать нельзя было, въ ухахъ стоялъ гулъ. Подвоили все новые и новые снаряды, лопались орудія.

Раненыхъ было немного. Большинство инвалиды, офицеры, солдаты мало, съ пустяшными раненіями.

— Ну, перевязывай, тебѣ говорятъ, — и солдатъ тыкалъ сестрѣ въ носъ обрубкомъ пальца.

— Подождите, товарищъ, есть раненые въ животь...

— А я тебѣ говорю, перевязывай.

— Не могу, распоряженіе...

— Ахъ, ты сводочъ этакая! Б...ь офицерская! Перевязывай, тебѣ говорятъ!

— Что за шумъ? Въ чемъ дѣло? — съ поднятыми кверху чистыми руками врачъ выходилъ изъ перевязочной. — Раненыхъ въ голову и въ животъ въ первую очередь, — и онъ снова скрывался за дверью.

А солдатъ съ пальцемъ долго и нехорошо ругался.

Говорили, что семь рядовъ проволочныхъ заграждений, окопы, — все было сметено артиллерійскимъ огнемъ. Нѣмцы бѣжали. Но и тамъ шла не перестающая агитація.

— Нѣмцы! Товарищи! Нѣмецкая кавалерія! — кричалъ кто-то, завидѣвъ удирающаго съ передками нѣмца. И солдаты бѣжали.

Вечеромъ, послѣ боевъ, когда русскіе продвинулись и снова заняли прежнія позиціи, въ персональской столовой сидѣлъ мальчикъ-прапорщикъ и, закрывъ лицо руками, плакалъ.

— Солдаты! Какіе мерзавцы, я никогда не думалъ, что они такіе мерзавцы, — бормоталъ онъ сквозь слезы. — Вы знаете? Мой лучший другъ убитъ... Да въ общемъ всѣ офицеры перебиты, кажется я одинъ остался. И какъ убитъ! Мерзавцы! Бросили пулеметъ, бѣжали. Онъ былъ раненъ въ ногу, подползъ, нажалъ кнопку, продолжалъ стрѣлять. Вторымъ снарядомъ его убило. Какова смерть? А? А вы знаете, что они говорятъ? Я слышалъ. «Вотъ, говорятъ, какъ офицерству война выгодна. Раненый и то полѣзъ опять стрѣлять, наемникъ буржуазіи». О, мерзавцы!

И мальчикъ-прапорщикъ снова горько заплакалъ.

Въ первую летучку пріѣхала ревизія осматривать лошадей. Дивизионный врачъ, представитель отъ Всероссійскаго Земскаго Союза и еще кто-то. Въ ту пору благодарчупадку дисциплины вездѣ, почти во всѣхъ конныхъ частяхъ, какъ въ военныхъ, такъ и въ общественныхъ организаціяхъ появилась чесотка. У насъ въ отрядѣ ея не было.

Вызываю начальника летучки, тотъ фельдфебеля, передается приказъ привести лошадей. У cadaго санитара по двѣ лошади на рукахъ, всего съ верховыми около ста тридцати.

Комиссія ждетъ. Проходитъ минутъ двадцать, лошадей нѣтъ. Вдругъ меня вызываютъ. Прибѣжалъ фельдфебель взволнованный.

— Госпожа уполномоченный! Что дѣлать? Санитары отказываются вести лошадей.

— Что!?

— Такъ что санитары говорятъ: ежели начальство интересуется, могутъ сами придти къ коновязямъ лошадей смотрѣть...

Дѣлая видъ, что я не разслышала или не поняла, я строго сказала:

— Я очень недовольна, что вы такъ долго заставляете ждать начальство. Вы знаете, что наши лошади въ порядкѣ и беспокоиться намъ нечего. Скажите командѣ, что я увѣрена, что все сойдетъ хорошо, потому что вездѣ лошади въ чесоткѣ, а у насъ нѣтъ. И тогда ведро вина командѣ.

— Но госпожа уполномоченный...

— Вы слышали, что я сказала? А теперь живо. Чтобы черезъ пять минутъ лошади были здѣсь. И не забудьте сказать каптенармусу насчетъ вина.

— Слушаюся.

Черезъ пять минутъ показалась стройная колонна, каждый солдатъ велъ свою пару лошадей. Лошади сытыя, чищенныя, совершенно здоровыя.

Начальство осталось довольно:

— Молодцы, санитары!

— Рады стараться, господинъ генералъ!

Всѣ развеселились, солдаты заулыбались.

Но положеніе дѣлалось серьезнѣй съ каждымъ днемъ. Дисциплина падала. Особенно плохо было во второй летучкѣ. Начальникъ ничего не могъ сдѣлать съ командой. Отказывались работать, грубили. Былъ даже случай отказа передвинуться на новое мѣсто по приказу начальника дивизіи.

Разложеніе шло быстро. Когда при осмотрѣ войскъ командиръ корпуса зашелъ въ перевязочный отрядъ, старика никто не встрѣтилъ. Онъ сгаль обходить землянки. Солдаты валялись на койкахъ и на привѣтствіе генерала — «здорово, санитары», не поднимаясь, лѣниво тянули: рика никто не встрѣтилъ. Онъ сталъ обходить землянки. Солдаты валялись на койкахъ и на привѣтствіе генерала — «здравствуйте». А то и вовсе не отвѣчали. Большевикская пропаганда, какъ ядъ, разлагала вторую летучку и она быстро приходила въ упадокъ; солдаты перестали работать, не чистили лошадей, завели грязь, безо-

рядокъ. Пришлось въ спѣшномъ порядкѣ ликвидировать летучку. Да и вообще чувствовалось, что дѣлать на фронтѣ больше нечего. Фактически война кончилась. По всему фронту шло братаніе, солдаты покидали позиціи.

Я рѣшила сдать отрядъ, благо находился нанятый человекъ, который охотно принималъ его на себя, и уѣхать въ Москву.

— Васька, чортъ, вали сюда!

Солдатъ изогнулся и преувеличенно рѣзкимъ движеніемъ сбросилъ сумку на бархатный диванъ. Робкое веснушчатое лицо показалось изъ-за двери купе.

— Да вѣдь это, братцы, первый. Какъ бы насъ того .. не попросили бы о выходѣ?

— Вали, говорю, дура. Можетъ раньше бы и попросили, а теперь то мы и сами попросимъ, — и солдатъ злобно покосился на меня.

— Важно, — сказалъ Васька, — здорово буржуи ѣздятъ.

— Отъѣздились. Ну, барыня, двигайся.

Но двигаться было некуда. Я сидѣла прижавшись въ уголъ и его сапоги скоро оказались у меня на колѣняхъ. Я хотѣла уже встать съ дивана, но солдатъ вдругъ вскочилъ и бросился въ корридоръ. Послышались крики, брань, задребезжали стекла. Поездъ уже шелъ на всѣхъ парахъ.

— Вотъ это ловко, — оралъ мой сосѣдъ, — самого туда! Довольно покуражились, сволочи.

Я выглянула въ корридоръ. Онъ былъ полонъ солдатъ. Всѣ кричали, шумѣли, нельзя было ничего разобратъ. Васька стоялъ, раскрывъ ротъ, и напряженно смотрѣлъ.

— Что случилось?

— Да, офицерскія вещи въ окно пошвыряли. Какъ бы самого не выкинули, осерчали дюже ребята.

Я сѣла на прежнее мѣсто у окна и стала ждать. Страха не было, но сердце билось болѣзненными, неровными толчками и въ груди закипало возмущеніе и гнѣвъ, хотѣлось кричать, топтать ногами, вышвырнуть изъ вагона этихъ солдатъ съ грязными мѣшками и махоркой. Я старалась не слушать грубаго злораднаго гоготанія, доно-

сившагося изъ корридора. «Сейчасъ придетъ тотъ грубый, нахальный... Двое сутокъ до Москвы...»

Тарахтѣли колеса. Забравъ въ кулакъ гимнастерку, Васька, почесывая грудь, вошелъ въ купэ.

— Отбился офицерикъ, — сказалъ онъ, — а я такъ и думалъ, его въ окно зашвырнуть.

— Чего стоишь? Садись, — сказала я. — Курить хочешь?

Васька грязными, корявыми пальцами досталъ изъ моего портсигара папиросу и сълъ. Онъ видимо робѣлъ.

Васька ѣхалъ къ себѣ домой. Онъ былъ счастливъ, ему хотѣлось говорить про себя, про жену и семью. Четверть часа я уже знала всю его жизнь. Я и не замѣтила, какъ вошелъ тотъ, другой.

— Васька, табакъ есть?

Я протянула ему портсигаръ. Онъ молча взялъ, но не поблагодарилъ.

— Вотъ что, ребята, — сказала я, — ѣхать намъ долго, у меня чайникъ, харчей немного есть. Кто-нибудь сходите за кипяткомъ и давайте не ругаться, чтобъ все по хорошему было...

Сердитый промолчалъ. Но, когда поѣздъ остановился, взялъ чайникъ и принесть кипятку. На слѣдующей остановкѣ къ намъ набилось еще нѣсколько человекъ солдатъ. Въ корридорѣ стояли и сидѣли сплошной массой, пройти нельзя было. За кипяткомъ лазили въ окно. Солдаты достали жестяныя кружки, всѣ пили чай, усиленно дуя и обжигая пальцы. Нѣкоторые сидѣли на полу.

Меня не трогали. По молчаливому соглашенію признали въ своей компаніи. Старались не ругаться, но курили махорку и свѣвали на полъ. Болѣла голова. Душевное напряженіе смѣнилось усталостью...

Передъ ночью я выходила на станцію. Солдаты высидели меня въ окно.

— У, чортъ! Ну, и гладкая же, — оралъ сердитый солдатъ, склонившись изъ окна вагона и таща меня за руки. — Ну, ну, лѣзь что ли.

— Погоди! Погоди! Я ее сзади подпихну, — пишалъ ласковымъ теноркомъ Васька, пихая меня снизу.

— А ты полегче. А то она тебѣ хребетъ то сломить.

Въ Москвѣ солдаты вытащили мои вещи и снесли ихъ на извозчика.

— Будь здорова, сестрица!—кричали они на прощанье.

Организація Толстовскаго Товарищества.

— Почему бы намъ не начать издавать Толстого? — спросилъ меня разъ прїѣхавшій изъ Петербурга писатель. — Неужели вы никогда объ этомъ не думали?

— Ну конечно, думала, — отвѣчала я. — Но нельзя же издавать сейчасъ, когда все разрушается...

— Именно сейчасъ, въ 1918 году, — сказалъ онъ со спокойной увѣренностью. — Судьбѣ вопреки. Развѣ нельзя начать хотя бы редакціонную работу?

— Изъ этого ничего не выйдетъ.

Но мысль запала. И чѣмъ больше я думала, тѣмъ возможное и заманчивѣе казалось это дѣло.

Полныя собранія сочиненій, печатавшіяся до сего времени матерью, Сытинымъ и другими, были далеко не полными. Нѣкоторыя произведенія, какъ напримѣръ «Воскресеніе», были искажены цензурой, религіозно-философскія статьи запрещены совсѣмъ, дневники и письма напечатаны лишь частично.

Друзья, съ которыми я совѣтовалась объ организаціи этого дѣла, отнеслись къ нему сочувственно. Мысль о созидательной, творческой работѣ во время всеобщаго разрушенія ихъ увлекала. Особенно горячее сочувствіе я встрѣтила въ Петербургѣ: Анатолій Федоровичъ Конон, Алексѣй Александровичъ Шахматовъ, Всеволодъ Измаиловичъ Срезневскій, Александръ Модестовичъ Хирьяковъ, толстовецъ-финнъ и другіе, всѣ приняли горячее участіе въ организаціи, которой мы дали названіе: Общество изученія и распространенія твореній Л. Н. Толстого (позднѣе оно было перерегистрировано въ Кооперативное Товарищество).

Въ Петербургѣ мы собирались большей частью члн квартирѣ у моряка-толстовца. Несмотря на скромное положеніе редактора какого-то морского журнала, у него на Васильевскомъ Островѣ была прекрасная квартира, похожая на каютъ компанію, съ множествомъ картинъ съ морскими видами по стѣнамъ. Въ царскія времена этотъ толстовецъ-финнъ издавалъ отцовскія запрещенныя статьи, сидѣлъ за нихъ въ тюрьмѣ, авозилъ ихъ контрабандой на своей яхтѣ изъ Финляндіи.

Для начала работъ надо было достать денегъ. Отъ суммъ, вырученныхъ отъ изданія посмертныхъ произведеній отца и истраченныхъ согласно его волѣ на покуп-

ку яснополянской земли для крестьянъ, осталось около 20.000. Съ помощью книгоиздательства «Задруга» намъ удалось выцарапать изъ банка эти деньги.

Позднѣе книгоиздательство «Задруга» согласилось взять на себя изданіе первого полнаго собранія сочиненій Толстого и оплачивать нашу редакціонную работу. Къ «Задругѣ» присоединились московская «Кооперация» и нѣкоторыя другія центральныя кооперативныя организаціи.

Первымъ нашимъ руководителемъ по работамъ въ Румянцевскомъ Музеѣ, гдѣ хранились всѣ рукописи отца до 1880 года, былъ Тихонъ Ивановичъ Полнеръ, позднѣе его замѣнилъ проф. Ал. Евг. Грузинскій. В. И. Срезневскій прѣзжалъ въ Москву періодически. Въ одной изъ большихъ залъ Музея, гдѣ мы меньше всего мѣшали стукомъ машинокъ, намъ поставили нѣсколько столовъ. Музей не топился. Трубы полопались, какъ и вездѣ. Мы работали въ шубахъ, валенкахъ, вязанныхъ перчаткахъ, изрядка согрѣваясь сильными движеніями рукъ.

Стужа въ нетопленномъ, каменномъ зданіи, съ насквозь промерзшими толстыми стѣнами, куда не проникаетъ солнце, гдѣ приходится часами сидѣть неподвижно, — хуже чѣмъ на дворѣ. Согрѣться невозможно. Сначала остывали ноги, постепенно леденящій холодъ проникалъ глубже, казалось насквозь промерзло все нутро, начиналась дрожь. Мы запахивали шубы, старались не двигаться, дрожь усиливалась, стучали зубы.

Неизданная комедія «Зараженное Семейство», начало повѣсти «Какъ гибнетъ любовь», дневники, письма, варианты «Дѣтства», безконечные варианты «Войны и Мира», были уложены въ двѣнадцать желтенькихъ ящикахъ, набитыхъ такъ, что, когда вынималась рукопись, захихнуть ее обратно было почти невозможно. Магъ любилъ рассказывать, какъ одинъ изъ братьевъ убиралъ кладовую и выбросилъ въ капау вмѣстѣ со всякимъ хламомъ груду бумагъ. «Хорошо, что я замѣтила», — заключала она свой рассказъ, — «я глазамъ своимъ не повѣрила, когда увидала, что это рукописи «Войны и Мира». Кабы не я, всѣ рукописи погибли бы».

Забывая холодъ и голодъ, мы читали новыя сцены, характеристики героевъ «Войны и Мира» и бывало иногда непонятно и обидно, зачѣмъ отецъ выбросилъ тѣ или ныя страницы.

Мы радовались, какъ дѣти, когда удавалось разобрать трудныя слова, хвастались другъ передъ другомъ. Машинистки состязались въ количествѣ напечатанныхъ листовъ.

Братъ Сергѣй и я провѣряли дневники. Сначала онъ слѣдилъ по тексту, затѣмъ я. Мы привыкли къ почерку отца, но все же намъ приходилось прочитывать одно и то же безконечное число разъ, находя все новыя и новыя ошибки. Мы особенно торжествовали, когда находили такія ошибки, какъ вмѣсто Банкетъ Платона, какъ было напечатано въ дневникахъ изданія Черткова, оказывался Биномъ Ньютона.

Работа увлекла рѣшительно всѣхъ. Среди насъ были знатоки иностранныхъ языковъ. Они выправляли французскій текстъ переписки отца съ тетенькой Татьяной Александровной. Это были дамы гладко причесанныя, въ старенькихъ, когда-то очень дорогихъ шубкахъ.

Морякъ-толстолицъ, хорошій фотографъ, работать въ другомъ помѣщеніи, снималъ неизданныя произведенія отца. Въ то время намъ мерещились новые бои съ большевиками на улицахъ Москвы, разрушеніе, гибель рукописей. Мы переписывали, фотографировали и держали копии въ разныхъ мѣстахъ. Одна изъ копій неизданныхъ произведеній была даже послана въ Университетъ Стэнфордъ въ Америку.

Къ двѣнадцати часамъ, когда дрожь во всемъ тѣлѣ дѣлалась совершенно невыносимой, звали пить чай. Каждый изъ насъ бралъ съ собою свою посуду, принесенный изъ дому завтракъ и мы все шли внизъ въ подвальный этажъ. Откуда-то приносились громадные чайники съ кипяткомъ.

Профессора, ученые, исхудавшія музейныя работницы, снявъ перчатки, грѣли руки о дымящіяся кружки. Бережно, стараясь не расплескать, они несли драгоценную мутную жидкость, напитокъ изъ сухой моркови и земляничнаго листа, который мы называли чаемъ, каждый разъ разворачивалъ свой пакетикъ съ завтракомъ: кусочекъ пайкового хлѣба, двѣ картошки, сухую воблу.

— Морковь чрезвычайно питательна, — говорили одинъ изъ ученыхъ, разворачивая газетную бумагу, изъ которой показывались двѣ темныя варенныя картофели. — она вполне можетъ замѣнить хлѣбъ..

— Да, но ес тоже не всегда можно достать Вы знае-

те, моя жена дѣлаетъ замѣчательныя лепешки, она въ ржаную муку прибавляетъ картофельныя очистки и когда можетъ — яблоко.

Я старалась не замѣчать этихъ голодныхъ глазъ, дрожавшихъ, жадныхъ рукъ...

Чай горячій, обжигаетъ горло, но стараешься поглотить его какъ можно больше. Двѣ, три большія кружки. Съ завистью мы косились на одного изъ профессоровъ, у него черный хлѣбъ переложень тоненькими кусочками прозрачнаго копченаго сала. Сахара почти ни у кого нѣтъ. Охотно предлагаютъ другъ другу сахаринъ.

Я приношу себѣ большую часть тоненькій кусочекъ хлѣба и воблу. Она твердала, ее надо долго жевать, и потому на время исчезаетъ чувство голода, а главное, послѣ соленаго можно влить въ себя большее количество чая.

Но вотъ мы разогрѣты, веселые, снова садимся за рукописи. Въ глазахъ рябитъ отъ косога, неразборчиваго почерка. Въ самыхъ раннихъ рукописяхъ онъ мельче и буквы круглѣе. Мы погружаемся въ рукописи. Еще три съ половиной часа холода, а остываніе наступаетъ скорѣе чѣмъ утромъ.

Эти нѣсколько лѣтъ, которыя мы проработали въ Румянцевскомъ Музеѣ, были для меня самыми яркими и, пожалуй, счастливыми въ мрачные, безотрадныя дни революціи. Продѣланная нами работа давала большое внутреннее удовлетвореніе. За эти годы были разобраны каталогизированы, переписаны, свѣрены съ текстомъ и частью сфотографированы рукописи, хранящіяся въ Румянцевскомъ Музеѣ. Многія произведенія были отредактированы и подготовлены къ печати.

Въ 1923 году книгоиздательство «Задруга», преслѣдовавшееся много лѣтъ, было окончательно разгромлено большевиками. Это было началомъ уничтоженія всѣхъ кооперативныхъ организацій. Денегъ на редакціонную работу взить было неоткуда. Послѣ долгихъ колебаній мы наконецъ согласились соединиться съ Чертковымъ и предложить нану совмѣстную работу для напечатанія Госиздату.

В. Г. Чертковъ въ то время zorganizовалъ вокругъ себя редакціонную группу, состоящую большей частью изъ толстовцевъ, работавшихъ надъ редактированіемъ произведеній, написанныхъ отцемъ послѣ 1880-го года.

Къ 1928-му году — столѣтію со дня рожденія отца —

должно было выйти первое полное собраніе сочиненій Толстого въ 90 томахъ. Но съ момента перехода нашего дѣла къ государству я перестала имъ интересоваться. Изданіе Толстого было однимъ изъ тѣхъ многочисленныхъ дѣлъ, которыя громко рекламируются большевиками, но въ сущности не дѣлаются. Съ одной стороны большевики запрещали народнымъ бібліотечкамъ и школамъ дежать книги Толстого, религіозно-философскія статьи и «Кругъ Чтенія» сдѣлались бібліографической рѣдкостью, — съ другой, большевики взялись издавать 90-томное собраніе сочиненій Толстого, которое въ концѣ концовъ за шесть лѣтъ свелось къ выпуску въ количествѣ 1.000 экземпляровъ нѣсколькихъ томовъ.

И кто можетъ купить это полное собраніе, стоящее около 300 рублей? Иностранцы? Сами большевики? Разумѣется, ни рабочій, ни крестьянинъ, ни голодающій интеллигентъ. Поэтому съ точки распространенія идей Толстого изданіе это не имѣло никакого значенія.

Но приведеніе въ порядокъ рукописей отца, редакціонная работа, продѣланная небольшой кучкой людей въ столь тяжкихъ условіяхъ, является однимъ изъ тѣхъ подвиговъ русской интеллигенціи, которые «судьбѣ вопреки» совершались и совершаются въ настоящее время въ Россіи оставшимися живыми русскими людьми.

Батюшка-Благодѣтель.

Мужики разгромили Малое Пирогово, гдѣ жилъ князь Оболенскій *), и онъ съ женой и дѣтьми пріѣхалъ въ Ясную Поляну.

Сестра Тая уступила ему низъ своего дома-флигеля, а сама переѣхала наверхъ. Въ большомъ домѣ жили двѣ старушки: мама и тетенька Татьяна Андреевна. Тихо было здѣсь и мертво. Иногда только, когда изъ флигеля прибѣгала маленькая Таничка, оживалъ старый домъ просыпалась бабушка, часто дремавшая теперь въ креслѣ-качалкѣ. Куда дѣвалась ея прежняя энергія, работоспособность? Ее мало что интересовало, читать, писать ей было трудно, глаза плохи стали. Тетенька писала м-

*) Мужъ сестры Маши, впоследствии женатый на Н. М. Сухотиной.

муары, иногда пѣла, и отъ ея дребезжащаго и пересѣкающагося, но все еще прекраснаго и звонкаго голоса дѣлалось еще тоскливѣе.

Приблизительно въ это время появился и «благодѣтель». Онъ былъ писатель, прїѣзжалъ къ отцу и раньше и всегда привозилъ съ собой новыя изобрѣтенія. Въ Крыму въ 1901 г., когда только что появились автомобили, онъ прїѣхалъ къ намъ въ Гаспру, къ ужасу матери усадилъ отца въ автомобиль и укатилъ съ нимъ куда-то. Позднѣе онъ привезъ въ Ясную Поляну грамфонъ и несмотря на протесты отца оставилъ его въ подарокъ семьѣ. Ходилъ онъ согнувшись, точно стѣснялся своего роста, и казалось, что его худое тѣло вотъ-вотъ сложится пополамъ. Должно быть лицо у него было правильное, можетъ быть красивое, смуглое, съ правильными чертами, но поражало не это, а выраженіе слащавости.

Въ 1918 году въ Тулѣ создано общество «Ясная Поляна». Писатель былъ выбранъ предсѣдателемъ этого общества, поселился въ Ясной Полянѣ въ бывшемъ кабинетѣ отца въ большомъ домѣ и сталъ хозяйничать.

Основаніе об-ва Ясная Поляна въ моментъ общей разрухи, когда еще не вполне прошла волна усадебныхъ погромовъ, несомнѣнно имѣло большое значеніе. Мѣстные большевики, не освоившіеся съ властью, можетъ быть даже и не повѣрившіе еще въ свое могущество, дѣйствовали осмотрительно и осторожно, а то, что какое-то официальное объединеніе заботилось объ Ясной Полянѣ, было очень важно. Въ 1919 году, когда Деникинъ былъ уже недалеко отъ Тулы, общество Ясной Поляны совершенно серьезно обсуждало вопросъ о томъ, что красная и бѣлая арміи должны стовориться, чтобы бои происходили внѣ зоны Ясной Поляны.

Общество «Ясная Поляна» состояло изъ чрезвычайно порядочныхъ людей, но вскорѣ оказалось, что подъ прикрятіемъ общества предсѣдатель дѣйствовалъ самостоятельно, члены об-ва пробовали протестовать, но напрасно. Онъ говорилъ такъ ласково и сладко, такимъ таинственнымъ туманомъ окутывалъ свои начинанія, что члены правленія молчали въ безсильномъ недоумѣніи. Мысль построить въ Ясной Полянѣ школу — памятникъ Толстому — впервые зародилась въ обществѣ. Таинственно появился откуда-то лѣсъ для школы и лежалъ нѣсколько мѣсяцевъ подъ дождемъ. Предсѣдатель выбралъ мѣ-

сто для постройки, произошла торжественная закладка фундамента, но прекрасный сосновый лѣсъ исчезъ куда-то такъ же таинственно, какъ появился, и писатель теперь все вниманіе устремилъ на постройку шоссе. Работали землекопы, подвозился съ завода Косой горы шлакъ. Онъ отдавалъ приказанія служащимъ, приказывалъ запрягать и отпрягать лошадей.

Въ тѣ рѣдкіе пріѣзды, когда мнѣ удавалось навѣстить Ясную Поляну, я бывала не разъ поражена странностью той роли, не то спасителя Ясной Поляны и ея обитателей, не то управляющаго, которую взялъ на себя председатель общества. Онъ вѣчно что то раздавалъ полуголодному и раздѣтому населенію: кусочки мыла, шоколада и видъ у него былъ такой, точно онъ благодѣтельствовалъ ихъ по гробъ жизни. Со свойственной ему ловкостью именемъ Толстого онъ выпрашивалъ у правительства всевозможные продукты и вмѣсто того, чтобы передавать ихъ на складъ Ясной Поляны для правильнаго распредѣленія, разыгрывалъ изъ себя благодѣтеля и распорядился ими самъ, пользуясь этимъ для того, чтобы постоянно захватывать все большую и большую власть надъ жителями Ясной Поляны, не могущими достать ни предметовъ первой необходимости, ни питанія.

Тетенька шутя прозвала писателя «батюшкой-благодѣтелемъ» и это прозвище такъ и осталось за нимъ навсегда.

Не знаю кому: обществу «Ясная Поляна», писателю или сестрѣ Танѣ пришла въ голову мысль объ организаціи въ Ясной Полянѣ совѣтскаго хозяйства, но когда я была въ Москвѣ, ко мнѣ пріѣхалъ Коля Оболенскій и спросилъ, не имѣю ли я чего-либо противъ его назначенія завѣдующимъ.

Я откровенно сказала ему, что считаю его непригоднымъ для этого дѣла. Онъ возразилъ мнѣ, что всѣ остальные члены семьи, даже мама, не возражаютъ. Я понялъ, что мой протестъ не имѣлъ никакого значенія и дѣйствительно, Комиссаріатъ Земледѣлія вскорѣ назначилъ его завѣдующимъ имѣніемъ.

Оболенскій пропалъ бы безъ писателя и, хотя писатель его въ грошъ не ставилъ, они поладили.

Власть писателя особенно возросла послѣ того, какъ, заручившись мандатами, онъ съѣзжалъ на Украину за хлѣбомъ.

Въ 1918-19 годахъ хлѣбъ въ нашихъ мѣстахъ не родился и крестьяне голодали. Пекли хлѣбъ съ зелеными яблоками, съ желудями. Желудей въ тѣ годы родилось видимо-невидимо. Крестьяне мѣшками таскали ихъ домой, мололи на муку, пекли хлѣбъ. Хлѣбъ выходилъ невкусный и у всего населенія зубы отъ желудевой муки были черные, точно выкрашенные. Улыбнется красивая дѣвушка, а зубы черные, смоляные, даже жутко.

Вернулся писатель съ вагонами бѣлой муки, крупами, сахаромъ не только для обитателей усадьбы Ясной Поляны, но и для всей Яснополянской деревни.

— Батюшка, благодѣтель ты нашъ, — вздыхали бабы. — Дай Богъ здоровья ему, дѣткамъ его, внукамъ. Спасъ отъ голодной смерти.

Всѣ обитатели Ясной Поляны его привѣтствовали.

— Пропалъ бы безъ него, — говорилъ Оболенскій. -- Удивительный человекъ. Все раздобудетъ.

Служащіе въ яснополянскомъ домѣ не знали, какъ и чѣмъ угодить благодѣтелю, а онъ покрикивалъ на нихъ да и на всѣхъ обитателей Ясной Поляны. Кричалъ на мать и на сестру, когда она хотѣла внести порядокъ въ распредѣленіе продуктовъ, во всю жизнь Ясной Поляны.

— И чего вы вмѣшиваетесь, — грубо рѣзалъ онъ, — вѣдь вы рѣшительно ничего въ дѣлахъ не понимаете, весь вашъ удѣльный вѣсъ равняется нулю.

Сестрѣ было больно. А я выходила изъ себя:

— Выгони ты его, — горячилась я. — какъ онъ смѣетъ говорить грубости.

Но сестра терпѣла. У нея болѣе кроткій характеръ, чѣмъ у меня.

Я не могла видѣть, какъ въ Ясной Полянѣ распоряжаются чуждые и отцу и намъ люди. Отцовскимъ именемъ выпрашивали подачки у правительства, неправильно распредѣляли, окружали себя родственниками и фаворитами, а усадьба постепенно приходила все въ болѣе и болѣе упадокъ. Заросталъ старый паркъ, погибали плодовые деревья, въ Чепыжѣ срѣзали старыя березы, разрушались постройки. Въ домѣ все измѣнилось, только двѣ отцовскія комнаты остались въ томъ же видѣ, что и при немъ, но почему то въ кабинетъ грудой были навалены посмертные вѣнки, что придавало совершенно иной характеръ всей обстановкѣ.

У Оболенскаго было четыре помощника: три мальчика

по 17 лѣтъ и бывший кучеръ Адрианъ Павловичъ, который тянулся изо всѣхъ силъ, чтобы поддержать хозяйство. Одинъ изъ помощниковъ былъ сынъ писателя. И смѣшно и противно было смотрѣть, какъ этотъ молокососъ, заложивъ ногу за ногу, развалился въ мягкомъ креслѣ, представляя пожилого Адриана Павловича стоять передъ нимъ, пока онъ отдавалъ распоряженія.

Болѣе 150 человекъ были на государственномъ снабженіи, получали пайки, хотя земля, всего 30 десятинъ, обрабатывалась крестьянами исполу.

Старушки держались въ загонѣ. Помню, мама никакъ не могла добиться, чтобы въ большомъ домѣ вымыли и вставили вторые рамы. А была уже поздняя осень, холодно, во флигелѣ, гдѣ жилъ Оболенскій, домъ былъ уже давно утепленъ. Наконецъ мама, стоя на сквознякѣ, сама стала мыть стекла.

Таня не могла добиться лошадей, когда надо было ѣхать въ городъ.

Это продолжалось около года. Всѣ чувствовали, что въ Ясной Полянѣ неблагополучно. У Тани во флигелѣ устроили совѣщаніе. Благодарствитель долго и туманно говорилъ о творческой созидательной работѣ въ Ясной Полянѣ, гдѣ стройный оркестръ подъ управленіемъ вдохновеннаго дирижера будетъ играть прекраснѣйшую симфонию.

— Я желалъ бы играть одну изъ скрипокъ, — сказалъ братъ Сергѣй, принимая всерьезъ рѣчь благодарствителя.

Таня, на минутку оторвавшись отъ вязанья (она всегда что-нибудь дѣлала), иронически улыбнулась.

— Пф! — фыркнулъ благодарствитель, — а не думаете ли вы, Сергѣй Львовичъ, что вы нарушите стройность оркестра? — И, помолчавъ, добавилъ снисходительно: — Ну, мы вамъ дадимъ послѣднюю скрипку...

Закипѣло у меня внутри. И, несмотря на уговоры сестры и брата, налетѣла я на благодарствителя, накричала, уѣхала въ Москву и записалась на приемъ къ Луначарскому.

Это было мое первое знакомство съ наркомомъ по просвѣщенію. Поразила несерьезность обстановки: письменные столы, конторки, заваленные бумагами, пишущія машинки, машинистка, стенографистка, тошій молодой человекъ, мольберты, два художника, скульпторъ... Лу-

начарскій позироваль, художники лихорадочно работали. Наркомъ всталъ мнѣ навстрѣчу, привѣтливо поздоровался и опять сѣлъ въ томъ же положеніи, какъ и раньше.

— Что я могу для васъ сдѣлать? — спросилъ онъ, не поворачивая головы.

Меня смутила обстановка, говорить было трудно, но я сдѣлала усилие и коротко, обстоятельно изложила ему дѣло о Ясной Полянѣ.

— Мнѣ кажется, — сказала я въ заключеніе, — что Ясная Поляна должна быть не совѣтскимъ хозяйствомъ, а музеемъ, какъ домъ Гете въ Германіи...

Луначарскій слушалъ молча, не перебивая и вдругъ неожиданно вскочилъ и сталъ бѣгать по комнатѣ, диктуя стенографисткѣ. Я смотрѣла на него со все возрастающимъ изумленіемъ. Актеръ, играющій роль министра. Его стремительность, звучный, сдобный голосъ, золотое пенсне на носу — все было «нарочно». И, играя, Луначарскій упивался своимъ положеніемъ, властью, любовался собой и жадно слѣдилъ за впечатлѣніемъ, которое производилъ на окружающихъ.

Не успѣла я опомниться, какъ уже держала въ рукахъ бумагу съ назначеніемъ меня полномочнымъ комиссаромъ Ясной Поляны. Внизу красовалась подпись красными чернилами: «А. Луначарскій», стояла печать народнаго комиссаріата по просвѣщенію.

Очень довольный впечатлѣніемъ, произведеннымъ на меня, Наркомъ продолжалъ позировать, а я вышла изъ комнаты, ошеломленная его поступкомъ. Побѣда была слишкомъ легкая, сегодня я комиссаръ, а завтра могутъ и въ тюрьму засадить.

Я выселила писателя противъ желанія всѣхъ служащихъ. Тетенька увѣряла, что онъ никогда не уйдетъ.

Я сказала ему, что я назначена комиссаромъ Ясной Поляны и считаю его пребываніе въ Ясной Полянѣ бесполезнымъ. Онъ по обыкновенію началъ говорить мнѣ грубости. Я стояла на своемъ. Черезъ полчаса я получила отъ него длинное письмо съ точнымъ, прекраснымъ изложеніемъ взглядовъ моего отца.

— Вашъ отецъ не поступилъ бы такъ, — писалъ благодѣтель. И разумѣется былъ правъ.

Черезъ два часа сторожа выносили вещи писателя. Онъ уѣхалъ, провожаемый любовью и уваженіемъ всей усадьбы.

Въ Ясной Полянѣ читали вслухъ «Село Степанчиково» и ждали возвращенія Фомы Опискина. Дѣйствительно, писатель не исчезъ. Нѣсколько лѣтъ спустя мнѣ еще разъ пришлось столкнуться съ нимъ.

Разставшись съ Ясной Поляной, ему не хотѣлось разставаться съ именемъ Толстого, дававшимъ ему такое блестящее положеніе. Заручившись мандатомъ отъ какой то организациі или общества, писатель отправился на Украину и получилъ нѣсколько вагоновъ съ продовольствіемъ и всякимъ добромъ, на этотъ разъ для организациі дома отдыха для украинскихъ ученыхъ въ Крыму, въ Гаспрѣ, въ бывшемъ имѣніи графини Паниной, гдѣ въ 1901 году тяжело болѣлъ отецъ.

Получивъ все это богатство, писатель почему то передумалъ и вмѣсто устройства дома отдыха, ликвидировалъ имущество Украинскаго Наркомпрода и уплылъ въ Константинополь закупать англійскіе костюмы.

Украинскіе ученые, пріѣхавъ въ Гаспру, были поражены, найдя тамъ пустой, необорудованный домъ, разобитые вернулись обратно и сообщили властямъ о томъ, что случилось...

В. О. Булгаковъ, бывший секретарь отца, рассказывалъ мнѣ, что пріѣхавъ въ Севастополь къ писателю, онъ засталъ тамъ слѣдующую картину.

Нѣсколько недѣль въ Севастополѣ жилъ совѣтскій чиновникъ, командированный Наркомпродомъ для разслѣдованія дѣла о Гаспринскомъ домѣ отдыха. Писатель только что вернулся изъ Турціи, распорядился англійскими костюмами и теперь осуществлялъ новый проектъ: созданіе въ Севастополѣ музея Льва Толстого.

Совѣтскаго чиновника писатель просвѣщалъ, толково и ясно излагая ему ученіе Толстого о непротивленіи злу насиліемъ, рассказывая ему о близости къ Толстому, долго и осторожно выставляя свое значеніе въ жизни Толстого и свою дружбу съ великимъ писателемъ. Чиновникъ трепеталъ. Но одинъ разъ онъ разговорился съ Булгаковымъ и видя, что Булгаковъ не защищаетъ писателя, онъ сталъ съ жаромъ говорить ему о томъ, что писатель не имѣлъ права ликвидировать продовольствіе, ѣхать въ Турцію, покупать англійскіе костюмы, онъ долженъ отвѣтить передъ властями за свои незаконныя дѣйствія.

— Подъ судъ, въ тюрьму его!

И набравшись храбрости, ревизоръ заводилъ рѣчь объ

отчетахъ. Писатель слушалъ, а затѣмъ кротко начиналъ говорить о христіанской любви. Долго ли коротко ли продолжалась эта комедія — не знаю. Писатель не пострадалъ, но въ крымскихъ газетахъ появилась замѣтка, подписанная семьей Толстыхъ и всѣми толстовскими организациями о томъ, что мы ничего общаго съ дѣятельностью писателя не имѣемъ и за дѣйствія его не отвѣчаемъ.

Смерть матери.

(24 ноября 1919 г.).

Я пробываю нѣсколько дней въ Ясной Полянѣ. Собираюсь ночью уѣзжать. Уложила чемоданы и пошла въ залу пить чай. За круглымъ столомъ сидѣла тетенька Татьяна Андреевна и раскладывала пасьянсъ.

— Тетенька, душенька, погадай!

Она кончила пасьянсъ, велѣла мнѣ снять колоду лѣвой рукой къ сердцу и разложила карты.

— Плохо, — сказала она, — очень плохо, — и быстрымъ движеніемъ все смѣшала.

— Все равно скажи, что вышло?

— Отстань, не скажу, очень плохо...

Я пристала:

— Скажи, умоляю, ради Бога скажи.

— Изволь. Болѣзнь вышла и смерть близкаго чело-вѣка. Не уѣдешь ты никуда сегодня...

Я не засмѣялась, не стала ея слова обращать въ шутку. Было тяжело на сердцѣ. Былъ вѣтеръ и чувствовалось, какъ тамъ, за окнами, холодно и темно.

— Тетенька, — сказала я, — если я сниму колоду и выйду съ семерка пикъ, то ты сказала правду.

Шумѣли деревья въ саду, на столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Семерка пикъ! — крикнула я, открывая колоду. Мы не удивились, когда увидѣли ея, эту семерку пикъ, по было жутко. Я смѣшала карты.

— Тузъ пикъ!!! — крикнула я опять, дрожа всѣмъ тѣломъ. И опять не удивилась, когда увидала туза пикъ.

— Глупости какія выдумываешь, — вдругъ неожиданно разсердилась тетенька. — Сейчас же брось! Чай будемъ пить, пойдѣ, мама позови.

Она быстрыми шагами подбѣжала къ столу и стала

заваривать чай, а я пошла въ спальню матери. Въ комнатѣ ея былъ полумракъ. Горѣла на письменномъ столѣ маленькая керосиновая лампочка. Мама лежала на кровати, уткнувшись въ подушку, лицомъ къ стѣнѣ. Она казалась маленькой и худенькой и дрожала съ головы до ногъ.

— Мама, что съ тобой?!

— Холодно, укрой меня.

Я пощупала голову, шею. Она вся горѣла. Я поставила градусникъ. Онъ показывалъ 39,3. Я раздѣла ее, наполнила чаемъ съ виномъ. Ознобъ продолжался. Прибѣжали тетенька, Таня.

Врачи на другой день опредѣлили воспаление въ легкихъ.

Таня, дочь Ильи Васильевича Вѣрочка, тетенька и я ухаживали за нею. Она очень страдала. Мучилъ кашель, одышка. Отъ стѣны кровать отодвинули и поставили посрединѣ комнаты, чтобы легче было мѣнять компрессы, ставить мушки и банки. Трудно отдѣлялась мокрота.

Она не жаловалась, мало стонала, ни на кого не раздражалась. Была кротка и спокойна. Должно быть чувствовала, что умираетъ и не боялась смерти.

За два дня до смерти она позвала Таню и меня.

— Мнѣ хотѣлось бы сказать вамъ, прежде чѣмъ я умру, — сказала она, — что я очень виновата передъ вашимъ отцемъ, можетъ быть, онъ и не умеръ бы такъ быстро, если бы я его не мучила. Я горько въ этомъ раскаиваюсь. И еще хотѣлось вамъ сказать, что я никогда не переставала любить его и всегда была ему верной женой.

Она смотрѣла на насъ своими большими, близорукими, невидящими глазами. Я плакала потому, что она мнѣ казалась такой прекрасной, потому, что она отдѣлялась отъ всего земного, что насъ еще связывало, и уходила...

Она умерла отъ отека легкихъ. Она говоритъ не могла, но прекрасные черные глаза смотрѣли, какъ будто все еще понимали. Я не могла видѣть ея страданій и вышла изъ комнаты, въ которой до послѣдняго вздоха оставались Вѣрочка и тетенька.

Похоронили ее на кладбищѣ по православному, рядомъ съ Машей.

Александра Толстая.

Изъ прошлаго

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦІЯ.

III *).

Дорога, по которой послѣ 17 октября пошла наша общественность, стала ясна въ первый же день. Я рассказывалъ, какъ на партійномъ засѣданіи 17 октября мы узнали про Манифестъ. Засѣданіе было прервано; рѣшили собраться въ Художественномъ Кружкѣ на импровизированный праздникъ. Въ виду забастовки телефонъ не работалъ. Всѣ по дорогѣ въ Кружокъ оповѣщали знакомыхъ. Я зашелъ къ товарищу по адвокатурѣ, позднѣе министру юстиціи Временнаго Правительства. Онъ считался тогда социаль-демократомъ. Я сообщилъ ему новость про Манифестъ и звалъ съ собою въ Кружокъ. Онъ освѣдомился, объявлена ли четырехвостка? На отрицательный отвѣтъ спросилъ съ удивленіемъ: что же вы собираетесь праздновать? Въ Кружкѣ уже была масса народу. Торжествовали побѣду, восхваляли другъ друга. П. Н. Милюковъ рѣшилъ внести серьезную ноту въ веселье. Онъ началъ шутивымъ вопросомъ: разрѣшено ли будетъ «критиковать» Манифестъ? — и приступилъ къ его критикѣ. Въ ней былъ его полемическій талантъ и мапера; онъ останавливался не только на томъ, что было написано, но и на умолчаніяхъ. Объяснял молчанія, обличалъ, уличалъ и кончилъ разность Манифеста словами: «ничто не измѣнилось; война продолжается».

Условія банкетныхъ рѣчей оправдываютъ излишества слова. Но эти слова не были, къ сожалѣнію, только банкетной риторикой; они выражали настроеніе руководителей

*) Въ ближайшей книгѣ «Совр. Записокъ» появится статья П. И. Милюкова, освѣщающая событія, о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящемъ очеркѣ, съ другой точки зрѣнія. — Ред.

лей нашего общества. И въ этомъ очень скоро пришлось убѣдиться.

Положеніе Витте послѣ 17 октября было не легкимъ не по головоломности самой задачи. Она была скорѣе проста; Витте не было надобности пускаться на эксперименты; съ Манифестомъ Россія вступала на испытанный путь. Была трудность тактическая. Конституціоннаго порядка быть не могло безъ поддержки разумной общественности. Но гдѣ было ее искать, гдѣ былъ настоящій голосъ народа? Въ современныхъ демократіяхъ это — парламентъ или по крайней мѣрѣ лидеры политическихъ партій. Въ Россіи не было еще ни партій, ни лидеров, ни парламента. Витте приходилось чутвемъ искать контакта съ разумной общественностью. На другой день послѣ Манифеста онъ по телеграфу обратился къ Шипову и просилъ его тотчасъ пріѣхать. Могъ ли онъ сдѣлать тогда лучший выборъ?

Д. Н. Шиповъ былъ одной изъ самыхъ привлекательныхъ фигуръ этой эпохи. Его враги не отрицали его моральной безупречности и политической чистоты. Онъ былъ всегда преданъ дѣлу, служилъ ему всюду, забывая самолюбіе и обиды; убѣжденій своихъ не мѣнялъ и ни передъ кѣмъ не скрывалъ. А по своему прошлому онъ былъ самымъ представительнымъ лицомъ земской среды. Въ этомъ было его главное преимущество. Ибо въ какой другой средѣ, какъ не земской, должны были Витте искать общественныхъ дѣятелей, которые могли бы помочь ему въ это трудное время? Долгіе годы земство, даже не всегда отдавая себѣ въ этомъ отчетъ, уже вело борьбу за конституцію. Во имя Самодержавія Витте прежде относился отрицательно къ земству. Но теперь, когда Самодержавіе себя упразднило, земству естественно должна была принадлежать первая роль. Земская работа воспитала кадры людей, которые практически извѣдали трудности управленія и судили о томъ, что сейчасъ было нужно Россіи на основаніи опыта. Витте, который самъ плохо зналъ нашу общественность и былъ чуждъ ей по своей прежней дѣятельности, не могъ выбрать лучшаго руководителя, чѣмъ Шиповъ.

У Шипова былъ одинъ недостатокъ. Онъ принадлежалъ къ земскому меньшинству, т. е. не былъ раньше сторонникомъ конституціи и предпочиталъ представительство съ совѣщательнымъ голосомъ. Но это разномысліе

потеряло свою остроту съ тѣхъ поръ, какъ Самодержавіе само стало за конституцію. А зато даже годы «Освободительнаго Движенія», когда всѣхъ дѣлили на партіи только по этому признаку, не могли разорвать кровной связи Шипова съ земскою средой. Для самого же Витте славянофильскія симпатіи Шипова были понятны и близки. Вѣдь онъ самъ рекомендовалъ конституцію только какъ неизбежность, понимая ея трудности и не горя энтузіазмомъ передъ Парламентомъ. Чтобы стоять за новый политическій строй, вовсе не необходимо было изъ него дѣлать фетишь и не понимать его трудныхъ сторонъ.

Воспоминанія Шипова ярко рисуютъ первую встрѣчу Витте съ общественностью. Витте предложилъ Шипову мѣсто Государственнаго Контролера въ своемъ кабинетѣ. Но главное онъ хотѣлъ съ нимъ поговорить и посоветоваться; Шиповъ въ своемъ совѣтѣ и помощи не отказалъ. Онъ указалъ, что власть сможетъ приобрести довѣріе общества только если ясно покажетъ, что ея прежняя политика измѣнилась. А для этого онъ находилъ необходимымъ ввести въ кабинетъ нѣсколькихъ общественныхъ дѣятелей, притомъ на отвѣтственные, а не второстепенные посты. Онъ назвалъ 5 портфелей; это были всѣ «командныя высоты» внутренняго управления (внутренній дѣла, юстиція, земледѣліе, торговля и промышленность и народное просвѣщеніе). Ихъ всѣ, по его мнѣнію, было полезно отдать «общественнымъ дѣтелямъ». Въ рукахъ бюрократіи остались бы тогда только финансы, военное, морское министерство и министерство иностранныхъ дѣлъ; то-есть какъ разъ тѣ портфели, гдѣ общественные дѣятели были бы наименѣе компетентны. Зашла рѣчь и о кандидатахъ въ министры. Шиповъ напомнилъ, что самъ принадлежитъ къ меньшинству земскаго съѣзда; чтобы внушить довѣріе широкому обществу, нужно было привлечь представителей большинства. Онъ назвалъ нѣсколько именъ, которыя всѣ исключали упрекъ въ «личномъ» пристрастіи. Онъ рекомендовалъ И. И. Петрункевича, своего политическаго антагониста по създамъ, давняго конституціоналиста, спеціально неприятнаго Государю, но зато не только интеллигента, а настоящаго земца, практическаго дѣятеля, которому проблемы власти не были чужды. Назвалъ С. А. Муромцева, своеобразную фигуру, мало похожаго на

русскаго человѣка, въ то время еще не вліятельнаго среди нашихъ «политиковъ», но который черезъ нѣсколько мѣсяцевъ станетъ «первымъ» лицомъ и позднѣе превратится въ легенду. Муромцевъ былъ профессоръ и адвокатъ, но кромѣ того былъ тоже городской и земскій общественный дѣятель. Еще Шиповъ рекомендовалъ князя Г. Львова, будущаго предсѣдателя перваго правительства Революціи, практическаго работника, умѣвшаго и любившаго «работать» во всякихъ условіяхъ. Вотъ условія для соглашенія съ властью, которыя ставилъ Шиповъ. Противъ нихъ Витте не возражалъ; онъ внимательно разспрашивалъ про личныя качества тѣхъ людей, которыхъ ему называлъ Шиповъ; признавалъ необходимость нѣсколькихъ общественныхъ дѣятелей въ кабинетѣ и отъ себя называлъ еще А. И. Гучкова и князя Е. Трубецкого. Онъ добавилъ, что не боится реформъ, не боится людей лѣваго направленія и считаетъ необходимымъ только одно: чтобы эти новые люди понимали, что въ настоящее трудное время необходимо поддерживать авторитетъ и силу государственной власти. Это была та программа, которая диктовалась минутой и на которой должны были сговориться и власть и общество. Были необходимы реформы и даже очень глубокія; но при проведеніи ихъ нужно было избѣжать революціи и для этого необходимо было поддерживать новую власть.

Какъ ни смотрѣть на тѣ условія, которыя предварительно ставилъ Шиповъ, считать ли ихъ слишкомъ смѣлыми или наоборотъ недостаточными, вѣрить или нѣтъ искренности согласія на нихъ Витте, одно несомнѣнно. Разговоръ Витте съ Шиповымъ носилъ тотъ характеръ, который былъ тогда нуженъ. Внутренняя война была окончена; Самодержавіе уступило. Теперь возникалъ вопросъ, какъ помочь Россіи подняться послѣ войны. Шиповъ съ Витте разговаривали, какъ государственные люди, которые думаютъ о пользѣ Россіи, о соглашеніи, не стремясь оскорбить или унижить противника. Нужно было скорѣе общими силами излечивать раны войны, а о вчерашней борьбѣ другъ съ другомъ забыть. «Военные» въ такихъ разговорахъ были опасны. Ихъ время окончилось.

Но Шиповъ самъ сдѣлалъ ошибку. Онъ зналъ, что въ земской средѣ, къ несчастью, есть самолюбія, что еще недавно онъ самъ причислялся къ реакціонерамъ; земскіе

лидеры могли обидѣться, что Витте пригласилъ къ себѣ не ихъ, а Шипова. Онъ посоветовалъ Витте отъ себя обратиться «по начальству», къ Бюро Земскихъ Сѣздовъ и просить его прислать къ нему делегатовъ для переговоровъ. Давая этотъ несчастный совѣтъ, Шиповъ былъ увѣренъ, что Бюро не поддастся партійной нетерпимости и само пошлетъ къ Витте тѣхъ авторитетныхъ людей, которые имъ были названы. И онъ тотчасъ выѣхалъ обратно въ Москву, зная, что на 22 октября было назначено общее собраніе Бюро и рассчитывая имѣть время поставить его въ курсъ того, что онъ услышалъ отъ Витте.

Нельзя считать только случайностью, что расчеты Шипова оказались ошибкой и что его совѣтъ графу Витте повернулся противъ него. Случайность всегда идетъ на пользу того, кому суждено побѣдить. Такъ и произошло. Телеграмма Витте къ Бюро подхлестнула его самоувѣренности. Бюро увидѣло въ ней слабость правительства и какъ бы капитуляцію передъ нимъ и начало дѣйствовать соответственно съ этимъ выводомъ.

21 октября утромъ, не теряя минуты, Шиповъ явился въ Бюро и узналъ, что уже опоздалъ; все было кончено. Своего общаго собранія Бюро не сочло нужнымъ ждать. Оно немедленно по полученіи депеши собралось en petit comité и делегатовъ къ Витте отправило. Если бы они ѣхали для информации, эту торопливость можно было бы понять. Но съ ними отправили ультиматумъ; и это было сдѣлано съ такой стремительностью, что собранія Бюро дожидаться не стало.

П. Милюковъ присутствовалъ въ этомъ petit comité. Это его присутствіе тамъ было и символомъ. Онъ самъ земцемъ не былъ; только на послѣднемъ сѣздѣ былъ кооптированъ, не какъ земецъ, а какъ «ученый и общественный дѣятель». Это показывало, что въ эпоху Освободительнаго Движенія земцы свою самостоятельность уже теряли и что ими руководили «политики». И теперь, хотя военныя дѣйствія были окончены, военные желали сами диктовать условія мира, не предоставляя этого «диллетантамъ» изъ земства. Благодаря присутствію Милюкова мы узнали, что произошло въ этомъ злополучномъ собраніи. Онъ рассказалъ это въ своей брошюрѣ «Три Попытки».

Всѣхъ подробностей обсужденія Милюковъ не сообщаетъ. Объ этомъ можно жалѣть, но интересно не это.

Важно, что въ 21 году, уже въ эмиграціи, когда партійная дисциплина ему не мѣшала и онъ говорилъ для исторіи, онъ все-таки постановленія Бюро защищаетъ. Отрицательный о нихъ отзывъ Д. И. Шипова вызываетъ презрительное замѣчаніе: «такъ и долженъ былъ смотрѣть, говорить онъ, недавній принципиальный сторонникъ неограниченной власти Монарха, ставшій «конституціоналистомъ по приказу его Величества» послѣ октябрьскаго манифеста». Эта защита понятна. Постановленія Комитета соответствовали тому настроенію Милюкова, которое онъ выразилъ послѣ Манифеста словами: «ничего не перемѣнилось, война продолжается». Онъ не могъ ихъ не одобрять. И его воспоминанія раскрываютъ любопытную картину психологии бюро земскихъ сѣздовъ.

Мы узнаемъ, на примѣръ, почему С. А. Муромцевъ не попалъ въ делегацію. «Онъ, объясняетъ намъ Милюковъ, не принадлежалъ къ ядру политической группы, руководившей тогда земскими сѣздами». Это характерный мотивъ. Витте обращается къ земству, въ лицѣ бюро земскихъ сѣздовъ; это была ставка на земство, ибо Земскій Сѣздъ считался его представителемъ. Въ отвѣтъ же графу Витте вмѣсто земства подсовываютъ «ядро политической группы», военныхъ руководителей. Вотъ почему С. А. Муромцевъ замѣненъ былъ Ѳ. Ѳ. Кокошкинымъ; послѣдній оказался *porte-parole* русскаго земства.

Невозможно отрицать качествъ Кокошкина, его большихъ знаній, талантности, политической честности; онъ былъ однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ образцовъ интеллигенціи. Главный его недостатокъ, что онъ былъ гораздо больше интеллигентъ-теоретикъ, чѣмъ землецъ. Но именно это-то и цѣнило руководящее ядро. «Молодой Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ», пишетъ П. Н. Милюковъ, «уже тогда выдавался ясностью политической мысли и твердостью политическаго поведенія. Будучи земцемъ, онъ въ то-же время былъ и интеллигентомъ и хорошимъ знатокомъ конституціоннаго права. Въ Московскомъ Кружкѣ друзей онъ почти одинъ проявлялъ задатки «настоящаго политика».

Такъ профессиональные военные исправили уступчивость штатскихъ, увлекшихся перспективою мира. Приглашеніе Шипова со стороны графа Витте было «уклономъ»; поэтому въ отвѣтъ Бюро и послало Ко-

кошкина. Онъ сталъ главой делегаціи; князь Львовъ и Ф. А. Головинъ были приставлены для декорачіи. И еще въ 21 году П. Н. Милюковъ торжествуетъ: «Выборъ Кошкина для бесѣды съ Витте означалъ, что Бюро не хочетъ компромиссныхъ рѣшеній».

Это было роковымъ шагомъ, подсказаннымъ русскому земству. Онъ срывалъ всю намѣченную комбинацію. Дѣло было не только въ выборѣ лицъ, какъ этотъ выборъ ни былъ характеренъ. Дѣло было еще больше въ директивахъ, которыя согласилась отвести делегація. Можно было бы думать, что твердыя директивы вообще были ненужны; делегація ѣхала для совѣщанія, чтобы выслушать предположенія Витте, она могла ихъ принять *ad referendum*. Нужно было только узнать, возможно ли заключеніе мира или дѣйствительно «война продолжается»? Но Бюро распорядилось не такъ. Оно послало депутацію съ порученіемъ предъявить нѣсколько ультиматумовъ. Бюро показало, что дѣйствительно не хотѣло компромиссныхъ рѣшеній; оно требовало «капитуляціи». Такъ торжествовала военная партія, боясь, чтобы побѣды изъ ея рукъ не вырвали.

О томъ, что въ Петербургѣ дѣлала делегація, писали и Шиповъ и Милюковъ. Помню публичные рассказы о томъ же Кошкина. Во всѣхъ версіяхъ нѣтъ разногласія. Разница только въ оцѣнкѣ. И горько вспоминать это выступленіе делегаціи.

Делегація видѣлась сначала съ княземъ А. Д. Оболенскимъ. Только что назначенный оберъ-прокуроромъ Синода, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ либеральныхъ представителей бюрократіи, у которыхъ сохранились связи съ общественностью. Другъ и родня многихъ лучшихъ представителей либеральнаго лагеря, понимавшій ошибки стараго курса, онъ былъ однимъ изъ авторовъ Манифеста. Примиреніе власти и общества на почвѣ конституціоннаго строя ему казалось не труднымъ. Онъ встрѣтилъ делегацію съ надеждой и радостью. И онъ не могъ понять ничего, когда ему пришлось говорить о положеніи дѣла съ «настоящимъ политикомъ».

Делегація начала съ формальнаго ультиматума. Вся бесѣда съ Витте должна была стать достояніемъ гласности. Такое требованіе было и неприлично и непрактично. У Витте было много враговъ. У конституціи тоже. Требованіе оглашенія передъ врагами переговоровъ, котс-

рые могъ Витте вести, значило сдѣлать ихъ невозможными. Потому бееѣда делегаціи съ самимъ Витте превратилась въ простую формальность. Разговаривать делегаціи пришлось съ однимъ Оболенскимъ. Очевидно не въ такой атмосферѣ можно было договориться до соглашенія. Для такихъ «разговоровъ» просто не стоило ѣхать, особенно съ такой поспѣшностью.

Но разговоръ съ главою правительства можно было все-таки замѣнить разговоромъ съ посредникомъ Оболенскимъ. Для этого обязательной гласности, къ счастью, не требовалось. Но разговора и тутъ не вышло, ибо делегація привезла съ собой другой ультиматумъ уже не существу.

Бюро отказывалось поддерживать правительство Витте. Оно поручило ему передать, что «единственный выходъ изъ переживаемаго положенія» это созывъ Учредительнаго Собранія для выработки конституціи, причемъ Собраніе это должно было быть избрано путемъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія. Делегация отвергла самый принципъ октроированной конституціи. Выбранное по четырехвосткѣ Учредительное Собраніе становилось сувереннымъ органомъ народовластія. Съ тѣмъ, что еще существовала въ Россіи монархія, которая пока была самодержавной, которая только для блага Россіи согласилась себя ограничить, делегація не хотѣла считаться. Она разсуждала, какъ будто монархія уже не было. У делегаціи былъ тотъ самый языкъ, которымъ черезъ 12 лѣтъ Временный Комитетъ Государственной Думы говорилъ съ несчастнымъ Михаиломъ.

Понимала ли делегація, что она сдѣлала? Помню гордость, съ которой Кокошкинъ осипшимъ отъ повторенія голосомъ разсказывалъ въ Москвѣ о побѣдѣ земцевъ надъ Витте; о томъ, какъ Оболенскій былъ въ отчаяніи, какъ онъ умолялъ делегацію опомниться, не ставить своего ультиматума; какъ онъ давалъ ей понять, что общественные дѣятели могли получить всѣ портфели, которыхъ бы они пожелали и какъ делегація осталась непреклонной въ своемъ некомпромиссномъ рѣшеніи.

Но было нѣчто болѣе грустное, чѣмъ гордость Кокошкина. Это — одобреніе, которое его разсказъ встрѣчалъ въ нашей общественности. Она радовалась, что земская делегація огорошила Витте. На что рассчитывала она тогда? На то, что испуганный Витте уступитъ, а Го-

сударь будетъ отъ Учредительнаго Собранія ждатель рѣшенія своей участи, какъ въ 1917 году Михайлъ? А если она надѣялась не на это, то что означалъ такой жестъ делегации?

Позднѣе мнѣ приходилось объ этомъ бесѣдовать съ Витте. «Если бы, говорилъ онъ, я могъ повѣрить тогда, что вся общественность была такова, какою была делегация, я не простилъ бы себѣ, что посоветовалъ Государю дать конституцію». Но Витте не вѣрилъ, что вся общественность такова. Онъ продолжалъ переговоры съ отдѣльными лицами, звалъ ихъ въ правительство, просилъ ихъ помощи или совѣтовъ. Онъ старался выникнуть въ непонятную для него психологію нашей общественности. Въ переговорахъ этихъ онъ не обнаружилъ большого искусства; дѣлалъ много ложныхъ шаговъ; общественность съ радостью ихъ подхватывала, радуясь, что Витте въ туликъ; что ему не удалось сдѣлать то, къ чему онъ стремился, т. е. добиться сотрудничества власти и общества. Она могла радоваться, ибо сама старалась объ этомъ. При той позиціи, которую она заняла, передъ каждымъ общественнымъ дѣятелемъ стояла альтернатива: или отказать въ помощи Витте или свое вліяніе на общество потерять. И общественные дѣятели подрядъ отъ предложенія уклонялись. Въ этихъ заранѣе обреченныхъ на неудачу переговорахъ Витте знакомился съ руководителями нашего общества. Онъ потомъ про это рассказывалъ; переговоры не увеличили его довѣрія къ нимъ; ему казалось недостаткомъ гражданскаго мужества, что люди по существу съ нимъ согласные не хотятъ ему помогать, ссылаясь на общественное мнѣніе. Еще болѣе поражало его, что люди, которые послушно обществу подчинялись, передъ Витте сами не защищали позицій, которыя общество выставляло. «Кто же дѣлаетъ общественное мнѣніе? спрашивалъ онъ съ недоумѣніемъ; я не встрѣчалъ человѣка, который бы наединѣ считалъ правильнымъ то, что онъ самъ отъ меня во имя общества требовалъ».

Это общее впечатлѣніе невозможно повѣрить. Витте могъ быть несправедливъ. Потому рассказъ П. Н. Милюкова о его личныхъ переговорахъ съ Витте такъ интересенъ. И я на немъ останавлиюсь.

Милюковъ печаталъ свои воспоминанія (Три попытки) въ 21 г. Въ нихъ онъ былъ строгъ къ бюрократіи;

Столыпина назвалъ «царедворцомъ и честолюбцемъ, а не государственнымъ человѣкомъ» за то, что тотъ не подчинился русской общественности, которая будто бы предвидѣла катастрофу и могла ее устранить. Однако какую же позицію въ эту переломную пору занялъ онъ самъ, виднѣйшій представитель нашей общественности?

П. Милюковъ рассказываетъ про бесѣду, которую онъ имѣлъ съ Витте по его приглашенію. Любопытно введеніе. «Я приходилъ, пишетъ онъ, не въ качествѣ делегата къ-то уполномоченнаго, а въ качествѣ частнаго лица, совѣта котораго просилъ высшій представитель власти, въ моментъ, когда рѣшалось направленіе, которое должна была принять русская исторія. И на поставленный мнѣ сразу вопросъ Витте, что дѣлать, я рѣшилъ отвѣтить по совѣсти и по личному убѣжденію, не связывая себя общепринятыми политическими формулами моихъ единомышленниковъ. Я хотѣлъ свести споръ съ академическихъ высотъ въ сферу реальной дѣйствительности».

Это правильно. Но вѣдь «направленіе исторіи» рѣшалось не только въ разговорѣ съ П. Н. Милюковымъ, но еще гораздо больше при посылкѣ земской делегаціи къ Витте. Почему же тогда можно было оставаться на «академическихъ высотахъ», не спускаясь въ сферу «реальной дѣйствительности»? Почему въ разговорѣ съ глазу на глазъ можно было отвѣтить по совѣсти и убѣжденію, а официально къ Витте нужно было послать только «общепринятія формулы единомышленниковъ»? Вводныя слова Милюкова сами по себѣ представляютъ осужденіе пріемовъ нашей общественности.

Милюковъ не скрылъ, что будетъ говорить не отъ партіи, а отъ своего личнаго имени. «Если бы я выражалъ мнѣніе партіи, предварилъ онъ Витте, то я повторилъ бы то-же, что сказалъ вамъ Кокошкинъ. Но я понимаю, что для васъ это мнѣніе не можетъ имѣть такой силы, какъ для насъ, и что положеніе слишкомъ сложно, чтобы примѣнить теоретически правильные совѣты во всей чистотѣ». Что долженъ былъ думать Витте о такомъ заявленіи? Итакъ, Кокошкинъ говорилъ именемъ партіи. Но вѣдь къ партіи Витте не обращался. Онъ обратился къ земской средѣ; и не Съѣзды, даже не бюро Земскихъ Съѣздовъ, а какой-то небольшой Коми-

тетъ отвѣтилъ отъ имени земства, самовластно подмѣнивъ русское земство — только что образовавшейся «партіей».

Но еще интереснѣе другое. Вдохновитель партіи, Миллюковъ теперь признавалъ, что «положеніе слишкомъ сложно, чтобы примѣнить теоретически правильные совѣты во всей чистотѣ». Но когда Витте звалъ на помощь общественность, онъ ждалъ отъ нея вовсе не «теоретически правильныхъ совѣтовъ», которыхъ, по заявленію самихъ совѣтчиковъ, практически нельзя примѣнять. Его интересовали не «академическія высоты», не доктринальные споры. Ему нужны были практическіе сотрудники и практической совѣтъ, какъ къ претворить новые принципы въ жизнь. А отъ имени земства ему предложили «теоретически правильную», но завѣдомо «неисполнимую» доктрину. И это было сдѣлано лишь потому, что партія, которая прикрылась именемъ земства, считала, что «война продолжается»; къ Витте пришли не совѣтники и не союзники, а враги-наблюдатели. Хотя по видимости рѣчь шла о мирѣ, но военная точка зрѣнія не покинула парламентаревъ.

Это не предвѣщало успѣха; общественность шла ва-банкъ: все или ничего. Миллюковъ, одинъ изъ руководителей войны съ Самодержавіемъ, отъ военной психологіи не избавился. Онъ признавалъ, что какъ членъ партіи онъ долженъ былъ бы повторить то-же, что и Кошкинъ, хотя самъ сознавалъ непрактичность этихъ совѣтовъ. Понять этой тонкости Витте не могъ; онъ не подозрѣвалъ, до какого уродства мы дошли со своимъ фетишемъ — партійной дисциплиной, въ жертву которой приносили личный разумъ и убѣжденія. Мы думали быть передовыми оттого, что перенимали недостатки стараго возраста, начинали съ того, чѣмъ нормально кончаютъ. У насъ еще не было настоящихъ партій, а партійная дисциплина уже свирѣпствовала.

Но дѣло не только въ этомъ. Въ разговорахъ съ Витте Миллюковъ все же рѣшилъ говорить по убѣжденію, не прячась за общее мнѣніе, не паря на высотахъ «теорій». Онъ хотѣлъ дать Витте, по его собственному выраженію, «дѣльный совѣтъ». Тѣмъ интереснѣй, что же онъ ему совѣтовалъ? Что могъ для упроченія мира предложить челоуѣкъ, который войну умѣлъ провести?

Миллюковъ далъ Витте совѣты, которые онъ публично

повторить не рѣшился. Первый совѣтъ былъ не приглашать въ кабинетъ «общественныхъ дѣятелей», а составить правительство изъ бюрократовъ, но «приличныхъ» людей! Этотъ совѣтъ пришелся такъ по сердцу Витте, что «онъ вскопчилъ, протянулъ мнѣ (Милюкову) свою длинную руку, которую я (Милюковъ) подалъ ему съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и потрясая ею воскликнулъ: «вотъ наконецъ я слышу первое здоровое слово; я такъ и рѣшился сдѣлать».

Не совсѣмъ понятно, почему эта экспансивная радость такъ удивила Милюкова: Витте пытался привлечь въ свой кабинетъ общественныхъ дѣятелей, какъ это ему первый посовѣтовалъ Д. Н. Шиповъ, но при разговорахъ убѣждался, что это ему не удастся. И вдругъ П. Н. Милюковъ говорить, что этого вовсе не нужно! Мудрено ли, что Витте пришелъ въ восторгъ отъ совѣта, который совпадалъ съ рѣшеніемъ, имъ самимъ уже принятымъ? Совѣтъ Милюкова былъ конечно разумнымъ. Условія, которые общественными дѣятелями были поставлены, были невозможны для Витте; не стоило тратить времени на разговоры. Милюковъ въ этомъ былъ правъ. Но его правота только обнаруживала, что общественность помогать Витте не хочетъ, что зрѣлище страны, которая сумѣвъ разрушить Самодержавіе, не умѣетъ послѣ этого водворить у себя элементарный порядокъ, ее вовсе не трогало. Общественность не отбросила партійныя несогласія, чтобы закрѣпить ту позицію конституціонной монархіи, которая была ею не безъ труда завоевана. Общественность продолжала войну. Она вела себя, какъ въ Франціи ведутъ себя социалисты, которые отказываются отъ участія во власти, требуя всю власть себѣ. Если считать, что цѣлью Освободительнаго Движенія было созданіе конституціонной монархіи, то монархія и общество могли теперь помириться; эмблемой этого примиренія было бы сотрудничество въ одномъ кабинетѣ вчерашнихъ враговъ. На этомъ согласились Д. Н. Шиповъ и графъ Витте, но лѣвая общественность и лидеръ ея Милюковъ рассуждали какъ рассуждаетъ теперь Леонъ Блюмъ. Они хотѣли не примиренія, а капитуляціи. Они соглашались взять власть только если она вся будетъ въ нихъ. 1917 годъ показалъ, къ чему это могло привести. А въ 1905 г. умѣренный совѣтъ Милюкова показывать

все же одно: что война еще продолжается и что помощи отъ врага ждать было нельзя.

Интересенъ и другой совѣтъ Милюкова; онъ явился сторонникомъ «октроированной конституціи». Правда, онъ продолжалъ утверждать, что Учредительное Собраніе правильный и даже «единственно» правильный путь для составленія конституціи, но тѣмъ не менѣе признавалъ, что въ данныхъ условіяхъ онъ не годится. «Опубликуйте завтра же конституцію, говорилъ онъ; это будетъ конституція октроированная и васъ будутъ бранить за такой образъ дѣйствій, но потомъ успокоятся и все войдетъ въ норму». Было заслугой Милюкова, что онъ не настаивалъ на созывѣ Учредительнаго Собранія при полномъ властномъ Монархѣ, что совѣтовалъ Витте «октроировать» конституцію, не смущаясь общественной бранью. Но это былъ совѣтъ платоническій. Не задолго до этого онъ вмѣстѣ съ бюро поручалъ делегаціи публично объявить, что созывъ Учредительнаго Собранія есть «единственный» выходъ изъ положенія; черезъ нѣсколько дней на земскомъ съѣздѣ отъ имени Бюро онъ самъ вносилъ смягченную формулу объ учредительныхъ функціяхъ I-ой Государственной Думы. Поэтому, если онъ и совѣтовалъ Витте октроировать конституцію и пренебречь общественнымъ недовольствомъ, то помочь ему въ этомъ своимъ авторитетомъ не соглашался. Витте долженъ былъ рисковать общественнымъ неудовольствиемъ за свой собственный счетъ; Милюковъ же былъ бы покрытъ партійной дисциплиной. Этого способа дѣйствій Витте не понималъ. Онъ вообще многого не понималъ въ психологіи нашей общественности.

Было отраднo, что представитель интеллигенціи наконецъ созналъ возможность и даже предпочтительность «октроированной» конституціи. Это устраняло непроходимый барьеръ, который земская делегація воздвигла на пути къ соглашенію. Соглашеніе становилось возможнымъ. Но какъ представлялъ себѣ его Милюковъ? И тутъ обнаруживалось, что военная идеологія его не покинула.

Отъ содержанія конституціи многое бы зависѣло въ ходѣ событій въ Россіи. Если совмѣстное участіе прежнихъ воюющихъ сторонъ въ правительствѣ было бы символомъ примиренія, то участіе ихъ обѣихъ въ выработкѣ конституціи было бы залогомъ ея достоинства. Конституція должна была быть тѣмъ мирнымъ догово-

ромъ, который надлежало теперь заключить. Она должна была быть разумнымъ и практическимъ раздѣленіемъ власти между Монархомъ и обществомъ. Объ основахъ этого раздѣленія и надо было имъ согласиться. Миръ, гдѣ съ побѣжденнымъ не сговариваются, а ему свою волю диктуютъ, выходитъ миромъ Версальскимъ. Но позиция Миллюкова, который совѣтовалъ Витте конституцію «октроировать», а одіумъ этого хотѣлъ оставить на Витте, такое сотрудничество между ними устраняло. Миллюковъ хотѣлъ, чтобы самодержавная власть отъ себя объявила ту конституцію, которую хотѣла общественность.

Любопытно, что Миллюковъ, при этомъ не упомянулъ ни объ одной изъ двухъ сочиненныхъ самой общественностью конституцій — «освобожденской» и «земской». Имъ въ нашей средѣ дѣлали большую рекламу; въ работкѣ ихъ принимали участіе всѣ наши авторитеты; но этихъ конституцій Миллюковъ не предложилъ вниманію Витте. Онъ въ этомъ былъ правъ. Обѣ конституціи представляли такой печальный образчикъ нашей практической неумѣлости, что говорить серьезно о возможности ихъ октроировать было нельзя. Онѣ были только «академическими высотами», на которыхъ оставаться Миллюковъ не хотѣлъ. Специалисты общественности поработали совершенно въ пустую. Миллюковъ предпочелъ держаться реальной почвы. Онъ посоветовалъ Витте: «для ускоренія и упрощенія дѣла позовите сейчасъ кого-либо и велите перевести на русскій языкъ бельгійскую или болгарскую конституцію; завтра поднесите ее царю для подписи и послѣзавтра опубликуйте».

Можно представить себѣ, какъ Витте поглядѣлъ на этотъ совѣтъ. Онъ могъ принять его только за шутку. Рѣчь шла о новомъ государственномъ строѣ для громадной, разноплеменной, разносословной и разнокультурной страны, о строѣ, который долженъ былъ замѣнить сложившіяся вѣками, привычный порядокъ Самодержавія; и оказывалось, что для этого было достаточно «перевода» конституціи одного изъ двухъ маленькихъ государствъ и притомъ безразлично того или другого. Конечно, между европейскими конституціями есть общія черты, но детали ихъ очень различны. А въ нихъ было все дѣло. Принципіально конституція была уже признана и весь интересъ переходилъ именно къ уточненію

правъ, которыя при конституціи получаютъ старыя и первыя создаваемые институты. И вмѣсто этого рекомендуется перевести любую изъ двухъ неодинаковыхъ конституцій. Если бы это было такъ просто, то непонятно, къ чему затѣвалось Учредительное Собраніе и зачѣмъ надъ созданиемъ русскихъ конституцій наши теоретики и практики трудились такъ долго?

Но это не все. Милюковъ предлагалъ конституцію «октроировать». Она должна была быть послѣднимъ актомъ Самодержавія, которое въ интересахъ народа само свою власть ограничивало. Надо было слѣдовательно сумѣть убѣдить монарха въ томъ, что октроированный новый порядокъ будетъ полезенъ Россіи, чѣмъ Самодержавіе, заставивъ его отречься отъ своихъ прежнихъ друзей и сторонниковъ, которые въ Самодержавіи видѣли главную силу Россіи. Могъ ли думать Милюковъ, что для Государя будетъ убѣдительно ссылка его на Бельгію и на Болгарію? Можно ли было считать возможнымъ, чтобы вчерашній неограниченный Самодержецъ, стоявшій во главѣ государственнаго аппарата, еще не разваливагося, могъ по собственному почину октроировать на примѣръ бельгійскую парламентарную конституцію, гдѣ всю свою реальную власть онъ уступилъ представительству, сохраняя себѣ только роль декорации? Можно было, сваливши монарха, провести такую конституцію на Учредительномъ Собраніи; но воображать, что монархъ, который вчера колебался, давать ли вообще конституцію, могъ дать ее въ такой формѣ, именно и значило «витать на академическихъ высотахъ внѣ реальной жизни». Если бы даже Государь слѣпо вѣрилъ Витте и согласился бы сдѣлать все, что Витте ему посоветовалъ, то Витте своей переводной конституціей не имѣлъ права дѣлать ни себя, ни Государя смѣшнымъ.

Описывая происходившее уже въ 21 году, т. е. черезъ 15 лѣтъ, Милюковъ все-таки дѣйствія делегаціи защищать. Для защиты онъ становится на новую позицію. Онъ допускаетъ (Три попытки, стр. 12), что на «предложеніе бюро съѣзда можно было бы смотрѣть, какъ на политическое доктринерство и обвинять делегацію за срывъ переговоровъ, если бы дѣло шло только о принятіи или отверженіи формулы делегаціи». «Но мы сейчасъ увидимъ, говоритъ онъ, что дѣло было не такъ. Разграничительная грань между властью и обществомъ проходи-

ла не на идеѣ Учредительнаго Собранія, а на самомъ понятіи конституціи». Если бы это было дѣйствительно такъ, то условія, поставленныя делегаціей отъ этого удачѣ бы не были. Они только замаскировали бы отъ общества сущность вопроса и одіумъ за разрывъ возложили бы напрасно на неповинную делегацію. Въ этомъ случаѣ было, наоборотъ, полезно разоблачить передъ всѣми непримиримость Самодержавія, а не давать ему выигрышнаго положенія въ этомъ конфликтѣ. Но на чемъ основывалъ Милюковъ это свое утвержденіе? Привожу его же слова.

Милюковъ сказалъ Витте: «произнесите слово конституція... Одушевленіе Витте прошло. Онъ отвѣтилъ мнѣ просто и ясно: я этого не могу, я не могу говорить о конституціи, потому что царь этого не хочетъ. Я также просто сказалъ ему: тогда намъ не о чемъ разговаривать и я не могу подать вамъ никакого дѣльнаго совѣта».

И изъ этого діалога Милюковъ выводитъ теперь, будто грань между двумя сторонами шла на самомъ понятіи конституціи! Но его разсказъ опровергаетъ его же собственный выводъ. О понятіи конституціи совсѣмъ не говорили; собесѣдники разошлись изъ-за «слова». Терминъ «конституція» чисто формальный; онъ означаетъ совокупность законовъ, которые опредѣляютъ государственное устройство страны. Конституція можетъ быть республиканская, монархическая, даже деспотическая-самодержавная. Одно слово конституція юридически ничего не означаетъ. Не юридическій, а общеденный разговорный языкъ противопоставлялъ у насъ два понятія — Монархію самодержавную, неограниченную, гдѣ Государь стоялъ выше закона и Конституцію, гдѣ Монархъ дѣлилъ свою власть съ представительствомъ. Разговорный языкъ интеллигенціи устремлялъ свои удары не на юридическій терминъ — неограниченный, а на историческій титулъ — самодержавный. И подъ предлогомъ, что у насъ теперь объявлена «конституція», у нашего государя хотѣли отнять «титулъ» Самодержавный! На эту тему много писалось и говорилось. Помню докладъ прѣзжавшаго въ Москву В. М. Гессена. Онъ оспаривалъ извѣстный взглядъ Ключевского, что титулъ «Самодержецъ», принятый Іоанномъ III и съ тѣхъ поръ сохраняемый, разумѣлъ лишь вѣдѣнную не за вѣчность, освобожденіе отъ татарскаго ига. Этотъ ста-

ринный титуль, по мнѣнію Гессена, долженъ быть у п р а з д н е н ъ; съ нимъ были связаны грѣхи и позоръ стараго режима. Такова была точка зрѣнія интеллигенціи. Но она ни для кого не была обязательна. И естественно, что Государь не видѣлъ никакихъ основаній въ угоду ей отречься отъ историческаго титула. Въ отношеніи титуловъ всѣ монархи консервативны; англійскій король до послѣднихъ временъ титуловалъ себя королемъ Франціи. И если для В. М. Гессена со словомъ «Самодержецъ» связанъ былъ позоръ нашего прошлаго, то для династіи съ нимъ была связана прошлая слава Россіи. Это былъ титуль, освященный церковной молитвой, уничтоженіе котораго было бы народомъ замѣчено и по своему объяснено. Но этого мало. Самый тотъ смыслъ его, на который указалъ В. Ключевскій, т. е. смыслъ независимости, не потерялъ вовсе значенія; онъ вполне соответствовалъ понятію Монархіи «Божьею Милостію», какъ самостоятельнаго источника власти, въ отличіе отъ избранія и плебисцита. Въ 905 г. наша династія была такова и этого никто не оспаривалъ. Монарха нужно было юридически и фактически ограничить, не покушаясь на титуль, который сохранилъ свой историческій смыслъ. И Милюковъ былъ не правъ, когда проводилъ грань на «п о н я т і и конституціи»; грань проводили не на п о н я т і и, а только на с л о в ѣ.

И при этомъ можно было понять интеллигентское желаніе вычеркнуть ненавистный имъ титуль. Вѣдь все «Освободительное Движеніе» развертывалось на «извѣстной русской поговоркѣ: долой Самодержавіе». Было бы конечно разумнѣй не держаться за слово и сосредоточить вниманіе на р е а л ь н о м ъ разграниченіи правъ короны и представительства. Но все-таки ненависть къ слову Самодержавіе можно было еще понять. Но какой смыслъ было настаивать передъ Витте на п р о и з н е с е н і и слова «конституція». Интеллигентное общество должно было понимать, что само по себѣ это слово не говоритъ ничего. А для народа оно было совсѣмъ ненужно и непонятно. Сами интеллигенты сочинили свои двѣ «конституціи» и тѣмъ не менѣе называли ихъ не «конституціей», а «основнымъ государственнымъ закономъ». Партія, которая сначала именовала себя конституціонно-демократической, черезъ три мѣсяца переимѣнила это названіе на партію «народной свободы»; ина-

че никто ея названія не понималъ. Зачѣмъ же было ставить Витте такой ультиматумъ, требовать произнесенія никому ненужнаго и непонятнаго, а для Государя неинтереснаго слова? И нельзя удивляться, что послѣ такого требованія одушевленіе Витте прошло и онъ сказалъ Милюкову, что Государь этого не захочетъ. И этого естественнаго отвѣта все-же оказалось достаточно, чтобы разорвать переговоры и заявить, что при такихъ условіяхъ никакого дѣльнаго совѣта подать Милюковъ не сможетъ.

Такъ собственный рассказъ Милюкова опровергаетъ это заключеніе, будто власть съ обществомъ разошлась на понятіи конституціи. Что послѣ 17 октября «конституціи» власть не отрицала, видно уже изъ того, что позже, когда революція была совершенно разбита, и когда власть свою силу почувствовала, она все-таки вычеркнула изъ Основныхъ Законовъ терминъ «неограниченный» и въ апрѣлѣ 906 г. октропировала н а с т о я щ у ю конституцію. Правда, это была не бельгійская и не болгарская и вообще не парламентская конституція, но она была все-таки совсѣмъ не плохой конституціей и принесла съ собой изумительный подъемъ всей нашей государственной жизни. Ужасъ разговора Милюкова и Витте въ томъ, что они разошлись не изъ-за понятія, а только изъ-за слова, которое при этомъ гораздо больше значило для Государя, чѣмъ для общественности.

Но исторія не строится на недоразумѣніяхъ и случайностяхъ. Если случайности бывають, то вліяніе ихъ не продолжительно, жизнь скоро возвращаетъ все на настоящую дорогу. Разрывъ правительства съ обществомъ былъ не случаенъ. Причина его была конечно не въ томъ, что Милюковъ съ Витте другъ друга не поняли, а въ разницѣ позицій, которыя они занимали. Самодержавная власть усумнилась въ себѣ и потому согласилась на конституцію, во имя примиренія съ обществомъ. Но переговоры со стороны общества повели тѣ военные руководители, которые мира вообще еще не хотѣли и стремились сначала врага добить до конца, а потомъ диктовать ему свою волю. Они не умѣли понять во время, что интересы Россіи требуютъ не разгрома монархіи, а соглашенія съ ней. Они не понимали того, что Милюковъ понималъ позднѣе, что Монархія нужна самому либеральному обществу, что только соглашеніемъ съ прежней властью

можно избѣжать Революціи со всѣмъ тѣмъ, что она принесетъ. И вмѣсто того, чтобы говорить о предѣлахъ возможныхъ уступокъ, чтобы совмѣстно создать тотъ типъ конституціи, который болѣе всего подошелъ бы къ Россіи, передовая общественность предпочла говорить языкомъ побѣдителя, который старается не только обезсилить, но и унижить врага. Государственный смыслъ побѣдителей долженъ былъ имъ подсказать, что побѣды не надо преувеличивать и ея не надо форсировать. Но этого государственнаго смысла у насъ тогда не оказалось.

Витте велъ переговоры со многими лицами; я о нихъ слыхалъ и отъ него самого и отъ кое-кого изъ тѣхъ, съ кѣмъ онъ разговаривалъ. Я на этихъ разговорахъ не останавливаюсь, такъ какъ за точность ихъ не могъ бы ручаться. Потому-то я взялъ, какъ примѣръ, только тотъ разговоръ, о которомъ разсказалъ здѣсь самъ Миллюковъ и разсказалъ въ порядкѣ осужденія Витте, а не въ порядкѣ упрека себѣ самому. Но этотъ разговоръ заслуживаетъ вниманія и съ другой стороны. Миллюковъ былъ однимъ изъ вождей Освободительнаго Движенія и тогда его вліяніе распространялось за предѣлы его будущей партіи. Всякая страна имѣетъ то, что заслуживаетъ; и правительство, и революцію, и вожаковъ. По нимъ можно судить о степени ея собственной зрѣлости. Тотъ слой общественности, отъ котораго зависѣло тогда водвореніе порядка въ странѣ, доказалъ практически, какъ онъ былъ мало способенъ къ конституціонному устройству Россіи. Въ этомъ ничего трагическаго еще не было. Въ Россіи были другіе общественные элементы кромѣ радикальной интеллигенціи. Если эта послѣдняя не сумѣла найти настоящей дороги для успокоенія и примиренія, то у нея могла быть и была иная, болѣе къ ней подходящая миссія. Ей достаточно было остаться самой собой и за несвойственное для нея дѣло не браться. Если она этого не хотѣла понять тогда и повидимому не поняла до сихъ поръ, то Витте долженъ былъ бы въ этомъ тогда же разобраться. Но къ несчастью онъ мало зналъ нашу общественность. Онъ продолжалъ надѣяться, что на публичномъ собраніи благоразуміе и здравый смыслъ побѣдятъ. И онъ сталъ ждать Земскаго Съѣзда.

В. Маклаковъ.

Памяти Андрея Бѣлаго

Извѣстіе о смерти Бѣлаго ударило по душѣ тягчайшимъ молотомъ: пришелъ совершенно неожиданно и прозвучало никакъ не вмѣщаемой сознаниемъ невѣроятностью. Послѣ внезапнаго отъѣзда Бѣлаго изъ Берлина въ Россію, я, думая о Москвѣ, постоянно думалъ и о немъ въ ней; вѣрнѣе представлялъ себѣ его (вѣроятно на основаніи прежнихъ встрѣчъ и дошедшихъ до меня слуховъ, что онъ живетъ подъ Москвой), то въ подмосковныхъ просторахъ на какихъ-то сбѣгающихъ къ вечерней зарѣ тропкахъ, то надъ простымъ сосновымъ стономъ у окна, пишущимъ своего «Архангела Михаила» (о томъ, что Бѣлый работаетъ надъ такимъ романомъ рассказалъ мнѣ на «движенскомъ» съѣздѣ въ Саровѣ нѣкій Гофманнъ, видѣвшій Бориса Николаевича въ Москвѣ кажется еще въ 1929-1930-мъ году).

Съ официальной Москвой образъ Бѣлаго, несмотря на нѣкоторыя «коммуноидности» въ его послѣднихъ писаніяхъ, въ моемъ представленіи никакъ не связывался. Правда, было все время ощущеніе правильности того, что живетъ онъ не съ нами, въ эмиграціи, а въ Совѣтской Россіи; но это ощущеніе его бытійственной и стилистической принадлежности къ вулканической почвѣ «Взвихренной Руси» ни въ какой мѣрѣ и степени не означало его духовнаго родства, или хотя бы только отдаленнаго свойства съ духомъ третьяго интернаціонала и экономического матеріализма. Присланный мнѣ въ февралѣ этого года вырѣзанный не то изъ «Правды» не то изъ «Извѣстій» шаржъ «Бѣлый на лекціи», вполне подтвердилъ мнѣ мое представленіе о не совѣтскомъ обликѣ совѣтскаго Бѣлаго. Изображенъ Бѣлый на немъ въ своемъ старомъ сюртукѣ съ широкими реверсами и летучими фалдами, въ высокому крахмальномъ воротникѣ и съ вѣющимъ чернымъ бантомъ вмѣсто гал-

стуха. Анатэмскіе когтистые пальцы въздѣтыхъ къ небу рукъ и рысьи лучки волосъ на вискахъ полысѣваго черепа кажутся не каррикатурными преувеличеніями, а лишь вполнѣ оправданными стилистическими заостреніями. Слегка расширенный безуміемъ, очевидно зеленый взоръ волчьихъ глазъ хмуро опущенъ къ землѣ и все-же крылатъ. Типично бѣловскій взоръ - мячъ, постоянно ударяющійся о твердые предметы на землѣ и отлетающій отъ нихъ въ высь, въ пустоту, въ темноту...

Съ тѣхъ поръ какъ познакомился съ Бѣлымъ въ зиму 1909-10 года помню его предѣльно нервнымъ, усталымъ и больнымъ, такимъ, какимъ онъ самъ изобразилъ себя въ предисловіи къ «Первому свиданію»:

«Давно поломанная вещь,
Давно пора меня въ починку,
Високъ — винтящая мигрень...
Душа — кутящая...

Но несмотря на болѣзненность Бѣлаго, я былъ почему-то увѣренъ, что онъ проживетъ долго. (Помню отчетливо, что ту же увѣренность высказалъ вскорѣ послѣ смерти Блока въ разговорѣ со мною кто-то изъ писателей, близко знавшихъ Бѣлаго. Было это, если не измѣняетъ память, на литературномъ вечерѣ Ходасевича въ Союзѣ писателей). Причина этой увѣренности заключалась, думается, въ томъ, что всѣ болѣзни Бѣлаго, этого безтѣлеснаго существа, казались не столько физическими недугами, сколько, говоря его собственнымъ антропософскимъ языкомъ, помраченіями его ауры, мѣшающими его блистательной даровитости создать нѣчто не только почти гениальное, но и вполнѣ совершенное. Все-же Бѣлый все время росъ и потому казалось, что онъ въ концѣ концовъ ослапитъ свои болѣзни, свои недуги, вратеть въ форму своего совершенства, и ясною старостью взоидеть надъ всѣми своими зарницами опоясанными хаосами. Сама сложность его дарованія и извилистость его пути требовали долгаго вызрѣванія и не вѣрилось, что судьбою ему будетъ отказано въ немъ. Въ смерти Бѣлаго есть нѣчто метафизически непоправимое, навсегда оставляющее безъ объединяющаго и вѣнчающаго купола все свершенное имъ; и даже больше, — нѣчто низводящее вѣчную ночь надъ всѣми достиженіями его бурнаго творческаго восхода.

Смерть Бълаго — подлинно безвременная кончина; отсюда и наша великая печаль о немъ.

Къ этой печали присоединяется другая. Менѣ безкорыстная, но не менѣ острая. Бѣлый былъ для многихъ изъ насъ, людей кровно связанныхъ съ расцвѣтомъ московско-петербургской довоенной культуры послѣднею своею крупною фигурой въ Совѣтской Россіи. Всматриваясь въ покинутые нами и все болѣе уходящіе отъ насъ берега, мы чувствовали: Бѣлый и тѣ нѣсколько человекъ, съ которыми онъ послѣ нашей разлуки остался вмѣстѣ, это наша еще видная намъ пристань. Отъ нея мы отчалили, къ ней, быть можетъ, могли бы причалить, если-бы были намъ суждены возвратъ. И вотъ бурнымъ теченіемъ времени несена пристань. Взоръ памяти — онъ же взоръ надежды — растерянно блуждаетъ по гаснущему берегу и чемъ на чемъ ему больше остановиться... Нѣтъ сомнѣнія — смерть Бълаго это новый этапъ развоплощенія прежней Россіи и старой Москвы. Это углубленіе нашей эмигрантской сироты и нашего одиночества.

Съ тѣми, для кого всё это не такъ, для кого все творчество Бълаго только сумбуръ и невнятица, а онъ самъ чуть ли не большевикъ, спорить не буду; пишу въ совершенно личномъ, лирическомъ порядкѣ.

Да, нѣтъ сомнѣнія, что въ годы короткой передышки между двумя революціями и двумя войнами, въ десятилѣтіе отъ года 1905 до года 1915-го Россія переживала весьма знаменательный культурный подъемъ. Въ Москвѣ, въ которой жилъ тогда Бѣлый и на фонѣ которой помню его, шла большая, горячая и подлинно-творческая духовная работа. Протекала она не только въ узкомъ кругу передовой интеллигенціи, но захватывала и весьма широкіе слои. Писатели, художники, музыканты, лекторы и издатели безъ всякихъ затрудненій находили и публику, и деньги и рынокъ. Въ Москвѣ одно за другимъ возникали все новыя и новыя издательства — «Вѣсы», «Путь», «Мусажетъ», «Софія»... Издательства эти не были, подобно даже и культурнѣйшимъ издательствамъ Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжнаго рынка. Всѣ они исходили не изъ запросовъ рынка, а изъ великаго духа и осуществлялись не пайщиками акціонерныхъ обществъ, а творческимъ союзомъ разнаго толка интеллигентскихъ направленій съ широкимъ размахомъ молодого меценатствующаго купечества. Потому и гнѣздилась въ нихъ и распространялась во-

кругъ нихъ совсѣмъ особая атмосфера нѣкоего зачинающагося культурнаго возрожденія. (Филологи — Вячеславъ Ивановъ и С. М. Соловьевъ — прямо связывали Россію съ Греціей и говорили не только о возрожденіи русской культуры, но и о подлинномъ русскомъ ренессансѣ).

Во всѣхъ редакціяхъ, которыя представляли собою странную смѣсь литературныхъ салоновъ съ университетскими семинаріями, собирались вокругъ ведущихъ мыслителей и писателей писательскій молодежь, наиболѣе культурные студенты и просто публика для заслушанія рефератовъ, беллетристическихъ произведеній, стиховъ, больше же всего для бесѣдъ и споровъ.

За нѣсколько лѣтъ этой дружной работы обликъ русской культуры подвергся значительнѣйшимъ измѣненіямъ. Подъ вліяніемъ ренессансно-философской мысли и новаго искусства символизма сознание рядового русскаго интеллигента, воспитаннаго на дочорошенныхъ классикахъ общественно-публицистической мысли, быстро раздвинулось какъ въглубь, такъ и въширь.

Запѣла на выставкахъ «Міра искусства» освободившаяся отъ передвижничества русская живопись. Крѣпли музыкальныя дарованія — Скрябина, Метнера, Рахманинова. Отъ достиженія къ достиженію, пролагая все новые пути, подымался на недосягаемыя высоты и русскій театръ. Черезъ всѣ сферы этого культурнаго подъема, свидѣтельствуя о духовномъ здоровіи Россіи, отчетливо пролегали двѣ линіи интересовъ и симпатій — національная и сверхнаціональная. Съ одной стороны воскресали къ новой жизни славянофилы, Достоевскій, Соловьевъ, Пушкинъ, Баратынскій, Гоголь, Тютчевъ, старинная икона, (журналъ «Софія»), старинный русскій театръ (апокрифы Ремизова), Мусоргскій (на оперной сценѣ — Шаляпинъ и на концертной эстрадѣ — М. А. Оленина д'Альгеймъ). Съ другой стороны съ одинаковымъ подъемомъ и въ значительной степени даже и тѣми же людьми издавались и изучались германскіе мистики (Бѣме, Эккехардтъ, Сведенборгъ) и Ницше. На театрахъ и прежде всего на сценѣ Художественнаго театра замѣчательно шли Ибсенъ, Гамсунъ, Стринбергъ, Гольдони и другіе, не говоря уже о классикахъ европейской сцены. Собирались изумительнѣйшія, мірового значенія, коллекціи новѣйшей французской живописи и неоднократно заслушивались въ переполненныхъ залахъ доклады и бесѣды такихъ «знатныхъ иностранцевъ», какъ Верхарнъ, Матиссъ, Маринетти, Когенъ...

Провинція тянулась за столицами. По всей Россіи читались

публичныя лекціи и всюду, даже и въ отдаленнѣйшихъ городахъ собирались живыя и внимательныя аудиторіи, которыя не всегда встрѣтишь и на Западѣ.

Но конечно, не все было здорово въ этомъ культурномъ и экономическомъ подъемѣ. Оторванный отъ общественно-политической жизни, которая все безнадежнѣе скатывалась въ сторону темной реакціи, онъ не могъ не опазать въ душахъ своихъ случайныхъ носителей, своихъ временныхъ попутчиковъ ложью, позою, снобизмомъ. Вокругъ серьезнѣйшей культурной работы въ тѣ годы начиналъ завиваться и темный душокъ. На окраинахъ «Новаго града» (Бѣлый) религиозной культуры мистика явно начинала обертываться мистификаціей, интуитивизмъ символическаго искусства — нарочито невнятной модернизма и платоновскій эросъ — огарковствомъ Аршбабанка. Къ этимъ запахамъ духовнаго растлѣнія примѣшивался и доходилъ до московскихъ салоновъ и редакцій и болѣе страшный и тревожный запахъ гари. Подъ Москвой горѣли лѣса и готовилась вновь разгорѣться тлѣющая подъ пепломъ революціи. то пройдутъ по бульвару пыльщики и покроютъ послѣдними словами нарядную барыню съ кучехвостымъ догомъ за то, что карнала она свою суку чай при «дохтурѣ», въ то время какъ бабы въ деревнѣ рожаютъ безъ повитухъ, то пьяные мастеровые жутко прогрозятъ громадными кулаками въ открытыя окна барскаго особняка...

Въ эти годы московской жизни Андрей Бѣлый съ одинаковою почти страстностью бурлилъ и пѣнился на гребняхъ всѣхъ ея волнъ. Онъ бывалъ и выступалъ на всѣхъ засѣданіяхъ «религиозно-философскаго общества»; въ «литературно-художественномъ кружкѣ» и въ «Свободной эстетикѣ» воевалъ противъ писателей натуралистовъ; подъ общимъ заглавіемъ «На перевалѣ» писалъ въ «Вѣсахъ» свои запальчивыя статьи то противъ мистики, то противъ музыки; редактировалъ коллективный дневникъ «Мусагета» подъ названіемъ «Труды и дни»; бывалъ у Скрябинныхъ, Метнеровъ и д'Альгеймовъ, увлекался вагнеровскою идеей синтетическаго театральнаго дѣйства (выступалъ даже со вступительнымъ словомъ на открытіи Maison de Lied Олениной д'Альгеймъ), воевалъ на полулегальныхъ собраніяхъ толстовцевъ, штундистовъ, православныхъ революціонеровъ, революціонеровъ просто и всякихъ иныхъ взбалаченныхъ людей и, сильно забирая влѣво, страстно спорилъ въ политической гостини Астровыхъ.

Перечислить все, надъ чѣмъ тогда думалъ и мучился, о чемъ спорилъ и противъ чего неистовствовалъ въ своихъ вы-

ступленіяхъ Бѣлый, рѣшительно невозможно. Его сознаніе подслушивало и отмѣчало все, что творилось въ тѣ канунные годы какъ въ русской, такъ и въ міровой культурѣ. Недаромъ онъ самъ себя охотно называлъ сейсмографомъ. Но чего бы ни касался Бѣлый, онъ въ сущности всегда волновался однимъ и тѣмъ же — всеохватывающимъ кризисомъ европейской культуры и жизни. Всѣ его публичныя выступленія твердили объ одномъ и томъ-же: — о кризисѣ культуры, о грядущей революціи, о горящихъ лѣсахъ и о расплывающихся въ Россіи оврагахъ.

Иаиболѣе характерною чертою внутренняго міра Андрея Бѣлаго представляется миѣ его абсолютная безбрежность. Бѣлый всю жизнь носился по океанскимъ далямъ своего собственнаго я, не находя берега, къ которому можно было-бы причалить. Время отъ времени, захлебываясь въ безбрежности своихъ переживаній и постиженій, онъ оповѣщалъ: — «берегъ», но каждый очередной берегъ Бѣлаго при приближеніи къ нему снова оказывался занавѣшенною туманами и за туманами на мигъ отвердѣвшею «конфигураціей» волнъ. Въ нѣрѣдкость богатомъ и всеохватывающемъ творествѣ Бѣлаго есть все, кромѣ одного; въ творествѣ Бѣлаго нѣту тверди: причемъ ни небесной ни земной. Сознаніе Бѣлаго — сознаніе абсолютно имманентное, формою и качествомъ своего осуществленія рѣзко враждебное всякой трансцендентной реальности. Анализомъ образовъ Андрея Бѣлаго и его словаря, его словъ-фаворитовъ можно было-бы съ легкостью вскрыть правильность этого положенія.

Всякое выраженно имманентное, не несущее въ себѣ въ качествѣ центра никакой тверди сознаніе есть сознаніе предѣльно неустойчивое. Такимъ было (во всякомъ случаѣ до 1923-го года, а вѣроятноѣ всего осталось и до конца) сознаніе Бѣлаго. Отсутствующую въ себѣ устойчивость Бѣлый однако успѣшно замѣнялъ исключительно въ немъ развитымъ даромъ балансиранія. Въ творествѣ Бѣлаго, и прежде всего въ его языкѣ, есть нѣчто явно жонглирующее. Мышленіе Бѣлаго — упражненіе на летящихъ трапеціяхъ, подъ куполомъ его одинокаго я. И все же эта акробатика (ср. «Эмблематику смысла») не пустая «мозговая игра». Въ ней, какъ во всякой акробатикѣ, очень много труда и мастерства. Кромѣ того въ ней много предчувствій и страданій.

Не противорѣчатъ ли однако такое представленіе о Бѣломъ,

как о замкнутой въ себѣ самой монадѣ, неустанно занятой вывѣреніемъ своего собственнаго внутренняго равновѣсія, тому очевидному факту, что Бѣлый всю свою жизнь «выходилъ изъ себя» въ той сложнѣйшей борьбѣ, которую онъ не только страстно, но подчасъ и запальчиво велъ противъ цѣлага сонма своихъ противниковъ, какъ вѣрный рыцарь своей «истины — истины»? *). (Въ послѣдній предвоенный зимній сезонъ Бѣлый прежде всего вспоминается носящимся по Москвѣ оппонентомъ и страстнымъ критикомъ-публицистомъ, замахивающимся изъ за своихъ засадъ противъ со всѣхъ сторонъ обступающихъ его враговъ). Если Бѣлый дѣйствительно самозамкнутое «я», то что же означаетъ его неустанная общественная дѣятельность полемиста и трибуна; въ чемъ внутренній пафосъ его изблещательнаго неутомимости и неукротимаго бреттерства? Думаю, въ послѣднемъ счетѣ ни въ чемъ иномъ, какъ въ борьбѣ Бѣлаго съ самимъ собою за себя самого. Враги Бѣлаго — это все разные голоса и подголоски, все разные угрожающіе ему «срывы» и «загибы» его собственнаго «я», которые онъ невольно объективировалъ и съ которыми распределялся подъ масками своихъ, въ большинствѣ случаевъ совершенно мнимыхъ—враговъ. Вспоминаю такія статьи, какъ «Штемпелеванная калоши», «Противъ музыки» («Вѣсы»), статью противъ философіи въ «Трудахъ и дняхъ», на которую я отвѣчалъ «Открытымъ письмомъ Бѣлому», или не помню какъ озаглавленную (у меня всѣхъ этихъ статей, къ сожалѣнію, нѣтъ подъ рукою), статью противъ мистики, ясно понимаешь, что Бѣлый кидался въ бой противъ музыки потому, что волны ея начинали захлестывать его съ головою; что онъ внезапно ополчился противъ мистики потому, что неукорененная ни въ какомъ религиозно-предметномъ опытѣ, она начинала издѣваться надъ нимъ всевозможными мистифицирующими ликами и личинами и что онъ завизжалъ противъ философіи кантіанскаго «Логоса» въ отместку за то, что наскоро усвоенная имъ въ особыхъ, прежде всего полемическихъ цѣляхъ, она исполтишка начинала мстить ему, связывая по рукамъ и по ногамъ его собственное вольно-философское творчество. Лишь этичъ своеобразнымъ, внутренне полемическимъ характеромъ Бѣловскаго мышления объяснимы всѣ зигзаги его внутренняго развитія.

Начинается это развитіе какъ-бы въ терцію. Съ раннихъ

*) Въ этой словесной игрѣ, не больше, нельзя не видѣть попытку сближенія «истины» и «бытія», т. е. тенденціи къ онтологическому, бытіеиственному пониманію истины.

юношескихъ лѣтъ въ душѣ Бѣлаго одинаково сильно звучать тема точной науки и нискликающаго его въ какія-то бездны хаоса. Какъ отъ опасности кристаллическаго омертвѣнія своего сознанія, такъ и отъ опасности его музыкальнаго расплавленія Бѣлый защищается неокантіанской методологіей, которая въ его душѣ въ томъ хозяйствѣ означаетъ къ тому-же формулу вѣрности его отцу, математику-методологу (см. «На рубежѣ двухъ столѣтій», стр. 68, 69). Но расправившись при помощи «методологін» съ «кристаллами» и «хаосомъ», разведя при помощи «серіи» методологическихъ приемовъ «серіи» явленій по своимъ мѣстамъ, Бѣлый тутъ же свертываетъ свои «серіи серій» и провозглашаетъ мистическое всеединство переживаній, дабы уже черезъ минуту, испугавшись мистической распутицы, воззвать къ религии, но «найти себя» въ антропософіи и послѣ страстной, но мало корректной полемики съ Э. К. Метнеромъ въ защиту Штейнера неожиданно замкнуться на напечатанномъ до сихъ поръ памфлетомъ на боготворимаго имъ создателя Дорнаха. Всѣ эти перечисленные моменты Бѣлавскаго сознанія означаютъ однако не столько этапы его поступательнаго развитія, сколько слои или планы его изначальной душевной субстанціи. Какъ это ни странно, но при всей невѣроятной подвижности своего мышленія, Бѣлый въ сущности все время стоитъ на мѣстѣ; вѣрнѣе, отбиваясь отъ угрозъ и наводненій, все время подымается и опускается надъ самимъ собою, но не развивается. Пройденный Бѣлымъ писательскій путь и его собственное осознаніе этого пути подтверждаютъ, какъ мнѣ кажется, это мое положеніе. Начавъ съ монадологической «невнятицы» своихъ симфоній, Бѣлый попытался было въ «Серебряномъ голубѣ», въ «Петербургѣ» и въ «Пеплѣ» выйти на просторъ почти эпическаго повѣствованія, но затѣмъ снова вернулся къ своему я, хотя и къ Я, начертаемому имъ жирнымъ и крупнымъ шрифтомъ *).

Въ первой главѣ своего «Дневника», напечатаннаго въ № 1-мъ «Записокъ мечтателя» (1919 г.), Бѣлый вполне опре-

*) Конструкція этого Я («внѣ-міроваго и внѣ-ячнаго»), въ которомъ «вписано» я въ обычномъ смыслѣ слова (субъектъ) и міръ (объектъ), весьма опредѣленно напоминаетъ, къ слову сказать, построеніе нѣмецкаго идеализма: съ одной стороны философію тождества Шеллинга, а съ другой абсолютное я Фихте. Для полнаго и углубленнаго пониманія Бѣлага было-бы весьма важно тщательно разрѣботать проблему идеалистической природы его сознанія, оказавшей ему, какъ мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, весьма серьезное сопротивленіе на его пути къ религіозной трезвости и предметности.

дѣленно заявляетъ: «статья, тема, фабула — абстрація; есть одна только тема — описывать панорамы сознания, одна задача — «сосредоточиться въ «я», члѣ заданное математической точкою».

Въ сущности Бѣлый всю свою творческую жизнь прожилъ въ сосредоточеніи на своемъ «я»; и только и дѣлалъ, что описывать «панорамы сознания». Всѣ люди, о которыхъ онъ писалъ и прежде всего тѣ, противъ которыхъ онъ писалъ, были въ концѣ концовъ лишь панорамными фигурами въ панорамахъ его сознания. Мнѣ кажется, что большинство крупныхъ жизненныхъ расхождений Бѣлаго объяснимо этою панорамностью его сознания. Самымъ объективно значительнымъ было вѣроятно его расхождение съ Блокомъ въ эпоху «Нечаянной радости» и «Балаганчика».

Всѣ мы, болѣе или менѣе близко знавшіе Бѣлаго, знаемъ, что расхождение это имѣло не только литературныя и міросозерцательныя причины, но и личныя. Дѣло однако не въ нихъ, а въ томъ, что Бѣлый еще дописывалъ «мистическую» панораму своего сознания какъ объективную картину возникающей новой жизни, въ то время, какъ Блокъ, талантъ менѣе богатый, сложный и вѣтвистый, но зато гораздо болѣе предметный и метафизически болѣе правдивый, прозрѣвъ безпредметность и иллюзионистичность себя самоѣ мистифицирующей мистики «рубежа двухъ столѣтій», уже отходилъ на тыловыя позиціи своей мучительной, горькой, жестокой разочарованности.

Увидь Бѣлый въ тѣ поры Блока, какъ Блока, онъ вѣроятно не написалъ-бы той своей рецензіи на «Нечаянную радость» («Переваль» 1907 г.), которую онъ впоследствии (6-ая глава воспоминаній о Блокѣ, «Эпопея» № 3), въ сущности, взялъ обратно. Но въ томъ то и дѣло, что онъ Блока, какъ Блока не увидѣлъ, а обрушился на него какъ на сбѣжавшую изъ его мистической панорамы центральную фигуру. Впоследствии, подойдя ближе къ позиціи Блока и въ свою очередь испугавшись, какъ бы «рубежь» не спуталъ «эротизма» съ «религіозной символикой» и не превратилъ «мистерій» въ «козловакъ», Бѣлый смѣло, но не справедливо вписалъ въ панораму своего сознания башню Вячеслава Иванова, какъ обиталище нечестивыхъ путаниковъ и соглашателей, а верхній этажъ Метрополи, въ которомъ властвовалъ и интриговалъ редакторъ «Вѣсовъ» Брюсовъ, какъ цитадель символической чистоты и подлинной мѣры вещей. Такъ всю свою жизнь вводилъ Андрей Бѣлый подъ куполь своего Я въ панорамы своего сознания своихъ ближайшихъ друзей въ качествѣ моментовъ внутренняго баланса, мо-

ментовъ взвѣсиванія и вывѣренія своего, лишеннаго трансцендентнаго центра, міросозерцанія и міровоззрѣнія. Такъ эквেলл-бристика мысли сливается у Бѣлаго съ блистательнымъ искусствомъ фехтовальщика. Но фехтуетъ Бѣлый на летающихъ трапеціяхъ не съ реальными людьми и врагами, а съ призраками своего собственнаго сознанія, съ оличенными во всевозможные «ты» и «они» моментами своего собственнаго монадологически въ себя самомъ замкнутого «я».

Очень можетъ быть, что моя характеристика сознанія Андрея Бѣлаго подсказана мнѣ моимъ личнымъ воспріятіемъ внѣшняго облика Бѣлаго и моимъ ощущеніемъ его, какъ человѣка. Последнюю сущность этого воспріятія и этого ощущения я не могу выразить проще, короче и лучше, какъ въ формѣ страннаго вопроса: да существовали-ли вообще Бѣлый? Раскрыть въ словахъ смыслъ этого, на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, нелѣпаго сомнѣнія весьма трудно. Что можетъ въ самомъ дѣлѣ означать неуверенность въ бытіи человѣка? Люди, знавшіе Бѣлаго лишь на эстрадѣ и по неспособнымъ для нихъ произведеніямъ его, часто считали его человѣкомъ аффектированнымъ, неестественнымъ, нарочитымъ — позеромъ. Онъ и самъ, описывая въ своихъ воспоминаніяхъ свое объясненіе съ Блокомъ, называетъ себя «маркизомъ Поза», противопоставляя свою манеру держаться блоковской, исполненной «непоказуемаго мужества» и «полнаго отсутствія позы». Не думаю, чтобы эти обвиненія и самообвиненіе Бѣлаго, быющее въ ту же точку, были бы вѣрны. Въ Бѣломъ была пляска и корча какого-то до-нельзя обнаженнаго существа, но въ немъ не было костюма, позы, актера. Но какъ бы то ни было, мои сомнѣнія въ бытіи Бѣлаго ни въ какой мѣрѣ и степени не суть сомнѣнія въ его искренности, не суть холячія въ свое время обвиненія его въ манерности и нарочитости; мои сомнѣнія гораздо глубже и страшнѣе.

Есть только одинъ путь, на которомъ человѣкъ увѣряется въ бытіи другого человѣка, какъ подлинно человѣка, какъ сдѣлодуховнаго своего брата. Это путь совершенно непосредственнаго ощущенія измѣненія моего бытія отъ соприкосновенія съ другимъ я. Тутъ дѣло не въ радикальномъ измѣненіи мнѣній или вѣрованій, что осуществляется въ насъ часто не встрѣчами съ людьми, а событіями жизни или даже книгами, но въ гораздо болѣе простомъ, хотя и совершенно безцѣнномъ для нашей жизни опытѣ, что всякое я и всякое встрѣчное ему

ты суть сообщающиеся сосуды, что одинъ человекъ другому и содержаніе и форма жизни и прибыль и убыль бытія. Есть люди, иногда совершенно простые — матери, няньки, незатѣйливые домашніе врачи, отъ простаго присутствія которыхъ въ душу вливается какой-то миръ, тепло и тишина. Есть другія, замученныя души, нервныя, въ которыхъ все бьется, какъ моторъ на холостомъ ходу и которая всеяютъ въ сердца другихъ страшную тревогу и безпокойство. Не надо думать, что Бѣлый, если бы онъ вообще могъ проливать свою душу въ другую, могъ бы проливать въ нее только одну тревогу и одно безпокойство. У него бывали моменты непередаваемо милыя, когда онъ весь свѣтился нѣжною ласкою, исходилъ, истаивать прекрасною, недоумѣваюшею, виноватою какою-то улыбкою.

Волнующій меня вопросъ бытія Бѣлаго заключается такимъ образомъ, въ первую во всякомъ случаѣ очередь, не въ томъ, что въ его внутреннемъ бытіи отрицательный полюсъ боли, тревоги и распада перевѣшивалъ положительный полюсъ благополучія, покоя и строя. Это тоже было, но главное заключается въ другомъ. Въ томъ, что Бѣлый даже и при близкомъ знакомствѣ, даже и въ минуты сердечнѣйшаго общенія «ухитрялся» оставаться какимъ-то въ послѣднемъ смыслѣ запредѣльнымъ и недоступнымъ тебѣ существомъ, существомъ, чѣмъ то тонкимъ и невидимымъ, словно пейзажъ прозрачнымъ стекломъ, отъ тебя отдѣленнымъ. Въ своихъ слѣпительныхъ по глубинѣ и блеску бесѣдахъ — «нельзя запечатлѣть всѣхъ модній» (Бѣлый) — онъ скорѣе развѣртывался передъ тобою какимъ-то небывалымъ событіемъ духа, чѣмъ запросто, по человѣчеству бывалъ съ тобою. Быть можетъ вся проблема бѣловскаго бытія есть вообще проблема его бытія, какъ ч е л о в ѣ к а. Подчасъ, — этихъ часовъ бывало немало. — ничто внѣчеловѣческое, до-человѣческое и сверхъ-человѣческое чувствовалось и слышалось въ немъ гораздо слытѣе, чѣмъ человѣческое. Былъ онъ весь какъ-то не «въ точку» человекомъ: весь душевно-физическій обликъ его былъ явно не владѣнъ человѣческаго покроя.

За пять лѣтъ очень частыхъ, временами еженедѣльныхъ встрѣчъ съ Бѣлымъ и успѣлъ вдоволь насмотрѣться на него. И вотъ сейчасъ онъ живо вспоминается мнѣ то въ аскетически обставленной квартирѣ Гершензона, подъ портретомъ Пушкина, то въ убогомъ «Дону» у Элиса, то въ роскошныхъ покояхъ М. К. Морозовой на засѣданіяхъ религіозно-философскаго общества за зеленымъ столомъ, то въ переполненныхъ аудиторіяхъ Политехническаго музея, то на снобистически-скан-

дальныхъ собраніяхъ «Свободной эстетики»; позднѣ въ домахъ Найденова на Кудринской Садовой (то у Рачинскихъ, то у антропологовъ Григоровыхъ), подѣ Москвой на дачѣ, гдѣ онъ жилъ первое время послѣ женитьбы, у насъ въ гостяхъ; но главнымъ образомъ, конечно, въ «Мусагетѣ», въ уютной редакціонной квартирѣ на Арбатской площади, гдѣ чуть-ли не ежедневно собирались «мусагетцы», «орфики», «символисты», «идеалисты», и гдѣ подѣ безконечные чаи и въ чайниі безконечности шла непрерывная бесѣда о судьбахъ міра, кризисѣ культуры и грядущей революціи. Бесѣда, сознаемъ, иногда слишкомъ «пиршественная», слишкомъ широкоувѣшательная, но все же на рѣдкость живая, глубокая, оказавшаяся во многихъ пунктахъ пророческимъ провидѣніемъ послѣдующихъ военно-революціонныхъ годовъ. Пусть большевикская революція эту бесѣду оборвала — по-революціонной Россіи не избѣжать углубленнаго и протрезвленнаго возврата къ ней.

Но вернемся къ Бѣлому. Всюду, гдѣ онъ появлялся въ тѣ поры, онъ именно появлялся въ томъ точномъ смыслѣ этого слова, который не примѣнимъ къ большинству людей. Онъ не просто входилъ въ помѣщеніе, а какъ то по особому ныряя головой и плечами, не то влеталъ, не то врвался, не то втанцовывалъ въ него. Во всей его фигурѣ было нѣчто всегда готовое къ прыжку, къ нырку, а можетъ быть и къ взлету; въ поставѣ и движеніяхъ рукъ нѣчто крылатое, разсѣкающее стихію: водную или воздушную. Вотъ, вотъ нырнуть въ пучину, вотъ взойдется надъ нею. Одно никогда не чувствовалось въ Бѣломъ — корней. Онъ былъ существомъ, обмѣнявшимъ корни на крылья. Оттого, что Бѣлый ощущался существомъ пребывающимъ не на землѣ, а въ какихъ то иныхъ пространствахъ и просторахъ, безднахъ и пучинахъ, онъ казался чело-вѣкомъ предѣльно разсѣяннмъ и отсутствующимъ. Но такимъ онъ только казался. На самомъ же дѣлѣ онъ былъ внимательнѣйшимъ наблюдателемъ, съ очень зоркими глазами и точною памятью. Выраженіе — онъ былъ внимательнымъ наблюдателемъ впрочемъ не вполне точно. Самъ Бѣлый таковымъ наблюдателемъ не былъ, но тѣмъ жилъ нѣкто за него наблюдая за эмпиріей жизни и предоставляющей ему впоследствии, когда онъ садился писать романы и воспоминанія, свою «записную книжку». Въ бесѣдахъ съ Бѣлымъ я не разъ удивлялся протокольной точности воспоминаній этого какъ будто-бы разсѣяннорѣющаго надъ землею существа. И все же воспомина-ніямъ Бѣлаго вѣрить нельзя. Нельзя потому, что рѣющее надъ землею существо въ Бѣломъ постоянно поправляло своего

земного наблюдателя. Наблюдатель въ Бѣломъ предоставитъ ему свое описаніе какой нибудь бородавки на миломъ лицѣ, Бѣлый въ точности воспроизведетъ это описаніе, но отъ себя прибавитъ: описанная бородавка есть не бородавка, а глазъ. «На рубежѣ двухъ столѣтій» («Начало вѣка» мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось получить) совершенно изумительная книга, но книга цѣликомъ построена на этой гениальной раскосости бѣловскаго взора.

Эта раскосость бѣловскаго взора, связанная съ двупланностью его сознанія, поражала меня всегда и на лекціяхъ, гдѣ Бѣлый выступалъ оппонентомъ. Сидитъ за зеленымъ столомъ и какъ будто не слушаетъ. На то или иное слово оратора иѣтъ да и отзовется, конечно, взоромъ, миккомъ, кивкомъ головы, какою-то фигурно-выпячивающею губы улыбкою на насупленномъ, недоумѣвающимъ лицѣ, но въ общемъ отсутствующъ, т.е. пребываетъ въ какой то своей «безднѣ», въ безднѣ своего одиночества и своего небытія. Смотришь на него и видишь, что весь онъ словно клубится какими-то обличьями. То торчитъ надъ зеленымъ столомъ какимъ-то гримасничающимъ Петрушкою съ головою на бокъ, то лѣветъ надъ нимъ въ цѣхъ волосъ и съ ласковой лазурью глазъ какимъ-то безумнымъ отуванчикомъ, то вдругъ весь ошерится зеленымъ взоромъ и золотымъ оскаломъ... Но вотъ: «слово предоставляется Андрею Бѣлому». Бѣлый, ныряя головою и плечами, протанцовываетъ на кафедре; безумно-вдохновенною своею головою возникаетъ надъ нею и озираясь по сторонамъ (гдѣ же враги?) и «бодая пространство», начинаетъ возражать: сначала ища словъ, въ концѣ же всецѣло одержимый словами, обуреваемый ихъ самостоятельную въ немъ жизнью. Оказывается, онъ все услышалъ и все запомнилъ. И все-же, какъ его воспоминанія — не воспоминанія, такъ и его возраженія — не возраженія. Сказанное лекторомъ для него въ сущности только трамплинъ. Вотъ онъ разбѣжался мыслью, оттолкнулся отъ него и уже крутится на летящихъ трапеціяхъ своихъ собственныхъ вопросовъ въ высочайшемъ куполѣ своего одинокаго «я». Онъ не ораторъ, но говоритъ онъ изумительно. Необъятный горизонтъ его сознанія непрерывно подыхаетъ зарницами неожиданнѣйшихъ мыслей. Свою ширококрылою ассоціаціею онъ въ полетѣ рѣчи связываетъ во все новые парадоксы самыя, казалось бы несвязныя другъ съ другомъ мысли. Логика рѣчи все чаще фонетизируется ея фонетикой: — человекъ провозглашается челомъ вѣка, истина — одновременно и естиной (по Платону) и ѣстиной (по Марксу). Вотъ блистательно взывавшій умъ внезапно превра-

шается въ заумь; философская терминологія — въ символическую сигнализацию; минутами смыслъ рѣчи почти исчезаетъ. Но несясь сквозь «невнятицы», Бѣлый ни на минуту не теряетъ убѣдительности, такъ какъ ни на минуту не теряетъ изумительнаго дара своего высшаго словотворчества.

«Языкъ, запрядай тайнымъ сномъ!
 Какъ жизнь возстань и даруй: въ смерти!
 Встань въ жерди: пучимымъ листомъ!
 Встань тучей, горностаемъ въ тверди,
 Языкъ, запрядай вновь и вновь...

Но вотъ Бѣлый опускается съ высотъ и начинаетъ мѣтко нападать на противника, граня въ «серіяхъ» методологически упроченныхъ смысловъ вѣчный хаосъ своего мучительнаго опыта. На этихъ спускахъ онъ обнаруживаетъ необычайную начитанность, даже ученость, зоркій критическій взглядъ и подчасъ очень трезвое мнѣніе. Тутъ онъ прекрасно понимаетъ, что «гдѣ-то и что-то къ добру не приведетъ», что мы жаждемъ «яснаго, какъ Божій день, слова».

Людямъ, нападающимъ на «невнятицы» Бѣлаго, отклоняющимъ его за туманность его художественнаго письма и спутанность его теоретической мысли, надо было-бы, передъ тѣмъ какъ отклонять этого изумительнаго художника и теоретика, серьезно задуматься надъ тѣмъ, что всѣ невнятицы, туманности и путаницы Бѣлаго суть явленія в ы с о т ы, на пути къ которой Бѣлый умѣлъ бывать и внятнымъ, и яснымъ, и четкимъ.

Два свиданія съ Бѣлымъ — одно вѣроятно въ зиму 1911-12 г. въ Москвѣ, другое, послѣднее, наканунѣ его отъѣзда изъ Берлина въ Россію, запомнились мнѣ особенно ярко. Рассказать о нихъ подробно все-же не смогу. потому что въ сущности ничего не помню, кромѣ нѣсколькихъ маловажныхъ деталей, да очень важнаго для моего пониманія Бѣлаго, но почти не поддающагося описанію ощущенія запредѣльности и призрачности бѣловскаго бытія.

Стояла совѣтъ поздняя осень, Бѣлый пришелъ за какія-нибудь 5-10 минутъ до того, какъ спускать шторы и зажигать лампы. Въ мой кабинетъ съ большимъ письменнымъ столомъ у окна вынырнулъ онъ изъ-подъ портьеры передней съ крѣпко сжатыми передъ грудью ладонями и округло-пружинящими, словно пытающимися взлетѣть локтями. Остановившись передъ окномъ, за которымъ въ сумеркахъ истаявалъ высочайшій тополь, онъ обвелъ блуждающимъ взоромъ мой столъ и бла-

женно улыбнулся вопросом: «а вамъ тутъ очень хорошо работать?» Затѣмъ опустился въ кресло и отошелъ въ себя. Я сразу почувствовалъ, что собравшись по сговору къ намъ, онъ не выключилъ въ себѣ творческаго мотора и что передъ нимъ клубятся какія-то свои галлюцинаціи. Ни послѣдовавшаго тутъ же разговора, вѣроятно о Мусagetскихъ дѣлахъ, ни ужина, не помню. Помню только уже очень поздній часъ, отворачивающуюся всторону отъ ѣдкаго дыма папиросы вдохновенную голову Бѣлаго, то наступающаго на насъ съ женою съ широко разверстыми и опущенными книзу руками, то отступающаго въ глубину комнаты съ какимъ-то балетнымъ присяданіемъ. Весь онъ, весь его душевно-тѣлесный составъ явно охваченъ какимъ-то творчески-полемическимъ изступленіемъ. Онъ говоритъ объ общихъ знакомыхъ, писателяхъ, философахъ и, Боже, что за жуткія изваяются гениальными словами его метафизическія каррикатуры! Смотрю и слушаю: нѣтъ, дѣло не въ недоброжелательствѣ къ людямъ и конечно не въ издѣвательствѣ надъ ними. Дѣло просто въ обреченности Бѣлаго видѣть міръ и людей такъ, какъ намъ иной разъ по ночамъ, въ особенности въ дѣтствѣ, видятся разбросанные по комнатѣ предметы. Круглый абажуръ лампы на столѣ, рядомъ на стулѣ бѣлье и вогъ — духъ захватываетъ отъ страха: въ креслѣ у постели сидитъ скелетъ въ саванѣ... Въ тотъ вечеръ, о которомъ пишу, я впервые понялъ, что въ Бѣлочѣ и его искусствѣ (такъ, напримѣръ, въ «Петербургѣ», который онъ совершенно изумительно читалъ, вбирая въ расширенныя ноздри бактерии петербургскихъ задворокъ, и устрaшенно приносясь плечами въ креслѣ, какъ прижимаются въ петербургскихъ туманахъ острова съ циркулирующими по нимъ субъектами), ничего не понять, если не понять, что Бѣлый всю жизнь всѣ абажуры видѣлъ и изображалъ въ моментъ ихъ превращенія въ черепа, а всѣ стулья съ брошеннымъ на нихъ бѣльемъ въ моментъ ихъ превращенія въ саваны. Видя такъ предметы своего обихода, онъ еще въ большей степени видѣлъ такъ и людей. Въ каждомъ человѣкѣ Бѣлый вдругъ открывалъ (часто надолго, но врядъ-ли когда-нибудь навсегда, у него въ отношеніи къ людямъ вообще не было «навсегда») какую-нибудь особую, другимъ невидимую точку, изъ которой, надѣленный громадной конструктивной фатализіей, затѣмъ рождалъ и развивалъ свой образъ, всегда связаннй съ оригиналомъ существенѣйшимъ моментомъ остраго, призрачнаго, ночного сходства, но въ цѣломъ предательски мало похожій на живую дѣйствительность.

Въ вечеръ перваго моего сближенія съ нимъ Бѣлый былъ

какъ-то особенно въ ударѣ. Создаваемые имъ образы-фантомы магически награждались имъ всею полнотою эмпирической реальности и разсаживались вокругъ него по стульямъ и кресламъ...

Разошлись мы очень поздно, я вышелъ проводить его за ворота. На дворѣ осень превратилась въ зиму. Отъ бѣлизны и чистоты выпавшаго снѣга я ясно и радостно ощутилъ большое облегченіе. Вернувшись въ прокуренную квартиру, я остро почувствовалъ, что въ ней тѣсно и открылъ окна, въ надеждѣ, что невидимо сидящіе на стульяхъ гротески, среди нихъ много добрыхъ знакомыхъ и друзей, вмѣстѣ съ папироснымъ дымомъ выключатся въ чистую, отъ снѣга свѣтлую ночь.

Зиму 1922-23 года я вилѣлся съ Бѣлымъ рѣдко. Последний разъ мы были у него съ женою, думается, совсѣмъ незадолго до его все-же внезапнаго отъѣзда въ Россію. Пришли къ нему, узнавши, что онъ боленъ, неухоженъ и даже пуждается. Его дѣйствительно трясла лихорадка. Во время разговора, касавшагося его отъѣзда въ Россію, издательскихъ дѣлъ, авансовъ и помню, Алексѣя Толстого (немотивированно обрушился на его «Хожденіе по мукамъ»), онъ какъ звѣрь по клѣткѣ ходилъ по комнатѣ въ наброшенномъ на плечи пальто. Главное, что осталось отъ разговора, это память о томъ, что, разговаривая съ нами, Бѣлый ни на минуту не отрывался отъ зеркала. Сначала каждый разъ, проходя мимо, бросалъ въ него долгіе, внимательные взоры, а потомъ уже откровеннымъ образомъ сѣлъ передъ нимъ въ кресло и разговаривалъ съ нами, находясь все время въ мимическомъ общеніи со своимъ отраженіемъ. Въ эти минуты отвѣты мнѣ становились всего лишь репликами «всторону»; главный разговоръ явно сосредоточивался на діалогѣ Бѣлаго со своимъ двойникомъ. Раздвоеніе Бѣлаго естественно заражало и меня. Помню, что и я сталъ заглядывать въ зеркало и прислушиваться къ мимическому общенію Бѣлаго съ самимъ собою. Разговора нашего не помню, но помню, что слова его все многосмысленнѣе перепрыгивали по смысламъ, а смыслы все условнѣе и таинственнѣе перемѣшивались другъ съ другомъ.

Не будь Бѣлый Бѣлымъ, у меня отъ послѣдняго свиданія съ нимъ осталось бы впечатлѣніе свиданія съ больнымъ человекомъ. Но въ томъ то и дѣло, что Бѣлый былъ Бѣлымъ, т. е. человекомъ, для котораго ненормальная температура была лишь внѣшнимъ выраженіемъ внутренней нормы его бытія. И потому, несмотря на всю сирость, разстроенность, бѣдность и болѣзненность въ послѣдній разъ видѣннаго мною Бѣлаго, мое

последнее свиданіе съ нимъ осталось въ памяти вѣрнымъ итогомъ всѣхъ моихъ прежнихъ встрѣчъ съ этимъ единственнымъ человѣкомъ, которымъ нельзя было не интересоваться, которымъ трудно было не восхищаться, котораго такъ естественно было всегда жалѣть, временами любить, но съ которымъ н и к о г д а нельзя было по просту быть, потому что въ самомъ существенномъ для насъ, людей, смыслѣ его быть можетъ и не было съ нами.

Говоря о небытіи Бѣлаго, о его одиночествѣ, о его замкнутости въ себѣ самомъ, я ни разъ, и конечно не случайно, упоминалъ о монадѣ. Монада, по мысли создателя философской монадологии, Лейбница, какъ извѣстно, не имѣетъ оконъ, не сообщается съ другими монадами, не сообщается съ міромъ. И все же она весь запредѣльный ей міръ по своему несетъ и таить въ себѣ: отражаетъ его съ тою или иною степенью ясности и отчетливости. Можно пойти далѣе и сказать, что все бытіе монады только и состоитъ въ томъ, чтобы отражать бытіе міра, чтобы жить отраженіями, чтобы быть отраженностью. Одиночество Бѣлаго, (оно же и его небытіе, ибо бытіе всякаго Я, начинается съ «ты еси» — В. Ивановъ), есть не простое и простое одиночество, а одиночество именно монадологическое. Какъ лишенная оконъ монада, Бѣлый занималъ въ іерархически-монадологическомъ строѣ вселенной безспорно очень высокое мѣсто (одно изъ самыхъ первыхъ, среди своихъ современниковъ), ибо — въ этомъ врядъ-ли возможны сомнѣнія — отражалъ тотъ міръ «рубежа двухъ столѣтій», въ которомъ жилъ и изъ глубины котораго творилъ, съ максимальной четкостью и ясностью. За эту вѣрность своей эпохѣ не въ ея явныхъ благополучныхъ формахъ, а въ ея тайныхъ, угрожающихъ безформенностяхъ, за вѣрность эпохѣ, какъ великому клину назрѣвающихъ въ ней катастрофъ, какъ готовившемуся въ ней взрыву всѣхъ привычныхъ смысловъ, какъ скату въ небытіе всѣхъ ея бытіеястныхъ и бытовыхъ формъ, Бѣлый и заплатилъ трагедіей своего небытія и одиночества, ставшей, правда, благодаря магии его дарованія, нашею крѣпчайшею связью съ ничь. Творчество Бѣлаго это единственное по силѣ и своеобразію воплощеніе н е б ы т і я «рубежа двухъ столѣтій», какъ вступленія къ предчувствуемому нами бытію двадцатаго вѣка, это художественная конструкція всѣхъ тѣхъ деструкцій, что совершались въ немъ и вокругъ него; раньше, чѣмъ въ какой-

бы то не было другой душѣ, рушилось въ душѣ Бѣлаго зданіе 19-го вѣка и протуманились очертанія двадцатаго.

Конецъ девятнадцатаго вѣка, служашій сейчасъ мишенью всевозможнѣйшихъ нападений и издѣвательствъ, былъ въ извѣстномъ смыслѣ одною изъ наиболѣе блистательныхъ эпохъ исторіи человѣчества. Закончившая короткою и локализированной франко-прусскою войною періодъ войнъ и революцій консолидировавшаяся Европа твердою стопою рѣшительно пошла по пути мирнаго преобразования своей жизни (въ идеаль-же жизни всѣхъ странъ и народовъ) на основѣ незыблемыхъ идеаловъ европейской цивилизаціи. Нельзя сказать, чтобы на этихъ путяхъ было мало достигнуто. Европа за нѣсколько десятилѣтій мощно разбогатѣла. Научно-техническими своими изобрѣтеніями до неузнаваемости преобразила ликъ земли и образъ человѣческой жизни. Несмотря на всѣ жестокости капитализма въ общемъ значительно повысила жизненный уровень всего человѣчества, не только однихъ богатыхъ. Достигла она этого (намъ, пережившимъ кризисъ и срывъ идей 19-го вѣка, грѣшными: 19-й вѣкъ былъ вѣкомъ господства права даже и въ международныхъ сношеніяхъ, былъ вѣкомъ созданія социальнаго законодательства даже и для рабовъ капитализма. Раненый на смерть, истекая кровью, 19-ый вѣкъ устами Вильсона и Керенскаго все еще бредилъ о свободахъ, о правахъ челоѣка и гражданина.

Не меньше, чѣмъ въ экономически-соціальной сферѣ, достигъ 19-й вѣкъ и въ сферѣ культуры. Расцвѣтшая наряду съ естественно-научными изслѣдованіями историческая наука до безконечности раздвинула историческую память европейскаго челоѣчества и тысячами нитей связала культуру Европы со всѣми другими культурами міра. Образованный и передовой европеецъ конца 19-го вѣка былъ не только французомъ, англичаниномъ, русскимъ или нѣмцемъ, но культурнѣйшимъ «гражданиномъ вселенной», свободно двигающимся по дворцамъ и храмамъ рѣшительно всѣхъ культуръ и чувствующимъ себя вездѣ дома. Убѣгающая въ прошлое линія наукою возсозданныхъ воспоминаній естественно сливалась съ линіей научно-техническаго построения будущаго въ одну пронзающую міровые зоны и міровыя пространства магистраль всечелоѣческаго прогресса.

Профессорскій сынъ и воспитанникъ либерально-университетской среды, Бѣлый, какъ онъ о томъ самъ впоследствии рассказалъ въ первомъ томѣ своей автобіографіи («На рубежѣ

двухъ столѣтій»), уже съ раннихъ гимназическихъ лѣтъ поднимая знамя борьбы противъ благородно-болтливой фразы либерально-гуманитарнаго прогрессизма: противъ позитивизма въ наукѣ, натурализма въ искусствѣ и умѣренного либерализма въ политикѣ. Тѣмъ не менѣе Бѣлый, какъ мнѣ кажется, съ самаго начала былъ и въ цѣломъ рядѣ моментовъ своего духовнаго облика до конца оставался типичнымъ выкормившемъ прогрессивнаго 19-го вѣка. Не будь онъ имъ, онъ не сталъ-бы тѣмъ характернымъ выразителемъ кризиса «рубежа», кѣмъ онъ безусловно войдетъ въ историю русскаго сознанія — русской философiи, русскаго міросозернанія. Интеллигентски-профессорская либеральная закуска Бѣлаго сказывается прежде всего въ полномъ отсутствiи въ его сознанiи въ сѣбѣ первично консервативныхъ пластовъ духа и опыта (соціологической этой фактъ соответствуетъ тому психологическому, что Бѣлый былъ существомъ крылатымъ, но лишеннымъ корней). Бѣлый тѣсно связанъ съ Достоевскимъ и Вл. Соловьевымъ, но въ немъ нѣтъ ничего отъ Хомякова и Льва Толстого. Церковь, земля, мужикъ были ему чужды. Въ «Серебряномъ голубѣ» есть, правда, и церковь, и земля, и мужикъ, и барская усадьба, и все же всего этого въ «Серебряномъ голубѣ» нѣту. Реальны и убѣдительны въ этомъ мастерски написанномъ оригинальномъ романѣ: двупланность души Дарьяльскаго, связь дѣтской печали съ безстыдствомъ «духини Матрены», пьяная революционная гармоника, годами идущій на Цѣлебѣево прилорожный кустъ, «разводы» Кудеяровскаго лица, невнятица его рѣчи, дороги, дожди, туманы — однимъ словомъ убѣдительна въ немъ атмосфера. Все же вписанное въ эту атмосферу: церковь, о. Вуколь, дьячекъ, попадья, дѣвицы Уткины, купецъ Еропѣгинъ, баронесса, Евѣичъ кровопивецъ-староста—все это лишь внѣшнимъ кустодіевскимъ плакатомъ опавшій Гоголевскій приемъ. Всего этого нѣтъ, нѣтъ не только въ бытовомъ планѣ, что для Бѣлаго не покорь, но и въ бытiйственичествѣ. Всѣ перечисленные образы не типы, т. е. не въ индивидуальности заостренные общности, какъ образы Льва Толстого и Достоевскаго, а всего только декоративные персонажи, т. е. лишены индивидуальныхъ чертъ обобщенія. Въ нихъ очень много краски и орнаментальной линiи, но мало крови, плоти и духовной субстанции. По замыслу Бѣлаго въ образахъ баронессы, Еропѣгина, кровопивца-старосты и др. долженъ былъ-бы чувствоваться распадъ старой, частично еще дореформенной Россiи, но онъ въ нихъ не чувствуется и не чувствуется потому, что въ душахъ этихъ людей, за отсутствiемъ въ нихъ души, подмѣнен-

ныхъ орнаментальною фреской, ничего не происходитъ. Распадъ — процессъ. Персонажи же старой Россіи въ «Серебряномъ голубѣ» абсолютно статичны. Они нарисованы какъ вещи, но не какъ люди; даны не изнутри — а извнѣ, что доказываетъ, что внутренняго отношенія къ старой, къ исторически ставшей Россіи у Бѣлаго не было. Морлатые гротески Алексѣя Толстого, при всей живописности его письма, никогда не фрески. Старая Россія вся у Толстого въ утробѣ. Потому онъ и пишетъ ее (да простится мнѣ это сравненіе) словно-отрываетъ. Бѣлый же старой Россіи въ утробѣ конечно не носилъ. У него вообще не было утробы, или, выражаясь деликатнѣе, у него не было физиологически-бытовой памяти. И въ этомъ его органическій «либерализмъ».

Ослабленіе физиологически-бытовой памяти (разрывъ кровной связи съ отцами и дѣдами) совпадало всегда, еще со времянь борьбы Сократа съ софистами, съ развитіемъ рационально-критической стихіи, съ обостреніемъ логической совѣсти, съ повышеніемъ и утоншеніемъ сознательности. Въ «мистикѣ» и «антропософѣ» Бѣломъ, казавшемся большинству людей чело-вѣкомъ хаотическаго сознанія и невнятной рѣчи, мы встрѣчаемся съ яркою выраженностью всѣхъ этихъ чертъ.

Талантъ Бѣлаго представляетъ собою въ высшей степени атипичный и широкій синтезъ дарованій. Бѣлый въ цѣломъ, т. е. наиболѣе оригинальный и значительный Бѣлый, мало кому интересенъ и доступенъ. Теоретическія статьи по искусству, со-бранія въ увѣсистомъ томѣ «Символизма», читались и цѣни-лись лишь небольшою группою философствующихъ писателей, преимущественно лириковъ. Его романами зачитывались пре-жде всего философы, психологи, мистики, музыканты. Типич-ный писатель и широкая публика, публика Горькаго, Андреева, Арцыбашева, его не читала и не понимала. Бѣлый въ цѣломъ, т. е. существово почитанный Бѣлый, еще до сихъ поръ не по-палъ потому ни въ фокусъ всеобщей читательской любви, ни въ фокусъ пристального вниманія издѣлателей русскаго со-знанія и русскаго искусства. Болѣе всего незамѣченными прошли такіе его работы, какъ «Смыслъ искусства» и, главнымъ обра-зомъ, «Эмблематика смысла». Говорить о нихъ по существу и вплотную здѣсь конечно не приходится. Въ связи съ интересую-щей меня темою отношенія Бѣлаго къ 19-му вѣку отиѣчу лишь то, что линія рационалистически-методологическаго раз-ложенія цѣлостнаго сознанія, линія, берущая свое начало въ софистикѣ и восходящая черезъ Декарта къ Канту, оцупається въ «эмблематикѣ смысла» очень глѣбоко и зашищается Бѣ-

лымъ весьма серьезно; не безъ подлиннаго гносеологического блеска и пафоса. Наявной научной въры въ Бѣломъ нѣтъ и слѣда. Имъ глубоко усвоено нео-кантианское положеніе, что всякій объектъ познанія и всякое его опознаніе предопределены искусственностью методологического подхода къ действительности. Что объективныхъ действительностей столько же, сколько методологическихъ пріемовъ изслѣдованія фактовъ сознанія. Не безъ нѣкотораго зторадства, не безъ нѣкотораго методологического садизма, не безъ Кудряевского позничиванія: — «я... вотъ ужъ какъ!» доказываетъ Бѣлый, что всякое положительное знаніе должно быть какъ бы надточлено опознаніемъ его методологической обусловленности, что лишь этотъ надломъ всякаго знанія слѣдующими за нимъ по прѣтамъ актами опознанія самихъ познавательныхъ актовъ превращаетъ знанія въ подлинное познаніе, и тѣмъ самымъ уже снова въ незнаніе. Въ самомъ дѣлѣ если действительностей столько же, сколько познавательныхъ методовъ, то не значить ли это, что познаніе познаетъ не действительность, а самого себя и что действительность вонкъ непознаваема. Тутъ глупая методологія, тезисъ непознаваемости абсолютнаго бытія превращается Бѣлымъ въ метафизическій тезисъ буллизма, въ утвержденіе небытія (нирванна), какъ единственно подлиннаго всебытія; и Кантъ, «конечно-же Кантъ, этотъ «кенигсбергскій китаецъ» водружается въ восточномъ кабинетѣ Николая Апполоновича Аплеухова, почитателя Будды, — въ качествѣ патрона какъ его нигилистически-террористическихъ мечтаний, такъ и организаціонной фантастики (нумерація, циркулярія серій, квадраты, параллелепеды, кубы) его сановнаго отца.

Въ этой метафизикѣ «панметодологизма»^{*)}, вѣдущая роль у Бѣлаго, правда, въ нѣсколько химерическую историческую концепцію панмонизма, также явно сказывается глубокая связь Бѣлаго съ духомъ либеральнаго критическаго просвѣщенія, какъ и въ его изображеніи исторической Россіи. Превращеніе быта въ фреску и познанія и методъ суть явленія одного и того же порядка, явленія разложенія въ душѣ девятинадцатаго вѣка непосредственнаго чувства подлиннаго бытія.

*) «Пан-методологизмъ» — герминъ, которымъ въ Восточнѣмъ кабинетѣ опредѣляютъ сущность нео-кантиански-гергельявскихъ философовъ Германа Когена, съ которой быть черезъ Бог. Ал. Фохла связь с Бѣлымъ Андрей Бѣлый. Впоследствии этого Когена въ его философскія занятія Генрихъ Риккертъ принимавшій живое участіе въ «Толоскѣ» международномъ журналѣ по философій культуры.

Особой, симптоматически наиболее важной остроты пан-методологизмъ Бѣлаго достигаетъ съ переносомъ идеи методологического плюрализма въ сферу культуры. Въ «Символизмъ» страннымъ образомъ переплетаются и борются другъ съ другомъ двѣ по своей природѣ весьма различныя идеи. Съ одной стороны Бѣлый защищаетъ новое символическое искусство, какъ «теургію» (Вл. Соловьевъ), какъ творчество новой жизни, а съ другой, какъ вполне имъ самимъ осознанный эклектизмъ александрийской эпохи. Въ основѣ этой второй линіи защиты лежитъ очевидная мысль, что культура есть ничто иное, какъ максимально широко развернутый методъ подхода къ действительности и что задача символическаго искусства заключается въ новой комбинаціи всѣхъ культуръ и міросозерцаній въ цѣляхъ невозможно полного охвата жизни. Въ «Эмблематикѣ смысла» Бѣлый такъ прямо и говоритъ: «мы действительно осязаемъ что-то новое (вспомнимъ слова того же Бѣлаго въ полемикѣ противъ Блока: «гдѣ-то, что-то къ добру не приведуть»), но осязаемъ его въ старомъ; въ подавляющемъ обиліи стараго — новизна такъ называемаго символизма... «въ порывѣ создать новое отношеніе къ действительности путемъ пересмотра серій забытыхъ міросозерцаній (до чего рационалистически-эклектичeskій оборотъ! Ф. С.) вся сила, вся будущность такъ называемаго новаго искусства». Въ дальнѣйшемъ Бѣлый защищаетъ «александрийскій періодъ античной культуры» противъ нападокъ со стороны Ницше и, объявляя самого Ницше «современнымъ александрийцемъ», объясняетъ этимъ вѣщія свойства его духа, не замѣчая всей злобѣшности защищаемаго имъ знака равенства между «вѣщностью» и эклектизмомъ, пророчествомъ и культуртрегерствомъ.

Не надо думать, что раскрываемая мною въ Бѣломъ тема 19-го вѣка была въ немъ случайна. Совсѣмъ напротивъ: она была его роковой темой. Интересующійся всѣми эпохами и всѣми науками, вѣрашій въ эволюцію и прогрессъ, въ обязательномъ лишь черезъ призму времени *) раскрывающуюся вѣщность, «гражданинъ вселенной» никогда окончательно не умиралъ въ

*) времени, но не пространства. Сочетаніе времени и пространства неизбежно даетъ бытіе быта и бытіе въ бытѣ, то, что Бѣлому было чуждо. У Бѣлаго всѣ пространства или крылаты, или кажутся таковыми, ибо они или сами куда нибудь летятъ, или являютъ собою просторы, сквозь которые все пролетаетъ куда-то.

Бѣломъ. Правда, въ философѣ и антропософѣ Бѣломъ *) въ основѣ своей социологической тема прогресса преобразена въ типично-бѣловскую тему «эволюціи человѣческаго сознанія», но это преобразеніе не только не отиѣняетъ, но, быть можетъ, даже и усиливаетъ ея показательное значеніе. Носящійся въ космическихъ просторахъ эволюционистъ-антропософъ еще радикальнѣе отрѣзана отъ всѣхъ пространственно-бытовыхъ, національно-плотныхъ и исторически-религіозныхъ (церковныхъ) началъ, чѣмъ тихо проживающій на «Арбатѣ» либеральный профессоръ экономистъ. Эту, — скажемъ условно, — отрѣзанность отъ всѣхъ консервативныхъ началъ Бѣлый не только чувствовалъ, но и осозналъ въ себѣ. Въ своемъ «Дневникѣ» («Записки мечтателя» № № 2 и 3-й) онъ съ пафосомъ провозглашаетъ, что онъ человѣкъ свободный «отъ путъ рода, отъ быта, отъ мѣстности, національности, государства, противостоящій міру и только міру, — всему міру».

Это-ли не послѣднее слово просвѣщенски-эгалитарнаго воплощенія въ результатѣ пересмотра «серій забытыхъ міросозерцаній»? Въ этомъ послѣднемъ словѣ налицо и извѣстная духовная связь Бѣлаго съ большевизмомъ, по крайней мѣрѣ съ характерною для большевизма темою просвѣщенной «уравновки» и развоплощенія исторически сложившейся жизни.

Но конечно Бѣлый не былъ-бы Бѣлымъ, если бы онъ былъ только послѣднимъ словомъ прошлаго, гражданиномъ вселенной, культуртрегеромъ, ученымъ изслѣдователемъ серій забытыхъ міросозерцаній, антропософомъ, осуществляющимъ въ себѣ эволюціи сознаній, психоаналитикомъ, изслѣдующимъ его подсознательныя глубины, — однимъ словомъ, если-бы онъ былъ только тою вершиною культуры, которою онъ дѣйствительно былъ даже и помимо своего своеобразнѣйшаго художественнаго дарованія. Нѣтъ, Бѣлый сталъ Бѣлымъ, т. е. явленіемъ елипсѣннаго симптоматическаго и даже пророческаго значенія, потому что, будучи вершиной культуры, онъ раньше многихъ другихъ понялъ и всѣмъ своимъ художественнымъ творчествомъ заявилъ: «культура — трухлявая голова, въ ней все умерло, ничего не осталось. Будетъ взрывъ: все сметется». Всѣ главныя темы поэта и романиста Бѣлаго суть темы взрыва культуры, взрыва памяти, взрыва преемственной жизни и сложившагося быта.

Въ основѣ всѣхъ этихъ темъ лежитъ съ раннихъ дѣтскихъ

*) Бѣлымъ и антропософія большая тема, которой я по существу въ этой статьѣ не касаюсь.

лѣтъ возстающая въ душѣ Бѣлаго жутко-мучительная тема бунта противъ любимаго отца, обостряющаяся въ немъ временами до идеи посягательства на его жизнь *).

«Петербургъ» почти гениальное раскрытіе темы возстанія противъ отца и отечества, темы закланія плоти Россіи и воплощенія русской исторіи. Всѣ пушкинскіе «граниты» разъялены въ «Петербургѣ» гнилостно-лихорадочными туманами, всѣ петровскіе реформы и законы превращены въ параграфы, «совокупляющіеся крючки» пенашистаго Коленъкъ по плоти отца, сенатора Апполона Апполоновича. Людей въ «Петербургѣ» нѣтъ. Обитатели «столичнаго града» расклублены Бѣлымъ въ дымъ оборотней и химеръ; всѣ человѣческія лица преданы изѣпленнымъ на нихъ масками. Не только души, но даже и тѣла всѣхъ дѣйствующихъ лицъ «Петербурга» Бѣлымъ разъяты на части: видны не тѣла, не фигуры, но лишь головы, плечи, носы, затылки, спины; слышны не рѣчи и фразы, а обрывки словъ и фразъ, возгласы, хрипы, гычканья, простукивающія куда-то по чернымъ вонючимъ лѣстницамъ ноги, бьющіяся въ такіе же черныхъ провалахъ сознанія сердца. Несмотря на тщательность описанія разнообразнѣйшихъ обиталищъ петербургскихъ жителей, глазу читателей все же не видно, гдѣ они обитаютъ. Видны ль «Петербургѣ» не дома, квартиры и комнаты, а опять-таки лишь разъятыя части жилищъ. Затуманенныя колонны и каріатиды, блестяшія лѣстницы, паркеты и инкрустации, окна, обезумѣвшія отъ бьюшаго въ нихъ луннаго свѣта и какіе-то все время выступающіе изъ мрака кубистическіе косяки. Причемъ все это: люди, улицы, дома и комнаты—дано не статично, а въ-максимумъ движенія. Не то Петербургъ пролетаетъ куда-то сквозь безмѣрность мертвыхъ просторовъ, не то сами эти просторы, обезумѣвши, несутся мимо него. Что стоитъ на мѣстѣ и что несется влѣвъ, разобратъ нельзя. Максимумъ движенія и мертвая точка неподвижности съ изумительнымъ писательскимъ мастерствомъ противопоставлены Бѣлымъ въ «Петербургѣ», словно два отражающихъ

*) Вѣ Ходасевичъ полагаетъ эту тему по главу угла всего творчества Бѣлаго, на мой слухъ снижая ее тѣмъ психоаналитическимъ поворотомъ, который онъ ей придаетъ. Правда, въ писаніяхъ Бѣлаго есть совершенно явныя указанія на наличие въ душѣ Бѣлаго цесаревича, прямо таки вызывающихъ приращеніе къ нимъ фрейдовскихъ методовъ изслѣдованія; тѣмъ не менѣе я думаю, что историко-софскій подходъ къ творчеству Бѣлаго существенно психологическаго и въ особенности психоаналитическаго.

друг друга зеркала. Къ этой химерической приравненности движенія къ неподвижности приравнены въ «Петербургъ» всѣ остальные другъ друга отражающія и взрывающія полярности. Бытіе равно въ немъ небытію, болѣзнь — мудрости, патологія — онтологіи. Всѣ свои завѣтные исторіософскія мысли Бѣлый неслучайно, конечно, раскрываетъ передъ читателемъ въ формѣ бреда и галлюцинацій Александра Ивановича. Въ этихъ исторіософскихъ кошмарахъ несвязно, но вѣще мелькаютъ всѣ существенные слова и образы будущаго: ...«періодъ исхигого гуманизма законченъ»... «наступаетъ періодъ здороваго варварства»... «Франція подъ шумокъ вооружаетъ папуасовъ, ихъ ввозитъ въ Европу»... «пробуждается сказаніе о исаникахъ Чингизъ-Хана, распоясывается семито-монголь»...

«Собственно не я въ партіи, а во мнѣ партія»... «для насъ волнующая соціальными инстинктами масса превращается въ исполнительный аппаратъ, гдѣ всѣ люди — клавиатура, на которой летучіе пальцы пианиста бѣгаютъ, преодолевая всѣ трудности»... «спортсмены революціи»... «мѣдный конь копья не опуститъ: прыжокъ надъ исторіей будетъ; великое будетъ волненіе, разсѣчется земля; самая горы обрушатся отъ великаго труса; а родная равнина отъ труса изойдетъ горбомъ. На горбахъ окажутся Нижній, Владиміръ и Угличъ... Петербургъ же опустится».

Такихъ пророческихъ и полупророческихъ словъ въ «Петербургъ» много. Но всѣ пророчества и предчувствія Бѣлаго лишь пророчества и предчувствія хаоса и взрыва. Образа будущей Россіи онъ не провидитъ и не предсказываетъ. Тѣхъ въ устахъ Бѣлаго никогда не звучавшихъ до конца убѣдительно романтически-славянофильскихъ обпатеживаній, что портить нѣкоторыя страницы «Серебрянаго голубя», въ «Петербургъ» уже нѣтъ. Впрочемъ и въ «Серебряномъ голубѣ» они звучатъ лишь на второмъ планѣ. Весь первый планъ и тутъ занятъ изображеніемъ «прыжка надъ исторіей», взрыва сложившагося быта и европейской культуры. Изъ міра барскихъ усадебъ и призрачно доживающихъ въ нихъ въ качествѣ стѣнныхъ фресокъ на распадающихся стѣнахъ людей-персонажей, изъ міра глѣбчайшей европейской науки и собственного эклектически-утонченнѣйшаго творчества — Дарьяльскій, герой романа, со-молвленный съ баронессиною внучкой Катей, уволится въ домъ бабы Матреной, «духиней» главы мистически-эротической секты серебряныхъ голубей (близкой къ хлыстовству), въ поле, въ зори, въ поля, въ трюль, въ поль, въ грязь, въ изступленіе и вдохновеніе религиозно-революціонныхъ экстазовъ. Это издѣ-

леніе Дарьяльскаго отъ призрачной жизни мертвaго быта и «трухлявой культуры» оказывается однако призрачнымъ. Городъ Лиховъ, центръ духовной молитвы и соціально-революціонной проповѣди «голубей», оборачивается къ концу романа, какъ и Петербургъ, «городомъ тѣней». «Животворящая» секта голубей учиняетъ страшную расправу надъ Дарьяльскимъ. Сотворяетъ ему страшную смерть въ темнотѣ и топтаніи духовѣрческихъ мужицкихъ сапожищъ. Послѣднія главы «Серебрянаго голубя» исполнены, какъ и «Петербургъ», предчувствій и предсказаній революціи...

Все написанное имъ Бѣлый, — въ 23-мъ году, по крайней мѣрѣ, считалъ лишь «спунками» созданія грандіознѣйшей картины. Для этого своего завершающаго творенія Бѣлый, замученный и затравленный ужасными условіями жизни первыхъ революціонныхъ лѣтъ, изступленно требовалъ («Записки мечтателя» кн. 2 и 3-я) «пуды яркихъ красокъ», «громадная полотношца» и «шесть лѣтъ», хотя бы нищенски обезпеченной жизни. Темы своего всезавершающаго творенія, своей «Эпопеи», («Записки чудака» являются первымъ томомъ «Эпопеи», «Котикъ Летаевъ» многими нитями связанъ съ нею), намѣчались Бѣлымъ все въ томъ же «Дневникѣ». Темы эти суть: катастрофа культуры, катастрофа сознанія, смерть личности, прорастаніе личности коллективнымъ «Я». И нѣтъ, не зовите больного меня: дайте мнѣ доболѣть въ моей самости; дайте брешной, страдающей личности Бѣлаго опочить вѣчнымъ сномъ; и передъ смертью своей написать завѣщаніе, рассказать, какъ носила умершая личность въ себѣ свое «Я»; въ этомъ лишь завѣщаніи умирающей личности — приближеніе къ предѣлу доступному ей: честно выявить голосъ писателя Бѣлаго въ мощномъ оркестрѣ мистеріи, переживаемой имъ.

Въ этихъ словахъ кроется послѣдняя, безмѣрно значительная для нашего времени, но на основаніи всего опубликованнаго Бѣлымъ неразрѣшимая проблема сущности и природы того «Я», въ которомъ умираетъ человѣческая личность.

Катастрофа индивидуалистической культуры, гибель гуманистической личности, гибель «самости» и рожденіе новаго коллектива, все это пережито, теоретически осознано и художественно возсоздано Бѣлымъ съ единственною глубиною и силою. Нѣтъ сомнѣнія, въ исторію русскаго сознанія все созданное имъ войдетъ какъ глубокомысленнѣйшая философія ре-

волюціи и метафизика небытія. Вопросъ лишь въ томъ — принадлежалъ-ли самъ Бѣлый до конца къ тому міру, который изображалъ съ единственныиъ мастерствомъ, къ міру небытія и катастрофы, или въ немъ, въ его «гибнушей» личности росла и поднималась подлинная сверхъ-личная реальность: не сомнительная реальность темно-невнятнаго коллективистическаго «Я» съ большой буквы, «Я» его «Эпопси», но подлинная реальность образа и подобія Божія, какъ единственно животворящей основы личной, социальной и національной жизни. Рѣшать этотъ вопросъ, вопросъ отношенія сверхличнаго «Я» «Эпопси» къ Божьяго лика, я въ этой статьѣ не берусь; онъ слишкомъ сложенъ.

Въ заключеніе все-же хочется указать на то, что бывшій почти отцеубійца и революціонеръ, Николай Аблеуховъ, появляется въ послѣднихъ строкахъ эпилога къ «Петербургу» слѣдящимъ за полевыми работами загорѣлымъ дѣтиной съ лопатообразной бородой и въ мужицкомъ картузѣ. Его видаютъ въ церкви и, слышно, что онъ читаетъ философа Сковороду.

Федоръ Степунъ.

Люди и книги

И*).

Мережковский.

Его самая характерная черта — отвлеченность. Онъ почти всегда «вытѣ» жизни, — и этимъ уничтожаетъ возможность настоящего общенія. Въ его присутствіи, въ особенности наединѣ, человѣку обычнаго склада не совѣтъ по себѣ: отъ безснаія до конца понять, — не слова, а ихъ устремленіе, — до конца почувствовать и даже повѣрить до конца. Знаешь только, что то, въ чемъ онъ живетъ — область тебѣ недоступная, притомъ не влекущая и не пугающая, а посторонняя, чуждая по составу, какъ воздухъ, которымъ нельзя дышать.

Олиничество Мережковского въ русской литературѣ этимъ вѣрнѣе всего объясняется: странно, что онъ имъ какъ будто тяготится и не видитъ его естественности, его неизбежности. Наше «захолустье», о которомъ онъ иногда съ грустнымъ презрѣніемъ, махнувъ рукой, говоритъ, тугъ не при чемъ. Вездѣ было бы то же самое. Человѣкъ не узнаетъ себя въ обликѣ Мережковского, не слышитъ себя въ его голосѣ. Нѣтъ чувства, что Мережковский пишетъ «за всѣхъ насъ»: онъ пишетъ за себя. — Это не значитъ: для себя — и мы проходимъ мимо, «слепая тлѣна», конечно, но не надѣясь на помощь и не стремясь помочь сами (тутъ — никакой самоувѣренности; читая Толстого, Ницше или хотя бы Блока, именно хочешь имъ помочь, даже и сознавая полную свою беспомощность; ибо въ нихъ — частичка насъ самихъ).

Уже Достоевскій былъ «dégâiné», былъ существомъ, вырваннымъ съ корнемъ изъ бытія. Это ощущеніе многихъ зна-

*) См. «Совр. Записки» книга 53.

кое въ наши дни, какъ настоящая «болѣзнь вѣка». Можно по разному его объяснять и находить для него довольно правдоподобныя, хотя все-таки всегда приблизительныя, всегда огрубляющія соціальныя обоснованія: это по существу не мѣняетъ дѣла... Если представить себѣ соединительную резинку между «жизнью» и «идеей о жизни», то сейчасъ даже въ среднемъ сознаніи — или, пожалуй, именно, именно въ среднемъ — резинка болѣзненно натянута, до пронзительно-звеняшаго звука при легчайшемъ прикосновеніи, — а иногда уже и оборвалась. Въ этомъ отчасти — причина популярности Достоевскаго, въ особенности его популярности общедоступно-психологической, скорѣй какъ лирика-художника, чѣмъ какъ мыслителя-художника (популярность нервовъ, а не мозга). Но если Достоевскій сейчасъ царить надъ «полміромъ», до абсолютной, тиранической единственности для всѣхъ тѣхъ, кто живетъ какъ бы на вѣчномъ сквознякѣ, то потому, что у него каждое слово еще продиктовано болью (памятью объ отрывѣ?). От звукъ же на боль — самый вѣрный и быстрый.

Мережковскій — это выводъ изъ Достоевскаго, или точнѣе результатъ Достоевскаго, послѣдняя глава «достоевской» книги. Боли уже нѣтъ, исчезъ даже отзвукъ си: горячій періодъ кончился. Осталась печаль и холодъ. У Толстого есть персонажъ, кажется, «квадратный и коричневый». По этому поводу, Мережковскій весь голубовато-сѣрый: сѣрый, тусклый — въ слабости, въ «книжности», а въ лучшіе моменты — сіяше-голубой, съ тѣмъ льдистымъ отблѣскомъ, который въ торахъ — иррадируетъ въ прозрачной лебесной голубизнѣ. Но ни одной красной жилки, — ничего, что напоминало бы о теплѣ и землѣ.

Кстати: рассказъ о посѣщеніи Мережковскимъ Ясной Поляны, — рассказъ, который я слышалъ нѣсколько разъ. Толстой будто бы, прощаясь вечеромъ, — постѣ общей бесѣды, отключился и уже въ дверяхъ, долго-долго, вннчательно и пригласительно, прощавая, своимъ, глубоко запавшимъ глазами поглядѣлъ на гостя... Мережковскій, въ историческихъ рѣботахъ, очень часто говоритъ «можетъ быть» — и также рассуждаетъ, какъ будто въ это вѣрованіе была бы истинность. Позволю и я себѣ догадку: Толстой смотрѣлъ на Мережковскаго съ удивленіемъ и даже любопытствомъ, какъ жанинъ, почти сытый художникъ, встрѣтившій что-то такое, чего до сихъ поръ видѣть ему не приходилось. Можетъ быть, безогчетно онъ уже подыскивалъ и перебиралъ эпитеты и описательныя слова. Толстой въ гениальной своей обычности, какъ удесятеренный въ жизненной силѣ средній человекъ, изучалъ диковинное иско-

ченіе, чувствуя неодолимую, тихую, упорную въ немъ враждебность... Не могло быть иначе — по глубокой розни натуръ. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной мифологической гравюрѣ, гдѣ встрѣчается день съ ночью.

Отвлеченность... Въ сущности, слѣдовало бы сказать иначе: отрѣшенность. Только слово это какое-то расплывчатое, досадно «импрессионистическое».

Въ отвлеченности вѣдь обычно подразумѣвается особенность мысли. Отвлеченными принято называть писателей разсудочныхъ, мало считающихся съ непосредственнымъ опытомъ, увлеченныхъ построениями логики и математической игрой выводовъ и выкладокъ. Отвлеченность создается свободой ума отъ вліяній сердца или крови, — и безразличьемъ къ нимъ. Напримеръ: Декартъ отвлеченнѣе Паскаля («отвлеченнѣе» почти всегда чуть-чуть презираютъ тѣхъ, болѣе животныхъ, болѣе непосредственныхъ, — какъ до сихъ поръ, по декартовской традиціи, нѣкоторые чистые философы полу-презираютъ Паскаля).

Но Мережковскій, конечно, — писатель паскалевскаго склада, да и вообще въ нашей литературѣ настоящей отвлеченности никогда не было. Это достаточно общезвѣстно, чтобы на тему эту распространяться, — и вопросъ только въ томъ, что именно сыграло тутъ роль: наша несклонность, похожая на добровольный отказъ, или наша неспособность къ абстрактному мышленію? Мережковскій — менѣе всего философъ. Книги его — всего менѣе обращены къ мысли. Каждая страница, кажное сужденіе въ нихъ внушены чувствомъ, — и самый стиль Мережковскаго, неизмѣнно ищущій сладости и всегда готовый предпочесть ее точности, выдаетъ природу художника, «артиста», а не мыслителя. Но чувство какое-то безучастное, отдаленно похожее на соловьевское «благодарю Тебя, Боже, что я никого не убилъ и никого не родилъ»... Къ нему то и относится характеристика: отвлеченность, отрѣшенность. Оно смутно витаетъ надъ человѣческимъ счастьемъ, горемъ и страстями, скользитъ — и не задѣваетъ ихъ.

Исторія литературы 'сохранить о Мережковскомъ ослабленное, не полное представленіе. Казалось бы, онъ весь въ своихъ книгахъ, — больше, чѣмъ кто-либо изъ нашихъ современниковъ, будучи больше любого изъ нихъ литераторомъ... Нѣтъ,

по книгамъ трудно будетъ возстановить тонъ, понятіе для Мережковскаго чрезвычайнр важное, какъ для всѣхъ, кто не вполнѣ надѣется на мысль и безотчетно ищетъ окольныхъ путей для постиженія міра. Неоцѣнимую помощь въ расшифровкѣ книгъ Мережковскаго оказываютъ личныя впечатлѣнія и наблюденія.

Помню одинъ вечеръ. Въ сущности, ничего не было такого, что можно было бы передать будущему, какъ свидѣтельство: оттого-то именно и придется исторіи принять все въ этой области на вѣру, что, кажется, она не особенно долюбиваема. Былъ какой-то докладъ, были пренія, и какъ всегда къ концу бесѣды Мережковскій оказался увлеченъ и взволнованъ, будто все сразу пытаея говорить, все растолковать и объяснить. Случилось ему процитировать Евангеліе:

«...И возведши Его на гору высокую, діаволь показаль ему всѣ царства вселенной во мгновение времени, и сказалъ Ему діаволь: Тебѣ дамъ власть надъ всѣми этими царствами и слову ихъ; ибо она предана мнѣ, и я, кому хочу, даю ее. Если поклонишься мнѣ, все будетъ твое».

Какъ онъ это прочелъ! Не могу рассказать, но не могу и забыть. Казалось, слова падали съ какой то огромной высоты, глухія, померкшія, странно и подчеркнута чуждыя обычной лекціонной обстановкѣ, со скупающими дамами въ первомъ ряду. Казалось, текстъ этотъ, дѣйствительно, — какъ утверждалъ Иванъ Карамазовъ, — есть самое мудрое и загадочное, что когда-либо слышали люди... Въ другой разъ онъ такъ же прочелъ «Ангела»:

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна...

— стихи бѣдные и прелестные (прелестные въ младенческой своей, ничего еще не знающей беззащитности). Я тогда же вспомнилъ и понялъ Блока, записавшаго въ дневникъ, что иногда, послѣ выступленій Мережковскаго хочется «цѣловать ему руки». Дѣло вѣдь не въ томъ, что Мережковскій искусный ораторъ и тещъ: дѣло въ томъ, что въ этой родной ему, грустно-холодной, отрѣшенной, безплотной стихіи онъ мгновенно вспыхнулъ и своимъ свѣтомъ ее озарилъ. Одной этой интонаціей «и долго на свѣтѣ томилась она...» онъ какъ бы рассказалъ о Лермонтовѣ все то, предъ чѣмъ безсильно останавливаются критическія статьи или что топятъ они въ нестерпимой патоцѣ поэтическихъ коментаріевъ. Дрожь прошла

Конечно, можно возразить: театр, ловкій, тонко рассчитанный ходъ опытнаго актера! Признаюсь, и у меня возникали такія сомнѣнія. Эстрада, ничемное собраніе, никому не нужное, кромѣ насъ самихъ, какъ иллюзія дѣятельности или противоядіе отъ скуки, безконечныя, глупыя пренія, въ которыхъ каждый только о томъ и думаетъ, какъ бы поэффе́ктнѣе прогарцевать передъ публикой, ложь, суета суетъ, пустая, лицемерная забава подъ прикрытіемъ «культурнаго начинанія» на общественно-мистическій толкъ: неужели же, при всемъ этомъ, онъ вдохновеннѣе всерьезъ, отъ «чистаго сердца»? а если отъ чистаго сердца, то какъ же, коснувшись такихъ высотъ, и потомъ возвратясь домой, у себя въ комнатѣ, наединѣ съ собою, и ужъ здѣсь-то лавѣрно и неизбѣжно «всерьезъ», какъ же онъ все это примирить, соединить и перпитъ? Если «долго на свѣтъ...», то при чемъ тутъ саль Дебюсси и полемика съ «предыдущимъ орагоромъ»? Или въ другой плоскости: представимъ себѣ Льва Толстого, блистающаго на эстрадѣ.. Невозможно, абсурдъ. Значить актеръ? Не знаю. Но во всякомъ случаѣ — не только актеръ. И кромѣ того, актеръ значить обманщикъ, — а такіе люди, какъ Блокъ, обманщикамъ рукъ не пѣдуютъ.

Только что написавъ о «внѣ-жизненности» Мережковскаго и разсѣянно перелистывая «Иисуса Неизвѣстнаго», нахожу на первой же страницѣ перваго тома слова:

— Евангеліе стоитъ не рядомъ, ну даже выше всѣхъ человѣческихъ книгъ, а внѣ ихъ: оно совсѣмъ иной природы».

Сознание меня поразило. Прошу читателя повѣрить мнѣ, что это не «литературный приемъ», не эффектъ, заранее подстроенный. У меня не было намѣренія проводить параллель между книгами Мережковскаго и той книгой, которую онъ называетъ «свѣтлою». Не было и желанія толковать о сладахъ сване некихъ вѣицій въ его творчествѣ. Близость получилась сама собой.

Съ мыслью, содержащейся въ цитатѣ, согласается не всё. Но характерно, что Мережковскій чуть ли не начинается съ нея свой грудъ. Для него она показательна въ высшей степени. Показательно и то, что всякій споръ съ Мережковскимъ, внутренний, молчаливый или хотя бы даже «эстрадный», непременно сбивается въ концѣ концовъ на бесѣду о смыслѣ и значеніи Евангелія. Пока слово еще не произнесено, споръ остается по-

верхностнымъ, — и собесѣдники чувствуютъ, что играютъ въ прятки.

Мережковскій, конечно, думалъ о Евангеліи всю жизнь и шелъ къ «Исусу Неизвѣстному» черезъ всѣ свои прежнія построенія и увлеченія, издалека глядя въ него, какъ въ точку и цѣль. Иногда бывали зигзаги, со стороны непонятные — какъ непостижимъ, лично для меня по крайней мѣрѣ, послѣдній зигзагъ: наполеоновскій, — но въ сознаниі Мережковскаго они не были отклоненіями. Наоборотъ, все вносило ясность въ единственно-важную тему и подготавливало разсказъ о томъ, что произошло въ Палестинѣ, девятнадцать столѣтій тому назадъ. Нѣтъ писателя, который больше былъ бы одностороннимъ, чѣмъ онъ. Ему не приходится для этого ни обуздывать себя, ни бороться со «впечатлѣніями бытія»: жизнь для него не то, что есть, а то, что должно быть... Онъ готовъ повторить: «тѣмъ хуже для фактовъ!», если бы нашелъ что-либо, не укладывающееся въ его схематически-стройныя историческія догадки. Но никогда ничего такого онъ не найдетъ, — потому, что виднѣтъ, что хочетъ увидѣть.

Удивительно въ его отношеніи къ Евангелію то, что онъ лишаетъ эту книгу ея человѣчности. Чувствую усмѣшку на лицѣ Мережковскаго, но рѣшаюсь все-таки произнести это истрепанное, жалкое, пахнущее девятнадцатымъ вѣкомъ слово... Не случайно, вѣроятно, въ «Исусѣ» съ такой щедростью разбросаны реалистическія подробности: Мережковскій бросаетъ ихъ, какъ подачку, безъ ущерба для себя; ему нужно затушевать основную особенность замысла и онъ съ наибольшей убѣдительною рисуетъ человѣка, чтобы не такъ пронзительно былъ идущій отъ всего сочиненія заоблачный холодокъ. По виду — близость къ людямъ сохранена. Но Евангеліе больше не за что любить, несмотря на живописные «одуванчики у ногъ» и всю роскошь красокъ. Евангеліе перенесено туда же, въ какое-то вѣчно-недоступное «внѣ», съ замѣной здѣшняго, ничего не рѣшающаго, но чуднаго участія и сочувствія— послѣднимъ окончательнымъ спасеніемъ, непреложнымъ, какъ приговоръ. Чуть-чуть, чуть-чуть еще, — и можетъ захотѣться «вернуть билетъ» христіанству, если только дѣйствительно это христіанство.

«Что я дѣлалъ на землѣ? Читалъ Евангеліе».

Одно изъ тѣхъ признаній Мережковскаго, которыя сильнѣе

ьсего врѣзываются въ память. Одно изъ тѣхъ, въ которыхъ особенно вѣрно и точно звучить его творческій тонъ.

Но развѣ Евангеліе можно только читать? И развѣ можно понять его только читая? Мережковскій, вѣроятно, оговорился: едва ли станеть онъ настаивать, что чтеніе было его главнымъ дѣломъ на землѣ. Не случайно однако оговорился онъ именно въ этомъ, именно такъ... Обыкновенно, торопливыя, ошибочныя сужденія выдаютъ сами себя — небрежнымъ, торопливымъ подборомъ словъ. А это сказано съ длительнымъ отзвукомъ, съ прекрасной и строгой простотой. Очевидно, мысль взволновала — и бессознательно все существо писателя ей отвѣтило: да. Читаль Евангеліе, хотѣлъ бы, по крайней мѣрѣ, всю жизнь только читать его и думать о немъ. И хотя книга эта требуеть дѣла, и только въ «дѣланіи» исполнѣт раскрывается величіе ея скромности, безсмертіе ея идейной скудости, — ни на что другое, кромѣ чтенія, не осталось ни времени, ни силъ. Книга, какъ бы не воплотилась, не «проросла». Послушный сынъ ни на одинъ день не оставилъ отца — и не пожелалъ, какъ тотъ, другой, блудный, узнать, что творится тамъ, за отцовскими полями и рошами.

Надѣюсь, никто не подумаетъ, что я въ чемъ-либо упрекаю Мережковского. Я только стараюсь его понять. Я ишу, откуда въ каждомъ его словѣ грусть, какъ будто бы безпричинная, — разъ всѣ метафизическія свершенія и гармоніи обезпечены. У Розанова гдѣ то сказано о Мережковскомъ: «мало кто изъ русскихъ писателей принялъ въ душу свою столько печали, какъ онъ...» А Розановъ въ этихъ дѣлахъ толкъ зналъ.

Если бы одинъ изъ первыхъ христіанъ вошелъ въ нашъ храмъ, то «какъ удивился бы, испугался, чуть не заплакалъ бы отъ страха, какъ маленькія дѣти плачуть; какъ не узналъ бы памятныхъ записокъ своихъ, тѣсно, по-арамейски, исписанныхъ клочковъ папируса или пергамента, зачитанныхъ, заплачанныхъ, по какимъ слезами облитыхъ, какой любовью осіянныхъ, своихъ «Евангелій», въ этой огромной, тяжелой, почти неразгибашейся, въ пурпуръ, золото и драгоценныя камни закованной книгѣ, въ нашемъ церковномъ Евангеліи!»

Опять слова, которымъ — по внутреннему напѣву ихъ — трудно сопротивляться. И опять вслѣдъ имъ — недоумѣніе.

Можно было бы предположить, что Мережковскій одушевленъ желаніемъ «расковать» Евангеліе, снять съ Христа золотыя, тяжелыя ризы. Можно было бы предположить, что ои-

ступает онъ въ глубь вѣковъ, къ «тѣсно по-арамейски испи-
саннымъ клочкамъ папируса» ради личной свободной встрѣчи
съ Учителемъ, — или такъ, какъ отступали нѣкоторые блегоча-
ство-скептическіе вольнодумцы... Но этого нѣтъ. Это Мереж-
ковскому предѣльно-ненавистно. Если бы дать ему власть да
костры подь руку, онъ не дрогнувъ послать бы на костеръ
всѣхъ Ренановъ и Штраусовъ, со Львомъ Толстымъ въ прида-
чу: «ad maiorem Dei gloriam». По настроенію Мережков-
скій глубоко церковенъ. Въ міръ, по разумѣнію его, дѣйстви-
ель божественный планъ. Исторія разыгрывается какъ мисте-
рія. Роли распредѣлены. Безформенно-текучій потокъ бытія
только по внѣшнему виду безформенно текучъ: въ дѣйстви-
тельности все организовано. Дѣло Ученія безконечно менѣе
важно и значительно, нежели дѣло Спасенія, — и во всякомъ
случаѣ, само по себѣ, въ отрывѣ отъ искупленія и воскресенія,
остается одной изъ тѣхъ земныхъ, смертныхъ вещей, къ кото-
рымъ привязаться всей душой можно только по незалыоч-
ной моральной сентиментальности.

Церковь рѣдко заходитъ такъ далеко. Церковь уклончи-
въе, осторожище, — скромнище. Но разногласія Мережковскіе
го съ ней — болѣзненно, я думаю, ощущаемыя на обѣихъ сто-
ронахъ, — это «домашній споръ». Мережковскій хочетъ имено
утвержденія держки, онъ внушаетъ ей увѣренность въ самой
себѣ. Онъ предлагаетъ ей новые догматы. Онъ сулитъ ей все-
ленскую власть.

А какъ же все-таки съ тѣми, арамейскими списками? Уцѣ-
лѣеть ли сіяніе ихъ, пробьется ли сквозь новыя ризы, хотя бы
и «вселенскія»? Конечно, съ точки зрѣнія вѣрующихъ — безъ
оттѣнка «помоги моему невѣрію», — вопросъ пустой и кощун-
ственный: церковь необходима; она одна только хранитъ бла-
годать, преданіе, вѣрность... Но сейчасъ такое время, что едва
ли христіанинъ спокоенъ за будущее. Далекія, грозныя бит-
вы смутно мерещатся ему. Голоса перекликаются все слабѣе,
безразличья повсюду все больше. Чась приходитъ бросать бал-
ластъ, собирать послѣднія силы. Достоевскій уже предчувство-
валъ это, говоря, что папа выйдетъ изъ Рима нишъ и босъ —
и опять пойдетъ проповѣдывать «благую власть». И вотъ тутъ,
то, пожалуй, Евангеліе, безъ пышной догматики, безъ всѣхъ
многовѣковыхъ, тончайшихъ метафизическихъ вдохновеній,
оплетшихъ его, одно, въ безсмертной простотѣ своей, еще со-
служить христіанству послѣднюю службу. Догматы можетъ
быть и нужны: навѣрно даже нужны, если изъ-за нихъ возни-

кали такі бури, такі распри. Но они нужны только, если останется главное. А сейчас вопросъ — останется ли главное?

Мережковскій постоянно вспоминаетъ Смердякова. «Ирр неправду написано...» Кто колеблется — Смердяковъ. Кто сомнѣвается — Смердяковъ. Кто взвѣшиваетъ въ священномъ текстѣ каждое слово, не довѣряя ни религиозной, ни поэтической интуиціи — Смердяковъ. Адольфъ Гарнакъ, человѣкъ огромной учености и предѣльной научной честности, сказалъ: — Жизнь Иисуса Христа не можетъ быть написана.

Мережковскій еле-еле удерживается, чтобы не обозвать Смердяковымъ и его. Нѣтъ для Мережковскаго большаго удовольствія, чѣмъ позидѣваться палъ человѣческимъ разсудкомъ, надъ «малымъ разумомъ», которому противопоставляетъ онъ «мудрость», всегда готовую на любую сдѣлку съ фантазіей... Очевидно, человѣкъ сотворенъ Богомъ — весь, кромѣ разума. Разумъ данъ человѣку дьяволомъ.

Впрочемъ, споръ это старый. Если я вспомнилъ о немъ, то лишь потому, что въ излюбленномъ ругательномъ словечкѣ Мережковскаго есть какое-то высокомеріе, граничащее съ жестокостью къ людямъ. Онъ отвѣтитъ, можетъ быть, что дѣлаетъ выборъ между Христомъ и врагами Его, и что въ этомъ раздѣленіи — терпимости мѣста нѣтъ... Что же согласимся, допустимъ! Если такъ, то по своему Мережковскій правъ. Но вѣдь все-таки привлечъ онъ хочетъ человѣческія души къ Христу, а не оттолкнуть: неужели же не видитъ трудности вѣры въ наши дни, горестной ея недоступности для многихъ искреннихъ и природно-религиозныхъ людей? «Умъ ищетъ божества, но сердце не находитъ». Если начать браниться, то прекратятся и поиски.

Умъ не виноватъ въ томъ, что онъ теперь «малый». Не всегда и не у всѣхъ склоненъ онъ къ пустымъ придиркамъ. Отъ сомнѣнія ему радости меньше, чѣмъ полагаютъ хулители его. Камнемъ лежитъ иногда сомнѣніе на человѣкѣ, — но снять камень человѣкъ не въ силахъ. Если бы это было такъ просто: «не хочу больше сомнѣваться, принимаю легенду за достоверность, вѣрую въ чудеса и таинства, — и перестая быть Смердяковымъ!» Но одного желанія мало. Умъ еще можно бы убѣдить, но остыла кровь для вѣры, — и какъ-то слишкомъ свѣтло сейчасъ въ нашемъ мірѣ для открытаго и общаго исповѣ-

данія метафизическихъ тайнъ. Оттого-то христіанство и въ опасности.

Но не всё «Смердяковы» — дѣйствительно Смердяковы

Ну, хорошо, согласимся и съ тѣмъ, что христіанство — не только мораль.

Да, не только. Но вѣдь все-таки — оно и мораль. Учитель училъ не напрасно.

Отчего же Мережковскій радуется всякому поражению и посрамленію этой морали, ликуетъ всякій разъ, когда крови отвѣчае кровь и злу зло? Отчего такъ мило его сердцу насилье, въ оправданіе котораго приводитъ онъ двусмысленный, неясный текстъ? Отчего, напримѣръ, стала предметомъ его постоянного глумленія незадачливая женеvская Лига Націй? Плохо она работаетъ, но все-таки работаетъ на миръ, а не на войну. — и казалось бы, миръ лучше войны. Отчего съ такимъ упорствомъ рассказываетъ онъ про то, какъ Христосъ выгнать торговцевъ изъ храма и какъ свистѣлъ и извивался въ рукахъ его хлыстъ? Какъ могъ вообще Мережковскій написать эту главу «Исуса Неизвѣстнаго» — «Бичъ Господень», гдѣ есть такіа строки:

«Вѣчная мука всѣхъ честныхъ (!) людей — какъ бы разъ навсегда предрѣшенная въ судьбахъ міра, какимъ то дьявольскимъ промысломъ предустановленная защищенность, неуязвимость, безнаказанность, всѣхъ овладѣвшихъ міромъ негодяевъ, все равно революціонныхъ, мятежныхъ или охранительныхъ. О, если бы знать, что бичъ Господень ударилъ по лицу хоть одного изъ нихъ — какая была бы отрада!»

Обращаюсь къ суду всѣхъ, кто имѣетъ слухъ, кто имѣетъ память, обращаюсь къ самому Мережковскому: эта «отрада» звучитъ такимъ мучительнымъ диссонансомъ, такимъ дикимъ, внезапнымъ взвизгомъ въ истолкованіи евангельскаго текста, что разлада невозможно выдержать. Можетъ быть толстовское «непротивленіе» — не-христіанство. Но и это — навѣрно, навѣрно не-христіанство, въ тысячу тысячь разъ еще меньше христіанство, нежели то, что проповѣдывалъ Толстой.

Кромѣ того: допустимъ даже, что въ пониманіи Мережковскаго, въ оплетеніи всего того, чѣмъ онъ свою мысль окружаетъ, глава о «Господнемъ бичѣ» соответствуетъ духу Исусова ученія. Смушаетъ все-таки то, что однажды на эту дорожку ставъ, человекъ дѣлается уже неспособенъ отличить, гдѣ бичъ

Господа Бога и гдѣ просто бичь, никакого касательства ни къ Провидѣнію, ни къ Предустановленной Гармоніи не имѣющіи. Мережковскій говоритъ о «благочестивыхъ глупцахъ и мошеникахъ, о всѣхъ, кто ударившему ихъ въ правую щеку, подставляетъ другую, не свою, а чужую». Даже у него, казалось бы столь страстно и глубоко Христу преданнаго, тутъ, въ этой подозрительно-иронической фразѣ, не столько обиды за «другихъ», сколько заботы о томъ, чтобы вообще никакихъ щекъ не подставлять. Нельзя на этотъ счетъ дѣлать себѣ иллюзіи! И начинается споръ съ Христомъ, — совершенно такъ же, какъ въ соловьевскихъ «Трехъ разговорахъ», гдѣ набожный, но какъ будто сошедшій съ ума, ослѣпшій, оглохшій авторъ не видитъ и не понимаетъ, съ Кѣмъ, собственно говоря, онъ черезъ голову Льва Толстого такъ изящно, остроумно и блестяще полемизируетъ. «Передъ пастью дракона Крестъ и Мечъ одно. Пш-жа-луй! Бѣда то только въ томъ, что едва человѣкъ это произнесъ, драконы начинаютъ ему чудиться всюду, — и мечъ онъ уже оставляетъ при себѣ: «на всякій случай», такъ сказать.

Вѣрнѣ всего оцѣнить можно слова по отклику, который они вызываютъ. На прославленіе бича какъ и на предложеніе соединить крестъ съ мечомъ, немедленно отзываются, конечно, всѣ истомившіеся, изголодавшіеся по «кровушкѣ», всѣ любители боевъ и пожаровъ, всѣ эстеты исторіи и вѣры константино-леонтьевскаго склада, а за ними тянутся и другіе волки, помельче, потрусливѣе, чуюшіе, что и имъ будетъ чѣмъ пожить. Безъ опрокинутыхъ столовъ и хлыста христіанство для нихъ прѣсно, мертво и скучно.

У Розанова въ «Темномъ ликѣ», — котораго къ сожалѣнію нѣтъ у меня подъ рукой, — помѣщено чье-то письмо, написанное вечеромъ, подъ Свѣтлое Воскресеніе. Письмо трепетно-грустно. Помню одну фразу — о «бѣлыхъ платьицахъ, изъ которыхъ такъ скоро вырастаютъ». Пишущій знаетъ, что сейчасъ запоютъ заутреню, будетъ ясная, весенняя ночь, люди соберутся въ церковь для прославленія величайшаго чуда, будутъ пылать свѣчи, будутъ бѣлѣть эти милыя дѣвическія «платьица»... А чуда не было. Надѣяться не на что. Впереди только смерть.

Есть ли среди современныхъ вѣрующихъ христіанъ люди которые знаютъ это искушеніе: «а если не было?» Должны бы вѣроятно быть. Думаю больше: послѣдній оплотъ христіанства

— именно тѣ, кто не только этотъ вопросъ себѣ предложилъ, но уже не колеблется и въ отвѣтъ на него. Послѣдніе друзья Иисуса — тѣ, кто втайнѣ, наединѣ съ самимъ собой, уже согласенъ на безкорыстнѣйшій подвигъ: на сохраненіе полной, безоговорочной вѣрности Ему, даже если бы пришлось отказаться отъ самыхъ дорогихъ надеждъ христіанства, даже если бы надо было признать, что нѣтъ въ христіанствѣ той побѣды надъ смертью, которую оно утверждаетъ.

Мережковскій дѣлаетъ это предположеніе, называя его — по несотъемлемому праву вѣрующаго — «кошунственнымъ и недѣльнымъ». Но многомъ тогда — какъ это ни удивительно и непостижимо! — евангельское ученіе становится для него «безуміемъ», и онъ признаетъ необходимость согласиться съ Ренаномъ, что жизнь Христа есть «роковая ошибка» и что «Величайшій въ мірѣ такъ обманулъ себя, какъ никто никогда не обманывалъ». Въ сущности, Мережковскій предъявляетъ Иисусу страшный ультиматумъ: быть Богомъ. «Если Ты не Богъ, Ты ничто» — какъ бы говоритъ онъ Ему. Отъ людей онъ требуетъ вѣры непоколебимой, какъ знанье. А тѣхъ, кто готовъ умереть съ Умершими, безъ всякой увѣренности, что они воскреснутъ съ Воскресшими, проклинаетъ, какъ предателей и отступниковъ.

Понистинѣ, позавидовать можно такой твердости. Отъ размѣровъ ставки въ этой игрѣ на жизнь и на смерть захватываетъ духъ.

Но если все-таки... если... неужели «безуміе»?

Тема уводитъ отъ автора. Надо къ нему вернуться, — какъ ни жаль «тему» оставлять.

Я предупреждалъ уже, что эти замѣтки ни на какую систематичность или полноту не претендуютъ. Портрета или характеристики въ нихъ нѣтъ. Нѣтъ, конечно, и попытки дать оцѣнку. Мережковскій запечатлѣнъ въ нихъ не какъ писатель, имѣющій такія-то историческія заслуги, прошедшій такой-то творческій путь и имѣющій право на такое-то мѣсто въ русской литературѣ: нѣтъ, я попробовалъ представить лишь отраженіе его въ иномъ сознаніи. Безъ исторіи, безъ роли, подчеркиваю еще разъ: только какъ «творческій фактъ, воспринятый въ данное мгновеніе».

Оттого — разногласія и расхожденія. Въ «данномъ мгновеніи» все, что не вполнѣ твое, мѣшается, и только въ будущемъ или прошломъ, въ воспоминаніяхъ или надеждахъ, происходятъ

соединенія и примиренія. Но мнѣ хотѣлось бы однако написать еще нѣсколько словъ: въ ограниченіе разногласія.

Часто, думая о Мережковскомъ, споришь съ нимъ. Часто бываешь къ нему несправедливъ. Иногда дѣло доходитъ даже до того, что даешь себѣ слово духовно разстаться съ нимъ «вѣчнымъ разставаніемъ»... Много есть на это причинъ: о нѣкоторыхъ изъ нихъ я только что рассказалъ. Но потомъ вдругъ, въ минуту какого-то внезапнаго проясненія, противорѣча самъ себѣ, понимаешь, чѣмъ всѣ мы — цѣлое литературное поколѣніе, — ему обязаны и что вообще есть въ немъ единственнаго. Какъ бы объ этомъ внятно, понятно сказать?

У Брюсова въ раннемъ дневникѣ есть такая запись. Позвали его московскіе литераторы на товарищескій обѣдъ. Брюсовъ былъ молодъ, неопытенъ. Думалъ, литературный обѣдъ — значитъ и бесѣда литературная, во всякомъ случаѣ такая, въ которой соблюдено будетъ человѣческое достоинство. А тамъ началось: «ну, батенька, хлопнемъ еще по одной, съ селечкой-то... за ваше, за драгоценное... а вы про попа наше го исторію-то слышали: приходитъ попъ... да что попъ! я дорогой вамъ лучше расскажу... ха-ха-ха, уморили, родной мой, уморили... хаха-ха... а еще этотъ-то анекдотецъ слышали? ...хахаха — ха-ха-ха...» Брюсовъ ушелъ потрясеннымъ. Это мелочь, конечно, — и можетъ быть тѣ московскіе литераторы были прекрасные люди и вовсе не плохіе писатели. Но вотъ что дорого въ Мережковскомъ: онъ на такомъ обѣдѣ не могъ бы присутствовать — или увялъ бы, засохъ бы отъ тоски до его окончанія. Да никогда бы его на такое собраніе и не пригласили! Его «анти-батенькинъ» внутренней стиль такъ рѣзокъ, что широкія русскія натуры, рубахи-парни и души на распашку шарахаются отъ него, какъ отъ огня. Мережковскій — очень русскій писатель, но при этомъ типически-петербургскій, или вѣрнѣе, какой-то монастырскій, уединенно-сѣверный: рѣка, закатъ, часовня надъ склономъ. Ничего размашисто-русскаго въ него не вошло. На всю жизнь онъ остался серьезенъ, замкнутъ и сдержанъ.

Россія осложнилась въ его сознаніи Европой, — и тѣмъ особеннымъ обаяніемъ, которое Европа въ русскомъ преломленіи всегда хранитъ. Среди цѣлага ряда именъ, о которыхъ неизмѣнно думалось «не то», Мережковскій сталь, наконецъ: «то». И разные люди одновременно ему откликнулись. Что это было — декадентство, символизмъ? Слова давно отжившія, не будемъ воскрешать ихъ. Мережковскій сберегъ отъ декадентства все, что было его лучшей двигательной силой: брезгли-

вость къ оплотненію, къ «ожирѣнію» души, инстинктивную враждебность къ грубоватой, житейской беззаботности, острый слухъ ко всему, что расплывчато можно назвать музыкой... Последнее, — въ особенности. Если я упомянулъ о благодарности, то главнымъ образомъ она за это — за примѣръ музыкальнаго воспріятія литературы и жизни. Еще — за упорство въ защитѣ музыки. За отсутствіе компромисса въ этой области. За молчаливый упрекъ обыденщинѣ, за донесенную до поэтичныхъ дней духовную несговорчивость въ главномъ. За вѣрность «одному видѣнію», похожую на вѣрность пушкинскаго бѣднаго рыцаря. За вниманіе къ тому, что только и достойно вниманія, за интересъ къ тому, чѣмъ дѣйствительно только стоитъ интересоваться. За разсѣянность къ пустякамъ. За самую отрѣшенность, наконецъ, за грусть, которая «чише и прекраснѣе веселья», за льдистую голубизну.

Я, можетъ быть, плохо пишу все это. Не могу найти нужныя слова, — хотя и знаю, о чемъ именно надо сказать. Но глубоко убѣжденъ, что если бы мнѣ удалось хорошо и отчетливо выразить то, на что сейчасъ я лишь слабо и смутно намекаю, сотни русскихъ людей, пишущихъ и думающихъ, отвѣтили бы мнѣ не колеблясь: да, это такъ. Несмотря ни на какія разногласія съ Мережковскимъ, — а можетъ быть даже съ тѣмъ большей увѣренностью, чѣмъ эти разногласія имъ самимъ казались бы труднѣе примиримыи. Изъ глубины сердца, безъ посыллага краснорѣчія, въ расчетъ на безмолвное пониманіе, они послали бы ему привѣтъ и поклонъ.

Георгій Адамовичъ.

Гоголь и Чеховъ

(Проблема классическаго искусства).

Писать о нихъ по тому поводу, что ихъ юбилеи совпали, значить идти на рискъ, что у читателя возникнетъ подозрѣнiе: не будетъ-ли ему поднесено нѣчто похожее на гимназическое сочиненiе вродѣ: «Параллель между Плюшкинымъ и Базаровымъ». Однако я долженъ сказать, что въ моемъ сознании эти два имени сочетались давно уже въ связи съ основной проблемой теорiи искусства вообще, въ частности — литературовѣдѣнiя. Ни по размѣрамъ, ни по свойствамъ дарованiя Гоголь и Чеховъ не могутъ быть сравниваемы. Это слишкомъ очевидно. И все-же: есть нѣчто общее въ нашемъ воспрiятiи ихъ. Оно состоитъ въ томъ, что, сколько-бы мы ихъ ни перечитывали, мы никогда не воспринимаемъ въ нихъ ничего, что бы оцупалось непосредственно, какъ «прiемъ», какъ «манера», т. е. въ сущности какъ нѣкоторая гримаса, ужимка, — хотя, разумѣется, путемъ литературнаго анализа можно выдѣлнить то, что составляетъ «манеру» Гоголя или «манеру» Чехова. Въ э т о м ъ смыслѣ не будетъ преувеличенiемъ сказать, что ихъ можно перечитывать постоянно, — изъ чего, впрочемъ, еще далеко не слѣдуетъ, что при такомъ перечитыванiи оба они въ одинаковой степени сохранили бы свою способность воздѣйствовать на насъ. «Итъ человека, отъ котораго не слѣдовало бы отдохнуть», сказала какъ-то Чеховъ. Это приложимо, говоря вообще, и къ человѣческому созданiю, — даже къ величайшимъ, цѣннѣйшимъ, значительнѣйшимъ. Отъ однихъ отдыхать приходится потому, что, при чрезчуръ частомъ воспрiятiи, притупляется впечатлѣнiе; отъ другихъ, напротивъ, потому, что личность творца начинаетъ насъ подавлять собою. Въ обоихъ случаяхъ дѣйствуетъ законъ ритмики духовной жизни, но — пѣ

разному. Чеховъ можетъ служить примѣромъ перваго случая. Примѣромъ втораго — любой изъ истинно-великихъ писателей, изъ «вѣчныхъ спутниковъ» человѣчества, Данте, Шекспиръ, Гете, Достоевскій, Толстой, Гоголь и Пушкинъ, въ литературѣ, составляютъ исключеніе изъ этого общаго правила, — какъ Моцартъ въ музыкѣ. Кажется, Листъ сказалъ, что Бетховенъ — величайшій, т. е. значительнѣйшій, композиторъ, а Моцартъ — совершеннѣйшій. Понятіе значительности и совершенства не исключаютъ другъ друга, но и не совпадаютъ. Степень значительности отнюдь еще не опредѣляется степень художественнаго совершенства — и обратно. Гоголь, въ своихъ даже совершеннѣйшихъ вещахъ, не внесъ ничего новаго въ познаніе человѣка и жизни, не обогатилъ, съ этой точки зрѣнія, ничѣмъ духовнаго опыта человѣчества. Изобразитель человѣческой пошлости, т. е. бездуховности, бездушности, животности, психическаго автоматизма, Гоголь шелъ по слѣдамъ великихъ представителей классической комедіи и классическаго романа. Въ пошломъ человѣкѣ онъ не увидѣлъ ничего новаго по сравненію съ гѣмъ, что увидѣли въ немъ Плавтъ, Боккаччо, Мажьявелли, Молчерь, Бенъ Джонсонъ; но онъ показалъ его такъ, съ такою смѣлостью, такой остротой, такой силой въчувствованія въ его «идею», въ обусловленный этой «идеей» его «стиль», изобрѣлъ такіе способы в н у ш е н і я намъ этого стиля, усвоивъ себѣ самому его бессмысленность (напр., въ разсказѣ о «занятіяхъ», въ которыхъ «упражнялся» Иванъ Федоровичъ Шпонька въ свободное время, или, въ «Мертвыхъ душахъ», когда онъ говоритъ о томъ, какими любителями чтенія были жители губернскаго города и что они читали, заканчивая это словами: «кто даже ничего не читалъ»), какъ никто и никогда до него. Ничего подобнаго плюшкинской кучкѣ, или «диалогу» Ивана Федоровича Шпоньки съ дочкою Сторченки (Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня...), или его перепискѣ съ тетуской, или началу Повѣсти о Ив. Ив. и Ив. Ник. (Славная бокеша у Ивана Ивановича...), или разговору Ив. Ив. съ нищей старухой (...что-же ты стоишь? Вѣдь я тебѣ не бью.), или отзыву Собакевича о прокурорѣ, нѣтъ ни у одного изъ самыхъ великихъ его предшественниковъ. А вѣдь въ «Мертвыхъ душахъ» (въ 1-ой части), въ «Женитьбѣ», въ «Ревизорѣ», въ «Иванѣ Фед. Шпонькѣ», въ «Коляскѣ», въ «Повѣсти», все сплошь такъ: нѣтъ ни одного пустого мѣста, ни одной «нейтральной» словесной формулы, ничего внѣ-комическаго, лишеннаго художественной необходимости, — какъ это встрѣчается даже у Сервантеса; нѣтъ буквально ни одного слова, которое можно было бы замѣнить

другимъ, ни одной черточкой, которая бы не содѣйствовала созданію каждый разъ совершенно новаго, единственнаго и, сколько бы разъ мы ни читали, — неожиданнаго комическаго эффекта. Неожиданнаго — потому что непонятнаго, не поддающагося анализу, какъ все, что обладаетъ предѣльнымъ, абсолютнымъ совершенствомъ. Нѣтъ ничего, что можно было бы отвлечь, отнести на счетъ «пріема», свойственнаго избранному художественному «жанру». Въ моей статьѣ «Гоголь и классическая комедія» («Числа», № 10) я постарался показать, какъ Гоголь использовалъ по новому совершенно, казалось-бы, устарѣлыя, обветшалыя, давно уже ощущаемыя какъ «пріемы» черты классической манеры, сдѣлавъ ихъ чертами своего стиля, т. е. привелъ ихъ во внутренне-необходимое соотвѣтствіе съ своей художественной идеей, отвѣчающей всецѣло, со своей стороны, его видѣнію жизни.

Если не ошибаюсь, Брюсовъ былъ первымъ, кто замѣтилъ, что, говоря о «высокихъ предметахъ», о прекрасномъ, величественномъ, благородномъ, Гоголь пользовался тѣми-же самыми средствами выраженія, что и тогда, когда онъ изображалъ низкое, уродливое, комическое. И каждый разъ получалось только обнаженіе пріемовъ собственнаго стиля, единственный примѣръ того, что можно было бы назвать пародіей на изнанку, пародіей пародіи какъ таковой; ибо сущность пародіи, говоря вообще, состоитъ въ использованіи пріемовъ, какими принято изображать «высокое», для изображенія «низкаго»: несоотвѣтствіе тона и предмета вскрываетъ «пріемы», изъ которыхъ создается тонъ и заставляетъ воспринимать уже ихъ самихъ комически. Гоголевская-же «пародія на изнанку» такого рода, что она оказывается убійственной не для его искусства, а для предметовъ послѣдняго. Добродѣтельный губернаторъ, идеальная Улинка, прекрасная Аннунціата, чудный Днѣпръ, который лишь рѣдкая птица можетъ перелетѣть, излюбленный авторами хрестоматій и учителями словесности, отаратигельны, внутренне-порочны своей чрезмѣрностью, безмѣрностью, — гѣмъ, что составляетъ сущность всего, что порочно, каррикатурно. Гоголевское искусство, прекрасное въ изображеніи отвратительнаго, въ силу полного соотвѣтствія здѣсь сущности пріемовъ съ сущностью изображаемаго, отвратительно въ изображеніи прекраснаго. Прекрасное въ искусствѣ и прекрасное въ жизни — не одно и то же. Прекрасное въ жизни не было открыто Гоголю въ его духовномъ опытѣ, сколько онъ ни стремился къ этому, и онъ представлялъ себѣ его структуру по аналогіи со структурой безо-

бразнаго, отвратительнаго, т. е. не какъ совершенное, но какъ безмѣрное, «романтически», а не «классически».

Въ записныхъ книжкахъ Блока есть замѣчаніе, что Гоголь «любилъ Чичикова», какъ всѣ писатели любятъ своихъ «героевъ», даже отрицательныхъ. Не знаю, такъ-ли это. Во всякомъ случаѣ, мы, читатели, не можемъ никакъ «полюбить» Чичикова. Чичиковъ, Плюшкинъ, Хлестаковъ, Ноздревъ, Подколесинъ такіе же условные, комическіе, «типы», какъ Гарпагонъ или Тартюфъ. Магіей гоголевскаго искусства они оживотворены настолько, что ихъ духовная чудовищность не кажется намъ неправдоподобной: ибо въ нихъ все, до мельчайшей черточки, типично, все согласовано. Но эта жизненность ихъ, эта органичность — органичность художественнаго произведенія, а не настоящаго человѣческаго существа. Потому-то мы въ состояніи наслаждаться ими. Въ противномъ случаѣ, если бы мы повѣрили въ нихъ, приняли бы ихъ за живыхъ людей, они были бы невыносимы. Можно въ сотый разъ перечитывать «Войну и Миръ» и такъ и не замѣтить, въ чемъ состоитъ искусство Толстого, — ибо романъ Толстого для насъ не литературное произведеніе, а самый настоящий «кусочекъ жизни», въ который мы сами втягиваемся такъ, что «Война и Миръ» уже не можетъ быть для насъ объектомъ эстетическаго воспріятія. Искусство же Гоголя — подлинно «чистое искусство», для котораго жизнь всего лишь «матеріаль». Именно потому, что въ обыкновенной, повседневной жизни Гоголь видѣлъ только пошлость, убожество, безмысліе, онъ и могъ распорядиться ею столь безцеремонно, беспощадно, — условіе необходимое для того, чтобы произведеніе повѣствовательной литературы воспринималось такъ, какъ соната Моцарта или какъ Парѳенонъ, — произведеніи, относящіяся къ тѣмъ видамъ искусства, гдѣ матеріаль и среда — одно и то же, — въ отличіе отъ литературы и живописи. Опять-таки, для историка литературы или для критика безразлично то, что Гоголь не хотѣлъ быть «чистымъ художникомъ», какъ, напр., Флоберъ, а мечталъ быть учителемъ жизни, пророкомъ (это очень важно — но съ точки зрѣнія біографа или историка культуры); для насъ сейчасъ имѣетъ значеніе только результатъ: рядъ произведеній, которымъ по художественному совершенству почти нѣтъ равныхъ въ мировой литературѣ.

Но тогда — мыслимо-ли сопоставлять съ Гоголемъ Чехова? И какъ объяснить, что и Чехова мы въ состояніи перечитывать — я говорю о немногихъ, лучшихъ его вѣщахъ — постоянно? Слишкомъ очевидно, что наше воспріятіе Чехова совершенно

не такого рода, что и воспріятіе Гоголя; скорѣе оно напоминает наше воспріятіе Толстого. Но и тутъ необходимы ограниченія и оговорки. Толстой — «вѣчный спутникъ». Гоголь тоже «внѣ времени» какъ величайшій «чистый художникъ». А Чеховъ? Ясно, что когда я говорю, что мы въ состояніи перечитывать Чехова, я говорю именно о насъ, людяхъ современной культурной полосы, между тѣмъ какъ подъ «нами», читателями Гоголя, — и Толстого, — слѣдуетъ разумѣть людей вообще, внѣ рамокъ пространства и времени. Однако и при такой оговоркѣ вопросъ остается открытымъ. Къ тому же онъ еще и усложняется, если причемъ во вниманіе слѣдующее: Чеховскіе персонажи въ бытовомъ отношеніи вѣдь ближе къ намъ, нежели Толстовскіе (я имѣю въ виду прежде всего «Войну и Миръ»), но сами по себѣ они несравненно дальше отстоять отъ насъ: всѣ эти его «хмурые люди», застѣчивые и нерѣшительные земскіе статистики и земскіе врачи попросту скучны. Дѣло, слѣдовательно, не въ самой той жизни, съ ея специфическими особенностями, которую изображаетъ Чеховъ, — и не въ томъ какъ къ, съ чисто эстетической точки зрѣнія, онъ ее изображаетъ, а въ томъ, какъ онъ ее видитъ. Попытаюсь объяснить, какъ, съ этой точки зрѣнія, возможно все-таки сопоставленіе этихъ двухъ, казалось-бы, несоизмѣримыхъ величинъ. Но для этого требуется краткое отступленіе.

Гоголь — величайшій изобразитель людской пошлости въ ея, такъ сказать, общечеловѣческомъ аспектѣ. Чтобы понять Плюшкина, не нужно быть непременно русскимъ, какъ и для того, чтобы понять Гарпагона — французомъ. Но есть и другой аспектъ пошлости — національный. У каждаго народа есть свой особый, ему одному присущій оттѣнокъ пошлости. Пошлость же въ жизни то самое, что «пріемъ» въ искусствѣ, то, что поддается пародіи. И историкамъ культуры слѣдовало бы пользоваться методомъ, выработаннымъ исторіей искусства: подобно тому какъ изученіе манеры «эпигоновъ», утрирующихъ, обнажающихъ художественные приемы, подводитъ къ пониманію художественныхъ стилей, такъ сравнительное изслѣдованіе различныхъ видовъ пошлости — французской, нѣмецкой, русской, англійской — пролило бы свѣтъ на сущность того, что принято называть «душою» каждаго даннаго народа. Поскольку же эта «душа» отражаетъ себя прежде всего въ языкѣ, полезно начинать именно съ него — въ особенности, когда дѣло идетъ о народахъ, чьи языки еще не достигли той стадіи рационализации, когда языкъ уже перестаетъ быть «зеркаломъ души» (народной). Въ этомъ отношеніи русскій языкъ говорить исто-

рику культуры объ очень многомъ — одной своей чертой. Есть языки, для которыхъ характерно легкое образование «уменьшительныхъ» — ласкательныхъ или уничижительныхъ — словъ, — напр., итальянскій, испанскій, всѣ славянскіе языки. Но чп въ одномъ языкѣ это явленіе не играетъ такой роли, какъ въ русскомъ. Прочіе языки этой категоріи довольствуются глагнлымъ образомъ уменьшительными именами. Русскій-же допускаетъ образование уменьшительныхъ прилагательныхъ (в итальянскомъ это тоже бываетъ, но рѣдко), и притомъ любого значенія, даже порицательнаго — гаденькій, поленькій, гнусненькій; даже глаголовъ — такіе глаголы, какъ похаживать, попрыгивать, постыкивать и проч., только по формѣ итеративные, на самомъ дѣлѣ — такіе же «уменьшительные», какъ и призанять (деньжонокъ); даже нарѣчій: ни столечко, ничешеньки, чуточку, немножечко, помаленьку; даже междометій: ох-о-ошеньки. Главное — чрезвычайная распространенность такого рода словъ. Это стоитъ въ несомнѣнной связи съ русской женственностью, душевностью, чуткостью, съ православнымъ умонастроениемъ, но также и съ кое-чѣмъ другимъ: съ русскимъ бессознательно-лицемѣрнымъ, безответственнымъ прекраснодушіемъ, съ русскимъ юродствованіемъ, съ русскимъ вкусомъ къ самоуничиженію, самоумаленію, съ рабьей психологіей. Этическая двусмысленность этой особенности русскаго языка сказалась въ томъ, напримеръ, что обиліе уменьшительныхъ словечекъ составляетъ характернѣйшую черту какъ поэтическаго языка Некрасова, такъ и рѣчи шедринскаго Іудушки (одно это имя, непередаваемое ни на какомъ другомъ языкѣ, чего стоитъ!) и гаденькаго старичка въ одномъ изъ чеховскихъ разсказовъ, говорящаго «казенненское довольствинце» и т. п.

Вотъ почему на русской почвѣ привилось какъ нигдѣ и даго такіе обильные плоды, занесенные съ Запада съма романтизма съ его его разрастаніемъ душевности за счетъ диховности, съ его испроверженіемъ іерархіи духовныхъ цѣнностей и, въ силу этого, парадоксальнымъ убываніемъ пониманія, въ чемъ состоитъ человѣческое достоинство, вмѣстѣ съ гипертрофіей «Я» и распространеніемъ гуманитарныхъ идей.

Для провѣрки сказаннаго достаточно одинъ примѣръ, говорящій больше чѣмъ всѣ остальные взятые вмѣстѣ — примѣръ Достоевскаго, прошедшаго всѣ стадіи романтическаго индивидуализма и гуманизма, «воспитаннаго, по его собственнымъ словамъ, на Карамзинѣ», переболѣвшаго жоржъ-занди-

момъ и фурьеризмомъ, пережившаго всю проблематику европейской культуры съ такой страстностью, такой напряженностью и остротою мысли, съ такой глубиной, какъ никто, предвосхитившаго и оставившаго за собою Ницше, и, наконецъ, использовавъ все, чѣмъ романтизмъ обогатилъ культуру, преодолевшаго то, что является кореннымъ, основнымъ порокомъ романтической культуры — игнорированіе іерархическаго строенія духа, примата «мы» надъ «я» съ одной стороны, п н е м а т и ч е с к а г о начала надъ п с и х и ч е с к и м ь съ другой. Но это преодоленіе — было-ли оно полнымъ и окончательнымъ? Удалось-ли Достоевскому вытравить въ себѣ безъ остатка все то, что онъ возненавидѣлъ въ себѣ? Здѣсь рѣшающимъ показателемъ является одно: величайшій писатель нашего времени, Достоевскій въ извѣстномъ отношеніи дѣлитъ участь писателей второстепенныхъ: онъ поддается п а р о д и н, предметомъ которой служитъ все то, что такъ или иначе нарушаетъ порядокъ, стройность, цѣлесообразность, осмысленность, все, что выпячивается, лѣзетъ въ глаза, всякое излишество, всякая чрезмѣрность, олушаемая, въ жизни и въ искусствѣ, какъ фальшь, ложь, безстыльность, безтактность. Доказательство привести нетрудно: гениальнѣйшій пародистъ, Достоевскій, безсознательно, то и дѣло пародировалъ самого себя: въ самыхъ вдохновенныхъ мѣстахъ его величайшихъ твореній звучатъ порой нестерпимо-фальшивыя ноты, словно ворвавшіяся туда изъ «Неточки Незвановой» или изъ «Дневника Писателя»; могучую рѣчь пророка вдругъ перебиваетъ голосъ юбилейнаго оратора или карамзинистскаго «чувствительнаго человѣка» — и притомъ такъ, что все-таки мы воспринимаемъ эту фальшь, въ которой онъ вполнѣ и скрепенъ, не какъ нѣчто чуждое цѣлому, постороннее, какъ вставки переписчиковъ въ Гомеровскихъ поэмахъ, но какъ безусловно принадлежащее самому Достоевскому, какъ столь-же характерное для него, что и все прочее, однимъ словомъ — какъ пародию на его собственный стиль, какъ издѣвательство надъ его собственной личностью, какъ карнакагуру его собственного облика.

И не знаю, существуетъ-ли какой-нибудь инструментъ для измѣренія степеней таланта и не знаю, насколько превосходилъ Чеховъ въ этомъ отношеніи иныхъ изъ современныхъ ему беллетристовъ; я не знаю также, насколько правильно оцѣнка данная имъ, устами Тригорина, себѣ самому: «хорошій былъ писатель, но писалъ хуже Тургенева». Съ Достоевскимъ онъ во всякомъ случаѣ несоизмѣримъ. Но одно мнѣ представляется безспорнымъ: Достоевскій можетъ быть пародируемъ. Тургеневъ

тоже — это доказаль Достоевскій, пародировавшій не только Тургенева-человѣка (какъ онъ пародироваль человѣка-Гоголя), но и Тургенева-писателя. Чеховъ-же безусловно нѣтъ. Не все у Чехова удачно, иное вяло, сѣрвато, недодѣлано; но нигдѣ нѣтъ у него ничего, что бы воспринималось какъ самолюбваніе, самовыпячиваніе, или-же какъ фальшь, какъ кокетничанье, какъ позировка; и нигдѣ нѣтъ у него ни тѣни сентиментальности, прекраснотушія, наигранной взволнованности, раздражающей приподнятости настроенія. Натурѣ Чехова были совершенно чужды тѣ свойства романтической пошлости, которыя процвѣли въ Россіи столь пышно, и столь усердно культивировались, что именно они стали выдаваться за специфическія свойства «русской души». Въ свое время Чеховъ былъ единственнымъ, съ необычайной зоркостью увидѣвшимъ русскую пошлость и высмѣивавшимъ ее, какъ все, что онъ дѣлалъ, — какъ-бы вскользь, безъ подчеркиваній — въ обращеніи къ «дорогому, многоуважаемому шкапу», въ воспроизведеніи рѣчи «идейной» дѣвицы («вы, кажется, начинаете исповѣдывать принципы Третьяго Отдѣленія...»), въ особености въ рядѣ мѣстъ своихъ писемъ. Г. Адамовичъ недавно писалъ объ одной драгоценной чертѣ Чехова — его человѣчности, считая эту черту характерною для его, Чехова, времени. Необходимо, однако, отмѣтить, что чеховская человѣчность очень далека отъ навязчиваго, притязательнаго, неделикатнаго, самодовольнаго человѣколюбія эпохи романтическаго гуманизма. Чеховская человѣчность — это снисходительно-сострадательное отношеніе ко всему живому съ необходимо-присущимъ такому отношенію оттѣнкомъ юморъ, — какъ у Сервантеса, Фильдинга, Пушкина; между тѣмъ какъ, вообще говоря, юморъ въ XIX в. исчезъ почти безслѣдно, замѣнившись романтической «ироніей», или плебейскимъ глумленіемъ. Въ Чеховѣ дорого намъ прежде всего то, что, будучи нашимъ современникомъ, онъ былъ свободенъ отъ главныхъ слабостей нашего вѣка. Во всѣхъ отношеніяхъ былъ онъ тѣмъ, что въ эпоху классической культуры опредѣлялось терминомъ *un honnête homme*, что всего правильнѣе было бы перевести *п о р я д о ч н ы й ч е л о в ѣ к ѣ*, понимая это слово въ его буквальномъ, еще не стершемся значеніи, какимъ оно стало въ эпоху, зачавшуюся полъзнаками «Эмилия», «Ренэ» и «Чайльдъ-Гарольда», возведшую духовный безпорядокъ въ предметъ культа. Порядочность Чехова сказалась въ его сдержанности, осторожности, тактичности, сознаніи отвѣтственности, съ какими онъ подходилъ и къ человѣку, и къ такъ называемымъ «вопросамъ», — благодаря чему онъ и заслужилъ отъ идеологовъ репутацію «писателя безъ

мировозрѣнія» — и какими опредѣлилось и его писательское искусство, направлявшееся основнымъ правиломъ его поэтики: если въ разсказѣ упоминается о ружьѣ, оно должно рано или поздно выстрѣлить, — формула, кроющая въ себѣ, какъ въ зернѣ, всю философію классическаго, т. е. честнаго, порядочнаго, отвѣтственнаго искусства. Ибо выдержка, самообладаніе, способность къ самоограниченію, чувство мѣры, — все это вмѣстѣ суть проявленія одной общей духовной тенденціи — къ совершенству, которой противостоитъ романтическая тяга къ безконечному. Но одно — тенденція, другое — осуществленіе. Остается все-таки вопросъ: можно-ли назвать Чехова-писателя классикомъ, — не въ общепринятомъ смыслѣ, не въ смыслѣ просто значительнаго, хорошаго писателя, котораго слѣдуетъ «проходить» въ гимназіяхъ и имѣть въ библиотекѣ, но въ томъ, какой усвоенъ этому термину въ литературовѣдѣніи? Есть-ли у Чехова вещи, которыя можно было бы назвать совершенными или, по крайней мѣрѣ, близкими къ совершенству, — опять-таки въ строгомъ смыслѣ слова, т. е. такія, которыя были бы построены, въ которыхъ все было бы согласовано, объединено внутренне-необходимой связью?

Стоитъ хоть немного вдуматься въ этотъ вопросъ — и становится ясно, сколь условны, сколь шатки наши эстетическіе критеріи и сколько сложно наше воспріятіе эстетическихъ цѣнностей, и сколь поэтому въ сущности неудовлетворительны, приблизительны, грубы такія категоріи, какъ хотя-бы категорія художественной литературы. Дѣло въ томъ, что есть произведенія, воздѣйствующія на насъ сами по себѣ, и есть такія, очарованіе которыхъ въ томъ, что они вводятъ насъ въ общеніе съ авторомъ, которыхъ роль — служить посредниками между нами и имъ, которыя намъ дороги тѣмъ, что благодаря имъ, мы узнали его. Это ихъ качество вовсе не опредѣляетъ собою степень ихъ эстетической цѣнности: инныя удовлетворяютъ только одному изъ этихъ требованій, другія — обоимъ. Съ чисто художественной точки зрѣнія просто смѣшно сопоставлять произведенія, скажемъ, Альфреда де Виньи съ Евгениемъ Олгинимъ, Капитанской Дочкой или Донъ-Кихотомъ. Общее у нихъ все-же то, что они дѣлаютъ для насъ бессмертными людей исключительнаго ума и душевнаго благородства, познакомившись съ которыми, мы уже не въ силахъ себѣ представить, что міръ могъ бы существовать безъ нихъ, что, не будь ихъ, мы могли бы быть тѣмъ, что мы есть. Но «Мертвыя Души» для насъ самодовлѣющая художественная цѣнность, обладающая абсолютной необходи-

мостью, тогда какъ жуткій человекъ, изображенный въ бунинскомъ «Жилетѣ Гоголя», для насъ словно-бы никогда не существовалъ. Что касается Чехова, то всѣ его вещи, кромѣ одной, представляются мнѣ, повторяю, цѣнными преимущественно тѣмъ, что въ нихъ отражена его личность, опредѣлившая собою его художественный методъ. Я бы сопоставилъ ихъ съ второстепенными созданиями великихъ классиковъ музыки, Моцарта или Гайдна. Въ нихъ не заключено абсолютно-значительныхъ откровеній Духа; онѣ могли бы и не быть написаны и онѣ далеки отъ формальнаго совершенства. Но въ нихъ нѣтъ ничего, отъ чего бы насъ коробило, эстетически или морально, ничего сказаннаго некстати, ни одного слова, которое хотѣлось бы, чтобы не было произнесено — какъ это встрѣчается у Достоевскаго, у Тургенева, даже у Толстого (напр., въ «Воскресеніи») — и въ этомъ смыслѣ онѣ классичны. Я сказалъ сейчасъ: всѣ вещи кромѣ одной — и это послужитъ лишнимъ оправданіемъ для сопоставленія Чехова съ Гоголемъ и притомъ отнюдь не только съ точки зрѣнія историко-литературной — поскольку эта вещь, «Степь», составлена отчасти изъ матеріала, заимствованнаго Чеховымъ изъ «Мертвыхъ Душъ» и «Тараса Бульбы», — но также и имѣя въ виду ту проблему, о которой я сказалъ выше: проблему классическаго, т. е. совершеннаго искусства. Съ традиціоннымъ мотивомъ поѣздки неизмѣнно лежащимъ въ основѣ классическаго романа приключеній, Чеховъ, взявши его у Гоголя, сдѣлалъ приблизительно то, что Гоголь сдѣлалъ съ традиціонными мотивами «интриги» классической комедіи: у Чехова этотъ мотивъ служить совсѣмъ не для того, для чего онъ служитъ у Сервантеса, у Скаррона, у Фильдинга, у Гоголя: основаніемъ для нанизыванія эпизодовъ другъ съ другомъ не связанныхъ, но забавныхъ, характерныхъ, такъ или иначе значительныхъ сами по себѣ, важныхъ для пониманія личности и судьбы героевъ. Такихъ эпизодовъ у Чехова нѣтъ, какъ нѣтъ и «героевъ». Дорожные событія показаны такъ, какъ ихъ видитъ Егорушка, еще неличность, еще *tabula rasa*, воспринимающая все, какъ одинаково новое, невиданное и ничего не объединяющій въ своемъ сознаніи. Здѣсь все случайное, нѣтъ никакихъ «снѣпленій» отдѣльныхъ эпизодовъ, обусловливаемыхъ «сюжетомъ», который отсутствуетъ, — и все необходимо, все на своемъ мѣстѣ съ точки зрѣнія-требованій ритма, отмѣчаемаго снѣнами дня и ночи, погоды и непогоды, встрѣлками, остановками, дорожными развлеченіями и дорожными несприятностями. Степной путь самъ сталъ, такимъ образомъ, «героемъ», главнымъ объектомъ повѣствованія. Такъ, гениально обра-

тивши отношеніе между «мотивомъ» и «содержаніемъ», Чеховъ разрѣшилъ задачу, которую, — мы знаемъ объ этомъ изъ его переписки, — онъ сознательно поставилъ себѣ: «спрессовать» весь свой матеріалъ такъ, чтобы изъ элементовъ «пейзажа» и «жанра» получилось одно цѣлое. Люди, вѣдущіе по дорогѣ, въ такой же степени «принадлежать» къ ней у Чехова, какъ одинокій тополь, какъ вѣтряная мельница, какъ родникъ, близъ котораго они дѣлаютъ привалъ. Въ прозаическомъ произведеніи, гдѣ матеріаломъ художественной разработки служить не человекъ, а предметъ самъ по себѣ, такъ сказать, нейтральной, «лирической отступленія», которыми авторъ прерываетъ нить повѣствованія, столь же художественно оправданы, какъ и въ романѣ въ стихахъ или въ поэмѣ Ренессанса, какъ въ Евгениіи Онѣгинѣ, въ «Неистовомъ Роландѣ», гдѣ такимъ матеріаломъ является ритмическая единица — строфа. Въ «Степи» осуществленъ классическій идеалъ искусства — единства въ многообразіи, органичной цѣлостности, внутренней оправданности каждой мелочи, законченности, завершенности, — совершенства. «Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у г. Чехова», восклицалъ, парафразируя Гоголя, Михайловскій, — и въ то же время, смѣшивая понятіе совершенства и значительности, недоумѣвалъ: къ чему это искусство? Что хотѣлъ сказать авторъ? Въ чемъ идея, каковъ смыслъ этой повѣсти? Но произведеніе совершенное, т. е. законченное, въ томъ смыслѣ, что художественная идея его творца нашла себѣ въ немъ окончательное выраженіе, существуетъ въ гегелевскомъ значеніи этого слова: оно разумно, т. е. не нуждается въ осмысленіи извне. Самый фактъ его существованія говоритъ о его метафизической необходимости и его форма содержитъ въ себѣ его собственный, неповторимый смыслъ. И Гоголя, въ тѣ моменты, когда его самолюбіе смѣнялось приступами разочарованія въ себѣ, мучила мысль, что онъ недостойнымъ образомъ расходуетъ свой даръ, изображая ничтожное, убогое, смѣшное, «бѣдность и несовершенства нашей жизни»; и онъ старался найти оправданіе этому. Но къ классическимъ, совершеннымъ, «существующимъ», созданіямъ человѣческаго творчества приложимо то, что сказалъ Чеховъ по поводу одного изъ своихъ героев, котораго смущалъ вопросъ, такъ-ли онъ живетъ, какъ надо: онъ не знаетъ, «что его жизнь столь же мало нуждается въ оправданіи, какъ всякая другая».

Версаль и Москва

Послѣ ликвидаціи лѣваго — вѣрнѣе, гомосексуалистическаго — «загиба» въ Германіи и послѣ убійства національ-соціалистомъ Дольфуса включеніе СССР въ Лигу Націй является безспорно наиболѣе крупнымъ событіемъ въ международной политикѣ послѣднихъ мѣсяцевъ.

Какъ низко ни оцѣнивать это включеніе, — а мы его оцѣниваемъ весьма низко, — все же нельзя не признать, что только теперь, послѣ инвеституры Лиги Націй, СССР окончательно допущенъ въ семью, такъ называемыхъ, цивилизованныхъ народовъ. Съ этимъ послѣднимъ по времени актомъ ни въ какомъ сравненіи не могутъ идти ни отдѣльныя встрѣчи Европы съ большевиками въ Генуѣ или Гаагѣ, въ Лондонѣ или въ той же Женевѣ; ни торжественныя признанія совѣтской власти правительствомъ Россіи тѣмъ или другимъ государствомъ; ни даже подписанія съ большевиками, какъ равный съ равнымъ, всевозможныхъ двустороннихъ и многостороннихъ договоровъ о дружбѣ, ненападеніи и т. д.

Чтобы включеніе въ Лигу Націй единой и единственной партіи въ Россіи могло состояться, должны были измениться не только — и не столько — большевики, сколько входящія въ Лигу «націи», ихъ нравы и учрежденія. Это не отрицается, однако, самаго факта. Мы не усматриваемъ въ немъ «поворотнаго этапа» въ международной политикѣ — менѣе всего въ политикѣ совѣтской власти. Но онъ является въ духѣ и стилѣ и въ полномъ созвучіи съ общимъ увлеченіемъ современности культомъ желѣза и крови, съ возвратомъ къ тѣмъ самымъ напыкамъ, въ отрицаніи, если не въ полномъ упраздненіи, коихъ и былъ главный смыслъ учрежденія Лиги Націй.

1.

Передъ собравшимися въ Версаль въ 1919 г. стояли двѣ задачи — различнаго порядка и значенія. Надо было юридически оформить фактическое окончаніе войны, — закрѣпить въ дого-

воръ фактъ побѣды союзническаго оружія, — и надо было установить порядокъ, при которомъ война, если не вовсе отмѣненная, была бы затруднена и поставлена подъ контроль до, въ процессъ и послѣ своего возникновенія.

Обѣ задачи — ликвидація міровой войны путемъ конкретнаго договора между бывшими противниками и установленіе болѣе или менѣе прочнаго и длительного мира для всего міра — оказались связаны. И не только внутренне, логически и политически, но и внѣшне, технически и редакціонно, во времени. По предложенію Вильсона, хлопотавшаго о возможно болѣе прочномъ утвержденіи новаго международнаго порядка, тѣ самые договоры, которые подводили итоги прошлому, отшумѣвшей войнѣ, были снабжены и новыми устоями — статутомъ будущей Лиги Націй. Въ дѣйствительности получилось то, что не живой оживилъ привязаннаго къ нему мертвеца, а мертвый потянулъ за собою живого. Пороки навязаннаго мира сказались и въ установленіи новаго международнаго правопорядка.

Кто могъ отнять у побѣдителей право указать условія, на которыхъ они соглашались прекратить вооруженныя дѣйствія? При отсутствіи третьей силы или стороны, — какъ на Берлинскомъ конгрессѣ въ 1878 г., — всѣ войны, какъ правило, кончаются «диктуемыми» договорами. И версальскій миръ, конечно тоже былъ миромъ продиктованнымъ. Въ этомъ пунктѣ нѣмцы совершенно правы. Не правы они лишь тогда, когда, утверждая наличность версальскаго «диктанта», они въ то же время отрицаютъ фактъ своего безусловнаго пораженія. Побѣдители, можетъ быть, и не слишкомъ милостивы. Но этимъ только подтверждается, что побѣжденный отдался на милость побѣдителя, очутился предъ нимъ на колѣняхъ.

Побѣдители могли обойтись съ побѣжденными такъ, какъ они считали нужнымъ, и какъ имъ позволяло ихъ физическое превосходство. Но поскольку Лига Націй утверждала новый порядокъ и начинала собой новый правовой рядъ, въ которомъ бывшіе побѣдители встрѣчались съ бывшими побѣжденными и множествомъ вовсе не участвовавшихъ въ былой войнѣ для взаимнаго сотрудничества и охраны грядущаго мира, постольку претензіи побѣдителей продиктовать человечеству и условія новаго правопорядка, — были, конечно, совершенно неоправданы. Онѣ оказались и пагубны.

Сознавали это и сами побѣдители. И наряду съ государствами, съ оружіемъ въ рукахъ способствовавшими побѣдѣ (такихъ было 12), и государствами, воевавшими лишь отвлеченно, фактически участвовавшими на сторонѣ союзниковъ лишь въ вы-

годныхъ для себя операціяхъ экономическаго порядка или только «морально» (такихъ насчитывалось 15), въ Версаль получили приглашеніе, для одобренія выработаннаго проекта соглашенія о Лигѣ Націй, и неучаствовавшія въ войнѣ нейтральныя (ихъ было — 13). Но не они, конечно, опредѣлили содержаніе статута. Его опредѣлили вершители судьбы Европы — «главныя державы», точнѣе возглавлявшіе ихъ «строе».

На положеніи лебеда-утописта, скептической шуки и циника-рака, Вильсонъ, Ллойдъ Джорджъ и Клемансо приложили много энергіи, — часто въ противоположныхъ направленіяхъ. И надо еще удивляться, какъ Версалю 1919 г. удалось все-таки избѣжать участи Гааги 1899 и 1907 гг., и что, хоть и съ изъясненіями, но Лига Націй все же создалась.

Лига создалась въ итогъ сознательнаго умолчанія въ однихъ случаяхъ и явнаго отказа отъ послѣдовательности въ другихъ. Соглашеніе свелось не къ установленію новой, иной, «средней» точки зрѣнія, а къ простому сложенію разныхъ, иногда взаимно исключаютелыхъ. Самая редакція статута, то слишкомъ многословная, то излишне схематичная, своею сбивчивостью и неответливостью подчеркивала внутреннюю несогласованность отдѣльных его элементовъ.

Однако не въ этомъ, и не въ требованіи въ рядѣ случаевъ непремѣнно единогласія, — что было на руку лишь наиболѣе упорнымъ послушникамъ, — и даже не въ отсутствіи у Лиги послѣдней санкции, вооруженной силы, для осуществленія ея рѣшеній, былъ первоначальный, чтобы не сказать первоуродный, ея грѣхъ. Онъ — въ той ея тенденціи, въ неполномъ осуществленіи коей многіе и по сей день склонны видѣть едва ли не главную причину неудачи Лиги. Мы имѣемъ въ виду стремленіе Лиги къ у н и в е р с а л и з м у, ея желаніе охватить во что бы то ни стало всѣ страны міра, фактически — «объять необъятное».

Эта тенденція, одно время сдерживаемая, особенно рѣзко обозначилась какъ разъ въ послѣдніе годы, совпала во времени съ тѣмъ, что неразрывно связанная съ Лигой Націй и генетически, и по существу, демократическое сознаніе и демократическія учрежденія, въ рядѣ странъ, входившихъ въ Лигу Націй, очутились на ушербѣ или вовсе закатились.



Доступъ въ Лигу Націй принципально былъ открытъ для всѣхъ. Но никому не было предоставлено субъективное публици

ное право на доступъ въ Лигу. Поименно названныя 32 государства и «автономныя націи», «первоначальные участники» Лиги, равно какъ и 13 нейтральныхъ, «приглашенныхъ примкнуть къ статуту», становились членами Лиги путемъ простаго изъявленія своего желанія. Для другихъ требовалось и согласіе со стороны Лиги.

Пунктъ 2 ст. 1 Статута предусматривалъ доступъ въ Лигу всякаго, и не названнаго въ приложеніи къ статуту, государства, которое «управляется свободно», если на то выразятъ согласіе 2/3 общаго собранія Лиги, и если аспирантъ дастъ «дѣйствительныя гарантіи искренняго намѣренія соблюдать свои международныя обязательства и приметь порядокъ вооруженія на сушѣ, на морѣ и въ воздухѣ, который установитъ Лига».

Что надлежитъ разумѣть подъ свободнымъ управленіемъ? Какъ судить о намѣреніяхъ, тѣмъ болѣе — объ ихъ искренности? Что считать дѣйствительной гарантіей?

Всѣ эти вопросы и сомнѣнія возникли на первомъ же общемъ собраніи Лиги. Въ специальной комиссіи выработана была анкетный листокъ для предварительнаго опроса кандидатовъ, пожелавшихъ вступить въ Лигу Націй. Подъ литерой Д), на четвертомъ мѣстѣ, значился вопросъ: «управляется ли (государство - проситель) свободно»? А практика, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, вопросъ о свободномъ управленіи стала подмѣнять вопросомъ о прочномъ управленіи: вмѣсто того, чтобы интересоваться, каковы порядки въ странѣ, можетъ ли, способенъ ли, достоинъ ли аспирантъ войти въ новую систему международного правопорядка, довольствовались гѣмъ, что спрашивали, — каковы его границы? Отвердѣли ли онѣ? Устойчивы ли? Признаны ли другими государствами?

У перваго общаго собранія домогалось приѣма въ Лигу множество государствъ. Удовлетвореніе получили далеко не всѣ. Однихъ отвергли за микроскопичность, другихъ — за неустойчивость границъ, третьихъ — за недоказанность ихъ добрыхъ намѣреній (уваженіе къ международному праву надо доказать не словами, не декларацией, хотя бы и торжественной о готовности соблюдать международныя обязательства, а дѣлами, — убѣждалъ Вивіани своихъ коллегъ въ Женевѣ въ цѣлесообразности испытательнаго срока для Германіи), четвертыхъ — не за собственную вину, а за чужую: «за несчастное географическое положеніе, открывающее ихъ для атакъ державы, намѣренія которой никому неизвѣстны» (Брантингъ). То былъ псевдонимъ «павшей въ анархію» Россіи...

Если ряду государствъ отказали въ приѣмѣ въ Лигу Націй,

это вызвано было не тѣмъ, что они не удовлетворяли требованіямъ, которыя предусматривалъ статутъ Лиги, а потому, что сама Лига первоначально съ гораздо большей осторожностью, — можетъ быть, иногда даже съ чрезмѣрной, — относилась къ своей отвѣтственности и авторитету. Она опасалась за себя, неувѣрена была въ своихъ силахъ. «Лига Націй еще очень слабый организмъ»; «въ мѣру того, какъ Лига охватитъ большее число государствъ, она сумѣетъ лучше выполнить свой долгъ международной солидарности и сотрудничества», — обѣщали делегаты на первомъ общемъ собраніи.

Фактически получилось въ рядѣ случаевъ то, что, спасая себя и свое существованіе, Лига губила — или мирилась съ гибелью и нарушеніемъ правъ — другихъ, компрометтировала тѣмъ самымъ начала новаго международного правопорядка, на которыхъ она строилась и утверждалась.

Въ самой организаціи Лиги Націй была заложена мина, которая ее взрывала. Лига должна была по своему заданію и устремленію обезпечить всеобщій миръ и неприкосновенности. Гарантіей же тому должно было служить общее соучастіе въ осуществленіи поставленныхъ цѣлей. Такъ установлена была прямая и чисто видимая, механическая зависимость между численнымъ составомъ Лиги и выполненіемъ ею своихъ задачъ. Завѣдомо и явно численность участниковъ поставлена была на первое мѣсто. Ей подчинены были не только политическое качество сочленовъ, но и характеръ связи между ними. — Оставаясь не всеобъемлющей по составу, Лига Націй не будетъ жизнеспособной; не будучи универсальной, Лига обречена на скорое и неизбежное разложеніе, — доказывалъ получившіи сейчасъ широкую популярность Мотта на томъ же первомъ собраніи Лиги.

Послѣ того, какъ въ сторонѣ отъ Лиги остались Соединенные Штаты и Россія, а потомъ и Бразилія, Японія, Германія и др., а Лига продолжала жить, — утопичность поставленнаго заданія стала очевидной. Поставленное заданіе было не только утопично, но въ нереальности своей и вредно, ибо на мѣсто одной фикціи — былого «концерта» великихъ державъ, якобы охранявшаго международные миръ и порядокъ, оно вытѣснѣло другую мнимую величину — единство и солидарность въ сѣхъ державъ, безотносительно къ проводимой ими политикѣ *).

*) Противоположную крайность защищаетъ сейчасъ дипломатія третьяго райха. Такъ какъ система Версаля показала свою несостоятельность, и попытка всеобщаго объединенія провалится, то Гит-

Вмѣсто того, чтобы послѣдовать мудрому правилу Ленина и всѣхъ нерѣшительныхъ и сомнительныхъ оставлять въ чужомъ лагерѣ, чтобы они вносили смуту и разложеніе въ станъ противника, а не въ собственные ряды, Лига стала включать въ свой составъ и открытыхъ противниковъ и тайныхъ враговъ тѣхъ началъ, на которыхъ основывалась вся ея дѣятельность. Задаваясь слишкомъ большими цѣлями, она съ тѣмъ большими трудностями достигала малыхъ. И вмѣсто того, чтобы, хотя бы и въ меньшемъ числѣ, быть въ большемъ согласіи съ своими задачами, она все чаще оказывалась недѣйственной и безсильной, скомпрометтированной въ глазахъ даже собственныхъ друзей и защитниковъ.

Между тѣмъ, казалось бы, если законы группировки по признаку величія: великія, или главныя и малыя державы; или по региональному признаку: державы европейскія, дунайскія, балканскія, балтійскія и др., — почему невозможна или недопустима группировка государствъ по внутреннему ихъ строю, по опредѣляющему и международныя отношенія внутри-политическому ихъ режиму?

Если возможенъ былъ въ свое время Священный союзъ монарховъ для поддержанія мира, почему считать невозможнымъ Священный союзъ демократій, — даже не республикъ, а демократій *). Если и союзъ самодержцевъ, несмотря на специфическіе, личные и династическіе антагонизмы и раздоры, несмотря на возложенную на себя роль жандарма, все же могъ въ теченіе десяти лѣтъ по своему охранять миръ, — почему не допустить, что Союзу демократій, его методами, удалось бы охранить миръ въ теченіе, можетъ быть, гораздо болѣе долгаго срока?!

лерь съ Нейратомъ отстаиваютъ отказъ отъ всякихъ группировокъ и союзовъ группировокъ: государство должно «честно» договариваться съ государствомъ и не входить ни въ какія объединенія. — Нетрудно замѣтить политическое жало такого предложенія и сторону, въ которую оно направлено...

Ту же позицію заняла и Польша послѣ вхожденія Советовъ въ Лигу. Польша демонстративно подчеркиваетъ, что двустороннему своему соглашенію съ Советами она придаетъ бѣльшее значеніе, чѣмъ соглашенію въ рамкахъ и подъ эгидой Лиги.

*) О томъ же наша статья «Лига Наций и гарантія правъ чело-вѣка» въ «Les Cahiers des Droits de l'homme» отъ 30 октября 1933. — Аналогичную идею союза западныхъ демократій, правда, въ другихъ цѣляхъ защищалъ недавно извѣстный Гарвинъ въ «Observer» отъ 24 марта 1934 г.

Учреждение Союза — или Лиги — демократий отнюдь не было бы равносильно насильственному введению демократии там, где ее нет. Такое введение противоречило бы природе и самому существованию демократии. Интервенция с оружием в руках так же не связана внутренне с свободным объединением в общую Лигу демократических государств, как не исключает интервенции в известных формах и под известными условиями и Лига Наций, увлекаемая мифом универсальности. Частные группировки и контр-группировки внутри Лиги отнюдь не устранены и стремящейся к универсальности Лигой Наций. И если открытый Союз демократий способствовал бы кристаллизации контр-демократических сил, это было бы предпочтительнее всякой скрытой и тайной организации.

В первые годы существования Лиги сила ее престижа и влияния к ней тяготения превышала силу ее собственного, внутреннего влечения к универсальности. Инстинкт самосохранения как бы подсказывал ей, вопреки заданию, производить некоторый отбор среди домогавшихся в нее войти, чтобы определять ее судьбу. Отбор и контроль направились, однако, не в ту сторону, в какую следовало. И эволюция Лиги выразилась в том, что она со временем и вовсе отказалась от контроля и учета внутренней структуры своих сочленов.

Когда демократия была в почет и прикрывала собою ту дань добродетели, которую оказались вынуждены нести ей почти все государства, — за четырьмя всего исключениями: Афганистана, Сиам, Эфиопии и Советов! — Лига Наций проявляла некоторую разборчивость. Но в мѣру отпадения от демократии, оказавшейся не ко двору в рядѣ странъ, критическое отношение Лиги слабѣло и падало. Это падение сказалось ярко при допущении в состав Лиги рабовладельческой Эфиопии и Либерии. И предельных степеней оно достигло в антузиастическомъ и единодушномъ допущении въ Лигу Мексики и Турции. Зная «узкое мѣсто» у этихъ аспирантовъ, Лига отказалась отъ предварительнаго обсуждения этихъ кандидатуръ въ политической комисси, какъ того требовалъ регламентъ. Турцию, истребляющую и преслѣдующую армянъ, дѣйствія коей и чопорный лордъ Керзонъ не постѣснялся заклеить публично, на конференци въ Лозаннѣ, какъ «одинъ изъ величайшихъ скандаловъ въ мѣрѣ», какъ разъ эту Турцію, равно какъ и Мексику, прославившуюся гоненіями на католиковъ, — гуманнѣйшіе и христіаннѣйшіе миротворцы сочли умѣстнымъ и полезнымъ включить въ составъ Лиги *par acclamation*.

Дорога Совѣтамъ тѣмъ самымъ была проложена.

Можно по разному устанавливать причинозависимость: потому ли перестала Лига Націй быть требовательной и разборчивой, что престижъ ея упалъ и жизнеспособность понизилась, — не до жиру, быть бы живу; или обратно: потому и понизилась ея жизнеспособность, что Лига перестала быть разборчивой и стала брать всѣхъ, кто только къ ней шелъ. Во всякомъ случаѣ къ моменту, когда всталъ вопросъ о включеніи въ Лигу СССР, то и другое совпало.

II.

Скучно и длинно было бы воспроизводить исторію взаимоотношеній большевиковъ и дѣтища Версаля, Лиги Націй. Долгое время Версаль служилъ для большевиковъ пугаломъ, воплощеніемъ предѣльныхъ степеней империалистическаго зла и расчлѣнія. Версаль будилъ тяжелыя воспоминанія и о пышномъ величій «палаческаго» абсолютизма, о мстительномъ истребленіи героическихъ коммунаровъ. Онъ былъ синонимомъ «грабительскаго» мира, который удалось заключить «гигантскому тресту войны», превратившемуся въ «синдикатъ побѣдителей» и переименовавшему себя изъ «шайки разбойниковъ» въ Лигу Націй.

Большевистская республика не только отвергала Лигу Націй, она и противопоставала ее себѣ, какъ учрежденіе абсолютного чуждого и полярное, какъ порожденіе капиталистической стихіи, изначально непримиримое съ устремленіями революціонныхъ и социалистическихъ Совѣтовъ.

Приблизительно таково же было и встрѣчное отношеніе Версаля къ Москвѣ.

Въ самый версальскій договоръ включена была повторная характеристика московскихъ властителей, какъ «правительства максималистическаго». Поскольку Москва отрицала не только капитализмъ и империализмъ, но и демократію, неразрывно связанную съ Лигой Націй, Лига не могла не отрицать и совѣтской системы съ тою же рѣшительностью, съ какой та отрицала ее. Ибо къ Лигѣ Націй съ полнымъ правомъ можно было приложить афористическую формулу Мотты: «Pas de démocratie, pas de Suisse»: нѣтъ демократіи — нѣтъ и Лиги Націй, какъ нѣтъ и Швейцаріи безъ демократіи.

Будучи максималистической и экстремистской, совѣтская власть не отказывалась, однако, никогда отъ маневровъ — во внѣшней политикѣ такъ же, какъ и въ политикѣ внутренней.

«Диалектически» приспособлялась она къ обстоятельствамъ и примѣнялась къ мѣстности и къ обстановкѣ. И въ томъ положеніи, въ которомъ она очутилась на исходѣ своего 17-лѣтняго господства, Москва оказалась вынуждена потянуться къ Женевѣ, какъ и раньше ей приходилось тянуться то къ Берлину и Риму, то къ Ангорѣ и Лондону.

Оставаясь вѣрной своей террористической системѣ управленія, совѣтская власть не могла, конечно, найти у себя дома, въ Россіи, достаточно надежной опоры противъ скопившейся на границахъ угрозы. И въ поискахъ признанія извнѣ она вынуждена была продекларировать о немедленномъ и всеобщемъ разоруженіи народовъ; искать терминологическое опредѣленіе «агрессора»; съ лихорадочной поспѣшностью заключать всевозможные пакты, двусторонніе и многосторонніе, о ненападении и помощи; придумать восточное Локарно. Вхожденіе въ Лигу Націй — въ серіи тѣхъ же мѣръ, въ логикѣ того же положенія.

Въ статьяхъ 10 и 16 статута Лиги совѣтская власть ищетъ спасенія отъ послѣдствій того международнаго положенія, въ которое она поставила себя и Россію своей политикой. Не желая измѣнять внутренней политики, она вынуждена была, хотя бы для видимости, измѣнить свою внѣшнюю политику и искать путей въ Женеву. Только въ очень условномъ и чисто формальномъ смыслѣ можно говорить о капитуляціи Москвы передъ Версалемъ. На самомъ же дѣлѣ вовсе не бѣлый флагъ поднять Москвой. Москва налаживаетъ антену, чтобы имѣть возможность подать сигналъ о бѣдствіи. Прошеніе Литвинова о допущеніи въ Лигу Націй уже само по себѣ есть S. O. S.

Нетрудно понять европейскіхъ пасифистовъ — и не-пасифистовъ! — когда они настаиваютъ на включеніи большевиковъ въ Лигу, чтобы имѣть ихъ не противъ себя и внѣ Лиги, можетъ быть, снова въ объятіяхъ всей той же Германіи. Эти пасифисты — и не-пасифисты — имѣютъ всѣ основанія находить, что Москва нынѣшняя уже не та, что раньше, что она уже полиняла, образумилась и отошла отъ былого своего состоянія «опьяненія» (*ivresse*), въ которомъ она все и вся отвергала и отрицала, и право, и культуру, и Версаль и Женеву. Большевики уже отвернулись отъ Ревентлова и рейхсвера и повернулись лицомъ къ Эррио и Барту; они не разбиваютъ уже «версальскихъ цѣпей», а настойчиво противятся пересмотру «грабительскаго» договора, защищаютъ версальскій *statu quo*.

Эта фактическая справка вѣрна. Но она не покрываетъ существа дѣла: интересами мира прикрываетъ эгоистическіе ин-

тересы отдѣльныхъ державъ; учитываетъ волю и настроенія многихъ народовъ, но только не народовъ Россіи; внѣшнему и минутному успѣху опрометчиво приноситъ въ жертву подлинную охрану мира и права.

Патріоты Россіи и граждане Европы, мы привѣтствовали бы всякій лишній шансъ къ сохраненію международнаго мира и огражденія территоріи Россіи. Но обезпечиваетъ ли границы русскаго государства фактъ вхожденія СССР въ Лигу Націй? Увеличиваетъ ли онъ шансы мира? Утверждается ли такимъ путемъ авторитетъ самой Лиги?

Мы убѣждены, что отъ вхожденія большевиковъ въ Лигу Націй — а вошла въ Лигу не Россія, что бы ни говорили «крестные отцы» Литвинова, а лишь единая и единственная властвующая надъ Россіей ВКП, — ничего, на нашъ взглядъ, не выиграютъ ни миръ, ни Россія, ни Лига. Больше того, мы считаемъ возможнымъ утверждать, что отъ соучастія Совѣтовъ въ дѣятельности Лиги потеряютъ и миръ, и Россія, и Лига.



Они потеряютъ прежде всего потому, что, включая большевиковъ въ свою среду, Лига косвенно санкціонируетъ и ту систему «свободнаго управленія» въ СССР, которую Лига сочла возможнымъ игнорировать, но въ которой провокація и шантажъ одинаково излюблены и для цѣлей внутренней политики, и для цѣлей внѣшнихъ.

Перефразируя сказанное выше, мы должны указать, что не единымъ только числомъ охотниковъ до мира обезпечивается миръ на самомъ дѣлѣ. Въ гораздо большей мѣрѣ его шансы и возможности опредѣляются путями и средствами, которыми готовы его защищать спаянное единствомъ демократическаго и пацифистскаго сознанія. Отъ вхожденія въ Лигу Націй большевиковъ прямымъ образомъ увеличивается для членовъ Лиги опасность быть втянутыми въ войну, ибо обязательства легли вѣдь не только на большевиковъ, привыкшихъ относиться къ нимъ безъ особыхъ предразсудковъ; они легли и на членовъ Лиги. Послѣднимъ дано было остро почувствовать лежащую на нихъ ответственность во время наступленія Японіи на Китай и выхода ея изъ Лиги. Кто рискнетъ отрицать, что вхожденіе большевиковъ, съ ихъ «обезьяньими увертками», по выраженію Грзя, не увеличиваетъ угрозы повторенія пройденнаго, — можетъ быть, чуть-чуть только въ иномъ вариантѣ и съ инымъ концомъ? Самъ Барту, въ поединкѣ съ Мотта, не отрицалъ ни «риска», ни «неудобствъ», которые представляетъ

«опытъ», въ итогѣ всѣхъ плюсовъ и минусовъ съ его точки зрѣнія, полезный.

Барту могъ рекомендовать свой прыжокъ въ неизвѣстное, въ частности, и потому, что онъ искренне убѣжденъ, что Литвиновъ генуэзскій и Литвиновъ женеvскій — два разныхъ типа, что «со времянь Ленина произошла необыкновенная перемена» и что «якобинцы, ставъ министрами, не всегда остаются министрами-якобинцами». Но мы, знающіе своихъ большевиковъ лучше, чѣмъ ихъ могутъ знать иностранцы, должны объективно признать, что въ діалогѣ съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ совѣтскій коминдѣлъ въ одномъ пунктѣ все-таки былъ правъ: что по сравненію съ прошлымъ — измѣнилась политика вѣдь не только Совѣтовъ, но и Европы и Лиги Націй; что же касается будущаго — можно быть вполне спокойнымъ: «входя въ Лигу Націй, СССР заявляетъ, что они сохранить свою социальную, политическую и экономическую систему и не откажется ни отъ одной изъ ея особенностей» Дружественное сотрудничество «совѣтскихъ рабочихъ» Литвиновъ обѣщалъ лишь на томъ поприщѣ, на которомъ они уже и раньше, оказывается, сотрудничали съ другими государствами, и до вступленія Совѣтовъ въ Лигу: — «въ области искусства и науки»...

Что можетъ быть яснѣе? И пусть не утѣшаютъ себя наивные европейцы тѣмъ, что прежняя политика внутри страны можетъ отлично примириться съ измѣненіемъ политики вовнѣ. Со времянь Клаузевица и Ленина, видѣвшаго въ прусскомъ генералѣ предшественника Гегеля и своего учителя и сумѣвшаго привить своимъ выученикамъ преклоненіе передъ геніемъ Клаузевица, большевики твердо знаютъ, что война — и миръ — лишь продолженіе внутренней политики во внѣ, за предѣлами государства.

Можно ли въ такихъ условіяхъ думать, осмотрительно ли рассчитывать, что власть, сама себя опредѣляющая, какъ «организованная гражданская война», и эту войну съ неослабной методичностью ведущая въ теченіе 17 лѣтъ, что эта власть станетъ во внѣ вести другую политику? Можно ли надѣяться, что Совѣты, одной изъ аксіомъ своей дипломатіи и стратегіи потагающіе правило Клаузевица: «великую европейски-цивилизованную страну нельзя завоевать безъ помощи внутреннихъ волненій», — очутившись въ Лигѣ Націй, будутъ способствовать тому разоруженію прежде всего умовъ, къ которому справедливо призывалъ Барту на обѣдѣ печати? Увѣровавшимъ молниеносно въ пассивизмъ большевиковъ надо знать, что глумле-

нія Ленина надъ «поповски-сентиментальнымъ» воздыханіемъ пасифистовъ о мирѣ во что бы то ни стало принадлежать къ наиболѣе безжалостнымъ глумленіямъ, на которыя Ленинъ былъ такой мастеръ. Онъ былъ противъ имперіалистической бойни, но онъ былъ и противъ мира во что бы то ни стало, ибо онъ былъ за революціонную бойню и рекомендовалъ лозунгъ: «Поднимай знамя гражданской войны!..» *).

Совѣты могутъ перекинуться изъ одного лагеря въ другой: отъ Рапалло въ Версаль и, можетъ быть, обратно. Она могутъ мѣнять форму своего вооруженія и амуниціи, и вмѣсто того, чтобы субсидировать филиалы Коминтерна, какъ орудіе разложенія возможнаго противника, въ чужихъ государствахъ, могутъ предпочесть самими кредитоваться въ этихъ странахъ на предметъ перевооруженія не только красной арміи для внѣшнихъ нуждъ, но и «частей особаго назначенія» для нуждъ внутреннихъ. Кто будетъ ихъ контролировать? Большевики могутъ снова прикинуться, въ который ужъ разъ, что СССР это одно, а Коминтернъ это совѣтъ, совѣтъ другое, ничего общаго съ правящей Россіей ВКП не имѣющее. Но повѣрить этому только тотъ, кто захочетъ повѣрить, кого толкаютъ къ тому особые мотивы и интересы.

Съ надеждами на замиреніе Россіи или на «гуманизацию» большевиковъ послѣ вхожденія ихъ въ Лигу придется скоро разстаться и самымъ несправимымъ оптимистамъ — отечественнымъ и иностраннымъ. А съ незамиренной Россіей, по отношенію къ которой, считая ВКП законнымъ русскимъ правительствомъ, Лига приняла на себя рядъ серьезныхъ обязательствъ, можетъ ли рассчитывать на успѣхъ ея миротворческая дѣятельность?

Кто поручится, что вхожденіе въ Лигу Совѣтовъ не усилить тягу Англии назадъ, къ себѣ, на острова, подалеже отъ огнедышащаго континента съ все увеличивающимся числомъ очаговъ?

Но, быть можетъ, рискъ войны для членовъ Лиги Наций компенсируется увеличеніемъ шансовъ для Россіи сберечь свои границы? — Судьба Китая, первоначальнаго участника Лиги, и японская бомбардировка Шанхая съ послѣдующей аннексіей

*) Также и Муссолини: «Фашизмъ, — пишетъ онъ въ Итальянской Энциклопедіи, — отвергаетъ пасифизмъ, скрывающій въ себѣ бѣгство отъ борьбы и трусливую неспособность къ жертвѣ. Одна лишь война доводитъ до максимума напряженіе всѣхъ человѣческихъ энергій».

Манджурин при полной пассивности Лиги, ярче всякихъ словъ отвѣчаетъ и на этотъ вопросъ. — Французская дипломатія, — пишетъ предсѣдатель коммисіи по иностраннымъ дѣламъ французскаго сената Беранжъ, — приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы застраховать Францію отъ участія въ результатъ франко-совѣтскаго сближенія въ войнѣ, которая можетъ разразиться на Дальнемъ Востокѣ: Франція имѣетъ крупныя интересы въ Индокитаѣ и хочетъ сохранить добрыя отношенія съ Японіей.

Вошедшій въ Лигу можетъ еще легче изъ нея выйти. И простижъ ушедшаго отъ того нисколько не пострадаетъ, — наоборотъ, онъ только возрастетъ, если судить по опыту Японіи и Германіи. Никогда за Германіей Шейдемана и Мюллера, стремившейся въ Женеву, не бѣгали такъ, какъ бѣгали — бѣгали въ дверь. И Совѣты, условно дорожа Лигой, могутъ выйти изъ нея быстрѣе, чѣмъ въ нее попали. И это послужитъ консолидациі мира и Лиги Націй?..

Скажутъ — уже говорятъ, нетерпѣливо прерываюгъ, — какое намъ дѣло до вашей Лиги? Что мы за радѣтели вѣчные о судьбахъ Европы и мирѣ всего міра! Была бы счастлива, и прежде всего освобождена отъ тираніи Россія, а до остальнаго намъ дѣла нѣтъ или мало дѣла, — оно приложится!..

Говорящіе такъ отрицаютъ не только самоочевидную связанность Россіи съ судьбами міра и обшимъ положеніемъ въ Европѣ, они отрицаютъ и самоцѣнность мира и тѣмъ самымъ Лиги Націй, пытающейся, плохо или хорошо, миръ организовать и обезпечить.

Развѣ не ясно теперь и доморощеннымъ русскимъ патриотамъ, ликовавшимъ по поводу прихода къ власти истребителя марксизма и большевиковъ Гитлера, — онъ ужъ ичъ пропущеть! — что если большевикамъ открылись двери въ Лигу, обязаны они этимъ прежде всего Гитлеру: не восторжествуй Гитлеръ въ Берлинѣ, Литвиновъ не былъ бы впушенъ въ Женеву. Можно, конечно, и сейчасъ утѣшаться, — тѣмъ хуже для Лиги, пусть наши большевички покажутъ, гдѣ раки зимуютъ, и этому «величайшему достиженію демократіи»!.. Можно, но не надо при этомъ забывать, что такой условный подходъ къ вопросамъ мира и войны по существу есть подходъ типично большевистскій!

Ленинъ и его послѣдователи раньше другихъ провозгласили и осуществили въ широкомъ масштабѣ принципъ вседозволенности политическихъ средствъ во имя благихъ цѣлей. Это ихъ принципъ — демократія и миръ, и Лига Націй хороша,

поскольку дѣлаютъ «наше» дѣло и «мы» ихъ можемъ использовать; и они вредны съ того момента, когда мы не можемъ ихъ «использовать», и тогда — да здравствуетъ не миръ, а война, всякая война, малая или большая, внутренняя или внѣшняя! И въ самомъ дѣлѣ, велика ли разница между большевиками-пораженцами въ принципѣ, но при случаѣ готовыми стать и патриотами своего «соціалистическаго» отечества, и анти-большевиками-патриотами въ принципѣ, но въ отдѣльныхъ случаяхъ готовыми вождѣть «войнишки», хотя бы малой и «окраинной»?.. При внѣшнемъ, якобы принципиальномъ расхождении, не приходятъ ли, въ концѣ концовъ, и тѣ, и другіе — ура-большевики и банзай-патриоты — къ одинаковой политической установкѣ?

Не та же ли, по существу нигилистическая, ее предпочитають называть «реалистической», установка руководила и тѣми, кто рѣшили во что бы то ни стало, несмотря на всѣ морально-политическія и формальныя трудности, несмотря на угрозу съ приобретѣніемъ новаго члена потерять стараго и испытаннаго, все-таки привести въ Лигу СССР?

Органы печати, любящіе говорить и взывать къ «требованиямъ права», «международной морали» и «христіанской культуры», отстаивали морально-политическую допустимость включенія большевиковъ ссылками на прецеденты и практику, немногимъ отличавшіеся отъ большевистскихъ. Чаше всего приводился при этомъ примѣръ французскаго короля Франциска I и кардинала Ришелье, не брезговавшихъ помощью и формальнымъ соглашеніемъ даже съ еретиками или врагами Христовыми, когда интересы Франціи или католицизма были въ игрѣ. Разъ христіаннѣйшіе католики и патриоты могли сыграть на могометанскую и протестанскую «карту», почему бы и патриотамъ-демократамъ и пасифистамъ не послѣдовать ихъ примѣру и не использовать совѣтской карты, хотя бы и анти-демократической и анти-пасифистской въ своей основѣ и существѣ?!

Аналогія безупречна, если считать, — какъ, впрочемъ, и считаютъ противники лицемѣрной Лиги Націй, — что цѣли и приемы ея по существу ничѣмъ не отличаются отъ цѣлей и приемовъ Франциска I и Ришелье, и что въ XX-мъ вѣкѣ человечество живетъ лишь календарно, въ дѣйствительности же и по сей день пребываетъ въ атмосферѣ и въ политической морали 17-го и даже первой половины 16-го вѣка. И больше того, — что такъ, какъ есть, такъ оно и должно быть!



Миръ возвѣщенной справедливости и правды не удался. Вышедшій изъ Версаля «союзнической миръ» былъ миромъ Брена и Наполеона, диктовавшихъ свои условія побѣжденнымъ. Но и онъ не удался. И союзникамъ не принесъ онъ плодовъ, на которые они рассчитывали для себя. Еще меньше принесъ онъ миру. Лига Націй не осуществила и не оправдала возложенныхъ на нее надеждъ.

Конечно, это произошло не только вслѣдствіе организационныхъ недочетовъ Лиги. Это произошло и вслѣдствіе того, что съ самаго же начала «союзнической» миръ обернулся миромъ бывшихъ союзниковъ, тащившихъ каждый въ свою сторону, «на себя» сшитое изъ разныхъ лоскутовъ версальское одеяло. Это произошло и потому, что цѣлый рядъ странъ, вступившихъ въ связанную съ демократическимъ правосознаніемъ Лигу, въ своей политикѣ отошелъ отъ демократіи, освоивъ методы диктатуры.

Судьба Лиги Націй съ самаго начала опредѣлялась тѣмъ, чѣмъ были составившія ее націи, вѣрнѣе, — правительства. Она не могла дать больше того, что давали эти правительства. И если въ началѣ своего существованія Лига отворачивалась отъ веймарской Германіи, а сейчасъ, заискиваетъ переть Германіей національ-соціалистической и Японіей, нарушившими не только божескіе и человѣческіе законы, но и передъ самой Лигой принятыя формально обязательства, — можно утверждать, что первое обусловило второе. Потому и понадобилось руководителямъ Лиги въ спѣшномъ порядкѣ включить въ Лигу правителей 160-милліонной Россіи, что ничъ не удалось предотвратить, — а своей внѣшней политикой по отношенію къ Германіи Эберта и Мюллера они даже способствовали, — появленію въ 70-милліонной Германіи нынѣшнихъ ея властителей.

Въ допущеніи большевиковъ въ Лигу Націй одинъ изъ отцовъ и творцовъ несчастной идеи «единого фронта» усмотрѣлъ «двойной триумфъ» своихъ единомышленниковъ, соціалистовъ: надъ реакціонерами и надъ французскими коммунистами. (О триумфѣ надъ московскими большевиками Леонъ Блюмъ и не мечтаетъ! По соображеніямъ внѣшней и внутренней политики Франціи, онъ, вѣроятно, и не хочетъ пораженія большевиковъ въ Москвѣ). Триумфъ празднуетъ надъ реакціонерами и большевиками, и передовикъ «Соціалист. Вѣстника», поспѣшавшій присоединиться къ заявленію Блюма.

Оба эти «триумфа» представляются намъ болѣе чѣмъ сомни-

тельными, во всякомъ случаѣ — очень дешевыми. Реакціонеры, фашисты и империалисты, конечно, не хуже Блюма знаютъ, что имъ здорово и что во вредъ. Достаточно просмотрѣть фашистскую прессу, итальянскую, австрийскую, турецкую, польскую и иную, чтобы убѣдиться, что ихъ удовлетвореніе не уступаетъ самодовольству Блюма и Дана. Къ Сталину давно уже тянутся руки не только со стороны участниковъ нынѣшняго «единого фронта», — но и съ противоположнаго фронта капиталистическихъ и империалистическихъ акулъ: пушечныхъ королей, автомобильныхъ магнатовъ, желѣзнодорожныхъ и нефтяныхъ тузовъ и т. п. И въ Женевѣ представители Муссолини и Кемаль-паши играли активную роль не только въ самой процедурѣ допущенія въ Лигу Литвинова, но и въ обезпеченіи ему триумфа.

Полцензурному совѣтскому читателю большевики могли, конечно, выдать вымученное, въ концѣ концовъ, «приглашеніе» Литвинова и предоставленіе Совѣтамъ, «какъ великой державѣ», постоянного мѣста въ Совѣтѣ Лиги, за международный триумфъ и апофеозъ совѣтской политики. Нѣтъ сомнѣнія, что отъ включенія своего въ Лигу, большевики морально-политически заработали; заработаютъ, вѣроятно, и матеріально. Но чтобы отъ ихъ включенія выиграло бы въ какой бы то ни было мѣрѣ дѣло мира, демократіи, социализма и свободы, — мы не только сомнѣваемся, мы убѣждены въ обратномъ. И для Лиги Націй въ фактѣ новаго усиленія въ ея средѣ представителей диктаторскихъ методовъ водворенія мира и порядка, мы видимъ такой ударъ и угрозу, которыхъ она не испытала, можетъ быть, за всѣ 15 лѣтъ своего существованія. Въ этомъ смыслѣ привѣтствовавшій появленіе Литвинова въ залѣ предсѣдатель былъ совершенно правъ: «18 сентября 1934 г. — рѣшительный поворотъ въ исторіи Лиги Націй». Конкурировать съ ней можетъ лишь дата 13 сентября, когда Польша отказалась отъ сотрудничества по международной охранѣ правъ меньшинствъ, которая она обязалась блюсти и въ качествѣ подписавшей договоръ стороны и — сугубо — въ качествѣ члена Совѣта Лиги, гаранта меньшинственныхъ правъ...

Въ допущеніи СССР въ Лигу можно видѣть Немезиду за допущенные Лигой грѣхи и ошибки. Сказалась Немезида и въ томъ, что роль главнаго поборника допущенія совѣтской Москвы въ Женеву выпала на бывшего главнаго докладчика версальскаго договора въ палатѣ депутатовъ.

Позиція главнаго докладчика версальскаго договора получила полное олобреніе Палаты. Но жизнь, — можно ли въ

этом сомнѣваться послѣ въ общемъ очень снисходительнаго отношенія, которое проявили творцы Версаля къ приходу къ власти фельдмаршала Вильгельма II, а потомъ и къ Гитлеру. — отвергла ее. Отсюда и психологія, такъ ярко сказавшаяся въ нынѣшнихъ словахъ бывшаго докладчика версальскаго договора: «Отбросить Россію, куда? Туда, противъ Европы?.. Я не хочу сказать большаго»...

Болѣе откровенный и менѣе отвѣтственный политическій дѣятель ту же психологію опредѣлилъ совсѣмъ драстически: «Передъ лицомъ нависшей на Рейнѣ опасности я готовъ заключить союзъ съ чумой или съ полкомъ гориллъ. Предлагаютъ союзъ съ СССР? Bravo!..»

«Полкъ гориллъ» обязанъ своимъ допущеніемъ въ Лигу Націй паникѣ однихъ, безпредметному энтузіазму и мечтательному идеализму другихъ, необходимости расплаты по выполненнымъ векселямъ третьихъ, политически-свокорыстнымъ расчетамъ четвертыхъ и т. д. Разные мотивы руководили тѣми, кто голосовали за допущеніе СССР въ Лигу. Среди этихъ мотивовъ не было только одного, казалось бы, главнаго и первичнаго для членовъ Лиги Націй — уваженія къ достоинству и свободѣ Россіи, признанія элементарныхъ правъ русской націи

Мы твердо знаемъ, что правительства — и режимъ -- проходятъ, а націи остаются. Историческая ситуація измѣнчива и сѣдняшнее или завтрашнее сегодня можетъ оказаться трагическимъ или реальнымъ завтра. Протестъ противъ займовъ, которые давала Европа царскому правительству и которые оспаривали русскіе революціонеры и нѣкоторые либералы, казался въ свое время ничемнымъ донъ-кихотствомъ. Позднѣе его очень ловко использовала въ своихъ интересахъ совѣтская власть. И въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, когда Россія захочетъ освободиться отъ выдаваемыхъ отъ нея имени обязательствъ, фактъ отсутствія на этихъ обязательствахъ подписи русскаго народа — его опроса и согласія, — сдѣлаетъ позицію истинно морально-политически незащитимой.

Доступъ въ Лигу Націй СССР сталъ возможенъ только тогда, когда въ Лигѣ стали видную роль играть Муссолини и Пилсудскій, Кемаль-паша и правительство негуса абиссинскаго. Сталинъ и Литвиновъ — ихъ «духа». Но ихъ Лига не та Лига, которая предносилась первоначально сознанію Вильсона и Леона Буржуа, генерала Смэтса и многихъ другихъ. О разстояніи, отдѣляющемъ обѣ эти Лиги, можно судить по высказываніямъ такого пламеннаго энтузіаста Лиги Націй, какимъ былъ и остался Робертъ Сесиль. Десять лѣтъ тому

наздъ онъ полагалъ, что Лига Націй должна защитить отъ большевизма «весь мѣръ»; сейчасъ онъ довольствуется тѣмъ, что принятіе большевиковъ въ Лигу не означаетъ еще одобренія и внутренней политики совѣтской власти... Спасибо и на томъ!

Глумленіе надъ «незадачливимъ женевскимъ учрежденіемъ» давно уже считается правиломъ хорошаго стиля, требованіемъ оскорбленнаго патріотическаго чувства, созвучнымъ «катастрофальному» періоду нашей эпохи. Мы не раздѣляемъ этого широко распространеннаго — отъ Мережковскаго до Алданова — взгляда, что Лигѣ Націй «ничего не удалось» и что за ней «ничего нѣтъ», кромѣ дешеваго пустословія, пошлаго лицемерія, скуки, карьеризма и корысти. Въ блестящемъ, какъ всегда, но съ необычайной для автора полемической страстности написанномъ этюдѣ о Лигѣ Націй (см. «Земли, люди». 1932), Алдановъ-художникъ самъ опровергъ художника-публициста. Заключительная сцена схватки китайца Іена съ японцемъ Сато оталично иллюстрируетъ, что по силамъ Лигѣ Націй. Съ бичеваніемъ Сато можно поставить рядомъ публичное бичеваніе въ той же Женевѣ Геббельса и Нейрата. То же можетъ произойти и съ Литвиновымъ. Лучше было бы, конечно, бичевать ихъ не только словесно, и не въ закрытомъ помѣщеніи въ Женевѣ, а на Красной площади въ Москвѣ или въ Берлинѣ. Но это уже вѣтъ компетенціи Лиги, — въ компетенціи другихъ.

Если ужъ такіе «люди дѣла», какъ большевики, потянулись въ Лигу Націй, — можно быть увѣреннымъ, что она не совсѣмъ пустое мѣсто.

Не будучи максималистами, мы не можемъ отвернуться по-большевистски и отъ женевскаго учрежденія, очутившагося сейчасъ въ очень рискованномъ и опасномъ не только для себя положеніи. Мы хотимъ вѣрять и надѣяться, что результаты «опыта», который рѣшилась продѣлать Лига, не замедлятъ сказаться, угаръ увлеченія пройдетъ, и люди и народы волей или неволей вновь обратятся на покинутый ими путь разума и права.

Ибо, если не въ это вѣрять и не на это надѣяться, тогда на что-же?.. На «войнишку»?.. Новая война, конечно, подтвердила бы безнадежно-безысходное заключеніе Алданова о полной «безсвязности и безтолковости авантюрнаго романа», называемаго исторіей. Но убѣдились бы въ этомъ лишь тѣ немногіе, кто, уцѣлѣвъ послѣ войны на уничтоженіе культуры, продолжали бы еще выискивать смыслъ въ этой бессмыслицѣ.

Единый фронтъ и кризисъ демократіи

Въ іюль текущаго года состоялось соглашеніе между французской социалистической и французской коммунистической партіями объ образованіи единого фронта для борьбы съ фашизмомъ и войною и для защиты демократическихъ завоеваній французскаго пролетаріата. Заключенію этого социалистическо-коммунистическаго «пакта о ненападеніи» предшествовали длительные переговоры, во время которыхъ коммунисты продолжали по прежнему обливать грязью социалистовъ. Было это совершенно въ испытанномъ стилѣ коммунистической партіи и французскіе социалисты резонно заявляли, что покуда коммунисты не откажутся отъ этихъ отвратительныхъ пріемовъ, невозможно вѣрить въ искренность ихъ намѣреній въ дѣлѣ образованія единого фронта.

Этотъ мотивъ о неприличномъ поведеніи коммунистовъ игралъ такую выдающуюся роль въ отрицательномъ отношеніи социалистовъ къ предложеніямъ о единомъ фронтѣ, что о принципиальныхъ соображеніяхъ политико-тактическаго свойства было почти совершенно забыто, во всякомъ случаѣ о нихъ вслухъ не говорили. Вся проблематика единого фронта, поскольку она разворачивалась передъ массами, сводилась вкратцѣ къ слѣдующему:

1. Объединеніе силъ рабочаго класса для борьбы съ фашизмомъ и съ реакціей является настоятельной потребностью.

2. Мы, социалисты, готовы для осуществленія этой задачи идти на крайнія уступки.

3. Но коммунисты относятся къ этой задачѣ образованія единого фронта, какъ къ маневру, при помощи котораго они хотять усилить свои ряды и ослабить наши.

4. Доказательствомъ этой ихъ злой воли и нечестныхъ замысловъ служитъ ихъ непрекращающаяся брань по нашему адресу.

5. Поэтому мы, къ сожалѣнію, не можемъ принять предложенія коммунистовъ о единомъ фронтѣ.

И вот случилось событие, неслыханное в истории международного коммунизма: коммунисты обязались не ругаться, не нападать на социалистов, принять и выполнять условия взаимной терпимости и неприкосновенности. Очевидное доказательство злой воли и нечестных замыслов исчезло. Следовательно, исчезли и эта злая воля и эти нечестные замыслы. Следовательно, исчезли препятствия для единого фронта. Следовательно, единый фронт можно, а стало быть и необходимо заключить.

Нельзя, конечно, утверждать, чтобы эта примитивная логическая конструкция исчерпывала всю проблематику единого фронта для вождей. Но можно положительно утверждать, что в таком виде проблематика эта преподносилась массам. Массам нужно было дать наиболее простое и, так сказать, в пость быющее доказательство коммунистического коварства: предлагают нам единый фронт, а ругают нас «предателями», «фашистами» и еще хуже. Массы несомненно хотели единства, в особенности хотели этого массы, симпатизирующие социалистам, потому что если коммунисты систематически дискредитировали в глазах своей аудитории социалистов, то социалисты были по отношению к коммунистам более чем толерантны. Более того: тяга к единству со стороны социалистической аудитории чрезвычайно еще подогривалась завистливо-почтительно-удивленным отношением многих социалистических работников к «строящемуся в СССР социализму». А так как французские коммунисты были ближайшими родственниками этих советских социалистических строителей, то единый фронт с ними не мог не рисоваться социалистической аудитории в очень привлекательных чертах не только выгодного, но и социально-психологически повышенного брака. Единый фронт был для этих масс не только орудием борьбы с французским фашизмом, но и способом породниться через французских сынов с теми отцами, которые там, в СССР, уже победили старый мир, уже строят социализм и уже очень много построили.

Необходимо для понимания психологических корней французского единого фронта иметь в виду еще следующее. Кровавые события 6-го февраля несомненно сдвинули настроение социалистических масс далеко налево. Но что это значит «налево»? Это значит, что массы эти меньше стали верить в способность французской буржуазной демократии создать непреступный барьер против покушений реакции, что массы стали меньше верить в мирные демократические средства борьбы,

что въ этомъ смыслѣ онѣ стали болѣе революціонными. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ событіяхъ, непосредственно расположенныхъ до и послѣ трагической даты 6-го февраля, обнаружилась серьезная болѣзнь французской демократіи, поскольку она выражается въ людяхъ и учрежденіяхъ. Получился сдвигъ нѣтъ, а сдвигъ нѣтъ въ создавшихся во Франціи условіяхъ не могъ не быть сдвигомъ въ сторону коммунистовъ, воплощавшихъ не только въ своемъ сознаниі, но и въ сознаниі широкихъ массъ и даже многихъ социалистическихъ вождей все, что есть «тѣвое», «революціонное», «рѣшительное». Вся традиція социалистической мысли послѣднихъ 17 лѣтъ базировалась на этой не всегда высказываемой, но всегда въ духовномъ багажѣ наличествовавшей предпосылкѣ. И наличие ствовала эта предпосылка въ окруженіи нѣкоторой тоски по этой лѣвизнѣ, нѣкоторой зависти къ этой лѣвизнѣ, которую, по соображеніямъ реальной политики, нельзя, къ сожалѣнію, развернуть во всей ея первоизданной красѣ, но которая все же остается идеаломъ.

И вотъ наступилъ моментъ, когда эта тоска по лѣвизнѣ могла найти свой выходъ. Этотъ выходъ со всей политической и психологической необходимостью толкалъ въ сторону коммунистовъ. Центральныя силы французской демократіи дрогнули: Эррио подаль руку Тардье, Блюмъ подаль руку Кашену. Блюмъ не вѣрить увѣреніямъ Эррио, что онъ сохранитъ всю свою политическую и идеологическую самостоятельность въ союзѣ съ Тардье. Эррио не вѣрить увѣреніямъ Блюма, что онъ сохранитъ всю свою политическую и идеологическую самостоятельность въ союзѣ съ Кашеномъ. Каждый приводитъ доказательства своей правоты изъ союзной практики противника. Мы, сторонніе наблюдатели, имѣемъ всѣ основанія вѣрить имъ обоимъ. Какъ въ національномъ блоктъ были, будутъ и неизбежны элементы капитуляціи передъ французской реакціей, такъ въ единомъ фронтѣ были, будутъ и неизбежны элементы капитуляціи передъ коммунизмомъ. Французскіе реакціонеры и французскіе коммунисты хорошо знали, что дѣлали, когда первые стали изысканными джентльменами въ отношеніи Эррио, а вторые изысканными джентльменами въ отношеніи Блюма.

Единый фронтъ, заключенный во Франціи между социалистами и коммунистами, — это еще одна глава изъ исторіи кризиса французской демократіи. Этому нисколько не противорѣчитъ то обстоятельство, что субъективно Эррио помирился съ Тардье, а Блюмъ съ Кашеномъ единственно для того, чтобы спасти французскую демократію.

Но оставимъ національный блокъ и обратимся къ единому фронту. Укрѣпить ли онъ французскую, а косвенно и мировую, демократію или ослабить ее? Проиграетъ ли отъ него фашизмъ или выиграетъ? Для отвѣта на эти вопросы необходимо имѣть въ виду социальное-политическіе корни самого фашизма.

Это уже стало трюизмомъ, что однимъ изъ могущественныхъ источниковъ его является социальный протестъ среднихъ классовъ, вышедшихъ изъ состоянія общественно-политической пассивности и развившихъ отчаянную энергію въ дѣлѣ политической защиты своихъ, потрясенныхъ кризисомъ, социальное-экономическихъ позицій мелкихъ собственниковъ. Современный социализмъ, во всѣхъ своихъ направленіяхъ, отъ самыхъ правыхъ до самыхъ лѣвыхъ, согласился претерпѣть большія программно-идеологическія брешы въ своихъ бывшихъ классово-пролетарскихъ позиціяхъ лишь бы какъ-нибудь отклонить этотъ потокъ мелко-буржуазной активности въ сторону демократіи и социализма. Стало для всѣхъ теченій въ современномъ социализмѣ совершенно очевиднымъ, что безъ привлеченія этихъ среднихъ классовъ на свою сторону дѣло демократіи погибнетъ, а социализмъ превратится въ пустую утопію. Въ среднихъ классахъ было наговорено столько снисходительно-пригласительнаго, въ частности и въ средѣ французскаго социализма, что, казалось, этой жизненной и, можно сказать, роковой задачѣ историческаго момента будетъ отведено центральное мѣсто въ организационныхъ и тактическихъ диспозиціяхъ партій.

И вотъ, на ряду съ этими еще продолжающимися воздыханіями о среднихъ классахъ, заключается единый фронтъ съ коммунистами. Несомнѣнно и французскіе коммунисты занимаютъ усиленную допитвой среднихъ классовъ и надо признать, что во Франціи они въ этомъ отношеніи гораздо больше успѣваютъ, чѣмъ въ другихъ странахъ. Въ этомъ, вообще говоря, столь же мало удивительнаго, какъ въ томъ, что иногда удается завлечь настоящихъ пролетаріевъ въ выражено капиталистическія партіи. Однако, поскольку прообразомъ для коммунистовъ всѣхъ странъ остается русскій большевизмъ, почти цѣлкомъ стертій съ лица земли городскіе средніе классы и превратившій въ колхозныхъ крѣпостныхъ русское крестьянство, постольку союзъ съ коммунистами не можетъ не предстать въ сознаніи активныхъ слоевъ среднихъ классовъ, какъ союзъ съ партіей, отрицающей самую основу ихъ социального бытія. Конечно, это клевета, когда реакція утверждаетъ, что современный социализмъ ставитъ себѣ задачей уничтоженіе

всѣхъ видовъ экономической самостоятельности среднихъ классовъ и экспроприацию ихъ собственности. Путемъ вольнаго толкованія старыхъ программно-теоретическихъ текстовъ, дѣйствительно обременительныхъ уже для настоящаго времени, французскій социализмъ энергично отбивается отъ этой клеветы. Но если одновременно заключается союзъ съ партией, политикой которой въ отношеніи среднихъ классовъ въ точности соотвѣтствуетъ этой клеветѣ на социализмъ, то тѣмъ самымъ значительно облегчается работа реакціи, утверждающей, что въ отношеніи этихъ классовъ социалисты тѣмъ же мурочъ мазаны, что и коммунисты.

Такъ единый фронтъ, созданный для борьбы съ фашизмомъ, облегчаетъ ему работу въ тѣхъ группахъ населенія, которыя по ряду социально-экономическихъ причинъ особенно подвержены фашистской заразѣ, и существенно затрудняетъ привлеченіе этихъ группъ населенія на сторону угрожаемой демократіи.

Но тутъ обнаруживается политическій парадоксъ единаго фронта. Для того, чтобы привлечь на сторону демократіи усмирившіяся въ ней массы, заключается союзъ съ партией, въ идеологическое и моральное существо которой заключается въ рѣшительномъ и послѣдовательно отрицаніи демократіи. Необходимо все-таки имѣть въ виду, что французскій фашизмъ сталъ расти въ итогъ раскола и разброда демократическихъ силъ, показавшихъ свою неспособность совместно править страной и дать ей минимумъ назрѣвшихъ социальныхъ реформъ. Долголѣтній очень худой миръ между радикалами и социалистами, приведшій къ эрѣ нескончаемыхъ министерскихъ кризисовъ и почти къ полному параличу парламентскаго режима, компрометировалъ въ глазахъ широкихъ массъ самую идею демократіи. Изъ этой идеи никакъ нельзя удалить моментъ компромисса между социально разнородными элементами народнаго большинства, стремящимися обезпечить развитіе матеріальныхъ и духовныхъ силъ націи безъ прицѣпленія методовъ революціи или гражданской войны. Въ отличіе отъ многихъ другихъ странъ современной демократіи французскій буржуазный радикализмъ былъ всегда и нынѣ еще пребываетъ живучей общественно-политической традиціей. Одновременно выросъ въ большую политическую силу и французскій социализмъ. Ни одна изъ этихъ составныхъ частей французской демократіи никакъ не можетъ рассчитывать на исчезновеніе другой. Процессъ вымыванія среднихъ партий, отдающихъ свои кадры направо и налево, процессъ очень характерный для послѣвоеннаго поли-

тического развитія, во Франціи, благодаря особенностямъ ея исторіи и соціальной группировки населенія, является пока что неоправдывающейся схемой. Отсюда во Франціи повелительно диктовался прочный союзъ между двумя главными партіями французской демократіи. Но на этотъ союзъ обѣ партіи оказались неспособными. Тогда въ видѣ все крѣпчавшихъ фашистскихъ настроеній сказалось и раздраженіе противъ демократическихъ партій, и тяга къ новымъ формамъ правленія, насыщенная авторитарно-диктаторскими соблазнами.

И вотъ именно въ такой моментъ сумерекъ демократическихъ идеаловъ одна изъ значительныхъ силъ французской демократіи заключаетъ союзъ съ коммунистической партіей, т. е. съ партіей, диктаторско-насильнической духъ которой много способствовалъ расцвѣту фашизма во всемъ мірѣ, съ партіей, которая на Востокѣ дала всему міровому фашизму высокіе образцы того, какъ можно править методами разнузданной демагогии и ничѣмъ неограниченнаго насилія, возведеннаго въ политическій догматъ. Такимъ образомъ тѣ части французскаго населенія, которые еще колебались между диктатурой и демократіей, могли забыть, что одна изъ основныхъ силъ французской демократіи не видитъ дальнѣйшихъ — ни политическихъ, ни моральныхъ — препятствій для того, чтобы образовать единый фронтъ съ партіей, которая провозгласила принципы диктатуры и насилія еще задолго до того, какъ на европейскомъ горизонтѣ показался призракъ фашизма. Уже поколебленному престижу демократіи былъ такимъ образомъ нанесенъ новый ударъ.

Къ этому присоединилась еще одна отталкивающая подробность. Единый фронтъ былъ заключенъ формально «для защиты демократіи». Коммунисты стали заявлять о своей готовности защищать французскую демократію. Это, конечно, было очень сенсационно. Но совсѣмъ не сенсационнымъ было еще разъ обнаружившееся при этомъ коммунистическое лицемеріе. И грязныя брызги этого лицемерія пали не только на единый фронтъ, но и на самое демократію. Въ глазахъ широкихъ массъ демократія, рскрутирующая своихъ защитниковъ среди запойныхъ диктатуришниковъ, средн людей, являющихся платной агентурой правительства, которое огнемъ и мечемъ, кровью и грязью уничтожила самоналѣйшіе слѣды свободы въ своей странѣ, — такая демократія не можетъ не быть морально дискредитирована. Не подлежитъ вѣдь никакому сомнѣнію, что французскимъ коммунистамъ, какъ раньше германскимъ фашистамъ, демократія понадобилась просто какъ сумма политическихъ

удобствъ для ихъ диктаторскихъ цѣлей. Можно себѣ поэтому представить, насколько пафосу демократіи способствуетъ такой союзъ, въ которомъ одинъ изъ союзниковъ облизывается на демократію, какъ на наиболѣе легкой и мало рискованный путь къ ея удушенію.

Такъ единый фронтъ, заключенный «для защиты демократіи», съ самаго же начала, по своей органической сущности, явился моральной оплеухой для самой демократіи. Ложь и лицемеріе никогда еще не способствовали идеѣ или движенію, рѣшившимся избрать ихъ своими помощниками, если только сама идея или движеніе не являются воплощеніемъ лжи и лицемерія. Въ послѣднемъ случаѣ цѣль и средства идутъ въ обнимку. Но демократія, идущая въ обнимку съ диктатурой, зрѣлише тяжелое. Диктатурѣ это повредитъ не можетъ, потому что ей «съ лица не воду пить», и она безпринципна и безсовѣстна. Демократіи же такая обнимка — моральный зарѣзь.

Нельзя сказать, чтобы социалисты пошли на единый фронтъ съ легкимъ сердцемъ. Въ моментъ, когда онъ сталъ неизбежнымъ, многие дрогнули. Оказалось, что мотивъ о неприличномъ поведеніи коммунистовъ, изрыгающихъ хулу на социалистовъ, недостаточенъ для того, чтобы отъ этого единого фронта отдѣлаться. Другіе мотивы, принципиальнаго характера, почти не выдвигались. Тутъ уже элементарныя обязательства переть массами требовали того, чтобы единый фронтъ принять, разъ коммунисты своей золью глаголь приостановили. Оставалось одно — одно тяжелое чувство: не является ли единый фронтъ съ коммунистами актомъ политическаго и моральнаго предательства по отношенію къ русскимъ социалистамъ, которыхъ преслѣдуетъ въ СССР какъ дикихъ зѣрей и при томъ подъ откровенное покрываніе тѣхъ поддужныхъ московской диктатуры, съ кѣмъ единый фронтъ заключается. По существу вся трагическая проблематика Россіи свелась къ вопросу о томъ, какъ же быть съ этими травимыми и гонимыми русскими социалистами?

Было совершенно ясно съ самаго начала, что осложненіе проблемы единого фронта какими бы то ни было вопросами, имѣющими отношеніе къ совѣтской диктатурѣ, связано съ неизбежнымъ проваломъ всего единого фронта. Никакая секція Коминтерна не можетъ предпринять ни единого шага, если онъ хоть въ самой отдаленной степени связанъ съ умаленіемъ престижа или даже съ невинной критикой повелителя Коминтерна — совѣтскаго правительства. Поэтому было бы совершенно безцѣльнымъ занятіемъ вести съ коммунистами разговоры о

единомъ фронтѣ и вклеивать въ эти разговоры какія бы то ни было «тяжелыя» русскія темы. Единый фронтъ по самому существу одного изъ его контрагентовъ предполагаетъ добровольное согласіе другого контрагента на отказъ отъ публичнаго исповѣданія своихъ взглядовъ по русскому вопросу, за исключеніемъ, впрочемъ, взглядовъ умиленныхъ и восторженныхъ, весьма даже желательныхъ для поддержанія крѣпости единого фронта.

Такимъ-то образомъ и оказалось, что центральный вопросъ всего современнаго социализма былъ въ цѣляхъ единого фронта и въ угоду коммунистамъ удаленъ съ поля публичнаго зрѣнія французской социалистической партіи. И въ этой своей частичной идеологической кастраціи она получила неожиданную для многихъ непосвященныхъ помощь со стороны русскихъ меньшевиковъ. Началось это съ того, что на засѣданіи національнаго совѣта французской социалистической партіи, рѣшавшемъ вопросъ о единомъ фронтѣ, представитель лѣваго крыла партіи, Жиромскій, публично скорбѣлъ на ту тему, что единый фронтъ приходится заключать въ такой моментъ, когда въ Россіи товарищи социалисты терпятъ жестокаго гоненія со стороны правящей коммунистической партіи. Онъ призналъ, что это наиболѣе болѣзненный пунктъ всей ситуациіи. Но всѣ эти скорбныя признанія не обязывали ни оратора, ни его партію ни къ какимъ политически-организационнымъ выводамъ. Очень печально, очень «болѣзненно», но ничего не подѣлаешь. Тѣмъ болѣе, что «русскіе товарищи великодушно не требуютъ отъ насъ, чтобы мы въ нашихъ переговорахъ съ коммунистами ставили имъ подобныя требованія». Въ этотъ моментъ находившіеся въ залѣ засѣданія представители русскихъ меньшевиковъ Ф. Данъ и Р. Абрамовичъ утвердительно качнули головами, за что и удостоились «единодушной оваціи» со стороны большинства національнаго совѣта (отчетъ объ этомъ засѣданіи въ «Пополнѣръ» въ № отъ 16-го іюля).

Смыслъ и источникъ этой оваціи не вызывали никакихъ сомнѣній: въ ней выдѣлилась благодарная радость людей, съ души которыхъ сняли тяжелое нравственное бремя. Въ самомъ дѣлѣ, разъ сами русскіе социалисты не требуютъ отъ насъ, чтобы мы требовали отъ коммунистовъ какихъ-нибудь актовъ десолдаризаціи съ престѣлованіями русскихъ социалистовъ, то мы сами тѣмъ болѣе можемъ отказаться отъ того акта солидаризаціи съ гонимыми и истязуемыми братьями нашими, который можетъ сорвать весь съ такимъ трудомъ налаживающійся единый фронтъ. И, конечно, русскіе социалисты въ лицѣ Дана и

Абрамовича, проявили большое благородство, что во имя единого фронта позволили намъ умолчать о великихъ страданіяхъ русскихъ социалистовъ.

Я не берусь утверждать, что безъ этого великодушнаго разрѣшенія Дана и Абрамовича французская социалистическая партія поступила бы иначе, чѣмъ она поступила. Въ концѣ концовъ единый фронтъ такая важная вещь, что на нее можно пойти и съ душой, не освобожденной отъ нравственныхъ бременъ; такъ что въ концѣ концовъ великодушіе двухъ видныхъ меньшевиковъ было всего только пріятной придачей къ уже готовому рѣшенію, а не необходимой предпосылкой самой его возможности. Положеніе русскихъ социалистовъ въ системѣ вліяній и давленій внутри социалистическаго интернационала, къ сожалѣнію, не таково, чтобы твердо заявленная воля русскаго представительства могла дать такіе же результаты, какъ скажемъ твердо заявленная воля представителей Дании и Швеции, которые на послѣднемъ засѣданіи исполкома интернационала заставили его совершенно отказаться отъ какого бы то ни было постановленія относительно единого фронта. Имѣя это въ виду, нельзя не признать, что согласіе Дана и Абрамовича на изытіе изъ переговоровъ съ французскими коммунистами русскаго вопроса никакого практическаго значенія не имѣло, никакой практической надобности въ немъ не было и явилось актомъ абсолютно, такъ сказать, безкорыстнымъ.

Но черезъ нѣкоторое время, когда единый фронтъ уже сталъ совершившимся фактомъ, французская партія получила вторую индульгенцію. Три русскихъ меньшевика, изъ которыхъ двое, Ежовъ и его жена Захарова, живутъ въ Казани, а третій Бэръ находится въ ссылкѣ въ Чердыни, отправили телеграмму въ «Полупэръ» и «Юманитэ», въ которой въ горячихъ выраженіяхъ поздравляли социалистовъ и коммунистовъ съ заключеніемъ единого фронта и выражали пожеланіе о распространеніи французскаго примѣра на всѣ остальныя страны. Телеграмма вызвала взрывъ радости въ социалистической партіи. Въ передовой статьѣ, посвященной этой телеграммѣ, Леонъ Блочь утверждалъ, что начиная съ событій 6-го февраля «партія не имѣла еще такого сильнаго и волнующаго подтвержденія правильности политики единого фронта», какъ эта казанская телеграмма. «Мы много разъ спрашивали себя съ внутренней тревогой: поймутъ ли наши гонимые и преслѣдуемые русскіе друзья, меньшевики и социалисты-революционеры, истинные мотивы нашихъ поступковъ? Даютъ ли они себѣ ясный отчетъ въ томъ, что, осуществляя единый фронтъ съ коммунистами

и подготавливая тѣмъ самымъ органическое сліяніе обѣихъ партій, мы нисколько не рвемъ узы солидарности и дружбы, которая насъ связываютъ съ ними?» На всѣ эти мучительные вопросы вполне успокоительный отвѣтъ и дала казанская телеграмма — этотъ «героическій жестъ мудрости и самоотреченія».

Эта казанская телеграмма надѣлала столько шума, ей придали такое грандіозное значеніе и по поводу нея было высказано такъ много восторженнаго вздора, что на всей этой сенсациі необходимо остановиться нѣсколько внимательнѣе. Возникаетъ вопросъ, что же собственно заключается «героическаго», какъ заявляютъ единодушно Блюмъ, Данъ и Абрамовичъ, въ актѣ солидаризаціи трехъ гонимыхъ совѣтскихъ гражданъ съ политическимъ союзомъ, который только потому и сталъ возможнымъ, что московскіе диктаторы, гонители этихъ гражданъ, приказали секціямъ коминтерна немедленно заключить единый фронтъ съ социалистами? Что героическаго въ актѣ, соответствующаго видамъ и намѣреніямъ того правительства, чья цензура пропустила телеграмму, абсолютно лишленную какого бы то ни было слѣда оппозиціи этому правительству и даже простого упоминанія о неполноправности гражданъ, подписавшихъ ее? Что героическаго въ телеграммѣ, посланной изъ коммунистической державы также и въ коммунистическую газету, которая телеграмму напечатала какъ доказательство того, что подписавшіе ее отказались отъ своихъ прежнихъ заблужденій?

Это одинъ рядъ вопросовъ. Но есть и другой. Что же героическаго въ изолированномъ выступленіи трехъ наибѣйшихъ русскихъ меньшевиковъ, великолѣпно знающихъ, что въ вопросѣ о единомъ фронтѣ они представляютъ меньшинство среди социалдемократовъ, не говоря уже о всей массѣ другихъ социалистическихъ жертвъ московской диктатуры? Что это за героизмъ такой — воспользоваться благоволеніемъ совѣтской цензуры для манифестацій своихъ взглядовъ на единый фронтъ, когда заведомо извѣстно, что правительственное благоволеніе не распространится на большинство русскихъ социалистовъ, которые держатся иныхъ взглядовъ и за попытку манифестацій которыхъ послѣдуютъ жестокіе скорпіоны? Что это за героизмъ такой — изолированное выступленіе трехъ меньшевиковъ, забывшихъ подумать о томъ, что ихъ выступленіе будетъ истолковано, какъ выраженіе мнѣній всей подъяремной социалистической Россіи, зане всѣмъ инакомыслящимъ выражать свое сомнѣніе въ благахъ единаго фронта возбранено и невозможно?

Въ итогѣ всѣхъ этихъ вопросовъ нельзя не придти къ выводу, что телеграмма-казанскихъ меньшевиковъ, весьма далекая отъ чего-либо героическаго, вплотную подходитъ къ тому предѣлу, гдѣ начинаются сомнѣнія въ ея морально-политической допустимости. Взгляды, въ томъ числѣ и на единый фронтъ, можно имѣть какіе угодно, и тутъ царствуетъ полная свобода выбора. Но этого отнюдь нельзя сказать про выборъ поступковъ. Мы рады констатировать, что подобнаго же рода сомнѣнія получилъ возможность выразить и постоянный сотрудникъ «Соціалистическаго Вѣстника» П. Гарви. «На нашъ взглядъ, пишетъ онъ, казанскіе товарищи поступили бы правильно, если бы, учтя свое положеніе плѣнниковъ совѣтской власти, невозможность сноситься открыто съ партійными центрами за границей и съ товарищами въ Россіи, равно какъ отсутствіе гарантій противъ злостнаго использованія ихъ выступления коммунистами, они не поддались бы естественному порыву — подать свой голосъ въ вопросѣ, кровно интересующемъ всякаго соціалиста» («С. В.» № 17-й).

Обратимся однако къ французскимъ участникамъ этого казанскаго торжества. Мы не можемъ изъясниться отъ впечатлѣнія какого то большого несоотвѣтствія между тяжелыми и болѣзненными ощущеніями Блюма и Жиромскаго, снѣдавшими ихъ въ связи съ положеніемъ русскихъ соціалистовъ во время заключенія и практики единаго фронта, и той легкостью, съ какой они отъ этой душевной тяжести избавляются. Въ первый разъ достаточно было для этого мимическаго одобренія со стороны Дана и Абрамовича, во второй разъ достаточно была для этого казанская телеграмма. Что касается перваго облегчительнаго повода, то уже французскій лѣвый соціалистическій журналъ «Ле Комба Марксистъ», жестоко нападающій на свою партію за замалчиваніе въ угоду единому фронту русской трагедіи, счелъ себя вынужденнымъ замѣтить по поводу овляціи, заработанной Даномъ и Абрамовичемъ: «Не отрицая ни въ какой мѣрѣ личнаго великодушія Дана и Абрамовича, признаемъ все-таки, что эти два товарища, хотя и находящіеся въ изгнаніи, но живущіе относительно спокойно, не могутъ говорить отъ имени травимыхъ, сосланныхъ и заключенныхъ русскихъ» (№ 10-11). Если что-нибудь могло избавить французскихъ соціалистовъ отъ ихъ долга солидарности по отношенію къ жертвамъ русской диктатуры, то во всякомъ случаѣ не нѣмое или гласное соизволеніе двухъ давнихъ соціалдемократическихъ эмигрантовъ, не имѣющихъ не только общаго мнѣнія русскихъ меньшевиковъ, но даже и общаго мнѣнія загранич-

ной ихъ группы, распадающейся въ вопросѣ о единомъ фронтѣ на цѣлыхъ 4 теченія. Такъ называемая Заграничная Делегация РСДРП и до сихъ поръ еще вообще не вынесла никакого рѣшенія о единомъ фронтѣ, а національный совѣтъ французской социалистической партіи поспѣшилъ увидѣть въ нѣмомъ жестѣ двухъ членовъ этой делегации разрѣшеніе на умолчаніе о русской террористической практикѣ, данное не только со стороны заграничной группы социалдемократовъ, что тоже не вѣрно, но со стороны вообще «русскихъ социалистовъ», что уже совершенно ничему не соотвѣтствуетъ. И вотъ какъ легко разрѣшился вопросъ, который Жиромскій назвалъ «самымъ болѣзненнымъ».

Дѣло, однако, не только въ судьбѣ преслѣдуемыхъ въ Россіи социалистовъ. Въ концѣ концовъ это только часть, хотя морально наиболѣе уязвимая, той болѣе широкой капитуляціи передъ коммунизмомъ, которая скрыта въ единомъ фронтѣ, вѣрнѣе — изъ него выпираетъ. За то, что коммунисты отказались отъ публичной брани, прямой лжи и грязной клеветы на социалистовъ, социалисты должны были въ этомъ единомъ фронтѣ отказаться отъ публичной правды о великой трагедіи 160-милліоннаго народа, закованнаго въ тяжкія цѣпи неволи и нужды. Въ пактѣ о взаимномъ ненападеніи коммунисты отказались отъ лжи, а социалисты отказались отъ правды. Во имя единаго фронта еще до его осуществленія социалисты скрывали правду о Россіи, въ томъ числѣ правду о страданіяхъ пролетаріата и мучкахъ русскихъ социалистовъ, а коммунисты продолжали еще бубнить о социаль-фашистѣ Блюмѣ. А послѣ заключенія единаго фронта социалисты оказались вынужденными подписаться въ его рамкахъ подъ чисто и типично коммунистической резолюціей, объявлявшей СССР «отечествомъ всѣхъ трудящихся», страной «тріумфирующаго социализма» и только поэтому звать на защиту СССР противъ покушеній японскаго империализма. О томъ, что въ СССР нещадно эксплуатируется пролетаріатъ и свирѣпствуетъ нещадный терроръ на основѣ рабовладѣльческаго хозяйства — объ этомъ надо было замолчать; а о томъ, что СССР «отечество всѣхъ трудящихся» и свѣтлое воплощеніе идеаловъ социализма — объ этомъ надо было совместно съ коммунистами заговорить. Митингъ въ залѣ Бюлье, устроенный въ рамкахъ единаго фронта и вынесшій указанную резолюцію, показалъ нагляднымъ образомъ источникъ этого единаго фронта, и дальнѣйшее его направленіе. И то и другое носить на себѣ печать капитуляціи передъ коммунизмомъ, свидѣтельствуютъ о томъ что процессъ этой капитуляціи зашелъ

психологически ужъ очень далеко. Начальныя формы этой капитуляціи были источникомъ, развитыя формы этой капитуляціи станутъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ единого фронта.

Пока на всемъ этомъ еще лежитъ печать лицемерія, потому что порокъ считаетъ еще нужнымъ платить нѣкоторую дань добродѣтели. Но затѣмъ произойдетъ такъ, что порокъ перестанетъ ошущать себя порокомъ и тогда исчезнетъ дань въ пользу добродѣтели, а слѣдовательно исчезнетъ и печать лицемерія. Все будетъ тогда просто и ясно и въ итогѣ создастся такое положеніе, при которомъ единый фронтъ будетъ спасать ужъ не демократію, а «соціальную революцію», какъ византизмъ единого фронта — національный блокъ — тоже перестанетъ спасать демократію, а начнетъ больше спасать «національную революцію». Спасители демократіи справа и слева будутъ выдѣлять ея сердцевину — французскій социализмъ и французскій радикализмъ. Кашень и Тарабѣ другъ другу помогутъ.

Мы не можемъ предвидѣть, какъ далеко зайдетъ этотъ процессъ и не распадется ли единый фронтъ въ слѣдствіе какаго-нибудь очередного поворота рычага московскаго вѣдомства иностранныхъ дѣлъ. Сумѣетъ ли тогда французскій социализмъ выйти изъ этой комбинаціи съ тѣми массами, съ которыми онъ въ единый фронтъ пришелъ? Не растеряетъ ли онъ значительную ихъ часть по этимъ скитаніямъ въ Каноссу и обратно? Не въ этомъ ли состоитъ весь замыселъ Коминтерна? Отвѣтъ на эти вопросы не можетъ быть слишкомъ обнадеживающимъ.

Не нужно, впрочемъ, обобщать французскій опытъ. Во всѣхъ остальныхъ странахъ съ сильной демократіей и сильнымъ рабочимъ движеніемъ всѣ коммунистическія предложенія о единомъ фронтѣ, какъ по командѣ посыпавшіяся одновременно съ французскимъ предложеніемъ, были отброшены социалистическими партіями самымъ рѣшительнымъ образомъ, иногда съ весьма нелестными для коммунистовъ комментаріями. Не забудемъ, что и французскій единый фронтъ былъ заключенъ вопреки точному постановленію Соц. Интернаціонала, запретишаго подобныя изолированныя національныя соглашенія. При нынѣшнихъ же настроеніяхъ большинства рабочихъ партій въ странахъ демократіи всякая попытка интернаціональнаго соглашенія съ Коминтерномъ грозитъ взрывомъ самого Соціалистическаго Интернаціонала. Очевидно, что въ теченіе ближайшаго историческаго періода единый фронтъ можетъ имѣть успѣхъ либо въ тѣхъ странахъ, гдѣ демократія погибла, либо въ тѣхъ, гдѣ демократія переживаетъ серьезный кризисъ. Единый фронтъ между социалистами и коммунистами съ этой точки

зрѣнія является одновременно и типичнымъ продуктомъ кризиса демократіи и усугубляющимъ этотъ кризисъ факторомъ. Въ единомъ фронтѣ вырывается наружу идеологическій ядъ концепціи о служебно-инструментальномъ значеніи демократіи, «какъ средства». Наличие этого тайнаго порока во многихъ социалистическихъ концепціяхъ мнѣ пришлось прослѣдить на столбцахъ «Современныхъ Записокъ» еще 11 лѣтъ тому назадъ. (См. «Демократизація социализма», «Совр. Зап.» № 12-й 1923 г.). Чѣмъ сильнѣе социалистическое представленіе о демократіи будетъ окрашено утилитарно-тактическими соображеніями, тѣмъ путь къ единому фронту, т. е. къ союзу съ открытой анти-демократической силой, будетъ казаться болѣе легкимъ и принципиально безобиднымъ. Эти единые фронты будутъ формально заключаться «для спасенія демократіи», реально они явятся проявленіемъ сумерекъ демократіи въ социалистическомъ сознаніи. Реально эти единые фронты будутъ компрометировать идею демократіи въ тѣхъ слояхъ населенія, которые демократіи еще вѣрны, и въ конечномъ, хотя и не очень далеко, счетѣ явятся желанной подмогой фашизму, который тоже жаждетъ демократическихъ удобствъ, т. е. малаго риска въ своей подрывной работѣ, направленной къ сверженію демократическаго режима.

Съ русской точки зрѣнія единый фронтъ приходится разсматривать, какъ прямую международную поддержку совѣтской диктатуры. Въ предѣлахъ единаго фронта не будутъ говорить о Россіи, страдающей и стонущей подъ игомъ диктатуры, а о Россіи, какъ землѣ обѣтованной трудящихся всего міра. Въ предѣлахъ единаго фронта эта Россія ликующихъ, праздно болтающихъ, обогрившихъ руки въ крови, предстанетъ въ видѣ социалистическаго парадиза во главѣ съ ангелами-хранителями изъ Политбюро. Въ предѣлахъ единаго фронта не только коммунисты, но и социалисты окажутся вынужденными поддерживать темныя международныя комбинаціи московской диктатуры и закрывать глаза на ея милитаристическое существо.

Французскій единый фронтъ, порожденіе кризиса французской демократіи, не можетъ не вселить большой тревоги въ сердца всѣхъ тѣхъ, для кого не померкли идеалы свободы, равенства и социальной справедливости.

Ст. Ивановичъ.

Эдуардъ Бенешъ

I.

Газетная и научная работа до войны.

28-го мая текущаго года министру Э. Бенешу исполнилось пятьдесятъ лѣтъ; осенью этого же года можно было бы праздновать двадцатилѣтній юбилей его служенія на пользу чехословацкаго государства и тридцатилѣтней работы для своего народа. Служба Бенеша чехословацкому государству началась съ того момента, когда онъ предложилъ Масарику свои услуги революціонному движенію. Это произошло, какъ отмѣчаетъ самъ Масарикъ, осенью 1914 года. Было достаточно одного разговора, и Масарикъ сначала принялъ предложеніе услугъ Бенеша, а затѣмъ постепенно слѣдалъ изъ него самаго близкаго и отвѣтственнаго своего сотрудника. Кѣмъ была тогда Бенешъ, что Масарикъ почтилъ его такимъ довѣріемъ, и какъ онъ подготовился къ роли, которую съ 1914 года ему суждено было играть? На эти вопросы необходимо отвѣтить, чтобы понять причину успѣха дѣятельности Бенеша въ послѣдующіе годы.

Годы, когда Бенешъ окончилъ гимназію и поступилъ въ университетъ — и одновременно вошелъ въ политическую жизнь — были весьма бурными. Это была эпоха возникновенія новыхъ государственныхъ конъюнктуръ въ Европѣ, англо-французскаго сближенія, русско-японской войны, первой революціи въ Россіи и волненій въ Австро-Венгріи. Для молодого студента, который еще будучи гимназистомъ интересовался политической жизнью, это были годы, съ избыткомъ удовлетворяшіе его политическимъ склонностямъ.

Бенешъ не принадлежалъ къ тому типу молодыхъ людей, которые, будучи захвачены первой случайной идеей, бросаются въ политическую жизнь, забывая о наукѣ и потому становятся узкими фанатиками догмы, предписанной ихъ политической пар-

гійей или направлениемъ. У Бенеша на первомъ мѣстѣ было образование, необходимое для того, чтобы служеніе народу, которому онъ собирался себя посвятить, покоилось на болѣ прочномъ основаніи. Выѣшнимъ проявленіемъ этого стремленія были его усилія овладѣть средствами, дающими возможность познать свѣтъ. Еще будучи въ гимназій, онъ занимался кромѣ нѣмецкаго языка также и французскимъ, а позднѣе изучалъ англійскій, русскій и итальянскій. Практически онъ изучалъ свѣтъ, путешествуя за границей и знакомясь съ иноземными условіями жизни и идеями. Пробывъ лишь годъ въ пражскомъ университетѣ, Бенешъ, несмотря на стѣсненное матеріальное положеніе, уѣхалъ за границу, стараясь тамъ пріобрѣсти болѣе широкій кругозоръ, необходимый для успѣшной борьбы за лучшее будущее народа. Въ теченіе лѣтъ отъ окончанія гимназій до мировой войны, мы наблюдаемъ неутомимыя усилія Бенеша пополнить свое образование, связанная одновременно съ работой на пользу народа. Эти усилія увѣнчались успѣхомъ и теперь насъ поражаетъ то, что они были осуществлены со столь малыми матеріальными средствами, цѣной лишь большихъ личныхъ жертвъ.

Однако прежде чѣмъ приступить къ описанію этой дѣятельности Бенеша, намъ кажется не лишнимъ привести нѣкоторыя даты, касающіяся его образованія и научныхъ работъ за послѣднія десять лѣтъ передъ войной.

Въ 1904 г. Бенешъ поступаетъ на философскій факультетъ Пражскаго университета. Въ томъ же году онъ переводитъ на чешскій языкъ «Западию» Золя, которая выходитъ въ печати въ слѣдующемъ году.

Въ 1905 году онъ уѣзжаетъ въ Парижъ, гдѣ записывается въ Сорбонну, и одновременно слушаетъ лекціи въ *École libre des sciences politiques*. Онъ изучаетъ русскій и итальянскій языки, знакомится по преимуществу съ русской литературой, поддерживаетъ опіюніи съ русскими, жившими тогда въ Парижѣ.

Въ 1906 г. Бенешъ продолжаетъ свои занятія въ Парижѣ; четыре лѣтнихъ мѣсяца онъ проводитъ въ Англии, стараясь пополнить знанія англійскаго языка и знакомясь съ мѣстной жизнью. Въ это время онъ очень много пишетъ въ чешскихъ газетахъ, — газетная работа служитъ для него же источникомъ средствъ для жизни за границей. За этотъ періодъ имъ написаны болѣе восьмидесяти статей въ различныхъ чешскихъ газетахъ и журналахъ; темы ихъ самыя разнообразныя, онѣ посвящены то французской и англійской церковной, школь-

ной и социальной политикѣ, то взаимоотношеніямъ между социалистическими партіями и профессиональнымъ движеніемъ, и, наконецъ, ряду важныхъ проблемъ тогдашней международной политики.

Въ 1907 г. онъ продолжаетъ свои занятія во Франціи, а осенью ѣдетъ въ Берлинъ, гдѣ изучаетъ жизненныя условія въ имперіи Гогенцоллерновъ. Не бросаетъ онъ и здѣсь своей журналистической работы въ чешскихъ газетахъ, печатая въ нихъ снова около ста статей; слѣдуетъ особо отмѣтить то вниманіе, съ какимъ онъ слѣдилъ за Гаагской мирной конференціей и его интересъ къ вопросамъ современнаго журнализма. Въ этомъ же году онъ подготавливаетъ и свою работу для юридическаго факультета въ Дижонѣ, куда записался для полученія докторскаго диплома.

Въ 1908 г. съ краткими перерывами, во время которыхъ онъ наѣзжалъ въ Прагу, Бенешъ занимался до сентября въ Берлинѣ. Въ началѣ лѣта онъ былъ въ Парижѣ, гдѣ опубликовалъ свою работу «Le problème autrichien et la question tchèque» и въ Дижонѣ, гдѣ сдалъ необходимые экзамены. Среди многочисленныхъ статей, написанныхъ въ это время, заслуживаютъ особаго упоминанія: «Национальная борьба въ Бельгійи», «Толстой и русская революція» и болѣе крупный этюдъ «Въ имперіи силы и мощи», наконецъ, размышленія о пангерманскомъ расизмѣ — «Идеи и планы пангерманизма». Ему удалось тогда-же войти въ контактъ съ французскими журналами *Revue Socialiste* и *Le Mouvement Socialiste*, постояннымъ сотрудникомъ которыхъ онъ и становится. Въ *Le Mouvement Socialiste* напечатана его обширная статья «Синдикализмъ въ Чехіи». Въ этомъ же году онъ начинаетъ работать съ «чешской реалистической передовой партіей» (*strana pokroková*), въ которую онъ позднѣе вступаетъ и которая организуетъ его лекцію о национальномъ вопросѣ, вышедшую въ печати въ слѣдующемъ году.

Въ 1909 г. Бенешъ окончиваетъ философскій факультетъ въ Прагѣ, получаетъ докторскій дипломъ и въ сентябрѣ мѣсяцѣ принимаетъ мѣсто въ коммерческой академіи въ Прагѣ. Изъ работъ, опубликованныхъ въ этомъ году, упомянемъ статьи: «Рабочее движеніе во Франціи», «Консерватизмъ въ Англіи», «Современная Франція», «Рабочая партія въ Англіи» и наконецъ этюды о Ж. Клемансо и А. Брианѣ. Тогда же онъ начинаетъ работать надъ обширнымъ трудомъ по исторіи социализма.

Въ 1910 г. онъ печатаетъ переводъ книги Э. Карпантае «Цивилизація» и первую часть своего труда «Краткій очеркъ раз-

внѣтія современнаго социализма». Онъ принимаетъ участіе въ изданіи IV части «Чешской политики», въ главахъ о социализмѣ, націонализмѣ и интернационализмѣ, а въ журналѣ «Наше время (Nasé doba) печатаетъ большую статью о рабочемъ профессиональномъ движеніи во Франціи. Тогда же онъ издаетъ брошюру: «Наше образование и необходимость созданія высшей социальнo-политической школы». Въ сборникѣ къ шестидесятилѣтію Т. Г. Масарика онъ печатаетъ статью: «О вліяніи Масарика на наше молодое поколѣніе». Въ 1911 г. Бенешъ подготовилъ къ печати свою диссертацию на тему: «Партийность». Въ этомъ же году онъ окончилъ и издалъ слѣдующія части своего «Краткаго очерка развитія современнаго социализма», а именно часть II — «Школы и формы социализма» и IV — «Рабочее движеніе въ Австріи и Чехіи». Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ онъ жилъ въ Парижѣ и пяти — въ Лондонѣ, откуда послалъ цѣлый рядъ корреспонденцій въ чешскія газеты. Въ 1912 г. Бенешъ издаетъ свою диссертацию «Партийность» и продолжаетъ заниматься вопросами, относящимися къ исторіи и современному состоянію социализма. Въ социаль-демократической газетѣ «Право народа» (Právo lidu) онъ печатаетъ рядъ статей на эти темы. Что касается политической дѣятельности, которой по возвращеніи въ Прагу онъ удѣляетъ много вниманія, работая въ «передовой партіи», то нельзя обойти молчаніемъ его участіе на съѣздѣ передовой молодежи и въ дискуссіи о социализмѣ, которая тамъ разторѣлась. Много силъ посвятилъ онъ и работѣ въ студенческой средѣ, при чемъ посвятилъ особую статью отношеніямъ старшихъ и младшихъ, такъ сказать, отцовъ и дѣтей.

1913 годъ принесъ съ собою для Бенеша новыя задачи. Въ этомъ году онъ былъ назначенъ доцентомъ социологіи Пражскаго университета. Связанный съ этимъ обязанности — подготовка лекцій и дальнѣйшихъ научныхъ работъ — заставляютъ его еще больше сосредоточиться на проблемахъ социологіи и философіи. Въ «Чешской мысли» онъ печатаетъ, главнымъ образомъ, отзывы о книгахъ по философіи и социологіи. Въ томъ же журналѣ онъ почтѣтилъ статью «Моральныя основы современной французской философіи». Вмѣстѣ съ тѣмъ не ослабѣваетъ и его интересъ къ политикѣ: онъ принимаетъ участіе въ политической работѣ молодежи своей партіи и пишетъ рядъ статей, посвященныхъ общему политическому положенію въ Чехіи. Для его тогдашней работы среди студенчества характерна его статья, вѣрнѣе, обращеніе къ студенчеству: «О необ-

ходимости философскаго образованія для практической дѣятельности».

1914 годъ принесъ чешской политикѣ тяжелый внутренній кризисъ, вызванный случаемъ со Швигой. Въ связи съ этимъ Бенешъ написалъ весьма жестокою критику политическихъ партій: «Психологія политической партійности», какъ бы воззваніе къ народу, который онъ призывалъ къ созданію политической культуры и традиціи, къ превращенію тогдашнихъ институцій въ демократическія и одновременно къ воспитанію демократическихъ вождей и массъ. Эта статья увидѣла свѣтъ въ мартѣ 1914 г., въ моментъ, когда надъ всей Европой пронесли снова слухи о подготавливаемой войнѣ. Вѣроятно именно поэтому Бенешъ вернулся къ данной темѣ въ статьяхъ, въ которыхъ ставилъ вопросъ: «Возможно ли перерожденіе нашей политической жизни», рѣзко осуждая методы тогдашней политики. Тогда же онъ прочелъ докладъ на собраніи чехословацкихъ абстинентовъ подъ названіемъ «Проблемы производства алкоголя и трезвость», вышедшій въ печати въ 1915 году.

Таковъ краткій итогъ десятилѣтней работы Бенеша къ тому моменту, когда приблизилась катастрофа мировой войны. Онъ даетъ ясное представленіе о томъ, какъ Бенешъ готовился къ дѣятельности, ожидавшей его во время и послѣ войны и поднесъ столь плодотворной для чешскаго народа и государства.

Въ этомъ бѣгломъ обзорѣ работъ Бенеша отъ 1904 по 1914 годъ бросается прежде всего въ глаза, насколько все, что онъ предпринималъ въ области журналистики и науки, было проникнуто прежде всего стремленіемъ подготовитъ себя для общественной дѣятельности на благо всего народа. Во всемъ имъ напечатанномъ нѣтъ, кажется, ни одной статьи, ни одного эссе, ни одной книги, которая вытекала бы лишь изъ его личныхъ вкусовъ и не имѣла бы какого либо отношенія къ общественной жизни. Учился онъ для того, чтобы имѣть возможность плодотворно работать на общее благо. Писать онъ рѣдилъ того, чтобы ознакомить широкіе круги съ дѣйствительностью, знаніе которой могло быть имъ полезно.

Можно даже сказать, что свое міросозерцаніе и политическіе взгляды Бенешъ выработывалъ съ точки зрѣнія этой общественной цѣлесообразности и учитывая практическія цѣли. Книжки, которыя онъ читалъ еще въ гимназій, привели его въ области философіи съ одной стороны къ матеріализму, съ другой къ позитивизму (а благодаря этому и къ очень остримъ не только антиклерикальнымъ, но и антирелигіознымъ взгля-

дамъ); въ области политики это же чтеніе привело его къ демократическимъ убѣжденіямъ, съ сильнымъ уклономъ къ марксизму. Но самостоятельная научная работа, наблюденіе надъ тѣмъ, какъ философскія и политическія идеи преломляются въ жизненной практикѣ, привели его однако скоро къ отказу отъ нѣкоторыхъ принциповъ, въ неправильности и вредѣ которыхъ онъ убѣдился.

Толчкомъ къ этой эволюціи послужили лекціи Масарика, которыя Бенешъ слушалъ въ теченіе первыхъ двухъ семестровъ. Подъ влияніемъ Масарика онъ пересмотрѣлъ многое и прежде всего поколебалась его вѣра въ истину позитивизма. Масарикъ былъ для него не только учителемъ, но и идеаломъ; горячность, съ которой Масарикъ реагировалъ на всю современную политическую и культурную жизнь, поддерживала у Бенеша разносторонность его политическихъ и философскихъ интересовъ. Въ результатѣ своихъ занятій во Франціи и Англии и подъ влияніемъ взглядовъ Масарика Бенешъ отступаетъ, еще будучи въ университетѣ, отъ первоначальной своей антирелигіозной (но отнюдь не отъ антиклерикальной) точки зрѣнія, появивъ, что борьба съ религіозностью, поскольку она является проявленіемъ личной вѣры, находится въ противорѣчій съ принципомъ свободы совѣсти. Въ то же время онъ отходитъ и отъ марксистскаго взгляда на классовую борьбу, приля къ убѣжденію въ его внутренней лживости и практической неосуществимости. Въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1908 года онъ пишетъ: «Мнѣ хочется разоблачить это классовое науськиваніе и доказать, что историческій матеріализмъ — бессмыслица... Я хочу подчеркнуть, что религія и другіе идеологическіе моменты являются самостоятельными факторами... Я хочу указать на всю бессмыслицу классовой ненависти и абсурдность взгляда, что рабочій классъ не смѣетъ сотрудничать съ чѣшанствомъ». Онъ это осуществилъ въ работѣ, направленной противъ Шмерала: «Свободная мысль, социализмъ и социалдемократія». Это не помѣшало однако Бенешу сохранить добрыя отношенія съ социал-демократической партіей и печататься въ ея органахъ. Онъ высоко цѣнилъ ея большую работу надъ повышеніемъ культурнаго уровня массы.

Благодаря собственнымъ теоретическимъ работамъ и влиянію взглядовъ Масарика, Бенешъ отказывается постепенно отъ матеріализма и позитивизма и въ послѣдніе годы передъ войной приходитъ къ міросозерцанію, которое онъ самъ называетъ критическимъ реализмомъ. Такъ онъ пришелъ къ вѣрѣ въ Сутьбу и Божественную мудрость, къ тому оптимистическому

взгляду на эволюцію и прогрессъ, который является лучшей опорой всякой дѣятельности. Въ практической жизни и политикѣ эти идеи привели его къ гуманитарной морали и къ концепции современной демократіи.

Къ своимъ политическимъ взглядамъ онъ пришелъ не только путемъ отвлеченныхъ размышлений. Въ этомъ направленіи на него вліяла среда, изъ которой Бенешъ вышелъ, интересъ къ судьбѣ широкихъ массъ, любовь къ народу и стремление быть ему полезнымъ. Его практическое чутье и жизненные цѣли опредѣлили, повидимому, характеръ его философскихъ занятій. Они дали ему твердый базисъ, лишь укрѣпившій тѣ заключенія, которыя складывались уже сами собой въ силу его чутья къ жизни, свойственной ему наблюдательности, его метода научной работы, чуждаго догматики. Этотъ методъ характеренъ до сихъ поръ для Бенеша. Въ 1912 году, давая опредѣленіе политикѣ, онъ писалъ: «Научная политика... всесторонне изучаетъ существующія условія, учитывая которыя, стремится найти разрѣшеніе проблемъ, наиболее соответствующее общій ситуаціи. Она не связываетъ себѣ руки въ вопросахъ политическихъ и экономическихъ апріорнымъ планомъ, который можетъ быть опровергнутъ ходомъ событій. Подлинная научная политика, имѣя въ виду ту или иную реформу, изслѣдуетъ ланную ситуацію, обдумываетъ послѣдствія, происходящія изъ нея для общества, и не идетъ къ заранѣе твердо поставленной цѣли, но дѣйствуетъ эмпирически, въ связи съ требованіями и нуждами данного момента, постоянно руководясь лишь конкретными демократическими идеалами». Именно этотъ не догматическій методъ, основанный на наблюденіяхъ и анализѣ, привелъ его къ глубокой вѣрѣ въ цѣлесообразность послѣдовательнаго демократизма и къ борьбѣ за его осуществленіе.

Для политическихъ интересовъ Бенеша характерна ичъ разносторонность. Нѣтъ такой политической проблемы, которую онъ оставилъ бы безъ вниманія во время своего пребыванія за границей. Такъ приобрѣтенъ былъ ичъ опытъ, который пригодился ему и во время войны, и по заключеніи мира. Прежде всего онъ основательно изучилъ Францію. Статьи, написанныя имъ до войны, указываютъ, что во Франціи не было скольконибудь выдающейся личности, политическаго направленія. ичъ политическаго вопроса, которые бы его не интересовали и о которыхъ онъ не собиралъ бы свѣдѣній. Стоитъ, пожалуй, отметить, что первая статья на чешскомъ языкѣ о Клемансо и Брианѣ, съ которыми у Бенеша было позднѣе столько общихъ дѣлъ, вышли какъ разъ изъ-подъ его пера. Франція была его

любовью съ момента первой поѣздки въ Парижъ. Однако это не была слѣпая влюбленность и слова восхищенія довольно часто сочетаются у него съ суровой критикой. Во Франціи онъ видѣлъ воплощеніе идеи французской революціи, идеи, которая столько дала въ прошломъ чешскому народу и сохранила еще достаточно моральной и творческой силы, чтобы быть еще и въ наше время руководящей для Европы. Онъ преклонялся передъ французской культурой, но не останавливался и передъ горькой правдой, осуждая нѣкоторыя стороны тогдашней французской жизни. Онъ видѣлъ слабости Франціи, но еще болѣе зналъ и ея внутреннюю силу. Онъ совершенно правильно предвидѣлъ, чѣмъ могла бы быть для чешскаго народа Франція, что и выразилъ, еще будучи студентомъ, въ одной своей статьѣ въ 1906 г.: «Придите, посмотрите, поживите ея жизнью и вамъ не захочется обратно. Особенно вы, которые одушевлены юношескими идеалами, у которыхъ крылья раскрыты въ полетѣ за лучшими будущими своего народа, особенно вы сейчасъ же тутъ сроднитесь со всѣмъ, черная полными руками изъ сокровищницы, раскрытой передъ вами».

Очень основательно познакомился онъ и съ Англіей. Какъ и во Франціи, онъ изучалъ англійскую жизнь во всѣхъ подробностяхъ. Изъ-подъ его пера вышли характеристики трехъ основныхъ политическихъ направленій Англіи: консерватизма, либерализма и рабочаго движенія, а также портреты главныхъ англійскихъ политическихъ дѣятелей, съ которыми ему пришлось часто встрѣчаться позже, во время войны, да и послѣ нея. Его замѣчанія объ англійскомъ характерѣ въ этюдѣ о социализмѣ въ Англіи показываютъ, насколько онъ проникъ въ англійское міровоззрѣніе.

Кромѣ этихъ двухъ странъ принадлекая Венеция къ себѣ неудержимо и Россію. Интересъ къ русской революціи 1905 г. привелъ его къ сближенію съ русской революціонной средой и къ знакомству съ русской литературой. Подъ влияніемъ этого чтенія онъ собирался одно время посвятить себя изученію міровой литературы, въ частности славянской. Мечталъ онъ также о поѣздкѣ въ Россію для завершенія своего образованія. Венецъ такимъ образомъ ознакомился съ основными причинами русскаго кризиса, съ слабыми сторонами Россіи, съ главными русскими идеологическими и политическими направленіями, сыгравшими такую исключительную роль въ началѣ революціи 1917 года. И здѣсь его интересуеетъ проблема революціи вообще, которая его уже занимала при изученіи основъ современной Франціи и которой онъ посвящалъ много внима-

нія при изслѣдованіи возникновенія социалистическихъ теорій.

Наконецъ, особое вниманіе Бенешъ сосредоточилъ на изученіи Германіи. Онъ довольно рано ознакомился съ нѣмецкой философійю, съ идеологической и политической структурой Германіи. Онъ наблюдалъ за ростомъ ея мощи и былъ однимъ изъ тѣхъ, кто обратилъ въ свое время вниманіе на опасность идей пангерманизма и расизма, сыгравшихъ такую роль въ возникновеніи міровой войны и привлекающихъ вниманіе Европы до сегодняшняго дня. Въ 1909 г. онъ писалъ: «Нельзя забывать, что въ наше время нѣмцы борются со славянами на протяженіи фронта, который тянется черезъ всю имперію отъ Балтійскаго моря до Адриатическаго, что эта борьба не на жизнь, а на смерть и что въ ней поставлено на карту существованіе цѣлыхъ народовъ, какъ то: поляковъ, лужицкихъ сербовъ, словаковъ и словенцевъ. Нѣмцы действительно смотрятъ на насъ, особенно на поляковъ и словаковъ, въ соответствии съ ихъ расовой теоріей и самый послѣдній нѣмецъ въ глубинѣ своей души считаетъ насъ существами низшаго порядка... Идеи пангерманизма, въ той или иной формѣ, страшно распространены въ широкихъ массахъ, пользуются почти всеобщимъ признаніемъ и у нѣмцевъ почти врождены... Вся сила пангерманизма обращена противъ славянъ; пангерманизмъ пересталъ быть лишь стремленіемъ къ германской расовой солидарности, а превратился въ философское, научное и политическое антиславянство, изъ котораго вытекаетъ какъ послѣдствіе яростная борьба со славянами».

Изученіе вопросовъ иностранной политики, волновавшихъ тогда міръ, какъ-то: франко-нѣмецкій конфликтъ, англо-германское соперничество въ морскихъ вооруженіяхъ, франко-британское сближеніе, привели его къ размышленіямъ о возможности міровой войны. «Черезъ нѣсколько лѣтъ, — пишетъ Бенешъ въ 1908 году, — у Германіи будетъ столь же сильный флотъ, какъ у насъ, міровое владычество въ Англіи находится уже сейчасъ въ опасности и весь міръ приходитъ къ убѣжденію, что въ скоромъ времени произойдетъ огромное всемірное столкновеніе». Такъ Бенешъ входитъ въ кругъ вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ приноситъ 1918 г., или даже лишь наше время. Интересно отмѣтить, какое большое значеніе еще тогда онъ придавалъ франко-британскому сотрудничеству, для осуществленія котораго онъ прилагалъ послѣ войны столько усилій. Въ то же время онъ очень интересовался проблемой обезпеченія мира. Уже въ 1907-мъ году онъ высказы-

валь слѣдующія сужденія объ этой проблемѣ, которой ему пришлось посвятить столько вниманія послѣ войны. «О возможности создать международный третейскій судъ говорили до сихъ поръ однако лишь правительства, но не народы. Въ демократической французской республикѣ, гдѣ высказало свое мнѣніе не только правительство, но и народъ, онъ далъ понять, что стоитъ за третейскіе суды. Англія, страна демократіи, внести предложеніе, осуществленіе котораго поведетъ къ международнымъ третейскимъ судамъ. Лишь Германія, гдѣ господствуетъ абсолютизмъ Вильгельма и Бюлова, не хочетъ ничего слышать о третейскихъ судахъ и объ ограниченіи вооруженія. Причина проста, — тѣ, кто этого хотѣлъ бы, а ихъ огромное большинство, не могутъ высказаться, ибо имъ затываютъ рты». Здѣсь Бенешъ правильно анализируетъ проблему мира, ея разрѣшеніе связывая съ побѣдой демократіи.

Столь же важно для всей дальнѣйшей политической дѣятельности Бенеша было внимательное изученіе имъ другихъ вопросовъ, вставшихъ передъ Европой со всей остротой лишь въ позднѣйшіе годы. Прежде всего это проблема демократіи и тѣхъ затрудненій, съ которыми она сталкивалась. Анализируя ее, Бенешъ вѣрно опредѣлилъ сущность кризиса, угрожающаго демократіи. Онъ обращалъ особое вниманіе на проблему политическихъ партій, ставшую послѣ мировой войны роковой для демократій въ рядѣ государствъ. Опасность, кроющаяся для демократіи въ борьбѣ политическихъ партій, была Бенешемъ подвергнута анализу, откровенность, острота и дальнозоркость котораго имѣютъ тѣмъ большую цѣну, что онъ былъ данъ какъ разъ наканунѣ могучаго роста демократической идеи въ Европѣ послѣ войны. Въ то время (въ 1914 году) безграничная вѣра въ демократію очень многимъ мѣшала видѣть опасность, кроющуюся для нея въ несознательности широкихъ массъ, въ недостаткѣ образованныхъ демократическихъ вождей, вообще, въ недостаточности политической культуры и традицій. Насколько анализъ, данный Бенешемъ въ 1914 г., былъ правиленъ, можно судить уже по тому, что статья его была безъ измѣненія перепечатана въ 1919 году въ Парижѣ въ *Revue Internationale de Sociologie*, а въ 1924 г. снова перепечатана въ Прагѣ.

Другая проблема, всегда привлекавшая особое вниманіе Бенеша, это социальный вопросъ, уже въ первой половинѣ прошлаго столѣтія ставшій на очередь во всемъ мірѣ, но лишь послѣ войны столь обострившійся. Бенешъ занимался имъ очень усердно. Это показываютъ не только его статьи о различныхъ

его сторонахъ, какъ-то: о безработицѣ, проблемѣ народонаселенія, женскомъ вопросѣ, рабочемъ днѣ, алкоголизмѣ, но и болѣе обширныя его работы, посвященныя социальнымъ проблемамъ и социализму вообще. Въ своихъ работахъ Бенешъ обнаруживаетъ знакомство со всѣми существующими теоріями и попытками рѣшенія социального вопроса, стремленіе критически сопоставить разные взгляды и придти такимъ образомъ къ заключенію, основанному на точномъ знаніи положенія вещей и не связанному догмой. Критикуя марксистскій догматизмъ, Бенешъ выступалъ сторонникомъ реализма въ социальной политикѣ, относясь положительно къ сотрудничеству социалистовъ съ передовой буржуазіей. Интересенъ взглядъ Бенеша на французскую революцію, на ея послѣдствія и новыя силы, ею вызываемыя къ жизни, часто приводящія къ совершенно инымъ послѣдствіямъ, чѣмъ революція имѣла въ виду. «Французская революція, — писалъ онъ, — провозгласила принципы свободы и равенства, не предвидя того, что низшіе слои могутъ обратить противъ нее самое эти отвлеченные принципы, перенеся ихъ изъ политической области въ экономическую; но послѣдствіемъ этого является зарожденіе социализма, который можетъ перечеркнуть основы индивидуалистической революціи, да въ придачу и всего современного общества».

Эти размышленія побуждали Бенеша указывать социалистическимъ кругамъ на всю бессмыслицу догматизма и на необходимость въ своихъ построеніяхъ исходить изъ социальной реальности. Въ статьѣ «Социалистическое мышленіе современности» мы читаемъ: «Въ социальныхъ наукахъ подлинно научный методъ долженъ быть эмпирически-индуктивнымъ. Необходимо замѣнять отвлеченныя понятія и безплотныя идеи живой дѣйствительностью; необходимо идти отъ факта къ факту, анализируя тщательно каждую частность, не удовлетворяться двумя-тремя явленіями, но стараться исчерпать до дна социальную дѣйствительность; нужно идти снизу вверхъ, отъ отдѣльнаго факта къ ихъ совокупности, изслѣдовать ихъ основу, ихъ взаимоотношенія, ихъ сходство и различіе и только послѣ того, когда все изучено, строить широкій синтезъ. Совершенно неправильно, напр., на основаніи нѣсколькихъ случаевъ, хотя бы и совершенно вѣрныхъ самихъ по себѣ, выводить общую теорію о пролетаризаціи массъ; то же самое и относительно концентрации капитала. Соціологія вообще не можетъ заниматься предсказаніями, или дѣлаетъ это лишь въ самыхъ общихъ чертахъ: можно, напримеръ, быть увѣреннымъ, что форма правленія въ Россіи или Австріи рано или поздно измѣнится, но предсказать,

какъ это произойдетъ, въ какомъ направленіи пойдутъ событія, не могутъ ни историки, ни социологи. Предсказанія невозможны, потому что общественныя явленія весьма сложны и запутаны. Социология можетъ лишь констатировать, что современное человѣчество развивается индивидуалистически и что вслѣдствіе этого притѣсняемые классы требуютъ справедливости и обладаютъ достаточной силой, чтобы добиться улучшенія своего положенія и осуществленія социалистическихъ требованій; социология идетъ и еще дальше и допускаетъ, что извѣстные идеологическіе факторы и объективныя экономическіе законы работаютъ надъ разрѣшеніемъ общественныхъ проблемъ въ томъ направленіи, какъ это себѣ представляетъ социалистическая теорія и что вслѣдствіе этого общество въ своемъ современномъ развитіи обнаруживаетъ социалистическую тенденцію. Больше этого однако она ничего не утверждаетъ. Она можетъ говорить лишь о направленіи эволюціи и лишь для даннаго времени. О томъ, что будетъ поздиѣе, не наступитъ ли послѣ извѣстнаго роста социализаціи, ранѣе полного осуществленія коллективизма, перемѣна направленія, не будутъ члтъ, кто сегодня борется за социализмъ (или по крайней мѣрѣ ихъ значительная часть) работать противъ него, обо всечъ этомъ социология не можетъ ничего утверждать, если хочетъ остаться въ научной, эмпирической, не апіорной сферѣ». Приведенная цитата взята изъ статьи, написанной Бенешомъ въ 1913 году.

Третья проблема, ставшая злободневной уже въ началѣ 19-го столѣтія, но во всемъ своемъ объемѣ и значеніи выдвигнувшаяся лишь во время міровой войны, это національный вопросъ. И опять мы видимъ, какъ Бенешъ еще въ молодости старается разрѣшить для себя этотъ столь важный для чешскаго народа вопросъ. Онъ изучаетъ его во всѣхъ подробностяхъ. Онъ писалъ о ирландскомъ вопросѣ, разбиралъ бельгійскую національную проблему, собиралъ свѣдѣнія о національномъ вопросѣ въ Швейцаріи, обращалъ особое вниманіе на разрѣшеніе національнаго вопроса различными социалистическими школами, но особенно упорно изучалъ чешскій вопросъ, въ частности въ связи съ возможностью его разрѣшенія въ предѣлахъ австро-венгерской имперіи.

Бенешъ вѣрно понялъ смыслъ историческаго процесса и эволюцію національной проблемы въ теченіе 19 - го и 20 - го столѣтія, утверждая, что «национальный вопросъ далеко выходитъ за предѣлы Чехіи и Австріи». Этими словами онъ хотѣлъ указать, что разрѣшеніе чешскаго

вопроса связано съ развитіемъ всей Европы въ цѣломъ, и тѣмъ морально укрѣпить стремленіе чеховъ къ свободѣ и усилить ихъ вѣру въ успѣхъ. Онъ указывалъ, что со времени французской революціи процессъ происходитъ въ обратномъ порядкѣ по отношенію къ происходившему ранѣ объединенію отдѣльныхъ разрозненныхъ народовъ. Спустя четверть столѣтія въ своей «Рѣчи къ словакамъ» Бенешъ развивалъ все ту же мысль. Национальный вопросъ въ рамкахъ современныхъ историческихъ тенденцій представляется ему какъ форма борьбы за свободу личной и національной индивидуальности, начатой французской революціей, борьбы за прогрессъ, свободу и демократію. Поэтому онъ былъ убѣжденъ, что «даже самый слабый народъ не можетъ въ наше время пасть въ борьбѣ за свои права». Бенешъ утверждалъ, что «безсмысленно бояться за существованіе нашего народа, или существованіе славянъ, за существованіе вообще малыхъ народовъ. До тѣхъ поръ, пока человечество идетъ тѣмъ путемъ, который избрало въ настоящую эпоху, до тѣхъ поръ и мы будемъ идти въ гору вплоть до достиженія полной своей силы, независимости и свободы».

Бенешъ вѣрилъ, что при всеобщемъ избирательномъ правѣ этой свободы для Чехіи будетъ можно добиться прежде всего благодаря росту демократическихъ убѣжденій и введенію подлинныхъ демократическихъ учреждений и въ Австро-Венгрію; онъ только недоумѣвалъ, что «въ теченіе шестидесяти лѣтъ борьбы никто не догадался, что наша борьба является по существу борьбой съ реакціей и ничѣмъ инымъ». Но это его взглядъ на національный вопросъ логически приводилъ къ революціонной борьбѣ, какъ только Австро-Венгрія во время войны сдѣлала попытку спасти средневѣковое государство и тѣмъ задержать развитіе національной идеи. Чешское революціонное движеніе, соединенное во время мировой войны съ борьбой за демократическую идею, подтвердило справедливость его тогдашнихъ взглядовъ, что «если не самый прямой, то во всякомъ случаѣ самый вѣрный путь къ національному освобожденію есть путь демократіи и борьбы за прогрессъ во имя принциповъ демократіи».

Поэтому Бенешъ прежде всего работалъ надъ укрѣпленіемъ демократическихъ взглядовъ въ чешскомъ мышленіи и въ чешскихъ учреждениях. Поэтому онъ проводилъ демократическій, національно миролюбивый взглядъ въ отношеніи нѣмцевъ въ Чехіи, прикнувъ къ тому Масариковскому принципу, который послѣ войны способствовалъ мирному развитію возрожденнаго

чешскаго государства и въ то же время помочь приобрести въ мировомъ общественномъ мнѣніи доброе имя чешской республики. Онъ писалъ: «До тѣхъ поръ пока мы не установимъ у себя полное гражданское равенство, подлинное демократическое управленіе, такъ чтобы нѣмцы дѣйствительно чувствовали бы себя равными съ нами во всѣхъ отношеніяхъ, хотя они и въ меньшинствѣ у насъ, до тѣхъ поръ мы сами не имѣемъ права требовать для себя чешскаго государства, ибо въ такомъ случаѣ насъ смогутъ обвинять въ національномъ притѣсненіи нѣмцевъ, у насъ будетъ національная борьба, неизбежно связанная съ недемократическимъ управленіемъ въ разноплеменномъ государствѣ».

Поражаетъ всегда конкретность сужденій Бенеша при обсужденіи имъ какихъ бы то ни было вопросовъ. Онъ всегда ихъ анализировалъ и стремился разрѣшить не абстрактно, а непременно въ связи съ реальными условіями жизни собственнаго народа. Для будущей дѣятельности Бенеша это обстоятельство имѣло, пожалуй, рѣшающее значеніе. Это вело его къ изученію всѣхъ сторонъ чешской проблемы и къ анализу всѣхъ возможностей ея разрѣшенія.

Для его дѣятельности во время войны пригодилось и то, что при разработкѣ избранной имъ темы докторской диссертации онъ ознакомился не только съ правовой стороной исторіи чешскаго вопроса, но и со всѣми современными политическими теоріями по національному вопросу. Свѣдѣнія, приобретенныя имъ по этому вопросу путемъ изученія тогдашней литературы, онъ систематизировалъ въ своей докторской работѣ «Австрійская проблема», способомъ, являющимся для 23-хъ лѣтняго автора дѣйствительно исключительнымъ. Правда, въ то время Бенешъ еще не вѣрилъ въ возможность развала Австріи, въ виду историческихъ и экономическихъ узъ, связывающихъ живущіе въ имперіи народы, но несмотря на это его работа какъ-то пронизана подлинно демократическими, антидинастическими, а благодаря этому и революціонными взглядами. «Я попытался установить, — пишетъ въ предисловіи Бенешъ, — отвѣтственность династіи Габсбурговъ за происходящую теперь страстную борьбу австрійскихъ народовъ. Централистическія стремленія династіи являются подлинной причиной австрійскаго вопроса. Лишь благодаря абсолютизму и централизму этотъ вопросъ теперь такъ осложненъ; единственное лѣкарство противъ зла — демократизація и децентрализація». Эти положенія, развиваемыя и подтверждаемыя на всѣхъ трехстахъ страницахъ книги, характеризуютъ радикализмъ взгляда Бенеша на чеш-

скій и австрійскій вопросъ; въ предисловіи онъ еще подчеркнуть не только констатированіемъ, что «положеніе въ Австріи становится невыносимымъ», не только частыми выпадами противъ династій, но и постояннымъ утвержденіемъ, что «національный принципъ въ концѣ концовъ означаетъ право народа на независимость».

Конечно, въ свое время были справедливы слова Бенеша, что «подлинная и честная конституція, даже болѣе или менѣе централистская, но принятая въ согласіи съ народами, является единственнымъ средствомъ сдѣлать Австрію цвѣтушей и сильной». Однако Бенешъ никогда не закрывалъ глазъ на затрудненія, которыя стоятъ на пути къ осуществленію подобнаго плана, констатируя, что «въ Австріи никогда не понимали силы идей... никогда не умѣли использовать моментъ, когда было необходимо отказаться отъ пережитковъ болѣе непримѣнимыхъ при новыхъ условіяхъ». Въ связи съ этимъ для насъ становится понятнымъ скрытый смыслъ его замѣчанія: «вполнѣ понятно, что народы Австріи, если они хотятъ наконецъ послѣ долгой борьбы добиться продолжительнаго мира, должны начать тамъ, гдѣ остановилась революція 1848 года».

Въ своемъ стремленіи къ радикальной перестройкѣ Австріи въ демократическое государство, отвѣчающее національнымъ чешскимъ требованіямъ, Бенешъ считалъ въ то время проблему чешской независимости второстепенной. Не придавалъ онъ большаго значенія, чѣмъ оно въ дѣйствительности имѣло, и чешскому государственному праву. «Конечно, было бы неправильно отречься а priori отъ чешскаго государственнаго права и дѣлать изъ этого отказа принципъ, но дѣлать изъ него условіе *sine qua non* политическаго существованія все же смѣшно. Въ борьбѣ побѣждаетъ лишь тотъ, у кого есть чувство реальнаго и возможнаго». «Конечно, — пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — историческое право не является вещью лишней цѣны, но для того, чтобы имъ воспользоваться, необходимо наступленіе благоприятной политической ситуаціи». Что Бенешъ обладалъ этимъ чувствомъ реальности, что онъ умѣлъ использовать благоприятную политическую ситуацію, доказалъ онъ лучше всего своей работой черезъ семь лѣтъ послѣ опубликованія вышецитируемыхъ строкъ.

Книга «Австрійская проблема» интересна не только для характеристики довоенныхъ взглядовъ Бенеша. Она цѣнна еще и потому, что въ ней собраны всѣ данныя о развитіи чешской идеи, которыми Бенешъ могъ оперировать при своей ра-

ботѣ во время войны, въ своихъ статьяхъ объ Австріи, но главнымъ образомъ въ своей книгѣ «*Détruisez l'Autriche-Hongrie*», изданной въ 1916 году. Въ книгѣ этой, правда, не говорится о словацкомъ вопросѣ, такъ какъ она посвящена исключительно борьбѣ народовъ въ предѣлахъ Австріи. Несмотря на то, что ни одна изъ извѣстныхъ намъ довоенныхъ работъ Бенеша не касается словацкой проблемы, мы можемъ судить на основаніи разсужденій объ отношеніяхъ чешской и венгерской политики въ книгѣ «Австрийская проблема», что онъ былъ достаточно о ней освѣдомленъ. Словацкій вопросъ привлекалъ его вниманіе уже во время его пребыванія въ Парижѣ и слѣды этого интереса мы можемъ найти во многихъ его статьяхъ. Характерно замѣчаніе, сдѣланное имъ по этому поводу въ этюдѣ о современномъ журнализмѣ: «Въ Венгріи живетъ рыцарскій народъ — мадьяры, который всевозможными гнусными средствами уничтожаетъ словаковъ и этимъ доказываетъ всему свѣту свое рыцарство. Однако миръ можетъ это когда-либо открыть и тогда конецъ доброй репутаціи этого народа, вѣрнѣе правящихъ его слоевъ».

Работу на пользу народа, которую онъ считалъ необходимой для его лучшаго будущаго, Бенешъ велъ въ трехъ направленіяхъ. Прежде всего онъ считалъ весьма важнымъ освѣдомлять заграницу о чешскихъ событіяхъ.

По ряду обстоятельствъ, предшествовавшихъ выходу книги «Австрийская проблема», можно заключить, что онъ работалъ надъ этимъ трудомъ не только изъ желанія расширить свое образованіе, но и изъ сознанія необходимости освѣдомить иностранцевъ о чешскихъ стремленіяхъ, горестяхъ и усиліяхъ, и привлечь ихъ на сторону чеховъ. Вѣдь уже въ теченіе студенческихъ лѣтъ это желаніе руководило всѣми его дѣйствіями. Полная неосвѣдомленность въ чешскомъ вопросѣ, съ которой онъ сталкивался на каждомъ шагѣ во время своего пребыванія за границей, должна была къ этому привести. Особенно сильно на него подѣйствовало невѣдѣніе, найденное имъ въ русскихъ кругахъ. «Ты бы ужаснулся, — писалъ онъ въ 1905 г. изъ Парижа брату Войтеху, — если бы увидѣлъ, какъ здѣсь смотрять, или вѣрнѣе не смотрять на чеховъ; никто насъ не знаетъ, никто о насъ ничего не знаетъ. Русскіе смотрять на насъ сверху внизъ... Много иллюзій я здѣсь утратилъ». Уже въ 1905 г., будучи еще юношей, Бенешъ созналъ необходимость інформаціонной работы и началъ практически ее осуществлять. Особенно успѣшно онъ проникаетъ съ 1907 г. во французскіе социалистическіе журналы, въ которыхъ онъ печаталъ рядъ

статей и во время войны. Бенешъ хорошо сознавалъ политическое значеніе этого сотрудничества.

Бенешъ кромѣ того ясно отдавалъ себѣ отчетъ въ необходимости политической культуры для побѣды демократическихъ принциповъ и для обезпеченія лучшаго будущаго народа. «Больше всего нужна интенсивная дѣятельность именно на этомъ поприщѣ; тѣ, для кого дорого разрѣшеніе чешскаго вопроса и счастье нашего народа, должны сосредоточить свои усилія именно въ этомъ направленіи». Поэтому и самъ Бенешъ обращалъ столько вниманія на созданіе учреждений, могущихъ облегчить ростъ политической культуры въ странѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовать воспитанію демократическихъ вождей, въ наличности которыхъ онъ видѣлъ одну изъ предпосылокъ для успѣха демократіи. Поэтому уже въ своихъ корреспондентскихъ изъ Парижа онъ обращалъ столько вниманія на школы.

Правильно, наконецъ, угадать онъ и одну изъ главныхъ причинъ низкаго уровня политической культуры; въ одномъ изъ своихъ обращеній къ студенчеству онъ писалъ: «Человѣкъ — это то, что составляетъ его философію. А вѣдь какъ разъ наблюдаемая нами отрицательная сторона общественной жизни происходитъ отъ того, что общій уровень философскаго образованія у насъ ничтоженъ, жалокъ, низокъ. Необходимо, чтобы молодое поколѣніе въ эпоху, когда передъ нимъ открываются столько широкихъ возможностей, обратило особое вниманіе на эту сторону своего образованія. Вѣдь именно философскія науки могутъ открыть передъ человѣкомъ глубокіи смыслъ жизни, разъяснить выдвигаемыя ею ответственнѣйшіе вопросы, сдѣлать его серьезнымъ, честнымъ, прямымъ, сознательнымъ и стойкимъ».

Национальная идея въ сочетаніи съ идеей демократіи была руководящей нитью, которой Бенешъ неизмѣнно придерживался въ политической жизни. Въ преданности этимъ идеямъ онъ былъ фанатикомъ. Опытъ однако его научилъ не быть узкимъ-партийнымъ фанатикомъ. Онъ всегда имѣлъ въ виду полнѣйшую дѣйствительность и руководствовался всегда болѣе аргументами отъ жизни, чѣмъ сухой буквой какой-либо политической программѣ. Очень характерно для Бенеша, что въ тотъ моментъ, когда онъ еще былъ яркимъ антиклерикаломъ и принималъ участіе въ борьбѣ по релігіознымъ вопросамъ, у него все же нашлось достаточно мужества, чтобы трезво смотрѣть дѣйствительности въ глаза. Будучи и тогда, въ 1907 г., послѣдовательнымъ сторонникомъ отдѣленія церкви отъ государства, онъ однако не колебался констатировать всю связь

ность данного вопроса, обращая внимание на невыгоды слишком поспѣшнаго и радикальнаго рѣшенія, приведшаго, напр., Францію къ серьезнымъ затрудненіямъ. «Неоспоримо, — пишетъ онъ въ 1907 г., — что первый законъ объ отдѣленіи далеко не совершененъ... Законъ не предвидѣлъ того, что случилось, т. е. организованнаго сопротивленія папы и церкви». Не менѣе характерно однако для Бенеша и другое замѣчаніе въ той же статьѣ: «Франція можетъ быть для насъ примѣромъ либерализма, съ какимъ государство обращается со своимъ вѣчнымъ врагомъ-церковью». И въ другихъ отношеніяхъ Бенешъ былъ противникомъ слѣпого партійнаго фанатизма, который ради своихъ эгонстическихъ интересовъ перестаетъ видѣть интересы цѣлаго, народа, человѣчества. Приведемъ его слова, которыми въ статьѣ «Вліяніе Масарика на наше молодое поколѣніе» онъ какъ разъ осуждаетъ фанатизмъ нѣкоторыхъ членовъ своей собственной партіи: «Откровенность, терпимость, педагогическіе методы Масарика не были поняты и благодаря этому созданъ столь непріятный, отвратительный и недемократическій типъ аристократическаго чешскаго реалиста изданія 1900 г., который становился по всякому случаю на ходули критики и который своей надменностью отталкивалъ широкія массы, признающія Масарика и его идеи».

Въ партійномъ фанатизмѣ, проявляющемъ себя во всѣхъ, особенно же въ крупныхъ партіяхъ, Бенешъ видѣлъ въ моментъ приближенія военной катастрофы опасность для народа. Поэтому онъ съ нимъ такъ боролся въ своей критикѣ политическихъ партій въ 1914 г., не зная еще, что близокъ тотъ моментъ, когда лояльное сотрудничество членовъ всѣхъ партій станетъ въ области иностранной политики предпосылкой и залогомъ побѣды въ великой борьбѣ, которую принесла съ собою міровая война.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что въ моментъ, когда разразилась военная катастрофа, Бенешъ былъ весьма основательно подготовленъ для пониманія сущности мірового кризиса, а также для того, чтобы найти правильный подходъ къ открывшимся передъ нимъ задачамъ и приняться за работу съ упорствомъ, и готовностью къ самопожертвованію, столь необходимыми въ такой тяжелый моментъ.

Ярославъ Папоушекъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

Во власти иллюзий *)

Каждый из нас, если немножко задумается и сравнить собственные наблюдения над жизнью съ ихъ отраженіемъ въ повседневной печати, въ сфабрикованномъ ею среднемъ общественномъ мнѣніи, пойметъ, какъ все труднѣе и труднѣе становится видѣть непосредственно жизнь, ощущать ея смыслъ какъ онъ есть, избѣгая въ своемъ собственномъ мозгу нафуженныхъ стандартизованными формами извилинъ.

Что же есть? Ничего изъ тѣхъ словесныхъ формулъ максимальнаго гуманизма и демократизма, которыя стали серіями выбрасываться въ окопы во всѣхъ западныхъ (кроме Россіи) воюющихъ государствахъ и которыя въ завершенномъ видѣ были изложены въ вступительныхъ статьяхъ Версальскаго договора и въ уставѣ Лиги Націй.

Что же есть? — Все, что привело къ Великой войнѣ, и что этой «последней» войной должно было быть навсегда, въ порядкѣ декрета побѣдителей, отмѣнено. Все старое и во столько же разъ ухудшенное, во сколько разъ труднѣе стало прикрывать циничную сущность международныхъ отношеній отъ иллюзий разбуженныхъ военной демагогіей толпы.

Вѣнскій конгрессъ 1815 года есть идеаль обще-европейскаго языка, международной солидарности, гуманизма, по сравненію съ мирнымъ конгрессомъ 1919 года. Ибо тогда, на мѣстѣ пустой нынѣ словесной формулы обще-европейской солидарности, знаменитыхъ Соединенныхъ Штатовъ Европы Бриана, стояла простенькая, домашняя, можно сказать, идея семейной солидарности всѣхъ правящихъ династій. Солидарность же трудящихся превратила Европу въ костеръ, пронизанный пламенемъ взаимной ненависти и жажды взаимонстребленія.

А во что превратилась величайшая гордость Версальскаго

*) Помѣщая статью А. Ф. Керенскаго, редакция оговариваетъ неполное согласіе съ нею. Даваемая ею оцѣнка международного положенія Россіи, на нашъ взглядъ чрезмѣрно пессимистическая, можетъ дать видимость оправданія отказу отъ попытокъ внѣшней обороны Россіи въ нынѣшнихъ ея условияхъ. — Ред.

трактата — вссобщесъ разоруженіе? — Въ свою чудовищную противоположность; превратилась до Гитлера, его выталкивая на авансцену Германской республики, которая существовала не только безъ внутреннихъ, какъ говорятъ, республиканцевъ, но и безъ окруженія извнѣ тѣмъ новымъ демократическимъ міромъ, который будто бы существовать въ Европѣ по словеснымъ формуламъ послѣвоенной демагогіи. А практику самоопредѣленія народовъ можно во всемъ блескѣ наблюдать во многихъ уголкахъ Европы, и не только въ Австріи.

Для установленія этихъ фактовъ реальной жизни совершенно неважно, кто виноватъ, кто правъ. Возьмите идеологію націоналистовъ нѣмецкихъ или французскихъ; признайте империализмъ Италіи или агрессивность Югославіи, встаньте на сторону Пилсудскаго или Бенеша въ распрѣ Славянъ между собою — это дѣло личнаго вкуса, симпатій, интересовъ, объективности, расчета. Сторонній наблюдатель долженъ только признать: законъ жизни послѣвоенной Европы — это крайнее и напряженіе національныхъ страстей, хозяйственной борьбы и стремленія къ полному уничтоженію соперниковъ. Борьба на истощеніе, сухая война продолжается, и горе тому, кто въ этой войнѣ превращается изъ равноправнаго субъекта состязанія въ объектъ чужихъ аппетитовъ.

Боже мой, какое сейчасъ происходитъ великое культурное торжество, если почитать самыя консервативныя и даже реакціонныя французскія газеты!

Впервые — запомните, впервые, — Россія возвращается въ семью культурныхъ народовъ. Впервые большевики всерьезъ и навсегда отказываются отъ своихъ идей міровой революціи. Первые изъ агентовъ III Интернаціонала, господа Литвиновы и Радеки, превращаются въ пророковъ всеобщей любви и примиренія, становятся вѣрными носителями заветовъ французской революціи. И наконецъ, какъ неуклонные защитники міровой демократіи — они вступаютъ въ Лигу Націй. Оказывается, Лига Націй изъ года въ годъ хирѣла и слабѣла, и не было лучшаго способа возстановить ея моральную силу и духовный авторитетъ, какъ пресли туда духовныхъ отцовъ и родоначальниковъ всяческой реакціи, всяческаго ужаса, всѣхъ Гитлеровъ и члѣвъ взятыхъ.

Однихъ среди насъ это очередное женевское дѣйство сводитъ почти съ ума: развѣ такой международный апофеозъ счастаго отвратительнаго самовластія не можетъ убить послѣдніе остатки вѣры въ дорогія когда-то намъ человѣческія слова — право, свобода, солидарность, демократія?! Другіе, безсильные

примирить жуткую действительность съ привычными своими формулами, готовы успокоиться на прекраснодушныхъ изліаніяхъ французской или англійской печати только для того, чтобы не разрушить въ себѣ воспринятаго съ политическихъ пеленокъ міѳа о странахъ свободы равенства и братства; о европейскихъ демократіяхъ, подымающихъ свой стягъ противъ всякихъ пережитковъ въ Европѣ средневѣковаго самовластія; особенно трогательную, влекущую легенду о новомъ рабочемъ трудовомъ человѣчествѣ, повсюду единомъ, солидарномъ, ненавидящемъ ложь и насиліе, отмечающемъ отъ себя всѣ старья буржуазныя манеры и съ управленіи государствомъ и въ международныхъ отношеніяхъ. Третьи, наконецъ, неистовствуютъ въ бурчеевскомъ восторгѣ: вотъ вамъ ваша демократіи, сентиментальные дурачки!

Противъ врага можно готовить стрѣлы изъ всякаго дерева, такъ оправдывали въ XVI в. современники политику французскаго короля Франсиска I, который для борьбы со своими европейскими христіанскими князьями вошелъ въ союзъ съ турецкимъ султаномъ Сулейманомъ Великолепнымъ. Таковъ суровый законъ жизни. Горе той націи, которая за себя не борется, а превращается въ средство борьбы для другихъ. Къ этому состоянію приведена уже Россія большевиками, къ тому же идетъ Германія подъ Гитлеромъ. Поэтому большевизская стрѣла и выпала изъ колчана Германіи и лежитъ въ Парижѣ на тетивѣ лука, нацѣленнаго на Берлинъ.

Нѣкоторые объясняютъ случайностью трагическимъ сдѣленіемъ ряда ошибокъ, то, что демократическая Германія не сумѣла сговориться съ Франціей. Не знаю. Думаю, что соблазнъ идути подъ давленіемъ болѣе глубокихъ, скрытыхъ отъ разсудка, подсознательныхъ національныхъ процессовъ. Национальныя цѣли Франціи и Германіи, всегда противоположныя, послѣ Версальскаго договора стали несомѣстимыми: Парижъ долженъ хранить то, что обреченъ взрывать Берлинъ. «Потенціалъ» же Германіи огроменъ. Дѣло не въ количествѣ пушекъ и аэроплановъ, дѣло въ статистикѣ народонаселенія, въ огромной способности къ организаціи, къ муравьиному сплоченію, къ неизсякаемой хозяйственно-творческой индустриальной энергіи. Разговоры о военной готовности Германіи только смываютъ ея грядущихъ возможностей, если она вернетъ себѣ всю доверсальскую свободу дѣйствій. Нелѣпо примѣнять къ стихіи моральныя оцѣнки. Нѣмецъ не можетъ, чувствуя въ себѣ силу, не ошущать себя въ желѣзной клѣткѣ, не рваться на свободу. Франція знаетъ, что не повторится больше то стеченіе исто-

рическихъ благоприятныхъ условий, которыя дали ей «Версаль», какъ ничто не повторяется въ жизни. Сохраняя, она должна множить средства обороны, не противъ гитлеровскихъ войскъ, а противъ грядущаго — возможнаго неблагоприятнаго сложения международныхъ силъ. И чѣмъ стремительнѣе развиваются разрушительныя для національнаго тѣла Германіи послѣдствія гитлеровской диктатуры, тѣмъ больше количество стрѣлъ, сдѣланныхъ изъ любого дерева, попадаетъ въ колчанъ Франціи.

Опять же, если смотрѣть на жизнь, выбросивъ изъ головы словесныя формулы о солидарности трудящихся, о вѣчной дружбѣ между народами, о долгѣ благодарности, то не будетъ и тутъ у насъ никакой почвы для переоцѣнки цѣнностей. Правильно недавно написалъ Муссолини: «Претендовать на то, чтобы чужое государство дѣлало политику, которая прежде всего не является защитой его собственной страны, — значитъ проявлять наивную глупость».

Не нужно считать людей, дѣлающихъ непріятную или непонятную для насъ политику, глупѣ себя. Никогда защитникъ не выиграетъ дѣла, если не станетъ сначала про себя на прокурорскую точку зрѣнія и не подвергнетъ доводы защиты самой суровой критикѣ. Вся дипломатическая словесность, поддерживаемая благочестивыми легендами знатныхъ путешественниковъ въ Москву, которой сопровождается установленіе франко-большевицкой дружбы и интронизация Литвинова въ Женевѣ, настолько невѣроятна, фантастична, настолько противорѣчитъ общеизвѣстнымъ фактамъ совѣтской дѣйствительности, что трудно допустить мысль, что такіе изошренные государственные дѣятели, какъ Думергъ и Барту, такіе бездошные реалисты, какъ Тардье или Лаваль, могли подвергнуться обработкѣ большевицкихъ пропагандистовъ съ такой же легкостью, какъ какой-нибудь Жиромскій или Эррио.

Что въ Россіи, подъ прессомъ бессмысленнаго террора, населеніе вырождается, хозяйство разрушается, государство распадается, извѣстно каждому объективному и честному иностранному наблюдателю и не можетъ не быть извѣстнымъ правительству Франціи. Какъ разъ въ дни пріема Литвинова въ Лигу Націй, во Франціи опубликовано воззваніе о помощи вымирающимъ съ голоду евреямъ въ Россіи; воззваніе подписано великимъ раввиномъ Франціи и очень многими представителями еврейской общественности. При наличіи гитлеровской Гер-

мани, еврейскіе общественные дѣятели — что съ ихъ національной точки зрѣнія совершенно естественно — вовсе не склонны въ какой бы то ни было степени преувеличивать большевицкіе ужасы. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ русскими эмигрантами, преданность которыхъ своему умученному народу давно почитается у иностранныхъ правителей, устремившихся въ Кремль, реакціоннымъ брюзжаніемъ. Причѣты невыносимыхъ мукъ, голода, приведенные въ воззваніи раввиновъ, повторяются въ корреспонденціяхъ нѣкоторыхъ англійскихъ газетъ, гдѣ еще не совсѣмъ померкло «наивное» чувство человѣческой солидарности.

Отъ Кіева до Ташкента мужичье мретъ отъ голода и разбѣгается, дорѣзывая свою послѣднюю скотину. Частныя письма, приходящія уже теперь, послѣ «блестящаго урожая», слѣдѣтельствуютъ, что не только продовольственная, но и вся хозяйственная жизнь продолжаетъ разрушаться. Люди, живущіе въ столицѣ, вымалываютъ изъ-за границы присылку самыхъ копѣчныхъ лѣкарствъ. Этимъ лѣтомъ недалекъ отъ Москвы, нѣкоторые уѣздные города, куда пріѣзжали столичные дачники, вмѣстѣ съ заходомъ солнца погружались въ полныи мракъ, ибо въ странѣ, перегнавшей Америку, единственнымъ освѣщеніемъ для обывателя оказывается величайшее достиженіе «соціалистическаго строительства» — лучина.

Впрочемъ, стоитъ-ли дальше продолжать напечинать общеизвѣстные факты, которые однимъ слишкомъ хорошо извѣстны и которые другимъ никогда не будутъ извѣстны, ибо ничего разрушающаго мнѣ о хозяйственныхъ достиженіяхъ и демократическихъ добродѣтеляхъ большевиковъ они знать не хотятъ, а часто не смѣютъ.

Въ послѣднемъ № 9 «Новаго Града» напечатаны строки, написанныя человѣкомъ, который умѣетъ видѣть жизнь голой, какъ она есть. — «Послѣдняя весна въ Россіи нисколько не отразилась на всеобщемъ государственномъ рабствѣ. Скорѣе она усиливаетъ режимъ личной деспотіи. Никогда еще партійная оппозиція не была такъ задущена, какъ сейчасъ. Никогда печать не доходила до такого пресмыкательства передъ диктаторомъ. Въ Россіи въ этомъ году не ѣли людей (в есной ѣли А. К.). Но ихъ попрежнему убиваютъ, а главное обращаютъ въ рабство. Трудомъ рабовъ и крѣпостнымъ строятся гигантскіе заводы, прокладываютъ канаты, колонизируется дикій сѣверъ. Россія эволюционируетъ замѣтно, но не въ сторону свободы, а въ сторону древне-азіатскаго крѣ-

постного царства». Характеристика сталинской диктатуры совершенно точная, во всем соответствующая всем подробностям обихода диктатуры.

Древне-азиатское крепостное царство, вернувшее культуру страну к людоедству, призвано быть опорой «величайшего достижения демократии» — Лиги Наций. Крепостники становятся по усилению приглашению французской республики в первые ряды «защитников мировой демократии от германского варварства».

Франция знает, что такое сталинизм, и Франция знает, что она дала. Ей нужны сейчас именно большевики, как они есть: удобный дублер, исполнительный подголосок, для дипломатических надобностей. Должен сказать, что даже как-то неловко читать теперь статьи Карла Радека и речеи Литвинова. Пересказ своими словами статей из «Темпс» и речеи Барту сделать сликомъ неприкрыто, алиновато. Дублирование графа Ревентлова и Штреземана дѣлалось гораздо тоньше, незаметнѣе, съ осанкой какой-то своей «революціонной независимости».

Допускаю. Многие французы и даже, увы, некоторые русские, забавляемые пишущими в униссонъ большими французскими газетачи, переживаютъ пріятную иллюзію, что Барту снова возлюбилъ Россію, даже въ нудномъ образѣ сталинизма. Какъ было бы хорошо, если бы это было такъ, если бы наконецъ наша Россія въ цѣломъ мѣрѣ хотя бы одно правительство, хотя бы одного государственнаго дѣятеля, которые бы о ней подумали, ей бы помогли. Но этого нѣтъ. Тутъ даже мелочи характерны — отжали въ пользу Румынии Бессарабію (о чемъ не принято говорить въ той средѣ, которая объявляетъ Литвинова осуществителемъ національной международной русской политики), принудили, дабы скорѣе втолкнуть въ Лигу Наций, Сталина отказаться отъ той части правъ члена Лиги Наций, которая давала Россіи возможность охранять права русскаго, бѣлорусскаго и украинскаго меньшинства въ Польшѣ. Впрочемъ, какъ смѣли бы охранять права меньшинствъ люди, лишившіе всѣхъ правъ большинство. Объемъ высокими договаривающимся сторонамъ совершенно судьбы русскаго государства не интересны. Однимъ нужна какая-то вишняя заплата — подлинная интервенція — для сохранения еще на некоторое время возможности безнаказанно истреблять милліоны терроромъ и голодомъ. Другимъ нужно сейчасъ, поскорѣе, крепче ковать об-

ручь дипломатического окружения вокруг «наследственного врага».

Если бы французское правительство помнило о Россіи, хотѣло бы вернуть Россію силой въ Европу, до конца продумало бы ставшее теперь безспорнымъ положеніе: на Востокѣ Европы безъ Россіи обойтись нельзя — оно, подбирая брошенныхъ Германіей большевиковъ, заставило бы ихъ свою помощь оплатить внутренними, хотя бы хозяйственными реформами; ибо безъ помощи Франціи, большевики уже оказались бы сейчасъ передъ новой Цусимой, а безъ коренныхъ внутреннихъ реформъ въ Россіи всякая дипломатическая комбинація съ большевиками, — это домъ, выстроенный на трясинѣ.

И у искреннихъ французовъ, и у русскихъ патриотовъ эмигрантовъ, увѣровавшихъ въ національную политику Литвинова, имѣется весьма печальное и въ извѣстныхъ условіяхъ роковое расхожденіе съ дѣйствительностью. Они желаемое принимаютъ за осуществленное. На мѣсто древне-азиатскаго крепостного государства подставляютъ нѣкую прекрасную даму — національную, хотя бы и въ образѣ большевицкомъ, Россію. Но вѣдь именно въ этомъ и заключается весь нашъ ужасъ, что для большевиковъ не существуетъ при Сталинѣ, какъ не существовало и при Ленинѣ, национальной Россіи. Казенная словесность о «родинѣ», «защитѣ отечества» и т. п. ничего тутъ не мѣняетъ, ибо существо осталось неприкосновеннымъ.

III-й Интернаціональ не страшнѣ другимъ иностраннымъ національнымъ государствамъ. Но правительство, не признающее себя представителемъ государственныхъ интересовъ собственного народа, правительство, даже въ мысли отрицающее свой долгъ во всей своей внутренней и иностранной политикѣ руководствоваться интересами національнаго цѣлаго, — такое правительство есть все, что угодно: революціонное сообщество, международная банда, союзъ политическихъ спортсменовъ; но это не національное правительство, не власть государственная, а паразитъ, эксплуатирующій въ своихъ интересахъ государственный организмъ, народное тѣло, вплоть до его уничтоженія. Большевиизмъ есть раковое образованіе въ народномъ тѣлѣ Россіи. И сейчасъ, вопреки благодушнымъ иллюзіямъ о литвиновской любви къ отечеству и сталинской національной гордости, Россія превратилась изъ субъекта — въ объектъ международной дѣятельности. Замѣстители въ Москвѣ Германіи нечужко опоздали. И наоборотъ, тѣ циники, которые сейчасъ ставятъ открыто на

новый Бресть-Литовскъ, обладаютъ достаточно вѣрнымъ чувствомъ дѣйствительности.

Ибо СССР уже совсѣмъ созрѣлъ для разнаго рода хирургическихъ операций. Можетъ быть это тоже пессимистическая иллюзія, плодъ анти-сталинскаго воображенія? — Отнюдь нѣтъ. Тѣ самые авгуры, которые забиваютъ голову европейскаго обывателя легендами о растущей мощи совѣтскаго союза, думаютъ и знаютъ совсѣмъ другое. Одинъ очень старый, очень опытный, очень любящій Россію дипломатъ говорилъ недавно такъ: Вы думаете, намъ легко разговаривать съ агентами Сталина?.. Но мы любимъ Россію, она намъ нужна, и принимая большевиковъ въ лоно Франціи и малой Антанты, мы вопреки большевикамъ хотимъ спасти Россію отъ расчлененія.

Иллюзія! Оффиціальный представитель одной великой державы, въ особенности заинтересованный въ соотношеніи силъ въ Тихомъ океанѣ, совсѣмъ недавно говорилъ: «состояніе Россіи отчаянное, армія не боеспособна уже потому, что большевики, боясь революціи, не рѣшаются оставлять въ рукахъ солдатъ огнестрѣльнаго оружія. Большевики не союзники — а мертвый грузъ».

Мертвый грузъ. Вымирающая страна. А вокругъ національно слабѣющаго, вымирающаго, хозяйственно-нищающаго государства образуется, какъ вокругъ пустоты, вихрь разгорающихся захватливыхъ аппетитовъ. Въ жестокой борьбѣ за существованіе великихъ государствъ слабѣющимъ среди нихъ нѣтъ и не можетъ быть пощады. Таковъ законъ жизни.

Пусть прекраснодушные Эррио и Жоржи Бонне расписываютъ умиленнымъ перомъ сталинскія достиженія. Пусть Литвинова превращаютъ въ князя Горчакова, пусть въ Лигѣ Націй всѣ дипломатическіе соловьи поютъ славу московскимъ миротворцамъ и защитникамъ угрожаемой Германіей западной демократіи. Все это — видимость жизни, однимъ пріятная, другимъ отвратительная словесность.

Все содержаніе пылѣющей международной борьбы совсѣмъ не тутъ, совсѣмъ въ другомъ: въ борьбѣ сильныхъ державъ вокругъ уже пустующихъ или еще только пустѣющихъ политико-географическихъ пространствъ. Вокругъ Россіи и Германіи.

Франція стремится довести до логическаго конца международныя слѣдствія гитлеризма. Японія спѣшить — подготавливая

свой плацдармъ для будущихъ великихъ столкновений на Тихомъ океанѣ — обезвредить свои материковые тылы въ Азіи.

**

Съ точки зрѣнія мировой политики большевицко-японскій, дальне-восточный осложненія — только эпизодъ, если хотимъ прологъ къ грядущей японо-американской трагедіи.

Японія, какъ писалъ недавно офиціозъ французскаго министерства иностранныхъ дѣлъ, вовсе не заинтересована, и по ряду причинъ даже не хочетъ аннексій (захвата) русскаго Дальняго Востока. Ея національная задача — въ Манчуріи, въ Монголіи, въ Китаѣ, въ Тихомъ океанѣ. Но ей нуженъ употребленный Китай (чего теперь хочетъ Чей-Канъ-Шекъ), ей необходимъ совершенно обезпеченный тылъ и собственная не американская нефть. И я не говорю о томъ, чего бы хотѣла и чего бы добивалась Японія, если бы въ ея азіатскихъ тылахъ существовала крѣпкая, мощная Россія съ правительствомъ, руководящимся только правильно понятыми государственными интересами своей собственной страны. Этого нѣтъ и японская программа естественно превращается въ программу максимумъ.

10-го сентября тотъ же «Temps» напечаталъ телефонное сообщеніе своего корреспондента изъ Москвы о военныхъ приготовленияхъ Соединенныхъ Штатовъ на Аляскѣ. Аляска, гдѣ нѣтъ ни одного большого города и гдѣ населеніе не достигаетъ шестидесяти тысячъ, имѣетъ уже сейчасъ 72 аэродрома и 6 аэропортовъ, устроенныхъ въ наиболѣе важныхъ стратегическихъ пунктахъ. На Аляскѣ сейчасъ 470 англійскихъ миль желѣзнодорожнаго пути и особая телеграфная сѣтъ, находящаяся подъ полнымъ контролемъ военного начальства и располагающая 35 станціями. «Москва, заканчиваетъ софтофильскій корреспондентъ, полагаетъ огромныя надежды на сотрудничество (какое? А. К.) съ Соединенными Штатами и поэтому очень сочувственно относится къ успѣшному оборудованію (военному. А. К.) Аляски».

Кто знаетъ немножко положеніе вещей въ Тихомъ океанѣ и на Дальнемъ Востокѣ, понимаетъ все трагическое значеніе этой большевицкой радости по поводу подготовки американцами военной базы въ самыхъ чувствительныхъ тылахъ Японіи. Вѣдь если американцы успѣютъ до конца довести свою военную подготовку на Аляскѣ и проявить свое сотрудничество съ большевиками на Камчаткѣ и ниже, (чѣмъ, кстати сказать,

Литвиновъ усиленно соблазнялъ Вашингтонъ во время поѣздки туда), то вопросъ о результатѣ борьбы на Тихомъ океанѣ уже будетъ тѣмъ самымъ разрѣшенъ противъ Японіи. Я вовсе не говорю, что интересы Россіи тому противорѣчатъ. Но для того, чтобы вклиниваться въ назрѣвающее между колоссами столкновение, Россія прежде всего сама должна быть велика, сама должна не только обладать мощью трехъ, четырехъ сотенъ бомбометовъ, но владѣть всей хозяйственной техникой, транспортомъ, имѣть сытое населеніе и современное, а не древне-азиатское крѣпостное государство. Въ этихъ условіяхъ СССР играетъ роль циркового «Рыжого», который своими нелѣпыми жестами и бессмысленными выкриками вызываетъ на игру «Умного».

Когда Москва находится во власти «Рыжихъ», всѣ эти литвиновскіе жесты «національной» политики вродѣ «сотрудничества» съ Соединенными Штатами, становятся провокаціей и источникомъ величайшихъ для Россіи униженій и бѣдствій.

Чѣмъ настойчивѣе демонстрируютъ большевики свою дружбу съ Соединенными Штатами, тѣмъ больше торопятся японцы ускорить дальневосточную развязку. Ближайшая задача Америки — встрѣтить на мировой морской конференціи 1935 года Японію со связанными руками на Дальнемъ Востока. Задача Японіи — придти на конференцію съ обеспеченнымъ дальневосточнымъ тыломъ.

Безконечная канитель вокругъ такъ называемой продажи В.-К. ж. д. ничему не поможетъ. Объ этомъ уже теперь въ прямыхъ переговорахъ Москва - Токио рѣдко упоминается. Какъ извѣстно, въ началѣ сентября японскій посоль въ Москвѣ «отъ себя» предложилъ замѣстителю Литвинова Стомонякову покончить дѣло миромъ: скрыть на Дальнемъ Востока укрѣпленія, уничтожить авіаціонныя базы и вывести войска. Смыслъ этой «личной» инициативы японскаго дипломата самъ собой понятенъ: большевнико-японскія отношенія находятся сейчасъ въ критической точкѣ.

И можетъ быть вся спѣшка съ включеніемъ сталинскихъ агентовъ въ Лигу Націй станетъ намъ понятна, если вѣрны слухи о другомъ разговорѣ, на другомъ концѣ Европы. Еще въ началѣ августа къ одному изъ нынѣшнихъ покровителей Кремля, приходилъ другой японскій дипломатъ и уже не «отъ себя» предлагалъ друзьямъ большевиковъ помочь мирно закончить дальне-восточное недоразумѣніе. Изложивъ достаточно откровенно положеніе Японіи, дипломатъ изъ Токио какъ разъ сказалъ то же самое, что японскій посоль въ Москвѣ, только

добавилъ еще о необходимости передать Японіи въ эксплуатацію нефть на совѣтскомъ Сахалинѣ, съ правомъ имѣть собственную японскую на промыслахъ полицію.

Спрашивается: можетъ ли Франція изъ-за русскаго Дальняго Востока ссориться съ Японіей, когда и сами-то большевики ей нужны только въ Европѣ и только въ качествѣ достойнаго соратника въ борьбѣ съ германскимъ варварствомъ?

Нынѣшнее состояніе японско-большевицкихъ отношеній объясняетъ намъ и польскій «бунтъ» противъ такъ называемаго «Восточнаго Локарно». Надо разсматривать международное положеніе, снявъ очки всяческихъ иллюзій. Для того же, чтобы оцѣнить со спокойной объективностью позицію врага (а Пилсудскій не скрываетъ своихъ чувствъ къ Россіи, потому и поддерживаетъ дружбу съ большевиками), нужно, какъ говорилъ Брианъ, войти въ его шкуру. Долгіе годы Пилсудскій готовилъ апофеозъ своего царствованія — возрожденіе великой польской конфедераціи: Польша, Галиція, Украина, Литва. Многіе годы поляки откровенно изъясняли свою точку зрѣнія въ Парижѣ. Утверждали здѣсь, что для окончательнаго закрѣпленія версальской Европы нужно держать Россію подъ большевиками въ параличѣ по крайней мѣрѣ лѣтъ двадцать пять. Пока были большевики съ Германіей, польскій планъ отнюдь не волновалъ, на примѣръ, господинъ Барту. Больше того, сами большевики, облыжно утверждавшіе нынѣ, что о н и порвали съ Германіей, потому что подручный у Гитлера русскій нѣмецъ фонъ Розенбергъ объявилъ колонизацію Украины очередной задачей Германіи — сами большевики охотно дружили съ Пилсудскимъ, откровенно посылавшимъ своихъ агентовъ по сепаратизму и въ Кіевъ, и въ Харьковъ.

Спрашивается: какія же новыя и весьма важныя обстоятельства международной жизни обязываютъ маршала Пилсудскаго ни съ того, ни съ сего взорвать всю свою политику въ Россіи? Вѣдь именно теперь большевики какъ никогда подготавливаютъ «тюрьму народовъ» къ окончательному распаду. А уже нынѣшнее обвиненіе Бека и Пилсудскаго въ германофильствѣ немножко, по правдѣ сказать, даже комично. Во-первыхъ, какъ всякій государственный человѣкъ, Пилсудскій имѣетъ право быть всегда только полонофиломъ, мѣня остальныя «фильства» какъ перчатки, какъ это дѣлаютъ всѣ уважающіе себя «великіе» государственные дѣятели. А кромѣ того, вѣдь все-таки легіоны-то Пилсудскаго во время войны не въ Россіи или во Франціи выросли, какъ чехословацкіе.

Я понимаю панику Сталина: — взглянуть на Дальний Восток — японцы; на запад — поляки и немецкая загадка; на юг — грузины и прочие кавказцы (впрочем, без армян). Уже снова гарнующие на польских сдлах своего сепаратизма; из русского Туркестана можно и без подозрительной трубки увидать японскія лица, и въ Персіи и въ Афганистанѣ. Въ самой Японіи, въ Кобе, только что дѣломъ состоялся съѣздъ разнаго рода російскихъ мусульманъ-сепаратистовъ, и въ искаженной агентствами фамилии нетрудно было разгадать все то же казанскаго Итихакова, проповѣдника панъ-туркизма отъ предгорій Памира вплоть до Уральскихъ горъ.

Картина, отъ которой поневоля упадешь въ панику и брошишься въ Лигу Націй воспѣвать всѣ добродѣтели Версальскаго договора. Податься больше некуда. А тутъ еще неожиданный зигзагъ... Англии. Казалось, торговымъ дѣмпингомъ Японія совсѣмъ оттолкнула отъ себя всю имперскую британскую федерацию. И вдругъ — перемѣна декораций. Лондонскія газеты мѣняютъ тонъ и начинаютъ заговаривать даже о признаніи Манжу-Ко. Туда ѣдетъ весьма вліятельная торговая делегация. А по европейскимъ обычаямъ мы знаемъ, что безъ благословенія правительства такая делегация изъ Англии не поѣдетъ.

Конечно, новыя лондонскія настроенія еще недостаточно опредѣлились и порождены были цѣлымъ рядомъ междунаrodnыхъ обстоятельствъ, которыя не могутъ быть предметомъ этой статьи. Но безъ ислѣпой провокаціи и здѣсь г. г. Литвиновы, возведенные въ національные политики, обойтись не смогли. Уже въ прошломъ году, въ связи съ возней большевиковъ въ Китайскомъ Туркестанѣ и въ Кашгарѣ, въ консервативныхъ кругахъ Англии снова стали возрождаться Керзеновскія настроенія: тревога за Индію, бессмысленная тревога, навѣрное пещножко искусственная. Но съ этимъ нало было считаться, а большевики продолжали усиленно пробиваться къ индійскимъ границамъ, строятъ насѣхъ стратегическія автомобильныя дороги къ Памиру.

Вотъ, когда видишь передъ собой ясно расположеніе фигуръ на дипломатической шахматной доскѣ — тогда и понимаешь, что борьба за міровой чемпионатъ выходитъ далеко за рамки и «сложенія силъ» въ Лигѣ Націй, и франко-большевизмъ и дружба, и вообще Европы. Большевицкій козырь изъ рукъ германской группы державъ перешелъ въ руки группы французской. Вотъ собственно говоря и все. Въ этомъ и заключается вся «національная политика» Литвинова. Когда до Гитлера существовалъ довольно внушительный блокъ Германія-Вен-

грия-Италия и когда у этого блока был капитал сочувствіи и въ скандинавскихъ странахъ, и въ Англии, и въ Вашингтонѣ, существованіе большевицкой диктатуры въ той мѣрѣ, въ какой ей необходима постоянная иностранная поддержка, было достаточно обезпечено. Сейчасъ Франція замѣняетъ Германію. Это превосходно. Но бѣда въ томъ, что Германія была ближе и шла до конца противъ Польши, и на Дальнемъ Востоку искала связи не съ Японіей, а скорѣе съ «революціоннымъ» Китаемъ.

Теперь же получилась нѣкоторая неувязка, нечеткость линий. Два окруженія какъ-то перепутались. Польшѣ надо быть здѣсь, — она тамъ. На пользу большевикамъ нужно идти противъ Японіи, а нельзя. Нужно бороться съ германскимъ варваризмомъ, и для этого въ свой станъ пускать варварство большевицкое. Получается уже неувязка моральная, хотя въ реальной политикѣ и неучитываемая, но гдѣ-то, какъ-то на человеческую массу свое разлагающее вліяніе оказывающая.

**

Мой выводъ: «національная политика» Литвинова — только пустой и вредный миражъ. — Внутри Россіи ничего не мѣняется, и съ неотвратимой послѣдовательностью распадь государства російскаго продолжается. Часто приходится слышать рѣзкое сужденіе: но все-таки вы должны признать, что то, что досталось большевикамъ въ руки, они добросовѣстно хранятъ. Гдѣ хранятъ и что хранятъ? Ничего и нигдѣ, а все систематически добровольно уступаютъ, или принудительно теряютъ. Говорятъ, Бессарабія была давно уже фикціей — но теперь и этой фикціи нѣтъ. А когда эта фикція была, защитники международной политики Сталина этой же фикціей козыряли: вотъ видите, ничто не можетъ заставить большевиковъ подписаться подъ акты объ отторженіи Бессарабіи. — Подписали.

За одинъ годъ, безъ всякаго возмѣщенія отказались въ переговорахъ съ Польшей отъ свободы рукъ въ отношеніяхъ съ Литвой, и, входя въ Лигу Націй, ограничили сами себя въ правахъ въ пользу Варшавы. Скажутъ, это мелочи, вопросы скорѣе престижа. Но и мелочи указываютъ направленіе. А Дальній Востокъ? Не будемъ говорить о томъ, что будетъ, но развѣ недостаточно того, что уже было. Унизительное для всякаго государства положеніе большевиковъ въ Манчжуріи объясняется въ дружественныхъ имъ западныхъ кругахъ особымъ свойствомъ отношеній между «азиатскими государствами». Однако, никогда и никто не смѣлъ по-азиатски обращаться съ Россіей до впаденія тачъ большевиковъ.

Существует непреложный законъ: чѣмъ меньше свободы въ государствѣ, тѣмъ менѣе оно способно къ оборонѣ, къ защитѣ своей цѣлостности. Этотъ законъ вытекаетъ вовсе не изъ идеалистическихъ какихъ-либо соображеній, а обосновывается весьма прозаически, можно сказать технически. Война есть завершеніе, апогеозъ дипломатической борьбы. Это завершеніе требуетъ послѣдняго напряженія всѣхъ техническихъ, хозяйственныхъ и моральныхъ силъ страны. И чѣмъ сложнѣе индустриализировано хозяйство эпохи, тѣмъ ответственнѣе и самостоятельнѣе дѣлается роль живой силы. Не можетъ побѣдоносно воевать страна, гдѣ, по признанію самого комиссара путей сообщенія, рельсъ иногда рассыпается, разлетается на семидесять кусковъ. Не можетъ вовсе воевать страна, гдѣ къ этимъ разлетѣвшимся на мелкія части кускамъ матеріальной культуры прибавляется еще распыленная на миллионы частицъ закрѣпощенная живая сила. Она давитъ на дипломатическій и военный аппаратъ мертвымъ грузомъ.

Говорятъ, что предрекать разгромъ — не патриотично. А по-моему, преступно убаюкивать себя и другихъ иллюзіями, бессмысленными мечтами.

Конечно, не въ нашей власти предотвратить событія, но нашъ долгъ видѣть жизнь непосредственно какъ она есть и говорить то, что видишь, не прячась за словесныя формулы, можетъ быть и удобныя для душевнаго спокойствія.

Несомнѣнно, появленіе Гитлера въ Германіи дало въ руки большевиковъ нѣсколько блестящихъ картъ для игры. Можетъ быть даже нѣсколько оттянуло во времени развязку. Но развязка наступить.

Франція и Лига Націй — это послѣдняя защѣлка, ибо Вашингтонъ уже кое-что разглядѣлъ въ совѣтской дѣйствительности. Поэтому, даже большевикамъ мы обязаны сказать — не увлекайтесь иллюзіями. По вашей собственной формулѣ: бытіе опредѣляетъ дипломатическое сознаніе. Правда, послѣ «уничтоженія классовъ» и перевода по сталинскому декрету Россіи въ высшую форму социалистическаго бытія, только что мной приведенная Марксова формула отмінена. Въ социалистическомъ парствѣ — сознаніе опредѣляетъ бытіе. Но вѣдь вѣдь Россіи остался мѣръ и въ особенности мѣръ капиталистической, подавляющей котораго только и существуетъ сталинская диктатура, — въ немъ то ничего не измѣнилось. И вихри враждебныхъ силъ все напористѣе стремятся ворваться въ російскую пустоту.

Можно ошибиться въ срокахъ, но нельзя ошибиться въ на-

правлении развивающихся событий, если знать неотъемлемые законы государственного бытия.

Во времена Николая I патристическое сознание и западни-ковъ и славянофиловъ заранее предвидѣло и предсказывало Севастополь.

Опубликованныя нынѣ воспоминанія, письма и докладныя записки сановниковъ Императора Николая II показываютъ намъ, что эти вѣрнопопдаанные бюрократы предвидѣли иногда катастрофу и гибель династии съ ясностью, которой не достигало оппозиціонное зрѣніе.

Государство гибнетъ, когда на мѣсто правителя встаетъ во-чишникъ, почитающій свои капризы и желанія за потребности государства.

Россия будетъ раскрѣпощена отъ сталинской диктатуры и ни-распаль окончательный начнется. Национальная по-литика въ международныхъ отношеніяхъ является всегда и неизмѣнно только слѣд-ствиемъ національной внутренней пол-итики. А внутренне-национальная политика на нынѣшнемъ-уровнѣ хозяйственного развитія и нравственного сознания тре-буетъ во всѣхъ областяхъ самодѣятельности на се-ленія.

Иногда кажется, что такія простыя, азбучныя истины какъ-то перестали восприниматься русскими мозгами зарубежья. На-ступило какое-то эмигрантское старчество. Мы впадаемъ въ политическій склерозъ. Хотимъ не только мыслить, но и чув-ствовать по-иностранию. Въ Германіи — съ нѣмцами, во Франціи — съ французами. Попробуемъ подумать по-русски, какъ мы думали, когда органически были связаны съ жизнью страны, съ чаяніями, съ муками народа. Вѣдь для него успѣхи литвинювской національной политики обращаются не лицомъ, а тыломъ, ему некогда разбираться въ тонкостяхъ междуна-родной эквилибристики; его бьютъ, пытаются, истязаютъ, онъ гибнетъ въ голодѣ и нищетѣ, онъ хочетъ простой, обыватель-ской, человѣческой жизни. И онъ мыслить по-человѣчески, вотъ такъ, какъ думаютъ недавно еще только бѣжавшіе изъ Германіи нѣмцы: все, что угодно и съ кѣмъ угодно, только бы свалить ненавистнаго Гитлера.

Какъ угодно и съ кѣмъ угодно, но только свалить нена-вистнаго Сталина, ибо не второй годъ, а второе десятилѣтіе кончается мукой нечеловѣческихъ.

Не нужно, какъ нѣмецкіе эмигранты, звать чужіе штаты въ родиную страну. Но нельзя изъ прекраснаго далека прези-

рать людей, которые ждут отъ вѣшной катастрофы себѣ избавленія.

Ужасно у насъ стала короткая память. Ужъ очень мы стали, занявъ шесемольскія позиціи — откуда бѣгутъ сами комсомольцы — шепетильно-непримиримыми ко всякому такъ называемому пораженчеству. Позвольте кое-что напомнить: 1904 годъ. Война съ Японіей. Шлиссельбургъ. Тамъ — политическіе каторжане: «Нечего и говорить, что о войнѣ съ Японіей мы не должны были подозрѣвать. Первый намекъ на нее мы нашли въ англійскомъ журналѣ «Knowledge», въ которомъ сообщалось, что въ дальневосточныхъ водахъ китъ наткнулся на минное загражденіе. Значить — происходитъ война съ Японіей, заключили наши проникательные читатели. А о ходѣ военныхъ дѣйствій и о русскихъ неудачахъ мы судили по лицамъ жандармовъ: если они шушукались между собой и ходили повѣсивъ головы, мы тотчасъ догадывались о несчатьяхъ русской арміи. Мы всѣ были увѣрены, что война кончится побѣдой Японіи и предугадывали будущее. Морозовъ съ перваго же момента объявилъ: Микадо Мутцу-Хито освободить насъ.

За разгромомъ должны были слѣдовать реформы и амнистія *)).

Написала все это и подчеркнула «должны» всѣмъ извѣстная и безукоризненная революционерка — Вѣра Николаевна Фигнеръ.

Неужели же теперь, когда имѣются Соловки, и вся Россія превращена въ каторжный лагерь, русскіе люди, тамъ обрѣтающіеся, думаютъ иначе?

Какая, однако, жуть въ томъ, что страшныя для національнаго сознанія слова, сказанныя ровно тридцать лѣтъ тому назадъ, становятся опять остро-злободневными.

Нѣтъ цѣны, которую не стоило бы заплатить, чтобы избѣжать повторенія. Нѣтъ цѣны, которую не стоило бы заплатить, чтобы избѣжать новаго пораженія Россіи.

Но если суждено Россіи выпить чашу смертнаго страданія до конца, то надо имѣть въ себѣ мужество смотрѣть жизни въ глаза и не отдаваться малодушно подъ власть иллюзій.

А. Керенскій.

12 сент. 1934 г.

*) В. Н. Фигнеръ. Запечатлѣнный трудъ, т. II, часть 2-ая, стр. 275. Москва, 1932 г.

Двадцать лѣтъ тому назадъ

Не такъ давно мнѣ случайно попалъ въ руки документъ, до настоящаго времени еще нигдѣ не опубликованный: протоколъ конспиративнаго совѣщанія видныхъ эмигрантовъ с.-р., происходившаго въ двадцатыхъ числахъ августа 1914 г., т. е. всего три недѣли спустя послѣ начала мировой войны, и посвященнаго вопросу объ отношеніи къ ней.

Документъ, правда, чисто партійный. Тѣмъ не менѣе онъ, помимо цѣнности исторической, какъ свидѣтельство о тогдашнихъ настроеніяхъ въ извѣстныхъ революціонныхъ кругахъ, представляетъ собою, на нашъ взглядъ, и нѣкоторый, не лишенный злободневности, интересъ общественный. Мировая война 1914-1918 гг. не оказалась послѣдней, какъ хотѣлось вѣрить современникамъ. Двадцатилѣтняя годовщина застаётъ человечество за усердной подготовкой къ очередной «послѣдней», еще болѣе ужасной войнѣ, и первый, повидимому уже близкій и неотвратимый ударъ грозитъ обрушиться опять на Россію. Вновь, какъ и двадцать лѣтъ тому назадъ, русская эмиграція, иная по составу, но столь же враждебная къ нынѣ существующему въ Россіи режиму, стоитъ передъ мучительной проблемой: какъ же сочетать революціонную непримиримость къ антинародной власти съ необходимостью считаться съ нею въ интересахъ защиты Россіи отъ внѣшняго врага.

Совѣщаніе, о которомъ пойдетъ разговоръ въ дальнѣйшемъ, было посвящено обсужденію именно этой проблемы. Эпизодъ, документированный лежащими передо мною протоколами, будитъ у меня и личныя воспоминанія, съ нимъ связанныя: я проживалъ въ то время за границей и, хотя не былъ эмигрантомъ, принималъ участіе въ августовскомъ совѣщаніи. Быть можетъ, въ качествѣ комментарія къ официальному документу, сохранившіеся въ моей памяти обрывки воспоминаній помогутъ полнѣе возстановить психологію того времени.

Объявленіе войны застало меня въ Швейцаріи, въ тихомъ университетскомъ городѣ Базелѣ, съ головой погруженнымъ въ свои занятія на медицинскомъ факультетѣ. Двери русскихъ университетовъ, изъ-за моей политической неблагонадежности, оказались къ этому времени наглухо для меня закрытыми. Здѣсь, въ Базелѣ, послѣ вынужденнаго многолѣтняго перерыва, заканчивалъ я курсъ, начатый когда-то въ Московскомъ Университетѣ.

Рѣшенію вернуться къ медицине съ тѣмъ, чтобы по окончаніи ея пойти на работу въ земствѣ, предшествовали долги и мало радостныя размышленія относительно той революціонной дѣятельности, которой былъ отданъ добрый десятокъ предшествовавшихъ лѣтъ моей жизни. Отъ нея оставался въ душѣ слѣдъ двойственный. Правда, это были годы большаго душевнаго подъема, идеальныхъ устремленій, жизни въ атмосферѣ революціоннаго братства. Но была и обратная сторона, горькая и мучительная. Дѣло даже не въ понесенномъ революціей 1905 г. пораженіи. Тяжелѣе было сознаніе, что въ эти годы не произошло у насъ и настоящей встрѣчи, взаимнаго пониманія съ народомъ, дѣйствительнымъ, а не созданнымъ интеллигентской выдумкой. А тутъ еще подоспѣла Азефовская исторія... Перспектива вновь вернуться въ отравленную атмосферу подполья казалась нестерпимой. Надо ту же работу въ народѣ попробовать осуществить въ путяхъ еще остающихся, хотя бы и весьма ограниченныхъ, «легальныхъ возможностей».

Послѣ четырехъ лѣтъ, проведенныхъ въ вынужденной праздности въ Якутской ссылкѣ, переходъ къ увлекательнымъ занятіямъ наукой былъ истиннымъ наслажденіемъ. Впереди — близкая цѣль, простая и безспорная, въ настоящемъ — удовлетвореніе даже отъ самаго процесса напряженной умственной работы. Съ удовольствіемъ до сихъ поръ вспоминается трудовой ритмъ базельской жизни, раннія лекціи, занятія въ тихой университетской бібліотекѣ, работа въ лабораторіи.

За этой университетской идилліей оставались мало отмѣченными, во всякомъ случаѣ не оцѣненными въ своемъ грозномъ значеніи предвѣстники надвигающихся въ міръ событій, убійство въ Сараевѣ и даже австрійскій ультиматумъ Сербіи. Окончательная катастрофа разразилась совершенно для меня неожиданно.

Никогда не забыть стремительнаго нарастанія и нагроможденія потрясающихъ впечатлѣній въ день 1-го августа. Помню, какъ въ комнату ко мнѣ ворвалась въ величайшемъ возбужденіи моя квартирная хозяйка и задыхаясь отъ волненія, въ без-

связномъ словесномъ потокѣ — обрушила на меня принесенная съ улицы невѣроятная новость... Я поспѣшилъ въ городъ. Всюду царило величайшее возбужденіе. На тогдашней нѣмецкой границѣ, которая неподалеку отъ моей квартиры пересѣкала *Elsässerstrasse*, царило большое смятеніе. Вихремъ, словно спасаясь отъ погони, пронеслись со стороны Эльзаса, не задерживаемые на таможахъ, автомобили, переполненные какими-то людьми съ испуганными лицами, въ ту и другую сторону границы еще безпрепятственно шли толпы народа съ ручнымъ багажомъ, пока улицу не забаррикадировали. Въ центрѣ города уже спѣшно укрѣпляли и минировали мосты черезъ Рейнъ, по улицамъ маршировали воинскія части, отправлявшіеся на охрану границы. Только зайдя въ лабораторію патолого-анатомическаго института, засталъ тамъ ничѣмъ не нарушенное мирное теченіе жизни, словно ничего особеннаго въ мірѣ не происходило. Завѣдующій лабораторіей, привать-доцентъ изъ Вѣны, видя мою озабоченность и неохоту взяться за повседневную работу, успокоительно сталъ доказывать, что эта война не на долго; — «слишкомъ большее черезъ шесть недѣль австро-германцы займутъ Москву и Петроградъ». Простодушный австріецъ кажется не сомнѣвался въ томъ, что такая перспектива мнѣ можетъ быть только пріятна.

Но внѣшнія впечатлѣнія ни на мгновение не заслоняли сразу же вставшій въ душѣ съ объявленіемъ войны вопросъ: что же будетъ съ Россіей, и что въ данныхъ обстоятельствахъ слѣдуетъ дѣлать мнѣ.

Было до жуткаго холода въ душѣ очевидно, что Россіи грозитъ страшная, быть можетъ, смертельная опасность, что на этотъ разъ рискъ не ограничивается лишь возможностью потерять окрину, какъ въ 1904 г., а на карту поставлено самое бытіе Россіи, какъ великой державы. Моральная отвѣтственность правительства тоже была совѣтъ шной, чѣмъ въ 1904 г. этой войны оно опредѣленно не хотѣло и сопротивлялось вовлеченію Россіи въ нее до послѣдней возможности. И тогда, во время японской войны, пораженческія настроенія мнѣ были чужды. Сейчасъ же, передъ страшной перспективой ожидающихъ Россію испытаний, самыя острыя внутреннія проблемы должны отойти на задній планъ. Во главѣ Россіи стоитъ нечуживая намъ, антинародная власть? — Да, но въ предстоящей борьбѣ не на жизнь, а на смерть, военное пораженіе правительства не можетъ не быть разгромомъ самой Россіи. Пока власть борется съ внѣшнимъ врагомъ, по какимъ бы она это

мотивамъ ни дѣлала, — недопустимо мѣшать ей; самыя формы политической борьбы съ самодержавіемъ на время войны должны быть подчинены интересамъ обороны страны.

Что касается вопроса о томъ, что дѣлать мнѣ лично, то объ этомъ долго размышлять не приходилось. Все рѣшалось непосредственное чувство, и оно было въ полномъ согласіи съ вѣдѣніемъ совѣсти. Кто бы ни былъ виноватъ въ томъ, что Россія оказалась вовлечена въ мировую войну, дурно или хорошо теперешнее правительство, — русскій народъ во всякомъ случаѣ обреченъ на тягчайшія страданія и жертвы. Мое мѣсто въ часъ испытаній для моего народа — тамъ, въ Россіи, вмѣстѣ съ нимъ на предстоящемъ ему крестномъ пути. Всякій иной, политическій или тѣмъ болѣе партійный подходъ къ вопросу казался просто неумѣстнымъ. Надо, бросивъ всѣ свои университетскіе планы, возвращаться на родину. Какъ ратникъ ополченія я не подлежалъ вызову изъ заграницы въ Россію. Не знаю, хватило ли бы у меня рѣшимости отправиться въ качествѣ добровольца простымъ рядовымъ; но я могъ предложить себя въ качествѣ фельдшера или санитаря, для службы на фронтѣ. Такъ я и долженъ поступить.

Потребность дѣйствовать, притомъ немедленно, была настолько повелительна, что, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, я на слѣдующій же день поѣхалъ въ Бернъ и тамъ въ россійскомъ посольствѣ подалъ соответствующее заявленіе. Помню, въ длиннѣйшей очереди русскихъ, ожидавшихъ приѣма на улицѣ у зданія посольства, я встрѣтился съ давнишнимъ московскимъ знакомымъ, В. В. Шеромъ, виднымъ соц.-демократомъ меньшинкомъ. Будучи офицеромъ запаса, онъ являлся на учетъ, чтобы быть отправленнымъ въ Россію. Но не этимъ онъ казался озабоченъ. Искренне удрученный, Шеръ не переставалъ скулить: какое это ужасное несчастіе, что войной взорванъ и надолго разрушенъ социалистическій Интернаціональ. Я слушала его съ недоумѣніемъ, чувствовала себя плохимъ социалистомъ, но судьба Интернаціонала въ тотъ моментъ мнѣ была въ высокой степени безразлична.

Забѣгая впередъ, скажу, что изъ моего «добровольческаго» жеста никакого толку не вышло. Черезъ положенное число недѣль изъ Петербурга пришла бумага, объявленная мнѣ черезъ посольство, въ которой надлежавшее военно-санитарное учрежденіе, отдавая должное патриотическимъ моимъ побужденіямъ, вѣжливо однако отклоняло предложенныя мною услуги. Повѣрить въ искренности этихъ побужденій у революціонера тамъ, очевидно, никакъ не могли.

Въ ожиданіи отвѣта на поданное заявленіе, я съ удвоенною энергіей взялся за медицинскую работу, надѣясь быть можетъ успѣть все же закончить еѣ до отъѣзда въ Россію. Война тѣмъ временемъ и физически приблизилась вплотную, — бои проходили всего въ 15-20 кил. отъ Базеля. Оттуда, со стороны снѣвшихъ на горизонтѣ Вогезъ, ежедневно доносился гулъ орудійной стрѣльбы. Въ отвѣтъ на грохотъ тяжелыхъ орудій жалобно звенѣли у насъ оконныя стекла.

О войнѣ же были и письма, приходившія отъ родныхъ изъ Россіи. Писали братья, уже мобилизованные; особенно востановали письма матери, — послѣ нихъ еще сильнѣе тянуло въ Россію. Старуха мать, проживавшая въ своемъ имѣніи, въ глуши Н-ской губерніи, описывала настроенія въ деревнѣ, сообщала о семейныхъ событіяхъ въ связи съ войной. Читая эти бодрія письма, вѣрилось, что въ народѣ война вызвала живое чувство тревоги за Россію, ощущеніе нависшей надъ нею страшной бѣды. На мобилизацію въ нашихъ мѣстахъ крестьяне шли, конечно, безъ воинственнаго угара, врядъ-ли свойственнаго натурѣ русскаго мужика, но въ суровой сосредоточенности, съ сознаниемъ, что жертвы неизбежны и съ готовностью пострадать «всѣмъ міромъ». Отмѣчала мать и еще одну, особенно для меня отрадную черту: война, уравнивая всѣхъ въ общей судьбѣ, въ обреченности страданіямъ и смерти, какъ бы стирала всегдашнюю грань, отдѣляющую «усадьбу» отъ «деревни». Наша семья, помѣщичья, несла эту повинность кромѣ въ той же мѣрѣ — если не въ большей еще — какъ и любая крестьянская семья въ сосѣдней деревнѣ: всѣ безъ исключенія взрослые мужчины въ нашей семьѣ были мобилизованы, мать оставалась въ имѣніи только съ дочерью, невѣстками и малыми внучатами. Бабы-солдатки постоянно прибѣгали изъ деревни къ намъ въ домъ подѣлиться своими горестями, посоветоваться, попросить написать письмо въ армію или прошеніе.

Тогда же, въ самомъ началѣ войны, постигъ нашу семью первый ударъ. При вступленіи русскои арміи въ Галицію, во время боя у мѣстечка, называвшагося, кажется, Гнилая Липа, былъ смертельно раненъ мой старшій братъ, вскорѣ скончавшійся.

Это было не послѣднее горе, обрушившееся на голову бланной матери: изъ пяти дѣтей, отданныхъ ею въ тѣ годы родитѣ, погибли трое...

Съ с.-р. эмигрантскими кругами я, живя уже около года въ Базелѣ, связей не поддерживалъ. Это ни съ какой стороны не

вхобило въ мои планы, да и отъ двухъ-трехъ старыхъ товарищей, съ которыми я переписывался и изрѣдка видѣлся при прѣздѣ кого-либо изъ нихъ черезъ Базель, зналъ о крайнемъ разположеніи, въ которомъ с.-р. эмиграція находилась. Былъ мысленно и планами въ Россіи, чувствовалъ себя эмигрантской психологіи чуждымъ.

Не знаю, кому въ голову пришла мысль о созывѣ совѣщанія. Приглашеніе на него я получилъ, если не ошибаюсь, черезъ И. И. Фондаминскаго. Совѣтуя мнѣ прѣѣхать, онъ подчеркивалъ, что совѣщаніе будетъ частнымъ; инымъ, впрочемъ, оно и быть не могло въ виду дезорганизованности с.-р. эмиграціи. Въ протоколахъ оно названо: «Заграничное совѣщаніе центральныхъ работниковъ п. с.-р. по вопросу о линіи поведенія въ условіяхъ мировой войны».

Я рѣшилъ поѣхать на совѣщаніе по разнымъ мотивамъ. Въ виду предстоящаго возвращенія въ Россію казалось важнымъ ориентироваться въ настроеніяхъ с.-р. партійной эмиграціи. Было кромѣ того интересно провѣрить въ общеніи съ политическими единомышленниками правильность уже установленной для себя собственной «линии поведенія». Наконецъ, просто захотѣлось воспользоваться случаемъ, повидать многихъ изъ тѣхъ, съ которыми было столько пережито въ революціонной работѣ въ Россіи въ прошломъ.

Мѣстомъ для совѣщанія была выбрана маленькая деревушка во французской Швейцаріи, Beaugy-sur-Clarens, на Женевскомъ озерѣ. Въ Божіи издавна проживалъ, занимаясь хозяйствомъ на собственной молочной фермѣ, одинъ изъ старѣйшихъ нашихъ товарищей Е. Е. Лазаревъ, полный здравствующій въ Прагѣ. Радужный Егоръ Егороичъ предоставилъ для совѣщанія свою ферму и наши засѣданія, продолжавшіяся съ краткимъ перерывомъ весь день 22 августа, происходили въ уютномъ кабинетѣ Е. Е., сплошь уставленномъ книжными полками. Стѣбалось насъ, помнится, человекъ двѣнадцати, глазами образомъ изъ числа проживавшихъ въ Швейцаріи эмигрантовъ, — въѣздъ изъ Франціи въ то время уже былъ затруднителенъ. Протоколы, къ сожалѣнію, не даютъ поименнаго списка участниковъ, расшифровать по памяти клички не всегда можно съ достовѣрностью. По сохранившимся воспоминаніямъ могу съ опредѣленностью назвать среди присутствовавшихъ помимо уже упомянутаго Е. Е. Лазарева нынѣ покойнаго И. И. Старынкевича, жившаго тогда вмѣстѣ съ Лазаревымъ на фермѣ, И. И. Фондаминскаго, В. М. Чернова, Н. Д. Авксентьева,

М. А. Натансона, съ меньшей увѣренностью — А. А. Аргунова. Остальныхъ не помню.

Я съ интересомъ присматривался къ собравшимся, съ большинствомъ изъ которыхъ не встрѣчался уже много лѣтъ. Иной, далеко менѣе сплоченной, судя по первому же обмѣну репликами, показалась мнѣ партійная атмосфера. Въ собраніи ясно чувствовалось два лагеря. В. М. Черновъ, пользовавшійся въ роли лидера безспорнымъ признаніемъ въ партіи въ первый періодъ ея существованія, еще и теперь пытался играть роль центра, призваннаго объединять правыхъ и лѣвыхъ, но тщетно. Слишкомъ очевидна была его собственная зависимость отъ лѣваго, «интернаціоналистическаго» крыла, представленнаго на совѣщаніи М. А. Натансономъ. Дуумвирату Черновъ-Натансонъ противостояли на собраніи И. И. Фондаминскій, Н. Д. Авксентьевъ и, если вѣрно расшифровываю одну изъ кличекъ, А. А. Аргуновъ. Я зналъ, что года за полтора до того ими излавлялся журналъ «Починъ», въ которомъ защищалась мысль о необходимости усилить участіе партій въ легальныхъ формахъ общественной дѣятельности — въ земствѣ, коопераціи, на выборахъ въ Гос. Думу и пр. Не сговариваясь о частностяхъ, я на совѣщаніи прикинулъ къ этой близкой мнѣ по общему настроенію группѣ.

Несомнѣнно, наиболее острымъ пунктомъ, вокругъ котораго шелъ достаточно страстный споръ во время совѣщанія, былъ вопросъ: можетъ ли партія, непричиристо относящаяся къ самодержавію, сочувствовать и содѣйствовать побѣдѣ въ настоящей войнѣ «царской» Россіи? *Mutalis mutandis*, подставивъ вмѣсто самодержавія — большевиковъ и вмѣсто царской — советскую Россію, это была та же самая проблема, которой, двадцать лѣтъ спустя, были посвящены въ текущемъ году доклады П. Н. Милокова и ген. Деникина.

Тогда, въ 1914 году, не желать побѣды царскаго правительства, несмотря на опасное положеніе Россіи, можно было только стоя на «интернаціоналистическихъ» позиціяхъ, отвергающихъ верховенство идеи родины. Ихъ и защищали Черновъ и Натансонъ. «Война сама по себѣ, отъ начала и до конца, есть зло. Никакой исходъ никакой войны между культурными европейскими народами не можетъ быть просто благомъ. Нашъ фронтъ — противъ войны вообще, въ защиту угрожаемаго войной соціалистическаго Интернаціонала». Никакое участіе въ войнѣ, даже косвенное, недопустимо. Оставаясь въ сторонѣ отъ нея, мы должны дѣлать свое соціалистическое дѣло (Черновъ).

Тѣ же мысли у Натансона. «Интересы правящихъ классовъ и интересы народа, несмотря на войну, остаются противоположными. Мы, социалисты, не можемъ стоять на позиціи единства націи». Не съ тѣмъ, чтобы въ который ужъ разъ «улучить» Натансона и Чернова, отмѣтимъ, что въ этихъ положеніяхъ они лишь повторяли то, что раньше ихъ, съ первыхъ дней войны уже развивалъ Ленинъ. Впрочемъ, оба они оставались въ данномъ случаѣ только вѣрны ложной доктринѣ Интернаціонала о трудящихся, не имѣющихъ отечества *).

Естественно, для Чернова и Натансона проблемы защиты Россіи отъ внѣшняго врага вообще не существовало: воюеть къ тому же, утверждали они, не Россія, а царское правительство, ведетъ оно войну не оборонительную, а завоевательную и защищаетъ въ ней интересы не народныя, а династическіе. Если еще для Франціи и Англіи Черновъ готовъ былъ желать «наименьшаго зла», т. е. побѣды, то къ участи Россіи онъ оставался равнодушенъ: «благопріятныя и неблагопріятныя стороны того и другого исхода войны для Россіи равносильны». «У насъ не можетъ быть и мысли объ оказаніи активной поддержки правящимъ въ Россіи силамъ и самой войнѣ», категорически заявили Черновъ и Натансонъ.

Таковы были исходныя положенія лѣваго крыла совѣщанія. Было ли это пораженчество? Сейчасъ, въ исторической перспективѣ послѣдовавшаго, совсѣмъ не важно, чѣмъ въ то время въ ихъ собственномъ сознаніи отличался этотъ специфическій «интернаціонализмъ» отъ прямого пораженчества большевиковъ: ихъ практическая тождественность установлена въ одинаковомъ дѣйствіи на неискушенные умы русскихъ солдатъ на фронтѣ.

Иная психологія была у представителей другого теченія на совѣщаніи, получившаго впоследствии названіе оборончества. Для него война, въ которой рѣшалась судьба Россіи, никакъ не могла быть «чужой», — въ этомъ отношеніи оборончество, въ противоязъ интернаціонализму Натансона-Чернова, съ извѣстнымъ правомъ могло считаться движеніемъ національнымъ. Быть можетъ оно только страдало извѣстной раздвоенностью въ то время, и не дѣлало выводовъ, къ которымъ его обяза-

*) Характерныя этапы дальнѣйшей карьеры Натансона: 1915 г. — Циммервальдъ вмѣстѣ съ Черновымъ, 1917 г. — разрывъ съ партіей с.-р., 1918 г. — уходъ отъ лѣвыхъ с.-р. въ промежуточную народно-коммунистическую группу, наконецъ, 1919 г. — смерть наканунѣ допущенія въ коммунистическую партію («Мал. Сов. Энци.»).

вала тревога за Россію. На совѣщаніи въ Божіи мнѣ съ Фондаминскимъ и Аргуновымъ (?) пришлось занять наиболѣе непримиримую позицію по отношенію ко взглядамъ Чернова, доказывая допустимость и обязательность для с.-р. сочувствовать и по возможности активно участвовать въ дѣлѣ защиты Россіи. «Вступая въ стихію войны вмѣстѣ со всѣми, социалисты не перестаютъ быть социалистами, они лишь не отказываются отъ принадлежности къ великому цѣлому, къ своему народу. Социалисты вообще противъ войны и пока война не начата, должны принимать мѣры для ея предотвращенія. Но злое несчастіе случилось, и пока илетъ война, разумнаго выхода нѣтъ. Надо защищать родину прогнвъ чужого империализма».

Цитирую по протоколамъ краткія выдержки изъ заявленій другихъ оборонцевъ. Аргуновъ (?) признавалъ, что участіе въ войнѣ есть банкротство прежней социалистической идеологіи, но другого выхода не видѣлъ: «сейчасъ всѣ народы живутъ только войной и самозащитой». — Фондаминскій: «Никакихъ особыхъ социалистическихъ задачъ у с.-р. теперь въ Россіи нѣтъ и быть не можетъ. Социалисты, либералы, даже консерваторы одинаково рядомъ сражаются, чтобы народъ, какъ цѣлое, не погибъ. У всего народа сейчасъ одинакова для всѣхъ задача — война и успѣшное ея окончаніе». — Не вполне былъ согласенъ съ нами Авксентьевъ. Онъ, разумѣется, рѣшительно отвергалъ всякое пораженчество, — «мы не должны допускать со своей стороны ничего, что могло бы подвергнуть опасности благоприятный для Россіи исходъ войны», но откровенно признавалъ, что своего положительнаго отвѣта, что дѣлать партіи, у него нѣтъ. «Въ томъ, что сейчасъ дѣлаютъ нѣмецкіе, французскіе и англійскіе социалисты, ничего социалистическаго нѣтъ... Но что же тогда дѣлать русскимъ с.-р.? Не — драться же съ нѣмцемъ и дѣло съ концомъ!» Авксентьевъ видѣлъ для партіи лишь длительную задачу — «содѣйствовать образованію ноѣдоносной демократіи Россіи». Совѣтъ былъ превосходный, но какъ его выполнить, и что партіи все же дѣлать, къ чему призывать сейчасъ, немедленно, когда Россія, хотя бы и «царская», изнемогаетъ въ борьбѣ съ вѣдшимъ врагомъ, а «ноѣдоносная демократія», какъ и «третья сила» Чернова — только музыка будущаго?

Препятствіе къ тому, чтобы даже весьма умѣренные с.-р. оборонцы могли со спокойной совѣстью желать побѣды Россіи и по мѣрѣ силъ содѣйствовать ей, было очевидно: трудность совмѣстить это съ традиціонной непримиримостью къ существующей власти. Допустимо ли для революціонеровъ в)

имя защиты Россіи какъ бы внутренне разоружиться даже временно по отношенію къ самодержавію? Тогда, въ 1914 г., въ нерѣшительномъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ я видѣлъ слѣдствіе непримиримости революціонной. Теперь, продѣлавъ самъ опытъ эмиграціи, спрашиваю себя, нѣтъ ли въ этомъ больше неспособности чисто эмигрантской за временнымъ обликомъ царской — или теперь советской — Россіи видѣть Россію просто? Въ давней традиціи русской эмиграціи была готовность радоваться любымъ ударамъ, наносимымъ извнѣ «царской» Россіи. Продѣлать обратный путь до оборончества въ 1914 г. было не такъ легко и просто *).

Насколько важнымъ казалось устранить это психологическое препятствіе, показываетъ неудачная попытка обойти его, сдѣланная на совѣщаніи Фондаминскимъ. Онъ увѣрилъ себя и безуспѣшно старался увѣрить другихъ въ томъ, что самодержавіе, съ момента объявленія войны, вынуждено взять либеральный курсъ. Фондаминскій предсказывалъ, что вслѣдъ за манифестомъ къ полякамъ и обращеніемъ къ евреямъ вскорѣ послѣдуютъ другія мѣры — отмена исключительныхъ положеній, всеобщая политическая амнистія и пр. «Вовлеченіе Россіи въ войну въ союзъ съ Англійей и Франціей неизбежно и сразу демократизируетъ Россію». Повѣрить, однако, въ такое чудо было трудно. Оставалось облегчать свою революціонную совѣсть разсчетомъ, что въ тройственномъ согласіи пороки «царской» Россіи съ избыткомъ покрываются демократическими добродѣтелями союзниковъ. Русскимъ эмигрантамъ естественно было чувствовать себя патриотами «европейской демократіи», защищающейся отъ «германскаго империализма». Но лишь условно, поскольку наша «царская» Россія оказывалась въ хорошемъ обществѣ, можно было рискнуть позволить себѣ быть патриотомъ и русскаго дѣла. Какъ выразился на совѣщаніи Старынкевичъ или Лазаревъ: «Я же лаю побѣды стороны, на которой находится Франція и не бою съ побѣды этой стороны, хотя въ ней находится Россія». Или, мягче, Авксенть-

*) Г. В. Плехановъ, какъ извѣстно, былъ во время войны самымъ яркимъ патриотомъ и идейнымъ вождемъ всего русскаго социалистическаго оборончества. Думаю, ему самому стыдно и тяжело было вспоминать свою старую рѣчь на Цюрихскомъ Конгрессѣ въ 1893 г., когда онъ открыто призывалъ немецкую интервенцію въ Россію «чтобы покончить съ русскимъ царизмомъ». «Бейте его въ голову, нападайте на него всякимъ оружіемъ, какое только окажется въ вашемъ распоряженіи... И если германскія арміи перейдутъ наши границы, то онѣ придутъ къ намъ, какъ освободители».

евъ: «Мы желаемъ побѣды тройственнаго согласія — следовательно, мы желаемъ побѣды Россіи, какъ члена согласія».

Охотно готовъ допустить, что мое «сознаніе» того времени тоже въ значительной мѣрѣ опредѣлялось моимъ «бытіемъ» легальнаго человѣка, не успѣваго оторваться отъ непосредственнаго чувства русской стихіи, въ любое время имѣвшего возможность вернуться въ Россію и могущаго выбрать связанную съ наименьшими компромиссами форму пріятія войны. Можетъ быть поэтому я могъ легче, безъ неизбѣжныхъ для эмигранта колебаній, ставить проблему въ неприкрашенномъ видѣ, не обольщаясь иллюзіями насчетъ самодержавія и не прибѣгая къ моральному кредиту у союзниковъ, — и рѣшать ее для себя утвердительно: да, во имя защиты Россіи отъ нападенія внѣшняго врага допустимо временное, на періодъ войны перемиріе съ врагомъ внутреннимъ. Перемиріе, конечно, не абсолютное, не исключающее политической борьбы съ самодержавіемъ, но ограничивающее ее методами, не взрывающими непосредственно національную оборону.

При столь рѣзкомъ принципиальномъ расхожденіи крайнихъ фланговъ совѣщанія во взглядахъ на войну и задачи партіи въ Россіи, соглашенія между ними на какой нибудь общей платформѣ, естественно, произойти не могло. Оставалось обсудить практическое предложеніе, сдѣланное Черновымъ и горячо поддержанное Натансономъ: отправить нелегально въ Россію авторитетную группу, которая могла бы стать ядромъ для собранія партійныхъ силъ, издавать газету и быть готовой взять на себя руководство массовыми выступленіями.

Обсужденіе этого проекта дало поводъ уточнить многое изъ того, о чемъ раньше говорилось въ общей формѣ. Вотъ нѣсколько характерныхъ выписокъ изъ протоколовъ. Проектируемая газета въ Россіи должна, по мнѣнію Чернова, «соціалистически освѣщать противонародную политику царизма въ войнѣ» и бороться съ возможностью «националистическихъ» увлеченій въ народныхъ массахъ *). Авксентьевъ справедливо замѣчаетъ: «Если бы мы пропитали всю народную массу сознаниемъ, что

*) Образчикъ такого «соціалистическаго» освѣщенія событій войны Черновъ далъ позже, въ издававшейся имъ въ 1916 г. серіи агитационныхъ брошюръ подъ общимъ названіемъ «На Чужбинѣ». Брошюры, предназначавшіяся для русскихъ военноплѣнныхъ и по характеру пораженческія, охотно распространялись въ концентраціонныхъ лагеряхъ германскими военными властями.

эта война дѣло противонародное, мы бы прекратили войну только съ русской стороны и нѣмцы насъ поколотили бы». Нелгальная группа должна была по проекту, учитывая неизбежность внутреннихъ осложненій въ Россіи, «готовиться къ революціи и ее готовить». На мой вопросъ, допускаетъ ли Черновъ поднятіе возстанія еще во время войны, оба, Черновъ и Натансонъ отвѣтили утвердительно: «надо использовать благоприятные моменты, пока война идетъ». Правда, что касается фронта, лишь одинъ Натансонъ былъ за возстанія въ войскахъ, считая что они «имѣли бы большее значеніе, чѣмъ побѣда или пораженіе той или другой стороны». Уже Черновъ признавалъ возможнымъ такого рода выступленія только при условіи взаимности со стороны нѣмцевъ. И, конечно, совершенно отрицательно къ нимъ относились оборонцы: «Мы не можемъ во время войны желать возстанія въ войскахъ и не должны дѣлать ничего, что могло бы вызвать его» (Авксентьевъ). Не столь единодушно, однако, было отношеніе къ возможности во время войны революціи, опирающейся на воинскія части. Нѣкто «Складовскій» (?) ставитъ вопросъ, какой отвѣтъ партія должна давать солдатамъ, готовымъ возстать. — Черновъ и Натансонъ рекомендуютъ отвѣчать: «сдѣлайте революцію, если на это есть сила». — Авксентьевъ отвѣтилъ бы: «сидите, деритесь, но вернувшись принесите народу новый строй». — Рудневъ заявляетъ въ общей формѣ: «нельзя дѣлать возстаній во время войны». — Черновъ, поддержанный Натансономъ и, на этотъ разъ, Авксентьевымъ, возражаетъ: «связывать себѣ руки отказомъ отъ возстанія во время войны немыслимо». — Рудневъ. «Можно себя и не связывать напередъ, но интересы возстанія мы должны подчинить интересамъ войны». — Черновъ: «Это была бы формула Струве».

Сравненіе со Струве предназначалось, разумѣется, для моего посрамленія. Но по существу Черновъ былъ правъ въ томъ отношеніи, что въ моей аргументаціи не было ничего специфически партійнаго. Первенство защиты своей страны передъ внутри-политическими задачами, не имѣющими непосредственнаго отношенія къ оборонѣ, — мотивъ, объективно значимый для всякаго русскаго одинаково, будь-то революционеръ, либераль или монархистъ. Съ точки зрѣнія «завѣтовъ Интернационала» чувствовать себя прежде русскимъ, а потомъ уже социалистомъ, было, конечно, ересью.

Въ отношеніи какихъ - либо практическихъ результатовъ совѣщаніе въ Божии окончилось полной неудачей: никакой «об-

шей линіи поведенія» по отношенію къ войнѣ с.-р. эмиграціи установить для себя уже не могла. Не знаю даже, была ли осуществлена посылка въ Россію нелегальной группы, которая, къ моему удивленію, была все же рѣшена, несмотря на отсутствіе какой-либо общей платформы, значительнымъ большинствомъ голосовъ (противъ голосовали Фонламинскій, Аргуновъ (?) и я).

Но собраніе 22 августа 1914 года съ очевидностью показало, что отнынѣ пути отдѣльныхъ теченій въ с.-р. эмиграціи рѣзко расходятся въ разныя стороны. Каждый пошелъ своей дорогой: одни — къ Циммервальду, другіе — къ литературной работѣ въ группѣ «Призывъ», третьи — къ волонтерству во французской арміи.

Славъ вскорѣ свой докторскій экзаменъ, я тронулся кружнымъ путемъ черезъ Балканы въ Россію и въ началѣ 1915 г. явился къ воинскому начальнику своего уѣзда.

Нѣтъ ничего ошибочнѣе въ политическомъ мышленіи, какъ историческія аналогіи, некритически заимствуемыя изъ иной, совершенно отличной по характеру своему эпохи. Отъ признанія правильнымъ опредѣленнаго поведенія революціонной эмиграціи двадцать лѣтъ тому назадъ невозможно заключать къ необходимости точно слѣдовать ему и теперь: слишкомъ радикально переѣнилась съ тѣхъ поръ вся обстановка, международная и внутри-россійская. Взять хотя бы несравнимость самихъ режимовъ, отвергаемыхъ эмиграціей, — самодержавіе и власти большевиковъ. Оріентироваться на совѣтскую власть въ роли добросовѣстнаго защитника Россіи невозможно даже въ той малой мѣрѣ, какъ это считали возможнымъ дѣлать въ 1914 г. революціонеры-оборонцы по отношенію къ царскому правительству. Никогда самодержавіе не было столь разрушительной силой для жизни націи, какъ сейчасъ власть большевиковъ; никогда царское правительство даже въ глазахъ ожесточенныхъ его противниковъ не заподозривалось такъ въ способности въ любую минуту предать интересы Россіи, какъ теперь большевики.

И все же, несмотря на коренное отличіе современной обстановки отъ прежней, примѣръ революціонной эмиграціи можетъ, полагаю, быть поучительнымъ хотя бы въ одномъ: революціонеры-оборонцы четырнадцатаго года, при всей ихъ ненависти къ самодержавію, умѣли различать между царскимъ правительствомъ и Россіей. За «царской» Россіей они не забывали о существованіи Россіи просто, интересы Россіи стави-

ли впереди своихъ давнихъ счетовъ съ властью, сочувствова-
ли всему, что въ ея дѣйствіяхъ было продиктовано разумной
заботой о защитѣ Россіи и, не поступаясь своей непримире-
мостью къ самодержавію, отказывались на время войны отъ
всѣхъ формъ борьбы съ нимъ, которыя могли бы повредить
дѣлу обороны. Казалось бы, что основные мотивы поведенія
этихъ революціонеровъ должны быть не чужды и эмиграціи
современной. Во время предстоящей Россіи оборонитель-
ной войны, русская эмиграція обязана если ужъ не содѣй-
ствовать, то по крайней мѣрѣ не вредить самозащитѣ
Россіи, хотя бы она и производилась, по необходимости, подъ
руководствомъ ненавистной совѣтской власти.

Тѣмъ болѣе, что сейчасъ, когда война вновь реально угро-
жаетъ Россіи, положеніе ея въ несравнимой степени болѣе гроз-
но. Съ двухъ сторонъ, одновременно и согласованно, готовятъ
нападеніе неумолимые враги Россіи. Ихъ нескрываема яѣтъ
— расчлененіе, раздѣлъ Россіи: «самоопредѣленіе» Украи-
ны, Кавказа, созданіе «буфернаго» государства изъ областей
Восточной Сибири... кто знаетъ, что еще? Передъ лицомъ
вражескаго нашествія Россія стоитъ какъ никогда обезсиле-
нная и обезоруженная — собственнымъ своимъ правитель-
ствомъ. За ней больше яѣтъ, какъ было въ прошлую войну,
полмира союзниковъ, на международной аренѣ она изолиро-
вана какъ зачумленная, и даже тѣ, кто вынужденъ искать
дружбы совѣтскаго правительства, относятся къ нему съ яв-
нымъ недовѣріемъ и презрѣніемъ. Внутри страны вотъ уже сем-
надцать лѣтъ безумная и преступная власть только и дѣлаетъ,
что разрушаетъ всѣ жизненныя силы націи, матеріальныя и
духовныя, ослабляя ея способность сопротивляться помога-
тельствамъ хищныхъ сосѣдей.

Какииъ образомъ тамъ, въ Россіи, русское національное со-
знаніе принимаетъ необходимость одновременной борьбы съ
прагомъ внутреннимъ въ Кремлѣ и съ внѣшнимъ на рубежахъ
Россіи — мы, къ сожалѣнію, не знаемъ. Эмиграціи приходится
самой, на свою отвѣтственность, рѣшать, что же ей дѣлать —
и чего не дѣлать, — чего желать въ это страшное для Россіи
время. Оставаясь непримиримо враждебной большевицкой вла-
сти, видя въ ней основную причину дрящящаго разоренія Рос-
сіи, желать ли большевикамъ пораженія или успѣха въ назрѣ-
вающемъ столкновеніи съ внѣшнимъ прагомъ?

Эмиграція болѣе чѣмъ когда-либо безсильна повліять на
ходъ событій въ самой Россіи. Но передъ общественнымъ мнѣ-
ніемъ всего міра ея долгъ — открыто заявить свое отношеніе

къ грядущимъ событіямъ. Къ этому насъ обязываетъ наша эмигрантская привиллегія, — возможность, будучи русскими, свободно мыслить и говорить, обязываетъ и еще одно печальное обстоятельство. Въ инсценировкѣ всякихъ «самоопредѣлений» и «независимыхъ буферовъ» на территоріи Россіи, на крайній случай даже подъ національнымъ флагомъ, эмигранты, кажегся, требуются врагамъ Россіи на постыдныя роли фигурантовъ, прикрывающихъ русскимъ именемъ грабежъ національнаго достоянія. Ужасъ нашего безвременья въ томъ, что сейчасъ въ эмиграціи находятся честные и почтенные люди, готовые изъ близорукаго патріотизма и слѣпой ненависти къ большевикамъ политически оправдывать роли, въ инныя времена приличествовавшія только купленнымъ иностранцами предателямъ. Тѣмъ обстоятельствомъ необходимо и нравственно обязательно для эмиграціи опредѣлить въ создающемся положеніи свою позицію совершенно отчетливо и недвусмысленно.

На нашихъ глазахъ возникаютъ въ эмиграціи, какъ въ эпоху 1914-1917 гг., теченія «пораженцевъ» и «оборонцевъ». Дѣлаются и безплодныя попытки найти какой-то средней путь, свободный отъ морально-политическихъ противорѣчій обонихъ крайнихъ рѣшеній. Одни обходятъ трудность проблемы, рекомендуя для успѣшной защиты Россіи «сначала свергнуть большевиковъ» и тѣмъ себя праздными эмигрантскими разговорами о «центральныхъ ударахъ» въ Москвѣ. Другіе увѣряютъ себя и другихъ, вопреки очевидности, что безкорыстные сосѣди Россіи собираются воевать «не съ русскимъ народомъ, а съ коммунистической властью». Третьи, наконецъ, уходятъ вовсе отъ вопроса, утверждая, что при безстыжей готовности большевиковъ отдавать для собственнаго спасенія любое національное достояніе врагамъ Россіи, они до войны все равно не допустятъ: въ трудную для себя минуту еще разъ предадутъ.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробный разборъ всей этой аргументаціи, ограничусь только общими выводами. Послѣ всего сказаннаго выше въ статьѣ, они врядъ ли покажутся неожиданными.

Всякая война въ настоящемъ положеніи Россіи была бы для нея огромнымъ, страшнымъ рискомъ, если не вѣрной катастрофой. Ни на чемъ другомъ, кромѣ какъ на эмигрантскомъ желтіи, не основаны надежды, что народъ, получивъ оружіе, прежде всего направитъ его противъ Кремля; а если бы и случилось такъ передъ лицомъ вражескаго вторженія, это было бы только началомъ разгрома Россіи. Стараніями большевиковъ въ Россіи уже давно уничтожена самая возможность организаціи

независимыхъ общественныхъ силъ. Въ случаѣ сверженія совѣтской власти во время войны, неизбежно наступленіе въ странѣ хаоса, который облегчитъ врагамъ Россіи ихъ задачу. Избѣжать войны было бы величайшимъ счастьемъ для Россіи. Сверженіе большевиковъ должно быть сдѣлано или до войны или послѣ нея.

Именно поэтому приходится, преодолевая естественное тягостное чувство, относиться положительно къ факту происходящаго въ послѣднее время сближенія съ совѣтскимъ правительствомъ Франціи и Америки: въ немъ — шансъ, пусть слабый, но за неимѣніемъ другихъ болѣе сильныхъ, все же пѣльный, что международнымъ давленіемъ удастся, быть можетъ, нѣсколько следить агрессивныя намѣренія извѣстныхъ правительствъ по части «самоопредѣленія» территорій Россіи. Даже относительно введенія большевиковъ въ Лигу Нашей рѣшусь поставить вопросъ: не потому ли мы такъ свободно отдаемся чувству возмущенія по этому поводу, что въ допущеніи большевиковъ видимъ безполезныя, съ точки зрѣнія интересовъ Россіи, компроматацію моральнаго авторитета Лиги и усиленіе международного престижа большевиковъ? И не огнеслись ли бы многіе изъ насъ иначе къ этому шагу, если бы имѣли основанія связывать съ нимъ серьезныя надежды на предотвращеніе войны для Россіи?

Но война, повидимому, все же неизбежна, и быть можетъ даже въ ближайшемъ будущемъ. Говорятъ, что большевики не заинтересованы въ защитѣ Россіи. Вѣрно, но они, конечно, заинтересованы въ сохраненіи территорій своего владычества, а давленіе еще не убитой окончательно въ русскомъ народѣ стихіи національнаго самосохраненія заставитъ ихъ пойти на рискъ борьбы съ внѣшнимъ врагомъ Россіи.

Легко себѣ представить, что борьба разоренной въ концѣ большевиками Россіи съ иноземнымъ нашествіемъ можетъ окончиться неудачей. Но этой неудачи нельзя желать, всякой попыткѣ совѣтской власти бороться съ нападающимъ на Россію врагомъ надо только сочувствовать и всякую помощь въ ней Америки и Франціи, дипломатическую и, быть можетъ, матеріальную, можно было бы только привѣтствовать. Ибо пораженіе совѣтскаго правительства было бы началомъ разчлененія Россіи. Сочувствовать при этихъ условіяхъ пораженію и на нечѣ строить свои планы русская эмиграція никакъ не должна. Пораженческая позиція части эмигрантской прессы

просто непостижима и ничемъ неоправдываема. Сторонники ея могутъ тѣшить себя надеждой, что цѣною потери части національной территоріи русскій народъ будетъ наконецъ освобожденъ отъ большевицкаго рабства. Простая логика говоритъ обратное: именно въ интересахъ закрѣпленія территориальныхъ своихъ пріобрѣтеній побѣдители постарались бы надолго обезпечить существованіе выгодной для нихъ, ибо разлагающей Россію, коммунистической власти.

Знаю, что такіе взгляды приемлемы далеко не для всѣхъ теперешней эмиграціи, что за подобныя же мысли П. Н. Милуковъ объявленъ «соглашателемъ» съ большевиками, обвиненъ въ «предательствѣ» національныхъ интересовъ и пр. Въроятно, какъ же будутъ встрѣчены и эти строки. Утѣшаюсь воспоминаніемъ, что двадцать лѣтъ тому назадъ, во время мировой войны, за такую же точно позицію по отношенію къ царскому правительству насъ обвиняли въ капитуляціи передъ самодержавіемъ и въ измѣнѣ Интернационалу.

Но говорятъ иные: «хорошо эмигрантамъ, изъ своего прекраснаго далека, разсуждать такъ; а тамъ, въ Россіи, наши братья, истерзанные до послѣдней степени, готовы на что угодно, чтобы избавиться отъ палачей, даже цѣной внѣшняго поруженія и расчлененія Россіи. Мы не имѣемъ права ихъ осуждать, а наоборотъ, должны понять; мы не смѣемъ возражать противъ единственнаго средства спасти человѣческія жизни».

Аргументъ, надо признать, очень важный, и даже страшный: отъ него никакъ нельзя легко отмахнуться. Онъ одновременно взываетъ и къ нашему моральному чувству и къ здорovому правилу эмигрантскаго поведенія — во всѣхъ отвѣтственныхъ за Россію рѣшеніяхъ ориентироваться на внутренній силы Россіи.

Само собой разумѣется, необходимо категорически устранивъ вопросъ о какомъ бы то ни было нашемъ осужденіи пораженческихъ настроеній, повидимому имѣющихся среди населенія въ Россіи. Эмиграція не смѣетъ осуждать жертвъ большевицкаго застѣнка, никого и ни за что, каждый изъ насъ не можетъ по совѣсти утверждать, что онъ въ тѣхъ нечеловѣческихъ условіяхъ чувствовалъ бы и дѣйствовалъ иначе. За то, что въ Россіи люди отрекаются отъ Бога и родины, предають на смерть родного отца и мать, ѣдятъ человѣчину, — дадутъ когда-то страшный отвѣтъ истинные и единственные виновники, сидящіе въ Кремлѣ. Мы не смѣемъ осуждать, мы обязаны

до конца пытаться понять весь ужасъ обреченности, покинутости и безвыходности, который питаетъ такія настроенія у людей, доведенныхъ до послѣдняго предѣла отчаянія. Но ихъ душевное состояніе и устремленіе воли можетъ ли быть нормой поведенія народа въ цѣломъ?

И тѣ, кто утверждаетъ, съ достаточнымъ основаніемъ, наличность такихъ пораженческихъ настроеній въ Россіи, могутъ ли они отрицать, что наряду съ этимъ, въ тѣхъ же слояхъ народа, могутъ имѣться и совсѣмъ иныя настроенія? Конечно, — только тамъ, въ Россіи, въ конечномъ счетѣ самъ народъ будетъ выбирать путь для спасенія себя и Россіи: черезъ пораженіе или же, хочу вѣрить, черезъ борьбу.

Въ смутныя времена, пережитыя не разъ Россіей, не чувства отчаянія, а государственный инстинктъ народа рѣшалъ судьбу страны. Изъ нашего не-прекраснаго эмигрантскаго далека мы не можемъ знать, что сейчасъ происходитъ въ тайникахъ народной души. Мы можемъ только вѣрить въ конечное торжество неумиравшей государственной стихіи русскаго народа.

В. Рудневъ.

К. К. Брешковская

(1844—1934)

Небольшой бѣлый домъ съ плакучей ивой въ полисадничкѣ. Кругомъ сжатые поля, сѣрая земля подъ паромъ, зеленѣющіе дуга, лѣсъ на горизонтѣ. Если бы со стороны большой дороги не видѣлись крестьянскіе и мѣщанскіе домики вида непривычнаго нашему глазу, казалось бы намъ 15-го сентября 1934 года, что на русскомъ хуторѣ, гдѣ-нибудь въ средней Россіи, кончила свою чудесную жизнь Катерина Константиновна Брешковская...

Писать сейчасъ о ней невыносимо трудно, но нужно. Когда умираютъ родители по крону, — дѣти должны молчать, представляя слово другимъ. Когда-же теряемъ мы ближайшихъ владельцев по духу, мы говорить-обязаны.

О Брешковской разсказывать будутъ многіе и многое. Хронологія ея жизни — хронологія Россіи отъ Николая I до Сталина. Ея общественная біографія — исторія революціоннаго движенія почти за три четверти вѣка. Политическія мысли ея нужно изучать въ связи съ развитіемъ народническихъ идей вплоть до тѣхъ, на основѣ которыхъ создавалась партія социалистовъ-революціонеровъ. Обо всемъ этомъ потомъ будутъ писать подробно, но не въ этомъ единственное, неповторимое значеніе жизни Катерины Константиновны.

Оно въ гениальномъ раскрытіи послѣдняго сокровеннаго смысла человѣческой жизни.

Толстой написалъ разсказъ «Чѣмъ люди живы»; Брешковская своей жизнью доказала, что люди живы любовью къ человѣку, служеніемъ своему Богу въ правдѣ и истинѣ. Она не оставила многотомныхъ сочиненій, не вписала своего имени въ списокъ знаменитыхъ государственныхъ дѣятелей, не обезсмертила себя какимъ-либо геронческимъ жестомъ, приковывающимъ вниманіе толпы. При желаніи, можно написать политиче-

скую исторію Россіи, не упоминая о Брешковской, но без нея не можетъ уже обойтись сама исторія, ибо безъ Бабушки духовно ушербленной оказалась бы современная Россія.

Пусть не думаютъ, что я хочу стилизовать Брешковскую подъ мои личныя настроенія или подъ «упадочныя» религіозныя тенденціи по-революціонныхъ поколѣній. Нѣтъ. Напомню здѣсь написанное нѣсколько лѣтъ тому назадъ самой Брешковской — въ этихъ строкахъ ключъ къ пониманію Бабушки. На вопросъ друзей своихъ, — въ чемъ ея вѣра, — она отвѣтила такъ:

«Мое влеченіе ко всему страдающему человѣчеству росло вмѣстѣ со мною, а ученіе Христа служило мнѣ опорой и утѣшеніемъ...

Постоянно слышанное сужденіе, что люди не въ силахъ идти по стопамъ Христа, меня не трогало. Онъ училъ. Значить, признавалъ насъ способными слѣдовать Его ученію. Такимъ сознаниемъ было полно мое міровоззрѣніе, когда я еще не читала ни одной социалистической книжки. Съ ними я впервые познакомилась въ тюрьмахъ, когда моя дѣятельность уже безповоротно опредѣлилась. Въ работѣ моей ученіе Христа всегда занимало центральное мѣсто...

Посильное служеніе Правдѣ стало для меня образомъ религіи. Во всѣхъ трудныхъ минутахъ я мысленно обращалась за помощью къ той Силѣ, коей все существующее обязано своимъ поступательнымъ ходомъ. Въ ней, въ этой Силѣ, безконечно мудрой и безконечно предвидящей, я не перестаю черпать сознание плѣсообразности усилій человѣка въ достиженіи высшаго порядка чувствъ и мыслей. Я ей молюсь, я ее призываю. Безъ ощущенія присутствія этой Творческой Силы — Господи Бога нашего — мнѣ было бы темно и бѣдно...

Поэтому, социалистическія теоріи (и старыя и новыя) не являлись для меня полнымъ откровеніемъ жизненной правды. Я относилась къ нимъ лишь какъ къ попыткамъ выработки формъ общежитія, наиболѣе отвѣчающихъ запросамъ даннаго времени, и притомъ, какъ къ формамъ далеко не совершеннымъ. Для меня все это — кодексы хозяйственнаго устройства народовъ на болѣе справедливыхъ началахъ, а не идеалы человѣческой личности съ высшими запросами ея духовной жизни. И говорю откровенно — не социализмъ какъ «теорія» руководилъ моимъ отношеніемъ къ людямъ и далъ мнѣ возможность прилекать и молодыхъ и старыхъ къ работѣ на поднятіе достоинства человѣка...

Такимъ образомъ, ученіе христіанское ставлю несравненно

выше социалистического. Последнее имѣть глубокое значеніе лишь тогда, когда оно озарено свѣтомъ словъ Христа: люби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всей душою твоей, всѣмъ разумомъ, всей силой. Люби ближняго своего, какъ самого себя. — Безъ такого напряженія души нашей социализмъ остается теоріей, а не ученіемъ жизни».

Служеніе правдѣ черезъ любовь къ человѣку было религіей Брешковской всю жизнь, отъ ранней юности и до послѣдняго смертнаго часа. Мѣнялись расудочныя формулы ея вѣры, но суть оставалась неизмѣнной. Она была народницей уже въ крѣпостной усадьбѣ своихъ аристократическихъ родителей, когда слушала житія святыхъ, которыя ей читала мать, когда училилась передъ подвигомъ святой Варвары Великомученицы. Она оставалась подражательницей Христу, когда бродила убогой странницей изъ села въ село, изъ города въ городъ, все достоинствѣ свое имѣя заброшеннымъ за спину въ маленькомъ узелкѣ.

Уйдя на утрѣ зрѣлой жизни изъ богатаго дома, изъ любимой семьи, она уже всю жизнь не имѣла ни своего постояннаго крова, ни имущества, ни даже одежды. А если ей навязывали лишнее платье или запасную рубашку, она сейчасъ же отглавляла «лишнее» тѣмъ, кто былъ еще ея бѣднѣе.

Она входила во дворцы и въ тюрьмы одинаково спокойно, свободно и гордо, ибо и тюрьма для нея была простымъ продолженіемъ жизни, посвященной любви къ человѣку. — «Не то страшно, — говорила она, — чего люди боятся: бѣдность, преслѣдованія, тюрьма, а то, что ихъ не пугаетъ — обывательщина, жизнь для себя».

Со всѣми людьми обращалась она одинаково любовно — съ партійнымъ товарищемъ и со стражникомъ, гнавшимъ ее на этапъ. — «Онъ негодный человѣкъ», — говорила она про кого-нибудь, — «а ты обращай съ нимъ какъ съ порядочнымъ, можетъ быть, и онъ почувствуетъ въ себѣ человѣка».

Профессионально политикой она не занималась, но ея релігиозное отношеніе къ праву человѣка на социальную справедливость превратило ея жизнь въ упорную политическую борьбу, не знавшую пошадъ ни себѣ ни другимъ. Слекулянтовъ въ политикѣ она отвергала безъ всякихъ колебаній, ибо для нея политика была не «грязнымъ дѣломъ», а дѣломъ жизни, служеніемъ правдѣ.

О Брешковской легче написать житіе по стародавнимъ образцамъ, чѣмъ современную біографію. И дѣйствительно, только глубокой вѣрой, неугасимымъ внутреннимъ пламенемъ лю-

бви можетъ быть подвигнуть современный человекъ на жизнь, прожитую Бабушкой. Эту жизнь можно цѣлкомъ принять или отвергнуть; земно ей поклониться или отвернуться съ глумленіемъ надъ «дикимъ юродствомъ». Но нельзя найти ничего средняго, примиряющаго любовь съ ненавистью, правду съ ложью, Христа съ Антихристомъ.

Отсюда ея суровое отрицаніе большевицкой Москвы. Для нея невозможна была софистика, подыскивающая оправданія злу то въ наслѣдіи прошлаго, то въ грядущихъ достиженіяхъ.

Вся ея жизнь была однимъ бурнымъ потокомъ любви, стихійно смывавшимъ на своемъ пути всѣ плотины, выстроенныя разсчетливымъ разсудкомъ. Брешковская была безразсудной совѣстью, возставшей на безсовѣстный разсудокъ.

И что удивительно и чудесно: безразсудство оказалось высшимъ Разумомъ. Ибо кто же, зрячій, можетъ сейчасъ не видѣть, что путь Брешковской, путь служенія правдѣ черезъ любовь къ человеку есть единственный путь, на которомъ могутъ спастись люди отъ захватывающаго ихъ со всѣхъ сторонъ цивилизованнаго варварства.

Цѣлеустремленная интуиція Брешковской геніальна. Какъ спущенная съ тетивы стрѣла, она ни разу не могла уклониться отъ пути ей предназначеннаго. И эта неуклонность въ исполненіи взятаго на себя бремени воспринималась иногда окружающими, какъ черствая суровость.

Но, отмтая въ своей жизни все личное, развѣ не была она всего неутомимѣй къ самой себѣ?!

Неповторимый образъ Брешковской не былъ бы завершенъ, если бы не знали мы, что до послѣдняго дня своей жизни она про себя неустанно и строго судила свою «грѣшную» жизнь.

— «Хочу, чтобы вы знали, — обратилась она перель смертью къ своимъ ближайшимъ друзьямъ, у которыхъ жила*), — «что не напрасно тратили вы и ваши усилія и вашу искреннюю любовь: вы дали мнѣ возможность передумать и пересмотрѣть все мое многообразное прошлое». И пересмотрѣ этотъ, знаю я, связанъ былъ съ великою мукой.

Совершивъ удивительный подвигъ самоотреченной любви, Брешковская сомнѣвалась, былъ ли смыслъ въ ея жизни, оправданы ли тѣ страданія, которыя, уходя изъ роднаго дома, причинила она своимъ любимѣйшимъ и ближайшимъ по крови. Ни-

*) Л. В. и В. Г. Архангельскимъ и Б. Н. Рабиновичу.

кто на землѣ не могъ и не смѣлъ дать ей успокоительнаго отвѣта. Да и не приняла бы Катерина Константиновна благополучнаго утѣшенія, она должна была до конца въ бореніяхъ напрягать свое неуёмное сердце. Сильнымъ нѣтъ покоя!

«Природа», — написала Брешковская въ своемъ прощальномъ письмѣ, — «дала мнѣ слишкомъ много эмоцій, чтобы жизнь моя могла итти ровными размѣрами безъ бурныхъ скачковъ... Во всякомъ случаѣ могу сказать, что жизнь была ко мнѣ милостива... И тѣмъ, кто принялъ меня своимъ другомъ, я безконечно благодарна не только здѣсь, но и въ томъ будущемъ мірѣ». Мы же должны благодарить безконечно мудрую и предвидящую Силу за то, что Брешковская жила среди насъ и учила насъ подвигу достойной человѣка жизни. Мы должны быть благодарны за то, что на нашу гордость Катерина Константиновна была создана духовнымъ гениемъ Россіи...

Радостное яркое солнце заливало безконечную вереницу людей, шедшихъ и ѣхавшихъ хоронить Бабушку. Ряды чешскихъ легионеровъ, сѣрая безкозырки чешскихъ рабочихъ дружинниковъ, бѣдные наряды русскихъ дѣтей изъ эмиграціи и съ Карпатъ, крестьянскія толпы на короткомъ пути отъ бѣлаго домика къ сельскому тихому кладбищу, чужія боевыя знамена, склонявшіяся передъ прахомъ революціонерки подъ звуки «Коль Славень» — все это создавало единственную, неповторимую, какъ сама Брешковская, обстановку ея ухода на послѣдній отдыхъ передъ послѣднимъ, побѣднымъ возвращеніемъ домой въ Россію. Ибо путь Брешковской — путь съ народомъ и съ Россіей, путь народный и національный.

За кладбищенской стѣной у могилы К. К. Брешковской бѣгутъ поѣзда на востокъ. По этимъ путямъ отвеземъ мы ее домой. Она будетъ символомъ возрожденія Россіи въ прошеніи и примиреніи, въ любви и въ правдѣ.

А. Керенскій.

Три встрѣчи

Памяти Е. К. Брешко-Брешковской.

1.

Это было не помню точно, въ которомъ году, на рубежѣ двухъ столѣтій. Проживалъ я, будучи тогда еще холостымъ и служа въ земствѣ, въ одиночествѣ въ имѣніи, въ Курской губерніи. Однажды, ужиная часовъ уже въ 10 вечера, слышу, что кто-то вошелъ изъ прихожей въ сосѣднюю комнату. Двери у меня въ тѣ патріархальныя времена никогда не запирались. Я былъ удивленъ такимъ позднимъ посѣщеніемъ. Слуга, посланный узнать, въ чемъ дѣло, сказалъ, что пришла какая-то пожилая монахиня, желающая переговорить со мной. Я пошелъ вмѣстѣ съ нимъ и увидѣлъ женщину лѣтъ 60-ти, одѣтую въ черное, не то монахиню, не то странницу. Она, указавъ глазами на слугу, дала понять, что желательно его удалить. Когда мы остались одни, она подошла вплотную ко мнѣ и сказала: «Я — Брешко-Брешковская. Вѣдь вы слышали обо мнѣ? Нѣсколько времени тому назадъ я возвратилась изъ Сибири и теперь нахожусь на нелегальномъ положеніи. Мнѣ приходится скрываться отъ полиціи. Не могу ли я переночевать у васъ? Я пробуду лишь нѣсколько часовъ, такъ какъ рано утромъ я должна быть въ сосѣдней деревнѣ Горпаль». Лицо ея было мнѣ совсѣмъ незнакомо. Фотографіи ея я никогда не видалъ. Первая моя мысль была, что это какое-то подосланное лицо. Какъ разъ у меня въ это время были недоразумѣнія съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, и меня собирались удалить изъ предѣлателей уѣздной земской управы, что потомъ и случилось. Къ тому же я находился подъ негласнымъ надзоромъ полиціи. Я никакъ не могъ допустить, чтобы такое лицо, какъ Брешко-Брешковская, могло явиться къ незнакомому человѣку безъ предупрежденія и безъ рекомендаціи. Вѣдь она могла встрѣтить у меня другихъ лицъ, на дискретность которыхъ не-

известно, можно-ли было рассчитывать. Напримѣръ, она могла натолкнуться на исправника. Она не сказала и я не распрашивалъ, откуда она ко мнѣ явилась. Сказала лишь, что прошла болѣе 10 верстъ пѣшкомъ. Я предложилъ ей поужинать со мной. Мы сѣли за ужинъ около 11 часовъ и она начала рассказывать мнѣ про свою многолѣтнюю ссылку въ Сибирь и про бѣгство оттуда. Свой замѣчательно интересный разсказъ она дополняла красочными бытовыми описаніями. Можно было безконечно его слушать, какъ занимательный романъ. Затѣмъ она перешла на политическія темы. Она говорила, что мы, либералы, должны приступить къ болѣе рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Если мы сами неспособны на терроръ, то должны по крайней мѣрѣ содѣйствовать террористамъ. Должны болѣе опредѣленно разработать нашу социальную программу и главнымъ образомъ выяснить наше отношеніе къ земельному вопросу. Безъ этого народъ никогда не будетъ съ нами. И вотъ, въ продолженіе всей нашей бесѣды я мучился сомнѣніемъ: съ одной стороны мнѣ казалось, что это подлинная Брешко-Брешковская, но съ другой — я все подозревалъ въ ней подосланное лицо. Мнѣ совѣстно было потомъ вспоминать, какія глупости и двусмысленницы, а, можетъ быть, и безсмыслицы я говорилъ подъ влияніемъ этихъ сомнѣній. Мы просидѣли болѣе 3-хъ часовъ и она пошла прилечь и отдохнуть въ сосѣдній флигель въ два часа ночи. Оказалось, что на другой день въ 6 ч. утра ея уже не было и она исчезла такъ же таинственно, какъ и явилась. Я по телефону справился потомъ у одного земскаго служащаго, принадлежавшаго къ партіи социалистовъ-революціонеровъ и отъ него узналъ, что это была подлинная Брешко-Брешковская. Утромъ она дѣйствительно участвовала на митингѣ въ какомъ-то оврагѣ близъ сосѣдней деревни и, можетъ быть, даже убѣждала крестьянъ отобрать у меня землю. Когда я сталъ вспоминать ея разговоръ со мной, зная, что это была дѣйствительно она, мнѣ ясно представился ея нравственный обликъ. Хотя я и не раздѣлялъ конечныхъ цѣлей проповѣдуемой ею программы и особенно ея тактическихъ пріемовъ, тѣмъ не менѣе я не могъ отказать ей въ дѣйствительной искренности ея убѣжденій и въ непосредственности и пылкости ея натуры. Ея жертвенность, энергія и напряженность воли были прямо-таки изумительны.

II.

Августъ 1917 г. Московское Государственное Совѣщаніе въ Большомъ театрѣ. Въ странѣ все болѣе возрастающая тревога,

растущая рознь и чувство надвигающейся катастрофы. Театральная площадь заставлена вагонами забастовавшего трамвая. Огромная, блистающая золотомъ зрительная зала переполнена съѣхавшимися со всѣхъ концовъ Россіи и Сибири участниками съѣзда. На сценѣ съ декорацией зала изъ «Пикової Дамы» столъ, за которымъ сидитъ Временное Правительство съ А. Ф. Керенскимъ во главѣ, министры Кокошкинъ, Шингаревъ, Терещенко, Прокоповичъ, Пѣшехоновъ, Черновъ и др. Правая сторона партера занята членами 4-хъ Государственныхъ Думъ и Государственнаго Совѣта отъ к.-д. и правѣе и представителями разныхъ другихъ организацій. Въ ложахъ партера и бельэтажа именитое русское купечество и представители промышленности. Среди нихъ нѣкоторые старики еще въ длиннопольхъ сюртукахъ, кое-кто изъ молодежи одѣтъ изысканно, можетъ быть, въ Парижѣ или Лондонѣ. Въ литерной царской и ближайшихъ къ ней ложахъ — генералитетъ и офицерство. Вся лѣвая часть партера и часть ложъ заполнена социалистами въ гимнастеркахъ защитнаго цвѣта. Много хорошихъ и блестящихъ словъ было сказано лучшими ораторами всѣхъ партій. Выступали генералы Алексѣевъ, Корниловъ, Калединъ, казачіе атачаны и офицеры, среди коихъ нѣкоторые социалисты. Большинство говорило о необходимости единенія для преодоленія растущаго развала и анархіи. Было символическое рукопожатіе между представителемъ буржуазіи Бубликовымъ и Цетрели, представителемъ социалистовъ. Но тѣмъ не менѣе чувствуется вся безнадежность этой послѣдней попытки найти національное единеніе предъ грядущей опасностью. Когда ставится на голосованіе какой-нибудь вопросъ, вся лѣвая сидитъ и наоборотъ. Маховое колесо «театральнаго» единенія вертится безъ приводныхъ ремней къ настроенію зала, отражающему настроенія разбушевавшейся страны. И вотъ, передъ концомъ засѣданія Керенскій провозглашаетъ вышедшую нѣсколько двусмысленной рекомендацію: «Теперь будетъ говорить исторія». И на ораторской трибунѣ выступаютъ три замѣчательныя фигуры стариковъ: кн. Кропоткинъ, Плехановъ и Брешко-Брешковская. Всѣ они произвели внушительное и трогательное впечатлѣніе своею искренностью и страстными призывами къ единенію, къ уступчивости, къ мирному сотрудничеству. Въ этой именно своей рѣчи Плехановъ, между прочимъ, привелъ ирландскую сказку, оказавшуюся пророческой, о двухъ кошкахъ, дравшихся до тѣхъ поръ, пока отъ нихъ остались одни хвосты. Выходитъ наконецъ Брешко-Брешковская, все въ своемъ полу-монашескомъ одѣяніи. Я ее впервые уви-

дѣлъ приблизительно 17 лѣтъ послѣ перваго деревенскаго свиданія. Несмотря на свои 73 года, она еще была бодра, энергична и полна огня и душевной силы. Не помню въ точности ея рѣчи, но общій смыслъ ея былъ въ томъ, что она умоляла и заклинала отбросить на время всѣ партійные споры и объединиться вокругъ главнѣйшей задачи — сохраненія единой свободной Россіи. Ея пламенные и идушія изъ глубины души слова вызвали оглушительныя рукоплесканія почти всей залы. Но и ея призывъ на дѣлъ не привелъ, къ сожалѣнію, ни къ чему. Собраніе разошлось послѣ заключительной безнадежной рѣчи предсѣдательствовавшего А. Ф. Керенскаго. А Брешко-Брешковской, не дождавшейся свободной Россіи, суждено было кончить свой вѣкъ на чужбинѣ.

III.

Проживая эмигрантомъ въ Чехословакии, я ѣздилъ лѣтомъ 1925 года съ преподавателемъ русской гимназій въ Моравскіи Тшебовѣ В. Н. Свѣтозаровымъ въ Карпатороссію на съѣздъ и выставку по народному образованію. Екатерина Константиновна проживала тогда тамъ въ Мукачевѣ. Ей не удалось довести до Россіи большія деньги, которыя она собрала въ Америкѣ, и она рѣшила расходовать ихъ на просвѣтительныя задачи заброшенной въ Карпатскихъ горахъ вѣтви русскаго народа, отсталой вслѣдствіе многолѣтней зависимости отъ Венгрии. Процентъ грамотности тамошняго населенія незначителенъ и даже тѣ, которые проходятъ черезъ начальную школу, живутъ въ глуши своихъ горъ, сплошь да рядомъ снова забываютъ грамоту. Здѣсь Е. К. устроила два бесплатныхъ интерната для наиболѣе способныхъ дѣтей, окончившихъ начальную школу и не имѣющихъ средствъ для продолженія образованія. Мужской интернатъ въ Ужгородѣ и женскій въ Мукачевѣ предназначены для молодежи, учащейся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и учительскихъ семинаріяхъ. Будучи въ Мукачевѣ, я захотѣлъ показать В. Н. Свѣтозарову, какъ преподавателю русской исторіи, Е. К. Брешко-Брешковскую, этотъ осколокъ русской исторіи новѣйшаго времени. Я думалъ зайти къ ней минутъ на 10-15, чтобы не утомлять эту тогда уже 82-лѣтнюю старушку. А пробыли мы у нея два съ половиною часа и выслушали удивленные отъ всего видѣннаго и слышаннаго нами. Застали мы ее въ чудный июльскій день въ саду, напоминающемъ русскую помѣщичью усадьбу, пьющей подлѣ большаго дерева изъ внушительнаго самовара чай съ чаиновымъ вареньемъ и

домашними булками. Съ ней пили чай нѣсколько дѣвочекъ-сиротъ, которымъ некуда было ѣхать на лѣтнія каникулы, и русская воспитательница. Нѣсколько одряхлѣвшая тѣломъ, она была умомъ все такъ же свѣжа, живо всѣмъ интересовалась, увлекательно рассказывала о своемъ дѣлѣ и о мѣстномъ населеніи. Въ глазахъ вспыхивалъ прежній огонь. Послѣ чая она повела насъ осматривать общежитіе, причемъ объясняла его задачи и рассказывала о достигнутыхъ результатахъ. Изъ нѣсколькихъ десятковъ дѣвочекъ налицо было лишь человекъ восемь. Нѣкоторыя изъ нихъ были одѣты въ свои деревенскіе яркіе костюмы, другія въ городскія платья. Въ углахъ всѣхъ комнатъ висѣли иконы. Въ библиотечкѣ были почти исключительно русскіе классики. На стѣнахъ висѣли ихъ портреты. При происходящей въ Карпатороссіи борьбѣ между русскимъ и украинскомъ направленіями, при остромъ недостаткѣ мѣстной русской интеллигенціи, при царящемъ тамъ языкомъ хаоса и засореніи мѣстнаго нарѣчія венгерскими, румынскими, польскими и нѣмецко-жаргонными словами, Брешко-Брешковская своими интернатами дѣлала большое русское національное культурное дѣло, пріобщая молодежь, въ томъ числѣ будущихъ матерей и учительницъ, къ сокровищницѣ русской культуры. Въ Прагѣ и затѣмъ подлѣ Прагой, гдѣ она жила послѣдніе годы своей жизни, почти всегда можно было видѣть у нея нѣсколько бывшихъ ея воспитанниковъ или воспитанницъ, учащихся въ пражскихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Своей мудрой и любвеобильной дѣятельностью Е. К. Брешко-Брешковская пріобрѣла горячую и трогательную любовь и признательность всего русскаго населенія Карпатороссіи.

Кн. Петръ Долгоруковъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Объ условіяхъ литературной работы въ СССР

Если-бы въ дѣтствѣ меня спросили, чѣмъ я хочу быть, я бы сказала — писателемъ. И на протяжении всей моей жизни я бы отвѣтила такъ же, если-бы во время не поняла, что именно этимъ то я быть и не могу. Но искушеніе писать меня не покидало и, по касательной, нѣтъ-нѣтъ а приближало къ тому, что мнѣ такъ искренно нравилось.

Послѣ революціи меня особенно сильно потянуло къ этому, и не меня одну. Старые литературные кадры были въ то время разрушены, новые еще не установились, совѣтская же власть стремилась развернуть «литературно-просвѣтительный фронтъ» во «всемирномъ масштабѣ». Работы было, дѣйствительно, много и слѣвать можно было-бы массу интереснаго и нужнаго, если-бы не тѣ основныя условія, въ которыхъ ведется всякое дѣло въ СССР.

Въ первый разъ я попыталась достать литературную работу зимой 1920 г. Мы жили тогда въ Павловскѣ. Бѣлые только что были разбиты и отброшены. Послѣ нихъ на всемъ осталась печать катастрофы. Надо было-бы вер-

нуться въ Петербургъ, но тамъ не было ни полѣна дровъ. А въ Павловскѣ была испорчена электрическая станція и вечерами приходилось сидѣть съ лампадкой, въ которой горѣлъ скверный, вонючій керосинъ. Было тоскливо и, конечно, голодно. Хотѣлось найти какой-то выходъ: дѣлать что-то нужное, полезное. И, на широкѣйшательный призывъ изданіи новаго дѣтскаго журнала, во главѣ котораго стала Горькій, я пошла въ редакцію. Въместо редакціи оказалась пустая комната въ заброшенномъ, замороженномъ барскомъ домѣ. Въ комнатѣ два стола, одинъ — маркетри съ бронзой, другой — кухонный. У наряднаго стола стояло вытертое мягкое кресло, въ немъ сидѣла дама когда-то пріятной наружности, въ плюшевой шубкѣ и огромныхъ валенкахъ, какъ у дворника. Она, со скуки, прошептала мнѣ много разныхъ словъ о «свѣжей струѣ» въ дѣтской литературѣ, о «лучѣ свѣта и радости», который нужно нести въ дѣтскій міръ, о замѣчательномъ единственномъ, воспитательномъ Алексѣѣ Максимовичѣ. Между

прочей болтовней она исучила мнѣ заказъ на два рассказа къ ближайшему №, т. е. не позже какъ черезъ недѣлю.

Въ смутномъ настроеніи я ѣхала назадъ. Такой безпорядокъ! И эта болтливая дама, которая даетъ мнѣ заказъ, ничего обо мнѣ не зная. Неужели такъ можно дѣлать новое дѣло? Были-же до революціи совсѣмъ хорошіе дѣтскіе журналы и опытные люди, которые ихъ издавали. Куда это все дѣвалось? Кто эта дама? Навѣрное впихнули по протекціи, потому что теперь всѣмъ нужно гдѣ-то служить. Что буду я писать? И, наконецъ, могу-ли и писать, когда мнѣ голодно и холодно, а писать придется во тьмѣ, почти ни оцупь? Стоить-ли шататься из-за этого въ городъ, сидѣть по шесть часовъ въ не-топленномъ, насквозь промерзшемъ вагонѣ? Можетъ быть умнѣе не тратить силъ, ни умственныхъ, ни физическихъ, а сидѣть у печки и нянчить своего мальчишку?

Потомъ мнѣ надоѣло злиться и ворчать. Я подѣсла поближе къ чухонкѣ въ теплой, деревенской шубѣ и стали не то дремать, не то думать. Какъ хорошо жилось до революціи даже въ самыхъ дикихъ, неприютныхъ мѣстахъ: въ Татарскомъ проливѣ, напримѣръ, почти у самаго Охотскаго моря, въ тайгѣ и тундрѣ. Рыбу ловили, дома пещеромъ печку топил; мужъ на охоту ходилъ. Впрочемъ, это занятіе я мало любила, потому что у мужа нравъ былъ горячій. краю онъ не зналъ и, по всей логикѣ вещей, ему много разъ надо было сложить свою голову.. Какіе псы были тамъ чудные — Соболька и Соколка,

питомцы старика сахалинца. Бѣдный Соболька, медвѣдь перебилъ ему спину. А старикъ, который пошелъ на каторгу за убійство, плакалъ надъ бѣднымъ псомъ, когда тотъ умиралъ у него на рукахъ.

Вотъ имъ и будетъ первый рассказъ. Напишу такъ, что всѣ ребята будутъ плакать, полагается имъ это или нѣтъ.

Въ такомъ настроеніи написала я первый рассказъ. Жалко было и собакъ, и людей, и прежнюю жизнь, въ которой у каждаго были силы бороться, а не захлестывала она людей такъ, какъ сейчасъ.

Со вторымъ рассказомъ я не знала что дѣлать. Съ отчаянія я выхватила изъ памяти американскую исторію про дѣвочку въ семьѣ разорившихся фермеровъ, которая куда-то скакала, кого-то спасала, вернулась на захромавшей лошади, въ копытѣ у которой ея братья нашли кусочекъ серебряной руды — надежду на благополучіе и счастье. Немного отдавало смелко-буржуазной идеологіей, но можно было подпустить героизма. Вышелъ чистѣйшій плагиатъ. Послала оба, думая, что второй рассказъ не примутъ. Нѣтъ, приняли, и когда я пріѣхала за деньгами, та же дама, сидя все въ томъ-же одиночествѣ, прошебетала:

— За ваши рассказы мы заплачимъ какъ за гениальные.

— Оригинальные, — поправила я ее.

— Нѣтъ, гениальные. Такъ выразился Алексѣй Максимовичъ.

— Оба? — съ насмѣшкой спросила я.

— Конечно оба. Пишите, пишите и пишите.

Пожалуй, я и писала-бы, хотя на этот гонорар мнѣ пришлось купить всего фунта два-три крупы, но журнальчикъ, какъ говорится, срочно скончался. Вероятно, Горькій пересталъ имъ интересоваться, а держаться онъ могъ только фаворомъ.

Къ веснѣ стало такъ голодно, но такъ трудно было что-нибудь вымѣнять съѣдобное, что надо было въ серьезъ искать приработка. Я обратилась къ человѣку, который былъ тогда приближенцемъ многихъ интеллигентовъ. Онъ умеръ и я могу назвать его имя, не рискуя, что усердное ГПУ причинитъ ему изъ-за меня безпокойство. Это былъ Сергѣй Федоровичъ Ольденбургъ. За послѣдніе годы много людей оглошло отъ него съ сомнѣніемъ и враждой. Я не скажу, что совѣсть его была чиста передъ гибнувшими на его глазахъ товарищами и сослуживцами по Академіи Наукъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, я не могу побороть въ себѣ чувства, что по существу своему онъ былъ очаровательный человѣкъ.

Умный, высоко-культурный, въ жизни онъ былъ странный фантазеръ, и самое печальное въ немъ было то, что при всемъ его искреннемъ стремленіи служить какому-то отвлеченному, истинному благу, онъ часто не видѣлъ самаго простого, отрицательнаго слѣдствія, къ которому вели его поступки. Не мнѣ судить о немъ, и, кромѣ того, я должна сказать, что было время, когда онъ своимъ влияніемъ неустанно помогать огромному количеству людей, что встрѣтить въ совѣтской жизни очень трудно.

Когда я шла тогда къ нему, я знала, что онъ реально не пред-

ставитъ себѣ нашей нужды, что если я ему скажу, что бываютъ дни, когда у насъ нѣтъ ничего, кромѣ овсянаго киселя, что варю я его изъ овса, который руками чищу, а овесъ этотъ выдали какъ-то мужу по службѣ въ Агрономическомъ Институтѣ, то это его такъ поразитъ, что помѣшаегъ думать о томъ, какой-бы мнѣ добыть заработокъ. Ему также не понять, что силъ у меня осталось мало, что надо дать мнѣ что-нибудь попроще, что основное сейчасъ — честно подкормить меня. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я была увѣрена, какъ-бы сложны, трудны и непрактичны ни были его проекты, онъ все-же что-нибудь изобрѣтетъ и выручитъ. Такъ оно и было. Онъ мнѣ обрадовался, будто я пришла не просить, а сдѣлать ему одолженіе.

— Вы итальянскій знаете? Прекрасно. Мы издаемъ сейчасъ у Гржебина серію сказокъ всѣхъ временъ и народовъ. Вы представляете себѣ, какое неисчерпаемое богатство содержанія даютъ сказки! Это увлекательная работа. Алексѣевъ беретъ на себя китайскія сказки, я — монгольскія. Вамъ мы поручимъ итальянскія. Какъ жаль, что вы такъ поздно ко мнѣ зашли, теперь придется торопиться. Гржебинъ черезъ мѣсяцъ ѣдетъ въ Берлинъ и необходимо дать ему хотя бы эти три сборника.

Это была еще одна изъ особенностей С. Ф. Ольденбурга: онъ никогда не дѣлалъ разницы между собой, академикомъ и крупнымъ ученымъ, и самымъ рядовымъ работникомъ. Онъ, не задумываясь, бралъ меня въ компанію выдающихся лингвистовъ хотя и меня не было на это ни

важных данных. Я, шутя, замѣтила ему это. Онъ улыбнулся.

— Сказки ровняютъ всёхъ. Быть можетъ, въ данномъ случаѣ, мы беремся не за свое дѣло и вы сдѣлаете это увлекательнѣе и лучше насъ. Справиться съ научнымъ матеріаломъ я вамъ помогу. У меня есть очень рѣдкое изданіе фольклорныхъ записей, къ нимъ есть прекрасный комментарий соціалнаго нѣмецкаго ученаго. Немного трудно только свингланское нарѣчіе, но къ нему есть основательный словарь. Вененгское — гораздо проще; флененгское мы должны знать.

И такъ онъ разпнхалъ передо мной сложнѣйшее знаніе, какъ будто я могла работать въ нормальныхъ, комфортабельныхъ условияхъ, а не изголодавшаяся и обезсиленная до такой степени, что буквально съ трудомъ держалась на ногахъ. И это положеніе было типично: гигантскія, ни съ чѣмъ несообразныя затѣи правительственныхъ круговъ, которые мы-же, интеллигенты, вдохновляли, и наша работа изъ послѣднихъ силъ. Вокругъ насъ умирали, кто съ голода, кто отъ тифа, кто отъ дружныхъ ботѣзней, а мы хватались за работу, сами себя усложняли ея исполненіе, надрывались надъ фантазіями, какъ будто этимъ можно было что-нибудь спасти и сдѣлать среди общаго разоренія и хаоса. Партищцы подзадоривали насъ, истязались эксплуатировали, гдѣ можно, а между собою издѣвались надъ нашей интеллигентскою равнодушіемъ и непрактичностью.

Такъ я засѣла за эту непосильную работу. Всѣ вечера и утра, почти съ разсвѣта, возилась я со странными фантазіями, которые

затѣмъ, въ усталомъ снѣ и излву, путались съ нашей дикой дѣйствительностью. Была, напримеръ, сказка про короля, который побѣждалъ гигантскую, людоедскую вошь и пригвоздилъ ее копьемъ къ дверямъ своего двора. Теперь эта мифическая вошь выползла опять. При входѣ въ служебныя помѣщенія Павловскаго Дворца-Музея висѣлъ плакатъ: въ бѣломъ небѣ огромная, черная вошь и надпись — «Не Богъ, а вошь», внизу силуэтъ Петербурга и вторая надпись: «Ты не построишь социализма, пока не перебьешь вошь». Были повѣрья о томъ, что ребенка не надо крестить и не надо дѣлать ему имени, чтобъ смерть не могла его называть и увести съ собой. Сколько теперь было людей, тщательно скрывавшихъ свое имя или то, что съ нимъ было связано. Какъ рады были-бы они, если-бы имъ можно было потерять и не откликаться на него, когда зоветъ Чэка. А образъ дѣвушки, которая должна была заплакать цѣлый кувшинъ слезъ, какой дѣйствительностью былъ онъ созданъ и не вернулась-ли она опять?

Цѣлый мѣсяцъ ворошились въ моемъ мозгу смерть, измѣна, ядъ, драконы, колдуны. Въ первый разъ я поняла, какля жизнь лежала въ основѣ сказочныхъ фантазій, сколько ужасовъ ползеть изъ нихъ и, очевидно, можетъ еще оживать въ годы, на вѣка отстояшіе отъ замысла. Или все это были просто милыя шутки невроза сердца, разыгравшагося изъ-за голода?

Наконецъ я дописала послѣднее слово и вернулась къ дѣйствительности: дома — одна чашка крупы, сонѣмъ нѣтъ соли и у

мальчишки на исходъ всё бронированные для него запасы пищи. Завтра-же надо добыть «три апельсина», т. е. деньги.

Я осталась въ бѣдѣ. Было начало мая и въ щели между шторами свѣтило солнце. На пустомъ столѣ лежалъ кусочекъ хлѣба. Съ вечера мы оставили его, чтобы мнѣ было что съѣсть утромъ. За ночь онъ подсохъ, сжался и еще больше заскорузъ отъ просяной шелухи. Вѣсть его не захотѣлось. Голова немного кружилась, но из воздуха прошло.

Въ паркѣ было уповательно почки лопались на припекѣ; анемонъ - вѣтренницъ насыпало на лужайки какъ снѣга; птицы пѣли, будто на землѣ не было ничего кромѣ счастья.

Въ Петербургѣ все казалось необычайнымъ: пустыя улицы, ослѣпнувшіе отъ закрытыхъ ставней магазины, мертвые дома, но среди всего этого мусора старая зданія, Невы и набережныя особенно величественны и великолѣпны.

Все было-бы хорошо, но С. Ф. Ольденбургъ не успѣлъ переговорить о денежныхъ условіяхъ, не подписать договора на эту серію и я не вѣрила, что онъ можетъ скоро это сдѣлать. Но, на этотъ разъ, деньги были для меня уже не деньги, а вѣда, хотя-бы шиенная крупа, которую нужно было имѣть завтра. Скрѣпя сердце, я настояла на томъ, чтобы С. Ф. Ольденбургъ далъ мнѣ записку къ Гржебину. Онъ далъ съ предупрежденіемъ, что раньше часа мнѣ его не застать. Что дѣлать, буду ждать.

Опять я шла по набережнымъ, мимо пустыхъ дворцовъ, грязныхъ, залушенныхъ, со стеклами

заросшими пылью. Въ окна особняковъ видны дѣльные потолки, затянутыя штофомъ или дорожками обоями стѣны, а поперекъ — веревки съ застираннымъ, жалкимъ, рванымъ бѣльемъ. Мыла въ тотъ годъ не выдавали всю зиму; стирали щелокомъ, пескомъ, глиной.

Пойти мнѣ было некуда, потому что начинало мучительно хотѣться ѣсть, а объѣдать я никого не собиралась, зная, какъ у всѣхъ тонко. Тихонько уцѣлела и къ Лѣтнему саду, гдѣ уцѣлѣло еще нѣсколько скамеекъ. Марсово Поле все только-что перекопали, натыркавъ чахлахъ кустиковъ акцій и еще какихъ-то хворостинокъ. Это къ 1-му мая было приказано ликвидировать мѣсто парадовъ и «милитаристическаго тшеславія», покрывъ всю площадь «зелеными насажденіями». Голодный народъ гоняли на суботники, заставляли выковыривать бульжники, разрушать почти двумя вѣками убитый плацъ. Насаженыя пруттики сейчасъ же высохли и пыль носилась по площади, ставшей безобразнымъ пустыремъ. Много лѣтъ потомъ возмизли, чтобы привести въ порядокъ это поле. Это была все та-же фантастическая позитка и требованіе немедленно, безъ всякихъ средствъ, осуществлять идею, пришедшую въ чью-то избалмошную голову: издавать сказки всѣхъ временъ и народовъ или писать біографіи революціонныхъ дѣятелей всего міра, расковыривать-ли Марсово Поле или снимать рѣшетку Зинчяго Дворца, которая годами потомъ валялась, заромокая садъ и набережную, — сколько было такихъ проектовъ и не перечестъ

Въ саду ребятъ почти не было, а кто и пришелъ, дремалъ, пригнувшись на скамейкѣ или засыпалъ около кучки песка, которую начали соскребать съ дорожки. Когда кто-нибудь изъ нихъ, забывшись, порывался зайти въ возню, дѣвочки постарше кричали на нихъ горькимъ раздраженнымъ голосомъ — «че бѣгай, вѣтъ запросишь!»

Интересно знать, нужны-ли имъ эти сказки, которыми я, въ компаніи съ ученыѣйшими академиками, такъ тщательнѣе изыскиваю и прорабатываю? И сколько еще творится такихъ-же лицемѣрныхъ заѣдъ, которыя съѣдаютъ государственныя деньги, въ то время какъ ребята голодаютъ?

Мнѣ стало совѣстно смотрѣть на нихъ и я пересѣла такъ, чтобъ видѣть только какую-нибудь Флору. Помону или Аврору.

Наконецъ часы доползли до половины пернаго и можно было двинуться въ редакцію. Она помещалась на Невскомъ, противъ Анничкова дворца. Видъ у дома залученный: двери открыты настежь, лѣстница неметеная съ незапамятныхъ временъ, стѣны обшарпаны, стекла испротертыя. Въ передней ни души и та же грязь и пыль, какъ на лѣстницѣ. Зная, что по советскимъ обычаямъ надо вѣать впередъ, пока не зарвешься на секретаршу, которая прежде раздраженно облатаетъ, а потомъ, бурно, ткнетъ пальцемъ въ томъ направлении, гдѣ надо искать начальство, я открыла первую попавшуюся дверь: пусто, никого и ничего, кромѣ огромнаго простѣлочнаго трюмо; во вторую — столъ и кругомъ стулья. Въ третью «залъ засѣданій»; безъ

него немисливо ни одно совѣтское учреждение.

Въ третьей комнатѣ я очутилась прямо передъ самимъ «возняпмомъ», коротенькимъ и очень толстымъ человѣкомъ. Глаза у него круглые, черные, блестящіе, волосы черные, вьющіеся, лоснящіеся; руки до того пухляты, что пальцы онъ держалъ враспорожку, особенно мизинецъ съ золотымъ перстнемъ съ рубиномъ. Видъ у него сытый и процвѣтающій.

Противно, что всѣ теперь разгались на тѣхъ, кто вѣтъ и значить, вѣтъ уже до ожирѣнія и тѣхъ, кто едва добываетъ себя жалкіе, грязные оборыши пищи.

— Вамъ придется побесѣдовать съ нашимъ юрисконсультомъ и зайти для этого еще разокъ. — сказалъ онъ, читая записку С. Ф. Ольденбурга, которую я ему подала.

Еще три часа, проведенныхъ въ Лѣтнемъ саду и, залыхаясь на каждой ступенькѣ, я вернулась къ юрисконсульту. Кругленькій, лысенькій, бѣленькій, быстренькій, настоящій типъ мелкаго, бойкаго нотаріуса.

— Пожалуйста, просмотрите договоръ.

Онъ подаль мнѣ большую листъ отличной, голубоватой бумаги, на которомъ, на прекрасной машинкѣ, четко и точно были отпечатаны всѣ фразы, которыя считаются нужными каждому уважающему себя, издательство. Мнѣ была нужна только конечная цифра.

— Мы платимъ 8000 за листъ, вы не возражаете?

— Нѣтъ, — отвѣтила я спокойно и съ достоинствомъ. И то, и другое объяснялось только моею

усталостью. Въ сознаниі-же у меня горѣли цифры: семь листовъ по 8 000 — 56.000 руб.! Можно будетъ купить фунтовъ 10 крупы, фунта 2 сахара, фунты масла, можетъ быть даже небольшой кусокъ хлѣба. Неужели и деньги сегодня? думала я, но молчала.

Юрисконсулъ передалъ догору барыни за сосѣднимъ американскимъ бюро.

— Пожалуйста, получите гоно-раръ, — сказала она любезно-дѣловымъ тономъ.

Въ простѣночномъ зеркалѣ я видѣла, что у меня красныя пятна на лицѣ и мнѣ хотѣлось скорѣй уйти: эти оба были тоже чужіе люди, нашедшіе какое-то, пусть временное, благополучіе, мнѣ-же случайно бросили кусокъ, когда я была на самомъ краешкѣ.

На улицѣ я стянула съ себя это глупое настроеніе. Деньги это деньги, онѣ лежатъ у меня въ перчаткѣ, два мѣсяца мы будемъ на нихъ вродѣ того что сыты, и какое мнѣ дѣло до всего остального.

Въ тотъ вечеръ мы сидѣли долго пили овсяную бурду, но съ сахаромъ, ѣли черный хлѣбъ, говорили о томъ, что можно еще сдѣлать въ будущемъ хорошаго.

Книжка моя не только не вышла, но безслѣдно пропала, какъ и вторая — французскія сказки, написанная послѣдъ за нею. Гржебинъ былъ обвиненъ въ спекуляціи, издательство закрыто. Когда я зашла узнать о своей рукописи, была зима. Въ одной изъ пустыхъ комнатъ я застала сердную, издрогшую интеллигентку; она сидѣла у «буржуйки», разбирала рукописи и топала печку. Ими? — Да, и ими.

— Вашу рукопись? — набросилась она на меня. — Почему я знаю! Ничего не регистрировалось, хаосъ такой, что самъ чортъ ногу сломить. Повѣриться можно! А требуютъ, чтобъ я составила реестръ и отчетъ.

Ясно было, что какъ только кончилась атмосфера спекуляціи и легкихъ денегъ, сюда тоже завернулъ общегражданскій голодъ, злость и раздраженіе.

— У васъ что, копій нѣтъ? — спросила она съ презрѣніемъ.

— Нѣтъ. некогда было и бумаги не было.

— Ну и пиши пропало. Ни черта тутъ не найдете.

Нечего дѣлать, пошла прочь, не одни мои труды тутъ пропали. Да и на что мнѣ были эти сказки? Все фантастическое было уже запрещено какъ «настѣдіе разложившагося общества», а отъ авторской, собственнической радости Совденія насъ прочто отучила. Зашла заодно къ Маріэттѣ Шагинянъ, спросить, нельзя ли получить черезъ нее работу.

— Вы не писательница, — сказала она строго, — и нечего за это братья. Почему, скажите, всѣ интеллигенты лѣзутъ не въ свое дѣло?

— Потому что ѣсть хотятъ или другихъ кормить пужно.

— Что? Можете сократить свои аппетиты.

Она наговорила мнѣ какихъ-то злыхъ глупостей, которыя, впрочемъ, ни я и никто другой ей въ счетъ не ставити, потому что она была вѣзлимошна больше на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, и дала мнѣ переводить Бальзака, котораго она редактировала для «Всемирной литературы».

Опять заданія въ «мировомъ»

масштабъ; опять спѣшко, сложные договоры, грошевые гонорары, и, наконецъ, запретъ, наложенный на Балъзака, какъ на «продуктъ буржуазной среды». Когда я пришла за послѣдней получкой, у кассы стояла молодая, хорошенькая женщина. Передъ ней лежала вѣдомость, но она не рѣшалась расписаться.

— Миѣ сказали, что я должна получить большую сумму денегъ, что мужу остались деньги за его работы.

— Это все, что ему причиталось, — сухо сказала кассирша.

Я не удержалась и заглянула въ вѣдомость. Она придержала ее ладью, гдѣ стояло имя — Гумилева. Сумма была крупной тысяча два-три тому назадъ, но пока вѣдомость проходила всѣ офиціальныя инстанціи, Гумилева разстрѣляли, а деньги, которые были ему должны, превратились въ такіе гроши, на которые нельзя было купить фунта масла. Она стояла, не зная что дѣлать: расписаться — значитъ отказать отъ послѣдняго, на что она надеялась, а можетъ быть тутъ была ошибка, которую она не понимала.

— Не задерживайте, — строго сказала ей кассирша.

Бѣдная женщина, давно-ли ей завидовали, баловали, а теперь изъ нее кричатъ, потому что она не можетъ сообразить, какъ это такъ катастрофично обезилась ея крупная сумма.

Она расписалась и забыла взять свои тысячи, а можетъ быть, это было уже миллионъ.

— Деньги возьмите! — воскликнула кассирша въ нетерпѣній.

Та испуганно обернулась, рас-

гертанно заснула деньги въ сумочку и ушла.

По сравненію съ ужасной кагастрофой, только что обрушившейся на нее, эта обидка была, конечно, пустякомъ, но очень показательнымъ для нашей жизни. Чекистъ навѣрно не раздумывалъ, подписывая смертный приговоръ поэту, а, вслѣдъ за тѣмъ, большинство постаралось забыть о немъ, о всемъ, что связывало съ нимъ, чтобы не навлекать на себя подозрительнаго вниманія властей.

Еще помню мимолетную, но характерную картину.

Было это какъ будто въ январь 1929 г., въ оттепель и слякоть. Зачѣмъ-то утромъ я заѣхала къ Маріэттѣ Шагинянъ. Когда я входила въ ворота «Дома Искусствъ», меня окликнулъ противный типъ, торчавшій на дворѣ.

— Къ кому идете?

Я отвѣтила. Въ Совдепѣи въ такіе случаяхъ лучше всего не разсуждать. Позади меня, на улицѣ, маячила второй такой - же типъ.

Меня пропустили, значитъ съ Маріэттой благополучно. Она сама стояла посреди комнаты, одѣтая, встревоженная, готовая куда-то броситься.

— Идемъ, сейчасъ - же, кинулась она ко миѣ. Надо предупредить Виктора, у него въ комнатѣ засада. Онъ можетъ вернуться съ минуты на минуту.

— Куда-же мы пойдемъ?

— Къ воротамъ.

— Тамъ два шпики. Намъ съ вами проводить прямо на Горюковую.

— Вы трусите, когда надо спасать человѣка!

Тутъ Маріэтта изругала меня со

всей своей восточной экспрессией, но постепенно убѣдилась въ томъ, что если Викторъ не вернулся по-чевать, значить его предупреди-ли.

— Тогда идемъ на Невскій.

Я согласилась, зная, что дома ее не удержатъ, а выпустить ее одну на улицу, гдѣ она налетитъ на перваго попавшагося шника и наговоритъ ему глупостей, я тоже не могла.

Пошли мы съ ней на Невскій. Я держала ее подъ руку и, какъ было условлено, толкала ее локтемъ, когда мы проходили мимо шника. Ихъ стояло нѣсколько чело-вѣкъ по обѣ стороны Морской, на углу Невскаго и дальше, до Мойки. Маріэтта каждый разъ тарашила на нихъ глаза и пройдя два шага, спрашивала: — Этотъ? — И этотъ тоже? Какъ ужасно!..

Да, было отвратительно. Стоитъ появиться чело-вѣку, за которымъ они охотятся, всѣ они ринутся съ своихъ сторожевыхъ мѣстъ. И публика тоже бросится ковить, сама не зная кого. Такая психологія.

— Идемъ въ Госиздатъ, — та-щила меня Маріэтта.

Логическихъ резоновъ итти туда не было, но спорить съ Ма-риэттой было трудно. Вошли. Поднялись въ третій этажъ, гдѣ были редакторскіе кабинеты — никого. Пошли въ четвертый свернули въ корридоръ. Въ окон-ной нишѣ, на скамейкѣ, сидѣлъ Шкловскій и закрывался газетой.

Я не сомнѣваюсь, что онъ хра-брый чело-вѣкъ, что на фронтахъ и въ перестрѣлкѣхъ онъ могъ быть холоденъ и дерзокъ, но сейчасъ, когда онъ сидѣлъ въ двухъ ша-гахъ отъ улицы, на которой за нимъ охотились, отъ дома, гдѣ,

въ засадѣ, сидѣла его жена и ку-да ему больше нельзя было вер-нуться, это было совѣтъ другое дѣло.

— Надо уходить, — сказалъ онъ, когда мы выложили ему всѣ свои наблюдения. — Зря калоши на-дѣлъ, — соображалъ онъ дѣловито. — Если бѣжать, придется бро-сить, а бросить — больше не до-станешь.

Какъ онъ, чело-вѣкъ органиче-ски близкій революціи, попалъ на подозрѣніе Чека, я не имѣю пред-ставленія. Какъ удалось ему то-гда бѣжать и затѣмъ вернуться въ СССР, я не знаю также. Объ этомъ въ СССР не стоитъ спра-шивать, потому что никто расска-зывать не станетъ.

Въ годы Напа мнѣ пришлось бросить литературную работу. Въ СССР жизнь такая, что стоитъ стать хоть самымъ рядовымъ спе-цомъ, какъ ни на что больше не остается времени, кромѣ своей профессіи. Печатать-же свои на-учныя работы, можно было толь-ко приспособляя ихъ къ зака-замъ какого-нибудь учреждения. Рассказывать объ этихъ мытар-ствахъ неинтересно. Для свѣдѣнія скажу одно: изъ 25 печатныхъ листовъ, написанныхъ мною, при-нятыхъ и оплаченныхъ, вышло аъ свѣтъ всего около 5-ти, да одна монографія была была настукана на машинкѣ въ трехъ экземпля-рахъ, разосланныхъ въ музеи, гдѣ она была особенно нужна.

Въ случаѣ исключительной уда-чи, когда какая-нибудь книжка шла въ печать, необходимо бы-ло претерпѣть исправления, кото-рыя вносили редактора, успѣвшие смѣниться раза три-четыре, пок-рукопись проходила всѣ издатель-скія муки и починить, что въ кон-

иѣ пути еѣ еще ждѣть цензорѣ. А что такое совѣтская цензура, не говоря о самыхъ невѣроятныхъ, неграмотныхъ придиркахъ, по сравненію съ которыми цензура Николая I сушій пустякъ, можно судить по слѣдующему случаю.

Было это въ 1931 г. въ февралѣ мѣсяцѣ, передъ моимъ арестомъ. Я стороной узнала, что одинъ человекъ вышелъ изъ Крестовъ и пошла къ нему, чтобы разпросить его, не встрѣчалъ-ли онъ тамъ моего мужа. О немъ онъ ничего не зналъ, но, между прочимъ, рассказала мнѣ о судьбѣ писателя Х.

— Какъ, и онъ сидитъ! Онъ-же совѣтскій, 100 процентный! — не удержалась я.

— Именно. И безусловно искренній и увлеченный коммунизмомъ.

— Какъ-же онъ попалъ?

— Написалъ книжку. Госиздатъ принялъ и направилъ въ цензуру. Цензорѣ нашелъ въ ней контръ-революціонныя мысли и направилъ еѣ въ ГПУ, а они арестовали его и предъявили обвиненіе въ агитаціи противъ совѣтской власти, статья 58 § 10.

— Любопытный типъ, продолжать онъ рассказывать. Сидѣлъ онъ съ нами въ одной камерѣ: пятеро въ одиночкѣ. Но Х., какъ полагаѣтся совѣтскому молодяку, считалъ, что онъ одинъ попалъ по «недоразумѣнію», а мы всѣ виноваты неизвѣстно въ чемъ. На первомъ-же допросѣ онъ увидалъ, какъ разбираются подобныя «недоразумѣнія». Слѣдователь накричалъ на него, грозилъ разстрѣломъ, требовалъ «признанья», намекалъ на то, что можетъ применить и «другіе методы дознанія». Но нашъ милый юноша былъ

такъ непоколебимо убѣжденъ въ чистотѣ совѣтскаго правосудія, что, очевидно, принялъ самого слѣдователя за недоразумѣніе, наговорилъ ему рѣзкостей, обозвалъ контръ-революционеромъ, дискредитирующимъ совѣтскую власть и проч. Его вернули въ камеру, но онъ и тутъ не угомонился: написалъ заявленіе прокурору, жаловался на слѣдователя, который вынуждалъ «сознаться» подъ угрозами пытокъ и разстрѣла, требовалъ гласнаго суда надъ собой. Вы можете себѣ представить, какой гиперболической наивностью все это казалось намъ? Мы и смѣялись надъ нимъ, и серьезно пытались разубѣдить, — ничего не помогало. Онъ стоялъ на своемъ и, чтобы быть человекомъ дѣла, подкрѣпилъ свои требованія объявленіемъ голодовки. Голодалъ онъ серьезно, «въ сухую», т. е. безъ питья, и состояніе его быстро становилось угрожающимъ. На девятый день ему объявили приговоръ: 10 лѣтъ концлагеря и въ тотъ-же день послали на этапъ, безъ передачи, безъ вещей, безъ свиданія.

Примѣръ этотъ, увы, не единиченъ. Въ 1931 и 32 году было нѣсколько «литературныхъ дѣлъ», жесточайшій разгромъ Госиздата и вообще, такой же терроръ и въ томъ «фронтѣ», какъ и на другихъ, но говорить объ этомъ я пока не могу. Упомяну только еще объ одномъ курьезномъ случаѣ, съ которымъ мнѣ пришлось встрѣтиться въ Кемі, въ центрѣ управленія Соловецкими лагерями, когда я ѣздила туда на свиданіе къ мужу.

Была, а можетъ быть и есть, журналистъ «Извѣстій» Гарри

Онъ считался «героемъ революціи», имѣлъ совѣтскіе ордена, по-видимому лично былъ знакомъ со всей правящей головкой и не стѣснялся являться съ геуеустами. Въ послѣднемъ отношеніи онъ не былъ исключеніемъ. Не говоря о томъ, что Маяковский погибъ, не выдержавъ той атмосферы, которую вокругъ него создали геуеусты во главѣ съ Лидей Брикъ, мнѣ приходилось видѣть Никулина, Безыменскаго и кой-кого другихъ, развлекающихся въ геуеустской компаніи. Повидимому главной приманкой была возможность хоть мимолетно испытать легкость жизни, кутнуть, прокатиться на автомобиле, вырваться изъ тошнотныхъ совѣтскихъ будней.

Гарри былъ именно такого типа. И вдругъ, въ то время, какъ намъ въ тюрьмѣ давали читать его «Крылья совѣтовъ», для возбужденія въ насъ восторга передъ совѣтскими достижениями, онъ самъ оказался въ тюрьмѣ: ГПУ «шило» ему шпионажъ и наградило десятью годами концетраціонныхъ лагерей.

Мужъ мой встрѣтился съ нимъ въ Кемі, въ «Рыбпромѣ». Къ рыбѣ Гарри, конечно, не имѣлъ никакого отношенія, но «по благу» его устроили туда, чтобы избѣжить отъ тяжелыхъ физическихъ работъ. Ему поручено было написать романъ подъ заглавіемъ «Побѣдоносный Японень» «Японенемъ» назывался японскій невольникъ для лова сельдей, который при-

вительство и ГПУ стремились ввести въ употребленіе въ рыбные колхозы. ГПУ должно было быть изображено въ видѣ героя, рационализатора рыбнаго промысла.

На самомъ дѣлѣ этотъ способъ лова былъ крайне неудаченъ, велъ къ разоренію колхозовъ и паденію промысла, но эти пустяки Гарри совершенно не затрудняли. Онъ нахватался отъ сосланныхъ рыбныхъ специалистовъ нужныхъ ему словъ, и «заливалъ гуфту» начальству, т. е. поражалъ ихъ блескомъ своихъ мыслей и просковъ. Жилось ему недурно, какъ только можно при лагерномъ благѣ, но, конечно, онъ всѣми силами старался вырваться на волю. Въ концѣ концовъ ему удалось добиться освобожденія изъ Соловковъ и торжествующій онъ уѣхалъ въ Москву продолжать свою авантюристическую карьеру и писательство.

Что можетъ слѣдовать изъ этихъ случайныхъ наблюденій?

Борьба за кусокъ хлѣба — нужная, мелочная, противная, непрекращающаяся; связанность социальнымъ, или «буржуазнымъ», правительственнымъ заказомъ, за исполненіемъ котораго слѣдуютъ цензура и ГПУ, и хуже всего, можетъ быть, душная атмосфера принужденія, — таковы условия, въ которыхъ ни совѣтской и никакой другой литературы не быть.

Т. Чернавина.

Опыт Рузвельта

I.

Начнем издалека.

Дело было в концѣ 15-го вѣка. Индѣйцы мирно сидѣли на берегу Атлантическаго океана вокруг своихъ костровъ, курили гаванскія сигары и смотрѣли вдаль. На горизонтѣ показались паруса диковинныхъ очертаній.

— Эго облака! — замѣтилъ молодой воинъ.

— Итъ, это стая лебедей, — возразилъ славный охотникъ по имени Сынъ Вѣтра.

Но слѣрый и мудрый Вождь племенъ сурово прервалъ ихъ:

— Какіе тамъ облака или лебеди? Это плывутъ каравеллы Колумба! Братья мои, кончилась наша вольная жизнь: прежде чѣмъ солнце погрузится въ море, Америка будетъ открыта.

— Что же за бѣда, если этотъ самый Колумбъ откроетъ насъ? Мы будемъ драться и защищать нашу свободу! — воскликнулъ молодой воинъ.

— Сопротивленіе бесполезно, — возразилъ мудрый Вождь, — испанцы вооружены ружьями и пушками. Ихъ боевая техника изъ много столѣтій опередила нашу. Встѣдъ за первыми мореплавателями въ нашу вольную страну проникнетъ капиталъ. Наше хозяйство, покоящееся на натуральной обмѣнѣ, не выдержитъ его наиска.

— Почему ты такъ мрачно смотришь на будущее? — перебилъ его Сынъ Вѣтра: — капиталъ вещь не плохая. Если испанскіе купцы предложатъ мнѣ хорошую цѣну за шкуру

Но мудрый Вождь соглять на своемъ:

— Натуральное хозяйство представляетъ основу нашего быта и всей нашей культуры. Оно несомнѣнимо съ капиталистическими отношеніями. Что будемъ мы дѣлать въ рамкахъ финансоваго капитализма? Краснотлицы братья мои, нѣтъ смысла тѣшить себя иллюзіями: открытіе Америки несетъ намъ гибель, а въ томъ, что мы открыты, не возможны сомнѣнія, — иначе какой чортъ принесъ бы Колумба къ намъ въ Нончй Свѣтъ?..

Предвидѣніе не обмануло мудраго Вождя. Колумбъ, действительно, указалъ Старому Свѣту дорогу за океанъ, капиталъ подчинилъ себѣ необозримыя пространства Америки и спустиа какихъ-нибудь четыреста лѣтъ отъ вольной жизни племенъ, нѣкогда населявшихъ эти пространства, остались лишь смутныя воспоминанія.

Но мудрый Вождь пережилъ своихъ краснотлицыхъ братьевъ. Онъ здравствуетъ и понинѣ, пишетъ въ газетахъ и журналахъ и считается большимъ авторитетомъ въ вопросахъ политики и экономики. Въ послѣдніе годы особыми успѣхомъ были увѣнчаны его выступления противъ государственнаго вмешательства въ хозяйственную жизнь. Въ отличіе отъ легкомысленныхъ и близорукихъ современниковъ, онъ, мудрый Вождь, въ точности знаетъ, что не совмѣстимо съ современными хозяйственнымъ строемъ, знаетъ, куда педуть попытки планового хозяйства. Своимъ зоркимъ гла-

зомъ онъ умѣетъ распознать кавалерию большевизма и государственнаго рабства тамъ, гдѣ другіе видятъ лишь легкія облака надъ моремъ или стаю лебедей.

Я извиняюсь передъ читателемъ за эту присказку. Не помню, гдѣ и когда познакомился я съ индѣйскимимъ вождемъ, предсказавшимъ своимъ соплеменникамъ, что ждетъ ихъ послѣ того, какъ Колумбъ ихъ откроетъ. Но этотъ образъ невольно встаетъ передо мною, когда я слѣжу за литературой, порожденной современнымъ кризисомъ и попытками различныхъ государствъ бороться съ нимъ, — въ частности опытомъ Рузвельта.

Мудрый Вождь, видя на горѣ зонтикъ паруса, не могъ знать, кто такіе испанцы, и что такое финансовый капиталъ, и каковы будутъ послѣдствія путешествій Колумба. Но столь-же ограничено и наше предвидѣніе будущаго. Кто могъ 20 лѣтъ тому назадъ предвидѣть Советскій Союзъ, фашистскую Италію или апокалипсическую фигуру Гитлера? Кто могъ 5 лѣтъ тому назадъ предвидѣть, что въ разгаръ кризиса самая капиталистическая страна міра вручитъ власть человеку, который источникъ всѣхъ бѣдствій видитъ въ самонапастіи банковъ и который не побоялся въ борьбѣ съ кризисомъ прибѣгнуть къ мѣрамъ, заимствованнымъ изъ социалистическаго арсенала, къ мѣрамъ, рвущимъ со всѣми капиталистическими традиціями? А разъ мы не могли предвидѣть ни Совнаркома, ни Муссолини, ни Гитлера съ Герингомъ, ни Рузвельта, — то какъ можемъ мы съ увѣренностью судить о томъ, чѣмъ кончатся ихъ опыты?

Мы живемъ въ эпоху трагическихкихъ потрясеній, ломаи вѣковыхъ устоевъ, переоцѣнки старыхъ цѣнностей. Что вылетѣетъ изъ тигеля, въ который судьба бросила наше поколѣніе, — драгоценный металлъ или бесполезный шлакъ? Вернемся ли мы къ правдѣ вчерашняго дня или къ тому, что когда-то казалось намъ правдой Будущаго, или придемъ какими-то, еще неясными путями къ новой, еще не осознанной нами правдѣ?

Я не предполагаю дать здѣсь отвѣтъ на эти вопросы и не знаю какой отвѣтъ дастъ на нихъ жизнь. Одно несомѣнно: вѣснѣе, переходное время, въ «минуты міра роковыя», на авансцену исторіи выдвигаются люди несвязанные традиціей и доктриной, люди ищущіе, вѣрующіе, держащіе. Эти черты общи Ленину и Муссолини, Гитлеру и Рузвельту, — какъ есть общія профессиональныя черты у всѣхъ полководцевъ, или у всѣхъ капельмейстеровъ, или у всѣхъ профессоровъ математики. Различіе между революціонерами - реформаторами лишь въ ихъ цѣляхъ и въ методахъ, которыми они пытаются осуществить эти цѣли.

Подъ этимъ угломъ зрѣнія хочу оцѣнить я здѣсь и опытъ Рузвельта.

II

Годъ тому назадъ я далъ на стр. «Совр. Записокъ» подсчетъ потерь, принесенныхъ міру хозяйственнымъ кризисомъ*). Я показать, что кризисъ стоилъ наро-

*) «Совр. Записки», книга 51. «Міровой хоз. кризисъ».

дамъ приблизительно 200 милліардовъ золотыхъ долларовъ, т. е. столько же, сколько стоила Всемирная война, или въ два раза больше, нежели стоятъ всѣ существующія въ мірѣ желѣзныя и шосейныя дороги съ подвижнымъ составомъ, вокзалами и автомобилями, всѣ каналы, порты, пароходы, всѣ телеграфныя и телефонныя линіи, подводные кабели, аэропланы и пр., и пр. — короче всѣ тѣ средства сообщеній и сношеній, которыя являются главными носителями нашей матеріальной культуры.

Этотъ необычайный по остротѣ кризисъ сопровождался безчисленными банкротствами. Иныя изъ нихъ проходили почти незамѣченными. О другихъ — какъ о банкротствѣ Credit-Anstalt въ Вѣнѣ или Danat-Bank и Nordwolle-Konzern въ Германіи — говорилъ весь міръ. Изъ числа банкротствъ, о которыхъ въ дѣловыхъ кругахъ говорили сравнительно мало, я хочу отмѣтить здѣсь два:

- 1) банкротство современной политической экономіи;
- 2) банкротство современной экономической политики.

Банкротство экономической науки сказалося въ томъ, что она не могла ни предугадать приближеніе кризиса, ни объяснить особенностей его, ни указать пути къ его пресодобію. Впрочемъ банкротство это не очень значительное. Какъ извѣстно, ни одна фирма не можетъ обанкротиться на сумму, превышающую объемъ кредита, которымъ она пользуется. А какой же кредитъ былъ въ послѣднее время у политической экономіи, съ ея враждующими между собою школами? Третьесте-

пенный придатокъ къ предметамъ, преподаваемымъ на юридическомъ факультетѣ (къ которому она имѣетъ не больше отношенія, чѣмъ къ богословію), политическая экономія уже давно вступила въ полосу глубокаго упадка. Съ нея спросъ маленький. А къ тому же въ рядахъ ея оказалось все же нѣсколько свѣтлыхъ головъ (въ Англии и Америкѣ), своевременно понявшихъ, съ чѣмъ дѣло.

Гораздо серьезнѣе банкротство хозяйственной политики. Когда поѣздъ сходитъ съ рельсъ, найти виноватаго нетрудно: виноваты всегда стрѣлочники. Но если сходить съ рельсъ поѣзда на всѣхъ участкахъ желѣзной дороги, если проваливаются всѣ мосты, расползаются всѣ желѣзнодорожныя насыпи, то отыгрываться на стрѣлочникахъ далѣе невозможно, — подъ сузу должны идти строители и директора дороги.

Такъ же и съ мировымъ хозяйственнымъ кризисомъ. Министръ финансовъ или министръ народного хозяйства — тамъ, гдѣ такой постъ имѣется — можетъ бить себя въ грудь передъ палатой, объясняя свои неудачи мировымъ кризисомъ, противъ котораго онъ безсиленъ. Но если эта идея повторяется въ Вашингтонѣ и Лондонѣ, въ Берлинѣ и Парижѣ и 60 другихъ столицахъ, то рано или поздно долженъ встать вопросъ: гдѣ же изъ концы концовъ находится этотъ гангстериванный «міръ», откуда идетъ кризисъ, захлестывающій одну за другой всѣ страны? Не выдумали вообще весь этотъ «мировой» кризисъ, противопоставляемый, какъ причина слѣдствію, кризисамъ въ отдѣльныхъ странахъ? Не явля-

ется ли онъ просто собирательнымъ обозначениемъ для разстройства хозяйства въ Германіи, Англіи, Франціи, Америкѣ и т. д. и т. д.?

Положеніе представляется достаточно яснымъ.

Во всѣ капиталистическія страны міра ведутъ хозяйство на тоже-ственныхъ или почти тоже-ственныхъ основаніяхъ. Различія въ налоговой системѣ, въ акціонерномъ правѣ, въ дѣловыхъ обычаяхъ не мѣняютъ существа дѣла. Отношенія собственности, купли-продажи, найма, кредита по-исключу одни и тѣ же. И повсюду хозяйствомъ управляютъ собственники. Я не боюсь власть въ трифаретъ, подчеркивая, что фактическое руководство хозяйствомъ принадлежитъ не всѣмъ собственникамъ (включая вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ, мелкихъ производителей и т. п.), а болѣе или менѣ узкой группѣ крупныхъ собственниковъ, стоящихъ за кулисами банковъ, биржи и вліятельнѣйшихъ концерновъ.

Не будемъ ставить вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ эти люди держатъ въ своихъ рукахъ общественное мнѣніе и судьбы государствъ, въ какой мѣрѣ въ ихъ власти объявленіе войны и заключеніе мира. Въ этой области много неяснаго, здѣсь возможны преувеличенія.

Но смѣшно и наивно было бы отрицать, что хозяйство и хозяйственная политика всѣхъ капиталистическихъ странъ находятся въ рукахъ немногочисленнаго слоя крупныхъ капиталистовъ. А если такъ, то на нихъ, — на данную систему управленія хозяйствомъ и на директоровъ - распорядителей

этой системы — ложится полностью отвѣтственность за кризисъ.

Запрягли въ свою золотую колесницу гений цѣлыхъ поколѣній, подчинили своей власти всѣ силы природы, настроили машинъ, фабрикъ, заводовъ и верфей, желѣзныхъ дорогъ, пароходовъ, автомобилей и аэроплановъ, присвоили себѣ власть, которой не имѣлъ ни одинъ монархъ и ни одинъ парламентъ міра, — и въ концѣ концовъ такъ запутали всѣ дѣла и такъ сами запутались, что хозяйство стало, и посреди изобилія, безъ видимой причины, отъ 40 до 50 милліоновъ рабочихъ оказалось безъ куска хлѣба...

Читатель согласится со мною, что нѣтъ надобности исходить изъ какой-либо специальной доктрины (напр., изъ марксистской теоріи), чтобы придти къ этимъ выводамъ, — они напрашиваются сами собой, они подсказываются сознанію народовъ фактами.

И именно это сознаніе опредѣлило голосованіе американскихъ избирателей на президентскихъ выборахъ 1933 г. Республиканская партія выставила кандидатуру Хувера, демократы, послѣ долгихъ колебаній, выдвинули Рузвельта. Программы различія обѣихъ партій отошли на задній планъ по сравнению съ различіями въ духовномъ складѣ ихъ кандидатовъ, — не столько въ ихъ обѣщаніяхъ, сколько въ самомъ ихъ подходѣ къ различнымъ вопросамъ. Хуверъ выступалъ, какъ хранитель хозяйственныхъ традицій страны: собственность, бережливость, честность, личная инициатива! Сила Рузвельта была въ томъ, что онъ готовъ былъ по-рвать со всѣми традиціями, поскольку они противорѣчатъ чуж

ству справедливости и здравому смыслу (это настроение проходит красной нитью через все рчи и статьи Рузвельта). Онъ заявилъ себя непримиримымъ врагомъ плутократіи, на которую розлагалъ отвѣтственность за дезорганизацию американскаго хозяйства Онъ обещалъ активную борьбу государства съ кризисомъ, онъ съ вѣрой и искренностью говорилъ о назрѣвшихъ смѣлыхъ социальныхъ реформахъ.

И выбравъ его огромнымъ большинствомъ готосовъ, американскій народъ далъ ему двойной мандатъ — борьбы съ кризисомъ и освобожденія государства изъ подл. власти банковъ и биржи.

Кандидатъ демократической партіи, конечно, не былъ революционеромъ. Но по объективному положенію вещей, избраніе его оказалось актомъ революціоннымъ: оно провело четкую грань между старой и новой Америкой и открыло полосу реформъ, которая, по глубинѣ и значительности, несомнѣнно имѣетъ революціонный характеръ.

III.

Поскольку мировой хозяйственный кризисъ явился плодомъ анархій производства, естественно искать выхода изъ него на путяхъ планового хозяйства. Столь же естественно въ хозяйственномъ планѣ видѣть средство противъ повторенія кризисовъ. Отрицать это, звать къ бесплановости, можно лишь стоя на почвѣ принципа «чѣмъ хуже, тѣмъ лучше». Плановое хозяйство должно повысить матеріальное благополучіе народныхъ массъ... Кто ждетъ отъ голландскаго чуда обновленія нашей

жизни, кто вѣрять въ спасительную роль взрыва отчаянія, тотъ долженъ ненавидѣть самую идею хозяйственнаго плана, какъ попытку новаго обмена пролетариата и спасенія гибнущаго капиталистическаго строя. Противъ такой критики плановаго хозяйства трудно спорить, — она послѣдовательна и логична. Спорны лишь исходныя ея положенія.

Наоборотъ, такъ назыв. «либеральная» критика плановаго хозяйства поконитъ на цѣли недоразумѣній. Антитезой «плана» является не свобода, а бесплановость, хаосъ. Бесплановаго хозяйства не существуетъ и существовать не можетъ. Вопросъ лишь въ предѣлахъ плановости, въ методахъ ея осуществленія, въ томъ, кто является носителемъ планирующей воли и какой идеѣ эта планирующая воля подчинена. Принципіально исключить изъ дѣла планированія государственную власть, значило бы признать, что хозяйственныя задачи могутъ быть успѣшно разрѣшаемы исключительно лишь собственниками капитала. Тезисъ, для защиты котораго надо умышленно закрыть глаза на всю эволюцію хозяйства и государства за послѣдніе 50-100 лѣтъ...

Я не буду здѣсь опровергать эту принципіальную критику плановаго хозяйства или государственнаго вмешательства въ хозяйственные процессы. Отмѣчу лишь, что при ближайшемъ разсмотрѣніи такой критики неизбѣжно обнаруживается, что обращена она не противъ самаго принципа плана, а противъ того, какъ, кѣмъ, въ чью пользу эту плановость осуществляется.

Гораздо существеннѣе разно-

гласія среди сторонниковъ государственнаго вмешательства. Всѣ болѣе или менѣе согласны относительно возможности для государственной власти воздействовать на хозяйственные процессы методами налоговой и таможенной политики. Предѣлы собственной хозяйственной дѣятельности государства и коммунъ уже вызываютъ разногласія. Столь же различны взгляды на значеніе политики государственныхъ субсидій и кредитовъ. Но какъ ни существенны эти разногласія, еще существеннѣе различія въ пониманіи механизма современнаго хозяйства, т. е. тѣхъ разстройствъ его, которыя вызываютъ кризисъ, и тѣхъ методовъ, которыми такіе разстройства могутъ быть предупреждены.

Что вызвало, въ частности, нынѣшній кризисъ? Неправильности въ количественномъ соотношеніи производства различныхъ товаровъ, ошибки въ распредѣленіи капитала между различными отраслями хозяйства? Или какіе-то болѣе глубокіе и болѣе общіе процессы, разрушившіе равновѣсіе между производствомъ и сбытомъ во всѣхъ отрасляхъ хозяйства?

Тотъ или иной отвѣтъ на эти вопросы опредѣляетъ два различныхъ подхода къ проблемамъ борьбы съ кризисомъ и хозяйственнаго планированія. Въ одномъ случаѣ во главу угла надо поставить принципъ непосредственнаго «санитарованья» отдельныхъ отраслей производствомъ съ послѣдующимъ контролемъ государственной власти надъ ними. Въ другомъ случаѣ вопросъ о производственныхъ планахъ отдельныхъ отраслей хозяйства

представляется второстепеннымъ: если въ этомъ году построятъ слишкомъ много автомобилей, въ будущемъ году будемъ строить меньше; если мало заготовили радио-аппаратовъ, наверстаемъ упущенное время поточѣ! Бѣда не въ этомъ, бѣда приходитъ тогда, когда всѣ отрасли производства сокращаются, и все же оказывается, что всѣхъ товаровъ производится слишкомъ много и дѣлать ихъ некуда. А противъ этого зла нельзя бороться выставленіемъ производственныхъ программъ, государственнымъ контролемъ надъ распредѣленіемъ капитала и т. п. Приходится копнуть глубже...

Вопросъ, который я считаю основнымъ для всей проблематики борьбы съ кризисомъ и плановаго хозяйства, можетъ быть сформулированъ такъ:

Гдѣ очагъ кризиса — въ производствѣ или въ распредѣленіи? Въ какой плоскости произошелъ, въ частности, та великая путаница счетовъ, въ результатѣ которой не то 40 не то 50 милліоновъ человекъ оказались безъ куска хлѣба?

Если считать, что кризисъ возникъ изъ просчетовъ техническаго характера тѣхъ людей, которые руководятъ хозяйствомъ капиталистическаго міра, то естественно поставить вопросъ объ ограниченіи ихъ власти, о подчиненіи ихъ государственному контролю или о перенесеніи на государственные органы тѣхъ функций, которыя стали очевидно непосильными частнымъ лицамъ и объединениямъ.

Это — обычная линия социалистической критики. Кризисъ съ одной стороны укрѣпилъ ее и

съ другой ослабилъ. Ослаблена сна тѣмъ, что государственныя, коммунальныя и кооперативныя предприятия оказались столь же безпомощны передъ лицомъ кризиса, какъ частныя предприятия. они точно такъ же увольняли своихъ рабочихъ и служащихъ, точно такъ же сокращали производство, прекращали платежи, банкротились.

Значить, смѣна людей и даже смѣна правовыхъ формъ предприятий еще не рѣшаетъ вопроса.

Въ иномъ свѣтѣ представляется положеніе, если главный источникъ кризиса видѣть не въ диспропорциональности отдельныхъ частей хозяйства, а въ противорѣчіяхъ между производствомъ и распределеніемъ, въ несоответствіи между ростомъ производительныхъ силъ и покупательной силой населенія, вообще въ такихъ **общихъ коэффициентахъ**, какъ уровень цѣнъ, уровень заработной платы, продолжительность рабочаго времени, тяжесть долговъ и т. д., и т. д. Если здѣсь корень кризисовъ, то нельзя ли создать такую систему государственнаго воздействия на хозяйственные процессы, которая исключала бы возможность новыхъ кризисовъ, при минимальномъ ограниченіи личной инициативы хозяйствующихъ лицъ? Въ этомъ случаѣ государственно не предписывало бы предпринимателю, сколько долженъ онъ вылавливать стали или выпекать булокъ. Государство и не пыталось бы замѣнить его, оно ограничилось бы воздействием на общія условия, въ которыхъ должна протекать дѣятельность всѣхъ предприятий, какъ его собственныхъ, такъ и част-

ныхъ*). Эти условия: уровень цѣнъ, реальная заработная плата, рабочее время, объемъ кредитовъ и т. д., и т. д...

Я подчеркиваю: возможность подхода съ этой стороны къ проблемамъ кризиса и хозяйственнаго плана связана съ опредѣленной теоретической концепціей, которая имѣетъ не мало сторонниковъ, но имѣетъ также и убѣжденныхъ противниковъ.

Социалистическая ли это концепція или капиталистическая? Ответить на этотъ вопросъ столь же трудно, какъ отвѣтить на классическій вопросъ, совѣстна ли прививка противъ оспы съ христіанской религіей. Если прививка помогаетъ противъ заразы, къ ней будутъ прибѣгать и вѣрующіе и невѣрующіе, — одни съ молитвой, другіе безъ молитвы: дѣйствіе вакцины на микробы отъ этого не мѣняется.

Точно такъ же обстоитъ дѣло съ вопросомъ о борьбѣ съ кризисомъ путемъ воздействия на основные коэффициенты народнаго хозяйства. Возможна такая борьба или нѣтъ? Можно ли путемъ опредѣленныхъ мѣръ со-

*) Я не возражаю здѣсь противъ необходимости национализаций «ключевыхъ» отраслей хозяйства, какъ то: горной промышленности, тяжелой металлургіи, добычи двигательной энергіи, железныхъ дорогъ, хлѣбной торговли и, главное, кредита. Моя критика касается лишь способа обоснованія этихъ требованій и, прежде всего, представлений, будучи частичная — хотя бы и далеко идущая — национализацией хозяйства можетъ предостеречь повтореніе кризисовъ.

стороны денег, цѣны, заработной платы и т. п. измѣнить ходъ хозяйственной жизни въ желательномъ направленіи? Если это возможно, къ этому приему будутъ прибѣгать и капиталистическія и социалистическія правительства, — каждое по своему. Но при этомъ кругъ хозяйственныхъ задачъ государства расширится, будетъ сдѣланъ шагъ впередъ на пути къ плановому хозяйству, политическая борьба получитъ новое содержание...

Все это при условіи, что новые методы воздѣйствія на хозяйственные процессы дѣйствительны.

Всемирно-историческій смыслъ опыта Рузвельта заключается именно въ томъ, что онъ применилъ эти новые, до сихъ поръ не испробованные, методы для борьбы съ жесточайшимъ кризисомъ въ странѣ, сосредоточивающей въ своихъ рукахъ 44% мировой промышленности.

IV.

Первымъ шагомъ Рузвельта была, какъ извѣстно, отмена золотого размѣна доллара. Вслѣдъ затѣмъ правительство приступило къ закупкѣ золота, давая за всѣтовую единицу металла большее количество долларовъ, чѣмъ сколько полагалось бы по паритету. Эта мѣра многихъ поразила, какъ совершенно бессмысленная операція. Она и была бы чистѣйшей бессмыслицей, если бы цѣлью ея было приобретение золота. Но цѣль ея была иная. Рузвельтъ хотѣлъ понизить курсъ и уменьшить непомѣрно возросшую (вслѣдствіе паденія уровня товарныхъ цѣнъ) покупательную силу доллара, и изъ многочисленныхъ

путей, ведущихъ къ этой цѣли, избралъ тотъ путь, который въ американской экономической наукѣ былъ описанъ и обоснованъ Уореномъ.

Золотой курсъ доллара былъ пониженъ сперва на 25, затѣмъ на 30 и наконецъ на 40%. Возможно, что эта политика будетъ продолжена до обезцѣненія доллара (по отношенію къ золоту) на половину.

Въ результатѣ обезцѣненія доллара произошло сокращеніе всѣхъ выраженныхъ въ американской валютѣ долговыхъ обязательствъ. Во внѣшнихъ расчетахъ Соединенные Штаты списали значительную часть своихъ кредитовъ (характерно, что никто изъ должниковъ не сказалъ имъ за это «спасибо»). Во внутреннихъ расчетахъ была сокращена задолженность государства и отдѣльныхъ городовъ, государство получило въ свое распоряженіе огромныя свободныя средства, а главное, всѣ частныя лица были освобождены отъ части своихъ долговъ. По существу это было освобожденіе земледѣльцевъ и промышленниковъ отъ задолженности по отношенію къ банкамъ, которые, пользуясь паденіемъ цѣнъ во время кризиса, опугали хозяйство страны цѣными настоящей казны.

Я не буду останавливаться на обоснованіи этой политики. Измѣчу лишь одну характерную черту ея. Задача, которую ставилъ себѣ Рузвельтъ, была чисто экономическая, онъ хотѣлъ сдвинуть съ мѣли хозяйство и вернуть ему свободу маневрированья. Методъ, который онъ избралъ, былъ подсказанъ ему теоретиками и техниками банковскаго дѣла. А меж-

ду ить, реформа, которую онъ провёлъ, имѣла социальный характеръ, она свелась къ перераспредѣленію имущества и обязательствъ въ странѣ, она давала опредѣленнымъ слоямъ населенія то, что брала у другихъ слоевъ.

Было ли это случайностью, или социальный характеръ первыхъ мѣропріятій Рузвельта вытекалъ изъ опредѣленнаго пониманія сущности и происхожденія кризиса?

Какъ бы то ни было, и дальѣйшіе шаги президента такли въ себѣ опредѣленное социальное содержание.

Онъ провёлъ широкую помощь фермерамъ путемъ конверсіи ипотечныхъ долговъ, дешевыхъ ссудъ и прямыхъ субвенцій. Вопросъ о финансированіи этихъ мѣропріятій рѣшался въ порядкѣ кредитной инфляціи. Но кредитная политика не создаетъ новыхъ материальныхъ благъ, не увеличиваетъ социального продукта, она вліяетъ лишь на распредѣленіе, извлекая изъ общаго котла нѣкоторое количество благъ и передавая ихъ тѣмъ социальнымъ группамъ, въ пользу которыхъ поступаютъ новые кредиты. Какъ Германия въ 1920 - 1923 гг. вела инфляцію въ пользу тяжелой индустріи, за счетъ остального населенія, такъ Рузвельтъ открылъ эру кредитной инфляціи въ пользу земледѣльцевъ, какъ класса, наиболѣе пострадавшаго отъ кризиса и населенія ить.

Понятно, дѣло не обошлось безъ грѣшій. Какъ всегда при дѣлѣ, было немало крику. Чуть-чуть не дошло и до драки. Кричали фермеры, а драку готовили, повидному, тѣ круги, которые считаютъ Рузвельта предтечей большевизма...

Но Рузвельту удалось сравнительно легко столкнуться съ фермерами. Къ осени 1934 г., когда выяснились весьма скромные размѣры новаго урожая, фермерскій вопросъ сошелъ на время со щепы: итьны на хлѣбъ и на хлопокъ идутъ въ гору, для американскаго сельскаго хозяйства на смѣну «тощимъ годамъ» приходятъ наконецъ «тучные годы».

Но страна охвачена эпидеміей забастовокъ, часть которыхъ протекаетъ чрезвычайно бурно, — съ мобилизаціей вооруженныхъ силъ, со стрѣльбой, со значительнымъ числомъ раненыхъ и убитыхъ. Противники Рузвельта считаютъ его виновникомъ рабочихъ волненій...

Въ известномъ смыслѣ они, пожалуй, правы.

Первые шаги Рузвельта (отказъ отъ золотого размѣна доллара) вызвали бурный подъемъ промышленности, — производствюль три-четыре мѣсяца почти удвоилось. Но это былъ спекулятивный подъемъ: росло производство, но не былъ обезпеченъ сбытъ для производимыхъ товаровъ. А кромѣ того ростъ производства не сопровождался соответствующимъ сокращеніемъ безработицы, такъ какъ прочищенные предприятия увеличивали продолжительность рабочаго дня и вводили сверхурочныя работы. Тогда Рузвельтъ, одновременно съ драковскимимѣрами противъ спекуляціи, приступилъ въ ходъ систему НРА. Основная идея ея — сокращеніе рабочаго времени и расширенія внутреннего рынка страны путемъ повышенія реальной заработной платы, при одновременной защитѣ работодателей отъ недобросовѣстной конкуренціи.

Эта система требует самостоятельности рабочих масс, так как никакая администрация не в силах защитить высокую заработную плату и короткий рабочий день, если рабочие не умеют сами защищать свои интересы. Рабочие союзы получили права и функции, которых они до сих пор не имели. К ним хлынули миллионы новых членов. У них явились и средства для пропаганды и для стачечной борьбы.

Пока Рузвельт разъяснял странѣ экономический и социальный смысл новой политики, пока Джонсон уговаривал предпринимателей и угрожал им различными болѣе или менее действительными репрессиями, рабочие союзы копили силы...

Забастовочное движение в Соединенных Штатах имело две волны не одинакового характера. Первая волна совпадает с периодом выработки основных промышленных «кодов». Забастовки этого периода (лѣто и осень 1933 г.) были по большей части непродолжительны и протекли в атмосферѣ сочувствія общественнаго мнѣнія страны. В общем онѣ шли в том же направлении, что и коды (сокращение рабочего времени, повышение заработной платы). Ярче, чѣм в кодах, была подчеркнута важная идея признания профессиональных союзов. Почти всѣ забастовки (а в 1933 г. было зарегистрировано 1.372 стачки, почти вдвое больше, чѣм приходилось в среднем на предыдущие годы), почти всѣ забастовки этого времени оканчивались частичной или полной побѣдой рабочих, частью путем прямых переговоров с хозяевами, ча-

стью в порядкѣ правительственного арбитража. Къ концу года забастовки пошли на убыль, условия труда, казалось, были относительно стабилизированы.

Но весной разразился конфликтъ в гавани Санъ-Франциско. Рабочие, послѣ краткой, но очень напряженной борьбы, добились побѣды,—признанія союзов и распространения кодовъ на портъ, гдѣ вербовка рабочих и матросов производилась до тѣх поръ черезъ владѣльцевъ кабаковъ и притоновъ. Стачка в Санъ-Франциско послужила сигналомъ. Теперь борьба захватила слои, еще недавно стоявшие внѣ трядъ-юнионовъ. По существу, это была борьба за расширение кодовъ, за распространение системы НРА изъ всю страну. Но рабочие, которые были обойдены дѣйствующими кодами, не могли питать иждивенныхъ чувствъ къ НРА и къ возглавлявшему ее генералу Джонсону. В своихъ воззванияхъ руководители забастовокъ не стѣснялись въ выборѣ выражений по адресу НРА, темпераментный генералъ отвечалъ имъ не менѣе выразительно и сочно. Мѣстные власти мобилизовали гражданскую милицію. Губернаторы требовали отъ Вашингтона присылки войскъ. Забастовочные комитеты слагали съ себя всякую ответственность за послѣдствія. При столкновении забастовщиковъ съ штрейкбрехерами шли в ходъ камни, ножи, револьверы, милиция пускала въ ходъ карабины и стезоточивыя бомбы. Президентъ заявлялъ корреспондентамъ газетъ, что онъ внимательно слѣдитъ за ходомъ событій, готовъ способствовать примиренію сторонъ, но выступить не раньше, чѣмъ убѣдятся,

что таково желанье сторонъ. Газеты всего мiра печатали сенсационныя сообщенiя о близкомъ концѣ НРА и, въ особенности, объ отставкѣ Джонсона*). А затѣмъ все заканчивалось переговорами за зеленымъ столомъ подъ руководствомъ назначеннаго президентомъ арбитра.

Лѣтомъ забастовочное движенiе усложнилось тѣмъ, что рядъ профессiй выступилъ съ требованiями, идущими дальше дѣствующихъ кодовъ: если коды стремились установить 40-часовую недѣлю, то теперь въ порядкѣ дня стоитъ 30-часовая недѣля (пять рабочихъ дней по 6 часовъ) съ соответствующимъ повышенiемъ заработной платы.

Характерно по отношенiю къ этимъ новыимъ требованiямъ рабочихъ позицiю благожелательнаго нейтралитета. Въѣз коды — не вѣчные законы. Это лишь «добровольныя» соглашенiя сторонъ. Ихъ статьи могутъ быть — въ указанныхъ въ самыхъ договорахъ сроки — пересмотрѣны и измѣнены. Содержанiе ихъ опредѣляется общественнымъ мнѣнiемъ страны и соотношенiемъ силъ работодателя и рабочихъ...

*) Въ концѣ концовъ Джонсонъ все-же ушелъ на покой. — Газеты, которымъ онъ далъ столько материала за время своей дѣятельности, почтили его отставку сообщенiемъ о томъ, какъ плакалъ онъ и какъ рыдали его сослуживцы при разлукѣ. Но съ уходомъ Джонсона положенiе НРА не только не поколебалось, но было упрочено сближенiемъ съ центральными учрежденiями государства.

Дальнѣйшее сокращенiе рабочего времени? Съ точки зрѣнiя средняго американца объ этомъ вопросѣ стоитъ подумать. До сихъ поръ реформы Рузвельта дали работу 4 миллионамъ человекъ (не считая такого же числа безработныхъ, получившихъ временный заработокъ на общественныхъ работахъ). Но этого недостаточно! Въ странѣ осталось больше 12 миллионновъ безработныхъ. Ихъ вовлеченiе въ производство идетъ слишкомъ медленно. Если сократить рабочее время, можно будетъ поставить на работу еще нѣсколько миллионновъ человекъ. Если эта мѣра увеличитъ сумму заработной платы, этимъ будетъ расширенъ внутренний рынокъ, тогда можно будетъ расширить производство. А это опять-таки означаетъ новую работу для безработныхъ. Отчего не попробовать?

При такомъ настроенiи средняго американца, газетамъ становится все труднѣе и труднѣе держать читателей въ трепетѣ передъ краснымъ призракомъ анархiи и большевизма.

V.

Я не хочу изображать событiя въ Америкѣ въ идиллическихъ краскахъ. Пусть газетныя сообщенiя изъ-за океана одинаково усердно преувеличиваютъ затрудненiя Рузвельта и преуменьшаютъ достигнутые имъ успѣхи. Пусть гримируютъ онѣ умѣреннѣйшихъ и респектабельнѣйшихъ тредъ-юнионистовъ подъ свирѣлыхъ анархистовъ. Если не по формѣ, то по внутреннему содержанiю совершающихся процессовъ положенiе въ Соед. Штатахъ должно

быть признано глубоко революционными.

Революционная попытка государства овладеть сильными силами хозяйства и направить их в сторону интересов всего народа. Революционный процесс освобождения страны изъ под власти банковъ, революционно и выступленіе организованных общественных силъ, становящихся носителями и проводниками новой хозяйственной политики. Но революционнѣ всего та особенность политики Рузвельта, которая меньше всего осознана общественнымъ мнѣніемъ Европы.

Принято ставить имя Рузвельта въ ряду именъ диктаторовъ нашего времени. Вотъ и началъ свою статью съ сопоставленія: Сталинъ, Муссолини, Гитлеръ, Рузвельтъ. Но и сдѣлалъ это лишь для того, чтобы подчеркнуть въ заключеніи глубокое различіе между Рузвельтомъ и тѣми, съ кѣмъ такъ часто сближаютъ его.

Рузвельтъ — диктаторъ? Но вокругъ имени диктатора всегда витають кровавыя тѣни. У трона диктатора всегда стоитъ преданная ему, живущая его милостью опричина. Около имени Рузвельта нѣтъ крови, вокругъ Бѣлаго Дома нѣтъ ни черныхъ, ни коричневыхъ рубахъ, ни чекистовъ.

Диктаторъ не терпитъ ни оппозиціи, ни критики, ни свободной мысли. Въ странѣ диктатурч дѣйствуетъ только партія диктатора и дѣйствуетъ она по его приказу. Но гдѣ партія Рузвельта? Демократы, два года тому назадъ выставившіе его кандидатуру, далеко не все согласны съ его политикой, но зато у него много друзей въ другихъ политическихъ

группировкахъ и внѣ всякихъ партій. Онъ не закрылъ ни одной партіи, не запретилъ ни одной газеты, не разогналъ ни одного собранія. Вѣроятно, онъ и при желаніи не могъ бы сдѣлать этого, такъ какъ полномочія, которыя онъ испросилъ у конгресса, касаются борьбы съ кризисомъ, а не борьбы съ собственнымъ народомъ.

Диктатура — антитеза свободы, общественной самостоятельности, демократіи. А реформы Рузвельта пробудили въ Соед. Штатахъ общественную самостоятельность и дала толчокъ общественной организованности въ небывалыхъ для Новаго Свѣта размѣрахъ и въ новыхъ — для всего міра — формахъ.

Это диктатура?

Когда президентъ республики разсылаетъ всѣмъ работодателямъ письма съ просьбой о подержкѣ его начинаній путемъ увеличенія числа рабочихъ, повышенія платы и сокращенія рабочихъ часовъ, и замѣняетъ декреты частными договорами — кодами, то скорѣе приходится упрекнуть его гъ томъ, что онъ уговариваетъ вмѣсто того, чтобы приказывать.

А между тѣмъ «главноуговаривающій» Соед. Штатовъ окажется сильнѣе и удачливѣе иныхъ диктаторовъ, открывающихъ ротъ лишь для того, чтобы кричать о своей силѣ и о достигнутыхъ успѣхахъ.

Несмотря на заминку въ дѣлахъ въ послѣдніе два-три мѣсяца, положеніе Соед. Штатовъ, какъ небо отъ земли, отличается отъ того хаоса, который царилъ здѣсь въ мартѣ 1933 г., когда Рузвельтъ пришелъ къ власти.

Производство расширилось круг-

лымъ счетомъ на половину. Число занятыхъ рабочихъ увеличилось на 4 милліона. Реальная заработная плата повысилась въ среднемъ на 15-20%. Паденіе цѣнъ остановлено. Условія рентабельности предприятий улучшились. Банкротства сократились. Царившій въ странѣ маразмъ уступилъ мѣсто оживленію.

Правда, то, чего удалось достигнуть Рузвельту въ теченіе полугода, меньше того, что еще предстоитъ ему сдѣлать. Правда, тѣ социальныя противорѣчія, которыя развиваются въ ходѣ опыта, могутъ въ корнѣ измѣнить обстановку и поставить президента Соед. Штатовъ передъ тяжелымъ выборомъ. Пойдетъ ли онъ до конца съ тѣми духами социального обновленія, которые онъ же пробудилъ, или обернется про-

тивъ нихъ, или отойдетъ въ сторону? Чѣмъ кончится опытъ Рузвельта я не знаю (какъ не знаетъ этого и самъ Рузвельтъ). Но я попытался характеризовать здѣсь содержаніе и смыслъ этого опыта, какъ борьбы человѣческаго разума съ экономическимъ хаосомъ. И читатель, раздѣляющій мою оцѣнку положенія, согласится и съ моимъ выводомъ: успѣхъ Рузвельта будетъ побѣдой не только разума надъ хаосомъ, но и идеи свободы надъ идеей насилія, принципа демократіи надъ принципомъ диктатуры.

Но Рузвельтъ не заключилъ договоръ съ побѣдой. Возможно и крушеніе его опыта. Тогда поле будетъ очищено для борьбы насилія съ насиліемъ, диктатуры съ диктатурой.

Вл. Войтинскій.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К. Мочульский. Духовный путь Гоголя. УМСА-Press, Paris, 1934.

Книга Мочульского представляет собою совершенно новое исследование о Гоголе, рассматривающее с особой точки зрения трагедию его жизни. И. Аксаков сказал о Гоголе: «Жизнь его представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго неразгаданным». Мочульский дает много для раскрытия этого смысла, дает новый материал и совершенно новое освещение проблемы. Книга написана с редким чувством меры, жато, сильно и с большим проникновением в основные трагические конфликты этой великой души.

Автор рассматривает два основных конфликта, определяющих личную трагедию Гоголя. С точки зрения этих конфликтов развевается вся его жизнь и выступает его изумительный характер, ибо эти конфликты составляют основную тему его жизни. Первый конфликт присущ каждому художественному гению в той или иной степени. Это конфликт «гения и злодѣйства». Пушкин ставит эту проблему в «Моцартѣ и Сальери». Какъ возможно, что гений дается не въ награду труда и подвига, а напротив «осѣняетъ голову безумца, гуляки празднаго»? Какъ можетъ, какъ смѣетъ онъ быть самымъ ничтожнымъ «среди дѣтей ничтожныхъ міра»? Пушкину представляется все-таки, что есть извѣстный предѣлъ такого несоотвѣстія между высокой художественной одаренностью и нравственнымъ паденіемъ. Предѣлъ состоитъ въ томъ, что «гений и злодѣйство» несовѣстны. Гоголь пережилъ этотъ трагизмъ съ исключительной силой. Онъ пишетъ о себѣ: «Во мнѣ заключилось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей.. и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человекѣ.. Я сталъ надѣлать своихъ героевъ сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, мою собственную дрянью». Совершенно ясно, что самъ Гоголь имѣлъ въ себѣ и Чичикова, и Хлестакова, и Манилова. И что самое ужасное, въ немъ была моральная и даже мистическая хлестаковщина. Онъ пишетъ о своей «Перепискѣ съ Друзьями»: «Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духа заглянуть въ нее. Право, есть во мнѣ что-то хлестаковское». Гоголя трудно было любить, до такой степени онъ былъ иногда невыносимъ въ своей риторикѣ, въ своихъ моральныхъ поученіяхъ, въ своей пророческой позѣ по отношенію къ самымъ близкимъ друзьямъ и роднымъ. С. Т.

Аксаковъ пишетъ: «Я не знаю, любилъ ли кто Гоголя. Я думаю нѣтъ, да это и невозможно. Гоголь для меня не человѣкъ». И, вмѣстѣ съ тѣмъ, Гоголь обладалъ безошибочнымъ моральнымъ сужденіемъ Смѣшное, отвратительное, пошлое и низкое онъ чувствовалъ, какъ никто; чувствовалъ и въ себѣ. Гений и пошлость, гений и «мертвая душа» тоже вѣдь «двѣ вещи несомѣстныя», а Гоголь часто чувствовалъ холодъ и мертвенность своей души.

Онъ преодолевалъ въ себѣ все страшное и отвратительное содержание своего подсознанія, и не только своего, а и коллективного подсознанія, посредствомъ художественной объективациі. Всѣ страсти, всѣ полонзвенія, онъ воплощалъ въ реальные фигуры, надъ которыми смѣялся и издѣвался: «если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ моего, онъ бы точно содрогнулся». Въ художественной объективациі заключается великое освобожденіе души, великое продолженіе ея подсознательныхъ силъ. Гете это хорошо сознавалъ.

Гоголь переживалъ съ огромной силой трагическое противорѣчіе между великимъ художественнымъ гениемъ, который безошибочно оцѣниваетъ красивое, ничтожное и смѣшное — и своей личной жизнью, съ ея слабостями, страстями и суетой, въ которую онъ «малодушно погруженъ». Это противорѣчіе всегда изумляло и будетъ изумлять со стороны, извнѣ, съ точки зрѣнія тѣхъ, кто окружаетъ гениальнаго человѣка. Гениальные люди обыкновенно мало пріятны, часто невыносимы для близкихъ. Но никто, пожалуй, не переживалъ это противорѣчіе съ такою силою внутри самого себя, какъ Гоголь. Невыносимо видѣть въ себѣ и знать всю эту низость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, слышать и пѣть «гимнь красотѣ небесной». И Гоголь рѣшилъ, что такъ быть не должно; онъ рѣшилъ преобразить свою душу, создать въ себѣ сильную героическую личность, которая соотвѣтствовала-бы размѣрамъ его генія, какъ бы имѣла право на этотъ гений. Ему казалось, что такой художникъ будетъ творить совсѣмъ иначе, сдѣлаетъ мертвыя души живыми, «будетъ удостоенъ пропѣть гимнь красотѣ небесной». Путемъ огромнаго подвига всей жизни, Гоголю несомнѣнно удалось перевернуть, обратить, преобразить свою душу. Тотъ же С. Т. Аксаковъ заявляетъ: «Я признаю Гоголя святымъ, это истинный мученикъ нашего времени, и въ то же время мученикъ христіанства». Гоголю удалось несомнѣнно личное спасеніе. Онъ не согласился остаться тѣмъ ничтожнымъ медумомъ, который иногда осяняется гениальными прозрѣніями. Но остался другой принципиальный конфликтъ, который не разрѣшенъ ни въ жизни Гоголя, ни въ объективной философской сферѣ.

Это конфликтъ между пророчествомъ, моральнымъ учительствомъ и художественнымъ гениемъ. Онъ виситъ надъ всей русской литературой, но больше всего надъ русскимъ характеромъ, надъ душою русскаго писателя и художника. Какъ только Гоголь достигъ нѣкотораго самообладанія и моральнаго просвѣтленія въ своей религиозной аскезѣ, такъ онъ почувствовалъ жажду моральнаго учительства, жажду пророчества. И вотъ здѣсь возникъ новый конфликтъ.

моральная установка и пророческій пафосъ уничтожили художественную цѣнность творчества. Небесная красота не удавалась. Удавалась только красота земная, смѣхъ, юморъ, иронія. Пророчество, моральное учительство убивали искусство и сами были наивны и даже бездарны и оборачивались хлестаковщиной. Отъ этого конфликта Гоголь страдалъ сильноѣе, чѣмъ отъ перваго. И преодолѣть его никогда не смогъ. Отсюда — сожженіе «Мертвыхъ Душъ», въ первый разъ правильное, во второй разъ ошибочное. Въ одномъ великомъ прозрѣніи Гоголь все же понялъ, какъ это могло удасться и въ чемъ заключалось правильное для художественнаго гения рѣшеніе. Оно выражено въ письмѣ къ Жуковскому: «Въ самомъ дѣлѣ, не мое дѣло поучать проповѣдью. Мое дѣло говорить живыми образами, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни». Удалось же это во всей русской литературѣ только Достоевскому — въ этомъ его исключительное и ни съ кѣмъ не сравнимое достиженіе. Онъ соединялъ пророческій даръ съ художественнымъ гениемъ. Не удалось это Толстому, не удалось Тургеневу, не удалось Некрасову. Какъ справедливо указываетъ Мочульскій, Гоголь повернулъ русскую литературу на путь моральный, пророческій, религіозный. Мы должны добавить однако, что цѣлый рядъ неудачъ и срывовъ ждалъ ее на этомъ пути. Толстой повторилъ неудачу Гоголя и даже «хлестаковщину» Гоголя въ своемъ морально-пророческомъ пути. Разница только въ томъ, что Толстой не понялъ свою хлестаковщину и осудилъ свой художественный гений. А Гоголь совершилъ обратное: осудилъ свою моральную и пророческую позу, и черезъ это достигъ душевной святости, трагическаго величія при сохраненіи полного благоговѣнія къ своему чувству красоты, къ полнотѣ своего божественнаго глагола въ чистомъ искусствѣ.

Эти темы, представляющія огромный философскій и жизненно-психологическій интересъ, разработаны съ большой глубиной и съ большимъ эстетическимъ чутьемъ въ книгѣ Мочульскаго. Все вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней документально, основано на письмахъ и разсказахъ современниковъ. Дано совершенно новое освѣщеніе отношеній между Гоголемъ и о. Матафѣемъ. Никакого «мрачнаго аскетизма» ни съ той, ни съ другой стороны не было. Была внутренняя трагедія художника, которая продолжалась и послѣ Гоголя. Намъ кажется, однако, что утвержденіе В. В. Калаша, что въ Гоголѣ «моральнѣе хлѣбъ художника» все же цѣнно: оно хорошо выражаетъ центральный конфликтъ и объясняетъ первое сожженіе «Мертвыхъ Душъ»; что же касается втораго сожженія, то Мочульскій приводитъ такіе интересные отзывы лицъ, слышавшихъ послѣднюю редакцію втораго тома, что заставляють насъ совершенно пересмотрѣть обычно принятое мнѣніе о его неудачѣ.

Нужно отмѣтить, что «Заключеніе» книги написано съ исключительной силой и содержитъ въ себѣ большую философскую мысль: въ гениальномъ человѣкѣ дано «наивысшее напряженіе противоположностей, наибольшее раздвоеніе». По отзыву Аксакова, Гоголь «почти не человѣкъ» и съ другой стороны — «прямо святой». Если большая

одаренность, какъ всякій знаетъ, обычно соединена съ большою неуравновѣшенностью, то нужно помнить, что устойчивое равновѣсіе вообще есть неподвижность. А всякое движеніе и, слѣдовательно, творчество рождается изъ нарушеннаго равновѣсія.

Б. Вышеславцевъ.

В. Вересаевъ. Гоголь въ жизни. Систематическій сводъ подлинныхъ свидѣтельствъ современниковъ. «Академія». Москва-Ленинградъ. 1933.

Почти въ одно и то же время, въ Россіи и здѣсь, за границей, возникли попытки создать новый родъ биографіи. Пути ея достиженія однако намѣчаются весьма различныя. Настъ здѣсь обворожила «художественная биографія» Моруа. Одно время она была въ такой модѣ, что, садясь писать чью-либо биографію, нечего было думать объ иныхъ приемахъ. Въ Россіи реформу биографіи стремятся обосновать на совѣтѣ иныхъ началъ. Здѣсь, ради «научности», пытаются совершенно отказаться отъ всякаго художественнаго творчества въ этой области, устранить совершенно всякій субъективизмъ и ограничиться подборомъ и печатаніемъ однихъ матеріаловъ. Въ модѣ — «монтажъ» биографіи, изъ видѣ подбора подлинныхъ отзывовъ современниковъ, отзывовъ, охватывающихъ не въ возрастъ жизни памѣченнаго лица. Такимъ путемъ авторъ надѣется устранить опасный субъективизмъ оцѣнки и предоставить читателю самому сдѣлать ее на основаніи систематически разворочиваемыхъ передъ его глазами подлинныхъ матеріаловъ. Къ такимъ «монтажамъ» принадлежать и нѣкоторыя работы В. В. Вересаева (Смидовича), одна изъ которыхъ посвящена Гоголю и лежитъ передъ нами. Огромная книга (500 съ лишнимъ страницъ большого «октаво», напечатанныхъ мелкимъ, но четкимъ, убористымъ шрифтомъ). Изданіе снабжено шестнадцатью иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ, прекрасно исполненными. Въ томъ числѣ шесть портретовъ Гоголя (нѣкоторые — весьма рѣдки) и 10 изображеній людей изъ близкаго окруженія знаменитаго писателя. Авторъ книги — извѣстный старый литераторъ, изъ прошлаго активѣ котораго много не лишеныя таланта самостоятельныхъ беллетристическихъ произведеній и рядъ философскихъ и историческихъ работъ, снѣзительствующихъ о илдумности и прилежаніи. Книга о Гоголѣ послѣла какъ-разъ во время — къ юбилею со дня рожденія, который сейчасъ вспоминается. Нельзя не радоваться появленію этой книги. «Научный» методъ созданія биографіи почти избавляетъ автора отъ необходимости проповѣдывать на ея страницахъ марксистскія идеи во вздорной и вѣчно измѣняющейся большевистской интерпретаціи. И хотя самъ Вересаевъ — марксистъ, но и ему, вѣроятно, лестно писать на свободѣ. Думаю даже, что столь облюбованный нынѣ «монтажъ» биографіи возникъ изъ нежеланія совѣтскихъ писателей лутаться съ партійной цензурой и предъявляемыми въ теперешней Россіи къ литературѣ требованіями. Ибо самъ по себѣ новый методъ созданія биографіи не вызываетъ особыхъ восторговъ. Отда-

вая должное труду В. В. Вересаева, нельзя в частности не пожалеть, что новый метод применен именно к биографии Гоголя, что автор ее не использовал полностью в этом труде своих дарованней. Скоро исполнится сто лет со дня смерти Гоголя. За это время материалы для его биографии не оставались под спудомъ. По части развертывания этих материалов сделано весьма многое. Иначе обстоит дело с характеристикой самого Гоголя. Личность его до сих пор довольно загадочна. Гоголь всегда был очень скрытенъ. Свою искренность онъ возводилъ даже в систему и жизненное правило. По свидетельству любленнаго въ него С. Т. Аксакова, онъ любилъ утверждать, что въ жизни необходима земная мудрость, «что намъ надобно сказывать иногда никому ненужную правду и приводить тѣмъ людей въ хлопоты и затрудненія». Вторая половина жизни Гоголя представляетъ психологическую загадку. Послѣ изданія знаменитой «Переписки съ друзьями» на Гоголя обрушились его прежніе друзья съ жестокими обвиненіями въ измѣнѣ, Гоголю пришлось пережить цѣлую драму, очень тяжелую. Вторая половина жизни Гоголя представляетъ психологическую загадку. Послѣ изданія знаменитой «Переписки съ друзьями» на Гоголя обрушились его прежніе друзья съ жестокими обвиненіями въ измѣнѣ, Гоголю пришлось пережить цѣлую драму, очень тяжелую. Но горю и страдая, онъ продолжалъ неослабно и неумолимо утверждать, что въ сущности нападки на него друзей являются сплошнымъ недоразумѣніемъ, что онъ ни въ чемъ не измѣнился и не можетъ отвѣчать за то, что раньше его понимали неправильно. Такого рода оправданія разсыпая не только въ письмахъ и бесѣдахъ Гоголя; онъ пытался привести ихъ в систему и даже изложить въ одномъ изъ своихъ сочиненій. Имѣю во виду «Авторскую Исповѣдь», многими мѣстами которой нельзя отказать въ своеобразно краснорѣчій и убедительности.

Въ Гоголѣ очень мало отъ радикальнаго борца и общественнаго дѣятеля, какимъ онъ представлялся, скажемъ, Бѣлинскому въ тридцатыхъ и началѣ сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Если пристально вникнуть въ обширный матеріалъ о жизни знаменитаго писателя, возникнетъ рядъ вопросовъ о томъ, какъ согласовать незаурядный умъ и гениальный литературный талантъ съ тѣмъ наивнымъ и убогимъ міросозерцаніемъ, которымъ Гоголь несомнѣнно обладалъ въ первую половину жизни и творчества. Передъ читателемъ биографии Гоголя съ непреодолимою силою возникаетъ рядъ вопросовъ и психологическихъ задачъ, безъ рѣшенія которыхъ нѣтъ и не можетъ быть пониманія «Гоголя въ жизни». Ошибочно думать, что широко развернутый матеріалъ даетъ читателю все, что нужно, для самостоятельныхъ и безпристрастныхъ выводовъ; хочется помощи въ этой работѣ со стороны талантливаго и разумнаго спеціалиста; досада беретъ, когда видишь, какъ авторъ (въ особенности такой авторъ, какъ Г. Вересаевъ) прятается въ кусты изъ-за надуманной и недостижимой «научной» объективности.

Правда, въ концѣ концовъ Г. Вересаевъ не выдерживаетъ вполне столь мѣщающаго ему квази-научнаго метода и на немногихъ страницахъ предисловія къ своей книгѣ высказываетъ нѣсколько отрывочныхъ своихъ мыслей. Къ сожалѣнію, эти мысли отнюдь не вознаграждаютъ за «совѣстливое» молчаніе всей книги. Г. Вересаевъ, напримѣръ, объясняетъ горестный провалъ Гоголя съ начертаніемъ

положительныхъ типовъ во второмъ и третьемъ томахъ «Мертвыхъ душъ» тѣмъ обстоятельствомъ, что такой природы въ то время не было и не могло быть, и положительныхъ людей Гоголь долженъ былъ цѣлкомъ выдумывать. Такая мысль едва ли вѣрна. Хорошіе люди всегда существуютъ. Но искать ихъ, можетъ быть, слѣдовало не среди добродѣтельныхъ откупщиковъ и генералъ-губернаторовъ. Къ такимъ положительнымъ типамъ, какъ декабристы или даже какъ «тюремный» докторъ Гаазъ (къ которому Гоголь, встрѣтившись съ нимъ, остался совершенно равнодушенъ), обостренное вниманіе Гоголя не влекло просто потому, что Гоголь былъ сатирикъ и специалистъ по уловленію и описанію явленій отрицательныхъ.

Нѣсколько словъ и замѣчаній, которыя вырвались изъ-подъ пера г. Вересаева въ предисловіи къ его книгѣ, показываютъ, какъ трудно по нынѣшнимъ временамъ остаться въ русскихъ условіяхъ объективнымъ. Но обстоятельство это можетъ объяснить такія явленія, какъ излюбленный «монтажъ» биографіи, но отнюдь не оправдать этотъ новый методъ. Можно желать остаться вполнѣ научно-объективнымъ. Но выполнить это пожеланіе — не такъ просто. И потому съ новымъ методомъ можно мириться въ виду специфическихъ условій, въ которыхъ прозябаетъ теперь русская литература, но нельзя имъ восхищаться. Если бы г. Вересаевъ работалъ на свободѣ, онъ не гнался бы, вѣроятно, за такою научностью, выбросилъ бы значительную часть хлама изъ приподнятыхъ имъ отзывовъ и замѣнилъ ихъ собственнымъ обоснованнымъ текстомъ, котораго такъ часто недостаетъ въ его «монтажѣ».

Тихонъ Полнеръ.

Евг. Ляцкий. Слово о полку Игоревѣ. Повѣсть о князьяхъ Игорѣ, Святославѣ и историческихъ судьбахъ русской земли. Прага, 1934.

Злая судьба преслѣдовала «Слово о полку Игоревѣ». Единственный списокъ, затерявшійся въ случайномъ и случайно найденномъ сборникѣ, погибъ. Списки, сдѣланные съ него для перваго изданія 1800 г. и для Екатерины II, не могли быть совершенными при тогдашнемъ состояніи знаній по палеографіи и исторіи русскаго языка. Многому редакторы перваго изданія, несмотря на всю свою добросовѣстность, не придавали значенія, кое-что не разобрали, кое-что, вѣроятно, невольно исказили. Первое изданіе не привлекло къ себѣ должнаго вниманія. Нужна была гибель списка-оригинала, чтобы вокругъ этого изумительнаго по художественной красотѣ памятника закипѣла научная работа и началась, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, тяга къ нему поэтовъ. Но и въ этотъ періодъ «Слову» пришлось немалю претерпѣть: стихотворные переводы, подражанія и передѣлки иногда поражаютъ не только блѣдностью по сравненію съ подлинникомъ, но и прямой безвкусицей. А въ невѣроятномъ количествѣ «научныхъ» изслѣдованій и толкованій часто больше изощреннаго лжеумудрія, чѣмъ мудрой изслѣдовательской проницательности. Въ итогѣ простое и ясное въ «Словѣ» необычайно осложнилось и затемнилось. Изъ

литературы о «Словѣ» можно издать унѣсистый томъ настоящихъ анекдотовъ, показывающихъ, до чего можно договориться, когда заходитъ умъ за разумъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ. Последняя строка «Слова» — княземъ слава и дружинѣ. Аминь». Вѣроятно, «аминь», по обычаю, написана кѣмъ-нибудь изъ переписчиковъ. Одинъ изъ изслѣдователей пишетъ такъ: «Княземъ слава! А дружинѣ аминь!» и думаетъ, что это мѣсто можно понять только при сопоставленіи со 106 псалмомъ: «Благословенъ Господь Богъ Израилевъ отъ вѣка и до вѣка! А весь народъ скажетъ: аминь!» Другой подобный же изслѣдователь, чтобы подогнать «сонъ Святослава» подъ библейскій текстъ, просто переделалъ эту часть «Слова» на свой ладъ. Третій въ выраженіи «лорискаше до куръ Тмутораканя», т. е. до пѣтуховъ, до разсѣвъ, видитъ совсѣмъ не пѣтуховъ, а рѣку Курю. Слезы Ярославны сопоставляются со слезами Пресвятой Богородицы, Троянъ съ дѣтской игрой въ «трояна» и т. д.

Много фантазій, не лишенной остроумія, было допущено и въ изслѣдованіе вопроса о составѣ «Слова» и въ попытки восстановленія его предполагаемаго стихотворнаго размѣра. Достаточно вспомнить работы Э. Корша, Шамбинаго, Калаша, Франко и др.

Центромъ вниманія г. Елг. Ляцкого собственно и являются эти двѣ темы, хотя свою задачу онъ понимаетъ шире: 1) представить въ возможно полномъ синтезѣ конечные итоги научныхъ разысканій, изъ которыхъ должно сложиться современное пониманіе «Слова» и 2) объяснить съ возможной полнотой историческое происхожденіе и тематическое развитіе «Слова».

Въ трудѣ г. Ляцкого двѣ стороны: одну можно назвать поэтической, другую научной. Поэтическая, пожалуй, преобладаетъ, такъ что мѣстами безстрастность и безпристрастіе научной мысли рѣшительно побѣждаются восторженнымъ лиризмомъ. Это способно иногда подкупить читателя, но не убѣдить.

Уже Шамбинаго, Калашъ, Франко и др. считали, что «Слово» можно раздѣлить на пѣсни, существовавшія до его составленія, что оно — мозаика, своего рода «сподъ». Г. Ляцкий идетъ по ихъ слѣдамъ. Онъ думаетъ, что основная часть «Слова» — строфы, посвященныя Игорю, Всеволоду и событіямъ, связаннымъ съ Игоремъ, другая часть — величальная пѣсня Святославу. Обѣ эти «пѣсни», по его мнѣнію, «подверлись въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ переработкѣ, сокращеніямъ и многочисленнымъ дополненіямъ изъ элементовъ старыхъ пѣсенъ и пословицъ, причемъ нѣкоторыя строфы, можетъ быть, и по винѣ переписчиковъ, нерѣдко искажались и попадали не на свои мѣста». Изъ этого слѣдуетъ, что дошедшій до насъ текстъ сохранилъ строфы двухъ оригинальныхъ пѣсенъ-поэмъ конца XII вѣка, объединенныхъ подъ перомъ какого-то талантливаго слагателя-редактора. Цѣлью этого слагателя-редактора было «сопоставленія упомянутыя пѣсни въ одною произведеніе, иллюстрируя ихъ пѣснями отдаленной старины о князьяхъ Олегѣ Святославичѣ, Всеволодѣ Полоцкомъ и Изяславѣ Васильковичѣ, попутно захвативъ и отрывки изъ

пѣсенъ о князьяхъ современныхъ, и подчинить всю эту смѣсь одной величавой и высокой идеѣ свободы и единства Руси.

Въ «пѣсенѣ» о Святославѣ г. Ляцкій тоже видитъ творчество нѣсколькихъ поэтовъ, разныхъ мастеровъ: одинъ былъ лириккомъ, другой одаренъ блестящимъ риторическимъ краснорѣчьемъ.

Сображеній въ пользу того, что «Слово» — мозаика, г. Ляцкій приводитъ нѣсколько. Въ краткомъ отзывѣ нѣтъ возможности подробно на нихъ остановиться, но нужно сказать, что всѣ они мало убѣдительны. Напримеръ, г. Ляцкій пишетъ: «Трудно допустить, прежде всего, чтобы поэту Игоревыхъ строфъ пришло въ голову въ наиболѣе ответственныхъ драматическихъ и патетическихъ мѣстахъ составлять то назидательные примѣры изъ жизни и боевой дѣятельности другихъ князей, то историческія воспоминанія, то обращенія къ князьямъ за помощью для дальнѣйшихъ битвъ». А почему трудно? Почему это не могло входить въ художественный замыселъ одного автора? Почему не допустить, что одинъ авторъ такъ и задумалъ свое произведеніе? Пожалуй, если стать на точку зрѣнія г. Ляцкого, то трудно будетъ допустить, что, напримеръ, «Воскресеніе» или «Война и Миръ» написаны однимъ авторомъ. Да такихъ примѣровъ въ литературѣ можно найти сколько угодно.

Г. Ляцкій думаетъ, что его пониманіе «Слова» можетъ обезпечить «единственно вѣрный путь къ его дальнѣйшему изученію» и что предположеніе его о многоликостъ авторствъ въ «Словѣ» «должно стать пезыблемой истиной». Эти утвержденія звучатъ нѣсколько гордо и самоувѣренно, но въ правильности ихъ позволительно сомнѣваться, хотя авторъ и употребляетъ слова «несомнѣнно» и «несомнѣнный» на каждомъ шагѣ. Къ сожалѣнію, эти слова являются не въ результатъ ряда убѣдительныхъ доказательствъ, а въ качествѣ риторическаго воздѣйствія на читателя. Мало того: читая трудъ г. Ляцкого, приходишь къ убѣжденію, что по-настоящему понимаютъ «Слово» только тѣ, кто подобно такому плутовому и умѣющему освободиться отъ предвзятыхъ идей ученому, какъ академикъ Перетцъ, считаютъ, что «Слово» предполагаетъ одну эстетическую идею, одинъ планъ, требующій единственности всѣхъ частей «Слова», несмотря на ихъ разнообразіе. Напрасно г. Ляцкій думаетъ, что изслѣдователи боялись нарушить представленіе о принадлежности «Слова» одному лицу: дѣло тутъ не въ боязни, а въ научномъ убѣжденіи.

Что касается стихотворной реконструкціи «Слова», то нужно, конечно, признать, что рѣчь «Слова» поражаетъ мѣстами своею ритмичностью. Но въ русской художественной прозѣ ритмичность вообще явленіе нерѣдкое и вызвана она отчасти самыми особенностями природы русскаго языка. У Пушкина, Гоголя, С. Аксакова, Тургенева, Бунина, Шмелева и др. ритмичны не только отдѣльныя случайныя мѣста, но и цѣлыя произведенія. И въ этой части г. Ляцкій не только не убѣждаетъ, но и вызываетъ определенное недоумѣніе къ тѣмъ рискованнымъ и необоснованнымъ операціямъ, которымъ онъ подвергаетъ ударенія въ словахъ. Коршъ свою попытку опредѣлить уда-

ренія въ XII вѣкѣ построить на интересномъ, хотя иногда и спорномъ, анализѣ современнаго ударенія въ литературномъ языкѣ и говорахъ, г. Ляцкій въ этомъ вопросѣ совершенно догматиченъ.

Заключаетъ свою работу г. Ляцкій словами: «Надо озабочивать любовью холодныя письма прошлаго, и старая жизнь зазвучитъ въ нихъ по новому, повѣствуя о борьбѣ, горѣ и счастіи далекихъ предковъ». Что г. Ляцкій вложилъ въ свой трудъ много любви, не подлежитъ сомнѣнію. Но одной любви, хотя бы и пылкой, даже сопровождающейся большой работой по изученію памятника, мало. Пылкая любовь можетъ и ослѣплять, питать предвзятость. Книга г. Ляцкого скорее романъ, многія страницы котораго читаются съ бо́льшимъ интересомъ, чѣмъ убѣждающее научное изслѣдованіе.

Н. Кульманъ.

Rachmaninoff's recollections told to Oskar von Riesemann. London (Allen and Unwin). 1934.

Принято говорить, что біографіи теперь въ большой модѣ. Собственно, въ модѣ онѣ были всегда. Въ литературѣ древняго Рима было настоящее засилье біографовъ («Исторію Александра» можно даже считать первымъ образцомъ *biographie romanesque*). Именнo чрезмерное вниманіе къ жизни и роли отдельныхъ людей имѣли вѣроятно, въ виду Катонъ, составляя исторію республики безъ единаго собственнаго имени. Да и отъ всѣхъ другихъ періодовъ исторіи дошло до насъ безконечное число біографій, — хорошихъ и плохихъ, негодующихъ и восторженныхъ. Въ наши дни нѣсколько превосходныхъ книгъ, написанныхъ истинными художниками слова, какъ Стречи, породили издательскія серіи съ общимъ типомъ заглавія. Въ французской серіи Плона есть прекрасныя біографическія работы. Но нѣкоторыя ея участницы, повидимому, серіи не любятъ (что я прекрасно понимаю): наряду съ «*Vie douloureuse de Baudelaire*», съ «*Vie orageuse de Mirabeau*», съ «*Vie harmonieuse de Mistral*» и т. д., Франсуа Моріакъ, напримѣръ, озаглавилъ свою книгу просто «Жизнь Расина», не вставивъ послѣ слова «жизнь» никакого прилагательнаго на *euse*, — и прекрасно сдѣлать. Противъ серій вообще можно сказать немало, а все-таки очень жаль, что въ русской литературѣ хорошей біографической серіи не существуетъ. Мы имѣемъ — книга о С. В. Рахманиновѣ выходитъ на англійскомъ языкѣ!

Авторъ этой книги очень хорошо справится со своей задачей. Нѣтъ ничего труднѣе біографій знаменитыхъ композиторовъ и музыкантовъ: въ біографіяхъ политическихъ дѣятелей, по принятому выраженію, «факты говорятъ сами за себя»; біографы писателей пользуются цитатами, излагаютъ содержаніе книгъ; біографы художниковъ могутъ, по крайней мѣрѣ, помѣщать въ своихъ трудахъ репродукціи картинъ. Но какъ объяснить читателю творчество С. В. Рахманинова?

Нашъ знаменитый композиторъ и пианистъ пришелъ на помощь г. фонъ-Риземану: рассказалъ ему свою жизнь и подробно, и след-

жано: внутренний, душевный его обликъ остается затѣснымъ. Во всякомъ случаѣ — ничего лишняго, а С. В. Рахманиновъ, Пушкинъ рояля, проводитъ это правило и въ музыкѣ. Его безчисленные поклонники по всѣхъ странахъ міра будутъ г. фонъ-Риземану чрезвычайно благодарны. Свой трудъ онъ озаглавилъ очень скромно: «Воспоминанія Рахманинова, рассказанныя фонъ-Риземану». Однако, многое и цѣнное внесъ отъ себя, конечно, и авторъ книги.

Излагать содержаніе книги подобнаго рода, конечно, не возможно и незачѣмъ: люди, интересующіеся русскимъ искусствомъ, прочтутъ ее. Остается выполнить повинность рецензента: отмѣтить недостатки. Есть въ книгѣ г. фонъ-Риземана погрѣшности совершенно несущественныя. Такъ, напримѣръ, на стран. 151 рассказъ Лермонтова названъ «Княжна Бѣла», — хотъ Бѣла и княжна, но рассказъ называется просто «Бѣла». Есть и спорныя положенія: едва ли можно согласиться съ г. фонъ-Риземаномъ въ томъ, что С. В. Рахманиновъ неудачно выбиралъ либретто («Алеко», «Скупой Рыцарь», «Франческа да Римини»). Есть и пропуски: очень жаль, что встрѣчь Рахманинова съ Толстымъ отведено четыре строчки (мнѣ приходилось слышать рассказъ Сергѣя Васильевича объ этой встрѣчѣ, чрезвычайно интересной и характерной для Толстого). Недостатки книги незначительны, а достоинства ея велики. Помимо того, что это первый подробный рассказъ о жизни человѣка, составляющаго гордость искусства, читатель узнаетъ изъ труда г. фонъ-Риземана немало новаго и по новѣйшей исторіи музыки въ Россіи. Книга непременно должна быть издана и по-русски.

М. Алдановъ.

Рецензія эта была уже набрана, когда пришло извѣстіе о безвременной кончинѣ автора книги, Оскара фонъ-Риземана. — Ред.

Fedor Stepan. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Leipzig. Gotthelf-Verlag. 1934.

«Знать и понимать — различныя вещи. Этими словами открывается книга Ф. Степуна. И далѣе онъ уточняетъ значеніе термина понимать, давая социологамъ совѣтъ не столько «придерживаться идеологическихъ научныхъ точекъ зрѣнія», сколько приучаться смотрѣть на историческія явленія «всегда болѣе объективными глазами великихъ художниковъ». Понимать — въ настоящемъ, буквальный смыслъ этого слова (какъ у Пушкина: понимать душой всѣ ваши совершенства) — значитъ воспринимать вещи всѣми нашими духовными способностями: видѣть ихъ въ ихъ взаимной связи, переживать ихъ какъ одно цѣлое и такъ, чтобы они стали какъ бы частью насъ самихъ, нашей жизни. Ясно, что книга, предназначенная для того, чтобы подвести къ такому пониманію, сама должна быть понята именно такъ и что, следовательно, самымъ надежнымъ критеріемъ ея цѣнности будетъ впечатлѣніе, ею производимое. Въ области литературы, жаждущей за предѣлами «художественной» въ обыденномъ, общепри-

нать смыслъ слова, мало можно назвать книгу, которая удовлетворяла бы этому требованію въ такой же мѣрѣ, какъ книга Ф. Степуна, которая бы такъ волновала — не «яркими образами», не «жгучими пафосомъ», что очень любить и науковѣрцы и чего совершенно нѣтъ у автора, — но единственно конкретностью мысли. Всѣ мы, взрослые люди, видѣли Революцію, но мало кто увидѣлъ съ такою отчетливою идею Революціи, какъ системы раскрывшихся въ ея процессѣ духовныхъ силъ, и никто, кажется мнѣ, не находилъ столь опредѣленныхъ, столь четкихъ и тонкихъ формулъ выраженія увидѣннаго. Столь насыщена мыслью эта книга, столь нерасторжима связь между отдѣльными сужденіями въ ней, что для того, чтобы дать представленіе о ея содержаніи, пришлось бы процитировать ее чуть-ли не цѣликомъ. Впрочемъ, въ значительной степени въ ней обобщено то, что русскому читателю должно быть извѣстно изъ «Мыслей о Россіи», печатавшихся авторомъ въ «Совр. Запискахъ». Не выходя изъ рамокъ рецензіи, я могу остановиться лишь на окончательномъ выволѣ автора, являющемся выхлѣбомъ и формулировкой общаго смысла Революціи и указаніемъ пути къ ея преодолѣнію: «большевизмъ — проявленіе получившей ложное направленіе религіозной энергіи русскаго народа, псевдоморфоза русской потребности вѣрнѣ (Gläubigkeit) и потому не можетъ быть преодоленъ ничѣмъ инымъ какъ возрожденіемъ вѣры въ Распятаго». Второй членъ тезиса автора представляется мнѣ безспорнымъ. Первый вызываетъ на нѣкоторыя возраженія, сколь тѣсно онъ ни связанъ логически со вторымъ, изъ чего слѣдуетъ, что я отнюдь не оспариваю вѣрности лежащей въ основѣ его мысли: я хочу только сказать, что формула эта не покрываетъ всѣхъ результатовъ анализа генезиса Революціи и дѣйствующихъ въ ней силъ, сдѣланнаго авторомъ. Я имѣю въ виду въ особенности тѣ замѣчательныя мѣста его книги, гдѣ идетъ рѣчь о различіи между идеями и идеологіями — антитеза, которая можетъ быть сведена къ антитезѣ культурности и полунинтеллигентности — и гдѣ выяснена громадная роль слоя людей, обладающихъ «идеологіей», но лишенныхъ идеи. Тамъ-же великолѣпно показано средство между духомъ революціи и духомъ реакціи. Если выразить, для краткости, этотъ послѣдній, пользуясь формулою Ключевского — «одержимость преданіемъ и никакой идеей», то для духа Революціи, поскольку «полунинтеллигентщина» есть одинъ изъ ея значительнѣйшихъ факторовъ, подойдетъ перифраза этой формулы: одержимость революціонной идеологіей и никакой идеей. Это значитъ, что и антитеза религіозная вѣра и науковѣрѣ (какъ обоснованіе революціонной идеологіи) кроется въ себѣ двусмысленность (какъ и самый терминъ Gläubigkeit въ приведенной выше формулѣ). Одно — вѣровать, другое — принимать на вѣру. Полунинтеллигентское науковѣрѣ фактъ вовсе не специфически русской. Современное вырожденіе демократіи, въ своихъ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ, обусловлено имъ тѣснѣйшимъ образомъ. На науковѣрніи основаны, напр., и культъ «чистоты расы» и все, что изъ этого вытекаетъ. Полунинтеллигентское науковѣрѣ, съ точки зрѣнія своей духовной структуры, не имѣетъ ничего общаго съ на-

уковѣриемъ, скажемъ, Сень-Симона, или Бѣлинскаго, или Тэна, или Маркса. Оно есть проявленіе не повышенной духовности, лишенной своего истиннаго объекта, а бездуховности, «смѣшанской» тупости, пошлости. Всякое отдѣльное историческое событіе имѣетъ свой собственный смыслъ, такъ или иначе резюмирующій смыслъ всей исторіи даннаго народа. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, — поскольку въ настоящее время весь міръ сталъ «вселенной» и всякая національная исторія — частью мировой исторіи, — понять, что совершается сейчасъ гдѣ бы то ни было, значитъ понять многое изъ того, что происходитъ повсюду на свѣтѣ. Волна «полунинтелигентской» пошлости сейчасъ заливаєть весь цивилизованный міръ. И жуткій смыслъ этого факта уясняется съ особой наглядностью при чтеніи книги Ф. Степуна, посвященной индивидуализаціи русскаго историческаго процесса.

П. Бицилли.

Oskar Wulf. Die neurussische Kunst. Filser. Augsburg. 1932.

Книга О. Вульфа о русскомъ искусствѣ послѣпетровскаго періода вышла въ томъ же издательствѣ, какое опубликовало книгу Брунова и Алпатова о древне-русскомъ искусствѣ, ей приданъ тотъ-же внѣшній видъ, иллюстраціи точно такъ же выдѣлены въ особый томъ, но стоитъ бросить взглядъ хотя бы только на эти иллюстраціи, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ непохожа работа берлинскаго ученаго на книгу двухъ русскихъ авторовъ, о которой мы говорили въ предыдущемъ выпускѣ «Современныхъ Записокъ». Конечно, несходство это въ значительной мѣрѣ объясняется различіемъ самыхъ темъ. Пора сказать себѣ прямо, что русское искусство, особенно живопись послѣднихъ двухъ вѣковъ, не терпитъ, по качеству своему, никакого сравненія съ искусствомъ древне-русскимъ. Икона Рублева равна лучшему, что когда-либо создало европейское искусство; русская живопись XVIII-го и XIX-го вѣка отступаетъ на второй планъ, а то и дальше, по сравненію не только съ живописью французской, но и нѣмецкой, и даже англійской того же времени. Послѣ Эрмитажа лучше было не ходить въ Музей Александра III, развѣ лишь въ иконное отдѣленіе этого музея. Все это грустно, но на все это не слѣдуетъ закрывать глаза. Большое количество воспроизведеній съ русскихъ картинъ XIX-го вѣка трудно было бы дать при нѣкоторой строгости къ ихъ качеству, а строгости этой Россія и русское искусство въ цѣломъ, слава Богу, исполнѣ достойны. Авторъ книги, о которой идетъ рѣчь, оказался судьей слишкомъ ужъ благосклоннымъ, и въ выборѣ иллюстрацій проявилъ чуждость, граничащую съ отказомъ выбрать.

Оскаръ Вульфъ — профессоръ берлинскаго университета, выдающийся ученый, историкъ ранне-христианскаго и византійскаго искусства. Дѣтство и молодость свою онъ провелъ въ Россіи, знаетъ русский языкъ, сохранилъ привязанность къ русской жизни и русской культурѣ. Знаніе трудовъ русскихъ ученыхъ очень пригодилось ему для работы по его ближайшей специальности. Берлинскій музей обя-

занъ ему своимъ иконнымъ отдѣленіемъ, первымъ въ западной Европѣ. Книгу свою о русскомъ искусствѣ онъ задумалъ много лѣтъ тому назадъ, написана она очень добросовѣстно, даетъ отличный обзоръ фактовъ, и для европейскаго читателя будетъ прежде всего полезна тѣмъ кореннымъ знаніемъ Россіи, котораго однимъ теоретическимъ изученіемъ ея получить нельзя. Любопытно, однако, что и недостатки книги связаны съ тѣми самыми свойствами ея автора, что должны вызывать наше сочувствіе и нашу благодарность. Дѣло въ томъ, что художественный вкусъ его воспитался тоже на русскихъ образцахъ, и притомъ не на тѣхъ, что дѣлаютъ честь русскому искусству, а на тѣхъ, что возникли едва ли не въ самую печальную для него пору (мы вѣдь говоримъ не о музыкѣ и не о литературѣ), -- въ концѣ прошлаго столѣтія. Это воспитаніе вкуса сказалось на всемъ его отношеніи къ своему предмету и прежде всего на той явно преувеличенной оцѣнкѣ, какую онъ даетъ живописи «передвижниковъ» и вообще русскихъ «реалистовъ». Рѣшину онъ готовъ удѣлить мѣсто среди величайшихъ европейскихъ живописцевъ минувшаго столѣтія, о Верещагинѣ говорить всерьезъ, считаетъ Шишкина крупнымъ пейзажистомъ, воспроизводитъ картины Ярошенко и Корзухина. Зато исключительное значеніе Иванова, Сурикова, Врубеля недостаточно имъ оцѣнено. Намѣренія интересуютъ его больше результатовъ, національные и народническіе интересы художниковъ больше, чѣмъ высокое качество и настоящая національность ихъ искусства. Получилась книга поучительная, дѣльная, полезная, такая, что хочется признать ее изъ патристическихъ соображеній, — пока не вспомнимъ, что для будущей славы русскаго искусства было бы лучше не пытаться обосновать ее на добрыхъ намѣреніяхъ и скверной живописи, на восхваленіи тѣхъ его проявленій, что какъ разъ недостойны никакой хвалы.

В. Вейдле.

Marc Vichniak. Le statut international des apatrides, 1934 (Extrait du Recueil des Cours de l'Académie de Droit International).

Спеціалистамъ хорошо извѣстна многотомная серія курсовъ Гаагской Академіи международнаго права. Уже болѣе десяти лѣтъ работаетъ академія, ежегодно обновляя составъ своихъ профессоровъ и своихъ слушателей и мѣняя циклы своихъ общихъ и спеціальныхъ курсовъ. Профессора всѣхъ странъ міра прошли черезъ Академію во Дворцѣ Мира въ Гаагѣ, чтобы изложить своей аудиторіи свои научные воззрѣнія и выводы по разнообразѣйшимъ вопросамъ общей и особенной части международнаго права. Согласно мудрымъ уставамъ Академіи курсы, ими прочтенные, подлежатъ обнародованію въ Сборникъ курсовъ, который сталъ такимъ образомъ изданіемъ, централизуемымъ научныя усилія всего міра въ области международнаго права.

Лица, руководящимъ составленіемъ ежегодныхъ программъ Академіи, во главѣ съ проф. Лионъ-Каномъ, Политисомъ и Жиделемъ, чи-

жды всякой рутины и стремится отозваться на всё явления современности, связанные съ международной правовой жизнью, привлекая для чтения посвященнымъ имъ курсовъ специалистовъ всѣхъ странъ. Не могла быть обойдена молчаніемъ и тема о международномъ статутѣ безподданства. Соответствующій курсъ былъ порученъ въ 1933 году М. В. Вишняку. Нынѣ этотъ курсъ обнародованъ въ Сборникѣ Курсовъ, и передо мной его отдѣльный оттискъ, къ сожалѣнію, не поступающій въ этомъ видѣ въ продажу, ибо, по правиламъ Академіи, только полные тома Коллекціи идутъ на рынокъ.

М. В. Вишнякъ съ честью справился съ возложенной на него задачей. Тема его лекцій нова. Вопросъ о безподданствѣ не подвергался еще научной обработкѣ въ его цѣломъ. Автору пришлось самому пробивать себѣ дорогу. Роль благодарная, хотя и сопряженная съ нѣкоторыми опасностями. Можетъ показаться страннымъ, что о безподданствѣ до сихъ поръ много не думали. Если вѣрить М. В. Вишняку, явленіе очень старо: первыхъ «апатридовъ» онъ готовъ видѣть въ Адамѣ и Евѣ, изгнанныхъ изъ Рая. Однако ихъ потомство оказалось болѣе или менѣе прочно размѣщеннымъ по отдѣльнымъ государствамъ и о «безподданствѣ» закономъ и международные договоры не задумывались. Причина заключалась, конечно, въ томъ, что и о самомъ «подданствѣ» законодательства всѣхъ странъ стали размышлять довольно поздно. Какъ бы то ни было, въ нынѣшнемъ состояніи права «безподданные» появляются все въ большемъ и большемъ числѣ: различія законодательства отдѣльныхъ странъ дѣлаютъ это явленіе, при всей его ненормальности, неизбежнымъ.

М. В. Вишнякъ останавливается въ своемъ курсѣ съ особымъ вниманіемъ на «безподданствѣ» бывшихъ русскихъ гражданъ, являющемся результатомъ факта эмиграціи, съ одной стороны, и дѣйствія совѣтскихъ декретовъ о лишеніи подданства, съ другой стороны. Онъ подробно и обстоятельно разбираетъ длинную исторію вѣтшателства учреждений Лиги Наций въ опредѣленіе статута бѣженцевъ, доводя эту исторію до 1933 года. Несмотря на то, что, казалось бы, эта исторія должна была бы быть хорошо извѣстной каждому изъ русскихъ эмигрантовъ, на самомъ дѣлѣ многіе ея эпизоды основательно забыты. Возстановленная М. В. Вишнякомъ она читается съ большимъ интересомъ. Для читателей иностранцевъ она представляетъ большую важность, ибо даетъ возможность включить въ чинкъ существующихъ нормъ международного права новый и любопытный институтъ

Бар. Е. Э. Нольде.

Baron E. Nolde, L'Irak. Origines historiques et situation internationale. Paris, 1934.

Бар Э. Б. Нольде, сынъ Б. Э. Нольде, только что дебютировалъ въ литературѣ международного права историко-юридическимъ изслѣдованіемъ объ Иракѣ (Месопотаміи), заслуживающимъ полное вниманія со стороны не только юристовъ, но и вообще всѣхъ инте-

ресующихся развитием политических событий в этой пробуждающейся к новой жизни части Азии.

После краткого, но содержательного очерка судьбы Ирака до великой войны автор излагает переговоры 1915 и 1916 годов между союзниками, приведшие к знаменитому англо-французскому соглашению Sykes-Picot, принятому Россией и подготовившему развал Османской Империи, в котором, однако, выведенная из строя Россия не могла уже участвовать.

В последующих главах барон Э. Нольде дает очень выуклое описание событий, приведших Ирак к состоянию территории под мандатом до нынешнего гордого статуса «независимого государства». Следуя за этим строго объективным изложением, читатель не может не убедиться в том, что все многочисленными изменениями статута Ирака имели единственную целью — твердое обеспечение английского влияния в стране, отныне необходимой для прочной связи метрополии с Индией.

Формальное принятие союзниками идеологии президента Вильсона и, в частности, его принципа самоопределения народов заставило Англию и Францию отказаться от слишком откровенного империализма соглашений Сайкс-Пикота. Но как совершенно правильно отмечает бар. Нольде, эти державы отнюдь не прониклись духом вильсонизма, и система мандатов является разумеется только приспособлением старой системы аннексии к доктрине американского президента. Сирия по-прежнему осталась в сфере влияния Франции, а Месопотамия в сфере Англии, хотя послания и ншты возможны учредить Иракское Королевство, во главе которого был поставлен арабский принц Файсал, сын Геджаскаго Эмира Хуссейна, изгнанный французами из Сирии.

Выработанный Англией проект мандата над Ираком не был утвержден Лигой Наций, главным образом из-за протеста Соединенных Штатов, видевших в нем нарушение своих экономических интересов. С тех пор Англия перешла в своих отношениях с Ираком от мандатной системы к договорной. Барон Нольде подробно излагает перипетии заключения всех этих быстро сменяющихся «трактатов» всеильной Англии с находящейся под ее фактическим господством страной. Все эти договоры оставляют за Ираком только ограниченный суверенитет.

Каковы же, с точки зрения права, международный статус этого странного «независимого» государства? Барон Нольде, отвергая идею протектората, склоняется к новой формуле «limited protectorate», но делает при этом оговорку, что юридические формулы не всегда могут соответствовать сложности конкретных политических положений. Св знач и мы влотит согласны Действительно, гораздо лучше не укладывать английских политических комбинаций, хотя бы освященных высокими одобрением Лиги Наций, в Прокрустово ложе еллинекопских юридических конструкций.

В отдельной главе бар. Нольде останавливается на территориальном статусе Ирака, и, разумеется, отводит большое место

англо-турецкому спору о Моссуль и обсужденію различныхъ его фазисовъ въ Гаагской Палатѣ Международнаго Суда и въ Совѣтъ Лиги Наций. Въ виду несомнѣнной слабости юридическихъ аргументовъ, представленныхъ Англійей, авторъ относится отрицательно къ рѣшенію Совѣта, присудившаго Моссуль Ираку. Мы стоимъ, вмѣстѣ съ проф. Louis Le Fur, на противоположной точкѣ зрѣнія (см. нашъ трудъ *La Conciliation Internationale*). Намъ кажется, что своимъ рѣшеніемъ Совѣтъ хотѣлъ реагировать на рѣзкую ассиро-халдеянъ, весьма неосторожно устроенную перерожденными турками въ самый разгаръ разбора Моссульскаго дѣла.

Независимо отъ чисто-политическихъ соображеній, рѣшеніе Совѣта можно дѣйствительно только объяснить желаніемъ предупредить дальнѣйшія «злоупотребленія суверенитетомъ» со стороны Турціи. Но увы, ассирійцы съ тѣхъ поръ подверглись новымъ избиеніямъ — и на этотъ разъ уже не со стороны переродившихся турокъ, а со стороны еще не перерожденныхъ иракійцевъ.

Баронъ Э. Ноальде кончаетъ свою прекрасную книгу словами: «Рѣзкая ассирійскихъ меньшинствъ оправдываетъ скептическое отношеніе къ способности государствъ вродѣ Ирака вести себя какъ яполнѣ цивилизованная нація. Излишняя поспѣшность при эмиссиаціи народовъ, находящихся подѣ мандатомъ, была бы потому чревата опасностями. Вполнѣ присоединяясь къ этому мнѣнію автора, считаемъ нужнымъ подчеркнуть, что упомянутыя «опасности» должны безусловно устраняться государствомъ — мандатаріемъ. Мандатъ, въ нашемъ несовершенномъ мѣрѣ служить, разумнѣе, прежде всего политическимъ цѣлямъ опекающаго государства. Но все же таки не имъ однимъ. Въдѣ 22 статья Пакта пока еще не отмѣнена, а съ ея точки зрѣнія мандатъ теряетъ, конечно, смыслъ, если государства, осуществляющая его въ явной или скрытой формѣ, а также сама контролирующая ихъ Лига Наций, не принимаютъ мѣръ для удержанія опекаемыхъ первобытныхъ «друзей» отъ примѣненія нѣкоторыхъ слишкомъ радикальныхъ, хотя и излюбленныхъ ими приемовъ разрѣшенія расовыхъ антагонизмовъ.

Парижскій Университетъ присудилъ барону Э. Ноальде за его трудъ степень доктора правъ. Остается только пожелать молодому автору продолжить столь блестяще начатое выступленіе на юридико-политическомъ поприщѣ рядомъ еще болѣе цѣнныхъ и интересныхъ изслѣдованій.

Андрей Мандельштамъ.

M. Inqgeridge. Winter in Moscow. London-Boston. 1934.

«Русская революція — это одно; совѣтскій режимъ — другое. Если первое — сложная и въ настоящее время еще неразрѣшенная историческая проблема, то второе — явленіе, которое понять нетрудно».

Такова основная мысль книги.

Въ СССР это вѣдѣ ясно; за границей, даже среди нѣкоторыхъ

русскихъ, это главное препятствіе къ пониманію того, что творится въ Россіи. Оторвать большевиковъ отъ революціи, понять, что они давно уже не революціонеры, что моментъ, когда большевики были выразителями воли народа, былъ такъ далекъ и кратокъ, что сомнѣніе беретъ, было-ли это дѣйствительно когда-нибудь, что они-то и есть враги, калѣчащіе русскую революцію, но что изъ всего этого не слѣдуетъ отрицанія самой революціи — вотъ что надо твердо себѣ представить. Для массы иностранцевъ большевики и революція это одно и то же. Отсюда вытекаетъ дикая нелѣпость: «либералы», которымъ революція, совершенная русскимъ народомъ, можетъ быть дорога, слѣпо становятся на сторону ея враговъ, поддерживая режимъ жесточайшей диктатуры; «консерваторы», которымъ революція, какъ таковая, должна быть чуждой, стоятъ гораздо ближе къ ея пониманію, такъ какъ, критикуя режимъ, они разрушаютъ заслонъ, составленный изъ громкихъ фразъ, кричащихъ лозунговъ и прочихъ атрибутовъ диктатуры, которыми совѣтское правительство маскируетъ дѣйствительность.

М. Маггернджъ — «либераль». Но драма его въ томъ, что онъ прежде всего человекъ, а не политикъ и потому въ СССР онъ увидалъ людей; людей въ настоящемъ, неприкрытомъ видѣ. Это дало ему такую остроту зрѣнія и слуха, что ни неизвѣстный ему языкъ, ни чуждая психология и нравы, ничто уже не стало для него преградой.

За нимъ ухаживали какъ за всѣми: возили, развлекали, угощали, но онъ упрямо видѣлъ все по-своему. Торжество 15-лѣтія Октября, залитый свѣтомъ Большой театръ, толпы народа, скачущіе възсые диаграммы достижений, парадъ «вождей» и прочая шумиха, всѣхъ приводили въ возбужденіе, а ему рѣзало глаза, что тракторы картонные, мощные пролетаріи съ молотами — намалеванные статисты, Ворошиловъ, вѣзжающій на сцену на живомъ конѣ — имѣетъ дурачій видъ, Сталинъ за краснымъ столомъ — черенъ, тупъ, золь.

На торжествѣ 10-лѣтія Вокса кто пилъ и поѣдалъ икру, кто, какъ Литвиновъ, усердно танцевалъ, растрясая свои жиры, или какъ Горькій, похожій на стараго морского льва, слезоточиво бормоталъ причлнчествующія празднеству слова. Одинъ изъ иностранныхъ гостей мечталъ о «страстной комсомолкѣ», другой — твердилъ цифры выполнения 5-лѣтняго плана по годамъ, мѣсяцамъ, часамъ, минутамъ. Американская журналистка, огромная краснощекая женщина, со «страстной тупостью» въ глазахъ, обсуждала вопросы пола, въ то время, какъ совѣтскій литераторъ потѣшалъ публику, разбивая тарелки о свою лысую голову. А онъ сквозь всю эту сумятицу слушалъ слова подвыпившей совѣтской знати:

— Я всегда считалъ, что казаковъ нужно взгрѣть.

— Что такое Христосъ? Вывѣска! Дайте мнѣ Магнитогорскъ!

— Хлѣбъ? Хлѣбъ будетъ, даже если мужиковъ придется спрочить въ плуги. Почему итъ?

Оскорбленный этой комедіей, потрясенный трагизмомъ того, чѣмъ, онъ чувствуетъ, живетъ страна, онъ говоритъ:

«Тѣ, кто изображаетъ изъ себя безпристрастныхъ наблюдателей, содѣйствуютъ совѣтской пропагандѣ больше, чѣмъ всѣ наемные агитаторы и купленная пресса... Нельзя безстрастно говорить о «Диктатурѣ Пролетаріата», какъ нельзя съ равнодушіемъ описывать взъярившаго быка».

«Кто не противъ насъ, тотъ съ нами», приводитъ онъ циничныя слова виднаго большевика.

И говоря — я противъ! онъ не размѣнивается на коллекціонированіе идиотизмовъ, нелѣпостей и звѣрствъ, а беретъ только факты, опредѣляющіе существо всей системы диктатуры.

Кромѣ того М. Маггериджъ первый рѣшился изобразить тѣхъ иностранцевъ, о которыхъ мы съ удивленіемъ говоримъ — какъ они могутъ не видѣть, не понимать? Какъ, навримврь, могутъ они не видѣть голода? Вотъ одна изъ схемъ.

Безупречно-либеральная газета посылаетъ въ СССР безупречно-честнаго корреспондента. Рюкзакъ, трубка, онъ готовъ и ѣдетъ, едва успѣвъ позавтракать въ совѣтскомъ полпредствѣ. Планъ его простъ: надо увидѣть, что, гдѣ и какъ ѣдятъ.

Въ Москвѣ онъ начинаетъ съ сытнаго завтрака въ ресторанѣ гостиницы для иностранцевъ.

«Судя по внѣшнему впечатлѣнію — голода нѣтъ», пишетъ онъ свою первую корреспонденцію.

Затѣмъ онъ отправляется къ англійскому специалисту, находящемуся на совѣтской службѣ. Тотъ получаетъ 500-600 р., на объѣзъ тратитъ 10 р. и жалуется только, что трудно достать масло.

Добросовѣстный журналистъ идетъ на рынокъ. Видитъ толчею на грязной улочкѣ; видитъ оборванный, голодный сбродъ, продающій куски захватанной руками грязной пищи, видитъ голодную жадность, съ которой мужикъ ѣстъ отвратительную колбасу. Ему становится все безпокойнѣе. Онъ торопится уйти, чтобы не потерять равновѣсія и безпристрастности. За обѣдомъ, сытнымъ и вкуснымъ, онъ приходитъ къ выводу, что не можетъ быть, чтобы при недостаткѣ пищи для пролетаріата, его, иностранца, кормили-бы такъ обильно. На рынокѣ несомнѣнно были кулаки и аристократы, не признающіе совѣтскую власть и не желающіе обратиться въ кооперативы.

Не ограничиваясь этимъ, онъ ѣдетъ по СССР. Въ вагонѣ III класса онъ было увидѣлъ, что мужикъ подобралъ изъ плевательницы брошенные имъ апельсинныя корки, но это такъ противно, что онъ уткнулся въ книжку. Поѣздка на автомобиль, съ переводчикомъ и зарплате условленными остановками идетъ гладко, пока машина не доміется Рынниъ пройти пѣшкомъ, онъ попадаетъ въ мертвую деревню. дома заброшены, все заросло бурьяномъ. Гдѣ-же жители? Американскій колонистъ, вернувшійся, чтобы повидать своихъ, крикнулъ ему въ отчаяніи, что всѣ убиты, умерли или сосланы на сѣверъ. Онъ принялъ его за сумасшедшаго и успокоился, когда переводчикъ объяснилъ ему, что это «результатъ перераспределенія населенія при коллективизации».

Этот корреспондентъ былъ честный человѣкъ, но то, что ему приходилось видѣть, было для него, сытаго, слишкомъ неправдоподобно, чтобъ можно было вѣрить и не потерять душевнаго спокойствія, необходимаго, чтобъ уважать себя.

М. Маггериджъ не удержался: совѣтская дѣйствительность выбила его изъ равновѣсія. Горячо, нервно, мучаясь отъ отвращенія и гнѣва, онъ написалъ свою книгу со всей безпощадностью человѣка, который самъ пережилъ катастрофу.

Т. Чернавина.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

- М. Алдановъ. Юность Павла Строганова. Изд. Русск Библ. Б*градъ
М. Щербаковъ. Черная серия. Шанхай, 1931
Бѣлякинъ. Человѣкъ и судьба. Новеллы. Каунасъ, 1934
А. Мельниковъ. Клеймо. Романъ. Юрьевъ, 1934.
В. Унковскій. Переломъ. Романъ. Парижъ, 1934.
К. Мочульскій. Духовный путь Гоголя. УМСА-Pressе. Парижъ, 1934.
Курдюмовъ. Смятенное сердце (Чеховъ). УМСА-Pressе. Парижъ, 1934.
Арта. Зоны Земли. Стихи. Изд. «Парабола» 1934.
Путь. кн. 43. Парижъ, 1934
Новь. Сборникъ № 6. Таллинъ, 1934.
Мечъ. № № 1-14. Парижъ-Варшава, 1934.
Врата. Кн. 1. Шанхай, 1934.
Русская школа. № 1. Прага, 1934
Парусъ. № № 20-24. Шанхай, 1934.
Соціалистическій Вѣстникъ. № № 9-19.
Законъ и Судъ. № № 5, 6, 7 и 8. Рига, 1934.
Чураевка. № № 1-6. Харбинъ, 1934.
В. Станкевичъ. Динамика міровой исторіи. Парижъ, 1934
Г. Вернадскій. Опытъ исторіи Евразіи. Бернъ, 1934
И. Лавровъ. Въ странѣ экспериментовъ. Харбинъ, 1934.
Н. Устряловъ. Наше время. Шанхай, 1934
В. Зѣньковскій. Проблемы воспитанія. УМСА-Pressе, 1934
А. Завротскій. Красные вандалы. Шанхай, 1934
Отецъ Л. Жиле. Исусъ Назаретянинъ. УМСА-Pressе. 1934
Проблемы. Сборникъ 1. Парижъ, 1934
И. Гапоновичъ. Россія въ сѣв.-вост. Азіи. Пекинъ, 1933
Вселенное дѣло. Сборникъ 2. Рига, 1934
Бюлл. эк. каб. проф. Прокоповича. № № 113-115. Прага, 1934.
Т. Tchernavina. Echappés du Guépéou. Payot. Paris, 1934.
J. Robinson. Konvention über das Memelgebiet. B. I und II. Kaunas.
1934.
Léon Baratz. Réalités et Rêveries de Ghetto. Genève, 1934.
M. Vichniac. Les Minorités dans la territoire de la Sarre. Paris,
1934.
В. Brutzkus. Wirtsch. und soc. Entwiecklung Russlands. 1934.
Le Monde Slave. N° N° 2-8. 1934.
СІЛАСС. documentation anticommuniste N° N° 6, 7, 8. Bruxelles.
1934.
E. Herriot. Orient. Hachette. 1834.
H. Kogan. Umriß der Entwicklungspsychologie. Danzig, 1934.
Orient und Occident. 16 Heft. 1934.

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
И. А. Бунинъ: Божье древо.
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы)
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
Гал. Кузнецова: Прологъ.
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Юва.
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
Ст. Ивановичъ: Красная армія.
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
Н. Лосскій: Типы міровозрѣній.
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.
М. О. Цетлинъ: Декабристы.
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).
Л. Ф. Зуровъ: Древній путь.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

- В. А. Маклаковъ: Изъ Прошлаго.
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I.
Заказы принимаются въ конторѣ издательства.

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гуковскимъ (?), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: Леонида Андреева, М. Алданова, К. Бальмонта, И. Бунина, Андрея Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Ал. Гефтера, Г. Гозданова, Г. Гребеншикова, Д. Мережковского, Б. Зайцева, Е. Замятина, П. Иванова, А. Куприна, А. Ладинскаго, І. Матусевича, С. Минцлова, Мих. Осоргина, Георгія Пескова, А. Ремизова, Н. Рошина, В. Сирина, Д. Скобцова, Ив. Соколова-Микитова, С. Соколь-Слободского, Ф. Степуна, Ильи Сургучева, Ю. Терапіано, гр. А. Толстого, Софіи Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикова, Ив. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, Максимиліана Володина, А. Герцыкъ, З. Гиппиусъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вячеслава Иванова, Г. Иванова, Н. Крандівской, Д. Кнута, Галины Кузнецовой, А. Ладинскаго, Н. Ландау, Сергѣя Маковского, Ю. Мандельштама, А. Несмѣлова, Н. Оцула, В. Познера, Б. Поплавскаго, В. Сиринъ, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Сологуба, Ю. Софьева, Е. Тауберъ, Тэффи, В. Ходасевича, Марини Цвѣтаевой, А. Эйзнера. — Дневники и воспоминанія: Е. Брешковской, О. Грузенберга, Ел. Джанумовой, К. Ельцевой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Короленко, В. Махлакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Н. Шкляевой, М. Шербакова. — Статьи по вопросамъ литерат., искусства, философіи, полит., эконом. и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, К. Бальмонта, А. Бсма, Н. Бердыева, П. Бицилли, Е. Богданова, М. Брайксича, В. Брейтвейта, Б. Бруккулъ, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейде, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водозова, кн. С. Волконскаго, Н. Ганца, М. Гершензона, С. Гессена, Б. Гсфдинга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Сѣверова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Юрія Данилова, Ю. Делевскаго, И. Лемидова, Діонео, Н. Долинскаго, С. Жаба, С. Загорскаго, С. Завадскаго, П. Зернова, В. Зѣньковскаго, Ст. Иванъевича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсаина, С. Каршевскаго, К. Качоронскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобякова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, Ант. Крайняго, М. Кроля, А. Кулишера, Е. Кусковой, В. Ладыженскаго, М. Лазерсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, Г. Лунца, В. Маклакова, А. Мандельштама, С. Мельгунова, С. Метельникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, П. Муратова, В. Мякотина, Л. Неманова, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, М. Осоргина, Н. Мельниковой-Папоушекъ, А. Петришева, П. Пилъскаго, С. Полякова-Литовцева, П. Прокофьева, Л. Пумпянскаго, А. Пѣшехонова, Ф. Родичева, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополькъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, Д. Соколыцева, С. Соловейчика, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, С. Тюрина, А. Ульяновъ, Г. Федотова, Г. Флоронскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цетлина, Б. Шацкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шлецера, Е. Юрьевскаго, Ив. Якушева и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Которы:

6, Rue Daviel, PARIS (XIII^e)

Téléphone : Gobelins 46-87

Revue paraissant tous les 3 mois.